

Ю. В. Манн

Гоголь. Книга вторая



На вершине

1835–1845



Российский государственный гуманитарный университет



Ю.В. Манн

Гоголь. Книга вторая

На вершине

1835–1845

Москва

2012

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
М23

Художник *Михаил Гуров*

ISBN 978-5-7281-1292-1

© Мани Ю.В., 2012
© Российский государственный
гуманитарный университет, 2012

Содержание

Часть первая

На подступах к книге жизни	9
«Смеяться, смеяться давай теперь побольше»	15
Первая проба	20
«...До нового пробуждения...»	25
В журнальном ристалище	27
Горизонт общения	35
Путь на сцену	45
Перед премьерой	51
Премьера	55
«Тут всем досталось, а больше всех мне...»	61
Настоящий «Ревизор» и «Настоящий Ревизор»	70
После премьеры	72
Почему Гоголю не дали премию	80
Синдром «Ревизора»	83
«Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься...»	88
Перед дальней дорогой	105

Часть вторая

«Знаете ли вы, что такое пароход?»	113
«В немецкой стороне»	115
Швейцария	121
«Славная собака Париж...»	125
«...Никакой вести хуже нельзя было получить из России»	136
Первое «чтение» Италии	146
Поездка на север: Баден-Баден, Франкфурт-на-Майне, Женева	156
Второе «чтение» Италии	162
Католический эпизод	181
Порождение «свирепого века»	191
Под неаполитанским небом	194
Поездка в Париж	197
Третье «чтение» Италии	200

«Прекрасное погубило в пышном цвете...»	214
Путь на родину	228
Москва – Петербург – Москва (сентябрь 1839 – май 1840)	234

Часть третья

Дорога и кризис	277
После кризиса	282
Четвертое «прочтение» Рима	286
На пути в Россию	299
Петербург – Москва – Петербург (октябрь 1841 – июнь 1842)	306
«Последнее удаление из отечества»	338
«Разъездная жизнь»	375
Ницца	384
«Я иду вперед – идет и сочинение»	394
В Париже как в «монастыре»	424
«Пожалуйста, не беспокойтесь насчет способов существования»	435
«Небольшое произведение и не шумное по названию...»	441
На грани жизни и смерти	447
«Зачем сожжен второй том “Мертвых душ”?»	453
«...Кажется, мне лучше»	457
Рим: осень и зима 1845 года	461

<i>Примечания</i>	477
-------------------------	-----

<i>Библиография</i>	505
---------------------------	-----

<i>Именной указатель</i>	523
--------------------------	-----

Часть первая

На подступах к книге жизни

В 1835 г., скорее всего осенью, произошло событие, ознаменовавшее начало нового этапа в биографии Гоголя: он приступил к «Мертвым душам». Это было не просто еще одно произведение или даже произведение самое значительное. С «Мертвыми душами» связано изменившееся или, точнее, *изменяющееся* мироощущение писателя, принципиальная новизна в авторской самоориентации.

Позднее в «Авторской исповеди» Гоголь так обозначит этот рубеж:

Он (Пушкин) уже давно склонял приняться меня за большое сочинение и наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью, не приняться за большое сочинение! Это, просто, грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если б не принял за Донкишота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключение всего, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то в роде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет Мертвых душ [VIII, 439–440].

В. Гиппиус указал, что упомянутая встреча имела место в первую неделю сентября, поскольку к началу этого месяца в Петербург из поездки на Украину вернулся Гоголь, а 7-го числа столицу покинул Пушкин, и до возвращения последнего (23 октября) они видаться не могли; между тем уже 7 октября Гоголь известил Пушкина, что «начал писать Мертвых душ» [Гиппиус, 1931, с. 99]. Ю. Лотман также считает, что «разговор этот мог происходить, вернее всего, осенью 1835 г.», «когда остановилась работа Пушкина над “Русским Пелагом”». Можно предположить, что это и есть тот «сюжет” “в роде поэмы”, который Пушкин отдал Гоголю...» [Лотман, 1988, с. 246].

Действительно, первые пять-шесть дней сентября – наиболее вероятное время знаменательной встречи (хотя, строго говоря,

нельзя исключать и того, что разговор произошел раньше, скажем, в первые четыре месяца 1835 г., когда оба писателя находились в Петербурге). Но с чем согласиться невозможно, так это с тем, что именно «Русский Пелам» Пушкина послужил основой под сказанного сюжета.

Незаконченное пушкинское произведение, от которого остались лишь наброски, описывает историю русского дворянина, «сына барина», его разнообразные приключения и в «большом свете», и в «дурном обществе», и в «обществе умных», т. е. скорее всего, в оппозиционном кружке декабристской ориентации. Пережил ли этот персонаж «моральное падение» [Чичерин А., с. 108], или же, напротив, согласно другому предположению, сумел сохранить нравственную чистоту среди разврата и грязи [Анненков, 1881, с. 48], но во всяком случае его жизнеописание не обнаруживает ничего похожего на «предприятие» Чичикова. Однако Гоголь едва ли стал бы говорить о пушкинской подсказке, о переданном ему сюжете, если бы этот сюжет не содержал в себе нечто специфическое для его будущего произведения, а именно *аферу с мертвыми душами*. Вспомним историю «Ревизора» (начавшуюся несколько позднее) и сохранившийся набросок Пушкина «Криспин приезжает в губернию на ярмонку...». Конечно, Гоголь не следует буквально пушкинскому плану; конечно, скажем, Хлестаков — это не Криспин; однако уже в упомянутом наброске намечены и весьма важная для всех остальных персонажей административная ошибка (Криспина принимают за другого), и, значит, общая ситуация *qui pro quo*. Соответственно и в подсказке, относящейся к будущей гоголевской поэме, должна была содержаться сама «изюминка», т. е. идея упомянутой аферы.

О том, что Пушкина занимала подобная тема, свидетельствуют современники. Еще во время пребывания в Бессарабии он заинтересовался установившимся в Бендерах порядком вещей: жителей этого маленького городка называли «бессмертным обществом», так как смертные случаи здесь не регистрировались и имена умерших передавались другим лицам, беглым крестьянам, стекавшимся на юг из разных губерний России. Позднее, уже проживая в Одессе, Пушкин не раз справлялся у своего бессарабского знакомого И.П. Липранди: «Нет ли чего новенького в Бендерах?» [РА. 1866. Стлб. 1462–1468].

О другом же эпизоде рассказывает историк и библиограф П.И. Бартенев: «В Москве Пушкин был с одним приятелем на бегу. Там был некто П. (старинный франт). Указывая на него

Пушкину, приятель рассказал про него, как он скупил себе мертвых душ, заложил их и получил большой барыш. Пушкину это очень понравилось. «Из этого можно было бы сделать роман», – сказал он между прочим. Это было еще до 1828 года» [РА. 1865. № 5 и 6. Стлб. 745]. Пушкин не реализовал тему «мертвых душ», но посоветовал из нее «сделать роман» Гоголю, который на первых порах именно так определял жанр своего произведения («сюжет растянулся на предлинный роман»).

Еще две-три детали разговора Пушкина с Гоголем. Знаменательно прежде всего упоминание Сервантеса. Автор «Дон Кихота» фигурировал в русском литературном сознании (как, впрочем, и в западноевропейском) в различных ипостасях – как один из зачинателей нового романа, как автор пародии на рыцарский эпос и просто как *великий* художник. В таком ранге он всегда представлялся и Гоголю: скажем, в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (1836), где имена Сервантеса и Шекспира поставлены рядом [VIII, 172], или в черновых редакциях «Мертвых душ», где «портрет» великого испанца упомянут среди тех, кто служит для Гоголя источником вдохновения (еще «портреты» Шекспира, Ариосто, Филдинга и Пушкина). Однако во время передачи сюжета выступила вперед, так сказать, другая функция этой фигуры – быть наставительным примером *эволюции от просто талантливых произведений к произведению великому, всемирному, обеспечившему его автору бессмертие*. В «Дон Кихоте» виделось нечто непререкаемое, неисчерпаемо глубокое и вместе с тем элементарно очевидное: «Ни древняя, ни новая литература, – говорил человек пушкинского круга П.А. Плетнев, – ничего не произвела замечательнее этой книги, которую, по-видимому, мог бы написать всякой дюжинный сказочник: так все в ней легко, свободно, просто» [ЛПРИ. 1837. 10 апреля. № 15]. Именно таково, в глазах Пушкина и Гоголя, предназначение будущих «Мертвых душ».

Вполне правдоподобной в упомянутом рассказе из «Авторской исповеди» выглядит и пушкинская ссылка на «недуги» Гоголя, которые могут внезапно прервать его литературную карьеру. Бывают люди, которые скрывают свои недомогания и болезни, – Гоголь к ним не принадлежал. Наоборот, с молодых лет имел он обыкновение жаловаться на «хилое здоровье»: и на головную боль, и на горло, и на «боль в печенке и в спине», и на «запор», и на «понос», и на грудное стеснение; говорил, что «причина болезни его находится в кишках», и вообще, что он «болен неизлечимо».

Так что самое время было поторопить Гоголя с главным трудом его жизни.

Наконец, пушкинская подсказка имела для Гоголя то значение, что она представляла собою, как выразился позднее писатель, «смешной проект». Никакое жизнеописание героя в «пеламовском» духе не подходило бы под такое определение, в то время как афера с мертвыми душами, будучи действительно «смешным проектом» главного героя, отвечала душевным устремлениям его автора.

Дело в том, что новый этап гоголевской биографии, связанный с началом работы над «Мертвыми душами», характеризуется еще одним моментом, на который совершенно не обращено внимания. В другой статье – в «Четырех письмах к разным лицам...» – Гоголь связывал углубление своего комического дара на стадии возникновения «Мертвых душ» с неким пережитым им «необыкновенным душевным событием». Каким именно «событием», писатель не объясняет, добавляя лишь то, что свое «душевное обстоятельство» он «не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину» [VIII, 292, 294]. Другими словами, все это случилось еще *при жизни Пушкина*.

Обычно, когда мы говорим о гоголевских душевных кризисах и переворотах, то подразумеваем более поздние времена – конец лета 1840 г., когда Гоголь, по его словам, даже «нацарапал» завещание; лето 1845 г., когда была сожжена начальная редакция второго тома «Мертвых душ»; или 1847 г., когда появились «Выбранные места...»; или первые недели 1852 г., на которые падает болезнь писателя, уничтожение белой редакции поэмы и смерть. Но оказывается, нечто похожее было пережито Гоголем еще до отъезда за границу.

Что конкретно испытал Гоголь, неизвестно; ничего не сказал он Пушкину, не сообщил и своему «адресату» в «Четырех письмах...»: «Какого рода было это событие, знать тебе не следует...» Но о последствиях говорил охотно: мол, «необыкновенным душевным событием» он был «наведен» на то, чтобы передавать собственные недостатки и дурные свойства своим героям. Очевидно, это был род творческого переключения, или сублимации.

И хотя, повторяю, действительного гоголевского «события» мы не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем, но можно смело сказать, что оно было из разряда тех явлений, которое писатель обозначил как «припадки тоски, мне самому необъяснимой».

А это рождало насущную потребность преодоления тоски, растворения ее в смехе и веселости: «Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать» [VIII, 439]. Состояние, как мы знаем, знакомое Гоголю с юных лет и часто повторяющееся. Очевидно, и начало работы над «Мертвыми душами» было предварено или сопровождалось обострением подобного состояния, или, говоря иначе, – приступом депрессии. Почему же он ничего не сказал об этом ни Пушкину, ни кому-либо другому? Потому что в противоположность своим физическим недугам и хворостям Гоголь в то время еще держал в глубокой тайне аномалии психического, душевного свойства (потом положение заметно изменилось).

Смех, к которому прибегал Гоголь как творец «Мертвых душ», не исключал другие эмоции и другое настроение, отнюдь не комическое и не веселое, но как бы образовывал для них основной тон, необходимую эмоциональную подкладку. Это был род самолечения смехом, психологической терапии – именно на этой волне, мы увидим, чуть позже возник и «Ревизор».

Психологическая терапия – общее свойство поэтического творчества, но у Гоголя она имеет свою окраску. «Душа певца, согласно излитая, / Разрешена от всех своих скорбей...» В случае, описанном Баратынским, «скорбь» говорит языком «скорби», печаль – языком печали; гармония проистекает из самого эффекта выговариваемости и раскрытия этих чувств: «Болящий дух врачует песнопенье. / Гармонии таинственная власть / Тяжелое искупит заблужденье / И укротит бунтующую страсть». Но у Гоголя совсем другое – «скорбь» или «печаль» говорят языком комического, преобразующего эти эмоции, отесняющего их вглубь.

Между тем для окружающих преображенная природа гоголевского смеха нередко скрадывалась. Как раз перед началом работы над «Мертвыми душами» Гоголь мог обратить внимание на следующее место из рецензии Шевырева на «Миргород» (цензурное разрешение журнала с этой рецензией – 19 февраля 1835 г.):

Читая его (Гоголя) комические рассказы, не понимаешь, как достает у него вдохновения на этот непрерывный хохот. По крайней мере так невольно думаешь, что если бы удалось написать такую смешную страницу, – сам бы расхохотался над нею, вдохновение тем бы удовлетворилось, и не в силах был бы продолжать. Я думаю, для того, чтобы не истощаться

в смешном, надобно самому не быть смешливым и не покоряться своему собственному вдохновению. Вот почему комики, по большей части, как свидетельствуют их биографии, были серьезны. Это странно с первого раза, а понятно, если мы вникнем... Тот, кто хочет щекотать других, сам не должен быть щекотлив [МН. 1835. Ч. 1. С. 398–399].

За этими соображениями стоят вполне конкретные наблюдения: если Шевырев в то время (летом 1835 г.) сам и не присутствовал при чтении Гоголем своих произведений, то он был достаточно наслышан об этом от других москвичей, скажем, М.П. Погодина или В.П. Андросова. Действительно, Гоголь, как мы знаем, читал с умопомрачительной серьезностью, без тени улыбки. Но у Шевырева этому факту дано наивно-механическое объяснение: мол, не смеялся, чтобы «не сойти с круга», сохранить способность смешить. На каких основах выросла гоголевский комизм, какие стихии бушевали в его глубинах, – все это оставлено без внимания.

Однако уже через некоторое время после состоявшейся беседы, 7 октября, последовал, так сказать, гоголевский отчет Пушкину – вспомним приводившиеся строки: «Начал писать Мертвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон»¹ и т. д. Эпитет «смешон» вновь недвусмысленно указывает на основной тон задуманной вещи, равно как и указывает на него более позднее признание – из «Авторской исповеди»:

Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что *смешной проект*, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом *охота смеяться* создаст сама собою множество *смешных* явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными [VIII, 440].

Гоголь, значит, почувствовал, что осуществление его «проекта» – дело долгое, что замысел будет постепенно, не один год созреть и означиваться «сквозь магический кристалл» его сознания. Между тем душевные стимулы, которые питали его главный труд, требовали более скорой реализации. И Гоголь как бы между делом («рука дрожит написать *тем временем* комедию»), словно взяв временную паузу, принимается за другое произведение.

«Смеяться, смеяться давай теперь побольше»

Это был тоже «смешной проект», но такой, который обещал скорое достижение эффекта, – проект комедии. Еще два года назад, приступив к «Владимиру 3-ей степени», Гоголь страстно мечтал о «современной славе», о немедленной, сиюминутной, громкой реакции зрителей и о том, чтобы это был непременно смех: «...шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы...» Тогда гоголевская мечта не осуществилась, и вообще ни одна из задуманных комедий еще не увидела сцены. Теперь это желание вспыхнуло с новой силой.

Надо заметить, что гоголевская рефлексия обычно высветляла фигуру автора в различных его ипостасях. У Гоголя не *один* образ автора, а *несколько*, правда, соприкасающихся, перетекающих друг в друга (говорим сейчас не столько об образе автора в конкретном произведении, сколько о мироощущении и жизненной самооценке). Поэт, потрясающий сердца современников возвышенными чувствами и глубокими мыслями. Поэт как проницательный ведатель путей миродержавного промысла. Поэт – мудрый советодатель властей держащих, не исключая и самодержца. Но в качестве драматурга автор у Гоголя представлял преимущественно как комик, человек, замечающий смешное и высмеивающий; если и царь, то *царь русского смеха*. Все другие смыслы комедии, обусловленные свойственным Гоголю высоким пониманием искусства вообще, вовсе не исключались, но выступали в аспекте комического.

И тут особенно важным для Гоголя 1835 г., точнее даже второй половины этого года, явилось стремление к *значительности комического*.

Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В Ревизоре я решил собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем [VIII, 440].

Сознание моральной пользы психологически укрепляло и оправдывало гоголевскую склонность к комическому; это был род самотерапии с помощью не только смеха, но и мысли о его высокой миссии, как гражданской, так и религиозной. Правда, эту мысль

Гоголь выдвинул на первый план и стал усиленно разрабатывать уже после появления «Ревизора», особенно активно в 1840-е годы, но едва ли можно усомниться в том, что в менее отчетливом виде она присутствовала в его сознании с начала написания комедии.

И вот 7 октября 1835 г., в том же самом письме, в котором сообщалось о работе над «Мертвыми душами», Гоголь выспрашивает у Пушкина другой сюжет, обещая, что «духом будет комедия из пяти актов и клянусь, будет смешнее чорта» [X, 375]. Это был, конечно, сюжет «Ревизора».

Относительно конкретного материала или, точнее, фактов, сообщенных Пушкиным Гоголю, существует большая определенность, чем в случае с «Мертвыми душами», благодаря сохранившемуся в бумагах поэта наброску. Как упоминалось выше, в этом наброске уже содержались важнейшие элементы, из которых впоследствии был построен «Ревизор»: и приезд в некое место (у Пушкина – «в губернию», «на ярмонку») стороннего лица, и должностное *qui pro quo*, и вытекающее отсюда двойное ухаживание прибывшего как за женою местного начальника (у Пушкина – губернатора), так и за его дочерью, вплоть до сватовства к дочери. Конечно, эти элементы оказались в гоголевском произведении значительно переосмыслены (важнейшее изменение коснулось виновника всей этой кутерьмы, который из мистификатора с более или менее определенной инициативой, о чем свидетельствует его двойное имя «Свиньин»-«Криспин»¹, превратился в обманщика поневоле, в ненадувающего лжеца, что привело к перестройке всей комедийной структуры). Однако наличие достаточно разработанного Пушкиным плана вполне подтверждает неоднократно повторявшееся впоследствии гоголевское высказывание о том, что «мысль Ревизора принадлежит также ему» (т. е. наряду с «Мертвыми душами»).

Подтверждается все это и существующими версиями тех событий, которые послужили поводом для пушкинского, а затем и гоголевского замысла. Таких версий не одна, а несколько. Первая и, видимо, основная – приключение с тем же Свиньиным в бытность его в Молдавии. Последний «выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника и только, зашедши уже далеко (стал было брать прошения от колодников), был остановлен» [РС. 1889. № 10. С. 134]. Эта история сообщена известным ученым-славистом О.М. Бодянским, слышавшим ее от самого Гоголя в московском доме Аксаковых в конце октября 1851 г.; при этом автор «Ревизора» (согласно Бодянскому) сослался, в свою оче-

редь, на рассказ Пушкина. На упомянутом вечере у Аксаковых присутствовал и молодой писатель Г.П. Данилевский, который тоже слышал гоголевские слова и передал версию о Свиньине в основном в тех же подробностях и с той же ссылкой на Пушкина как на первоисточник [Данилевский, 1866, с. 214].

Другая версия – приключение с самим Пушкиным, случившееся во время поездки его в Поволжье и Приуралье в августе – сентябре 1833 г. Эта версия также восходит к сообщению самого Пушкина и воспроизведена по крайней мере двумя мемуаристами – писателем В.А. Соллогубом [РА. 1865. Стлб. 744] и неизвестным нам автором, чьи записки процитировал историк и библиограф П.И. Бартнев. Приведем запись Бартнева:

В поездку свою в Уральск, для собирания сведений о Пугачеве, в 1833 г. Пушкин был в Нижнем, где тогда губернатором был М.П.Б. (подразумевается Михаил Петрович Бутурлин. – Ю. М.). Он прекрасно принял Пушкина, ухаживал за ним и вежливо проводил его. Из Нижнего Пушкин поехал прямо в Оренбург, где командовал его давнишний приятель гр. Василий Алексеевич Перовский. Пушкин у него и остановился. Раз они долго сидели вечером. Поздно утром Пушкина разбудил страшный хохот. Он видит: стоит Перовский, держит письмо в руках и заливается хохотом. Дело в том, что он получил письмо от Б<утурлина> из Нижнего, содержания такого: «У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал его, но, должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами об Пугачевском бунте; должно быть, ему дано тайное поручение собирать сведения об неисправностях. Вы знаете мое к вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтоб вы были осторожнее и пр.» [Там же. Стлб. 744–745].

Случилось похожее событие и в г. Устюжне Новгородской губернии: некий молодой человек, «будучи племянником сенатора Маврина... приехал в Устюжну, где его ошибочно приняли за его сановного однофамильца – и разыгралась “комедия”» [Речь. 1913. № 301]. Автор настоящего сообщения – а это был не кто другой, как землевладелец того же Устюжнского уезда Ф. Батюшков, потомок знаменитого поэта, – добавляет, что «Пушкин привез этот рассказ из Боровичей», иначе говоря, «привез» из упоминавшейся выше поездки 1833 г. в Поволжье и Приуралье.

Если учесть, что Маврин – вполне реальное лицо (сенатор Семен Филиппович Маврин, умерший в 1850 г.), то раскрывается подоплека и другого свидетельства, сделанного П. Вяземским

в его рецензии на премьеру «Ревизора»: «В одной из наших губерний, и не отдаленной, был действительно случай, подобный описанному в “Ревизоре”. По сходству фамилий приняли одного молодого проезжего за известного государственного чиновника. Все городское начальство засуетилось и приехало к молодому человеку являться» [С. 1836. Т. 2. С. 294–295]. «Не отдаленная губерния» – это скорее всего Новгородчина с городом Устюжна; «молодой проезжающий», носящий фамилию государственного человека, – Маврин; слышал же Вяземский этот рассказ, по-видимому, от самого Пушкина. Но если это так, то и Гоголь мог узнать об этом эпизоде от Пушкина, наряду с историей Свинына.

Наконец, в том же городе Устюжне в мае 1829 г. обратил на себя внимание некий приезжий из Вологды, «одетый в партикулярное платье» и украшенный «малтийским знаком». О личности вновь прибывшего срочно просил сообщить новгородский губернатор А.У. Денфер [Поздеев, с. 32], и спустя несколько дней последовало донесение устюжнского городничего, что действительно «отставной подпоручик вологодский помещик Платон Григорьев Волков прибыл в город на почтовых лошадях с Вологодского тракта... сам был в партикулярном платье, имел малтийский знак. По приезде в город расположился в квартире, а на другой день пригласил к себе штаб-лекаря, брал у него лекарства, за которые его удовлетворил ... в домах был у меня два раза, у господина исправника, у откупщика и на именинах у штаб-лекаря. В присутствие не входил, а был у меня в Городническом правлении частно, просил показать ему острог, где смотрел его расположение и сие делал, по моему заключению, из любопытства... а 17 мая отсюда отправился в С-Петербург...» [Панов, с. 125]. В этом сообщении обращают на себя внимание факты довольно широких контактов и посещений со стороны новоприбывшего, вплоть до посещения тюрьмы, «острога» (от чего, впрочем, гоголевский герой уклонился)...

Но вернемся к реальному персонажу, к Платону Волкову. Согласно другому документу, он «имел довольно острый природный ум, соединенный с дерзостью», «склонность к игре и мотовству» [Там же. С. 126], хотя никаких корыстных побуждений в его поступках и поведении в Устюжне тамошний городничий не усмотрел.

Стоит еще добавить, что Платон Григорьевич Волков (ок. 1799 или 1800–1850) был в свое время небезызвестным литератором, принимался в Петербурге за издание собственных жур-

налов «Эхо» и «Журнала иностранной словесности и изящных искусств». Как мы сейчас увидим, о порожденных его пребыванием в Устюжне слухах Гоголь был также наслышан².

Таким образом, некорректно сводить реальную предоснову комедии к одному факту или даже к одной группе фактов – происходило как бы нанизывание одного эпизода на другой, что естественно при целенаправленности творческого интереса писателя. Разбуженное воображение обычно, что называется, ловит сходные детали и факты на лету, о чем собственно говорил и автор «Ревизора». Согласно Бодянскому, Гоголь, упомянув о рассказанной ему истории Свинына, добавил, что позднее он слышал «еще несколько подобных проделок, например о каком-то Волкове». Это и был Платон Григорьевич Волков.

Но происходило не только узнавание и накопление фактов новых, неизвестных, но и припоминание или, как мы сейчас говорим, актуализация старых, в том числе и пережитых самим Гоголем. Всего месяц-полтора назад, в августе, писатель, возвращаясь из Киева в Москву вместе с двумя приятелями, А.С. Данилевским и И.Г. Пашенко, разыграл очередную мистификацию – выдал себя за какое-то важное лицо, чуть ли не ревизора, и «благодаря этому маневру, замечательно счастливо удавшемуся, все трое катили с необыкновенной быстротой...» [Шенрок, т. 1, с. 364; см. об этом: Книга 1, с. 345].

В чем же в таком случае значение подсказки Пушкина? В том, что он обратил внимание на творческую продуктивность сюжета и подсказал некоторые конкретные повороты последнего. Был дан толчок, творческий стимул, который мгновенно привел в действие художественную фантазию. Для генезиса произведения такой стимул, который одновременно (учитывая, что он исходил от Пушкина) являлся и своеобразной санкцией, – дело немалое.

Уже 6 декабря Гоголь сообщал Погодину, явно подразумеваемая «Ревизора», что собирается давать на театр комедию, экземпляр которой велит переписать, «для того чтобы послать к тебе в Москву, вместе с просьбою предупредить кого следует по этой части» [X, 379]. Конкретно имеются в виду М.Н. Загоскин, директор московских императорских театров, и М.С. Щепкин, ведущий актер театра. С обоими Гоголь был хорошо знаком со времени своей первой поездки в Москву летом 1832 г., а с «милым Щепкиным» успел и подружиться. Гоголь рассчитывает на поддержку того и другого при осуществлении московской премьеры, которая должна готовиться параллельно с петербургской.

Значит, «Ревизор» был уже в основном готов, и эта необычайная быстрота написания говорит не только об интенсивности труда, но и о том, что «мысль» о комедии пала на хорошо подготовленную почву. А также о том, что комедия зародилась и подошла к завершению как бы на единой, цельной и мощной эмоциональной волне – всеобъемлющего комизма. Из того же письма к Погодину: «Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия!»

Наступающий 1836 г. Гоголь встречает в прекрасном расположении духа. Из письма к матери от 18 декабря: «...предчувствую, что от него нам ожидать много добра» [X, 379].

Первая проба

Публичное чтение Гоголем своих произведений обычно носило характер проверки сделанного. И поэтому еще до премьеры и начала работы над спектаклем он решил подвергнуть «Ревизора» такому испытанию.

Между тем слухи о комедии стали распространяться в литературных кругах Петербурга.

Запись в дневнике В.Г. Теплякова за 1835 г.:

15-го октября – Бартенев... Вечер кн. Одоевского и Жуковского. Соболевский, Норов (очевидно, Авраам Сергеевич Норов, государственный деятель, писатель. – Ю. М.) <1 сл. нрзб> – Плетнев – Величко (возможно, А.П. Величко. – Ю. М.). Пушкин. Гр. М. Виелгурский (т. е. Михаил Юрьевич Виельгорский. – Ю. М.). – Крылов – Бенедиктов – Гоголь и его «Ревизор». Переход к <1 сл. нрзб>. 1836. Встреча нового года у кн. Одоевского... [Пушкин: Исследования, т. 6, с. 278; публикация Е.В. Фрейдель].

Виктор Григорьевич Тепляков (1805–1842) – лицо новое в гоголевской биографии. Отставной военный, уволенный из армии за политическую неблагонадежность, в то же время известный поэт, прозаик, путешественник, археолог, автор замечательных «Фракийских элегий» (1829), получивших впоследствии высокую оценку Пушкина, Тепляков находился в Петербурге с 15 октября 1835 г. по 21 июля 1836 г. В этот период времени он и узнал о

«Ревизоре». Но когда конкретно? Дневник Теплякова строится таким образом, что фиксируются крайние даты, между которыми помещаются все имевшие место события; в данном случае это: 15 октября 1835 – начало 1836 г., сразу после Нового года. Судя по расположению, запись о «Ревизоре» относится к числу самых последних за 1835 г.; иначе говоря, хронологически она примерно соответствует тому сообщению о новой комедии, которым Гоголь 6 декабря поделился с Погодиным. По времени это первое известное свидетельство о новой пьесе, переданное другим лицом. И фигурирует она уже под своим окончательным названием, которое определилось с самого начала, возможно, уже в разговоре с Пушкиным. Очевидны также источники, из которых почерпнул Тепляков свою информацию, – это близкие к Пушкину лица, «вечера» у В. Одоевского и Жуковского. Один из таких декабрьских вечеров у Жуковского, где присутствовали и Гоголь, и Пушкин, и Одоевский, и Виельгорский, зафиксирован в дневниковой записи А.И. Тургенева от 10 декабря (впрочем, суббота, когда обычно происходили эти встречи, падает на 7 декабря) [Пушкин в восп., т. 2, с. 210].

А с Нового года Гоголь стал читать комедию. Впервые – 18 января на субботе у Жуковского в Шепелевском доме, где жил поэт.

На следующий день Вяземский писал А.И. Тургеневу:

Вчера Гоголь читал нам новую комедию «Ревизор»... Читает мастерски и возбуждает *un feu roulant d'eclats de rire dans l'auditoire* (шквал смеха, прокатывающийся по аудитории). Не знаю, не потеряет ли пьеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он читает. Он удивительно живо и верно, хотя и карикатурно, описывает наши *moeurs administratives* (административные нравы) [ОА. Т. 3. С. 285].

Первое знакомство с «Ревизором» происходило, таким образом, под знаком веселости. Стремление Гоголя рассмешить было услышано, ответом ему стал не просто смех, но «шквал смеха». В более поздней «Приписке» к статье о «Ревизоре» Вяземский, вспоминая о первом чтении, проходившем «при довольно многолюдном обществе», добавляет, что «все внимательно слушали и заслушивались, все хохотали от доброй души» [Вяземский, с. 154]. И больше всех хохотал Пушкин, который, по словам И.И. Панаева, восходящим к свидетельству одного из участников встречи Е.Ф. Розена, «во все время чтения катался от смеха» [Панаев, с. 92].

Сколько времени длилось чтение? Поскольку Вяземский в том же письме пересказывает лишь начало комедии, можно предположить, что чтение в первый вечер не завершилось и продолжилось впоследствии. Е. Розен говорит, что ему довелось слушать «Ревизора» «раз десять как единственное чтение на тех литературных вечерах» [Пушкин в восп., т. 2, с. 322], – но это, по-видимому, преувеличение. Однако понятно, что чтение было с продолжением. П. Анненков, собиравший сведения об этом событии, также говорит о нескольких встречах [Анненков, 1855, с. 851].

При чтении комедии, состоявшемся 18 января, присутствовал и Бенедиктов, как это можно заключить из упоминавшегося письма Вяземского.

Среди первых слушателей «Ревизора» оказался и Денис Давыдов – лицо, также еще не вписанное в гоголевскую биографию. Поэт-партизан приехал в Петербург в январе 1836 г., 22 января встречался с Пушкиным, который подарил ему экземпляр «Истории пугачевского бунта» вместе со стихотворным посланием «Тебе, певцу, тебе, герою...»; а через три дня, 25-го числа, оба присутствовали на очередной субботе у Жуковского, где были также И.А. Крылов, Плетнев, Вяземский, Тепляков. На следующий день Давыдов представлялся императору и наследнику, затем вместе с Жуковским прошел весь Эрмитаж, смотрел работы Чернецова, писавшего две картины парадов на Марсовом поле. «Художник просил разрешения на одной из его картин изобразить и фигуру старого партизана и потому, как писал Давыдов (в письмах к жене. – Ю. М.), пока он сидел у Жуковского и слушал Гоголя, читавшего свою бесподобную и чудесную комедию “Ревизор”, Чернецов нарисовал его портрет во весь рост» [Жервс, с. 148]. Значит, чтение имело место или вскоре после посещения Эрмитажа, или накануне (скорее всего в субботу, 25 января).

Несколько месяцев тому назад, в мае 1835 г., Давыдову (как и Баратынскому) не удалось присутствовать на чтении Гоголем «Женитьбы» («Женихов»), когда последний останавливался в Москве на пути в родные места [см.: Книга 1, с. 338]. Теперь ему довелось послушать «Ревизора», и это чтение стало составляющей того светлого впечатления, которое вынес поэт из своей петербургской поездки. 14 апреля 1836 г., по возвращении в свое имение, в село Верхняя Маза Сызранского уезда Симбирской губернии, он писал Жуковскому: «Я не могу забыть приятнейшего вечера и утра, про-

веденных у тебя, и вообще краткого, но веселого пребывания моего в Петербурге. Я как будто снова отскочил в прошедшее, встречаюсь с тобою и с Вяземским, товарищами лучших дней моей жизни» [РА. 1871. № 1. С. 0187]. Когда же Давыдов увидел «Северную пчелу» [№ 255. 6 ноября] с фельетоном Ф. Булгарина «Литературная юмористика», где содержались нападки на его стихи и на повесть Гоголя «Нос», то испытал чувство гордости: «...уже от Булгарина осыпан выговорами за две эпиграммы мои, из которых одна тебе принадлежит, – пишет Давыдов Вяземскому 21 ноября 1836 г. из Москвы, – Гоголь вместе со мною зацеплен. От такого товарищества, как вы оба, я не прочь» [Давыдов, 1917, с. 49]. Самолюбию Давыдова лестно быть в одной компании с Гоголем.

Но возвратимся к первым чтениям «Ревизора». При том всеобщем одобрении и всеобщем смехе, которыми была встречена комедия, по крайней мере один из присутствовавших занял особую позицию. Это уже упоминавшийся барон Егор (Георгий) Федорович Розен (1800–1860), поэт, драматург, критик, переводчик, с 1835 г. выполнявший обязанности личного секретаря у великого князя Александра Николаевича. О своих переживаниях во время субботнего вечера у Жуковского барон рассказал впоследствии с полной откровенностью: «...все вокруг меня аплодируют, восхищаются, тешатся. Напрягаю всячески внимание, чтобы понять причину этой общей потехи столь образованного, блистательного общества: не разумею ничего, кроме неестественности, несообразности, карикатурности пиесы» [Пушкин в восп., т. 2, с. 323]. Признания Розена подтверждаются и сторонним свидетельством; по словам И.И. Панаева, барон «гордился тем, что, когда Гоголь на вечере у Жуковского в первый раз прочел своего “Ревизора”, он один из всех присутствовавших не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся и сожалел о Пушкине, который увлекся этим оскорбительным для искусства фарсом...» [Панаев, с. 92].

После одной из суббот, провозжая Пушкина, Розен попытался, что называется, раскрыть ему глаза на истинную природу гоголевской комедии. Розен утверждал, что поэт слушал его внимательно и с некоторыми замечаниями согласился... Может быть, просто не хотел спорить?

Для полноты картины приведем еще позднейшую запись, относящуюся к авторскому чтению «Ревизора». П.А. Васильчиков (1829–1898), сын сенатора А.В. Васильчикова, записал в дневнике 15 декабря 1853 г.: «Виельгорский мне рассказывал, как

он присутствовал у Волконского при первом чтении «Ревизора». Пушкин присутствовал. Все были в восхищении. Михаил Юрьевич Виельгорский и князь Вяземский (Петр) одни позволили себе некоторые замечания» [ЛН. Т. 76. С. 349]. Поскольку речь идет о «первом чтении», то подразумевается скорее всего тот самый субботний вечер у Жуковского 18 января³. Во всяком случае, это сообщение добавляет к числу слушателей Гоголя новых лиц: М.Ю. Виельгорского и министра императорского двора князя Петра Михайловича Волконского, под началом которого Гоголь некогда служил в Департаменте уделов. Показательно и упоминание «некоторых замечаний», которые позволили себе сделать Вяземский и Виельгорский.

Это значит, что чтения протекали не абсолютно гладко: некоторая неудовлетворенность была и у слушателей, высказывавших шумное одобрение и восторг. Просто эта неудовлетворенность отступала на второй план, тонула во всеобщей веселости и громком смехе. Так бывало уже раньше, так не раз повторится и в будущем. Гоголевский комизм слишком необычен, его глубина скрадывалась внешней непритязательностью, тривиальностью материала, наконец, просто подчеркнутой простотой и естественностью авторской манеры чтения. Что же конкретно могли сказать гоголевские оппоненты, например Вяземский? Возможно, ответ кроется в его же оговорке: «Он удивительно живо и верно, *хотя и карикатурно*, описывает...» Оговорка могла стать фактором критического упрека, но могла быть и опущена, отодвинута в сторону перед лицом достоинств гоголевского произведения. Вспомним, что и Пушкин, откликаясь на «Вечера на хуторе...», говорил: «...мы ... охотно *простили* ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов...» и т. д. «Простить» мог и Вяземский...

Тем не менее Гоголь по своему обыкновению постарался извлечь из реакции своих слушателей и, может быть, из их критических замечаний конкретную пользу. 18 января, очевидно, сразу же после первого чтения у Жуковского он сообщает Погодину, что хотя комедия «совсем готова была и переписана», но он «должен непременно, *как увидел теперь*, переделать несколько явлений» [XI, 31]⁴.

«...До нового пробуждения...»

Гоголь посвящает свои силы комедии; между тем исподволь в его сознании созревает замысел «Мертвых душ». Два произведения, которым отданы творческие устремления писателя, казалось бы, отданы были без остатка, до конца. Но это не совсем так.

У Гоголя была способность: наряду с главной работой копировать впечатления и знания впрок, для будущих трудов. Так уж замечательно была устроена его голова, что одновременно обдумывалось и вынашивалось множество планов, только с разной степенью интенсивности и отчетливости. Одни планы находились, как сказал бы психолог, в светлой точке сознания; другие уходили вглубь. В свое время, оставляя университетскую кафедру, Гоголь обращался к своим еще не осуществленным трудам: «Мир вам, мои небесные гости ... Вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторгнитесь с большею силою...» [X, 378]. Что же опускал теперь Гоголь «на дно души», завершая «Ревизора», готовясь к встрече со зрителями?

Только что упомянутое гоголевское письмо Погодину – это обширная программа намерений, замыслов и интересов. Писатель просит вернуть ему рукопись «Носа» (завалившуюся в редакции «Московского наблюдателя»), с тем чтобы «его немного переделать и поместить в небольшое собрание» (в конце концов повесть вышла спустя несколько месяцев в пушкинском «Современнике»). Писатель благодарит своего корреспондента за три «подарка»: «Самозванца, Русскую историю и Лекции по Герену» – тут каждое произведение связано с собственными гоголевскими интересами.

По поводу «Самозванца», т. е. только что вышедшей пьесы Погодина «История в лицах о Димитрии Самозванце» (М., 1835), Гоголь заметил, что она «не движется на сценической интриге, но тем не менее составляет полную, исполненную правды, стало быть историческую и поэтическую картину». Это, конечно, косвенная рефлексия собственной работы над «Ревизором»: правдивость и полнота «картины» хороши, но надо еще, чтобы все полностью было подогнано к «сценической интриге», из нее вытекало и в ней растворялось.

Нашлись у Гоголя критические замечания и к другому присланному ему «подарку» – «Лекциям профессора Погодина по Герену о политике, связи и торговле главных народов древнего мира» (М., 1835. Ч. 1): книга недостаточно приспособлена к возможностям

студентов (Гоголь еще во власти своих университетских воспоминаний) и недостаточно отражает собственные взгляды русского профессора. Тут Гоголь обращается к чрезвычайно понравившемуся ему погодинскому «Очерку русской истории» [МН. 1835. Ч. 1], ибо он пронизан стремлением к универсальности, к «философии истории» – как тогда говорили. В этой философии, применительно к России, Гоголь находит «дальновидный верный вывод»; это значит, ему близка начертанная ученым перспектива, исходящая из признания основополагающей роли реформ Петра I («Во всей истории не было революции обширнее, продолжительнее, радикальнее» [Там же. С. 100]) и процесса укрепления русской государственности и законности, в русле которого, между прочим, мыслилось и присоединение Украины к России («При Алексее пошли в оборот разные новые мысли, создано “Уложение”, знаменующее эпоху гражданского развития; приобретена Малороссия, которая образована была в гражданское общество Богданом Хмельницким, гетманом запорожских казаков» [Там же]). Увенчана же эта перспектива разгромом Наполеона, европейским походом русской армии («который во многих значениях имел значение *крестового*») и вытекающими отсюда последствиями («Основание Александром *первенства России* в Европе» [Там же. С. 102, курсив в оригинале]).

И вот еще строки из того же письма Погодину, где сообщалось о напряженной работе над «Ревизором»: «...не можешь ли ты чего-нибудь мне выкопать о славянах? Сделай милость. Может быть, ты составил какие-нибудь выписки из разного сору и особенно что-нибудь о Галиции древней и новой. Нет ли где какого-нибудь описания обрядов, обычаев и проч.?» [XI, 32]. С такими просьбами (применительно к украинскому материалу) Гоголь обращался в пору работы над «Вечерами на хуторе...» или позднее над «Тарасом Бульбой» и «Историей Малороссии». Значит, он не оставил подобных планов, не оставил историческую тематику в широком смысле этого слова...

И наконец, еще один любопытный штрих. 5 декабря 1835 г., опять-таки в разгар работы над «Ревизором», Гоголь сообщает Погодину, что «жадно» прочел его «письмо в Журнале просвещения» [X, 378]. Имеется в виду своеобразный отчет о только что проделанном большом заграничном путешествии «Письмо ординарного профессора Московского университета Погодина к г. министру народного просвещения, из Германии, от 7 (19) сентября 1835 года», где содержалась самая разнообразная научная информация. Говорилось о встречах с Гюльманом, «знаменитым историком

средних веков», И.А. Гульяновым (прославившимся тем, что он опрометчиво выступил против открытий Шампольона), Риттером, оканчивающим «печатание четвертой части своей Азии». В связи с этим именем Погодин касается возникновения новой научной дисциплины: «Риттера можно назвать отцом исторической географии: он учит, сколько география служит основанием истории, какое влияние на человека и его историю имеет его местопребывание и проч.» [ЖМНП. 1835. Сентябрь. С. 545]. В России историческую географию настойчиво и широко разрабатывал Н.И. Надеждин; не была она чужда и Гоголю как преподавателю университета и как автору давней статьи «Мысли о географии».

Большое внимание уделил Погодин славянским ученым и литераторам. Упомянув такие имена, как Шафарик, Ганка, Юнгман, Палацкий, Челаковский, Коллар и другие, он приходил к выводу: «Немецкие писатели, занимаясь всеми языками на свете... имеют до сих пор какое-то непонятное отвращение от славянского и печатают об этом всемирном народе так, что читать стыдно за них. Они никак не могут вразумиться, что общая история не может быть без славянской...» [Там же. С. 548–549]. И эти сведения, и эти мысли Гоголь накапливал и усваивал впрок...

В связи с погодинским «Письмом» одна оброненная Гоголем фраза имеет, кажется, практический смысл. Ему мало того, что он прочитал в журнале. «Мне бы хотелось на тебя поглядеть и послушать, послушать, что и как было в пути и что Немещина и немцы» [X, 378]. Не подумывал ли Гоголь о собственном дальнем путешествии – в Европу и в «Немещину»? Еще не было ни премьеры «Ревизора», ни вызванных ею бурных переживаний, с которыми обычно (впрочем, вслед за самим автором) связывают его отъезд за границу, комедия вообще не была еще написана, а Гоголь, опережая события, уже думает о следующем шаге... Это было в природе вещей, проистекало из особенностей его психики.

В журнальном ристалище

Интерес к истории, фольклору, языкознанию, этнографии, в том числе и в их славяноведческих аспектах, отвечал перспективе будущих произведений Гоголя. Но была одна отрасль, одна, так сказать, специальность, которая получила немедленную реализацию.



«Современник», 1836 г., т. I. Титульный лист

С начала 1836 г., параллельно с завершением «Ревизора» и подготовкой к его сценическому воплощению, разворачивается журналистская деятельность Гоголя. Фактически это было новое поприще, прибавившееся к прежним, в той или другой мере уже опробованным, – художника, актера, историка, преподавателя, что вновь свидетельствовало о многосторонности его дарования.

До сих пор литературно-критические выступления Гоголя носили спорадический характер. Регулярность критики требовала постоянной трибуны, которую он теперь получил. Гоголь сделался, хотя и на относительно непродолжительное время, систематическим критиком, литературным обозревателем *ex officio*, что было связано с предприятием Пушкина.

Около 14–15 января Пушкин получил известие о высочайшем разрешении на издание ежеквартального литературного сборника вроде знаменитого эдинбургского обозрения, и Гоголь, по его более поздним словам, «обещался быть верным сотрудником» [VIII, 422]. 21 февраля он сообщил Погодину о новом пушкинском журнале и о «живом участии» в нем Жуковского, Вяземского и Одоевского.

Какая же роль в «Современнике» выпала Гоголю? Впоследствии он описывал эту роль в сравнении с намерениями самого издателя:

Пушкин задал себе цель более положительную и близкую к исполнению. Он хотел сделать четвертное обозрение в роде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманые и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках... Впрочем сильного желанья издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей совести: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал... Моя же душа была тогда еще молода; я мог живой принимать к сердцу то, для чего он уже простыл» [VIII, 422].

Очень важно, что все это сказано Гоголем Плетневу (в специальном письме, озаглавленном «О Современнике», 1846), т. е. свидетелю описываемых событий, который в случае несогласия мог выступить с возражениями. Но Плетнев не возразил; еще раньше, в рецензии на «Сочинения Гоголя», он писал: «С появлением Современника он (Гоголь) принял в нем живое участие» [С. 1843. Т. 29. С. 408]⁵.

Оставляя в стороне трудноразрешимый вопрос, действительно ли Пушкин хотел отказаться от журнала, отметим более очевидное. По смыслу высказываний Гоголя выходит, что начало полемичности, задиристости, боевитости, журнальной отзывчивости, неакадемизма, что ли, было связано в «Современнике» прежде всего с его участием. И факты подтверждают это заявление. Гоголь рвался на журнальные ристалища, и такая возможность ему вскоре представилась.

В конце января – начале февраля Гоголь работает над большой статьей в жанре традиционного итогового обозрения «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». В первых числах марта пишет статью «Петербург и Москва» (около 9 марта с нею знакомится Пушкин, а 10-го она рассматривалась в цензуре). И еще заметки для раздела «Новые книги», чуть ли не сплошь составленного Гоголем. И все это пишется и готовится параллельно с доработкой «Ревизора».

Какие же качества почитает Гоголь необходимыми для журнала и для журналиста? Способом от противного это видно по

тому, чего он *не находит* в «Московском наблюдателе»: «...в журнале не было заметно никакой современной живости, никакого хлопотливого движения...» [VIII, 168]. Качества, которые должны быть присущи журналу, всецело соответствуют программе, выдвинутой Гоголем (по его позднему утверждению) перед Пушкиным.

При подчеркнутой боевитости литературная позиция Гоголя порою весьма диалектична, чужда прямолинейности. Замечательна тонкость и ясность решения им щекотливого вопроса о так называемом торговом направлении в современной литературе. Этот вопрос выдвинул Шевырев в программной статье «Словесность и торговля» [МН. 1835. Ч. 1. Кн. 1], где утверждалось, что художественным творчеством правит ныне дух наживы и спекуляции. На это Гоголь отвечал:

Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличились. Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики еще простоваты, выигрывают больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, в чем состоит обман, а не пересчитывать их барыши... Талант не искателен, но корыстолюбие искательно [VIII, 168–169].

Рассуждения Гоголя стоят пушкинского афоризма (из «Разговора книгопродавца с поэтом», 1825): «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать».

И вообще журнальная позиция Гоголя – свидетельство практичности и прагматизма. Вовсе не все его творческие устремления и общественные надежды сосредоточены на главном деле, каким стали «Мертвые души» или «Ревизор»; многое остается и помимо них и связано с повседневным, будничным трудом критика как оценщика художественных явлений и воспитателя читательского вкуса. В связи с этим Гоголь требует уважения к преданию и традициям, не принимает «литературное безверие и литературное невежество», сетует, что «это литературное невежество распространяется особенно между молодыми рецензентами» (а самому Гоголю всего 27 лет!), и т. д. Подобные заявления должны были понравиться Пушкину и его окружению, скажем, Вяземскому или В. Одоевскому, выступавшим за взвешенность, осмотрительность и научность критических суждений, неустанно обличавшим самонадеянность и вражду к просвещению («О вражде к просвещению,

замечаемой в новейшей литературе» – название статьи Одоевского, опубликованной во втором томе «Современника» за 1836 г.).

В целом же Гоголь необычайно высоко поднимает престиж критика – вопреки распространенному тогда (да и в более поздние времена) мнению о «вторичности» этого рода занятий: «Почти никогда не было заметно, чтобы критик считал свое дело важным и принимался за него с благоговением и предварительным размышлением...» [VIII, 173]. Поднимает до уровня художника, поэта: «...критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий» [VIII, 175].

Но вот 11 апреля первый том «Современника» вышел в свет [ОА. Т. 3. С. 312], и имени Гоголя под статьей «О движении журнальной литературы...» не оказалось. Причем, как выяснилось, до самого последнего момента, до напечатания основной части тиража, статья была подписанной⁶. В чем же дело?

Анализ черновой редакции статьи убеждает в том, что первоначально она писалась *не от имени Гоголя* и должна была быть опубликована за другой подписью или, скорее всего, анонимно. Этим, кстати, подтверждаются слова Гоголя о его участии в определении линии журнала. Именно с такой установкой приступал он к делу, и все сказанное им о необходимой живости и задиристости журнала приобретало не частное, но общее выражение. Это не рядовой рецензент или обозреватель так говорил, но облеченный редакторскими полномочиями, власть имущий.

В статье, имеющей редакционный характер, естественно то, что Гоголь многократно говорит о себе в третьем лице, причем иногда в контексте достаточно нескромном – как об одном из лучших современных русских писателей. Касаясь же «разбора Н. Гоголя» Сенковским, т. е. рецензии на «Миргород», он заявлял, что критиком двигали «зависть и желчь» [VIII, 525]. Подписывать своим именем статью с подобным утверждением Гоголь, конечно, не собирался (в окончательном тексте это место приобрело более общий вид, вне упоминания нападок Сенковского на произведения Гоголя [VIII, 160]).

Установка на внеличный, редакционный характер статьи заметна на протяжении всего текста, в большой мере эта установка сохранилась и в окончательной редакции. Гоголь рассуждает, отвлекаясь от личных связей и интересов, ставя себя порою в щекотливое положение по отношению к своим знакомым и друзьям.

Он, как мы уже упоминали, высказал весьма неприятные слова о «Московском наблюдателе». Правда, похожее он говорил и в письме к одному из руководителей журнала М. Погодину («Мерзавцы вы все московские литераторы... С вас никогда не будет проку ... ваши головы думают только о том, где бы и у кого есть блины во вторник, среду, четверг и другие дни» [X, 353]); но одно дело – дружеское подтрунивание и упрек, другое – публичная критика.

Еще одно суждение Гоголя могло бы смутить его московских друзей – суждение о Белинском, содержащееся в черновой редакции статьи: «В критиках Белинского, помещающихся в “Телескопе”, виден вкус, хотя еще не образовавшийся, молодой и опрометчивый, но служащий порукою за будущее развитие, потому что основан на чувстве и душевном убеждении. – При всем этом в них много есть в духе прежней семейственной критики, что вовсе неуместно и неприлично, а тем более для публики» [VIII, 533]. Слова эти вполне соответствуют в общем доброжелательному отношению Гоголя к критику, сложившемуся у него после статьи «О русской повести...». Гоголь оценил вдохновенный и яркий разбор Белинским повестей «Миргорода» и «Арабесок», разбор, к которому вполне подходили слова, что он «основан на чувстве и душевном убеждении» [см.: Гоголь: Труды и дни. I, с. 345]; в то же время он не удержался от упреков педагогического свойства в адрес молодого критика. И то и другое, т. е. и признание большого дарования Белинского и упреки в незрелости, нсобдуманности, односторонности, отвечали и пушкинскому отношению к критику, однако все это определенно не понравилось бы, скажем, Погодину или Шевыреву, для которых Белинский уже стал персоной нон грата.

(Трудно сказать, почему эти строки не попали в окончательный текст: решил ли Гоголь проявить бóльшую осторожность, или же инициатива исходила от Пушкина, не желавшего ссориться, как он говорил, с «Наблюдателями», т. е. с редакцией «Московского наблюдателя». Правда, позднее в «Письме к издателю» Пушкин восстановил гоголевскую оценку Белинского, усилив ее позитивную часть, но сделал он это дипломатически более осторожно – от лица стороннего автора, некоего А. Б. из Твери.)

Весьма щекотливое положение возникло у Гоголя как автора статьи и в связи с Ф. Булгариным. Мы уже касались сложного характера их отношений со времени знакомства, очевидно, с начала 1829 г. [Книга 1, с. 175 и далее]; говорили о сдержанном отклике Булгарина на «Вечера на хуторе...». Но тут Булгарин предпринял несколько неожиданный шаг – в «Северной пчеле» от 1 февраля

1836 г. (№ 26) по случаю второго издания «Вечеров на хуторе...» опубликовал в высшей степени сочувственную заметку о творчестве Гоголя вообще: «Гоголь первым своим появлением выказал необыкновенный талант и стал наряду с лучшими нашими литераторами. Его повести, неоспоримо лучшие народные повести в нашей литературе». Критик очень хвалит «повесть о ссоре» – лучшую в «Новоселье», тем самым корректируя позицию собственной газеты, где всего несколько месяцев назад П. М-ский (П.И. Юркевич) сетовал, что в этом произведении изображена «неопрятная картина заднего двора человечества» [Книга 1, с. 347⁷]. Рецензент «Северной пчелы» теперь берется защищать Гоголя от его врагов, полагая существование таковых вполне естественным явлением: «Талант Гоголя не мог не иметь завистников, и я помню, как в одном журнале, который подрядился хвалить своих сотрудников, с насмешкою спрашивали, кто этот Гоголь? Это был очевидный намек на Сенковского, который в разборе «Арабесок» не без ехидства замечал: «Мы, кажется, в первый раз встречаем в нашей словесности имя этого великого писателя?» [БЧ. 1835. Т. 9. Лит. летопись. С. 9]. Своего личного знакомства с Гоголем Булгарин не выдал; наоборот, представил дело так, будто ничего не слышал и не знал о новоявленном литераторе («мы спрашивали тогда: кто этот остроумный, милый рассказчик...») и основывается только на его произведениях⁸.

Все это означало, что Булгарин почувствовал в лице Гоголя сильного соперника и хотел бы его задобрить или по крайней мере нейтрализовать. Но Гоголь не принял этого жеста и в черновой редакции статьи отозвался о произведениях Булгарина довольно пренебрежительно («...нет верного изображения жизни, чисто русской природы...» [VIII, 547]). С точки зрения литературных отношений Гоголь проявил «неблагодарность», и понятно, что он писал все это, принимая во внимание, что имени его под статьей не будет. В окончательном варианте статьи характеристика произведений Булгарина была вообще снята, однако осталась в общем негативная оценка его изданий – «Северной пчелы» и «Сына отечества». Надо сказать, что в данном случае такая оценка вполне соответствовала журнальной позиции Пушкина, но она уже не совсем отвечала – в сложившейся литературной ситуации – интересам Гоголя.

Таким образом, со статьей «О движении журнальной литературы...» сложилось неординарное, достаточно сложное положение. Гоголь недвусмысленно выступал от имени всего издания и

при значительной общности взглядов, своих и Пушкина, придавал этим взглядам подчеркнуто полемический, задиристый тон, что не очень-то гармонировало с намерениями редактора. Вместе с тем указание на авторство Гоголя усложнило бы позицию редактора, т. е. Пушкина, в другом смысле: оно продемонстрировало бы, какое место занял у кормила журнала молодой писатель: ведь это была единственная проблемная, единственная итоговая, единственная, как сегодня сказали бы, масштабная статья.

Да и вообще по количеству представленных в журнале произведений Гоголь уступал только издателю: у Пушкина пять, у Гоголя три (не считая библиографических заметок), при этом из пушкинских вещей только одна была с его подписью («Путешествие в Арзрум»); гоголевские же – в случае сохранения его подписи под статьей – все являлись с его именем. И следовали три произведения одно за другим («Коляска», «О движении журнальной литературы...», «Утро делового человека»), создавая мощный гоголевский «пласт» в составе одного тома. Это не только вновь оттеняло значительную роль Гоголя в журнальной политике, но и могло пробудить впечатление царящего в редакции духа «семейственности», против которого выступал сам «Современник».

Можно представить себе, какую нелегкую работу задало все это Пушкину, что и выразилось в истории с гоголевской подписью.

Обычно эта история сводится к некоему однократному событию: мол, существовала подпись Гоголя, которая затем была снята редактором⁹, но случайно уцелела в считанном количестве экземпляров. На самом деле история эта имела по крайней мере *три стадии*: первоначально статья писалась как анонимная (или скрепленная вымышленным именем), затем решено было выставить подлинное авторское имя, и наконец, подпись сняли уже перед самым выходом тиража.

Между прочим, у Гоголя мотивов снять свою подпись было не меньше, чем у Пушкина, и поэтому, возможно, инициатива исходила именно от него. Один из этих мотивов уже многократно упоминался в научной литературе – нежелание лишний раз «дразнить гусей» накануне премьеры «Ревизора» (кстати, в том же первом томе журнала в примечании к анонимной библиографической заметке Пушкина сообщалось, что «на-днях будет представлена на здешнем театре... комедия “Ревизор”») [С. 1836. Т. 1. С. 312]. Правильнее, однако, связывать это решение не только с премьерой «Ревизора» и не только с «гусями»-недругами, но и с «гусями»-приятелями.

Н.И. Мордовченко обратил внимание на то, что «Пушкин в мае 1836 года при встречах с московскими литераторами не открыл авторства Гоголя» [Материалы, т. 2, с. 126], и, таким образом, ни Шевырев, ни Погодин, ни другие вполне расположенные к Гоголю лица не узнали, кто написал статью «О движении журнальной литературы...». В свете всего сказанного это понятно: Гоголь в своей статье наговорил много того, что было неприятно москвичам-литераторам, прежде всего кружку «Московского наблюдателя». И вообще ни в старой, ни в новой столице, ни в первые дни после выхода «Современника», ни позже «имя Гоголя как автора статьи “О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году” названо не было» [Материалы, 1954, с. 84]. Возможно, о его авторстве никто и не догадался – и это при яркой индивидуальности и неповторимой оригинальности гоголевского стиля! Все это могло быть результатом того, что и Пушкин и, конечно, Гоголь старательно берегли тайну.

При этом Пушкин не мог не сознавать, что особенности и литературной позиции и способа выражения Гоголя будут отнесены теперь всецело на счет редактора, и поэтому решил предпринять превентивные меры. Уже 14 апреля (в день, когда журнал пришел к петербургским читателям) Пушкин писал Погодину из Михайловского в Москву: «Журнал мой вышел без меня... Статья о Ваших афоризмах писана не мною, и я не имел ни времени, ни духа ее порядочно рассмотреть. Не сердитесь на меня, если Вы ею недовольны» [Пушкин, т. 10, с. 572]. Замечание это касалось другой гоголевской статьи, также появившейся анонимно, но оно невольно распространяло извинения редактора и на «Движение журнальной литературы...». Вскоре Пушкину придется специально объясняться по поводу этой статьи.

Горизонт общения

На рубеже 1835–1836 гг. общение Гоголя с окружающими по-прежнему протекало, так сказать, на двух уровнях: в кружке «однокорытников», оказавшихся в Петербурге питомцев нежинской Гимназии высших наук, и, как выразился Анненков, «за чертой круга».

А из дружеского круга ему по-прежнему были наиболее близки двое – А.С. Данилевский и Н.Я. Прокопович.

В положении Данилевского никаких особенных перемен не произошло. Чиновник Министерства внутренних дел, он так и не продвинулся по службе; у Данилевского чин последнего, 14-го класса; по сравнению с ним даже Гоголь, имевший чин 8-го класса, т. е. коллежского асессора, сделал карьеру.

Каких-либо творческих, литературных устремлений Данилевский не проявлял, хотя был знаком и встречался с писателями – не только с Плетневым, Жуковским и В. Одоевским, но и с Крыловым и Пушкиным.

Об обстоятельствах знакомства с Пушкиным Данилевский рассказывал гоголевскому биографу:

Однажды летом отправились они с Гоголем в Лесной на дачу к Плетневу, у которого довольно часто бывали запросто. Чрез несколько времени, почти следом за ними, явились Пушкин с Соболевским. Они пришли почему-то пешком с зонтиками на плечах. <...> Вскоре к Плетневу приехала еще вдова Н.М. Карамзина, и Пушкин затеял с нею спор. Карамзина выразилась о ком-то: «она в интересном положении». Пушкин стал горячо восставать против этого выражения, утверждая с жаром, что его напрасно употребляют вместо коренного, чисто русского выражения: она *брюхата*, что последнее выражение совершенно прилично, а напротив неприлично говорить: «она в интересном положении» [Шенрок, т. 1, с. 362–363].

Достоверность этого рассказа подкрепляется тем фактом, что выражение «брюхата» в самом деле обычно употреблялось Пушкиным и в бытовой речи, и в художественных текстах, хотя датировать этот эпизод более точно не представляется возможным¹⁰.

Что же касается Н.Я. Прокоповича, то он был теперь семейным человеком (женился он еще в 1833 г. на молодой актрисе Марье Никифоровне Трохневой), воспитывал сына Николая. Гоголь сожалел, что ему не довелось стать крестником своего маленького тезки.

Прокопович по-прежнему писал стихи; в 1835 г. он почти одновременно опубликовал две вещи: в «Библиотеке для чтения» (т. 8.) – «балладу» «Полнолуние» и в «Московском наблюдателе» (т. 2) – повесть в стихах «Своя семья».

Произведения Прокоповича были достаточно профессиональными, в стилистическом отношении вполне грамотными, но

не больше. Успеха они не имели; Белинский, например, в своем известном обзоре 1836 г. «Ничто о ничем...» отозвался о «Своей семье» уничтожающе: это «уродливая и грязная карикатура на поэзию» [Белинский, т. II, с. 49]. Но Гоголь, кажется, был другого мнения, сохраняя еще те надежды, которые пробуждало творчество Прокоповича в гимназическую пору. Интересная деталь: М. Погодин в том же самом «Письме из Петербурга», в котором сообщалось о новых гоголевских произведениях, завел речь и о Прокоповиче: «...поэта пророчат нам в молодом Прокоповиче, которого примечательная баллада помещена в “Библиотеке”» [МН. 1835. Ч. 1. Кн. 2. С. 446; датировано 11 марта]. Уж не со слов ли Гоголя, с которым Погодин виделся в столице в феврале – марте 1835 г., сделано это «пророчество»?

Вообще Гоголь постоянно тормозил своего друга, побуждал его к деятельности. Уже после отъезда Гоголя за границу, 10 июля 1836 г., Прокопович получил место учителя русского языка и словесности в Первом кадетском корпусе в Петербурге.

Кружок нежинцев собирался и в последние месяцы пребывания Гоголя на родине. А.Н. Мокрицкий фиксирует в своем дневнике встречи, имевшие место 26 марта и затем 28 мая 1836 г., за несколько дней до отъезда писателя, причем присутствовало в этот день восемь человек [Мокрицкий, с. 76, 77].

Гоголь с интересом следит за судьбою своих однокашников; ему приятно, что он опередил их всех. Он ощущает свою жизнь как художественное произведение или, говоря современным языком, как некий большой текст, в котором есть главные герои: помимо Данилевского и Прокоповича, еще Базили, Кукольник, Мокрицкий: «все это родственники, которые будут интересоваться нас в продолжение всей нашей жизни». «Но и второстепенные лица в этом романе также необходимы»; к ним Гоголь относит, в частности, окончившего нежинскую Гимназию четырьмя годами позже Николая Федоровича Данченко и Жюля [XI, 85–86].

Жюль – это Жюль Жанен; этим именем Гоголь наделил Павла Васильевича Анненкова. «Надо сказать, – пояснял Анненков, – что... он дал всем своим товарищам по Нежинскому лицей и их приятелям прозвища, украсив их именами *знаменитых* французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Балзаки и даже один скромный приятель... именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюль Жанена, под которым и состоял до конца» [Анненков, 1983, с. 46–47]. Подчеркнутое мемуаристом слово «знаменитых»

выдает тайные мотивы этой карнавализации: Гоголь наслаждался эффектом многократного превращения – не только русских во французов, мужчин в женщин, но и мало кому известных лиц в литературных знаменитостей.

Среди знакомых и однокашников Гоголя поспорить с ним славою мог, пожалуй, лишь Нестор Кукольник. Мы уже касались (в первом томе этого труда) достаточно сложных отношений двух писателей, проистекавших из различия их художественных позиций. Однако традиционно эти противоречия представляются чуть ли не как вражда, а то и открытое преследование Гоголя со стороны Кукольника. Характерно относящееся к 1887 г. суждение знаменитого художественного критика В.В. Стасова: «...как же и ненавидели этого постыдного Гоголя Кукольник со всею своею приличною и образованною оравой – с Булгариным, Сенковским и иными!» Кукольник «захаял с ненавистью и забраковал с презрением литературного Гоголя» [Стасов, 1954, с. 305, 312]. Подобное мнение умозрительно выводится из литературной ситуации, из «расстановки сил»: известно, что Сенковский бранил Гоголя и хвалил Кукольника; следовательно, оба они, Сенковский и Кукольник, были заодно...

На самом деле все складывалось иначе. Кукольнику случилось косвенно и защищать Гоголя от Сенковского. Так, однажды он уличил критика в прямой фальсификации гоголевского текста. В рецензии на «Арабески» Сенковский издевался над статьей «Об архитектуре нынешнего времени»: мол, в ней содержится описание Египта, «помавающего *тонкими пальцами, жилищами своих равнин...*» [БЧ. 1835. № 3. Отд. 6. С. 12]. А в действительности, как указал Кукольник, речь шла о *пальмах*! Эти «пальмы» «были умышленно обращены Т. Оглу (Тютюнджи Оглу – один из псевдонимов Сенковского. – Ю. М.) в *пальцы* и послужили к обвинению г. Гоголя в нелепости» [СП. 1835. № 159. 19 июля].

Правда, Кукольник, если верить И. Панаеву, неодобрительно отозвался о гоголевском «Ревизоре»: мол, «это фарс, недостойный искусства». Однако говорил он это, «не отрицая таланта в Гоголе» [Панаев, с. 173]. Во всяком случае, в печати Кукольник ничего подобного себе не позволял. Наоборот, он свидетельствовал свое признание драматургии Гоголя, включая, конечно, и «Ревизора». Чуть позже в обозрении отечественного театра Кукольник писал: «Русская сцена приятно, но мгновенно оживилась появлением комедии Гоголя. Не знаю, с каким намерением и по каким причинам г. Гоголь оставил театральное поприще. Ко-

дия: “Выбор жениха” или, может быть, под другим заглавием, давно и вполне оконченная, осталась в портфеле автора, и за эту скромность можно простить г. Гоголю только в таком случае, если он возвратится на сцену с произведениями, каких можно и должно ожидать от такого таланта» [РВ. 1841. Т. 1. С. 210]. Сказано достаточно определенно.

Вообще свидетельство И. Панаева нужно воспринимать с поправкой на недоброжелательное отношение его к Кукольнику, о чем писал знавший их обоих А.Н. Струговщиков: «Нестор Кукольник был от природы мягок и добр при всех своих слабостях. Панаев это знал, но игнорировал и довел свои памфлеты до ухарства. Кукольник отвечал немногими знаменательными словами: “Гласность – дело святое, но есть люди, ведущие себя дурно и в церкви”» [РС. 1874. Апрель. С. 702–703].

Далее мемуарист набрасывает довольно колоритный портрет Кукольника со всеми его противоречиями и слабостями. Кукольник (как мы помним, еще в Гимназии поражавший всех своими успехами) «обладал эрудицией университетской, был хорошим энциклопедистом». Щедро наделен он был и «фантазией», однако «не он ею, а она, шаловливая, владела им. К тому же склонность писать скоро, без оглядки, большею частью из-за гонорария, заглушала в нем любовь и целомудрие поэта». «Как импровизатор, как веселый и остроумный собеседник, он стоял несравненно выше себя как литератора. Прибавьте к этому его редкое добродушие, своеобразные приемы, детскую веселость, вызывавшую иногда смех до слез... – и все это без салонных стеснений, все нараспашку, как любят художники, – и вы получите объяснение тесного и продолжительного сближения Глинки с Нестором Кукольником» [Там же. С. 704]. И не только Глинки: Кукольник тесно сошелся и с Карлом Брюлловым, когда тот в конце мая 1836 г. приехал в Петербург.

Под стать манере поведения Кукольника была и его внешность, очень эффектная, отвечавшая массовому представлению о том, как должен выглядеть художник. Недаром Варвара Петровна в романе Достоевского «Бесы», будучи воспитанницей Московского благородного пансиона, влюбилась в портрет Кукольника, который она хранила всю жизнь «в числе самых интимных своих драгоценностей»...

А вот облик Кукольника, увиденный реальным лицом, романтиком и к тому же характерным представителем женской литературы – Еленой Андреевной Ган (печатавшейся под псевдо-

нимом *Зенеида Р-ва*). В Петербурге, где Ган проживала с весны 1836 г. по май 1837 г., на художественной выставке «один юноша» привлек все ее внимание. «Очень высокий, очень худой, ни дурен, ни хорош, но было в нем нечто особое... Маленькое, бледное лицо; только черные большие глаза поразили меня необыкновенным выражением; да еще что среди тысячи завитых голов его волосы, длинные, черные, свободно развевались вокруг головы. Много тут было вельмож в звездах и лентах и все подходили к нему и жали ему руки... На нем видна печать гения!» [РС. 1887. № 3. С. 751]. Это был, конечно, Кукольник. О нем (согласно другому мемуаристу) в начале 1830-х годов «ходили самые разнообразные слухи и всегда с прибавлением чего-нибудь поэтического. Говорили, что он красавец собой, что многие женщины и девы заочно влюблялись в него и что он был героем самых романтических приключений» [Инсарский, с. 71].

Невольно вспоминаются гоголевские слова из «Мертвых душ» о писателе, избравшем своим предметом одни «возвеличенные образы»: «При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах... Нет равного ему в силе – он Бог!»

Между тем этот бог отличался нервическим характером, страшной неуверенностью, перепадами настроения – все это проявилось еще в Нежине, во время пребывания в Гимназии высших наук. Теперь к этому прибавилось пристрастие к зеленому змию, которое он делил с Брюлловым и другими членами его кружка. Гоголь знал обо всем этом: «...Брюллов известный пьяница, а Кукольник, вероятно, желая тверже упрочить свой союз с ним, ему начал подтягивать, и так как он природы несколько слабый, то, может быть, и чересчур перелил» [XI, 148].

Не по этой ли причине задержался выход «Художественной газеты», которую Кукольник задумал издавать с конца лета 1836 г.? (По выходе первого номера было объявлено, что опоздание объясняется «тяжкой болезнью редактора» – с. 20.) Гоголь, к слову сказать, интересовался этой газетой; будучи за границей, сетовал, что Прокопович не прислал из нее «кусочек»: «это было бы приятно» [XI, 85].

Надо заметить, что пути обоих писателей пересекались не часто. Кукольник бывал у Гоголя, Гоголь – у Кукольника, но оба принадлежали к различным литературным и художественным кругам. Кукольник – к кружку Брюллова и Глинки, в который входили еще портретист Я.Ф. Яненко, поэт и переводчик

А.Н. Струговщиков; но Гоголь в этом кружке не бывал. В свою очередь, Кукольник редко появлялся в окружении Пушкина. Не видно было его и на субботах у Жуковского – пожалуй, в то время (говоря современным языком) самом престижном литературном собрании.

Жуковский жил в той части Зимнего дворца, которая называлась Шепелевским домом и которую позднее занял Эрмитаж. Сюда по субботам приходили Пушкин, Крылов, Вяземский, В. Одоевский, М. Виельгорский, Плетнев, Соболевский... «Еще многочисленнее было молодое поколение талантов» [Плетнев, 1853, с. 97]. Среди последних – Тепляков, Бенедиктов, Краевский... Бывал здесь и М. Глинка; по его воспоминаниям, на субботних встречах иногда «пели, играли на фортепьяно...» [Глинка, 1930, с. 153]. Но чаще читали новые произведения. Читал и Гоголь, который был завсегдатаем этих встреч. По отъезде за границу он проникновенно напишет Жуковскому: «...я всегда буду возле вас. Каждую субботу я буду в вашем кабинете, вместе со всеми близкими вам. Вечно вы будете представляться слушающим меня читающего. Какое участие, какое заботливо-родственное участие видел я в глазах ваших!...» [XI, 48].

Как мы уже знаем, 18 января 1836 г. Гоголь впервые прочел здесь в присутствии Пушкина «Ревизора» – и читал, по-видимому, не один раз. Читал он и «Женитьбу», о чем мы узнаем от одного из слушателей [Глинка, 1930, с. 153]. Было это до мая 1835 г.¹¹ Вероятно, об этом же чтении говорил В. Соллогуб, ошибочно приурочивая его не к субботе, а к пятнице: «Я помню, что он читал ее (“Женитьбу”) однажды у Жуковского в одну из тех пятниц, когда собиралось общество (тогда немалочисленное) русских литературных, ученых и артистических знаменитостей. При последних словах: “Но когда жених выскочил в окно, то уже...” он скорчил такую гримасу и так уморительно свистнул, что все слушатели покатались со смеху» [Воспоминания, с. 77–78].

Читал Гоголь и повесть «Нос», и было это 4 апреля 1836 г., как свидетельствует написанное спустя четыре дня письмо Вяземского А.И. Тургеневу: «Субботы Жуковского процветают... Один Гоголь, которого Жуковский называет Гоголек... оживляет их своими рассказами. В последнюю субботу читал он нам повесть об носе... Уморительно смешно! Много настоящего humor» [ОА. Т. 3. С. 313–314].

А вот собрания у Жуковского с точки зрения человека постороннего – Ф.Ф. Вигеля, чувствовавшего себя здесь, по его соб-

ственному выражению, как среди врагов. «Нынешнею зимою (т. е. зимою 1835–1836 гг.) он (Жуковский) по субботам собирал у себя литераторов, и я иногда являлся туда как в неприятельский стан. Первостепенные там князья Вяземский и Одоевский и г. Гоголь. Всегда бывал там и Пушкин...» [РС. 1902. Июль – август – сентябрь. С. 100]¹².

В связи со знакомством Гоголя с Михаилом Глинкой надо упомянуть еще об одном важном событии. Как раз в это время, параллельно с написанием и доработкой «Ревизора», создавался другой шедевр – опера «Иван Сусанин». Роль покровителя и ходатая перед властями и там и здесь играло одно и то же лицо – граф М. Виельгорский. О его роли в судьбе «Ревизора» мы скажем позже; сейчас речь об опере Глинки. 26 февраля 1836 г. композитор «явился к Михаилу Юрьевичу и просил его ходатайства о постановке пьесы на сцене Большого театра». А 10 марта в доме Виельгорского состоялась первая репетиция оперы, дирижировал сам Глинка. «Когда пьеса была окончена и зал огласился дружными рукоплесканиями, он просиял... “Это *chef-d’œuvre!* – говорил граф Михаил Юрьевич. – После “Фенелы” и “Роберта” страшно сочинять оперы... Опера же Глинки замечательна своею оригинальностью. От начала до конца она носит на себе характер исключительно русско-польский. А это не безделица!”» [ИВ. 1885. Февраль. С. 368; приведенный рассказ записан со слов очевидца – А.Д. Комовского, занимавшего должность библиотекаря у М. Виельгорского].

Среди тех, кто был на репетиции, Гоголь не упоминается. Но он, конечно, знал о ней; хотя бы от того же Виельгорского. И когда 27 ноября 1836 г. состоялась премьера оперы, то не присутствовавший на ней Гоголь (он уже находился за границей) мог откликнуться как человек вполне сведущий. «Об энтузиазме, произведенном оперою “Жизнь за царя”, и говорить нечего: он понятен и известен уже целой России». Бросается в глаза, что логика мысли Гоголя сходна с высказыванием Виельгорского: писатель также рассматривает достижения Глинки на фоне того высокого уровня, который установлен «Фенелой» и «Робертом»; и он также видит в «Иване Сусанине» русско-польский колорит: Глинка «счастливо умел слить в своем творении две славянские музыки; слышишь, где говорит русский и где поляк...» [VIII, 183, 184].

Где еще бывал Гоголь в последние месяцы пребывания в Петербурге? У Краевского, который, в свою очередь, был вхож в гоголевский кружок. 3 января 1836 г. Мокрицкий записывает, что

«вечер провел у Краевского. Там было довольно молодежи, был и Гоголь, всякую всячину рассказывал, множество анекдотов, очень замысловатых» [Мокрицкий, с. 63].

Заходил Гоголь и к Плетневу. 5 февраля 1836 г. тот же автор записывает: «Вечером, после класса, пошел к Плетневу. Там был Никитенко с женой, Гоголь, Краевский, Семен Данилович (Шаржинский), Прокопович и Тепляков. Последний много рассказывал про свой вояж в Грецию и, между прочим, много анекдотов, довольно смешных» [Там же. С. 71].

Никитенко же Гоголь передал две свои книги с дарственной надписью: «Ревизор» («Александр Васильевичу Никитенко. От Гоголя») и «Арабески» (на обороте обложки первой части: «Земляку и сослуживцу Александру Васильевичу Никитенку [так!] от искренно почитающего Гоголя»). Публикатор этого документа Г.И. Колосова поясняет: «Можно предположить, судя по обращению “сослуживцу”, что запись сделана не позднее 1835 года, так как 31 декабря Гоголь был уволен с должности адъюнкта» [Материалы, 2009, с. 101].

Посещал Гоголь и конференц-секретаря академии Василия Ивановича Григоровича, с которым был знаком еще с того времени, когда занимался в классах этой академии. По словам В. Стасова, «дом Григоровича был в те времена (в 30-х и 40-х годах) чем-то вроде очень значительного и очень влиятельного художественного центра в Петербурге. Там собирались часто все наши художественные знаменитости. Там бывали и Пушкин, и Жуковский, и князь Вяземский, и Гоголь ... и Крылов, и Струговщиков, и множество всяких литераторов того времени, между прочим Кукольник, Сенковский, Греч, Булгарин, но вместе с тем бывала там вся Академия художеств...» [Стасов, 1954, с. 301].

Наконец, еще одно лицо, которое посещал Гоголь, – Василий Николаевич Семенов (1801–1863), окончивший Царско-сельский лицей, потом служивший офицером Карабинерского и лейб-гвардии Павловского полков, потом – чиновником Министерства народного просвещения, а в 1830–1836 гг. занимавший должность цензора Петербургского цензурного комитета. В связи с цензорскими обязанностями Семенова, возможно, и состоялось его знакомство с Гоголем: 10 ноября 1834 г. он разрешил к печати «Арабески». Но виделись они и раньше – 19 февраля 1832 г. на уже известном нам обеде у Смирдина. Семенов сидел между Н. Гречем и Ф. Булгариным, что дало возможность Пушкину сравнить его с Христом на Голгофе...

С Семеновым связана версия об одном неизвестном произведении Гоголя.

В 1860 г. в петербургской газете «Русский мир» (№ 97. С. 618–619) за подписью «ред.» (редактором был в это время А.С. Гиероглифов) появилась заметка «О ненапечатанном рассказе Н.В. Гоголя “Прачка”»¹³. Здесь говорилось, что в одно из своих «посещений, когда у г. Семенова было несколько человек гостей, Гоголь принес свою “Прачку”, написанную на нескольких почтовых листочках, и читал ее вслух. Живой и веселый юмор этого рассказа заставлял слушателей хохотать до слез; но, к несчастью, некоторая бесцеремонность и двусмысленность выражений была причиной того, что рассказ не мог быть признан тогда удобным к печати. Гоголь хотел было уничтожить рукопись, но г. Семенов попросил ее у него себе на память». «При отъезде из Петербурга он подарил ее своему родственнику Н.Н. Терпигореву. Тот уехал в свою тамбовскую деревню и увез с собой рукопись. Это подтверждается тем, что сын Н.Н. Терпигорева С.Н. Терпигорев, студент здешнего университета, читал эти листочки в деревне отца и даже помнит содержание “Прачки”».

(Заметим в скобках, что Сергей Николаевич Терпигорев – известный писатель, печатавшийся под псевдонимом «Атава»; он действительно родился в Тамбовской губернии, в помещицком имении Никольское; до 1862 г. учился на юридическом факультете Петербургского университета и в бытность свою студентом мог встретиться с редактором «Русского мира» и поведать ему эту историю.)

Далее следует содержание гоголевского рассказа, записанного, по уверению Гиероглифова, «с его, т. е. С.Н. Терпигорева, слов».

Действующие лица рассказа – петербургский чиновник и прачка, моющая на него белье; при сдаче прачкой вымытого белья не оказывается одной штуки; чиновник требует ее; прачка обижается и между ними происходит перебранка; оскорбленное самолюбие прачки доходит до высшей степени, сыплются крупные слова, колкости и т. п., чиновник требует своей штуки, прачка говорит, что у нее нет никакой его *штуки* и чтобы он лучше поискал ее у себя в *белье*.

К сожалению, это пока единственное известное нам сообщение о подобном рассказе, не подтверждаемое другими источниками, хотя многое в этом произведении вполне в духе Гоголя, прежде

всего неожиданная потеря, которая приводит к игре слов весьма фривольного толка. Вспомним частного пристава из повести «Нос», заявившего майору Ковалеву, что «у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких маиоров, которые не имеют даже исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам». Имеет свое объяснение и тот факт, что Гоголь читал рукопись Семенову, желая ее апробировать (или заручиться поддержкой) перед лицом цензора¹⁴.

Путь на сцену

Но вернемся к «Ревизору», который между тем начал свой путь на театральные подмостки, к зрителям. 27 февраля пьесу отправили в III отделение собственной Его императорского величества канцелярии, поскольку оно ведало театральной цензурой. В сопроводительном письме управляющий конторой императорских Санкт-Петербургских театров А.Д. Киреев просил «по надлежащем рассмотрении» вернуть пьесу «в контору по возможности в скорейшем времени с уведомлением, может ли таковая представлена на здешних театрах» [Материалы, т. 1, с. 309]. Предметом рассмотрения стал и отзыв цензора Ольдекопа, который, в частности, отмечал (подлинник на французском языке): «Эта пьеса остроумна и великолепно написана. Автор принадлежит к известным русским писателям». И затем, после пересказа содержания, следовал вывод: «Пьеса не заключает в себе ничего предосудительного» [Дризен, с. 41–42].

Заметим, кстати, что Евстафий (Август) Иванович Ольдекоп (1786–1845) был профессиональным литератором. Воспитанник Дерптского университета, он редактировал «С.-Петербургские ведомости» и «St.-Peterburgische Zeitung». Известно, что с Гоголем они по крайней мере однажды встречались – 19 февраля 1832 г. на знаменитом смирдинском обеде. Однако столь благоприятному отзыву Ольдекопа о «Ревизоре» содействовали другие обстоятельства...¹⁵

Резолюция была получена буквально на четвертый день после отправки пьесы: на рапорте Ольдекопа А.Н. Мордвинов, в ту пору управляющий III отделением, написал: «Позволить.

2-го марта 1836»¹⁶. Цензура ограничилась минимальными исправлениями: кроме упоминаний о церкви и святых, были сняты слова об офицерской жене, изменена фраза об ордене Владимира [Материалы, т. 1, с. 311]. Все это было в порядке вещей, никак не выходило за пределы принятого: драматическая цензура «не позволяла касаться военных, чиновников, полиции», «вступалась за отдельные сословия и корпорации»; «беспокоилась она также о частных лицах, носящих более или менее громкие фамилии»; «упоминание их, в качестве действующих лиц пьесы (иногда самой невинной), часто служило мотивом запрещения этой пьесы» [Дризен, с. 5]¹⁷.

Рукопись последовала к автору, а затем к Храповицкому как инспектору русской труппы, осуществлявшему постановку пьесы.

Столь благоприятное развитие событий объяснялось очень просто: решение допустить пьесу к представлению исходило от самого царя. Об этом по свежим следам событий Гоголь упомянул в письмах трижды: 29 апреля 1836 г. Щепкину («Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее»), 5 июня того же года матери («Если бы сам государь не оказал своего высокого покровительства и заступничества, то вероятно она не была бы никогда играна или напечатана»), наконец 18/6 апреля 1837 г. Жуковскому («...Мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал к моему Ревизору») [XI, с. 38, 47, 98]. Последнее свидетельство особенно весомо: ведь оно адресовано тому, кто сам был свидетелем цензурной истории комедии.

Но есть, кроме того, и документальное подтверждение решающего участия царя – этот документ был найден совсем недавно И.А. Зайцевой в делах III отделения. Когда в 1843 г. Дирекция императорских санкт-петербургских театров представила в театральную цензуру дополненный автором текст «Ревизора», то цензор М.А. Геденон сделал заключение: «Сама сия комедия могла поступить на сцену *только вследствие высочайшего разрешения*, а потому нельзя дозволить никаких перемен и прибавок к оной». И Дубельт (который был уже управляющим III отделения и, следовательно, имел прямое отношение к делу) наложил резолюцию: «Нельзя» [Зайцева, с. 125–126; см. также: Гоголь, ак., т. 4, с. 594].

Весть об августейшем покровительстве «Ревизору» широко распространилась в русском обществе. Л.Л. Леонидов, в то время воспитанник училища при Александринском театре, писал, что

«Ревизор» «был пропущен с высочайшего разрешения» [РС. 1888. № 4. С. 227].

Как же реально развивались события? Наиболее полную картину рисует историк петербургских театров:

Гоголю... большого труда стоило добиться до представления своей пьесы. При чтении ее цензура перепугалась и строжайше запретила ее. Оставалось автору апеллировать на такое решение в высшую инстанцию. Он так и сделал. Жуковский, князь Вяземский, граф Виельгорский решились ходатайствовать за Гоголя, и усилия их увенчались успехом. «Ревизор» был вытребован в Зимний дворец, и графу Виельгорскому поручено было его прочитать. Граф, говорят, читал прекрасно; рассказы Бобчинского и Добчинского и сцена представления чиновников Хлестакову очень понравились, и затем по окончании чтения последовало высочайшее разрешение играть комедию [Вольф, ч. 1, с. 49].

Итак, вначале было официальное (и даже «строжайшее») запрещение комедии цензурой... Такая версия действительно бытовала среди современников. П.П. Каратыгин, со слов своего отца П.А. Каратыгина, сообщал, что комедия была, «по слухам, запрещена цензурою, но дозволена к представлению самим государем...» [ИВ. 1883. № 9. С. 735]. Столь же определенно выразился другой анонимный современник-«референт», чьи воспоминания появились на немецком языке: «*Die Censur hat das Stuck verboten, der Kaiser aber erlaubt...*» («Цензура произведение запретила, а царь разрешил...») [St.-Peterburgische Zeitung. 1875. S. 224; перепечатано в кн.: Шенрок, т. 3, с. 32]. Но логичнее предположить другой ход событий.

До запрещения пьесы дело просто еще не дошло. Высказывались лишь предварительные мнения, выражались опасения. Р. Зотов употребляет такое выражение: «Долго затруднялась цензура в пропуске “Ревизора” к представлению, но воля государя все решила» [ИВ. 1896. Декабрь. С. 786]. «Затруднялась» еще не означает «запретила». Заметим, что Рафаил Михайлович Зотов (1795 или 1796–1871) в силу своих обязанностей начальника репертуарной части был довольно осведомленным человеком. По его словам, он «всеми своими силами содействовал постановке» и имел «от него (Гоголя) автографы и книги его сочинения, которые он мне подарил» [Там же. С. 785].

Впрочем, возможно, что голоса недоброжелателей раздавались и в самой театральной среде, в дирекции. Мы помним фразу

Гоголя, что «уже находились люди, хлопотавшие о запрещении» пьесы. По свидетельству Н.Н. Мундта, претензии к «Ревизору» высказывал А.И. Храповицкий, тот самый, который шесть с лишним лет назад забраковал Гоголя в качестве актера: «Да, да... я точно ошибся, что он ни к чему не способен; но утверждаю, что он все-таки был бы скверный актер. Да и в “Ревизоре” есть гадости, например, где говорится о монументах и о поднятии рубашонки... ну, на что это похоже...» [Воспоминания, с. 69]. О сдержанном – если не больше – отношении Храповицкого к комедии рассказывает и П.П. Каратыгин, со слов своего отца П.А. Каратыгина: во время генеральной репетиции тот, «пощипывая усы, во многих сценах ехидно улыбался и пожимал плечами» [Каратыгин, 1883, с. 736].

Александр Иванович Храповицкий выполнял в театре охранительные функции; по словам актера Н.И. Куликова, он и Мезьер – инспектор французской труппы – «были как квартальные надзиратели приставлены, чтобы смотреть за порядком и тишиною между мелкими авторами» [РС. 1882. Август. С. 457]. Правда, утверждать, что именно Храповицкий оказывал противодействие «Ревизору», мы не можем, тем более что Гоголя уже нельзя было отнести к числу «мелких авторов». Но факт тот, что такое противодействие уже возникло, хотя оно – не менее важно! – еще не вылилось в определенное решение, т. е. в цензурный запрет.

В самом деле: имеющиеся в нашем распоряжении документы говорят об *однократном* обращении в цензуру, на которое последовал определенный и очень скорый ответ. Все остальное если и имело место, то за кулисами, неофициально. Предотвратить запрет было гораздо легче, менее рискованно, чем потом добиваться его отмены, и это отлично понимали покровительствовавшие Гоголю люди – Жуковский, М. Виельгорский и другие, решившие вмешаться заблаговременно. Понимал это и Гоголь, отличавшийся замечательной практичностью в устройстве судьбы своих произведений, и возможно, инициатива исходила от него (именно таким образом поступит он позднее в связи с публикацией первого тома «Мертвых душ»: вначале позондирует с помощью И.М. Снегирева почву в Московском цензурном комитете, а потом, опасаясь запрета, отошлет рукопись в Петербург).

Если бы этого не было, то еще неизвестно, как бы сложилась судьба пьесы. Конечно, император мог отменить любое решение цензуры, но это означало бы отступить от принятого ведения дел, чего он как раз и не хотел, добиваясь соблюдения существующих в

стране правовых и служебных установлений: «Государь Император неоднократно повелевал: *чтобы изъятий из законов никогда и ни для кого не делать*», – сообщал именно Гоголю, правда по другому поводу, директор санкт-петербургских театров А.М. Геденон (об этом ниже). Кроме того, отмена цензурного запрета означала бы создание нежелательного прецедента.

Теперь о том, как пьеса попала к Николаю I. Вяземский в письме А.И. Тургеневу от 8 мая 1836 г. говорит о том, что царь «читал ее в рукописи» [ОА. Т. 3. С. 317], но это означает скорее всего то, что пьеса стала известна ему еще тогда, когда *существовала в рукописи*. Услышал же он «Ревизора» в чтении Виельгорского, как это подробно передает Вольф на основе рассказов современников. Актер Федор Алексеевич Бурдин (1826–1887) в своих воспоминаниях также говорит о чтении комедии вслух, правда, в качестве теща называет не Виельгорского, а Жуковского [ИВ. 1886. Т. XXIII. С. 145–146]. Еще в качестве ходатая перед царем фигурирует Вяземский [Вольф, ч. 1, с. 49], что, очевидно, соответствует действительности – как и участие Жуковского¹⁸. Однако представляется, что главную роль, как это следует из рассказа Вольфа и замечания А.О. Смирновой («...Вьельгорский узнал... от Жуковского и доложил государю» [Смирнова, 1989, с. 496]), довелось сыграть именно Виельгорскому. Для этого у него были необходимые условия.

Михаил Юрьевич Виельгорский (другое написание фамилии: Вьельгорский, 1788–1856) не только слыл крупнейшим меценатом, обладавшим связями и влиянием при дворе¹⁹, но имел непосредственное отношение к театральному делу – он был членом Комитета императорских театров. «По штату театральной дирекции 13 ноября 1827 г. положено было, чтобы все пьесы, поступающие на сцену, были рассматриваемы в комитете литераторов и драматургов, к которым присоединялись бы и лучшие актеры». Правда, члены Комитета «собирались очень редко», с 1827 по 1833 г. ни разу; но «новый директор», т. е. А.М. Геденон, «стал созывать эти собрания», которые обычно «бывали по субботам» [Зотов, 1860, с. 108]. Во всяком случае, Виельгорский для разговора с царем мог воспользоваться своим правом как члена названного Комитета.

Надо учесть еще, что общение Виельгорского с царской фамилией часто происходило, так сказать, на театральной почве. «В тридцатых и сороковых годах бывали иногда у императрицы небольшие домашние концерты», во время которых «граф

М.Ю. Вьельгорский играл на виолончели», «А.Ф. Львов на скрипке», «а для государя самого была назначена партия на трубе...» [Корф, с. 48]. Баронесса М.П. Фредерикс, бывшая фрейлиной императрицы, свидетельствует: М.Ю. Виельгорский «занял при дворе совершенно исключительное место друга дома; не проходило дня, чтобы он не был приглашаем к их величествам или к столу, или к вечернему собранию, или сопровождал их в театр» [ИВ. 1898. Январь. С. 81]. Все это создавало благоприятные условия для разговора с царем.

Остается еще сказать о денежном вознаграждении за пьесу. Гоголь выбрал единовременную оплату, а не поспектакльную. Таким образом, 9 марта ему было выдано 2500 рублей, дирекция же получила право давать комедию на петербургской и московской сценах [Тихонравов, 1886, с. 84].

Выплата гонорара сопровождалась деталями, небезынтересными для характеристики Гоголя. Зотов как свидетель происходящего вспоминал:

Гоголь был человек образованный и самых благородных правил, но чрезвычайно щекотлив и самолюбив. Когда дошло до платы за «Ревизора», он непременно требовал, чтоб ему выдана была сумма, как бы за пьесу *в стихах*. Как ни убеждали его, что дирекция не имеет права нарушать высочайше утвержденного штата, он почел себя обиженным и всем жаловался на то, что дирекция не умеет ценить его дарования [Зотов, 1860, с. 105].

Опубликованная недавно копия письма А.М. Гедеонова Гоголю от 7 марта полностью подтверждает это свидетельство [см.: Зайцева, с. 120–122].

Глава петербургской дирекции сообщал Гоголю, что он не имеет возможности перевести пьесу из одного класса в другой, оплачиваемый более высоким гонораром, так как положение о классификации утверждено императором, неоднократно повелевавшим, «чтобы изъятий из законов никогда и ни для кого не делать». Далее в довольно резкой форме он напоминал Гоголю, что «до сего времени все г.г. авторы и переводчики беспрекословно довольствовались наградою – и никто из них еще не исчислял Дирекции *барышей*, более или менее получаемых...». Возражал Гедеонов Гоголю и в том, «что русская драматическая литература будто бы была в столь бедном и ничтожном [?] положении» и что «со времен Фонвизина» «Ревизор» «будет первым оригинальным произведением на нашей сцене».

Очевидно, что Гедеонов воспроизводит содержание не дошедшего до нас гоголевского письма в дирекцию. Выделенное курсивом слово «барыши», возможно, заимствовано у автора «Ревизора», не чуравшегося довольно резких обвинений дирекции. Параллель с Фонвизиным также проведена самим Гоголем и соответствовала и его самоощущению и мнению близких к нему людей (вспомним пушкинскую фразу из заметки о втором издании «Вечеров на хуторе...», появившейся как раз перед премьерой комедии: «Как изумились мы... не смеявшиеся со времен Фонвизина»). Обращает на себя внимание и апелляция Гоголя к мнению общества, которое, мол, осудит дирекцию за недооценку «Ревизора», на что Гедеонов заметил, что он действует в строгом соответствии с законом.

Остается еще добавить: несмотря на то что гонорар драматурга (2500 рублей) был достаточно высок, в общей сумме он существенно проиграл [см.: Зайцева, с. 123]. Вряд ли Гоголь, умевший высчитывать не только чужие, но и свои «барыши», этого не признавал. Существовало, очевидно, обстоятельство, заставившее его предпочесть единовременную оплату перспективной. Это обстоятельство – задуманный отъезд за границу... Но до этого еще предстояла премьера в Александринском театре.

Перед премьерой

В связи с другой, более поздней премьерой, московской, Гоголь намеревался первым делом прочитать комедию актерам, «потому что ежели они прочтут без меня, то уже трудно будет переучить их на мой лад» [XI, 35]. По-видимому, именно так поступил Гоголь и в Петербурге.

Работа над пьесой началась в Великий пост с авторского чтения у Сосницкого. Ивану Ивановичу Сосницкому «Ревизор» сразу же понравился, чего нельзя сказать о большинстве актеров. Авдотья Яковлевна Панаева, происходившая из петербургской артистической семьи (отец ее – знаменитый Я.Г. Брянский, мать – А.М. Степанова) и близкая к театральным кругам, вспоминала, что «все участвующие артисты как-то потерялись» [Панаева, с. 40]. Это подтверждается свидетельством Петра Андреевича

Каратыгина (переданным его сыном П.П. Каратыгиным): «При ее (комедии) чтении самим автором у Сосницкого в присутствии артистов, которым предназначены были роли, большинство их... пришло в какое-то недоумение. “Что же это такое?” шептали слушатели друг другу по окончании чтения, “разве это комедия? <...> Чем же тут наш Сосницкий-то восхищается?”» [Каратыгин, 1883, с. 735].

К числу «порицателей» Гоголя принадлежал и П.А. Каратыгин, один из первых исполнителей, получивший с четвертого спектакля роль Ляпкина-Тяпкина. «Подобно всем своим сослуживцам, П.А. Каратыгин отнесся к комедии Гоголя если не с пренебрежением, то с полнейшим равнодушием, но самая личность автора обратила на себя особенное внимание артиста» [Там же. С. 735]. Ведь Гоголь был литературной знаменитостью, а известие о высочайшем покровительстве еще более подогревало интерес к нему.

Особенно взволнована была театральная молодежь, воспитанники училища при Александринском театре. Тут уже интерес не ограничивался личностью писателя. «...Мы, воспитанники, – рассказывает Л.Л. Леонидов, – следили, по возможности, за всеми репетициями и, записывая чрез участвующих в комедии наших товарищей, – заучивали остроумный юмор Гоголя во всех его действующих лицах» [РС. 1888. Апрель. С. 227–228].

«Наши товарищи» – это однокашники Леонидова – В.В. Крамолей, А. Петров, С.Я. Марковецкий, Г.С. Ахалин и П.И. Горшенков, игравшие соответственно роли Добчинского, Бобчинского, Мишки, Держиморды и Люлюкова. По словам мемуариста, «избраны они были самим автором, как вполне подходившие к назначенным ролям» [Там же]. Это свидетельствует о том, что Гоголь принимал участие в подборе исполнителей и стремился повлиять на ход постановки.

В связи с этим находится и просьба, высказанная Гоголем в письме от 21 февраля 1836 г. черниговскому помещику Н.Д. Белозерскому, – содействовать переезду в Петербург знаменитого провинциального актера Карпа Трофимовича Соленика: «Скажите ему, что мы все будем стараться о нем. Данилевский видел его в Лубнах и был в восхищении» [XI, 34]. Едва ли можно сомневаться в том, что Гоголь прочил его на роль Хлестакова, которая больше всего доставляла ему беспокойства (впоследствии Соленик действительно весьма успешно играл эту роль, но – только на провинциальной сцене).



Н.В. Гоголь на репетиции «Ревизора» в Александринском театре
Акварель П. Каратыгина, 1836
(дата «1835» поставлена на рисунке ошибочно)

Кое-что в сценическом тексте исправлялось Гоголем по ходу репетиций. «Комедия эта, как мне известно от И.И. Сосницкого, до первого представления много раз переделывалась и приспособлялась к сцене автором, при советах его друзей...» [Нильский, с. 162]²⁰.

В гоголевские времена не было официальной должности режиссера, постановкой «Ревизора» ведал Храповицкий как инспектор русской труппы. Но Гоголь старался взять на себя режиссерские обязанности – вопреки всему. Очень интересно замечание Анненкова, близкого в ту пору к Гоголю и его кружку, – о том, что «хлопотливость автора во время постановки своей пьесы» казалась «странной, выходящей из всех обыкновений и даже, как говорили, из всех приличий...» [Анненков, 1983, с. 68].

Каковы же были режиссерские усилия автора? От самого Гоголя мы узнаем, что он всячески противодействовал утрировке и шаржированию, в частности в «костюмировке» персонажей [IV,

102]²¹. Но налицо и другая тенденция гоголевской режиссуры, расходившаяся с поверхностно понимаемым критерием правдоподобия. Тут за «натурализм» выступал театр, а Гоголь, наоборот, за его разрушение. Это особенно выразилось в исполнении «немой сцены»: автор настаивал на ее длительности («две-три минуты должен не опускаться занавес»), на ее пантомимическом характере, сходстве с жанром так называемых живых картин [Там же. С. 103], и все это обуславливало высшее, символическое значение «немой сцены»²². Но, с горечью прибавляет Гоголь, «меня не хотели слушать».

И вот наступило 18 апреля, суббота, день генеральной репетиции.

Гоголь был сильно встревожен и, видимо, расстроен; часто вполголоса говорил с Сосницким и лишь изредка с начальником репертуара А.И. Храповицким... Некоторые из молодых актеров и актрис тайком перемигивались. Их нескромную веселость возбуждала не комедия, но ее автор. Невысокого роста блондин, с огромным тупеem, в золотых очках на длинном, птичьем носу, с прищуренными глазками и плотно сжатыми, как бы прикуснутыми губами. Зеленый фрак с длинными фалдами и мелкими перламутровыми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа цилиндра, которую Гоголь то порывисто снимал, запуская пальцы в свой тупей, то вертел в руках. Все это придавало фигуре великого писателя нечто карикатурное. Никто не догадывался... какие страдания он испытывал, предугадывая, что ни актеры-исполнители, ни большинство публики не оценят и не поймут «Ревизора» при его первом исполнении [Каратыгин, 1883, с. 736].

Между тем нетерпение публики достигло высшей точки. О том, как трудно было достать хорошие, «престижные» места, говорит гоголевское письмо С.А. Соболевскому: автор сожалеет, что «для Карамзиных (т. е. для вдовы Карамзина Екатерины Андреевны и ее детей Софьи, Андрея и Александра) не достало ложи», и обещает только кресла.

«Санкт-Петербургские ведомости» от 19 апреля 1836 г., № 86. В разделе «Зрелища» сообщается: сегодня «на Александринском театре, в первый раз, Ревизор, оригинальная комедия в пяти действиях; – Сват Гаврилыч, или Сговор на яму, картина Русского народного быта». Фамилии авторов, согласно принятому порядку, не указывались.



Александринский театр в Петербурге
Литография. 30-е годы XIX в.

Премьера

К семи вечера «зала наполнилась блистательной публикою, вся аристократия была налицо» [Вольф, ч. 1, с. 49]. Были крупные чиновники: военный министр А.И. Чернышев, министр финансов Е.Ф. Канкрин, член Государственного совета П.Д. Киселев...

Литераторы: Вяземский, Жуковский... По сведениям, исходящим от К., т. е., очевидно, А.А. Краевского, приехал 67-летний И.А. Крылов, домосед, который редко показывался в обществе.

Было много молодежи, в том числе И.С. Тургенев, в ту пору студент С.-Петербургского университета.

Неожиданно приехал Николай I с 18-летним сыном, будущим царем Александром II. «Государь император с наследником внезапно изволил присутствовать и был чрезвычайно доволен, хотя от всей души» [РС. 1879. № 2. С. 348], – отмечено в дневнике Храповицкого. Факт присутствия императора с наследником на



И.И. Сосницкий в роли городничего
Фотографии

премьере зафиксирован и в камер-фурьерском журнале [Пушкин. Исследования, т. 8, с. 266].

Но Гоголя приезд многочисленной и знатной публики не воодушевил. Его мучили дурные предчувствия: «С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный» [IV, 101].

Бросается в глаза резкий контраст между переживаниями Гоголя по поводу премьеры и тем восприятием, которое сложилось у большинства ее свидетелей и современников. Гоголь расценивает ее как неудачу: «Еще раз повторяю: тоска, тоска» [IV, 102]. Чуть ли не как катастрофу: «Все против меня... Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня» [XI, 38]. Как всеобщее преследование, почти ostrakизм драматурга: «Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него» [XI, 45].

Между тем другие говорят об успехе, более того – блистательном успехе. Вяземский – А.И. Тургеневу, 24 апреля: «Ревизор сыгран и отпечатан... Успех был блистательный и замечательный» [ОА. Т. 3. С. 316]. И в своей рецензии Вяземский пишет о «пол-

ном успехе» спектакля [см.: С. 1836. Т. 2. С. 287]. И. Сосницкий в недошедшем письме Щепкину, буквально вторя Вяземскому, сообщал, что «Ревизор» сыгран «с блистательным успехом» [ЛН. Т. 58. С. 549]. В.А. Каратыгин – Ф.А. Кони, 27 апреля: «Публика бегаёт смотреть и восхищается» [Там же. С. 548]. П.И. Григорьев – Ф.А. Кони, 20 апреля: «“Ревизор” г. Гоголя сделал у нас большой успех! Гоголь пошел в славу! Пиэса эта шла отлично... В первое представление смеялись громко и много, поддерживали крепко» [Там же]. Наконец, Храповицкий, как бы подытоживая другие свидетельства: «Актеры все, особенно Сосницкий, играли превосходно» [Войтоловская, с. 247].

Забегая вперед, отметим, что и последующие представления вполне разделили успех премьеры. В корреспонденции из Петербурга некоего Пертинакса, датированной 1 мая и опубликованной в выходившем в Тарту на немецком языке журнале *Der Refraktor*, сообщалось, что «Ревизор» «уже в течение двух недель с огромным успехом идет в Александринском театре, вызывая невиданный наплыв публики и бурю аплодисментов в переполненном зале» [Исаков, с. 49].

Как объяснить это противоречие? Очевидно, нужно дифференцировать такое понятие, как «успех», определить составляющие его, порою контрастные элементы.

Замечательно выразительную, динамичную картину зрительного зала дает П.В. Анненков:

Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах... Недоумение это потом возрастало с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Однако в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два... раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был как-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже персродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом. Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, простая публика – за то, что смеялась, но

общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: «Это – невозможность, клевета и фарс» [Анненков, 1983, с. 69].

Приведенное описание обладает рядом особенностей, обусловленных позицией автора. Прежде всего это свидетельство очевидца; Анненков специально уточнял, что он был на премьере²³. Затем это свидетельство изнутри зрительного зала. Однако оно не совсем беспристрастно, но как бы приближено к точке зрения Гоголя; автор, близкий к нему человек, смотрит на происходящее сквозь призму гоголевского переживания – *переживания неуспеха*; к тому же – к моменту написания мемуаров – ему уже известны эпистолярные отклики драматурга на премьеру, и он их учитывает. Поэтому негативные краски в описании зрительской реакции, пожалуй, преобладают; но при всем том подмечены противоречивость и текучесть настроения, колеблющегося между приятием и негодованием. Собственно и Гоголь дифференцировал понятие «неуспех» (или «успех»): в «Отрывке из письма к одному литератору...» (опубликованном в 1841 г. и известном Анненкову-мемуаристу) он писал, что «публика вообще была довольна. Половина ее приняла пьесу даже с участием; другая половина, как водится, ее бранила по причинам, однако ж, не относящимся к искусству» [IV, 101].

Под «причинами, не относящимися к искусству», подразумевалось изображение различных административных злоупотреблений, пороков, произвола, т. е. совокупности явлений, называемых сегодня коррупцией. Не заметить в «Ревизоре» этой тенденции было трудно, и она, конечно, задевала зрителей: кому внушала беспокойство, а кого и возмущала.

А.И. Храповицкий, отметивший одобрение пьесы царем и ее достоинства («пиеса весьма забавна»), все же не удержался от упрека: «...только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество» [РС. 1879. № 2. С. 348]. Никитенко, бывший на третьем представлении, записал в дневнике: «Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается» [Никитенко, т. 1, с. 182–183]. Так что фраза Анненкова о «негодовании» части зрителей находит подтверждение и у других очевидцев.

Но помимо «причин, не относящихся к искусству», действовали причины, имеющие к нему прямое отношение. Многим гоголевский комизм казался низким, бессмысленным, тривиальным. Знаменитый актер-трагик В.А. Каратыгин (брат упоминавшегося П.А. Каратыгина), воспитанный на высокой трагедии классициз-



«Ревизор», заключительная сцена
Рисунок Н.В. Гоголя (?)

ма, в письме от 28 апреля 1836 г. (адресовано, по-видимому, П.А. Катенину) сообщал: «Народ бежит смотреть новую комедию Гоголя-Яновского, в которой нет смысла человеческого и в самом площадном тоне... Жалкое положение театра!» [Каратыгин П., т. 2, с. 192]²⁴. Ф.В. Булгарин как рецензент отмечает, что успех у простой публики пьеса имеет благодаря особенности своего комизма: «...“Ревизор” нравится публике, т. е. публика смеется и хохочет. Да и нельзя не хохотать! Это презабавный фарс, ряд смешных карикатур...» [СП. 1836. 1 мая. № 98].

Но только ли простая публика воспринимала подобным образом комедию? И.С. Тургенев откровенно признался, что, будучи на премьере, он «не понял значения того, что совершалось перед глазами моими. В “Ревизоре” по крайней мере много смеялся, как и вся публика» [Тургенев И., т. 14, с. 15–16].

Еще одно свидетельство – и тоже не простого зрителя, но человека весьма образованного, участника кружка Н.В. Станкевича и его ближайшего друга – Януария Неверова. На следующий день после второго представления, 23 апреля, он сообщал Станкевичу в Москву: «Есть новость: давали комедию Гоголя: “Ревизор”. Смешно – но право все пустяки, и в ней нет ничего восхитительного, хотя и превозносят ее до небес. Драмы нет, истинного комизма и подавно; зато много верности в изображении провинциального

быта, много остроты – иногда больно сальной. Неужели из этих материялов можно соорудить комедию? Как фарс, как сцены провинциальной жизни – она имеет, без сомнения, большое достоинство» [ГИМ. Ф. 351. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 19]. Как тут все перемешано! «Смешно», но «нет истинного комизма». Верность «быта» и «провинциальной жизни», но «все пустяки». И при этом широкое внимание, безмерные похвалы, успех... Но очевидно, это был не тот успех, который бы всецело устроил автора.

По окончании спектакля были «вызваны автор, Сосницкий и Дюр» [РС. 1879. № 2. С. 348], игравший Хлесткова. Но Гоголь, как говорит К. (очевидно, Краевский), на вызов не вышел. «Его не оказалось в театре. Волнуемый новыми для него ощущениями, он в тот же вечер заезжал к знакомым, был у Плетнева, не застал его, поехал к другому» [Порядок. 1881. № 28]. К «другому» – это, вероятно, к Прокоповичу. О визите Гоголя к Прокоповичу рассказывает как очевидец Анненков: «По окончании спектакля Гоголь явился к Н.Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднести ему экземпляр “Ревизора”, только что вышедший из печати, со словами “Полубойтесь на сынку”. Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: “Господи Боже! Ну, если б один, два ругали, ну и Бог с ними, а то все, все...”» [Анненков, 1983, с. 69]²⁵.

Между тем интерес к пьесе не ослабевал. На третий день, 22 апреля (как уже упоминалось), состоялось второе представление. Запись, сделанная на афише: «Все играли отлично. Вызваны: автор, Сосницкий, Дюр и громогласно Афанасьев, который играл (слугу Осипа. – Ю. М.) гениально» [Ежегодник. 1899. С. 117].

На третье представление, 24 апреля, вновь явился царь и не только с наследником, но со «всею фамилиею» [Там же]. Присутствие царя подтверждается записью в камер-фурьерском журнале [Пушкин. Исследования, т. 8, с. 266]. А также дневниковой записью А.В. Никитенко, который незадолго перед тем, 13 марта, дал цензурное разрешение на издание «Ревизора»: «Я попал на третье представление. Была государыня с наследником и великими княжнами. Их эта комедия тоже много тешила» [Никитенко, т. 1, с. 182].

Отличившиеся актеры были награждены: Сосницкий – перстнем с аметистом стоимостью в 781 руб., Дюр – перстнем с изумрудом в 701 руб., а Афанасьев – табакеркой с жемчугами в 650 руб. После же преподнесения Гоголем экземпляра комедии царю последний распорядился наградить его «вещью в 800 рублей» [Зайцева, с. 128; ср.: Материалы, т. 1, с. 310].

«Тут всем досталось, а больше всех мне...»

Эту фразу Николая I приводит историк петербургских театров: «Государь, уезжая, сказал: “Тут всем досталось, а больше всех мне...”» [Вольф, т. 1, с. 50]. Но не Вольф – первоисточник этой версии; он лишь собирал и фиксировал циркулировавшие в театральных кругах сведения. В печати хронологически самое первое сообщение на этот счет принадлежит, кажется, начальнику репертуарной части Р. Зотову, но и он ссылается на других: «Говорят, что важное лицо, бывшее в первом представлении комедии, сказало, уезжая...» [Зотов, 1860, с. 104–105].

П.П. Каратыгин же как на очевидца ссылается на своего отца: «Эти слова покойный (П.А.) Каратыгин, в числе некоторых других артистов, сам слышал, находясь за кулисами, при выходе государя из ложи на сцену» [Каратыгин, 1883, с. 736].

Актер Ф.А. Бурдин, приведя эпизод с репликой царя, добавляет: «Рассказ этот я слышал неоднократно от М.С. Щепкина, которому, в свою очередь, он был передан самим Гоголем» [ИВ. 1886. Т. 23. С. 146].

Наконец, Л. Леонидов передает этот эпизод в такой редакции: «Государь, выходя из театра, после первого представления “Ревизора”, как известно, сказал: “Всем досталось, а мне более всех!”» [РС. 1888. Апрель. С. 228].

В общем, все сообщения идентичны; различия лишь в отношении времени, когда император произнес эту реплику: покидая театр или же при выходе из своей ложи на сцену, возможно, во время антракта (Николай любил подобные выходы). И несмотря на то что прямым свидетельством очевидца мы не располагаем, сказанное отличается высокой степенью вероятности.

Однако почему Николай I так повел себя по отношению к «Ревизору»? Чем объясняется не только его августейшее разрешение поставить пьесу, но явное к ней благоволение и поддержка? В.В. Гиппиус видел в этом «известный расчет» – избежать повторения судьбы «Горя от ума», которое, не будучи разрешенным, рапространялось в списках [Материалы, т. 1, с. 311–312]. «Возможно и другое... Скорее всего, Николай I полагал, что Гоголь смеялся над его провинциальными чиновниками, над заштатными городишками, их жизнью, которую сам он со своей высоты презирал. Подлинного смысла “Ревизора” царь не понял» [Войтоловская, с. 250].

Конечно, глубины «смысла» «Ревизора» император скорее всего «не понял». Но в то же время свой смысл в его действиях очевидно был. Едва ли все сводилось к притворству и расчету нейтрализовать влияние комедии. Отношение Николая I к пьесе интересно не только для понимания правительственной политики, но и биографии Гоголя, его творческого и писательского самоощущения.

Прежде всего: император сызмальства был театральным человеком. «Николай Павлович, страстно любивший театр и даже сам иногда игравший на половине великой княжны Анны Павловны в комедиях, операх и балетах...» [Шильдер, с. 28] – так рекомендует царя его биограф. А среди различных театральных жанров и манер предпочтение отдавалось им комедийным жанрам и комической манере исполнения. В юношеском возрасте будущий император «вдруг полюбил *фарсы, каламбуры, слишком умеренную* (по словам воспитателей) *и неуместную веселость*» [Корф, с. 72–73].

Позднее Николай I простер свое августейшее внимание на императорскую сцену. «Он не пропускал почти ни одного бенефиса; сам расспрашивал и поощрял всех артистов в исполнении ролей» [Андреев А.Н. Давние встречи // РА. 1890. № 4. С. 545]. Театральной дирекции постоянно приходилось быть начеку, ожидая высокого зрителя. «Император Николай Павлович был большим любителем театра, – вспоминал один из актеров, – он охотно посещал оперу, балет, но особенно его любовью пользовалась драма вообще и водевиль преимущественно. Водевилистов – Каратыгина, Григорьева, Федорова – он всегда поощрял как милостивыми похвалами, так и драгоценными подарками» [Алексеев А., с. 39].

Еще одно авторитетное свидетельство – оно принадлежит не кому другому, как Федору Ивановичу Шаляпину, который воспроизводит дошедшее до него общее мнение:

Из российских императоров ближе всех к театру стоял Николай I. Он относился к нему уже не как помещик-крепостник, а как магнат и владыка, причем снисходил к театру величественно и в то же время фамильярно. Он часто проникал через маленькую дверцу на сцену и любил болтать с актерами (преимущественно драматическими), забавляясь остротами своих талантливейших верноподданных [Шаляпин, с. 123].

Так что Виельгорский и другие, представившие императору для разрешения гоголевскую пьесу, могли в счастливую минуту

рассчитывать на полный успех. Ведь пьеса была смешна, уморительно смешна, этого у нее не отнимешь. Царь же был великий «охотник до смеха», употребляя выражение Гоголя, сказанное по другому поводу. Смеялся он громко, от души. Остроты его (вроде комических, издевательских резолюций) запечатлены в анналах российской юмористики.

Правда, это был особый юмор – юмор «магната», самодержца. То есть такой юмор, когда право на смех сопряжено с правом власти. Насколько власть имущий разрешал себе силу насмешки, настолько он не признавал или склонен был сомневаться в этом праве у других. При этом, однако, факт одобрения проявлений комического, в частности в искусстве, превращал его, императора, в высшую инстанцию и в этой столь деликатной и противящейся всякой регламентации области. Смех звучал постольку, поскольку царь милостиво санкционировал его существование. Это отчетливо выразилось в поведении Николая I на премьере и на третьем представлении «Ревизора»: смех его был не только искренним, громогласным, но и демонстративным и побудительным: император словно подавал сигнал к соответствующей реакции другим зрителям.

А вообще-то Николай I не ограничивался ролью зрителя и нередко собственной персоной вступал в заповедный мир сцены. К императору вполне приложимо пушкинское выражение «почетный гражданин кулис». Впрочем, приложимы и идущие перед этим строки: «Театра злой законодатель, / Непостоянный обожатель / Очаровательных актрис...»

Для удобства общения со сценой или с «закулисьем» (скажем мы по аналогии с «зазеркальем») Николай I предпочитал не пользоваться царской ложей. «...В большинстве случаев [он] сидел в боковой литерной ложе, имевшей непосредственное сообщение со сценой, на которую почти каждый антракт он выходил и лично передавал исполнителям свои впечатления» [Алексеев А., с. 40; об этом же свидетельствует и А.Н. Андреев в упомянутых выше воспоминаниях, и Шаляпин, говоривший, что император проникал на сцену «через маленькую дверцу»]. Возможно, во время одного из таких выходов на премьере «Ревизора» он и произнес свою знаменитую фразу.

Николай Павлович и самолично участвовал в постановке спектаклей, давая режиссерские указания. Р.М. Зотов рассказывает: когда репетировался балет «Восстание в Серале», где «все танцовщицы кордебалета должны производить военные эскер-

ции и я, по старой памяти, вместе с (А.М.) Геденовым (оба в прошлом были военные. – Ю. М.) взялся их учить маршировке и эволюциям», то «государь и великий князь Михаил Павлович часто присутствовали при этих эзерцициях и даже поправляли нас» [Зотов, 1874, с. 18].

Об участии императора в постановке комедий и водевилей ничего не известно. Но и в этом случае он охотно вступал в общение с актерами и авторами, настраиваясь на шутовскую, комедийную волну и как бы продолжая действие. Так, П.А. Каратыгина он спросил по поводу его водевиля «Булочная»:

- Это вещь твоя или с французского?
- Оригинальная, Ваше величество.
- Оригинальная? Ну полное тебе спасибо! А за переводы я только полу-благодарю...» [Алексеев А., с. 40].

Между прочим, эта острота вполне в духе поэтики водевиля с его игрой слов и каламбурами...

Кстати, и в «Ревизоре» Николай Павлович решил подыграть актеру – этой чести удостоился воспитанник Петров, исполнявший роль Бобчинского.

В антракте одного из балетов государь пожаловал на сцену и, заметив Петрова, вышедшего пофигурить вперед, сказал:

- А! Бобчинский. Так, так и сказать, что в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский?
- Точно так, Ваше величество... – ответил тот бойко.
- Ну, хорошо, будем знать, – заключил государь, обратившись к другим присутствовавшим на сцене [РС. 1888. Апрель. С. 228–229].

Один из современников, уже упоминавшийся Я. Неверов, обозревая отношение императора к просвещению (статья так и называется: «Царствование императора Николая I в отношении к просвещению»), писал: «Он сам был цензором Пушкина и Гоголя – не по недоверчивости, нет, – известно, что обыкновенная цензура, в таком случае, всегда оказывалась несравненно строже, – но по участию и уважению к таланту» [ЖМНП. 1856. Сентябрь. С. 119].

Безусловная правота этого вывода в том, что самодержец и шире – обладатель авторитарной власти – часто оказывается гораздо смелее, чем подданные: ему не приходится опасаться вы-

шестоящего, и кроме того, есть особое удовольствие в том, чтобы продемонстрировать свою терпимость, широту и смелость на фоне всеобщего безгласия и трусости.

Вместе с тем нельзя исключать наличия и более серьезной подоплеки в решении царя и вообще в отношении его к гоголевской комедии. Об этом нужно поговорить специально.

Внутренняя политика Николая I представляла собою одну «из самых последовательных попыток осуществления идеи просвещенного абсолютизма» в России, основанную на «починке некоторых учреждений» «без введения коренных преобразований» [Корнилов, с. 193, 160]. Власть правопорядка должна была устанавливаться силою монархической власти. Отсюда неизбежные противоречия: с одной стороны, кодификация законов, попытки не только улучшить положение крестьян, но и решить «крестьянский вопрос» в целом, т. е. подвести к отмене крепостного права; с другой – возрастание роли бюрократии и чиновничьего аппарата с вытекающим отсюда усилением беззакония и произвола.

Программа Николая I отличалась утопизмом. «Две несбыточные идеи лежали в ее основе: 1. Мысль о возможности разрешения крупных государственных проблем путем частичных и нечувствительных изменений в мелких подробностях старого порядка и 2. Надежда провести в жизнь реформу этого порядка при помощи тех органов, которые сами входили необходимым элементом в его состав» [Кизеветтер, с. 419–420].

Император хорошо знал цену многим своим приближенным. Так, в связи с намечаемой поездкой в Варшаву русских чиновников он писал 27 мая 1827 г. великому князю Константину, что «среди всех членов первого департамента сената нет ни одного человека, которого можно было бы, не говоря уже послать с пользой, но даже просто показать *без стыда*». Как отмечает историк николаевской эпохи, это не случайное высказывание: царь «всегда ценил очень низко ту самую русскую бюрократию, в руки которой при нем было отдано все управление страной». «Император Николай Павлович одновременно и боялся народной самодеятельности, и отдавал себе ясный отчет в непригодности русского чиновничества для серьезного государственного дела» [Там же. С. 407, 408].

Поэтому следует признать, что его критическое умонастроение до некоторой степени могло совпадать с устремлениями Гоголя, решившего в «Ревизоре», как мы знаем, «собрать в одну кучу все дурное в России» и «все несправедливости».

Конечно, это было неполное совпадение, но очень существенное. Вдумываться в особое строение «Ревизора», глубину гоголевского комизма, в тонкость взаимоотношений персонажей, в метафизику «немой сцены» императору было недосуг – и не обязательно. Вполне достаточно было того, что лежало на поверхности. Он видел, что незаконные дела и поступки высмеиваются и осуждаются, что совершают эти поступки мелкие чиновники-исполнители, что сами эти прегрешения не столь уж велики (в жизни происходили вещи много пострашнее); наконец, видел и то, что на вышестоящих, на петербургские власти, на столичные круги и Петербург все обитатели уездного городишки взирают с благоговением и ужасом (тут вполне оказался кстати и эпизод с просьбой Бобчинского, приятно пощекотавший амбиции царя). Да и саму «немую сцену» Николай I мог воспринять если не как свершившееся наказание, то как его приближение и угрозу – в духе той реплики, которую произнес Синий армяк, один из персонажей гоголевского «Театрального разбеда...»: «Небось, прыткие были воеводы, а все поблуднели, когда пришла царская расправа!».

В этом контексте фраза – «Тут всем досталось, а больше всех мне...» – имела тот смысл, что он, самодержец, допустил все эти безобразия и хотя в конце концов вмешался в ход событий («по именному повелению»), но все-таки вынужден признать, что лучше бы было вмешаться раньше. Или, говоря другими словами, он, самодержец, сделал еще далеко не все – предстоит большая работа. В духе подобной самокритики воспринял финал комедии Р. Зотов. Приведя знаменитую фразу императора, он пояснял: «Это значило, что великая историческая эта особа, тридцать лет трудившаяся о искоренении в России взяточничества, с сокрушением видела однако же, что еще не вполне успела достигнуть этой цели» [Зотов, 1860, с. 104–105].

И двукратное присутствие императора на спектакле, его поведение в театре, его громкий смех – все это преследовало, так сказать, воспитательные цели, было рассчитано на публику, прежде всего на чиновную и высокопоставленную. Никитенко говорит, что «государь даже велел министрам ехать смотреть “Ревизора”» [Никитенко, т. 1, с. 182–183]. Это свидетельство находит подтверждение в рассказе А.О. Смирновой-Россет: «...министры и Павел [Киселев] в первую очередь должны были аплодировать, когда аплодировал государь, хлопавший, высовываясь из ложи наружу» [Смирнова, 1989, с. 420]. Сама Смирнова на премьере не присутствовала (она жила за границей), но у нее был довольно ос-

ведомленный источник – герой ее «баденского романа» молодой дипломат Николай Дмитриевич Киселев, младший брат упомянутого Павла Киселева.

И в другом месте: «Хохот был постоянный, государь сам начинал аплодировать и более других смеялся. В первом ряду сидели тузы, ваш брат [Павел Дмитриевич Киселев], двое Горчаковых, Владимир Федорович Адлерберг, Нессельрод, люди чистые и честные смеялись от души, остальной партер громко хохотал, но были такие, кто смеялся принужденно» [Там же. С. 496].

Таким образом, к уже известным нам представителям высшей власти, присутствовавшим на премьере, Чернышеву и Канкрину, можно прибавить (если Смирнова точна) и других: помимо П. Киселева, еще кн. Александра Михайловича Горчакова (1798–1883), дипломата, позднее министра иностранных дел; кн. Михаила Дмитриевича Горчакова (1793–1861), генерала от артиллерии; графа Владимира Федоровича Адлерберга (1791–1884), начальника Военно-походной канцелярии; графа Карла Васильевича Нессельроде (1780–1862), министра иностранных дел.

Рассказывая об именитых зрителях «Ревизора», Смирнова придерживается этического принципа: одни, будучи честными, смеялись от души, другие *вынуждены* были смеяться. Среди первых на самом видном месте – П.Д. Киселев: «Хохотали, а Павел больше других, так как ему не в чем было себя упрекнуть» [Там же. С. 480]. Случайное это совпадение или нет, но интересно то, что именно Павел Дмитриевич Киселев (1788–1872), член Государственного совета, позднее министр государственных имуществ, в наибольшей степени олицетворял либеральные и реформаторские устремления николаевского царствования. 17 февраля 1836 г. Николай I сказал ему: «Ты будешь мой начальник штаба по крестьянской части». Имея в виду устройство казенных крестьян, царь заметил: «Я давно убедился в необходимости преобразования их положения, но министр финансов [Канкрин], от упрямства или неумения, находит это невозможным» [Заблоцкий, с. 13, 11]. Вскоре, 29 февраля того же года, было образовано специальное учреждение по крестьянскому вопросу – V отделение собственной Его императорского величества канцелярии во главе с Киселевым. Несомненно, что в свете этих событий, произошедших буквально накануне премьеры «Ревизора», Киселев и воспринимал гоголевский текст.

О впечатлении, произведенном на царя комедией Гоголя, свидетельствуют следующие совершенно не учтенные в био-

графии писателя факты. В 1837 г. наследник престола, будущий император Александр II в сопровождении ряда лиц (в том числе своего воспитателя В.А. Жуковского) совершал большое путешествие по России. При этом в своей переписке и сам путешественник и его августейший отец обращались к воспоминаниям о «Ревизоре», на премьере которого несколькими месяцами раньше оба они присутствовали; эти воспоминания стимулировались тем, что наследник невольно оказался в положении того же ревизора, правда, ревизора высшего ранга.

По выезде из Вышнего Волочка Александр писал императору (Тверь, 4 мая): «Городничий тамошний напомнил нам городничего из “Ревизора” своей турнюрой» [Переписка наследника, с. 30]. На это Николай I отвечал развернутой сентенцией (Петербург, 8 мая): «Мне приятно весьма слышать от (А.А.) Кавелина (генерал-адъютанта, одного из воспитателей цесаревича. – Ю. М.), что твое поведение согласно с моим желанием и что ты показываешься таким, как должно будущему Царю Русскому. Не одного, а многих увидишь подобных лицам “Ревизора”, но остерегись и не показывай при людях, что смешными тебе кажутся, иной смешон по наружности, но зато хорош по другим важнейшим достоинствам, в этом надо быть крайне осторожным» [Там же. С. 130]. Спустя несколько дней (16 мая) наследник поведал следующее: сын помещицы Жадовской, в доме которой он ночевал, оказался «удивительный чудак и напомнил мне Петр[а] Ив[ановича] Бобчинского, наподобие его просил одной только милости, чтобы довести до Твоего сведения, что я ночевал в его доме. Но и при сем случае я припомнил Твое наставление, любезный Папа, чтобы не показывать вид другим, что кажется смешным» [Там же. С. 41]. Император, который уже имел возможность обыграть «просьбу» Бобчинского (см. выше его реплику исполнителю этой роли Петрову), отвечал наследнику (Царское Село, 25 мая): «Смеялся я, читав сцену с Бобчинским, хорош, должен быть, гусь, но спасибо тебе, что [приучился] не показывать смеху при других» [Там же. С. 134].

Говоря об отношении Николая I к гоголевской комедии, следует предостеречь против преувеличений. «Ревизор», очевидно, отвечал устремлениям императора, вызывал неподдельную веселость и удовлетворение, но все-таки остался эпизодом в его жизни. А.О. Смирнова, хлопотавшая позднее, в 40-е годы, о денежном пособии для автора «Мертвых душ», передает такой

диалог с Николаем I. «Вы знаете, [сказал император,] что пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, удостоивается ли повесть “Тарантас”. Я заметила, что “Тарантас” – сочинение Соллогуба, а “Мертвые души” большой роман. “Ну так я его прочту, потому что позабыл “Ревизора” и “Разъезд» [Смирнова, 1989, с. 61].

Впрочем, и фамилию Гоголя император помнил нетвердо, называя его Гогелем (кстати, любопытно, что в переписке с наследником имя автора «Ревизора» ни разу не было упомянуто; словно пьеса существовала сама по себе). Очевидно, влияло существование других, с точки зрения Николая I, не менее важных персон: это Иван Петрович Гогель (1770–1834), артиллерийский генерал, директор Пажеского корпуса и Военно-ученого комитета; и Григорий Федорович Гогель (1808–1881), генерал-адъютант, управлявший Царским Селом...

Что же касается самого автора «Ревизора», то в его сознании участие царя заняло несравненно более значительное место; недаром он не устал говорить об этом знакомым и родным²⁶. И дело не только в заступничестве самодержца – олицетворялась идея «правильных», должных взаимоотношений его, художника, и власти. По крайней мере, Гоголю хотелось, чтобы это соотношение выглядело таким. Еще в статье «Ал-Мамун» из «Арабесок» (1835) он писал, что «великих поэтов» «мудрые властители» «берегут» и внимательно выслушивают «как ведателей глубины человеческого сердца» [VIII, 78]. И вот теперь все это подтвердилось на его собственном примере. В черновой редакции «Театрального разъезда...» Гоголь излился по этому поводу прочувствованным, восторженным дифирамбом: «И ты, простерший с высоты твоего величия голос ободренья и защиты великий царь. О как полно мое сердце и как глубоко оросили святыне <?> слезы благодаренья!» [V, 390]. В окончательный текст эти строки не попали (видимо, Гоголь сознавал их чрезмерность), но осталась выраженная в более общей, отстраненной форме мысль о том, что истинным поэтам «внемлют... мудрые цари, глубокие правители» [V, 170].

Да и некоторые современники все произошедшее с «Ревизором» толковали в духе концепции просвещенного абсолютизма. Благомыслящее правительство, писал Вяземский, поражающее «злоупотребления», привлекает на помощь литературу: «...в 1783 году оно допустило представление “Недоросля”, в 1799-м “Ябеды”, а в 1836-м “Ревизора”» [С. 1836. Т. 2. С. 309].

Настоящий «Ревизор» и «Настоящий Ревизор»

14 июля 1836 г., когда Гоголь уже покинул Россию, в Михайловском театре в Петербурге состоялась премьера пьесы, написанной по мотивам «Ревизора» [СП. 1836. 14 июля. № 158].

И так же, как гоголевская комедия, эта пьеса сразу же вышла отдельным изданием: «Настоящий ревизор, комедия в трех днях или действиях, служащая продолжением комедии: Ревизор, сочиненной г. Гоголем» (СПб., 1836). Автор не значился, но современникам было известно, что это кн. Цицианов [Вольф, ч. 1, с. 51]. Цензурное разрешение от 22 июня было подписано А.В. Никитенко.

Обратиться к этому эпизоду необходимо потому, что существует точка зрения, будто бы «Настоящий ревизор» представлял собою сознательную акцию правительства с целью нейтрализации гоголевской комедии. И инициатор названной акции – не кто другой, как сам император.

Возникновение этой версии восходит к публикации следующего документа. Министр двора П.М. Волконский писал 2 июня 1836 г. директору петербургских императорских театров А.М. Геденову: «Возвращая... при записке Вашего превосходительства от 22 минувшего мая комедию под названием “Настоящий Ревизор”, уведомляю Вас, что Государь император высочайше повелеть изволил – послать оную в цензуру».

Публикатор этого документа Ал. Петров в комментарии, озаглавленном «Николай I как репертуарный цензор», утверждал: «Записки Геденова в делах не оказалось, но ясно, что через него Николай сделал заказ на контр-пьесу “Настоящий Ревизор”, который был выполнен, послан царю на просмотр, и Николай, чтобы скрыть свое участие, порекомендовал, не нарушая установленного порядка, послать пьесу в цензуру» [Советский театр. 1930. № 5–6. С. 44]. 4 июня пьеса действительно была отправлена в цензуру и 6-го вернулась одобренной, кстати, тем же Мордвиновым, который подписал разрешение на представление «Ревизора».

Другой исследователь также допускает «самое ближайшее содействие этому делу со стороны Николая I» и даже участие III отделения, «широко привлекавшего литераторов к жандармской службе в целях воздействия на общественное мнение» [Данилов, с. 154]²⁷.

Познакомимся, однако, с «Настоящим ревизором». Главная его особенность – беззастенчивая эксплуатация приемов и моти-

вов произведения, вошедшего в моду. Современники так и восприняли эту новинку. «Успех Гоголевой комедии побудил какого-то князя Цицианова написать “Настоящего ревизора”» [Вольф, ч. 1, с. 51]. Автор «смастерил “Настоящего ревизора”, думая через это статью на одну доску с Гоголем» [Белинский, т. 8, с. 329].

В предисловии, озаглавленном (как и у Гоголя в первом издании) «Характеры и костюмы», автор слегка варьирует гоголевские характеристики, добавляя одного нового персонажа: «Проводов, скрывающийся под именем Рулева, красивый мужчина, лет 32; солидный и умный, благородный; говорит ясно и плавно...»

Этот Проводов-Рулев и оказывается настоящим ревизором. В заключительном явлении, после того как ему удалось выведать и «узнать все, не трогаясь с места», он сбрасывает маску и наказывает провинившихся. Собственно, он считает, что «следовало бы всех отдать под суд, без изъятия», но ограничивается одним Земляникою (в оригинале Земленикою). А остальным милостиво разрешает подать прошение об отставке. Относительно Хлестакова он решает просить министра об определении его «подпрапорщиком в один из дальних армейских полков». А Городничего как будущего тестя – дело в том, что Марья Антоновна влюбилась в Рулева и встретила с его стороны взаимность – вообще решает пощадить: отставляет от должности с правом поступить на службу через пять лет. А пока – «проведите вы с Анною Андреевную в моем имени, в Бессарабии, в глуши, где вам не с кого будет взятки брать, а ей не с кем кокетничать». Налицо реализация мотива, почерпнутого из другой классической комедии, из «Горя от ума», где Фамусов грозит сослать провинившуюся дочь «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов...» И при этом Рулев поручает Городничему «заведовать этим имением» [«Настоящий ревизор», с. 123–125].

Если подразумевалось торжество справедливости, наказание виновных, то более нелепого или издевательского финала трудно себе было представить. Это тотчас отметил рецензент «Северной пчелы»: «...скажите, ради Бога, где происходит действие в вашей комедии? Между каффрами, готтентотами или на островах Тихого океана? Только уж верно не в пределах России! У нас не только *никто* не прощает подобных злодеев и грабителей, которые, по роду своих преступлений, не могли бы подойти даже под Всемилодивейший Манифест, но, напротив, их строго преследуют судом, и слава Богу!» Впрочем, рецензент доволен, что пьесу поставили: «...если бы пьеса почему-нибудь не была дана, тут бы и пошли бы толки и пересуды... А теперь и автор

и комедия его выведены на чистую воду» [СП. 1836. 29 июля. № 171; подпись: П. М.].

«Настоящий ревизор» с треском провалился. Всего было три спектакля: помимо премьеры 14 июля на Михайловской сцене, 15 июля – в Александринском театре и 27 июля – вновь в Михайловском совместно с гоголевским «Ревизором».

После премьеры А.И. Храповицкий записал в дневнике: «Г. настоящего ревизора ошিকাи. Туда ему и дорога! Такой галиматый никто еще не видал» [РС. 1879. Февраль. С. 348–349]. А по поводу последнего спектакля сделал надпись на афише: «Надоела! И это мнение всех зрителей и актеров. Пороть сей сумбур!» [Войтоловская, с. 248].

И никто не предпринял ни малейших усилий поддержать пьесу, продлить ее мотыльковый век, что естественно было бы ожидать в случае августейшей протекции.

Чем же было вызвано непосредственное обращение театральной дирекции к императору? Вспомним заключительные слова названия: «...служащая продолжением комедии: Ревизор, сочиненной г. Гоголем». Все знали, что гоголевская пьеса попала на сцену благодаря Николаю I, поэтому и ее «продолжение» логично было представить его вниманию. Дело не в формальном разрешении или запрещении, а в соблюдении приличия, этикета.

Реакция императора неизвестна; скорее всего, он просто уклонился от решения, предоставив событиям идти своим чередом, т. е. отправить пьесу в цензуру, что и было сделано.

Что же касается Гоголя, то он «Настоящего Ревизора» видеть не мог, едва ли о нем что-либо слышал, а если и слышал, то это не оставило в его сознании никакого следа.

После премьеры

Вернемся ко времени после премьеры «Ревизора». Интерес к нему не ослабевал. «На четвертое представление [28 апреля] нельзя достать билетов», – сообщал Гоголь М. Щенкину.

А всего в сезон 1836/37 г. комедия шла 26 раз. Это намного больше любой другой новой пьесы: занимающая второе место

переводная комедия В. Каратыгина «Кин» шла 11 раз; столько же переводные водевили Ф. Кони «Девушка-гусар» и П. Григорьева «Жена кавалериста» [Вольф, ч. 2, с. 42, 43].

В четвертом исполнении произошла частичная смена состава: Городничего вместо Сосницкого играл П.И. Григорьев; Хлестакова вместо Дюра – А.М. Максимов; П.А. Каратыгин в роли Ляпкина-Тяпкина сменил П.И. Григорьева, а воспитанников Петрова и Крамолея в ролях Бобчинского и Добчинского – соответственно А.Е. Мартынов и О.О. Прохоров. «Григорьев б. был несколько слабее Сосницкого, Максимов и Дюр – между ними была почти незаметная разница, Каратыгин м. понял свою роль и был в оной выше Григорьева б., но Бобчинский и Добчинский [Мартынов и Прохоров] – несравненно выше своих предшественников» [Ежегодник, 1899, с. 117]. Следует добавить, что дебютировавший в роли Бобчинского Александр Евстафьевич Мартынов (1816–1860) в будущем станет знаменитым актером.

Смена состава была произведена без ведома Гоголя, что усилило его досаду и раздражение. Но больше всего на его настроение влияли отклики – печатные и устные. Читая письма Гоголя, можно подумать, что пьеса вызвала всеобщее осуждение («все против меня...»), что на него обрушился шквал упреков, потоки самой злобной хулы... Так ли это?

Если обратиться к печатным отзывам, то Гоголь до отъезда за границу смог прочитать только две рецензии – Ф. Булгарина и О. Сенковского.

Первым откликнулся Булгарин [СП. 1836. 30 апреля, 1 мая. № 97, 98]. Рецензент рассматривает комедию со стороны как содержания, так и формы. Собственно, оба подхода, так сказать, общественный и эстетический, наметились еще в день премьеры, в реакции первых зрителей.

В отношении содержания главный упрек критика состоял в том, что драматург возвел клевету на русскую жизнь или, как стали говорить в более поздние времена, исказил действительность. Рецензент хотел бы отодвинуть все происходящее одновременно в двух направлениях – подальше от сегодняшнего дня и подальше от России.

Передвижение во времени: мол, «автор “Ревизора” почерпнул свои характеры, нравы и обычаи не из настоящего русского быта, но из времен пред-Недорослевских...».

Передвижение в пространстве: мол, «Городничий не мог бы взять такую волю в великороссийском городке». «Городок автора

«Ревизора» не русский городок, а малороссийский или белорусский, так незачем было клепать на Россию».

Так упреки общественного толка переходят в эстетические: поклеп и клевета – это то же самое, что, с художественной точки зрения, фарс и карикатура; значит, выбран низкий жанр. «Ревизор» «мы почитаем не комедией, но презабавным фарсом в роде мольерова фарса “Скапиновы обманы”». Другое дело – высокая комедия, скажем, «Мизантроп» того же Мольера. Отстояние «Ревизора» от комедии подчеркивается тем, что в нем нет комедийного сюжета (т. е. традиционно комедийного – с любовной завязкой, распутыванием интриги и т. д.). Булгарин полагает, что жизненный материал – должностные пороки – представлен в «Ревизоре» как голые факты, вне всякой художественной обработки; отсюда вывод, что «на злоупотреблениях административных нельзя основать настоящей комедии. Надобны противоположности и *завязка*...».

При всем том надо заметить, что Булгарин вовсе не перечеркивает произведение в целом – он лишь понижает его по шкале эстетических ценностей, *ставит на место*: это не комедия, а фарс, обладающий своими, скромными достоинствами. Гоголю выдается аванс на будущее: «Мы уверены, что он способен написать хорошую комедию, чего усердно желаем». Успех этого пожелания зависит от поведения писателя: тут, пожалуй, раскрывается главный мотив всех упреков рецензента – его неудовольствие тем, что Гоголь примкнул к пушкинскому кругу. «Он точно писатель с дарованием, от которого мы надеемся много хорошего, если литературный круг, к которому он теперь принадлежит и который имеет крайнюю нужду в талантах, его *не захвалит*».

Вслед за Булгариным выступил О. Сенковский [БЧ. 1836. Т. 16; ценз. разр. 30 апреля]²⁸.

У Сенковского – те же упреки общественного толка: мол, все это для России нехарактерно, несвойственно, нетипично и т. д. То же перемещение изображаемого в пространстве: мол, городок «Ревизора» «находится в Малороссии или Белоруссии»... Но упреки эстетического характера заняли еще более видное место. Сенковский (как и Булгарин) не только констатирует прямое, нетворческое перенесение служебного «анекдота» в драматургическую плоскость, отсутствие художественной обработки, но и дает автору конструктивный совет: «...этот недостаток легко было бы исправить введением еще одного женского лица. Оставаясь дней десять без цели в маленьком городишке, Хлестаков мог б приволокнуться за какой-нибудь уездной барышней, приятель-

ницею или неприятельницею дочери городничего, и возбудить в ней нежное чувство... Автор оживил бы остальную часть сочинения интригою, которая в четвертом действии могла бы еще запутаться ревностью Марии Антоновны и доставить комическому дарованию г. Гоголя много забавных черт соперничества двух провинциальных барышень» [Там же. С. 44]. Эта великодушная подсказка чрезвычайно выразительна: критику хочется столкнуть все комедийное действо в привычное и избитое русло водевильной интриги.

В результате Сенковский, как и Булгарин, понижает гоголевскую пьесу по шкале эстетических ценностей. «“Ревизор” не заслуживает имени комедии по своему плану и созданию», но в нем есть «превосходные сцены», и в общем это пьеса, «приносящая ему (автору) честь». Очевидно и стремление Сенковского (опять-таки, как и Булгарина) оторвать Гоголя от «котерии», пользующейся им во вред барону Брамбеусу, т. е. – от пушкинского круга.

В целом оба отзыва (а это, повторяем, все, что Гоголь мог прочесть до отъезда) были весьма критическими, но не огульно-отрицательными. Таланта Гоголя не отрицал никто. Оснований для паники, пожалуй, не было, особенно учитывая невысокую репутацию обоих критиков у понимающих дело (для массового читателя, прежде всего в провинции, они были влиятельны). В то же время Гоголь знал или догадывался, что пишутся другие рецензии – в «Современнике», «Московском наблюдателе», в «Телескопе» (т. е. в приложении к этому журналу – «Молве») и их авторы действительно авторитетны. Так что о всеобщей вражде и помрачении умов говорить не приходится.

Устные суждения тоже были не сплошь негативными, скорее наоборот. Мы уже цитировали Я.М. Неверова, не являвшегося поклонником пьесы, но признававшего, что «превозносят ее до небес» [ГИМ. Ф. 351. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 19]. Письмо, содержащее это замечание и адресованное Н.В. Станкевичу, написано 23 апреля, тогда, когда еще не появилось ни одного печатного отклика. Следовательно, оно отражает именно реакцию зрителей.

И все же тревожные симптомы можно было услышать – главным образом в устных толках. И они, эти симптомы, преломлялись в сознании Гоголя в усиленной и болезненной форме.

Устная критика развивалась в знакомых уже нам двух направлениях, условно говоря – общественном и эстетическом. Рецензия Вяземского из «Современника» интересна тем, что она

классифицирует отклики на комедию, причем именно устные, подхваченные на лету, по горячим следам. Одни зрители критикуют низкий язык, отсутствие «надлежащей определенности» в описании нравов и обычаев и т. д. Другие озабочены нравственным ущербом, который наносит пьеса. Все это нам уже известно. Новое, пожалуй, лишь в *степени* моральных, общественных обвинений. В «Приписке» к своей рецензии Вяземский заметил, что иные «смотрели на комедию как на государственное покушение: были им взволнованы, напуганы и в несчастном или счастливом комике видели едва ли не опасного бунтовщика» [Вяземский, с. 153]. А такие отзывы Гоголю действительно могли показаться рискованными.

Есть и вполне реальные лица, которые совпадают с нарисованным Вяземским обобщенным образом. Например, В.И. Панаев, писатель, бывший начальник Гоголя по Департаменту уделов. «По его мнению, это была безобразная карикатура на администрацию всей России, которая охраняет общественный порядок, трудится для пользы отечества...» [Панаева, с. 173]. Отзыв Панаева хронологически не приурочен и дошел до нас в передаче третьего лица. А вот мнение Вигеля, высказанное вскоре после появления «Ревизора», известно нам от него самого.

Филипп Филиппович Вигель (1786–1856) – видный чиновник, одно время бессарабский вице-губернатор, потом керченский градоначальник, в 1829–1840 гг. вице-директор и директор Департамента иностранных вероисповеданий. К нему, немцу по происхождению, вполне применимо наблюдение современника: «Вообще я знаю по опыту, что Россия не имеет сынов, преданнее обрусевших немцев...» [Сушков, с. 18]. Патриотическое чувство Вигеля подогревалось нетерпимостью к инакомыслящим, озлобленностью; один из старых исследователей метко назвал его «литературным Собакевичем» [Шенрок, т. 1, с. 302].

И внешность его была соответствующей: «черные, как смоль, раскаленные, как угли, глаза». «Помню... я его... – вспоминала А.Д. Блудова, – с табакеркою в руках, которую он вертел, играя ею и особенным манером постукивая по ней, а взявши щепотку табаку, как будто клевал по ней пальцами, как птица клюет клювом» [РА. 1889. № 1. С. 62].

Вяземский говорил о неприязни Вигеля к Гоголю, проявившейся еще до премьеры «Ревизора» («Вигель его терпеть не может за то, что он где-то отозвался о подлой роже директора департамента» [ОА. Т. 3. С. 285]). А после премьеры, 31 мая, Вигель писал

Загоскину: «Читали ли вы сию комедию? видели ли вы ее? Я ни то, ни другое, но столько о ней слышал, что могу сказать, что издали она мне воняла. Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то город, в котором свалил он все мерзости...» [РС. 1902. № 7. С. 101].

Остроту неприязни иных лиц к «Ревизору» доносит письмо Вяземского А.И. Тургеневу от 8 мая: «...все гnevаются, что позволили играть эту пиесу...» [ОА. Т. 3. С. 317]. Вяземскому вторит Р.М. Зотов, весьма осведомленный в закулисной жизни петербургского театра: «...многие восстали на эту пьесу... У нас, как и везде, всегда есть люди, которые не любят обнаружения злоупотреблений» [Зотов, 1860].

Конечно, выданная Николаем I «охранная грамота» продолжала действовать. Но Гоголь боялся, что будет нанесен удар его репутации, что до царя дойдут неблагоприятные отзывы и что августейшее благорасположение сойдет на нет. А ведь Гоголь нуждался в устойчивости этого благорасположения, потому что впереди был труд над главной книгой, «Мертвыми душами». Это позволяет понять фразу из его письма Погодину от 15 мая: «Я огорчен не нынешним ожесточением против моей пиесы; меня заботит моя печальная будущность». И еще слова из того же письма, как бы суммирующие обвинения недоброжелателей: «Он зажигатель! Он бунтовщик!» [XI, 45]. Не дай Бог, если даже намек на подобное подозрение закрадется в сознание императора!

Гоголь уже имел опыт, когда для ниспровержения противника в ход пускаются политические обвинения – в неблагонадежности, подрыве устоев и т. д. Он хорошо помнил «дело о вольнодумстве» в нежинской Гимназии высших наук, закончившееся разгромом передовой профессуры во главе с Н. Белоусовым. Тогда тоже в радикализме и революционности обвинили людей, ни сном ни духом в том не повинных. И невольно обвинения по поводу «Ревизора» наслаивались в сознании Гоголя на уже знакомое и пережитое.

На этом фоне очевиден тот факт, что Гоголь боялся Уварова, что до писателя доходили какие-то тревожные слухи, связанные с этим лицом. Проверить их истинность мы пока не имеем возможности, но таково было убеждение Гоголя.

Двумя годами ранее Уваров не помог Гоголю в получении кафедры в Киевском университете, но на то были веские основания – предпочтение оказали профессиональному историку В.Ф. Цыху [Книга 1, с. 306 и далее]. Лично против Гоголя Уваров тогда ничего не имел. Нерасположение его к Гоголю, по мне-

нию последнего, «началось со времен “Ревизора”» [XII, 33]. Так считал не только Гоголь. А.О. Смирнова, хлопотавшая в 1845 г. о пособии Гоголю и добившаяся успеха, записала в дневнике: «...Государь приказал Уварову узнать, что нужно Гоголю. Уваров тут поступил благородно...» [Смирнова, 1989, с. 16]. «Тут» – значит в данном случае *вопреки тому, чего можно было ожидать*. В письме П.В. Анненкова А.Н. Пыпину от 1 июня н. ст. [1874 г.] утверждалось: «...тон нападок на “Ревизора” как на административную сатиру и комедию, вовсе не свойственную русским нравам и порядкам, был дан, как тогда говорили, самим министром Уваровым...» [ОР ИРЛИ. Ф. 250. Оп. 3. № 106. Л. 1, без обозначения года; документ указан И.Н. Конобеевской]. Мнение это разделял и Н.С. Тихонравов, писавший в своем комментарии к комедии, что «со времен появления “Ревизора” началось нерасположение к Гоголю С.С. Уварова» [Гоголь, 10-е изд., т. 2, с. 787].

Сергей Семенович Уваров (1786–1855), с 1818 г. президент Академии наук, с апреля 1834 г. министр народного просвещения, принадлежал к образованнейшим людям своего времени. Он был автором трудов по классической филологии и археологии. С его министерской деятельностью связаны такие важные события, как открытие Киевского университета и новых училищ, введение практики заграничных командировок для молодых ученых. В то же время в проводимой им политике все отчетливее и сильнее проявлялись охранительные принципы.

В свое время Уваров был членом литературного общества «Арзамас» – наряду с Пушкиным. Но постепенно их отношения испортились и к 1835 г. достигли пика взаимной неприязни. В феврале этого года в связи с реакцией министра на «Историю пугачевского бунта» Пушкин записывает в дневнике: «Уваров большой подлец», а затем печатает знаменитую антиуваровскую сатиру «На выздоровление Лукулла» [МН. 1835. Сентябрь]. Все это происходило накануне появления «Ревизора». И на Гоголя Уваров мог вполне распространить ту антипатию, которую он питал к Пушкину. Ведь принадлежность Гоголя к пушкинскому кругу была общеизвестна; об этом, мы знаем, с неодобрением писали и Булгарин и Сенковский.

Но, возможно, действовал и другой мотив, а именно охранительство. Уваров, настроенный умеренно либерально в начале своей карьеры, к началу 30-х годов уже принялся за энергичное возведение «умственных плотин», и в «Ревизоре» он мог усмотреть реальную опасность.

Во всяком случае, для Гоголя нерасположение Уварова было особенно чувствительно ввиду близости последнего ко двору и возможности влиять на мнение императора.

На этом фоне Гоголя не могли успокоить доносившиеся до него голоса одобрения, несмотря на то что они исходили из среды молодежи. Имея в виду своих товарищей по петербургскому Училищу правоведения, В.В. Стасов вспоминал: «Все были в восторге, как и вся вообще тогдашняя молодежь» [Воспоминания, с. 399]. И питомец другого учебного заведения – Царскосельского лицея: «Когда сыгран был в начале 1836 года “Ревизор”, все мы в лицее нетерпеливее обыкновенного ожидали праздников, чтобы видеть эту превосходную комедию...» [Там же. С. 73; свидетельство М.Н. Лонгинова].

И московские знакомые Гоголя один за другим спешили его утешить и ободрить. М. Щепкин, 7 мая: «Давно уже я не чувствовал такой радости...» [Переписка, т. 1, с. 449]. В. Андросов просил А. Краевского (в письме от 29 мая) поблагодарить автора «Ревизора»: «...для меня это чудо» [Материалы, т. 2, с. 138]. Погодин же (в письме от 6 мая) к тому же и выговаривал Гоголю за неуместную обидчивость: «Ну как тебе, братец, не стыдно! Ведь ты сам делаешься комическим лицом... Я расхохотался, читая в “Пчеле”, которая берется доказать, что таких бессовестных и наглых мошенников нет на свете. “Есть, есть они: вы такие мошенники!” – говори ты им и отворачивайся с торжеством» [Переписка, т. 1, с. 361]. И Сергей Тимофеевич Аксаков отправил Гоголю «горячее письмо» (оно не дошло до нас), и в ответ автор «Ревизора» выражал удовлетворение, «что, среди многолюдной, неблагоприятной толпы, скрывается тесный кружок избранных,веряющий творения наши верным внутренним чувством...» [XI, 43].

В аксаковском семействе, да и, пожалуй, вообще среди «избранных» москвичей тон задавал Константин Сергеевич. 9 мая он писал в Петербург своей двоюродной сестре Маше Карташевской: «...Я уже читал “Ревизора”; читал раза четыре и потому говорю, что те, кто называет эту пьесу грубою и плоскою, не поняли ее. Гоголь – истинный поэт; ведь в комическом и смешном есть также поэзия» [ЛН. Т. 58. С. 550].

Восторг москвичей разделил Карл Брюллов, которому как раз в это время случилось быть в старой столице. Он возвращался из-за границы через Одессу и прибыл в Москву 25 декабря 1835 г. Некоторое время, до самого отъезда в мае следующего года, жил у скульптора И.П. Витали. «В один из таких вечеров [у Витали]

кто-то привез только что вышедшего из печати «Ревизора» Гоголя. Когда он был прочитан, Брюллов был вне себя от восторга: «Вот она – натура», говорил он, и сам начал читать его вслух, говоря за каждый персонаж особенным голосом. Весь этот вечер был посвящен Брюлловым «Ревизору» Гоголя» [Рамазанов, с. 123, 126, 188]²⁹.

Почему Гоголю не дали премию

После появления «Ревизора» судьба свела Гоголя с одним из богатейших и интереснейших его современников – с Демидовым.

Павел Николаевич Демидов (1798–1840) – владелец уральских и сибирских заводов и в то же время егермейстер и камергер императора, почетный член императорской Академии наук. Колоритность этого лица усиливалась и его женитьбой (1836) на баронессе, фрейлине Авроре Карловне Шернваль, к которой в свое время (1825) Баратынский обратился с посланием: «Вьдь, дохни нам с упоеньем, / Соименница зари...» (Овдовев в 1840 г., Аврора Карловна вышла замуж за Андрея Карамзина, сына знаменитого историка, а от ее брака с Демидовым остался сын Павел, он же князь Сан-Дonato³⁰.)

По словам современника, «Павел Демидов жил постоянно в Петербурге в своем великолепном доме и принимал всю столицу. Не одним своим огромным богатством, которого в те времена было недостаточно, чтобы втесаться в большой петербургский свет, но своим просвещенным поощрением искусствам и наукам, своею широкою благотворительностью, Демидовы приобрели себе то, что французы называют *droit de cite* (право гражданства)» [Соллогуб, с. 313–314].

К числу благотворительных дел этого мецената принадлежит и учреждение им в 1831 г. Демидовских наград.

И вот 11 мая 1836 г., вскоре после появления «Ревизора», Демидов обратился к неперемennomу секретарю Академии наук П.Н. Фусу с посланием:

Не безызвестно Вам, что цель пожертвования моего двадцати пяти тысяч ежегодно в российскую императорскую Академию наук содействовать пользе и славе отечественной на поприще литературном. Поприще сие

ныне украшено новым произведением г. Гоголя под названием “Ревизор”, комедией в пяти действиях. Нельзя не отдать справедливости точнейшему описанию нравов, поставленных им на сцену лиц и национальности наречий. Словом, по живописанию характеров сие сочинение г. Гоголя может считаться образцовым. Это уже и подтверждается тем восторгом, с каким оно принято публикой, и вниманием государя императора, удостоившего первые представления сей комедии своим присутствием. Мне весьма бы желалось, милостивый государь, чтобы сие творение г. Гоголя было увенчано одною из золотых медалей, учрежденных на счет суммы, мною ежегодно жертвваемой... [Кулябко, с. 170].

Следует сказать сразу: просьбу Демидова не удовлетворили. По мнению Е.С. Кулябко, опубликовавшего процитированный документ (что должно быть поставлено ему в заслугу), это пришло в силу идеологических причин: «...общественно-обличительное содержание “Ревизора” было... раскрыто» [Там же. С. 171]. Другие авторы пошли еще дальше: мол, «вмешался император»; «была долгая тяжба, комитет упирался, но реакционно настроенные академики... В общем, премию Гоголь не получил. Ее присудили автору брошюры об орловских рысаках» [ЛГ. 1972. № 35]. Все это совершенно не соответствует действительности.

Письмо Демидова обсуждалось 13 мая на заседании общего собрания. Было решено напомнить ходатаю, что его просьба противоречит параграфу 2 статьи IX устава, согласно которому премии за художественные произведения не присуждались. Правда, Демидов хлопотал не о премии, а о медали, но и на этот счет в письме к нему было сказано: «Учреждение же медалей с Вашего согласия и по утвержденному государем императором образцу имело исключительно целью наградить посторонних ученых за труды, принимаемые на себя по приглашению Академии при рассматривании и обсуждении таких соискательных сочинений, которые по предмету своему не подлежат непосредственному разбору Академии» [Кулябко, с. 171].

Это была истинная правда. Об условиях конкурса сообщалось в журналах, и они были хорошо известны. Так, в опубликованной в «Телескопе» [1831. Ч. 3. № 10] заметке «Благотворное пожертвование П.Н. Демидова для поощрения отечественного просвещения» ясно сказано, что «изъемятся от соискания» «стихотворения, повести, драматические сочинения и т. п.» [Там же. С. 258]. Конечно, Демидов это хорошо знал, но он, по-видимому, решил «использовать» лазейку, образовавшуюся формулировкой

о том, что медали присуждаются и за сочинения, не подлежащие «непосредственному разбору Академии». Однако и на этот счет существовало правило, что медали предназначены для «посторонних рецензентов» [ЖМНП. 1841. Ч. 32. С. 107], т. е. все-таки не для авторов повестей, комедий и проч.

Все это вполне подтверждается полным списком лиц, удостоенных Демидовских наград начиная с 1832 г.: здесь нет ни одного автора художественных произведений, если не считать «детские сочинения» образовательного характера (для них делалось исключение). Например, шестое присуждение премий (1837) включает в себя такие имена, как Крузенштерн (за «Материалы к составлению атласа южного моря»), Шевырев («История поэзии»), Л.А. Ярцова («Полезное чтение для детей»), Семенов («Библиотека иностранных писателей о России»), Эрстов («Словарь исторический о Святых русской церкви»). Никакого сочинения об орловских рысаках, которому якобы было отдано предпочтение перед гоголевским «Ревизором», в списке нет. Возможно, имеется в виду «Краткая иппология и курс верховой езды» Бобинского...

Правда, во главе Академии стоял Уваров, которого Гоголь считал своим недоброжелателем. Но очевидно, что отказ в присуждении награды обусловлен не вмешательством министра или, тем более, императора, а соблюдением буквы закона.

Демидов собирался написать Гоголю о своем представлении [Кулябко, с. 170]. Во всяком случае, все произошедшее стало известно автору «Ревизора».

Уже будучи за границей, в Риме, Гоголь просит Н.Я. Прокоповича (письмо от 3 июня н. ст. 1837 г.) «узнать, где теперь Демидов, Павел Николаевич. Его дом в Большой Миллионной» [XI, 102]. А позднее Гоголь сам обращается к Демидову с письмом, которое находится в прямой связи с инициативой последнего (это отмечено Кулябко). «...Ваш раздавшийся голос и ваше полное великодушия предстательство обо мне, вам неизвестном, внимание к малой крупице моего таланта – все это меня тронуло сильно» [XI, 232].

Можно извлечь и другие небезынтересные подробности из этого письма. Во-первых, Гоголь уже отвечал и благодарил Демидова, может быть, устно, через посредство кого-нибудь, а может быть, и письмом («это вам уже известно»). Однако до отъезда из Петербурга писатель не виделся с Демидовым, избегал этого («...мне не хотелось, чтобы вы переменили обо мне

ваше доброе мнение...»). Но затем, по отъезде Гоголя, встреча все-таки состоялась, причем такая встреча, которая позволила обратиться к Демидову со столь лестными словами: «...мне удалось услышать лично из уст ваших просвещенный образ ваших суждений и глубокое знание России, редкое в государственном человеке...». Гоголь надеется на новую встречу, и вот почему: «...вы для меня клад, – я теперь привязан к вам собственным своим интересом... Я, по старой авторской наглости, поймаю пальцем петлю вашего кафтана и заставлю вас выслушать четыре, пять огромных листов и добьюсь вашего суждения, которое для меня дорого...» [XI, 232]. Едва ли можно сомневаться в том, что под «собственным интересом» подразумевались «Мертвые души», над которыми Гоголь работал в то время и главы из которых он уже опробовал на различных слушателях³¹.

Синдром «Ревизора»

Но вернемся к хронологической канве жизнеописания. Существует почти общепринятое мнение, что прием, оказанный «Ревизору», печатные и устные суждения – все это произвело ошеломляющее впечатление на Гоголя и вызвало его отъезд за границу. «Гоголь уезжал из Петербурга, потрясенный враждебным приемом “Ревизора” в реакционных театральном-общественных кругах» [Вацуро, с. 334]. Говорится даже о переломе в его сознании: потерпела крах идея воспитательного воздействия художественного произведения, воздействия скорого, чуть ли не мгновенного. Гоголя захватывало «утопическое ожидание какого-то магического воздействия на русских людей того, что было изображено в “Ревизоре”» [Зеньковский, с. 133]. «Нельзя ли предположить, что Гоголь рассчитывал, может быть полусознательно, что “Ревизор” произведет какое-то *немедленное и решительное действие*? Россия увидит в зеркале комедии свои грехи и вся, как один человек, рухнет на колени, зальется покаянными слезами и мгновенно переродится!» «И вот ничего подобного не произошло» [Мочульский, с. 43]. И это, мол, повлекло за собой внезапное решение Гоголя.

Но прежде всего: появление «Ревизора» и вызванные им толки и переживания – все это происходило на фоне уже сде-

ланного выбора. Если и иметь в виду перелом или – скажем осторожнее – изменения в гоголевской самоориентации, то это связано с «Мертвыми душами», к которым писатель приступил еще до «Ревизора». И все, что переживалось по поводу «Ревизора», соотносилось с этим главным трудом. «...Меня заботит моя печальная будущность» [XI, 45]. Конечно, будущность как автора «Мертвых душ».

О «Ревизоре» же Гоголь позднее писал: «Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество...» [XIV, 34–35]. «Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть» [VIII, 440]. Моральная, воспитательная установка «Ревизора» несомненна, но она существовала, в представлениях автора, не изолированно, не вне комической стихии. Относящаяся к 40-м годам понимание пьесы как апогея смеха («...никогда еще во мне не появлялся в такой силе...») соответствует настроению Гоголя рубежа 1835–1836 гг., о чем говорилось выше. Писатель свободно, нескованно отдавался комической стихии, полагая, что она в конце концов «вывезет».

Действительно ли Гоголь рассчитывал на «немедленное и решительное действие» пьесы; полагал, что вся Россия, «как один человек, рухнет на колени», покается, «мгновенно переродится» и т. д.? Увы, это было бы более чем наивно...

Полагают, что «чисто эстетический успех “Ревизора” совсем не интересовал Гоголя» [Зеньковский, с. 134]. Между тем Гоголь говорил о художественной неудаче постановки, болезненно переживал искажения природы образов, прежде всего Хлестакова, предостерегал от фарсов, заботился о естественной передаче сцены вранья, о некарикатурности костюмировки и т. д. Все это проблемы в первую очередь эстетические. Сама моральная действенность произведения, которая, повторяем, входила в расчеты автора, предполагала, с его же точки зрения, правильное, непредубежденное восприятие феномена художественности, принятие его конвенциональности, избегания прямого и наивного отождествления действительности и образа. «Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества... И то, что бы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь невежества...» [XI, 45]. Это сказано в связи с «Ревизором» и вскоре после его премьеры.

По широко распространенному мнению, «Гоголь был глубоко *потрясен* тем, что все ограничилось лишь художественным успехом “Ревизора”» [Зеньковский, с. 244]. Гораздо правильнее сказать иначе: Гоголь был потрясен тем, что «художественный успех» не был *настоящим успехом*, о котором он мечтал, что пьеса не была вполне понята с ее эстетической стороны, вне которой не существовало и морального эффекта.

Нужно учитывать еще одно обстоятельство. Гоголь полагал, что высокое искусство обладает непреложностью эстетического воздействия, когда смолкают все разногласия, разрешаются все недоумения. Речь, разумеется, идет не о черни (антитеза «поэта» и «толпы» сохраняет для Гоголя свое значение), но о понимающей, избранной публике. И коли этого не произошло, то виноват или автор, которому не хватило дарования, или публика; разумеется, Гоголь в эту пору склонялся ко второму ответу. «Не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу...» [XI, 45].

Не безразлично Гоголю было и то, что в обсуждение пьесы оказался втянут необычайно широкий круг читателей или зрителей. Творчество – дело тонкое, глубоко личное. А тут вдруг Гоголь очутился в центре публичного действия, и каждый из его участников судил и рядил по-своему, да еще громко, «на людях». Превратные, близорукие, невежественные мнения глубоко травмировали авторское самосознание. Впоследствии та же ситуация, только в усиленном, обостренном виде, повторится и с «Мертвыми душами»...

И то, что обсуждалась *пьеса*, поставленное сценическое произведение, усугубляло гоголевские переживания. Реакция на роман или стихотворения раздроблена на множество отдельных, порою скрытых, неявных, «домашних» откликов; реакция на спектакль усилена ее коллективностью, зримой наглядностью, публичностью. И затем: «драма живет только на сцене» [X, 263], полагал Гоголь, обдумывая еще свою первую пьесу («Владимир 3-ей степени»). Превратные суждения о романе не наносят ущерба его тексту, существующему как бы независимо и объективно. Иное дело – переживаемая драматургом сценическая неадекватность. «Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое» [IV, 99].

Подытоживая свои переживания по поводу «Ревизора», Гоголь писал М. Погодину 28 ноября н. ст. 1836 г.: «Гордость,

которую знают только поэты, которая росла со мною в колыбели, наконец не вынесла» [XI, 77]. Это не гордость проповедника, моралиста, рассчитывавшего на немедленное покаяние грешников. Это прежде всего гордость «поэта», художника.

Теперь о мотивах гоголевского отъезда за границу. Как мы уже знаем, их обычно сводят к реакции на прием «Ревизора» – к «катастрофе» просветительской идеи или же, в крайнем случае, к преследованию автора. О «катастрофе» мы уже говорили; что же касается преследования, то эта версия, очевидно, восходит к самому Гоголю. А. Никитенко, видевший его вскоре после премьеры, отметил в дневнике: «Он имеет вид человека, преследуемого оскорбленным самолюбием» [Никитенко, ч. 1, с. 183]. Из дневника М. Погодина: «“Ревизор” в Москве. Известие о преследовании Гоголя» [Барсуков, т. 4, с. 335]. Гоголь, мы говорили, переживал неблагоприятные отзывы о пьесе в обостренной, аффектированной форме. Следует добавить: в эту аффектацию примешивалось намерение мотивировать тем самым свой отъезд как вынужденное бегство.

Любопытная запись (от 3 июля 1836 г.) находится в дневнике А.П. Дурново (урожденной Волконской), проживавшей в Аахене: «...только что прибыл наш писатель Гоголь... Он сочинил водевиль под названием “Ревизор” ... Эта злая критика провинции, и говорят даже, что он вынужден был отправиться путешествовать, чтобы избежать неприятностей» [Пушкин. Исследования, т. 8, с. 261]. Публикатор этого документа Р.Е. Теребина полагает, что отзыв «о Гоголе и причинах его отъезда за границу сделан, по видимому, со слов Н.В. Путяты, 10 июня прибывшего в Аахен» [Там же. С. 266]. Но скорее всего это воспроизведение *собственных слов Гоголя*, сказанных кому-то по приезде в Аахен. Кстати, мотивировка отъезда содержится и в черновой редакции «Театрального разъезда...», набросанной, по словам автора, «сгоряча», вскоре после премьеры «Ревизора»: «Мне тяжело было слышать голос безжалостного <?> нерасположения и безучастия и тяжело душе нанести... Я удалюсь от вас» [V, 390].

И тем не менее едва ли правильно сводить мотивы отъезда к реакции на прием комедии. Обратим внимание на такой факт: еще 21 марта 1836 г. А.М. Гедеонов писал М.Н. Загоскину, касаясь причин, по которым автору «Ревизора» назначен аккордный гонорар: «...расстроенное здоровье принуждает его ехать за границу, и он нуждался в наличных деньгах, которые мною сполна ему заплачены». Конечно, Гедеонов повторяет слова,

сказанные ему самим Гоголем. До премьеры еще около месяца; еще не появилось никаких отзывов в печати; еще нет никаких оснований говорить о преследовании, а Гоголь уже сообщает о своем предстоящем отъезде.

Позднее, в «Авторской исповеди», Гоголь даст такое объяснение: «Мое расстроившееся здоровье и вместе с ним маленькие неприятности, которые я бы теперь перенес легко, но которые тогда не умел еще переносить, заставили меня подняться в чужие края» [VIII, 449–450]. «Маленькие неприятности» – это, очевидно, обстоятельства, связанные с приемом «Ревизора». Теперь Гоголь перенес бы их «легко» (его отношение к критике очень изменилось), тогда – в 1836 г. – воспринял болезненно. Но все равно эти «обстоятельства» накладывались на общее состояние Гоголя. На «расстроившееся здоровье» писатель ссылался и в разговоре с Гедеоновым. Очевидно, *решение уже было им принято*, и «Ревизор» лишь сыграл роль последней капли. События развивались по той же внутренней логике, что семь лет назад, во время первой поездки Гоголя за границу. Тогда такую роль невольно выполнил «Ганц Кюхельгартен», но мысль о поездке возникла еще раньше. Гоголь заранее обдумывает решающий шаг; это ему необходимо, чтобы встретить любые неприятности, чтобы сохранить душевное равновесие и спокойствие.

Теперь это спокойствие Гоголю тем более необходимо, что в работе у него «Мертвые души». «...Мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России». Поскольку же эта главная книга, книга жизни все более осмыслялась в свете мессианизма, то и отъезд за границу предстает в своем высшем неотвратимом значении: «...чувствую, что не земная воля направляет путь мой» [XI, 46]. «И нынешнее мое удаление из отечества... послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим все на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни» [XI, 49].

Отъезд за границу означал и прощание с Петербургом как местом постоянного жительства. Отныне такого места у Гоголя уже не будет. И в этом смысле завершился целый этап – «петербургский этап» – гоголевской жизни, о котором мечталось ему еще в Нежине, с которым связывалось столько надежд и планов – и не только литературных. Ведь Петербург должен был стать трамплином для его карьеры, настолько высокой, что он и сам себе не решался во всем признаться... Теперь... Теперь Гоголь уже «не намерен постоянно жить в Петербурге» [XI, 45].

«Даже с Пушкиным
я не успел и не мог проститься...»

Отъезд из Петербурга означал и расставание с Пушкиным. На какое время – не знал никто.

В науке и общественном сознании взгляд на взаимоотношения обоих писателей претерпевал существенные изменения. По словам Белинского, сказанным в 1842 г., «оба поэта были в отношениях, напоминающих собою отношения Гёте и Шиллера» [Белинский, т. 6, с. 214]. Такого же мнения придерживался П. Кулиш, который, впрочем, продолжил параллель: «Это были наши Гёте и Шиллер, наши Вальтер Скотт и Байрон» [Кулиш, 1854, с. 47].

Поздним откликом на эту точку зрения является мнение И.А. Ильина: «Трогательным было прощание двух друзей – Пушкина и Гоголя. Пушкин пришел к своему отъезжающему собрату и провел с ним всю ночь...» [Ильин, с. 249].

Нетрудно установить источник этой версии – рассказ гоголевского слуги Якима, записанный после кончины писателя Г.П. Данилевским. «Накануне отъезда Гоголя, в 1836 году, за границу, Пушкин, по словам Якима, просидел у него в квартире, в доме каретника Иохима, на Мещанской, всю ночь напролет. Он читал начатые им сочинения. Это было последнее свидание великих писателей» [Воспоминания, с. 460]. В сознании Якима (или его слушателя) явно смешались различные временные планы: в доме каретника Иохима на Большой Мещанской Гоголь жил с апреля по июль 1829 г., когда он еще не был знаком с Пушкиным, а последние годы, вплоть до отъезда за границу, провел в доме Лепена (Лепеня) на Малой Морской. Так что доверия это сообщение не вызывает.

Между тем такая точка зрения – о тесной дружбе двух писателей – для XX в. уже потеряла свою авторитетность; собственно, ее стали пересматривать еще к концу века предыдущего. Даже В. Шенрок, не склонный к радикальному разрыву с традицией, писал, что Пушкин, как и Жуковский, «относились к Гоголю как к писателю, только подающему надежды... Расстояние между ними и Гоголем не исчезло вполне до смерти Пушкина...» [Шенрок, т. 1, с. 372].

Несколько позже усилиями таких исследователей, как Б. Лукьяновский, А. Долинин и другие, картина еще более изменилась: мол, дружба Пушкина и Гоголя – не более чем миф, созданный

не без участия последнего. «Связь между двумя писателями, по-видимому, была самая внешняя»; Гоголь даже «путает имя жены поэта», называя ее Надеждою Николаевной; все это особенно проявилось в последние месяцы: «...перед отъездом Гоголя за границу у него, по-видимому, вышла размолвка с Пушкиным, и он уехал, даже не попрощавшись с ним» [Мочульский, с. 40–41].

Между тем очевидны такие факты, как передача Пушкиным Гоголю сюжетов «Ревизора» и «Мертвых душ», чтение или слушание Пушкиным еще до публикации таких произведений, как «Повесть о том, как поссорился...», «Невский проспект», «Женитьба», «Утро делового человека», «Коляска», «Нос», предисловие к «Арабескам»...

Мы уже касались различных обстоятельств и перипетий взаимоотношений Пушкина и Гоголя, начиная с их личного знакомства [см.: Книга 1, с. 218 и далее]. Сейчас остановимся лишь на последних месяцах этих взаимоотношений.

Прежде всего надо отметить (хотя это отнюдь не главное), что ряд эпизодов, о которых Гоголь сообщил позднее, приурочиваются именно к этому периоду. «Живо помню восторг его [Пушкина]... когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина...» [VIII, 387–388]. Книжка «Московского наблюдателя» со стихотворением «Денису Васильевичу Давыдову» могла попасть в руки Пушкина в декабре 1835 г. или даже в начале следующего года (ценз. разр. – 19 ноября 1835 г.); 14 апреля 1836 г. он выразил свое восторженное впечатление в письме к автору: «Ваши стихи: вода живая... Послание к Давыдову – прелесть!» [Пушкин, т. 10, с. 573]. Следовательно, около этого времени Гоголь и мог оказаться свидетелем упомянутой сцены. По-видимому, тогда же или чуть позже он мог слышать от Пушкина и суровые обличения демократического строя в Соединенных Штатах [см.: VIII, 253]: похожие мысли были высказаны поэтом в статье «Джон Теннер» [С. 1836. Т. 3].

Но, конечно, самое главное событие последних месяцев общения двух писателей – чтение Гоголем первоначальной редакции «Мертвых душ»: «...когда я начал читать Пушкину первые главы из М[ертвых] д[уш], в том виде, в каком они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении... начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: “Боже, как грустна наша Россия!”» [VIII, 294].

Когда это произошло? Пушкин находился в Петербурге по конец апреля 1836 г.; 1 мая он уехал в Тверь и на следующий день в Москву, откуда возвратился в столицу только 23 мая [Абрамович, с. 155, 159, 215]. Следовательно, это могло быть до конца апреля. Правда, известно, что Гоголь был в это время страшно занят подготовкой «Ревизора» к постановке, а затем после премьеры (19 апреля) глубоко переживал случившееся. Но известна также и способность Гоголя одновременно заниматься несколькими делами; так, наряду с «Ревизором» он готовит для пушкинского «Современника» обширную статью «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и ряд рецензий. Так что и время для чтения «Мертвых душ» он вполне мог улучить.

Но не будем в интересах точности исключать и другую возможность – то, что это чтение имело место после известного гоголевского письма от 7 октября («Начал писать Мертвых душ...») и возвращения Пушкина в Петербург 23 октября 1835 г. – в порядке, так сказать, гоголевского отчета о том, что ему уже удалось сделать...

Правда, с легкой руки П.В. Нащокина получила распространение версия, будто бы никакого чтения вообще не было. «Нащокин никак не может согласиться, чтобы Гоголь читал Пушкину свои “Мертвые души”... Он говорит, что Пушкин всегда рассказывал ему о всяком замечательном произведении. О Мертвых же душах не говорил. Хвалил он ему “Ревизора”, особенно “Тараса Бульбу”» [Рассказы о Пушкине, с. 44–45]. Утверждение Нащокина пытались различным образом откорректировать. М. Цявловский в примечаниях к приведенному рассказу: «Утверждение Нащокина говорит только о том, что чтение это не оставило у Пушкина сильного впечатления» [Там же. С. 116]. Н. Петрунина и Г. Фридлиндер: «Свидетельство Нащокина может быть истолковано и как указание на то, что Гоголь читал Пушкину “Мертвые души” после возвращения поэта из Москвы в мае 1836 г., т. е. после его последнего свидания с Нащокиным» [Пушкин. Исследования, т. 6, с. 210]. Однако сама встреча Гоголя с Пушкиным в указанное время весьма проблематична (об этом – ниже).

Самое же главное то, что напрашивается гораздо более простое и логичное объяснение: Гоголь предпринял работу над «Мертвыми душами» в величайшей тайне. «Только три человека, вы, Пушкин да Плетнев должны знать настоящее дело» [XI, 75–76], – писал он Жуковскому. Нет сомнения, что и к Пушкину он обращался с соответствующей просьбой. А с Павлом Нащоки-

ным приходилось быть особенно осторожным, так как он, типичный москвич, отличался замечательной общительностью; от него шли нити к московским друзьям Гоголя: семейству Аксаковых, М. Щепкину, М. Погодину и другим, а от них-то автор «Мертвых душ» до поры до времени скрывал свою тайну³². Не говоря уже о знакомстве Нащокина со множеством других лиц, еще более далеких Гоголю, но весьма охочих до разных литературных новостей и сплетен. Так что дело вовсе не в том, что чтение «Мертвых душ» будто бы не произвело на Пушкина сильного впечатления³³.

Но как сочетается рассказ Гоголя о тяжелом, угнетающем впечатлении Пушкина с тем, что «Мертвые души» были начаты под знаком «веселости», перед которой не мог устоять и сам автор (даже чуть позже, уже за границей он отметит: «...вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день». – [XI, 74])? Погрустневший Пушкин, по словам Гоголя, «не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка». Это соотносится с другим замечанием Гоголя, что он выдумывал смешные положения и характеры, чтобы избавиться от приступов хандры. Именно поэтому пушкинская реакция показалась Гоголю неадекватной, и с тех пор, по его словам, он стал думать о «пугающем отсутствии света», о «том, как бы смягчить то тягостное впечатление...» [VIII, 294]. Тут многие категории, касающиеся намерения морально оформить, отрегулировать комическую стихию, отражают более позднюю гоголевскую стадию развития, а именно ту, когда писались «Четыре письма...». Но признание о большом удельном весе, если не всевластии «собственной выдумки», фантазии вполне укладывается в контекст гоголевского мироощущения рубежа 1835–1836 гг. и косвенно подтверждает факт чтения поэмы Пушкину именно в это время.

Тщательно рассмотрим все обстоятельства, которые могли привести к осложнению отношений двух писателей перед отъездом Гоголя за границу.

Один из поводов – статья «О движении журнальной литературы...». Мы уже касались колебаний редакции (т. е. Пушкина, но, вероятно, и самого Гоголя) относительно указания авторства: в конце концов статья появилась без подписи. Но это решение привело к недоразумениям и нежелательным для Пушкина последствиям. Одни читатели, далекие от литературных дел, просто приписали статью Пушкину³⁴; другие, более осторожные,

не называя автора, приняли статью за безусловное выражение точки зрения издателя. Белинский в «Молве» (№ 7; ценз. разр. – 31 апреля) не обинуясь объявил, что в статье и в библиографическом разделе «Новые книги» (также составленном в основном Гоголем и напечатанном без подписи) «видны дух и направление нового журнала» [Белинский, т. 2, с. 180]. Белинскому это «направление» нравится; другому же рецензенту, Ф.В. Булгарину, совсем не по душе.

Свой обзор первого тома журнала Булгарин начал с гоголевской статьи, «ибо в этой статье выражаются дух, цель и все будущее намерение Современника» [СП. № 127. 6 июня]. Порою кажется, что рецензент подозревает Пушкина в авторстве статьи, во всяком случае, некоторые фразы из нее он толкует как слова «самого издателя» [№ 129. 9 июня]. Больше всего задела Булгарина острая критика «Северной пчелы»: «...нас, грешных, выгоняют за фрунт, как неспособных к действительной службе» [№ 127]. И следует главное обвинение – в групповине и пристрастии к «своим»: «Современник» «действует не в духе общего литературного блага, не в духе времени, но в духе партии и щепетильной привязчивости» [№ 129]. В контексте этого обвинения прозвучало и имя Гоголя: в той же книжке журнала, замечает Булгарин, напечатан (без подписи) известный отклик Пушкина на второе издание «Вечеров на хуторе...»; значит, Гоголь как сотрудник журнала расхвален «не на живот, а на смерть».

В обзоре Булгарина, между прочим, указывалось и на грамматические огрехи, содержащиеся в гоголевской статье (согласование слов, орфография), что едва ли льстило Пушкину как ее гипотетическому автору. Говорилось и о фактических ошибках, принимать которые на свой счет Пушкину, стремившемуся к точности, также было не очень приятно. Все это в сочетании с главным обвинением – в групповом пристрастии – ставило издателя в несколько щекотливое положение.

Поэтому после выхода журнала Пушкин не раз сталкивался с необходимостью смягчать или даже дистанцироваться от гоголевских суждений. О разговоре Пушкина с Погодиным уже говорилось. Но, оказывается, это был не единственный случай: по словам Н.С. Тихонравова, Пушкин говорил Погодину, что он находил невозможным напечатать в статье «О движении журнальной литературы...» «некоторые, очень игривые *выражения*» [Гоголь, 10-е изд., т. 5, с. 651; курсив в оригинале] – ясно, что это было сказано уже по выходе журнала в порядке некоторого само-

оправдания. Будучи же в мае в Москве, Пушкин «извинялся» и перед В.П. Андросовым [Пушкин. Временник, т. 1, с. 339] – конечно же, за ту ироническую характеристику его как редактора «Московского наблюдателя», которая содержалась в гоголевской статье. Еле сдерживая гнев, Андросов писал 1 мая 1836 г. А.А. Краевскому: «...Пушкин удостоил меня вспомнить в статье о движении “Рус[ских] жур[налов]”: там, помнится мне, сказано, что я не высказал еще моего литературного мнения. Боже мой! Что это у них <за> литература?» [ОР РНБ. Ф. 391. № 152]. Как видно, разговор Пушкина с Андросовым был не из приятных...

А затем Пушкин предпринял аналогичные шаги на страницах самого журнала. Уже во втором томе «Современника» он сообщил о существовании некоей «статьи, присланной нам из Твери с подписью А. Б.»; сама же статья появилась в следующем томе. Здесь работа «О движении журнальной литературы...» называлась «немного сбивчивой»; отмечалось слишком большое внимание «Библиотеке для чтения»; высказывалось пожелание, чтобы круг интересов «Современника» был «более обширный и благородный»; поддерживался (и даже усиливался) удар по «Северной пчеле», точнее, по сочинениям Булгарина («скучные статьи с подписью Ф. Б.»); наконец, высказывалась весьма лестная оценка Белинского, что, с одной стороны, означало дружеский жест критику, оппозиционному и «Московскому наблюдателю» и другим изданиям, а с другой – некий намек педагогического свойства самому Гоголю: Белинский «обличает талант, подающий большую надежду», но ему необходимо «более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности...» [Пушкин, т. 7, с. 441]³⁵. Не того ли следует ожидать и от Гоголя? Особенно по части «осмотрительности»...

Напомним, что все это хотя и писалось Пушкиным, но не от своего имени, а от имени некоего читателя из Твери, из «глубинки». От своего же имени Пушкин лишь откорректировал оценку статьи Гоголя (впрочем, по-прежнему не раскрывая его авторства): вместо недостатков как таковых («эту немного сбивчивую статью») – недостатки как продолжение достоинств («мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостию и прямодушием...»). И самое главное – Пушкин отметил, что эти «мнения» не являются «программою “Современника”» [Там же. С. 442]. Ради этого вывода и затеяна вся история с письмом. В чем конкретно состоят отличия, издатель не объяснил, предоставив решение

этого вопроса читателям и – времени. Ему как раз важно создать впечатление открытости и широты программы журнала, нескованности перспективы, отсутствия всякой предвзятости.

С той же целью Пушкин, говоря современным языком, деидеологизирует некоторые гоголевские суждения. В статье «Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности...», опубликованной в той же третьей книжке «Современника», что и «письмо» из Твери, Пушкин выступил против прямого выведения духа современной французской словесности из политической, т. е. революционной, обстановки: «Мы не полагаем, что нынешняя, раздражительная, *опрометчивая, бессвязная французская словесность была следствием политических волнений.* В словесности французской совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту...» [Там же. С. 404–405]. К выделенным Пушкиным словам дана отсылка к статье «О движении журнальной литературы...», чье авторство, однако, издатель также не раскрыл.

Вся эта открытая и полускрытая полемика с гоголевской статьей выплеснулась на страницы «Современника», когда ее автор был уже за пределами России, но предвестие полемики, подготовка публикаций, возможно, обозначились еще в бытность его в Петербурге. Во всяком случае, эта полемика восходила к каким-то устным высказываниям Пушкина. Об этом определенно говорит Анненков, изучавший отношения двух писателей: с точки зрения Пушкина, «Гоголь не обладал тогда... необходимою многосторонностью взгляда. Ему не доставало еще значительного количества материалов развитой образованности...»

На один из примеров Анненков ссылается как живой свидетель: «Пишущий эти строки сам слышал от Гоголя о том, как рассердился на него Пушкин за легкомысленный приговор Мольеру: “Пушкин, – говорил Гоголь, – дал мне порядочный выговор и крепко побранил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинакова и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах...”» [Анненков, 1855, с. 857]³⁶.

Пушкинские упреки в чрезмерном категоризме и полемическом задоре Гоголь воспринимал по-своему – как стремление к олимпийскому спокойствию и удаление от злобы дня. В отношении молодого Гоголя к Пушкину было нечто родственное той реакции, которую вызывал «олимпиец» Гёте у представителей «Молодой Германии». Впоследствии Гоголь скажет: «Он [Пушкин] действительно в то время слишком высоко созрел для того,

чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода...» [VIII, 422].

Тут необходимы одно-два принципиальных уточнения. Упреки Пушкину касались именно журнализма, критической тактики и стратегии, оперативного вмешательства в художественную и (насколько это было возможно) общественную жизнь. И тут Гоголь был не одинок, напротив, он выражал мнение ряда лиц, если не многих. Не кто другой, как А.И. Тургенев, человек, близкий к Пушкину, и именно на страницах пушкинского «Современника» (1836. Т. 4) писал, что он «парализован... известием газетным, что Пушкин будет издавать *Review*, а не журнал». «Я собирался быть его деятельным и верным сотрудником и сообщать животрепещущие новинки из области литературы и всеобщей политики; но какой интерес могут иметь мои энциклопедические письма чрез три или четыре месяца?» [Тургенев, с. 88]. А вот голос из другого стана и человека другой общественной ориентации, но во многом совпадающей с опасениями Тургенева, только эти опасения превратились в утверждение – первый том журнала уже вышел. И откликаюсь на него, Белинский буквально говорит все то, что и Тургенев: «...журнал должен быть чем-то живым и деятельным; а может ли быть особенная живость в журнале, состоящем из четырех книжек, а не книжищ, и появляющемся чрез три месяца?» [Белинский, т. 2, с. 179].

Иван Панаев, человек того же поколения, что и Белинский (он был моложе последнего на один год), впоследствии свои впечатления сформулировал как итог: «Большинство говорило, что поэту (т. е. Пушкину) не следовало пускаться в журналистику, что это не его дело. Начинали поговаривать... что его принципы и воззрения обнаруживают недоброжелательство к новому движению...» [Панаев, с. 173].

Не в пользу журнала говорило и имя его издателя, ибо талант поэта и талант журналиста – это совершенно разные вещи. «Кому неизвестно, что можно писать превосходные стихи и в то же время быть неудачным журналистом? Всеобъемлемость таланта и его направлений есть исключение: Гёте, в этом случае, может быть, пример единственный» [Белинский, т. 2, с. 233]. Пример Гёте здесь также использован против Пушкина, хотя и в другом смысле. И Белинский даже сравнивает журнальное дело с путями сообщения, с ярмаркой, с налаженными в обществе коммуникациями, с биржей [Там же. С. 180] – все эти примеры (и цитаты) Белинский с удовольствием и обильно черпает из гоголевской статьи «О движении журнальной литературы...».

При этом и другое мнение критика – о том, что талант Пушкина как великого поэта вовсе не гарантирует его успехи в журнальном ристалище, – тоже близко гоголевскому. Существует точка зрения, что Гоголь к этому времени считал художественную деятельность Пушкина завершенной или завершающейся, отставшей или отстающей от жизни, словом, принадлежащей прошлому, и что именно это послужило одной из причин их «ссоры». Но вспомним слова, напечатанные всего годом раньше (в «Арабесках»): «...чем более поэт становится поэтом... тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы...» Отстал не Пушкин (тут гоголевская точка зрения прямо противоположна Белинскому), отстала или отстаёт публика, радостно приветствовавшая его прежде. Себя, конечно, Гоголь причисляет к малому числу истинных ценителей, сохранивших верность поэту и умеющих отличить тонкие деликатесы от изделий крепостного повара. Нет никаких оснований считать, что в течение нескольких месяцев к началу 1836 г. взгляд Гоголя на этот счет изменился. Просто на первый план вышли другие проблемы, а именно журнализма и связанных с ним некоторых субъективных амбиций и качеств Николая Васильевича. Здесь Гоголь действительно не во всем совпадал с Пушкиным.

Расхождения в этой сфере вели, говоря словами Анненкова, к «некоторым недоразумениям» и обидам со стороны Гоголя, которые, впрочем, не следует преувеличивать.

Обращает на себя внимание ряд хронологических совпадений. «Письмо» из Твери якобы написано 23 апреля, т. е. через четыре дня после премьеры «Ревизора», о которой многообещающе сообщалось в первом томе «Современника». Известие же об этом «письме» появилось во втором томе, где напечатан в высшей степени похвальный отзыв Вяземского о комедии. В той же книжке по предложению Пушкина была опубликована статья В. Одоевского «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе», статья, где о Гоголе говорилось как о «лучшем таланте в России». В письме от 11 мая из Москвы Пушкин, передавая Наталье Николаевне различные поручения по «Современнику», писал: «Ты пишешь о статье *Гольцовской*. Что такое? Кольцовской или Гоголевской? – Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть...» [Пушкин, т. 10, с. 578].

Мы видим, что обе линии идут строго параллельно: Пушкин корректирует гоголевские критические оценки, дистанцируется от них и *в то же время* продолжает защищать и поддерживать его произведения.

Анненков останавливается еще на одном обстоятельстве, которое могло осложнить взаимоотношения двух писателей. «Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль “Ревизора” и “Мертвых душ”, но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако ж в кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: “С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя”» [Анненков, 1983, с. 59].

С современной точки зрения пушкинские слова и, соответственно, интерпретация их Анненковым выглядят как осуждение гоголевского «похищения». Но это совсем не так: нужно вслушаться в контекст рассуждений биографа. А контекст этот полемический, направленный против незадолго перед тем вышедшей книги П. Кулиша «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя...» (1856). Кулиш считает необходимым оправдывать те или другие гоголевские поступки; Анненков же полагает, что ни в каких оправданиях великий писатель не нуждается: нужно «смотреть прямо в лицо герою и иметь доверенности к его благодатной природе». И далее как пример «доверенности» приводит эпизод с заимствованием, которое в данном случае вовсе не порицается поэтом: «Пушкин понимал неписанные права общественного деятеля. Притом же Гоголь обращался к людям с таким жаром искренней любви и расположения, несмотря на свои хитрости, что люди не жаловались, а напротив спешили навстречу к нему». Одним из тех, кто поспешил Гоголю навстречу, и был Пушкин. В сообщении о его реакции очень важно деепричастие «смеясь» (не жаловался, а «говорил смеясь»).

В пушкинском отношении и к участию Гоголя в «Современнике» и к заимствованию им двух сюжетов есть нечто общее: снисходительность, понимание «неписаного права» великого таланта, который ищет применения своих сил и полной самореализации. Мол, таков Гоголь, нравится нам это или не нравится.

Кстати, если говорить о творческой ревности, то, вопреки сложившейся перспективе, вернее ретроспективе, такое чувство более естественно было ожидать от Пушкина, а не от Гоголя. Напомним, что уже «Вечера на хуторе...», так сказать, разыгрывались против Пушкина как более удачный опыт прозы в народном духе, да и художественного творчества вообще. Н.А. Мельгунов писал из Москвы С.П. Шевыреву 9 февраля 1832 г.: «...в нашей литературе наступает кризис. Это видно уже по упадку Пушкина. На него не только проходит мода, но он явно упадает талантом». «Его повести («Повести Белкина». – Ю. М.) имели успех сомнительный». Тут

же среди новых явлений упомянуты «повести Рудьки-Панькова» и пояснено: «псевдоним, один молодой малороссиянин, который много обещает» [ОР РНБ. Ф. 850. № 370]. Интересно, что даже статья «О движении журнальной литературы...» была противопоставлена И.И. Панаевым всем другим материалам первого тома «Современника»: мол, «одна только» эта статья «наделала большого шума в литературе и произвела очень благоприятное впечатление на публику» [Панаев, с. 172]. Гоголь воспринимался многими читателями как «победитель и устаревшего Жуковского и самого Пушкина» [Загарин, с. 579], так что вовсе не неожиданно прозвучало заявление Белинского, провозгласившего Гоголя «главою литературы, главою поэтов» при живом Пушкине, за два года до его гибели. Эта ситуация выдвигала перед Пушкиным требование особой деликатности и, можно сказать, осторожности во взаимоотношениях с молодым писателем.

Остановимся еще на одном аргументе, который обычно приводится в качестве мотивировки ссоры, будто бы имевшей место между Пушкиным и Гоголем. Это – пассаж о Пушкине в черновой редакции «Ревизора», т. е. рассказ Хлестакова о том, «как странно сочиняет Пушкин»: «Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, славнейший ром, рублей по сту бутылка, какова только для одного австрийского императора берегут, – и потом уж как начнет писать, так перо только: тр... тр... тр... Недавно он такую написал пиэсу: Лекарство от холеры, что просто волосы дыбом становятся. У нас один чиновник с ума сошел, когда прочитал. Того же самого дня приехала за ним кибитка и взяла его в больницу. С Булгаринным обедаю» [IV, 294].

Отправной точкой этой «информации» послужил, как известно, эпизод, переданный самим Пушкиным Наталье Николаевне в письме от 11 октября 1833 г. из Болдина: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пишет – перед ним стоит штоф *славнейшей* настойки – он хлоп стакан, другой, третий – и уж начнет писать! – Это слава» [Пушкин, т. 10, с. 452]. Возможно, Гоголь тоже узнал об этой истории от Пушкина; во всяком случае, ее, очевидно, рассказывали в окружении поэта. Что же касается второго пункта «информации» – о неприличной «пиэсе» – то и она если и не восходит непосредственно к Пушкину, то была ему давно известна: в дневниковой записи от 10 мая 1834 г. он упомянул «о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства»,

«которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне» [Там же. Т. 8. С. 50].

Вот этот-то факт, так сказать, художественного использования конфиденциальной информации осложнил, по мнению авторитетного исследователя, отношение Пушкина к автору «Ревизора»: «Информация Хлестакова оказывается сплетней, и, как всякая сплетня, она позорит, чернит того, о ком эту сплетню рассказывают, распространяют, повторяют... Не заметить этого Пушкин не мог. Заметив, не мог не выразить недовольства бестактностью Гоголя: сплетня о Пушкине будет рассказана со сцены императорского театра, среди зрителей которого будет император Николай I» [Макогоненко, с. 256].

В новейшем исследовании тема бестактности Гоголя в «Ревизоре» и якобы порожденной ею обиды Пушкина получила дальнейшее развитие. Для понимания проблемы вернемся несколько назад, к началу 1836 г., когда проходили чтения комедии на субботах у Жуковского. Чуть ли не единственным противником «Ревизора», как мы помним, оказался тогда барон Розен, с недоумением наблюдавший всеобщее воодушевление и веселье. Ярче всего этот контраст проявился в следующем эпизоде.

«...Вдруг... грянула из комедии такая шутка, – вспоминает Розен, – что душа моя оцепенела, – шутка, по моему разумению, *неопрятная*, но, видно, *забавная* для других: многие расхохотались, иные зарукоплескали, и звучный голос одного очень образованного человека, в похвалу этой нечистой, по моему мнению, шутке, произнес во всеуслышание, с единственною энергиею: “C’est le haut comique!”» [СО. 1847. № 6. Отд. 3. С. 23; курсив в оригинале]. По мнению исследователя, речь идет именно об упомянутом злополучном пассаже. «Перебрав все шутки комедии, которые можно считать “haut comique” и вместе с тем “нечистыми” и “неопрятными”, трудно указать на что-то более способное привести в “оцепенение” несколько чопорного барона Розена, чем рассказы Хлестакова о том, как и что сочиняет Пушкин» [Дрыжакова, с. 191].

Но это вовсе не обязательно: в тексте второй черновой редакции – именно ее, скорее всего, читал Гоголь – можно указать и другие рискованные «шутки», а кроме того, далеко не все сохранилось и не все было зафиксировано: Гоголь имел обыкновение держать иные поправленные места в памяти, отступая от письменного текста. Но допустим, речь шла именно о рассказе Хлестакова о Пушкине – что же из этого следует?

Главный мотив всего мемуара Розена тот, что Пушкин относился к Гоголю достаточно сдержанно, не высоко ставил его комическое дарование, хотя и держал это мнение при себе, лишь обнаруживая его осторожными намеками (в том числе и самому Розену). Значит, если бы упомянутая шутка, равно как и любое другое место комедии, вызвала негативную реакцию Пушкина или вообще была бы направлена против него, то Розен не преминул бы воспользоваться этим фактом. То, что Розен этого не сделал, означает одно: ничего обидного для поэта он здесь не усмотрел. И не только Розен.

Но допустим (как предполагает исследовательница), что Пушкин в этот день не присутствовал на чтении. Зато был Вяземский – именно он, замечает исследовательница, «по всей вероятности», от души возрадовался неприличной шутке, найдя в ней «высшую степень комизма» [Там же. С. 191]. Даже если это и так, то надо учесть, что его дружественное расположение к Пушкину было не меньшим, чем у Розена. А ведь на чтении присутствовали и другие близкие к поэту люди: возможно, Плетнев и, совершенно определенно, Жуковский – как хозяин дома. И никто из них даже намеком не обмолвился о якобы нанесенном Пушкину оскорблении.

Между тем из факта «оскорбления» делаются другие далекоидущие выводы: мол, Пушкин имел с Гоголем неллицеприятный «разговор» [Макогоненко, с. 257], «очень строгое объяснение» [Дрыжакова, с. 193], после чего драматург «вычеркнул из писарской копии 1836 года... все анекдоты о Пушкине» [Там же], а кроме того, в порядке своеобразного дезавуирования своей «шутки» ввел в беловой текст статьи «Несколько слов о Пушкине» обширное примечание. «Примечание это... появилось в “Арабесках”, по всей видимости, со слов Пушкина и по его просьбе» [Там же. С. 191].

Начнем с примечания – вот его текст: «Под именем Пушкина рассеивалось множество самых нелепых стихов. Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильною известностью. Это вначале смешит, но после бывает досадно, когда наконец выходишь из молодости и видишь эти глупости не прекращающимися. Таким образом начали наконец Пушкину приписывать: Лекарство от холеры, Первую ночь и тому подобные» [VIII, 51]. Предполагается, что это заявление, сделанное от лица автора, т. е. Гоголя, резко противопоставлено хлестаковской реплике, поправляет ее и все ставит на свои места. На самом же деле она ничего не поправляет и не отменяет, потому что поправлять было нечего.

Существует давний полемический прием, когда суждение о писателе, о произведении «остраивается» и внутренне подрывается уже тем, что вкладывается в уста определенного рода персонажей. У Гоголя таких случаев немало, например в «Театральном разъезде...», – ну, скажем, заявление одного «литератора» о том, чему Пушкин обязан своей славой: «Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Все приятели кричали, а потом вслед за ними и вся Россия стала кричать» [V, 141]. Хлестаковская версия относительно Пушкина комична и лишена реального значения уже потому, что ее произносит Хлестаков. Кстати, и упоминание им в той же реплике имени Булгарина говорит не о том, что «Пушкин поставлен в один ряд с Булгариным» [Макогоненко, с. 256], но лишь о комичной неразборчивости вкуса самого Хлестакова, сваливающего в одну кучу все и вся. Тот же прием в «Невском проспекте», в описании того разряда людей, к которому принадлежал поручик Пирогов: «Они любят потолковать о литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча...»

Словом, и гоголевское примечание и пассаж из «Ревизора» развиваются в одном смысловом контексте. Примечание в обобщенной форме говорит о том, как реагирует толпа на творчество Пушкина и какие она порою имеет о нем суждения. Пассаж из комедии конкретизирует мысль о толпе до определенного лица, и эта конкретизация тем более убедительна, что этим лицом является Хлестаков.

Нет также никаких оснований считать, что Пушкин под влиянием упомянутой «рискованной шутки» Гоголя на чтениях «Ревизора» «изменил свое отношение к комедии» и что именно поэтому разбор комедии, «как известно, написал Вяземский», а сам поэт «хранил молчание», ограничившись «подстрочным примечанием к рецензии на “Вечера...”» [Дрыжакова, с. 195].

Однако кто как не издатель «Современника», т. е. Пушкин, незамедлительно опубликовал разбор Вяземского, и не только этот разбор, но и еще статью В. Одоевского «О вражде к просвещению...», где, как мы уже говорили, Гоголь был назван «лучшим талантом России»... И что реально означало пушкинское примечание в заметке о втором издании «Вечеров на хуторе...»? «Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале», – завершает Пушкин свою заметку и делает к последней фразе такое примечание: «На днях будет представлена на здешнем Театре его комедия “Ревизор”» [Пушкин, т. 7, с. 346]. Словом, «Ревизор» фигурирует здесь не в нейтраль-

ном информационном контексте, но с определенной оценочной интонацией – как свидетельство того, что «Гоголь идет вперед».

И наконец, еще одно бытующее мнение, связанное с пушкинской заметкой о втором издании «Вечеров на хуторе...», якобы отражающей охлаждение поэта к автору «Ревизора». В этой рецензии другое гоголевское произведение «Тарас Бульба» упомянуто с уточнением: «...коего *начало* достойно Вальтера-Скотта» [Там же]. Обратив внимание на подчеркнутое нами слово, современный исследователь спрашивает: «А продолжение повести? А вся повесть написана тоже в духе Вальтера Скотта или нет? Многие (но не все) исследователи полагают, что формула Пушкина есть одобрение Гоголя... Мне представляется подобное толкование несправедливым» [Макогоненко, с. 264].

Но, во-первых, нужно осознать, что вообще означало сопоставление русского писателя с Вальтером Скоттом. «Shakespeare, Gёte, Walter Scott...» [Пушкин, т. 7, с. 535] – вот в каком ряду фигурировало обычно имя шотландского романиста! И от Гоголя можно было услышать такие же суждения: «...знаменитый шотландец, великий дееписатель сердца, природы и жизни, полнейший, обширнейший гений XIX века» («О движении журнальной литературы...»). Это было напечатано, кстати, в той же книжке «Современника», где упоминался «Тарас Бульба» в связи с Вальтером Скоттом. Словом, пушкинское замечание о гоголевской повести (даже с уточнением: «начало») было не просто похвалой, но признанием высшего достоинства.

Это можно проиллюстрировать еще с помощью такой параллели. В заметке о романе М. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Пушкин, говоря о влиянии «шотландского чародея» на современную литературу, хвалит (правда, с оговорками) автора упомянутого произведения. Но хвалит только как успешного продолжателя традиции и нигде не говорит, что произведение Загоскина (или его часть) *достойны* Вальтера Скотта.

Примененное же к «Тарасу Бульбе» ограничение («коего *начало*»), видимо, связано с пушкинским пониманием манеры Вальтера Скотта как изображения истории «домашним образом» [Пушкин, т. 7, с. 535]. В самом деле, в гоголевской повести нет, пожалуй, другой такой сцены, которая, как первая глава, раскрывала бы внутреннюю, домашнюю сторону эпохи (взаимоотношение Тараса с обоими сыновьями, с женою, положение женщины, быт и нравы семьи, интерьер «светлицы» и т. д.). В дальнейшем эта

перспектива, этот угол зрения осложняются другими, хотя полностью не исчезают [ср.: Макогоненко, с. 264–267; Купреянова, с. 547, 545]. Словом, то обстоятельство, что Пушкин остановился только на «начале» повести, вовсе не имело вид утверждения или даже намека, что все остальное не заслуживает высокого признания. И обидеть Гоголя пушкинские строки никак не могли.

В оценке взаимоотношений Пушкина и Гоголя смешиваются два разных явления. Да, близкими людьми они никогда не были. Не дружили домами и семьями (да и не было у Гоголя своего «дома»), так что немудрено было Гоголю перепутать имя Натальи Николаевны. Не делились интимными подробностями, не посвящали друг друга в обстоятельства своей личной жизни. Гоголь для Пушкина – не Нащокин и не Вяземский. Отношения Пушкина и Гоголя ограничивались литературной сферой, но в рамках этого ограничения были достаточно определенными и стабильными. Говорить о соре, о разрыве не приходится.

Косвенно это подтверждается письмом Плетнева от 27 октября 1844 г. Гоголю. Говоря о друзьях, которые «искренно любят тебя за талант», Плетнев поясняет: «Таков Жуковский, таковы Балабины, Смирнова и таков был Пушкин». Опять-таки нужно принять во внимание контекст этой фразы. Перед этим Гоголь отправил Плетневу письмо, полное укоров, прося и своего корреспондента сказать о нем, Гоголе, все, что тот думает. Плетнев был явно рассержен, а не рассердившись, как говаривал Гоголь, не говорится никакая правда. И Плетнев ответил: «Наконец, захотелось тебе послушать правды. Изволь: попотчую... Но что такое ты? Как человек существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы» и далее в том же духе [Переписка, т. 1, с. 246–247]. Но ни словом не обмолвился Плетнев о соре Гоголя с Пушкиным, упомянув лишь о том, что Пушкин искренне любил Гоголя «за талант». А ведь кто как не Плетнев знал бы о такой соре, если бы она имела место. И он, конечно, не преминул бы воспользоваться этим фактом в сложившихся обстоятельствах.

Что же реально произошло во взаимоотношениях двух писателей? Вначале вдумаемся в хронологию. Пушкин возвращается из Москвы поздно вечером 23 мая и сразу же едет на свою дачу на Каменном острове. До отъезда Гоголя остается две недели. Виделся ли он с Пушкиным в это время? Пушкин наезжает время от времени в город по делам «Современника», посещает книжные

лавки. Но о встречах его с Гоголем ничего не известно. Буквально за четыре дня до отъезда, 2 июня, Гоголь был у Вяземских, праздновавших день рождения сына Павла. Для посещения Вяземских у Гоголя были и свои причины: он знал, что отправляется за границу вместе с частью семейства Вяземских (об этом дальше) и, возможно, хотел обсудить кое-какие предотъездные дела.

Н.В. Измайлов, публикатор писем Карамзиных, полагает: «нельзя сомневаться», что у Вяземских в этот день «присутствовал Пушкин» [Карамзины, с. 40]. Напротив, в этом стоит усомниться: если бы Пушкин присутствовал, это было бы отмечено в соответствующем письме С.Н. Карамзиной к брату Андрею – в письме, рассказывающем о «вечере у Вяземских». Гоголю же присутствие Пушкина предоставило бы возможность попрощаться с ним³⁷.

Как же понимать злополучную гоголевскую фразу? Именно так, как она звучит, не отыскивая в ней никакого тайного смысла. В письме от 28 июня н. ст. из Гамбурга к Жуковскому Гоголь говорит: «Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься; впрочем, он в этом виноват» [XI, 50]. Речь идет об отсутствии *прямой*, так сказать, физической возможности «проститься», и в этом, по мнению Гоголя, «виноват» Пушкин. Он ведь знал, что Гоголь уезжает далеко и надолго, но не смог или не захотел так распорядиться своим временем, чтобы их встреча состоялась [см. также: Золотусский, с. 218–219].

И позднее, в «Отрывке из письма...» к «одному литератору» (т. е. к Пушкину), Гоголь, говоря о предстоящем «путешествии», почти слезно просит: «Ради Бога, приезжайте скорее. Я не поеду, не простившись с вами. Мне еще нужно много сказать вам того, что не в силах сказать несносное, холодное письмо...» [IV, 104]. Письмо датировано (видимо, задним числом) 25 мая. Пушкин только что, двумя днями раньше, вернулся из Москвы в Петербург, на каменноостровскую дачу и в этот день (25-го) наведался в столицу по делам своего журнала. Знал ли Гоголь об этом визите или нет – факт тот, что он пишет к отсутствующему Пушкину, с которым надеялся встретиться, но не встретился. Гоголь дает понять, как важна для него эта встреча, это прощание с Пушкиным, объясняя тем самым возникшее у него чувство обиды.

Да, это была обида. И поэтому Гоголь, едва покинув Россию, пишет письмо Жуковскому, передает поклон Вяземскому, обещает написать Плетневу, а Пушкину не пишет и поклона ему не передает, предназначая для сведения последнего лишь процитированные выше строки (Гоголь не сомневался, что Жуковский

их покажет или перескажет Пушкину). Это была обида, но не больше – не расхождение, не разрыв, как полагают некоторые исследователи. Гоголь дает понять, что хочет сохранить связь с поэтом и его «Современником»: вслед за фразой о вине Пушкина идет другая: «Для его журнала я приготовлю кое-что, которое, как кажется мне, будет смешно: из немецкой жизни» [XI, 50]. Судьба этого замысла нам неизвестна, но известно то, что в первые же месяцы заграничной жизни он приготовил для «Современника» окончательный текст «Петербургских записок 1836 года», который Пушкин незамедлительно, в шестом томе, напечатал³⁸.

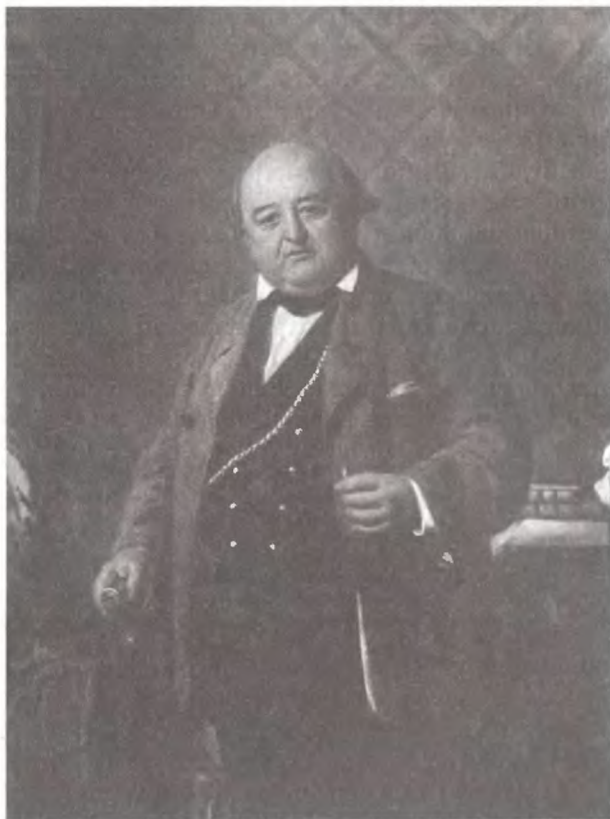
Трудно сказать, как долго сохранялось у Гоголя чувство обиды. Но когда позднее, в феврале 1837 г., он узнает о гибели поэта, высказанный упрек ему и сама мысль об упущенном, несостоявшемся прощании усилят боль и ощущение невосполнимой утраты.

Перед дальней дорогой

Итак, Гоголь решил ехать за границу еще до премьеры «Ревизора», т. е. в начале апреля, может быть, и раньше. И все оставшееся время он живет в ожидании пути, как бы «на подлете» – в состоянии, описанном в заключительных строках «Петербургских записок...»: «...Петербург во весь апрель месяц кажется на подлете. Весело презреть сидячую жизнь и постоянно помышлять о дальней дороге под другие небеса, в южные зеленые рощи, в страны нового и свежего воздуха... Но стой, мысль моя: еще с обеих сторон около меня громоздятся петербургские дома...» [VIII, 189–190].

Весна 1836 г. выдалась в Петербурге капризной и неустойчивой. «В середине апреля было так тепло, как летом, а в мае, кажется, сама Сибирь переехала в Петербург» [XI, 42].

Гоголь ловит все, что говорится о дальних странах, спрашивает знакомых, наводит разговор на интересующую его тему. 28 мая, согласно Мокрицкому, у Гоголя собралось «человек восемь гостей. Есипов занимал нас своими рассказами про вояж в чужих краях» [Мокрицкий, с. 77]. Но особенно полезны с этой точки зрения ему были двое – Жуковский и Вяземский, так как оба совершили незадолго перед тем путешествия в западноевропейские страны.



М.С. Щепкин
Литография с рисунка А. Скино

Жуковский был за границей с июня 1832 г. по сентябрь 1833 г. Побывал в Германии (Эмс), Швейцарии (деревня Верис на берегу Женевского озера), в Италии (Рим), где встречался с широким кругом лиц – К. Брюлловым, А. Ивановым, Зинаидой Волконской, Стендалем... Своими впечатлениями Жуковский поделился с Гоголем, о чем свидетельствует письмо последнего: «Вы говорили мне о Швейцарии, о Германии и всегда вспоминали о них с восторгом. Моя душа также их приняла живо...» [XI, 112].

Вяземский же находился за границей с августа 1834 г. по май 1835 г. Из Германии он переехал в Италию, где также встре-

чался со многими лицами – Волконской, Брюлловым, Стендалем, итальянским поэтом Джузеппе Белли, кардиналом Джузеппе Мещофанти... Все они, кроме Стендала, впоследствии войдут в круг общения Гоголя (с Брюлловым он познакомится еще до отъезда). Главной целью поездки Вяземского было лечение дочери Пашеньки, страдавшей чахоткой. Но спасти ее не удалось; в марте 1835 г. она умерла и была похоронена в Риме. Гоголь, будучи в Риме, посетит ее могилу.

Перед отъездом Гоголь должен был прояснить свои отношения с москвичами. Дело в том, что он выразил желание приехать в старую столицу, чтобы помочь в постановке «Ревизора», и москвичи с нетерпением ждали обещанного. «Гони к нам Гоголя», – просит 7 мая москвич Щепкин петербуржца Сосницкого. А тот все не ехал. Наконец, 15 мая отправил три письма – С. Аксакову, Щепкину и Погодину – с сообщением, что вообще не приедет, так как через несколько дней отправляется за границу.

Письма были очень теплые, проникновенные. Гоголь отдает должное старой столице; он рад, что «среди многолюдной, неблагоприятной толпы скрывается кружок избранных», подразумевая под «избранными» и аксаковское семейство, и других знакомых москвичей, но несмотря на это, говорит С. Аксаков, «письмо такое простое, искреннее не понравилось всем и даже мне» [Воспоминания, с. 96]. Почему же не понравилось?

В Москве все уже были наслышаны о «Ревизоре», многие, включая Аксаковых, успели и прочесть. Было известно также, какое возбуждение вызвала петербургская премьера и что Гоголь (преувеличивая, как мы знаем) считал ее чуть ли не неудачей. В этих обстоятельствах предстоящая московская премьера должна была поправить положение и вполне удовлетворить автора – не даром же Гоголь собирался лично растолковать актерам что к чему. И вдруг непостижимое равнодушие к своему творению... Сам бы Сергей Тимофеевич, к примеру, полетел бы, не раздумывая, на край света, если бы решалась судьба его произведения.

Кроме того, поездка Гоголя в Москву имела значение почти ритуального жеста; Гоголь приезжал в древнюю столицу после каждого своего крупного успеха: в 1832 г. – после выхода «Вечеров на хуторе...», в 1835 г. – «Арабесок» и «Миргорода». Все это были вехи на его творческом пути. Теперь не менее значительной вехой явился «Ревизор», но Гоголь приехать отказался.

И это в то время, когда москвичи проявляли к нему особенно теплое отношение... В этом убедился Пушкин, приехавший

в Москву в мае 1836 г. «Пошли ты за Гоголем, – писал он 6 мая жене, – и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву прочесть Ревизора... С моей стороны я тоже ему советую: не надобно, чтоб Ревизор упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге» [Пушкин, т. 10, с. 577]. Кстати, это еще одно свидетельство, что Пушкин отнюдь не изменил свое отношение к «Ревизору».

Наталья Николаевна, скорее всего, передала Гоголю слова мужа (во время поездки Пушкина в Москву она часто была посредником в его литературных делах), но Гоголь совету не внял. Москвичам это могло показаться неблагодарностью и неуважением к старой столице. Вникать в подоплеку поступков Гоголя, в его сложные переживания они не желали и не умели. Лишь много позднее Сергею Тимофеевичу пришла на ум простая мысль, которой он поделился с Погодиным и Шевыревым: «Господа, ну как мы можем судить Гоголя по себе? Может быть, у него нервы десятеро тоньше наших и устроены как-нибудь вверх ногами!» На что Погодин со смехом отвечал: «Разве что так!» [Воспоминания, с. 96].

Шла последняя неделя пребывания Гоголя на родине. 2 июня, за четыре дня до отъезда, он, как мы уже говорили, – на дне рождения у Вяземских, где читает комедию «Женитьба». «...Мы смеялись до слез, так как он читает чудесно, – сообщала тремя днями позже С.Н. Карамзина брату Андрею. – Но во всех его произведениях один и тот же недостаток: полное отсутствие выдумки и интриги и большое однообразие смешных мест, всегда вульгарных и тривиальных; впрочем самый русский дух без примеси европейского» [Карамзины, с. 339].

Гоголь всегда чутко улавливал, какое действие оказывали прочитанные им произведения на слушателей; наверно, уловил он и то впечатление, которое передавала Софья Карамзина. И этим впечатлением дополнялся ряд других, аналогичных фактов: отклонение Шевыревым повести «Нос», реакция на «Женитьбу» во время московского чтения в мае 1835 г. и т. д. И все высказываемые при этом суждения сводились к одному: мол, очень забавно, смешно, талантливо, но несколько тривиально, вульгарно, грубо. Гоголь всегда страдал не только от непонимания, осуждения, вражды, но и от неполного понимания, похвал с оговоркой, с умолчанием, с затаенными или полуявными упрёками. Это была драма Гоголя, сопровождавшая его всю жизнь. И с этим чувством писатель покидал родину.

Примечателен и выбор Гоголем для чтения именно «Женитьбы». Гоголь часто читал те произведения, которые собирался доделать или переработать. 30 мая И.И. Сосницкий в письме Щепкину резко критиковал комедию («сюжета никакого – Бог знает, зачем люди приходят и уходят») и сообщал, что Гоголь взялся ее «переделать» [ЛН. Т. 58. С. 552]. И вот через два дня Гоголь читает «Женитьбу» у Вяземских, чтобы проверить впечатление. Результат оказался почти такой же.

К последним дням пребывания Гоголя на родине с большой долей вероятности можно приурочить его встречу с Брюлловым. Все вело к этой встрече: только что в Москве Брюллов с восторгом прочитал «Ревизора» (об этом уже говорилось), а еще раньше Гоголь в статье «Последний день Помпеи» («Арабески», 1835) назвал его картину «полным всемирным созданием», что, конечно, стало известно художнику.

Брюллов приехал из Москвы в Петербург 23 мая³⁹ и вскоре, по-видимому, встретился с Гоголем. Об этой встрече свидетельствует «беглый карандашный портрет Гоголя, который Брюллов сделал на листке рисовальной бумаги»; «этот рисунок был недавно обнаружен и атрибутирован искусствоведом Е.И. Гавриловой» [Корнилова, с. 64].

17 мая в «Прибавлениях к С.-Петербургским ведомостям» (№ 109. С. 980) в информации об отъезжающих за границу значилось: «Николай Гогель [так!], 8-го класса; спрос. в Малой Морской, в доме Лепена». Затем согласно заведенному порядку это сообщение было повторено дважды, 21 и 23 мая, с таким же написанием фамилии.

Появилось сообщение и об А.С. Данилевском, с которым семь с лишним лет назад Гоголь приехал в Петербург, а теперь отправлялся за границу: «Александр Данилевский, дворянин, 14-го класса, спрос. у Обухова моста в доме Липгарта» [№ 115 от 26 мая; соответствующие повторения в № 117, 119].

Перед отъездом Гоголь отправил на извозчике домой, в Васильевку, своего дворового человека Акима, с витепажеским ситцем и алым платком для матери, шляпкой и платьем «для сестры» (вероятно, Марии), с трубкой для Павла Осиповича Трушковского. И еще Гоголь послал «вид Невского проспекта со всеми домами, которые на нем есть» [XI, 47], и несколько книг, включая «Ревизора».

Заехал Гоголь и в Патриотический институт, чтобы попрощаться с сестрами Анной и Елизаветой.

И вот наступило 6 июня, когда Гоголь с Данилевским отправились в Кронштадт, чтобы сесть на пароход «Николай I». Прибыл и Вяземский, провожавший троих членов своей семьи: жену Веру Федоровну, сына Павла и дочь Надежду⁴⁰.

Вяземский снабдил Гоголя несколькими рекомендательными письмами и уже перед самым отплытием, поднявшись на палубу, на прощание поцеловал его [см.: XI, 156].

Часть вторая

«Знаете ли вы, что такое пароход?»

Гоголь плыл уже хорошо знакомым маршрутом – на Травемюнде. Погода стояла ненастная, «пароходная машина» часто портилась; поэтому вместо четырех путешествие продлилось восемь дней. Правда, Гоголь указал другой срок – «целые полторы недели» [XI, 49], но это явное преувеличение, поскольку 14 (26) июня пароход прибыл уже к месту назначения (об этом дальше). Да и гоголевский попутчик Павел Вяземский говорит о восьми днях. Он же сообщает некоторые живые подробности плавания: «Только мы, четыре молодых человека, г-н Гоголь и его спутник, г-н Данилевский, сохраняли хорошее настроение среди самого ужасного шквала. Однажды вечером, когда качка мешала нам спать, мы принялись сочинять песенку...» [ЛН. Т. 58. С. 555].

«Знаете ли вы, что такое пароход? Но нет, вы не знаете, что такое пароход...» – писал Гоголь сестрам Анне и Лизе, пародируя самого себя («Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!»). «Это корабль, который беспрестанно дымится и запачкан, как трубочист, но зато идет гораздо скорее, нежели обыкновенный корабль. <...> У нас было очень большое общество, дам было чрезвычайно много, и многие страшно боялись воды, одна из них, м-ме Барант, жена французского посланника, просто кричала, когда сделалась буря» [XI, 51–52].

Упомянутая дама – это Мария Жозефина, урожденная графиня д'Удето. А ее муж барон де Барант (1785–1866), французский историк и политик, посол в России (с 1835 г.), был хорошим знакомым Пушкина.

Но на корабле произошло событие пострашнее нервного припадка госпожи де Барант. «Один из пассажиров, граф М(усин)-Пушкин умер» [XI, 49]. Это, конечно, Иван Алексеевич Мусин-Пушкин (1783–1836), генерал-майор, тоже знакомый Александра Сергеевича Пушкина; умер он на седьмой день плавания, 12 июня⁴¹.

У Гоголя, несмотря на разыгравшуюся непогоду и случившееся несчастье, хорошее, веселое настроение. Но внутренне он сосредоточен, исполнен важности совершенного шага. Отъезд за границу понимается им как испытание, посланное судьбой, и в то же время знак избранности. Он, Гоголь, у провидения под присмотром. Но мессианизм не означает облегчения участи –

наоборот. Гоголь ожидает новых трудностей, готов «терпеть и недостаток и бедность» ради задуманного подвига. «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст» [XI, 48].

К незрелым, «школьным» упражнениям Гоголь относит буквально все опубликованное им прежде. «И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры “Ревизора”, а с ними “Арабески”, “Вечера” и всю прочую чепуху... я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта» [XI, 84]. С посмертной, прочной славой, мы помним, связывал Пушкин (согласно гоголевским воспоминаниям) труд над «Мертвыми душами». Именно этот замысел воодушевляет Гоголя.

В письме Погодину от 28 ноября н. ст. 1836 г. он советует: «Избери один труд, влюбись в него душою и телом, и жизнь твоя потечет полнее и прекраснее...» Гоголь косвенно говорит о своем собственном, главном выборе. Кстати, в этом письме он впервые приоткрыл свою тайну перед Погодиным, перед москвичами, правда, только частично. Сообщая, что вещь, над которой он работает, «не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная, в несколько томов, название ей *Мертвые души...*», Гоголь добавляет: «...вот все, что ты должен покаместь узнать об ней» [XI, 76, 77].

Маршрут путешествия Гоголь продумал еще до отъезда: «Лето буду на водах, август месяц на Рейне, осень в Швейцарии, уединюсь и займусь. Если удастся, то зиму думаю пробыть в Риме или Неаполе» [XI, 41]. Гоголь выдержал этот план: Германия – Швейцария – Италия; только между двумя последними оказалась еще Франция.

Что же касается предполагаемых сроков, то они постепенно удлинялись. Перед самым отъездом он обещает матери (впрочем, может быть, заведомо неточно): «...за границей полагаю пробыть более года» [XI, 46]. Но уже спустя месяц пишет Жуковскому из Гамбурга: «...отсутствие мое вероятно продолжится на несколько лет» [XI, 48].

«В немецкой стороне»

В Травемюнде пароход «Николай I» прибыл 26 июня (н. ст.). Среди зарегистрированных по прибытии 90 пассажиров «княгиня Вяземская с детьми и прислугой (5 человек)», а также «господин Гоголь, чиновник» – очевидно, именно так (*Beamter*) отрекомендовался он властям⁴².

Вначале Гоголь направился тем же маршрутом, что и шесть с лишним лет назад: из Травемюнде в Любек, потом в Гамбург. Другой писатель, чей путь пересечется позднее с гоголевским в Италии, – И.П. Мятлев опишет прибытие в Германию героини своей знаменитой поэмы «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей – дан л'этранже». Вначале – отплытие из Кронштадта:

Берег весь кипит народом:
Де мамзель, де кавалье,
Де попы, де офисье,
Де поляки, де кареты,
Де старушки, де кадеты.
Одним словом, всякий сброд.

И вот – Германия:

Но еще одна секунда
И уж берег Травемюнда,
Наяву ли то – во сне?
Я в немецкой стороне!
Для меня все вещи новы:
И немецкие коровы,
И немецкая трава!
Закружилась голова!

Комизм мятлевских описаний проистекает из особого, так называемого макаронического стиля, из какофонии слов, обусловленной, в свою очередь, доморощенными понятиями персонажа. Гоголь тоже приноравливается к сознанию своих сестер-провинциалок («знаете ли вы, что такое пароход?»), но и для него самого «в немецкой стороне» «все вещи новы», и оттого все его зарисовки исполнены острой, веселой наблюдательности.

Из города в город Гоголь переезжал дилижансом. «Вы знаете, что такое дилижанс? Это карета, в которую всякий, заплативши за свое место, имеет право сесть... Если со мною будут сидеть два тоненькие немца, то это хорошо: мне будет просторно. Если же усядутся толстые немцы, то плохо: они меня прижмут. Впрочем, я одного из них сделаю себе подушкой и буду спать на нем» [XI, 54].

А в Гамбурге Гоголь посетил «знаменитый матросский бал». Знаете ли вы, что такое матросский бал? «Зал огромный, люстры и освещения много, но меня удивило, что танцующие одеты, как сапожники, в чем ни попало. Вы бы умерли со смеху. Танцевали вальс. Такого вальса вы еще в жизни не видывали: один ворочает даму свою в одну сторону, другой в другую. Иные просто взявшись за руки, даже не кружатся, но уставив один другому глаза, как козлы, прыгают по комнате...» [XI, 53].

Помимо матросского бала, Гоголь в Гамбурге посетил театр на открытом воздухе, гулял по набережной, называемой *Jungfersteig*...

Примерно через неделю отправился в Бремен, где осмотрел местные достопримечательности: погреб с нетлеющими телами усопших, погвал со столетним рейнвейном, который отпускают только опасно больным и знаменитым путешественникам. «Так как я не принадлежу ни к тем, ни к другим, то и не беспокоил моими просьбами граждан города Бремена...» [XI, 55]. Однако Данилевский позднее рассказывал гоголевскому биографу, что вино они все-таки попробовали – «удалось достать его за большие деньги» [Шенрок, т. 3, с. 120].

Как и везде, Гоголь осмотрел в Бремене собор и пришел в восхищение. «Если бы вы увидели здешнюю церкву! Такой старины вы еще никогда не видели» [XI, 53].

Потом путешественники поехали в Мюнстер, где удалось полюбоваться лишь наружностью «прекрасных готических церквей», позавтракали в Дюссельдорфе и остановились в Аахене, где Гоголь также обратил внимание на «прекрасный старинный собор в готическом вкусе». Писатель еще со времени первой поездки в Германию полюбил готическую архитектуру, собор в Аахене укрепил это чувство. «Окна идут от земли до самого верха. Вся церковь светла, как оранжерея» [XI, 56]. В соборе Гоголь видел могилу Карла Великого, погребенного сидящим на своем стуле.

В Аахене в это время находилась небольшая русская колония: Павел Дмитриевич Дурново (1804–1864), камергер, муж А.П. Волконской, дочери министра двора кн. П.М. Волконского;

Александр Егорович Энгельгардт (1801–1844), сын директора Царскосельского лицея Е.А. Энгельгардта. Незадолго перед тем, 10 июня, сюда приехал Николай Васильевич Путья (1802–1877), друг и родственник Баратынского, чиновник статс-секретариата Великого княжества Финляндского. Неизвестно, общался ли Гоголь с этими лицами и насколько тесно, однако (как говорилось выше) приезд писателя и его переживания, связанные с «Ревизором», были зафиксированы Дурново, возможно, под влиянием личной встречи с ним⁴³.

В Аахене Гоголь ожидал консультации с известным в то время врачом Иоганном Генрихом Коппом, к которому у него было рекомендательное письмо от Жуковского; описание же своей болезни, «впрочем не слишком важной», по словам Гоголя, он выслал Коппу еще из Гамбурга. Однако в Аахене у Гоголя «приключилась» новая болезнь – «с горлом», омрачившая его пребывание в этом городе.

В Аахене Гоголь расстался со своим попутчиком. Данилевский направился в Париж, Гоголь же решил плыть по Рейну, заранее предчувствуя удовольствие от путешествия. «Это совершенная картинная галерея: с обеих сторон города, горы, утесы, деревни, словом – виды, которых даже на эстампах вы редко встречали» [XI, 56]. Но к концу второго дня эти виды надоели Гоголю, мечтавшему уже об окончании плавания.

В Майнце он сошел на берег и дилижансом направился во Франкфурт-на-Майне. Город, который называли немецким Парижем, ему понравился: «...очень хорошо выстроен, уютный, светленький и окружен со всех сторон предлинным и прекрасным садом» [XI, 57]. Гоголь обратил внимание на оперный театр с одним из лучших в Европе оркестров, но побывать ему здесь, кажется, не удалось. Гоголь спешил в Швейцарию.

Однако на пути в Швейцарию он неожиданно, чуть ли не на три недели застрял в Баден-Бадене. Понравился и вид, и атмосфера этого места: «Местоположение города чудесно. Он построен на стене горы и сдавлен со всех сторон горами. Магазины, зала для балов, театр – все в саду» [XI, 58]. Но главное, что удерживало Гоголя – встреча с соотечественниками: с Александрой Осиповной Смирновой-Россет⁴⁴, знакомой ему еще по Петербургу, а также с Балабиными, с которыми он также встречался еще в Петербурге, в бытность свою домашним учителем.

Старшие представители семейства Балабиных – генерал-лейтенант в отставке Петр Иванович Балабин (1776–1855)

и его жена Варвара Осиповна, француженка по происхождению, урожденная Paris. У Балабиных было три сына, Иван, Виктор и Евгений, и две дочери, младшая, Мария (именно ей Гоголь в свое время давал уроки) и Елизавета. Через Елизавету Балабины породнились с другим видным семейством – Репниных: Елизавета Петровна была замужем за Василием Николаевичем Репниным, сыном знаменитого Николая Григорьевича Репнина-Волконского, князя, малороссийского генерал-губернатора (с 1816 по 1834 г.), генерала от кавалерии и (с 1834 г.) члена Государственного совета.

В Баден-Бадене в то время проживало несколько членов балабинского и репнинского семейств: определенно можно говорить о Варваре Осиповне и ее дочери Марии, которые выехали из Петербурга почти одновременно с Гоголем⁴⁵. Была здесь и княжна Варвара Николаевна Репнина, сестра упомянутого выше Василия Николаевича Репнина. С Гоголем она встретилась в Баден-Бадене впервые.

Впоследствии Варвара Николаевна рассказывала гоголевскому биографу, что они чуть ли не ежедневно виделись с писателем, который «был очень оживлен, любезен и постоянно смешил нас» [Шенрок, т. 3, с. 128]. Особенно любил он беседовать с Балабиной-старшей и ее дочерью, своей бывшей ученицей.

Варвара Осиповна Балабина, по словам той же мемуаристки, была «милая, умная и смиренная женщина» [РА. 1890. № 10. С. 227]. П.А. Плетнев называл ее «бесценным созданием»: «...религиозная, интеллектуальная и эстетическая жизнь ни у одной женщины так не развиты гармонически, как у нее» [Плетнев, с. 544]. Что же касается Марии Петровны, то эта девушка, которой едва исполнилось 15 лет, поражала всех своей красотой. Встретившая ее четырьмя годами позже сестра Гоголя Елизавета, писала, что «это была в полном смысле девушка-красавица, особенно хороши были глаза ... Она была прелестное существо, но, к сожалению, болезненное. Она очень любила писать и много писала, и мы [Елизавета и другая сестра Гоголя Анна] всегда предлагали ей свои услуги для переписки ее сочинений» [Быкова].

В отношениях со своей бывшей ученицей Гоголь придерживался почтительного тона «благовоспитанного кавалера», много шутил и балагурил; этот тон отражают и его более поздние письма, наполненные воспоминаниями о жизни в Баден-Бадене. Вот он рассказывает Марье Балабиной, как обедал в обществе одного француза.

Француз, сосед мой, предложил мне компот из груш, сказавши: «Я вам советую, Monsieur, взять этого компота. Это очень хороший компот». «Да, – сказал я, – это очень хороший компот. Но я едал (продолжал я) компот, который приготавливали собственные ручки княжны Варвары Николаевны Репниной и которого можно назвать королем компотов и главнокомандующим всех пирожных». На что он сказал: «Я не едал этого компота, но сужу по всему, что он должен быть хорош, ибо мой дедушка тоже был главнокомандующий». На это я сказал: «Очень жалею, что не был знаком лично с вашим дедушкой». На что он сказал: «Не стоит благодарности» [XI, 68].

Гоголевские рассказы, его остроты, реплики часто строились по той же логике, что и художественные тексты, предвосхищая последние или, наоборот, развивая их манеру: нарочитую наивность, серьезность интонации при очевидной нелепости содержания. Одно из подтверждений тому – разговор с французом, предвосхищающий абсурдистский стиль обэриутов, например Даниила Хармса.

Потчевание Гоголя, бывшего большим сладкоежкой, замечательным компотом происходило в Баден-Бадене.

В свою очередь, Гоголь «угостил» и Репнину и Балабиных «Ревизором». «Я не бываю в театре, – рассказывала Варвара Николаевна Репнина, – но могу сказать, что я присутствовала на представлении “Ревизора”: потому что Гоголь представил всех действующих лиц, переменяя голос, разнообразя мимику каждого лица» [РА. 1890. № 10. С. 228]. Кроме того, Гоголь прочитал «Записки сумасшедшего», которые под конец вызвали слезы у Варвары Осиповны Балабиной. Она вообще была большой поклонницей таланта Гоголя⁴⁶.

Около середины августа Гоголь покинул Баден-Баден и через Раштадт направил свой путь в Швейцарию.

В общей сложности Гоголь пробыл в Германии полтора с лишним месяца, примерно столько же, сколько и семь лет назад, во время первого своего путешествия. Но впечатления были совсем другие: с этого времени начинается и усиливается его неприязненное отношение к Германии. Своими чувствами Гоголь охотнее всего делится с Марией Балабиной, убеждая ее в том, что это совсем не тот край, каким он представляется воображению, вдохновенному «сказками Гофмана».

Я по крайней мере в ней ничего не видел, кроме скучных табльдотов и вечных, на одно и то же лицо состряпанных кельнеров и бесконечных

толков о том, из каких блюд был обед и в котором городе лучше едят; и та мысль, которую я носил в уме об этой чудной и фантастической Германии, исчезла, когда я увидел Германию в самом деле, так, как исчезает прелестный голубой колорит дали, когда мы приблизимся к ней близко [XI, 180].

Заметим, между прочим, что и о табльдотах (общих обеденных столах) Гоголь в первую свою поездку отзывался иначе, с воодушевлением – они напоминали ему хлебосольные и веселые пиршества в имении Д.П. Трощинского, в Кибинцах...

И в другом письме к Марии Балабиной – еще более резкие слова: «По мне, Германия есть не что другое, как самая неблагоприятная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива» [XI, 229].

Гоголь переживает разочарование в Германии почти как тяжелую утрату, как личную трагедию. «Я вспомнил мои прежние, мои прекрасные годы, мою юность и, мне стыдно признаться, я чуть не заплакал. Это было время свежести... молодых сил и порыва чистого, как звук, произведенный верным смычком...» Что напоминают эти строки? Конечно, знаменитый лирический пассаж из шестой главы «Мертвых душ»: «О моя юность! о моя свежесть!»...

Но продолжим цитату из письма: «...в это время я любил немцев, не зная их, или может быть я смешивал немецкую ученость, немецкую литературу с немцами. Как бы то ни было, но немецкая поэзия далеко уносила меня тогда в даль, и мне нравилось тогда ее совершенное отдаление от жизни и существенности... Доныне я люблю тех немцев, которых создало тогда воображение мое...» [XI, 244–245].

Настроение Гоголя во многом объяснялось обстоятельствами его пребывания в Германии. Писатель отчетливо сознавал, что это страна крайностей, в которой, говоря его словами, «низменные ряды» соседствуют с высокими, филистерство с поэзией. То, с чем сталкивался Гоголь, что открывалось его восприятию, принадлежало преимущественно пошлой «существенности». Позднее в Италии Гоголь вступит в контакты, хотя и не частые, с итальянскими поэтами, художниками; в Германии таких контактов он и не искал, да и плохое знание немецкого языка этому не способствовало. Русские люди приезжали в Германию для паломничества к Гёте (умер в 1832 г.), для посещения философских столиц, Мюнхена или Берлина, и слушания лекций – Шеллинга, Гегеля или, скажем, гегельянца Вердера. У Гоголя таких намере-

ний не было и подобных встреч не состоялось. И вообще Гоголь рассматривал на этот раз Германию как промежуточное место на пути в Швейцарию, где он наконец-то возобновит свою работу над «Мертвыми душами».

Перед отъездом из Бадена Гоголь тепло простился со своей бывшей ученицей. Балабины направлялись в Антверпен и Брюссель, где жил отец Варвары Осиповны, монсьеор Paris. Гоголь взял с Марии Петровны обещание, что она пришлет ему в Швейцарию письмо с подробным рассказом о путешествии.

Швейцария

После Германии Швейцария – вторая страна, в которой довелось побывать Гоголю. Около 16 августа н. ст. он приехал дилижансом в Базель, затем направился на юг в Берн. Близерна в местечке Обберид Гоголь посетил русского посланника Северина, к которому у него было рекомендательное письмо от Вяземского.

Дмитрий Петрович Северин (1792–1865) был и дипломатом и литератором. В свите Александра I он участвовал в конгрессах в Троппау и Лайбахе; в 1826 г. занял должность поверенного в делах, а в апреле 1836 г. – посланника в Швейцарии. Во время своей поездки в Эдинбург в декабре 1813 г. Северин встречался с Вальтером Скоттом, о чем рассказал в «Письме русского из Англии» («Российский музеум», 1815) – это было одно из первых для русского читателя известий о шотландском романисте⁴⁷.

Еще надо напомнить, что Северин входил в «Арзамас», где имел прозвище Резвый кот. По-видимому, со времен «Арзамаса» он был знаком с Пушкиным, но проявил к нему далеко не дружеские чувства [см.: Черейский, с. 391]. Лучше сложились его отношения с Вяземским, что и дало последнему возможность адресовать к нему Гоголя.

Северин отвечал Вяземскому 8 (20) сентября 1836 г.: «...Гоголь привез мне рекомендательное письмо твое на дачу вечером и перед отъездом в горы Бернского оберланда. Обещал по возвращении посетить нас снова, но по сю пору не является... Я не обманул его насчет здешнего края и советовал ехать далее для лучших вдохновений...» [ЛН. Т. 58. С. 554]. Письмо свидетельствует о том,

что Гоголь спрашивал у Северина совета, где ему лучше остановиться для писательской работы, т. е. продолжения «Мертвых душ», хотя едва ли он упомянул конкретно это произведение. Тем более что во время встречи присутствовало еще одно лицо, с которым Гоголь также увиделся впервые, – Александр Скарлатович Стурдза (1791–1854), находившийся в свойстве с хозяином дома: первая жена Северина, умершая в 1818 г., была сестрой Стурдзы.

Впоследствии (в Риме и Одессе) Стурдза будет довольно активно общаться с Гоголем. Но в первую их встречу Стурдза, по его словам, оставался «только немым свидетелем приятной, но мимолетной беседы» Гоголя с Севериным [М. 1852. № 20. Отд. 1. С. 224].

Визит Гоголя к Северину состоялся примерно 17–18 августа. Около 19 августа писатель через Лозанну приехал в Женеву. Он поселился в загородном доме, в пансионе. Перед ним было Женевское озеро, кругом горы. «Ничего лучшего я не видывал. Во время захождения солнца Альп покрываются тонким розовым и огненным светом. Часто, когда солнце уже совсем скроется и все уже темно, все блеснит, горы покрыты темным светом, Альпы одни сияют на небе как трансарантные» [XI, 58–59]. Помимо «ледяных богатырей Альп», Гоголя поразили «старые готические церкви» [XI, 61], которые давно уже растрожили его воображение.

Но со временем живописные виды Швейцарии наскучили. «...Если бы мне попалося теперь наше подлое и плоское местоположение с бревенчатой избою и сереньким небом, то я бы в состоянии им восхищаться, как новым вид|ом|» [XI, 61].

Из Женевы Гоголь 27 сентября совершил экскурсию в Ферней, к «старика Волтеру». «Старик хорошо жил. К нему идет длинная прекрасная аллея, в три ряда каштаны. <...> Из зала дверь в его спальню, которая была вместе и кабинетом его. На стене портреты всех его приятелей – Дидеро, Фридриха, Екатерины». Понравился Гоголю и сад. «Старик знал, как его сделать. Несколько аллей сплелись в непроницаемый свод, искусно стриженный, другие вьются нерегулярно...» Чуть позже Гоголь по тому же образцу «сделает» сад Плюшкина...

Обращает на себя внимание спокойная, нейтральная интонация, с которой упоминается Вольтер. Позже, в 1847 г., в черновике письма к Белинскому Гоголь заметит, что уже в гимназические годы он «не восхищался Волтером», – «у меня и тогда было настолько ума, чтоб видеть в Волтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека» [XIII, 440]. Нет никаких основа-

ний не верить этим словам; но очевидно и то, что чувство Гоголя еще не проявилось, как сегодня говорят, не актуализировалось, хотя повод для этого был подходящий. Для сравнения упомяну, что почти в то же самое время посетивший «фернейский замок» А.Г. Глаголев разразился тирадой: «Ничто не может оправдать Вольтера в его преступных покушениях подрывать и потрясти основания Христианской веры, столь чистой в своих догматах, святой по своей древности и благодетельной по влиянию на нравственность рода человеческого» [Глаголев, с. 26]⁴⁸.

В саду Вольтера Гоголь полюбовался на Монблан, проступающий вдали сквозь аркады деревьев, «вздыхнул» и, как он говорил, «нацарапал русскими буквами мое имя, сам не отдавши себе отчета для чего» [XI, 63]. То же самое он сделал на памятнике Руссо в Женеве, не ограничившись написанием своего имени и оставив какую-то русскую фразу, адресованную Данилевскому, — на случай, если тот приедет в город.

В Женеве Гоголь усердно учился языку, который так трудно давался ему еще в Гимназии, и через месяц-другой, по его словам, «начинал было собачиться по-французски». Он намеревался провести в этом городе и осень и начало зимы, полагая, что нашел искомое пристанище для продолжения своего труда. Но прожил месяц с небольшим (со второй половины августа по конец сентября): непогода, начавшиеся ветры, которые «грознее петербургских», заставили его сняться с места.

Гоголь облюбывал себе маленький городок Веве на берегу того же Женевского озера, защищенный с севера горами. Но прежде, чем обосноваться здесь, он ходил в горы, взбирался на вершину Монблана, несколько раз посещал Лозанну, где, по-видимому, останавливался на несколько дней в Hotel du Faucon. Была причина, удерживавшая его здесь: в Лозанну приехала Мария Балабина с матерью, направлявшиеся в Женеву.

Гоголя обрадовала встреча с его прежней ученицей, и несмотря на то что она не сдержала слова и не писала ему, он обещал, со своей стороны, рассказать о путешествии из Лозанны в Веве. В этом письме из Веве от 12 октября н. ст. Гоголь принимает привычный тон «благовоспитанного кавалера», что не мешает ему балагурить и подсмеиваться над собою. Советуя Марии Петровне изменить маршрут и поехать не в Женеву, а в Веве, Гоголь говорит: «При свидании с вами я был глуп, как швейцарский баран, совершенно позабыл вам сказать о прекрасных видах, которые нужно вам непременно видеть» [XI, 71].

Кстати, перед отъездом в Веве Гоголь получил от матери какие-то предостережения относительно соблазнительных способностей итальянок – очевидно, в ответ на свое сообщение, что едет в Италию. Гоголь поспешил ее успокоить: «Насчет замечания вашего об итальянках замечу, что мне скоро будет 30 лет». И в том же письме: «...Ваши догадки (не рассердитесь, маминька) всегда были невпопад» [XI, 65].

В Веве многое говорило воображению писателя. В разное время здесь бывали Руссо, Байрон, Карамзин, Жуковский... Руссо писал в «Исповеди»: «Я проникся к этому городу любовью, не покидающей меня во всех моих путешествиях и заставившей меня в конце концов поселить там героев моего романа». Это, конечно, Юлия и Сен-Пре, «любовники, живущие в маленьком городке у подножия Альп», как гласит подзаголовок к роману «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

Что касается Жуковского, то он был здесь в 1821 г. и совсем недавно, осенью 1832 г., о чем наверняка рассказывал Гоголю перед его отъездом. И теперь Гоголь ищет и находит следы Жуковского; узнает, что в доме, где останавливался поэт, живет великая княжна Анна Федоровна; посещает Шильонское подzemелье, где по своему обыкновению решил оставить подпись. Он отыскал фамилии Байрона и Жуковского, но не посмел подписаться «под двумя славными именами творца и переводчика “Шил[ьонского] Узник[а]”» и выбрал себе место несколько поодаль. «...Когда-нибудь русский путешественник, – пишет Гоголь Жуковскому, – разберет мос птичье имя, если не сядет на него англичанин» [XI, 73].

Восприятие Гоголем Швейцарии своеобразно, но не исключительно, вопреки мнению современного швейцарского ученого: «Гоголь, очевидно, мало интересуется всем тем, что до него и после, вплоть до наших дней, находили в этой стране достойным внимания русские путешественники: политическое многообразие и настоящая демократия (*direkte Demokratie*), многоязычие, оригинальность городского и сельского образа жизни, красоты природы» [Амберг, с. 179]. Это не совсем точно: интереса к политическим институтам Гоголь действительно не проявил, но ко всему остальному в этой стране был не столь безразличен. Особенно к «красотам природы»; впрочем, все дело в том, что это – часть «образа Швейцарии», складывавшегося в европейском, преимущественно романтическом, сознании по аналогии с образом Италии, в которой Гоголь еще не бывал.

«Если Италия открывает сокровища великой исчезнувшей культуры, то Швейцария – возвышенную, идиллическую природу, являясь доступнее (*wegsamer*), существеннее, дружественнее». Швейцария – это «свобода человека, возвышенность природы, противоположности и гармония, но прежде всего – настоящая христианская вера» [Рендер, с. 28]. Как олицетворение спокойствия, умиротворенности, свежести природы и свежести чувств воспринимал Швейцарию Жуковский⁴⁹, а вслед за ним и Гоголь, подстраиваясь к нему или, точнее, перенимая его настроение: «Сначала было мне несколько скучно, потом я привык и сделался совершенно вашим наследником: завладел местами ваших прогулок, мерил расстояние по назначенным вами верстам...» [XI, 73]. Тут и долгие прогулки – значащая деталь. «Путешествие пешком, несущее каждую минуту все новые впечатления, – вот еще одно открытие Руссо, одно из новшеств, которые он ввел в литературу...» [Сент-Бёв, с. 341].

И знаменательно, что именно в Швейцарии, в Веве Гоголь впервые после отъезда за границу возобновил работу над «Мертвыми душами». Готовиться к ней он стал еще в Женеве, принявшись перечитывать «всего Вальтера Скотта» [XI, 60], Мольера, Шекспира [XI, 73]. Но взялся за перо только в Веве. «Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нуж[но] его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет!» [XI, 73–74]⁵⁰.

Гоголь работал до тех пор, пока испортившаяся погода не заставила его подумать о дороге. В Италию он ехать опасался – там бушевала холера; напуганные итальянцы бежали в Швейцарию, не успев снять гигиенической маски. Гоголь решил отправиться в Париж, где уже находился Данилевский.

«Славная собака Париж...»

Русские люди приезжали во французскую столицу с разными целями и с неодинаковым настроением. Париж – город двух революций, сосредоточие общественной жизни, символ приоритета политических и злободневных интересов над остальными. Не



Париж
Литография

утратил Париж и своего значения культурной столицы, хотя в этом качестве с ним уже успешно соперничали и другие города, скажем Берлин. Но в чем Париж по-прежнему не знал соперников, так это в искусстве наслаждений, в «блеске и пестром движении» жизни, как скажет потом Гоголь.

Перед отъездом за границу Гоголь мог прочитать очерк А.И. Тургенева «Париж (Хроника русского)», напечатанный в первой книжке «Современника» (с. 258–295), в подготовке которой он принимал большое участие. «Хроника» отражала общительность ее автора, обостренное внимание к самым разным людям и событиям: тут и встречи с политическими деятелями, с экс-министрами Гизо и Тьером; и посещение салонов, французского и итальянского театров, камеры пэров, архивов; и впечатления от балов и народных гуляний, от проповедей, прослушанных в соборе Нотр-Дам, в церкви Успения Богородицы, церкви святого Фомы Аквинского; тут и политические и светские сплетни.

Еще одно произведение, которое Гоголь мог прочитать до отъезда, – анонимная повесть «Таинственная перчатка. Сцена из светской жизни» [Т. 1832. № 5]. Молодой москвич едет в Париж. «Как ребенка тешат разнообразные картины, так его занимали прения палат, водевильные куплеты, перемены министров, уличные карикатуры, блеск и приманки Пале-Рояля». Но прошло некоторое время, и Париж «обратился для него в заселенную пу-

стыню, где он встречал людей, но не находил человека» [Там же. С. 27, 29]. Все это предвосхищает судьбу гоголевского персонажа, итальянского князя из «Рима», охладевшего к городу, встречу с которым он ожидал с нетерпением.

Подобную же перемену запечатлел и Ф.В. Чижов – знакомый Гоголю еще по совместной службе в Петербургском университете – в очерке «Прощание с Францией и Женеву» [Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847]; впрочем, этот очерк написан уже явно с оглядкой на гоголевский «Рим».

Автор очерка отдает должное Франции: он «восхищался на каждом шагу тем понятием о личном достоинстве общественно-го человека, которое здесь вошло в нравы»; «с восторгом, даже больше, чем с восторгом любовался теми успехами общества, какие вошли в ход государственного управления и сделались опорой незыблемости прав гражданских». Он «с благодарностью пользовался всеми средствами для умственных занятий, которые здесь безданно, беспрошлинно и беспросьбенно доставлены каждому: библиотеки, галереи, чтения наук, больницы...» [Там же. С. 488].

И все же, «проживши около трех месяцев в Париже и вообще во Франции, – говорит автор в первом лице, – я не мог унести с собою ничего, что связало бы с нею мое сердце». Причина? – Поверхностность французского характера, воспринимаемого по контрасту с характером русским. «...Пока еще неиспорченной природе истого русского, требующей приволья и полноты жизни, особенно внутренней... никак не ужиться с одностороннею, исключительно внешней парижской жизнью» [Там же. С. 488, 491].

Сложилась определенная схема, согласно которой изменялось настроение иностранца (особенно «истого русского») в Париже – от обольщения к разочарованию. Но Гоголь никакого разочарования не испытывал, потому что не питал никаких иллюзий. Париж, скорее, превзошел его ожидания. «Париж не так дурен, как я воображал...» – писал он 12 ноября н. ст. 1836 г. Жуковскому.

Сразу по приезде Гоголь отправился к Данилевскому, потом переехал в гостиницу. Но комната была без печки, лишь с камином, и Гоголь мерз. Наконец, на углу Place de la Bourse и Rue Vivienne в доме № 12 нашли теплую квартиру, с печкой да еще на солнечную сторону [XI, 75; Шенрок, т. 3, с. 150].

Гоголь ожил и вновь принялся за поэму. «Мертвые текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как

будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу Мертвых душ в Париже». Гоголь просит Жуковского сообщать ему о «каких-нибудь казусах», «могущих случиться при покупке мертвых душ»; поручает передать такую же просьбу Пушкину (еще одно подтверждение, что у них не было никакой ссоры!) и вновь призывает сохранять все в тайне: «Никому не сказывайте, в чем состоит сюжет Мертвых душ. *Название можете объявить всем.* Только три человека, вы, Пушкин да Плетнев, должны знать настоящее дело» [XI, 74, 76].

Подчеркнутая нами фраза особенно интересна. Гоголь умеет подготавливать читательскую реакцию; в данном случае эффект строится на контрасте «сюжета» и названия, заставляющего ожидать произведения сказочного и фантастического (именно такое впечатление сложится несколько позже у Ф.И. Буслаева); строится на том, что реальность превзойдет и опровергнет эти ожидания. В тактике Гоголя есть уже и намек на общественное действие, к которому он широко прибегнет при написании второго тома поэмы, потому что достигнутый эффект должен уже далеко выйти за пределы эстетической сферы...

В Париже Гоголь вновь встречает Александру Осиповну Россет, с которой он виделся перед этим в Баден-Бадене. «Ласточка Розетти», как он ее однажды назвал, «черноокая Россети», как называл ее Пушкин, Александра Осиповна была ровесницей Гоголя (ей едва исполнилось 27 лет). После отъезда из Петербурга она похорошела необычайно. В Париже она была с мужем Николаем Михайловичем Смирновым, камер-юнкером, чиновником Министерства иностранных дел, с которым она обвенчалась еще в 1832 г.

Еще одна парижская встреча Гоголя – с Андреем Николаевичем Карамзиным (1814–1854), старшим сыном знаменитого писателя. Андрей Карамзин окончил юридический факультет Дерптского университета, служил в лейб-гвардии конной артиллерии. Очевидно, с Гоголем они были знакомы еще по Петербургу: накануне премьеры «Ревизора», как мы помним, Соболевский выспрашивал у автора билеты для вдовы Карамзиной и ее детей, в том числе Андрея Николаевича.

За границу Карамзин выехал 23 мая 1836 г., двумя неделями раньше Гоголя⁵¹ и тем же маршрутом, из Кронштадта на Любек, но в Париж приехал месяцем позже, в декабре.

И сразу же отправился обедать к Смирновым. В письме к родным в Петербург поделился своим впечатлением от хозяйки: «...прелестна, точно такая же, как прежде Александра Осиповна Россети; я глядел и радовался, но *не влюбился*; прошли времена» [СН. 1914. Кн. 17. С. 251; курсив в оригинале]. По-видимому, у Смирновых Карамзин и встретил Гоголя.

Из письма Андрея Карамзина от 11 февраля 1837 г.: «Третьего дня я обедал у Смирновых с кн. Трубецкой, Соллогубом и Гоголем» [Там же. С. 424]. Лев Александрович Соллогуб (1812–1852) – это брат известного писателя; воспитанник Школы гвардейских подпоручиков и кавалерийских юнкеров. Возможно, он встречался с Гоголем еще летом 1831 г. в бытность свою в Павловске, где жил Николай Васильевич.

С Андреем Карамзиным Гоголя сближали художественные симпатии, воспоминания о Жуковском, Пушкине. К этому времени в Париж поступил четвертый том «Современника» с «Капитанской дочкой»; Карамзин прочел ее с наслаждением: «Как просто и как хорошо, как выше всего современного, писанного в этом роде!» [Там же. С. 291]. Впечатления Гоголя были сходными. «Где выберется у нас полугодие, в течение которого явились бы разом две такие вещи, каковы “Полководец” и “Капитанская дочь”. Видана ли была где-нибудь такая прелесть!» [XI, 85; стихотворение Пушкина «Полководец» напечатано в предыдущем, третьем томе журнала]. Кстати, это еще один контраргумент тем современным авторам, кто утверждает, будто Гоголь считал пушкинские произведения отставшими от времени...

Но в отличие от Гоголя Андрей Николаевич был человеком светским, к тому же жадным на встречи со знаменитостями, на политические новости («политика вытесняет здесь все другие предметы в разговоре...») – этим он напоминал Александра Ивановича Тургенева. Где только ни побывал Карамзин! И в салоне мадам Рекамье, где встречался с Шатобрианом, Сент-Бёвом, писателем Пьером Симоном Балланшем, историком литературы, сыном знаменитого математика Жан-Жаком-Антуаном Ампером. И в Камере депутатов, куда ходил вместе со Смирновыми («...Камера открывается с 12 часов, а на лестнице под открытым небом, в мороз, образуется хвост с восьми часов утра»). По рекомендации хозяйки католического салона Софьи Петровны Свечиной («доброй Свечиной») был принят Ламартином. Видел, правда мельком, Бальзака («коротенький, толстый, краснощекий»). А один раз, 23 (10) января 1837 г., в помещении

русского посольства был даже представлен королю – Луи Филиппу Орлеанскому...

Гоголь в посещаемых Карамзиным домах не бывал и с упоминаемыми им лицами, кажется, не встречался. Но одну страсть Андрея Николаевича вполне разделял – к парижским театрам. Для этого Гоголю пригодились усердные занятия языком, что было подмечено тем же Карамзиным: «Гоголь сделал успехи на французском языке и довольно его понимает, чтобы прилежно следовать за театрами, о которых он хорошо толкует» [СН. 1914. Кн. 17. С. 281].

Оба наслаждались итальянской оперой. Карамзин: «Театр гремел рукоплесканиями, и я почти судорожно им вторил. Говорят, что *итальянскую* музыку можно полюбить только в *итальянской* опере – я этому теперь верю» [Там же. С. 238; курсив в оригинале]. Гоголь: «...итальянская опера здесь чудная! Гризи, Тамбурины, Рубина, Лаблаш – это такая четверня, что даже странно, что они собрались вместе» [XI, 81].

Оба видели «наследника Тальмы» Пьера Лижье. Карамзин: «Ligier прекрасно играл Людовика XI в трагедии *De La Vigne* [Делавиня]...» [СН. 1914. Кн. 17. С. 272]. Гоголь к тому же произвел маленький психологический анализ этого персонажа: «...кажется, вряд ли Делавиню так написать, как *Ligier* играл. Он был даже смешон – до такой степени хорош. Король, распоряжающийся очень коварно и плутовски и между тем дающий всему этому вид необходимости, им же самим наложенной...» [XI, 83].

Хорошее знание Гоголем парижской театральной жизни, отразившееся в его письмах, говорит о том, что он бывал не только в итальянской опере, но и в других театрах – в Большой опере, в театре *Porte St. Martin*, возможно, еще в *Opera Comique*, в театре Пале-Рояль и *Variete* («лучшие водевильные театры!»).

Одно театральное событие произвело на Гоголя особенное впечатление. 15 января 1837 г. в «Комеди Франсез» в очередной раз праздновали день рождения Мольера – давали «Тартюфа» и «Мнимого больного». «В этом было что-то трогательное. По окончании пьесы поднялся занавес: явился бюст Мольера. Все актеры этого театра попарно под музыку подходили венчать бюст. Куча венков вознеслась на голове его. Меня обняло какое-то странное чувство. Слышит ли он, и где он слышит это?..» [XI, 82]. Потом эти впечатления отзовутся в финале «Театрального разбега...» в словах Автора о Шекспире: «...стонут балконы и перилы театров... Слышат ли это в могиле истлевшие его кости?» [V, 170]⁵².

Оказывается, на том же спектакле был и Андрей Карамзин; отправленное им на следующий день письмо родным поможет полнее ощутить атмосферу праздника: «Входя в этот театр, забываешь Францию 1837 года; все в нем дышит прежним, старинным: на афишках читаешь старую фразу: *le comediens ordinaires du roi*, и с удивлением вспоминаешь, что этот *roi* – Филипп Орлеанский; бюсты Вольтера, Расина, Корнеля и пр.; роль молодой жены в “Тартюфе” играет вечная *M-elle Mars*» (Гоголь тоже отметил, что хотя актрисе 60 лет, «голос ее до сих пор гармонической и, замуривши глаза, можно вообразить живо пред собою 18-летнюю»). «Во время интермедии *la reception d'Argon* актеры и актрисы с глубоким поклоном увенчивали лаврами бюст Мольера при рукоплескании партера» [СН. С. 253, 254].

На юбилейном спектакле Карамзин был вместе с другом Пушкина Сергеем Александровичем Соболевским. Гоголь хорошо знал его еще по Петербургу, в письме от 17 апреля 1836 г. обращался к нему приятельски-фамильярно («Высокорослый и аппетитный для дам Соболевский!» [XI, 37]), и поэтому скорее всего и на этот раз без их встречи и взаимного приветствия не обошлось⁵³.

Возвращаясь же к Смирновым, нужно сказать, что отношения Гоголя с Александрой Осиповной еще не имели такого доверительного характера, какой они получили позднее. «Он был у нас раза три один, и мы уже обходились с ним как с человеком очень знакомым, но которого, как говорится, ни в грош не ставили» [Смирнова, 1989, с. 27]. Несмотря на резкость последних слов, это, по-видимому, соответствует действительности. Карамзин, бывавший у Смирновых чуть ли не каждый день, упоминает о присутствии Гоголя считанное количество раз. Окружение Смирновых (да и сама Александра Осиповна), очевидно, еще не могли отрешиться от налета высокомерия по отношению к человеку незнатному да и к тому же комическому писателю; Гоголь же к подобным вещам был болезненно чувствителен. Смирнова приводит фразу «одного господина высшего круга» (Сергея Сергеевича Гагарина), сказанную ей несколькими месяцами позже в Бадене: «Вы находитесь в дурном обществе; вы гуляете с каким-то Гоголем, человеком дурного тона» [Там же. С. 28; оригинал на фр. яз.; см. также комментарий С.В. Житомирской на с. 642].

Гораздо свободнее и лучше чувствовал себя Гоголь с друзьями-одноклассниками; благо, что, помимо Данилевского, в Париже

оказался еще Иван Павлович Симановский, приехавший сюда 5 декабря 1836 г. из Висбадена. В тот же день втроем отправились «банкетовать» к Вефуру, «знаменитому ресторатору в Палероале» [ЛН. Т. 58. С. 556].

«Банкетовал» Гоголь не только по какому-либо поводу, но часто просто так. И это при том, что он постоянно жаловался на желудок, лечился у некоего доктора Маржолена и мучил Данилевского припадками мнительности [Шенрок, т. 3, с. 150–151].

К концу пребывания Гоголя в Париже он мог сказать, что «все обсмотрел уже, чт. е. замечательного». Дважды был в Лувре; ездил в Версаль и нашел, что королевский «дворец, сады, парки без всякого сравнения великолепнее нашего Царского села и построены с большим вкусом» [XI, 87]; вместе с Данилевским посетил знаменитый ботанический и зоологический сад *Jardin des plantes* и подивился не виданному еще им способу содержания зверей – не в клетках, а на воле: «Слоны, верблюды, строусы [так!] и обезьяны ходят там, как у себя дома» [XI, 79].

Гоголь искал рассеяния, отдыхал от успешно продвигавшейся работы над «Мертвыми душами», которой неукоснительно посвящались утренние часы. Но нельзя упускать из виду и то, что Париж имел для него и серьезное и, можно сказать, самостоятельное значение. Да, конечно, Гоголь отмечал легковесность французского характера, отвергал увлечения политикой («жизнь политическая... не может понравиться таким *счастливицам праздным*, как мы с тобой», – писал он Н. Прокоповичу, прибегая к скрытой цитате из пушкинского «Моцарта и Сальери» [XI, 81]). В этом он сходиллся с некоторыми другими русскими путешественниками и предвосхищал героя своей будущей повести «Рим». Но художнические впечатления от картин, от спектаклей, музыки были достаточно яркими, чтобы отвечать высоким требованиям Гоголя и питать его талант.

В парижском опыте Гоголя была еще одна не менее важная грань. На нее проливает свет письмо Данилевского, помеченное 5 декабря 1836 г. (день приезда Симановского) и отправленное в Петербург другим нежинцам – Н.Я. Прокоповичу и И.Г. Пащенко: «...из Парижа мы с Гоголем сделали совершенный Петербург: Итальянский бульвар называем Невским проспектом, Тюльери – Летним садом, Палероаль – Гостиным двором и прочее. <...> В Париже столько зевак, право до сих пор засматриваемся на магазины, а Гоголь сделался ужасным зевакою».

Данилевский воспроизводит типичные гоголевские выражения, вроде «сделали совершенный Петербург» или «сделался зевакою» (позднее в повести «Рим» Гоголь скажет о пребывании князя в Париже: «...сделался подобно всем зевакою во всех отношениях»). А в заключение просто цитирует Гоголя: «“Славный собака Париж”, как говорит Гоголь...» Впрочем, в альбоме Н.В. Гербея, из которого взято это письмо, есть и прямое указание владельца, что оно писано «под диктовку Гоголя» [ЛН. Т. 59. С. 555–556].

Во всяком случае, в переименованиях парижских реалий на петербургский лад проявилась та же стихия озорного переименования, которая владела Гоголем на родине, когда он своим друзьям и закомым присваивал фамилии французских писателей – Бальзака, Жюль Жанена, Софии Ге и т. д. Теперь он осуществлял как бы обратный перевод – с французского на русский. Игровое настроение Гоголя не иссякло. Недаром он проявил живой интерес к парижскому карнавалу, начавшемуся к середине февраля, как позднее проявит такой же интерес к карнавалу римскому.

Озорная стихия переименования проявилась и в другой сфере гоголевского поведения. Мы знаем, что Гоголь был охотником много и сладко поесть. Но мало сказать, что еда была возведена им в культ, – этот культ носил дерзкий и пародийный характер: рестораны назывались храмами, содержатели ресторанов и прислуга – жрецами, а сам процесс насыщения – богослужением... Вольность, которую спустя лет пять-десять Гоголь себе уже не позволит⁵⁴.

В Париже Гоголь познакомился с Адамом Мицкевичем. До этого их встреча маловероятна: когда польский поэт покидал Россию (15 мая 1829 г.), Гоголь был начинающим, еще никому не известным литератором, автором только что отданного в цензуру «Ганца Кюхельгартена». Но о Мицкевиче он скорее всего был слышан, тем более что переводами польского поэта усердно занимался не кто другой, как В.И. Любич-Романович (в частности, он выпустил книгу: Стихотворения Адама Мицкевича / Пер. с польск. В. Р. СПб., 1829).

С 1832 г. Мицкевич жил в Париже, глубоко переживая разгром польского восстания 1830–1831 гг. и проявляя горячее сочувствие к его участникам. Позиция Пушкина по отношению к этому восстанию была, как известно, иной; в 1834 г. он написал стихотворение «Он между нами жил...», где, в частности, говорилось о польском поэте: «...Наш мирный гость нам стал врагом, – и ядом / Стихи свои в угоду черни буйной / Он напояет...»



А. Мицкевич
*Портрет работы неизвестного художника
40-е годы XIX в.*

На отношение Гоголя к Мицкевичу все это не повлияло. Гоголевский биограф, опираясь, очевидно, на свидетельство Данилевского, даже говорит, что русского писателя удерживала в Париже «возможность часто видеться с Мицкевичем... и с другим польским поэтом, Залеским» [Шенрок, т. 3, с. 166].

Что касается Юзефа Богдана Залеского (1802–1886), то его сближал с Гоголем и интерес к Украине, к прошлому казачества, хотя этот интерес имел определенную направленность, что обуславливало принадлежность поэта к «так называемой украинской школе» в польской литературе. «Дело в том, – читаем мы в авторитетном исследовании, – что, обращаясь к малорусской народности и истории, польские поэты брали их только с той стороны, которая отвечала их собственным историческим воззрениям; брали те эпохи, когда старое казачество, реестровое и надворное, формировалось *под властью* и знаменами польских гетманов и панов, когда оно сражалось *вместе* с поляками против татар и турок и еще не восставало *против* самих поляков» [Пыпин, с. 249]. Но этого было достаточно для взаимной симпатии обоих писателей.

Залеский говорил: «Меня, своего грудного ребенка, спелс-нала песнью мать Украина»; «с торбаном вырос я – вижу Днепр, Ивангору, хату в дубраве, старика-знахаря...» [Там же].

Гоголь перед самым отъездом из Парижа заходил к Залескому (наверное, не в первый раз) и, не застав его, оставил записку на украинском языке. Называл его «паном земляком», призывал действовать «на славу усій козацкій земли» и просил посылать «пысульки в Рим». «Добре б було, колы б и сам туды колы-небудь прымандрував. Дуже, дуже близькый земляк, а по серцю ще близьчий, чим по земли». И подписался так, как никогда не подписывался: «Мыкола Гоголь» [XI, 88].

Следует добавить, что Залеский участвовал в восстании 1830–1831 гг. и жил в Париже на правах эмигранта.

Касался ли Гоголь в разговоре с Мицкевичем и Залеским проблемы независимости Польши, освобождения от власти России? Во всяком случае, его отношение к этой проблеме было спокойным, не аффектированным и независимым от официальной точки зрения. Из «Тараса Бульбы» гоголевскими современниками (поляками, в первую очередь) вычитывалась антипольская тенденция. Но она далеко не совпадала с реальной жизненной позицией писателя.

Во время общения Гоголя с Мицкевичем и Залеским произошел один таинственный эпизод, который последний истолковал даже как выражение гоголевской русофобии. Но на этом эпизоде целесообразнее остановиться чуть позже, в связи с реакцией Гоголя на смерть Пушкина...

Гоголь рассчитывал прожить в Париже только зиму, «а с началом февраля, – писал он в первом же парижском письме Жуковскому, – отправлюсь в Италию... и души потекут тоже за мною» [XI, 75]. Потом этот план получил более конкретные очертания: Гоголь поедет в Италию вместе с Данилевским, и остановятся они в Неаполе. С этой целью оба стали брать уроки итальянского языка у молодого француза Ноэля, жившего на верхнем этаже одного из самых высоких домов Латинского квартала [Шенрок, т. 3, с. 153].

Но по каким-то причинам Гоголь задержался в Париже до марта 1837 г. И тут пришло страшное известие.

«...Никакой вести хуже
нельзя было получить из России»

Пушкин умер 29 января (10 февраля) 1837 г. Уже через 10–12 дней весть достигла Парижа. Андрею Карамзину передали письмо от матери, когда он был у Смирновых. Карамзин прочитал и передал Александре Осиповне. Смирнова пробежала глазами строки и горько заплакала.

«Милый, светлый Пушкин, тебя нет! Я плачу с Россией, плачу с друзьями его, плачу с несчастными жертвами (виновными или нет) ужасного происшествия» [из письма Андрея Карамзина к матери от 24 (12) февраля // СН. 1837. Кн. 17. С. 291].

В тот вечер, когда пришло письмо, у Смирновых, помимо Карамзина, были Соболевский, Валерьян Платонович Платонов (внебрачный сын известного государственного деятеля кн. П.А. Зубова). «Как ни сойдемся, все говорим про одно, и разойдемся, грустные и сердитые на Петербург» [Андрей Карамзин – матери, 2 марта (18 февраля) // Там же. С. 297].

В те же дни о произошедшем узнал Гоголь. Из того же письма Карамзина: «У Смирновых обедал Гоголь: трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него...» [СН. 1837. Кн. 17. С. 299].

Переживание Гоголем смерти Пушкина тоже стало своего рода общественным событием. Гоголь не скрывал своих чувств от близких и не близких к нему людей.

«Гоголь неутешно оплакивал эту смерть» [Смирнова, 1989, с. 63].

«Данилевский рассказывал мне, как однажды он встретил на дороге Гоголя, идущего с Александром Ивановичем Тургеневым. Гоголь отвел его в сторону и сказал: “Ты знаешь, как я люблю свою мать, но если б я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь: Пушкин в этом мире не существует больше!”» [Шенрок, т. 3, с. 166]. Тут надо сделать уточнение: Тургенев в это время в Париже не было, и упомянутый эпизод мог иметь место позднее, в августе – сентябре следующего года, или, что более вероятно, Данилевский запомнил, кто был спутником Гоголя (не Тургенев, а скорее всего Карамзин).

И.Ф. Золоторев, с которым Гоголь чуть позже поселится в одной квартире в Риме (об этом далее): «...Н. В. был глубоко поражен. Целый день он не мог придти в себя и долгое время спустя после этого события, поразившего горем всю Россию, был молчалив и задумчив» [ИВ. 1893. № 1. С. 38].

П.А. Плетнев в связи с изданием «Сочинений» Гоголя в 1842–1843 гг.: «Смерть Пушкина была ударом для его литературной деятельности. В великом поэте Гоголь утратил истинного своего судью, друга и вдохновителя. Никто не ценил его так строго и так верно, как Пушкин» [С. 1843. Т. 29. С. 408].

Прямые отклики Гоголя на скорбное известие относятся к первым неделям его пребывания в Риме. «...Никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним... Невыразимая тоска» (П.А. Плетневу, 28 (16) марта). «Великого не стало. Вся жизнь моя теперь отравлена» (Н.Я. Прокоповичу, 30 марта).

Искренность этих слов не раз подвергалась сомнению: дескать, Гоголь перед отъездом поссорился с Пушкиным, и вообще гоголевское творчество есть род противостояния и противоборства с творчеством пушкинским... О «ссоре», о том, что действительно произошло в последние дни пребывания Гоголя на родине, мы уже говорили (см. главу «Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься...»). Теперь поговорим о «противостоянии».

В произведениях Гоголя без труда можно обнаружить признаки отталкивания от пушкинской поэтики, а иногда и прямое ее пародирование (специально этого вопроса мы, естественно, здесь не касаемся). Но одно дело – следование (или не-следование) творческой манере гения, другое – глубокий перед ним пиетет. Дух соревновательности и соперничества не исключает живой заинтересованности во мнении и приговоре мастера, наоборот – одно предполагает другое. «Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою» [XI, 88]. «Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина» [XI, 91].

Нужно учесть еще, что Гоголь осознавал свои отношения с Пушкиным в аспекте преемственности. Этот аспект запечатлелся в общественном сознании (вспомним фразу Белинского, сказанную еще в 1835 г.: «...он становится на место, оставленное Пушкиным») и сделался фактором гоголевской психологии, или, как говорят сегодня, самоидентификации. «Моя утрата больше всех, – пишет он Погодину. – Ты скорбишь как русской, как писатель, я... я и сотой доли не могу выразить своей скорби» [XI, 91].

Что значит «больше всех», что скрывается за фигурой умолчания? Гоголевские слова подсказаны погодинской же фразой «Ты у нас остался...» (очевидно, далее следовало слово «один» или его синоним [ЛН. Т. 58. С. 793]). Это «скорбь» единственного, законного преемника о своем великом предшественнике.

Страшную утрату Гоголь осознал в свете своего назначения и избранничества – для этого понадобились особенные черты пушкинского лика. Гоголь сакрализует этот лик, причем буквально с первых шагов своей литературной деятельности. В заметке о «Борисе Годунове», написанной в последних числах 1830 или в начале 1831 г., он дает обет свято выполнить свою жизненную задачу, сохранить бескорыстие и чистоту помыслов. Дают обет обычно перед иконой, сакральным предметом (ср. название романа Н.А. Полевого «Клятва при гробе Господнем»); Гоголь клянется перед Пушкиным, в лице его произведения; он именуется автором «Великий!», как бы низвергаясь пред ним ниц и играя на многозначности слова (вначале: «пред сим вечным творением твоим клянусь!», а потом: как *творец*, как *благодать*) и т. д.).

Все это предвосхищало тот эмоциональный поток, который вылился из-под пера Гоголя в марте 1837 г., когда он переживал смерть Пушкина: «Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу» [XI, 88–89]. «Неразрушимое», «вечное», способность пробуждать неземные чувства – прерогатива божественной силы. Тут, кстати, вновь фигурирует клятва, причем уже в связи с конкретным делом (клятва, действительно имевшая место или же воображаемая, – другой вопрос): «И теперешний труд мой его создание. Он взял с меня *клятву*...» и т. д. Речь идет, разумеется, о «Мертвых душах».

Гоголь, мы знаем, с молодых лет ощущал себя связанным с промыслом, с высшими силами, возложившими на него особую миссию; но для интимного и более глубокого переживания этой зависимости нужен был и вполне осязаемый в своей реальности образ, и этим образом стал Пушкин^{54а}.

Трагическая судьба Пушкина заняла свое место и в гоголевской парадигме: поэт – царь – чернь (светская чернь). Функция последней – быть губителем поэтов; ее характеристика у Гоголя созвучна реакции Андрея Карамзина, Смирновой и, видимо, всего маленького кружка русских в Париже. «Поздравьте от меня Петербургское общество, маменька, – пишет Андрей Николаевич

24/12 февраля, – оно сработало славное дело! Пошлыми сплетнями, низкою завистью к Гению и красоте, оно довело драму, им сочиненную, к развязке...» [СН. 1914. Кн. 17. С. 291–292]. Смирнова – П.А. Вяземскому: «...ничего нет более раздирающе-поэтического, как его [Пушкина] жизнь и его смерть. Я также была здесь оскорблена и глубоко оскорблена, как и вы, несправедливостью общества...» [РА. 1884. № 4. С. 433]. А.Н. Карамзин рассказывает о стычке Николая Михайловича Смирнова с «членами посольства, из которых один чуть не выцарапал ему глаза за то, что Смирнов назвал Пушкина самым замечательным человеком в России» [СН. 1914. Кн. 17. С. 299].

Гоголевское возмущение вполне созвучно этим голосам. «Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных? – пишет он Погодину 20 марта н. ст. – Ты пишешь, что все люди даже холодные были тронуты этою потерей. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину? <...> О! когда я вспомню наших судий, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство... Сердце мое содрагается [так!] при одной мысли. Должны быть сильные причины, когда они меня заставили решиться на то, на что бы я не хотел решиться» [XI, 91].

Гоголь проецирует пушкинскую судьбу на свою собственную, только в качестве финала вместо гибели фигурирует вынужденное бегство, изгнание. Впрочем, и мысль о бегстве сопрягается с участью погибшего поэта.

И тут нужно привести еще один-два факта, относящиеся к более поздней поре. Знакомая Гоголя, встречавшаяся с ним в Одессе зимой 1851 г., приводит следующее высказывание писателя о последнем периоде жизни Пушкина: «...я уверен, что Пушкин бы совсем стал другой. Он хотел оставить Петербург и уехать в деревню; жена и родные уговорили остаться» [РА. 1902. № 3. С. 554]⁵⁵. Аутентичность этих слов подтверждается другим источником – цитатой из неопубликованной работы П.И. Бартечева: «По словам Гоголя, которые удалось узнать мне частным образом, Пушкин за год до смерти действительно хотел бежать из Петербурга в деревню; но жена не пустила...» [Зайцев, с. 78]. Бартечев привел гоголевское суждение в связи со стихотворением Пушкина «Отрывок»; поэтому уместно вспомнить, что писал об этом произведении сам Гоголь (в статье «В чем же наконец существо русской поэзии...», 1847): «...еще замечательней было то, что стро-

илось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизнь. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотворенье, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и *часть его собственного душевного состояния* [VIII, 385].

В этих гоголевских рассуждениях прежние впечатления соединились с его более поздним опытом, относящимся к рубежу 40–50-х годов. От этого опыта – резкость гоголевского вывода о противостоянии Пушкина окружению, а также то, что Гоголь готов увидеть во всем этом симптомы религиозно-нравственной эволюции поэта, в какой-то мере аналогичной его собственному «душевному делу»; сквозь этот опыт им теперь прочитывается и пушкинское стихотворение (оно было опубликовано в 1841 г.). Но другая часть этой коллизии – отторжение поэта светским обществом, чуть ли не вылившееся в решительный шаг, в бегство, – переживалась им еще в пору получения трагического известия.

Таким образом, пражная коллизия истинного поэта (Пушкина) и общества (толпы), как она была запечатлена в статье «Несколько слов о Пушкине», получила новые краски, приобрела большее заострение. Там она развивалась преимущественно в плоскости эстетической: толпа не понимает тонкости и глубины его новых поэтических созданий, навсегда отстала от него. Теперь к этому прибавилось, а может быть, даже и вытеснило ее другое противостояние – моральное, нравственное, если хотите, даже социальное: толпа, светская, включая и великосветскую («до действительных тайных»), коварна, каверзна, низка, завистлива. Она способна на все, способна даже погубить поэта. И если он, Гоголь, вернется в Россию, то ему вслед за Пушкиным придется «повторить вечную участь поэтов на родине» [XI, 91]. Знаменательно, что эти слова предвосхищают – и по смыслу и текстуально – стихотворение В. Кюхельбекера «Участь русских поэтов» (1845): «Горька судьба поэтов всех племен; / Тяжеле всех судьба казнит Россию».

Однако вернемся к парадигме в ее тройственном выражении: «поэт – общество – *император*»; последний фигурирует в ней как благородное лицо, заступник, протянувший поэту через головы «аристократства» руку помощи. Подобное мнение господствовало в семье Карамзиных. «Государь вел себя по отношению к нему и ко всему его семейству, как ангел» [Карамзины, с. 170], – писала Екатерина Андреевна сыну Андрею 2 февраля 1837 г. Гоголь 10 марта того же года: «...сам монарх (буди за то благословенно

имя его) почтил талант [Пушкина]». Так же повел себя монарх и по отношению к нему, Гоголю, – но, увы, не сумел предотвратить ни гибели Пушкина, ни удаления из отечества автора «Ревизора».

Теперь поговорим о таинственном эпизоде, упомянутом в предыдущей главе.

Накануне большого гоголевского юбилея, 50-летия со дня рождения писателя, стало известно письмо Юзефа Богдана Залеского, которое сегодня назвали бы сенсационным. Появилось оно в журнале «Przewodnik naukowy i literacki» (приложение к «Gazeta Lwowska» за 1901 г.) (t. XXIX, zeszyt VI, с. 466–467), а затем отрывок, касающийся Гоголя, был приведен в газете «Новое время» и чуть позже в пятом номере «Литературного вестника» за 1902 г. (приводим это место по публикации «Нового времени», озаглавленной «Украинофильство Гоголя (свидетельство Богдана Залеского)», подпись: А. Л.).

Лет 25 назад, – писал Залеский 19 февраля 1859 г. из Фонтенебло своему знакомому Франциску Духинскому, – гостил в Париже знаменитый русский поэт Гоголь. С Мицкевичем и со мной, со-украинцем (*s polukraincem*) он был в тесной дружбе (*zostawał w ściely zazylosci*). Мы сходились тогда часто по вечерам для литературно-политических бесед. Конечно, мы говорили более всего о великорусах (*moskalach*), внушавших отвращение (*wstretnych*) и нам и ему. Вопрос о финском их происхождении (*kwestya finskosci*) был беспрерывно предметом обсуждения. Гоголь подтверждал его со всею своею малорусской запальчивостью. Он имел под рукой у себя замечательные сборники народных песен на разных славянских наречиях. Итак по вопросу о финском происхождении великорусов (*moscalow*) он написал и читал нам прекрасную статью (*wyborne pisemko*). В ней он указывал, на основании сравнения и детального сопоставления песен чешских, сербских, украинских и т. д. с великорусскими (*moskiewskiemii*), бьющие в глаза отличия в духе, обычаях и в нравственных взглядах (*moralnosci*) у великорусов и других славянских народов. Для характеристики каждого человеческого чувства (*o kazdem uczucia ludzkim*) он подобрал особую песню: с одной стороны, нашу славянскую сладостную, нежную (*sludka, lagodna*) и рядом великорусскую (*moskiewska*) – угрюмую, дикую, нередко канибальскую (*ponura, dzika, nie rzadko kanibalska*), словом – чисто финскую. Уважаемый земляк, ты легко можешь себе представить, как эта статья искренно обрадовала Мицкевича и меня.

Свой рассказ Залеский завершает следующими словами: «Много лет спустя, в Риме я думал раздобыть (*zazadac*) у Гоголя эту

параллель, но тогда Гоголь уже превратился в защитника Царя и Православия, и мне пришлось отказаться от этой попытки. Какова же однако судьба этой статьи? <...> Но достойна сожаления утрата многих и характерных анекдотов о великорусах, – анекдотов, которые мог знать только сам Гоголь и которые он один мог рассказать с особенным, ему свойственным остроумием».

Этот эпизод обычно обходится исследователями молчанием или же рассматривается в аспекте «недооценки» Гоголем «великорусской» песни. А. Ляшенко, публикатор письма Залеского в «Литературном вестнике» (и возможно, в «Новом времени»), объяснял: «Гоголь, увлекавшийся народной малороссийской поэзией, ставивший ее чрезвычайно высоко, мог не отдать должного поэзии великорусской, сравнительно мало ему известной». Далее, правда, комментатор касается более широкой области украинофильских симпатий: напомнив гоголевское упоминание о «кацапии» (из письма Максимовичу от 2 июля 1833 г.) или его высказывание о Киеве – «он наш, он не их» (тому же Максимовичу, декабрь 1833 г.), ученый приходит к выводу, что преувеличивать все это не стоит: «...уверение Залеского, будто Гоголь питал отвращение к великорусам, мы безусловно отвергаем» [ЛВ. 1902. № 5. С. 68].

Говорить об «отвращении» Гоголя к русской песне действительно не приходится (достаточно напомнить пассаж о русской песне, причем не только украинской, но звучащей буквально на всем пространстве России, в статье «Петербургская сцена в 1835–1836 г.»). Но реальное содержание проблемы гораздо более глубокое, культурологическое.

Однако для начала напомним, что согласно официальному «Отчету по Санкт-Петербургскому учебному округу за 1835 год» Гоголь в «следующем (т. е. 1836) году готовит к печатанию о духе и характере народной поэзии славянских народов: сербов, словенов, черногорцев, галичан, малороссиян, великороссиян и прочих...» [Машинский, 1951, с. 65]. У Гоголя были самые разнообразные фольклорные издания: *Piesni polskie i ruskie ludu Galicyjkiego Wacława z Oleska*. Lwow, 1833 [Сперанский, с. 11]; собрание Зориана Доленги-Ходаковского [Красильников, с. 387; Крутикова, с. 287, 304] и т. д. В некоторых случаях песни из львовского сборника совпадали с образцами, приведенными в известном Гоголю издании Лукашевича «Малороссийские и червонорусские народные думы и песни» (СПб., 1836) [см.: Песни, с. 13]. Очевидно, всеми этими материалами Гоголь располагал за границей во время своих бесед с Залеским.

Душою этих бесед, как говорит Залеский, была мысль об отличии великорусов от западных славян. Такая мысль действительно прочитывается в гоголевских исторических штудиях первой половины 30-х годов. Вспомним статью «Взгляд на составление Малороссии» (вошла в «Арабески», 1835) – она так и начинается, с резкого противопоставления Западной Европы и России с XIII в. Там – единство устремлений, сильная власть под эгидой папы; здесь – раздробленность и разнонаправленность интересов. Там – всеохватывающая страсть, одушевленность общей идеей, здесь – мелкая вражда и примитивные свары: «...брат брата резал за клочок земли или просто, чтобы показать удалство» [VIII, 41]. Все это напоминает положения негативной историософии П.Я. Чаадаева, согласно которым русская история доказывает телеологичность западноевропейской методом от противного, а именно тем, что являет некое исключение из правила. Совпадение с Чаадаевым настолько разительное, что современный исследователь видит здесь «скрытую цитату из Ястребцова-Чаадаева» [Вайскопф, с. 195].

Затем на авансцену исторической концепции Гоголя выдвигаются два новых фигуранта, словно для того чтобы вновь оттенить невыгодные стороны своего великого восточного соседа. Во-первых, это «великий язычник Гедимин» и его наследники Ольгерд и Ягайло, объединившие окрестные народы своей веротерпимостью, уважением к местным законам и обычаям, причем среди этих народов оказались и западные славяне. И во-вторых, собственно козаки, «целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину». Об этом народе уже нельзя было бы сказать в духе Чаадаева, что он вне истории; напротив – у него своя великая миссия, он составил «одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу» [VIII, 46]. Проведена даже параллель между козацким войском и западноевропейскими орденами, «железными поборниками веры Христовой». Словом, и тут на фоне великорусской стихии у малорусов свои преимущества, хотя Гоголь стремится не идеализировать «азиатские», жестокие, хищнические («гнездо этих хищников») черты козацкой общины (в повести «Тарас Бульба» это стремление еще отчетливее).

Согласно Залескому Гоголь сочинил «статью о финском происхождении великоруссов», словно выведя их за пределы единой славянской семьи. Скорее всего, это преувеличение, но

преувеличение идеи, действительно промелькнувшей у Гоголя: во «Взгляде на составление Малороссии» он писал, что «выходцы из Польши, Литвы, России начали селиться» на Юге в земле «чистых славянских племен, которые в Великой России начинали уже смешиваться с народами *финскими...*» [VIII, 43]. А в «Невском проспекте» об инородности истинного художника столичной российской жизни сказано образно-емко: «Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! Художник в земле снегов, художник в *стране финнов...*» Кстати, о преимуществах в развитии южных славян в сравнении с северными говорят и многие выписки и заметки, сделанные Гоголем в 1834–1835 гг. к лекциям по русской истории: «На юге более развития мирной жизни. Браки носят вид законности». «На севере, начиная с древлян (северяне, радимичи и вятичи) грубее и меньше развития. Жизнь в лесах. Удобств никаких жизни. На самой низкой степени гражданственности» и т. д. [IX, 42, 43].

В контекст гоголевских материалов по русской истории вписывается и заметка о Мазепе. Ее сюжеты – Россия и Украина, Петр I и отложившийся гетман.

Вначале – Россия и Петр: «Народ, собственно принадлежащий Петру издавна [униженный] рабством и [деспотизмом], покорялся, хотя с ропотом. Он имел не только необходимость, но даже и нужду, как после увидим, покориться. Их необыкновенный повелитель стремился к тому, чтобы возвысить его, хотя лекарства его были слишком сильные» [IX, 83]. Ход мысли двойствен, даже тройствен: во-первых, русские как народ, испытавший все тяготы рабства и унижения; во-вторых, историческая необходимость и прогрессивность централизирующей воли Петра (Гоголь этот момент обещает в дальнейшем обосновать еще сильнее). В-третьих, чрезмерность и, вероятно, жестокость политики русского царя. Здесь Гоголь близок взгляду Погодина, а также Пушкину, включая и замечания последнего о некоторых петровских указах, которые, «кажется, писаны кнутом».

Теперь – Украина и ее гетман: «...чего можно было ожидать народу, так отличному от русских, дышавшему вольностью и лихим козачеством, хотевшему пожить своею жизнью? Ему угрожала <у>трата национальности, большее или меньшее уравнение прав с собственным народом русского самодержца. А не сделавши этого, Петр никак не действовал бы на них. Все это занимало преступного гетьмана. Отложиться? Провозгласить свою независимость? Противопоставить грозной силе деспотиз-

ма силу единодушия, возложить мужественный отпор на самих себя?» [IX, 83–84].

Ход мысли – это в данном случае ход мысли самого исторического лица, Мазепы – не менее сложен. Во-первых, констатирован совсем другой настрой нации (украинцев), привыкшей к вольности и чуждой угнетению. Во-вторых, как следствие подчинения этого народа власти Петра – неизбежное уравнивание с собственными его подданными, а это значит уравнивание в рабстве.

Обдумывается Мазепой, в целях достижения независимости, и перспектива различных союзов против Петра (с крымским ханом? со шведами? с поляками?), из которых самой логичной рисуется возможность помощи со стороны Польши – «соседки и единоплеменницы». Но Польша страдала от внутренних распрей. Остается Швеция. Но тут приходит «известие, что царь [т. е. Петр] прервал мир и идет войною на шведов» [IX, 84]. Значит, и эта перспектива отпадает.

Все это, конечно, прежде всего размышления Мазепы. Сам Гоголь в объективной общегосударственной перспективе, видимо, считал дело присоединения Украины к России столь же исторически неизбежным, как и реформы Петра, при всей их жесткости (см. выше об отношении Гоголя к погодинской исторической концепции)^{55а}. Но польские собеседники Гоголя в данном случае воспринимали прежде всего другое – моральную оценку «действующих лиц» славянского мира, в первую очередь русских и поляков, а заодно и тех, кого они считали потенциально противостоящими российской империи. И важно было услышать им все это из уст русского писателя. Возможно, его оценки Богданом Залеским преувеличивались и заострялись – по известному тривиальному психологическому закону принимать желаемое за действительное. Но в самих этих оценках, как их передал польский писатель, не было ничего такого, чего на самом деле, как мы видели, не мог бы сказать Гоголь⁵⁶.

Надо еще принять в соображение обстоятельства и время, в которых происходило общение Гоголя с Залеским и Мицкевичем в Париже, – получение первых известий о смерти Пушкина. Тогда Гоголь был словно на высшей точке своего общественного негодования, направленного в России чуть ли не против всего и всех, может быть, исключая лишь императора.

Но столь же закономерно, что позднее в Риме Залескому не удалось продолжить с Гоголем прежнюю тему и раздобыть интересовавшую его рукопись, ибо настроение русского писателя к этому времени существенно изменилось⁵⁷.

Первое «чтение» Италии

Гоголь отправился в Италию без Данилевского (который обещал приехать позже), в первых числах марта 1837 г. Добрался до Марселя, оттуда морским путем – в северную Италию. Четырьмя годами раньше (в апреле 1833 г.) той же дорогой путешествовал Жуковский.

Уже первый итальянский город, в который попал Гоголь, произвел сильное впечатление. «Генуя великолепна, множество домов больше похожи на дворцы и украшены картинами лучших итальянских художников...» [XI, 90]. Побывал Гоголь в Ливорно и Флоренции.

В Ливорно он, возможно, посетил русского консула Энгельбаха (чуть позже Гоголь будет просить Прокоповича посылать ему корреспонденцию «на имя нашего консула в Ливорно»)^{57а}. Этот город был памятен Гоголю и тем, что здесь находилась могила Александры Андреевны Воейковой, урожденной Протасовой, скончавшейся в 1829 г. в Пизе. Жуковский четыре года раньше навестил могилу своей племянницы, навсегда вошедшей под именем Светланы в анналы русского романтизма.

В день Пасхи 26 марта н. ст. Гоголь уже был в Риме. Он спешил встретить «светлый праздник... в церкви Святого Петра, где должен служить сам папа» Григорий XVI. Двумя днями позже Гоголь делился с матерью своими впечатлениями: «Он 60 лет и внесен был на великолепных носилках с балдахином. <...> Церковь же Петра так огромна, что будет в длину около полверсты. Съезд в Риме был огромный. Народу несколько тысяч стояло в церкви [так!], но она, при всем том, все еще казалась пуста» [XI, 89–90].

Оказывается, в тот же день в соборе Святого Петра был Андрей Карамзин. Он выехал из Парижа почти одновременно с Гоголем, 5 марта н. ст., но другим путем, через Лион, Ниццу, и к Пасхе успел попасть в Рим. Впечатления Андрея Николаевича дополняют картину: «В половине десятого показалась процессия. Папа на креслах под балдахином, перед ним огромные вееры, за ним кардиналы в красных мантиях и монсиньоры в лиловых и еще много других и другого. Раздался трубный звук, войска сделали на караул, хор певчих запел слова Христа Петру... Это была прекрасная минута, но единственная». Далее впечатления Карамзина стали меняться к худшему: и собор больше похож на биржу, чем



Рим
Картина С. Щедрина

на церковь; и папа – скорее далай-лама. «Фигура папы, когда его несут под балдахином (спеленного) в парче, с закрытыми глазами, жалко смешна!» «...Беспрестанные коленопреклонения перед *наместником демократического Христа* колят глаза». «Какая разница с нашим богослужением Св. Пасхи».

Карамзин вспомнил о русских, принявших католичество, – к ним относились проживавшая в Париже Свечина или в Риме – княгиня Зинаида Волконская. «Я... не понимаю тех, которые бывши на римских церемониях, обратились в католицизм. На меня это произвело действие совсем противное: мне было смешно и совестно за христианскую религию» [СН. Кн. 20. С. 64, 61; курсив в оригинале].

Отношение Гоголя ко всему происходящему гораздо терпимее; описывая процедуру торжеств или фигуру папы, он не проявляет никакого раздражения. После того что мы узнали о его взаимоотношениях в Париже с Мицкевичем и Залеским, такая терпимость не покажется нам странной или неожиданной.

Гоголь решил не ехать в Неаполь и остаться в Риме, тем более что и Данилевский изменил свои планы: Италии он предпочел Швейцарию.

С каждым днем Италия казалась Гоголю прекраснее. «Она менее поразит с первого раза, нежели после. Только всматриваясь в нее более и более, видишь и чувствуешь ее тайную прелесть. В небе и облаках виден какой-то серебряный блеск. Солнечный свет далее объемлет горизонт. А ночи?.. прекрасны. Звезды блещут сильнее, нежели у нас, и по виду кажутся больше наших, как планеты. А воздух? – он так чист, что дальние предметы кажутся близкими». «Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу – и уж на всю жизнь» [XI, 93, 95].

К впечатлениям природы прибавились художественные впечатления. «Тут только узнаешь, что такое искусство... Тут только можно узнать, что такое Рафаэль...» Особенность Италии в том, что шедевры встречаются здесь чуть ли не на каждом шагу; заходи почти в любой храм – и увидишь произведение великого мастера. Гоголь так и делал: «Я живу скоро три месяца, всякой день смотрю что-нибудь новое, – и все еще бездна остается смотреть» [XI, 100]. И чтобы глубже понять итальянскую жизнь, Гоголь усердно учит итальянский язык, читает в оригинале Тассо и Данте.

Гоголь поселился в Риме на улице Сант-Изидоро, недалеко от церкви Капуцинов и площади Барберини (*Via di Isidoro, Casa Giovanni Massuci, 17*), в доме, где за восемь лет до этого жил Орест Кипренский. Это была первая римская квартира Гоголя.

Согласно новейшим разысканиям итальянской исследовательницы Ванды Гасперович упоминаемый Гоголем хозяин квартиры Джованни Массуччи уже умер и комнаты сдавала его вдова, 34-летняя Тереза Сальпини, проживавшая с малолетними детьми Николо и Джузеппе. Помогала хозяйке ее сестра *Аннуциата*, 21-го года [см.: Гасперович, с. 85]. Имя, которое так много будет значить для Гоголя позже, в пору написания «Рима»...

Жил Гоголь вместе с Золотаревым; возможно, они встретились еще на пути из Парижа в Италию⁵⁸.

Иван Федорович Золотарев (1812–1881), москвич по происхождению, тремя годами младше Гоголя, в 1831–1836 гг. учился в Дерптском университете, который закончил кандидатом камеральных наук. Из личного дела Золотарева, хранящегося в Государственном архиве Эстонии в Тарту [ИАЭ. Ф. 402. Оп. 2. Д. 23600, 23601], видно, что он отличался довольно широкой образованно-

стью – выдержал экзамены по всеобщей и русской статистике, народному праву, положительному государственному праву, политике, дипломатике, русскому государственному праву, политической экономии, финансам, коммерции (*Handelwissenschaft*), физике, элементарной математике, а также русскому языку и словесности. Кандидатская диссертация, защищенная Золотаревым 16 марта 1836 г., называлась «О дипломатическом церемониале при дворе русских царей» (*Über das diplomatische Ceremoniale des russischen Hofes zur Zeit der Zaren*)⁵⁹.

Золотарев отличался необычайной общительностью; проживая по окончании университета в Петербурге, он сделался «известным всему» городу [Соллогуб, с. 263]. Был знаком и с А.С. Пушкиным и с А.И. Тургеневым, и с другом Гоголя А. Данилевским, хотя, возможно, с последним он впервые встретился позже, в Париже. Общительность и непосредственность Золотарева сохранил до конца жизни. Впоследствии он служил полковым командиром Грузинского линейного 18-го батальона. Один из современников, говоря о 1867 г., упоминает «знаменитый в наше время “Пистолет”» и поясняет: «Это было прозвище Ивана Федоровича, вечно суетливого и вечно удивленного» [Из архива К.Э. Андреевского. Записки Э.С. Андреевского. Одесса, 1914. Т. 3. С. 16].

Воспоминания Золотарева как человека, жившего бок о бок с Гоголем, представляют большую ценность (эти воспоминания записаны в 70-х годах К. Ободовским под свежим впечатлением от услышанного [ИВ. 1893. № 1. С. 35–38]). Мы узнаем прежде всего, что Гоголь продолжал работать – конечно, над «Мертвыми душами». «Когда Н.В. начинал писать, то предварительно делался задумчив и крайне молчалив. Подолгу, молча, ходил он по комнате, и когда с ним заговаривали, то просил замолчать и не мешать ему. Затем он залезал в свою дырку: так называл он одну из трех комнат квартиры, в которой жил с И.Ф. Золотаревым, отличавшуюся весьма скромными размерами, где проводил в работе почти безвыходно несколько дней». Эту комнату Гоголь упоминает в письме Данилевскому от 15 апреля н. ст.: «старинная зала с картинами и статуями».

Гоголь сохраняет то расположение духа, ту жизнерадостность, которыми отмечено его пребывание в Париже: «...веселый, разговорчивый, он был весь, так сказать, охвачен красотой римской природы и подавлен массой памятников искусства, которыми был окружен».

Однажды Золотарев пожаловался Гоголю, что плохо спит.

- Как тебе не стыдно это говорить, – закричал Гоголь, – не горевать ты должен, а радоваться!
- Да почему же?..
- А потому, что твоя бессонница указывает на то, что у тебя артистическая натура, так как ты приехал в Рим, и он так поразил тебя, что ты не можешь спать от охвативших тебя впечатлений природы и искусства. И после этого ты еще не будешь считать себя счастливым!

Мемуарист сохранил воспоминания о разного рода юмористических выходках Гоголя, начиная от одежды и кончая едой. «Оригинальность Гоголя в выборе костюмов доходила иногда до смешного». Так, он привез с собою платье из тика, сшитое якобы еще в Гамбурге, и «когда ему указывали, что он делает себя смешным, писатель возражал: “Что же тут смешного: дешёво, моется и удобно”. По поводу этого приобретения Гоголь сочинил стихи:

Счастлив тот, кто сшил себе
В Гамбурге штанишки.
Благодарен он судьбе
За свои делишки».

Что же касается еды, то, по словам Золотарева, «аппетитом Гоголь обладал чрезвычайным» и обедал по два раза: с новым посетителем заказывал новое блюдо. Любил козье молоко, которое смешивал с ромом, называя все это гоголем-моголем и прибавляя: «Гоголь любит гоголь-моголь».

И это при том, что Гоголь в одном из римских писем Прокоповичу жаловался, что чувствует «хворость в самой благородной части тела – в желудке»; «он, бестия, почти не варит вовсе, и запоры такие упорные...»! [XI, 93].

В то же время мемуарист подмечает в Гоголе черты, «которые сделались господствующими в последний период его жизни». «Он был крайне религиозен, часто посещал церкви и любил видеть проявления религиозности в других». Иногда же на него находил «род столбняка какого-то: вдруг среди веселого, оживленного разговора замолчит, и слова у него не добьешься. Являлось это у него, по-видимому, беспричинно».

Однако приступы необъяснимой тоски не были еще длительными, а религиозность, отличавшая Гоголя с детства, не носила еще мрачного, угнетающего оттенка. Как и в юные годы, он позволял себе вольность в церкви. В свое время Гоголю доставляло удовольствие в разгар службы послать мужика за свечкой и тем самым вызвать «толкотню» и разрушить атмосферу благочестия [Книга 1, с. 78]. Похожую шутку сыграл он и в Риме с Андреем Карамзиным.

«Вечером был я *comme de raison* на 12 Евангелиев, – писал Карамзин родным 28 (16) апреля 1837 г., – но и тут бес попутал, сведя меня с Гоголем; он мне во все время шептал про двух попов в городе Нижнем, кот<орые> в большие праздники служат вместе и стараются друг друга перекричать так, что к концу обедни прихожане глохнут; и как один из этих попов так похож на козла, что у него даже борода козлом воняет и пр.» [СН. 1918. Кн. 20. С. 94]. Не оговорился ли Карамзин, заменив Нижним Новгородом (город, в котором Гоголь не бывал) Нежин? В таком случае перед нами продолжение той же темы, которую писатель затронул еще в письме к матери (от 2 октября 1833 г.): «...я ходил в церковь, потому что мне приказывали или носили меня; но стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и *противного ревения дьячков*» [X, 282].

К весне 1837 г. в Риме оказалось почти в полном составе семейство Репниных: княжна Варвара Николаевна с матерью и сестрой Елизаветой Николаевной (вышедшей вскоре замуж за Павла Ивановича Кривцова, занимавшего пост секретаря, впоследствии поверенного в делах русского посольства в Риме, а также попечителя колонии русских художников). Вместе с ними приехали и Балабины – Варвара Осиповна с дочерьми Марией и Елизаветой, бывшей замужем за Василием Николаевичем Репниным. Позднее появился и сам патриарх репнинской семьи 60-летний князь Николай Григорьевич Репнин-Волконский.

В отличие от своей дочери Варвары Николаевны или, скажем, Марии и Варвары Балабиных, Репнин-старший недолюбливал Гоголя. По словам Варвары Николаевны, в Риме он всегда спорил с Гоголем; «отцу сильно не нравился сатирический склад ума Гоголя, и он был притом недоволен его произведениями, особенно “Миргородом” [Шенрок, т. 3, с. 189–190]. Оно и понятно: в «Миргороде» в юмористическом свете выступала украинская жизнь, а кн. Репнин-Волконский был в свое время малороссийским генерал-губернатором...

Елизавета Николаевна Репнина, точнее, ее будущий муж дипломат Кривцов, ввели Гоголя в мир римской художественной интеллигенции. Современная итальянская исследовательница Рита Джулиани на основе архивных данных установила интересный факт: уже 21 апреля, т. е. буквально через 20 с небольшим дней после приезда, Гоголь принял участие в заседании Германского археологического института в Риме (*Deutsches archäologisches Institut*), помещавшегося на первом этаже палатцо Каффарелли на Капитолии и координировавшего разыскания итальянских и зарубежных исследователей. Заседание по традиции было посвящено очередной годовщине основания Рима (впечатленный этой датой, Гоголь свои апрельские–майские письма помечает так: «Рим, 2588-й год от основания города...»); в числе присутствовавших оставили свои подписи русские: P.sse Repnin, Mad. Balabin, N. Gogol, Dournoff, P. Krivzow, N. Iefimoff, Habertzette, Gornostaeff. По предположению исследовательницы, первая в этом перечне – Елизавета Николаевна Репнина; другие лица (помимо Гоголя) – Мария Балабина, архитектор Александр Трофимович Дурнов (род. 1807), уже упоминавшийся Кривцов, архитектор, акварелист и гравер Николай Ефимович Ефимов (1799–1851), исторический живописец Иосиф Иванович Габерцеттель (1791–1853) и архитектор и живописец Алексей Максимович Горностаев (1804–1862) [Джулиани, 2001, II, с. 106 и далее].

А через неделю после заседания в Германском археологическом институте, 29 апреля, отмечалась православная Пасха. Собрались чуть ли не все русские, пришел, конечно, и Гоголь. «Народу в капелле было много, – сообщает Андрей Карамзин, – бесчисленная Репнинская орда с многочисленной прислугой, Волконская, Акацатова, Дивьер, Раевская... кроме того 10 русских артистов и Гоголь... После службы Кривцов повел всю команду разговляться dans les grands appartements du palais» [СН. Кн. 20. С. 97]. «Артисты» – это, конечно, проживавшие в Риме русские художники. Кривцов еще не являлся их попечителем; разговляться он повел «всю команду» как секретарь русского посольства.

Карамзин до той поры не был знаком с Репниными, по крайней мере со многими из них. Посредническую роль сыграл Гоголь. Из письма Карамзина от 16 мая н. ст. родным: «Завтра собираюсь я вечером с Гоголем к Репниным, которые пожелали моего знакомства» [Там же. С. 101].

Письма Карамзина позволяют представить и другие эпизоды римского времяпрепровождения Гоголя.

В ночь на 20 (8) мая все вместе: Гоголь, Карамзин и Балабины (о Балабиной-Репниной Карамзин заметил: «она премиленькая») – ездили смотреть Колизей «при лунном свете». «Все было хорошо придумано, и факелы для контраста света – не доставало только одного, а именно луны». Дорогою всех очень забавлял г-н Майер (Мейер), секретарь прусского посольства, по словам Карамзина, «антикварий удивительный и глубокий ученый, к тому же дурак необыкновенный»; «он старался приволокнуться за Репниной...» [Там же. С. 113].

По-видимому, это тот самый Мейер, о котором Гоголь вспоминал позднее в письме Марии Балабиной: «Впрочем, Мейер теперь в моде, и княжна Варв[ара] Николаевна [Репнина], которая подтрунивала над ним, первая говорит теперь, что Мейер совершенно не тот, как узнать его покороче...» [XI, 146].

Через несколько дней после поездки к Колизею, 26 (14) мая наступил праздник – *Congrus Domini*. В процессии участвовали и духовенство и войска. «...В восемь часов, – рассказывает Карамзин, – отправились и мы с Гоголем на Петровскую площадь (площадь Святого Петра перед собором. – Ю. М.), которая уже кипела народом, заняли места в какой-то ложе, и более часа тянулись мимо нас в две шеренги семинаристы, монахи, духовенство и, наконец, сам папа, будто бы на коленях с Св. Причастием, на носилках, как обыкновенно...» Карамзин так увлекся празднеством, что в толпе потерял «малорослого Гоголя» [СН. Кн. 20. С. 114].

А еще спустя несколько дней, 31 мая н. ст., Гоголь участвовал в двухдневном путешествии во Фраскати, где жили Репнины. На второй день, сообщает Карамзин, «поутру весь караван отправился на целый день в Genzano, верст 20 от Фраскати <...> Гоголь *gagne è être soupi*, он делается разговорчив и часто в разговоре смешон и оригинален, как в своих повестях. Жаль, очень жаль, что не достает в нем образования, и еще более жаль, что он этого не чувствует» [Там же. С. 119].

Наконец-то приехал Данилевский; 3 июня Гоголь сообщает Прокоповичу: «Данилевский теперь тоже здесь». Его появление вызвало у Гоголя прилив теплых воспоминаний о друзьях, о Петербурге. «...Да будет между нами Рим близок от Петербурга», – говорит он в том же письме Прокоповичу и призывает друга – не в первый раз – к литературной деятельности. «Пиши повестючки или стишоночки, если стишоночки, то пришли их в твоём письме кусоночки. На меня пришла теперь особенная жажда читать твои стихи. После итальянских звуков, после Тасса и Данта, душа жа-

ждет послушать русского» [XI, 102]. Вот какого высокого мнения был Гоголь о литературных способностях своего товарища!

Другой круг гоголевского общения в Риме составили русские художники. Более регулярные (и не всегда безоблачные) контакты с ними приурочиваются к более позднему времени, но «начало этого знакомства без опасения ошибки может быть отнесено уже к первым месяцам жизни нашего писателя в Риме» [Шенрок, т. 3, с. 186]. Это подтверждается и фактом совместного присутствия Гоголя и по крайней мере четырех русских художников на собрании Германского археологического института, и приведенным выше рассказом Андрея Карамзина о встрече с «артистами» во время празднования Пасхи, и более поздними упоминаниями Гоголя («...В Риме все живы, не только знакомые и русские художники, но даже и все те лица, с которыми встречался ты чаще на улице», – писал он Данилевскому, приехав в Рим второй раз [XI, 121]).

К первым месяцам жизни Гоголя в Риме можно отнести и его знакомство с княгиней Зинаидой Волконской, положившее начало их длительным и не всегда безмятежным отношениям. Но об этом речь впереди.

Пребывание Гоголя в Италии омрачалось его довольно стесненными денежными обстоятельствами. В Рим, по словам писателя, он приехал только с 200 франков, из них около 80 ушло на квартиру (по 30 за месяц). Несмотря на «страшную дешевизну» (по сравнению со Швейцарией и Францией), Гоголь экономит на всем, особенно на еде.

Гоголь – А.С. Данилевскому, 15 апреля н. ст.: «Теперь я такой сделался скряга, что если лишний байок (почти су) передам, то весь день жалко» [XI, 95]. Гоголь – В.А. Жуковскому, 18 (6) апреля: «...я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду» [XI, 97].

И он обращается с письмом к Николаю I, не жалея красок для описания своего бедственного положения и благодарственных чувств, питаемых к особе императора (это письмо недавно опубликовано И.А. Виноградовым): «...находясь в чужой земле, среди людей, лишенных участия ко мне, к кому прибегну я, как не к своему Государю? Участь поэтов печальна на земле: им нет пристанища, им не прощают бедную крупицу таланта, их гонят...» Гоголь буквально повторяет стилистику той антитезы, какую он развивал месяцем раньше в связи с гибелью Пушкина, когда говорил о «вечной участи поэтов на родине» и сравнивал себя с

«бездомным», которого «бьют и качают волны». Повторяется в усиленной форме и мысль о прямом августейшем покровительстве и заступничестве за поэта; раньше это был Пушкин («...сам монарх (буди за то благословенно имя его) почтил талант»), теперь – Гоголь. При этом как отправной пункт взаимоотношений с царем фигурирует судьба «Ревизора»: «Вы склонили Ваше царское внимание к слабому труду моему, тогда как против него восставало мнение многих. Глубокое чувство благодарности кипело тогда в сердце Вашего подданного и слезы, невыразимые слезы, каких человеку редко дается вкушать на земле, струились по челу его. Бессильный выразить мою благодарность, я дал клятву в душе своей собрать все, что имею, что даровано мне Богом, и произвести творение, достойное Вашего внимания». Таким образом, написание «Мертвых душ», уже осененное гоголевской клятвой Пушкину («он взял с меня клятву»), теперь вторично скрепляется заочной клятвой императору. Завершая свое обращение, Гоголь вписывает ожидаемое благодеяние Николая I в общую картину его филантропической деятельности: «...теплая вера меня объемлет и говорит мне, что венценосный покровитель всего прекрасного, озаряющий все с вышины своего престола, заметит и бедного поэта и не даст ему умереть с голода на чужбине» [ЛШ. 1998. № 7. С. 7–8].

Гоголь отправил письмо императору вместе с письмом Жуковскому (оба документа датированы 18 (6) апреля), предоставив последнему право поступить по своему усмотрению – просто ли вручить просьбу или сопроводить ее необходимым комментарием: мол, автор «невежа, не знающий, как писать к его высокой особе», но он «исполнен весь такой любви к нему, какую может быть исполнен один только русский подданный...» [XI, 98]. Что именно говорил Жуковский императору, неизвестно, но тот на письме Гоголя карандашом написал резолюцию: «Послать ему чрез нашу миссию 500 червонцев». На этом основании, как сообщил 15 июля министр финансов граф Е.Ф. Канкрин, было дано распоряжение о переводе Гоголю «первого и второго векселей в 4860 рублей ассиг., составляющие пожалованное ему пособие в 500 червонцев за вычетом 10% в пользу увечных...» [ЛШ. 1998. № 7. С. 8]. Получил Гоголь эти деньги месяцем позже, после совершенного им путешествия на север.

Гоголь прожил в Италии три с лишним месяца. Первое «чтение» Рима принесло ему все то, что он ожидал: яркие впечатления искусства, очарование природы, душевное спокойствие. После

суетливой, бурной, кипящей политическими страстями жизни Франции Рим производил впечатление остановившегося времени, звена, выпавшего из общей исторической цепи. «Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом; старинные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет» [XI, 95]. Эта сознательная или невольная реминисценция из «Старосветских помещиков» таит в себе, однако, и другой смысл: в царство гармонии можно сойти лишь «на минуту», забывшись, закрыв глаза на все окружающее («...на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и те беспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют...»). Прожить всю жизнь здесь не удастся.

Да и нет ли потаенного беспокойства в этой гармонической жизни? Как, например, передать очарование итальянской природы? «Она – итальянская красавица, больше я ни с чем не могу ее сравнить, итальянская пейзажка, смуглая, сверкающая, с черными, большими-большими глазами, в платье алого, нестерпимого для глаз цвета, в белом, как снег, покрывале» [XI, 100]. Это уже не реминисценция из написанного произведения, а предвосхищение будущего – повести «Рим», а именно описания красавицы Аннунциаты. «Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскrojивши черные как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым потоком блеска». «Но чуднее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замиранье в сердце». Аннунциата – само «согласие», сама красота, но прорывающаяся через нее страсть способна повергнуть в оцепенение и трепет...

Поездка на север: Баден-Баден, Франкфурт-на-Майне, Женева

К середине лета того же 1837 г. Гоголь решает временно оставить Италию. Причина – надвигающийся зной; «август месяц бывает в Италии так жарок, что кричат собаки, ходя по улицам» [XI, 103]. Кроме того, чувствуя возрастающее недомогание «в самой

благородной части тела», т. е. в желудке, он намеревался попить минеральной воды.

Гоголь держит путь на север. В середине июня он уже в Турине, 16 июля н. ст. – в Бадене; здесь он уже второй раз. Пустынная Савойя, швейцарские горы, баденские курортные павильоны не веселят его: «...кто был в Италии, тот скажи “прощай” другим землям» [XI, 105].

В Бадене много русских. Андрей Карамзин еще 11 февраля 1837 г. в Париже, когда там был Гоголь, писал: «Баден – общая цель всех странников; летом мы все там соберемся, чтобы к осени опять разлететься...» [СН. 1914. Кн. 17. С. 282]. Может быть, еще одна цель приезда Гоголя заключалась в желании встретить кое-кого из русских, тем более что для этого у него был важный стимул...

Андрей Карамзин приехал в Баден-Баден около 8 июля н. ст. Тотчас же он сообщил матери о тех, кого здесь застал: «Бутурлины и большое количество других русских, мне неизвестных...» «Вся эта огромная колония терзаема внутренними раздорами, и если Вы меня спросите, что причиною этих раздоров, то я скажу Вам, что все, потому что обо всем спорят. Началом всего зла было присутствие Великого князя, – к кому он станет чаще ходить, на ту и бросятся, мужья за жен, друзья за тех и других, и пошла потеха» [Там же. Кн. 20. С. 143].

Но Гоголь в этой «потехе» не участвовал, потому что не принадлежал к светским людям и потому что был поглощен своим делом.

В Бадене он, наконец, снова встретился с А.О. Смирновой – в третий раз со времени отъезда за границу (в Париже и перед этим здесь же, в Бадене)⁶⁰. «Она живет даже в том самом доме, где жила раньше, – пишет он Варваре Осиповне Балабиной. – Кто живет в вашем, я не знаю» [XI, 106].

Вместе со Смирновой и ее братом Аркадием Осиповичем Россетом Гоголь совершил поездку в Страсбург, где с увлечением срисовывал карнизы в местном соборе. «“Как вы хорошо рисуете” [сказала Смирнова]. – “А вы этого не знаете?” Принес кусок церкви. Над каждой колонной различные орнаменты и очень красивые» [Смирнова, 1989, с. 36; ср.: Кулиш, т. 1, 1856, с. 209–210]. Гоголь, как мы знаем, вообще любил готические храмы; собор же в Страсбурге всегда привлекал к себе особенное внимание, почти такое же, как Кёльнский. Побывавший здесь двумя годами раньше Н.И. Надеждин писал: «Его дивная колокольня, исполинское

дителя искусства, рожденное и взлелеянное германским гением, из глубины облаков, пронзаемых ее неустрашимой стрелой, братски переглядывается с готическими замками, венчающими хребет Шварцвальда» [Т. 1836. Ч. 31. С. 174].

Через три дня путешественники вернулись в Баден.

У Смирновой Гоголь взял только что вышедшую книгу – отдельное издание «Ундины» Фуке в свободном переводе Жуковского: «Чудо что за прелесть!» Несмотря на все различия – жанровые, стилистические, сюжетные – эта сказка отвечала творческим устремлениям Гоголя, работавшего над «Мертвыми душами», где в дальней перспективе всего замысла должны были раскрыться не только мертвенность и пустота бездуховности, но и мучительные перипетии воскрешения души, которую пробуждающаяся к любви морская дева Ундина ощущает как «великое бремя»:

Страшное бремя душа! при одном уж ее ожиданье
Грусть и тоска терзают меня: а доньше мне было
Так легко, так свободно...

Наконец Гоголь решает познакомить Смирнову и Карамзина со своим новым произведением. Это второе – после петербургского, Пушкину – известное чтение «Мертвых душ». В результате длительной работы в Швейцарии (в Веве), в Париже и Риме поэма была перестроена, ее план (сюжет) приобрел вид, близкий к окончательному.

О чтении «Мертвых душ» рассказали Смирнова и Карамзин – их свидетельства дают как бы стереоскопическое изображение происшедшего.

Андрей Карамзин, граф Лев Соллогуб, Платонов и нас двое (т. е. помимо Александры Осиповны, ее муж Николай Михайлович. – Ю. М.) условились собраться в 7 часов вечера. День был знойный. Около 7-го часа мы сели кругом стола. Н. В. взошел, говоря, что будет гроза, что он это чувствует, но несмотря на это вытащил из кармана тетрадку в четверку листа и начал первую главу столь известной своей поэмы. Меж тем гром гремел, и разразилась одна из самых сильных гроз, какую я запомню. С гор потекли потоки, против нашего дома образовалась каскада с пригорка, а мутная Мур бесилась, рвалась из берегов. Он поглядывал в окно, но продолжал читать спокойно. Мы были в восторге, хотя было что-то странное в духе каждого из нас. Однако он не дочел

второй главы и просил Карамзина с ним пройтись до Грабена, где он жил [Смирнова, 1989, с. 28].

В другом месте Смирнова говорит, что Гоголь прочел пять глав [Там же. С. 518], но первое свидетельство, несомненно, более точное.

Карамзин в письме к матери, 18 (6) августа, в пятницу:

В понедельник [т. е. 14 августа н. ст.] обедал я у Смирновых с Гоголем, который принес читать нам новое, еще неоконченное сочинение: это длинный юмористический роман о России. Это лучше всего до сих пор писанного им, но ничего другого не смею сказать, потому что он читал нам *sous le sceau du secret*. И кстати запаслись мы этим чтением, которое задержало нас до позднего вечера, потому что на небе и в воздухе разыгралась такая чертовщина, которой ни сказкой не сказать, ни пером не написать... Умник Борх послал за почтовыми лошадьми... [СН. Кн. 20. С. 164].

Гоголь неохотно читал свои произведения незнакомым людям, но Смирновых и Карамзина он уже хорошо знал и, очевидно, ждал их одобрения, их реакции, которая его не обманула. Знал он, хотя и меньше, Льва Соллогуба и Валериана Платонова, которых совсем недавно встречал у Смирновых в Париже (с первым, он, скорее всего, был знаком еще по Петербургу). Платонов, влюбленный в Александру Осиповну, следовал за ней по пятам и был допущен к чтению поэмы. Гоголевское отношение к нему неизвестно, но Карамзин и Смирнова его высоко ценили. Андрей Николаевич отмечал в нем «глубокую печаль» под личиною «общественной веселости», а Смирнова характеризовала его так: «Платонов был умен и очень образован... Его любящее и нежное сердце, не знавшее семейного счастья, обратилось всецело ко мне» [Смирнова, 1989, с. 194].

Новым лицом для Гоголя среди его слушателей был Александр Михайлович Борх (1804–1867), камергер, впоследствии граф. Известно о нем очень мало. Какие-то нити соединяли его с окружением Пушкина, который был знаком с его женой фрейлиной Софьей Ивановной Борх, урожденной Лаваль. Андрей Карамзин находил ее «прелестной», о самом же Борхе писал, что он «несносный, грубый и глупый» [СН. Кн. 20. С. 155].

Добавим, что все упомянутые лица впервые слышали чтение «Мертвых душ». И еще бросается в глаза, что Гоголь сохраняет атмосферу величайшей секретности. Андрей Карамзин не решился даже намекнуть на содержание произведения.

Нервическое состояние, овладевшее Гоголем под влиянием грозы, долго его не покидало. По словам Смирновой, она попросила писателя на следующий день продолжить чтение, но «он решительно отказал и просил даже не просить».

Когда несколько дней спустя Смирновы уезжали из Бадена, Гоголь вместе с другими русскими вызвался проводить их до Карлсруэ. Здесь «он ночевал с моим мужем в одной комнате и был болен всю ночь, жестоко страдая желудком и бессонницей» [Смирнова, 1989, с. 29]. Потом все провожавшие вернулись в Баден (в другом месте Смирнова поясняет, что это были Карамзин и Платонов [Там же. С. 36]).

Около 1 сентября Гоголь оставил Баден, отправившись на пароходе во Франкфурт-на-Майне, где он уже останавливался в июле прошлого года. Здесь он встретился с Александром Ивановичем Тургеневым, с которым познакомился еще в Петербурге не позднее декабря 1834 г. [Гиллельсон, 1963, с. 168]. Но это была первая их встреча после приезда Тургенева из российской столицы, где он провел многие часы в квартире умирающего Пушкина, а затем сопровождал гроб с его телом до места погребения у Святогорского монастыря. Все это, конечно, задало главную тему разговора Тургенева с Гоголем.

И вообще все пребывание Гоголя во Франкфурте прошло под знаком Пушкина. У Тургенева Гоголь увидел последний, пятый том «Современника» и прочел пушкинское стихотворение «...Вновь я посетил тот уголок земли...»: «Удивительная простота и такая тихая и вместе глубокая грусть, что я даже не в силах был переписать, мне так сделалось грустно». Еще одно подтверждение факта, что Гоголь отнюдь не считал поэта отставшим от времени... Перед этим Гоголь получил письмо от Жуковского (написанное еще в марте) – «пять или шесть строк, но такой исполнены грусти по недавней великой утрате, что я не мог их читать равнодушно» [XI, 109, 108].

1 сентября Гоголь встретился с Тургеневым у русского посланника во Франкфурте Петра Яковлевича Убри (1774–1847), под началом которого в Коллегии иностранных дел служил молодой Пушкин. И опять разговор вернулся к большой теме – о погибшем поэте, о Петербурге.

В тот же день Гоголь и Тургенев встретились еще дважды: вначале у Тургенева, потом у Гоголя. «О Пушкине, о сочинении его “Мертвые души”», – гласит дневниковая запись Тургенева [Гиллельсон, с. 138]. Разговор о Пушкине неразрывно переплелся

с разговором о «Мертвых душах» (но сведений о том, что в это время Гоголь читал поэму своему собеседнику, у нас нет).

И автор «Мертвых душ» приводит тургеневскую фразу, которая так созвучна его собственным переживаниям: «...живя за границую, тошнит по России, а не успеешь приехать в Россию, как уже тошнит от России» [XI, 108].

Воспоминание о смерти Пушкина, навеянные ею мысли чуть было не спровоцировали у Гоголя новый приступ тоски и отчаяния. Безоблачное настроение итальянской поры улетучилось, впервые за много месяцев он начинает жаловаться на свое душевное состояние: «...я боюсь ипохондрии, которая гонится за мною по пятам. Смерть Пушкина, кажется, как будто отняла от всего, на что погляжу, половину того, что могло бы меня развлекать» [XI, 110]. Гоголь мечтает о возвращении в Италию, но известие о свирепствующей там холере заставляет его медлить.

3 сентября Гоголь направляется из Франкфурта в Женеву, где он уже жил поздним летом и осенью предыдущего года. На этот раз пребывание Гоголя было скрашено новой встречей с Данилевским и особенно – с Адамом Мицкевичем. Польский поэт жил в это время в Лозанне, готовясь к преподавательской деятельности в тамошнем университете, но часто бывал в Женеве и заходил в гостиницу (*Hotel de la Couronne*), в которой остановились Гоголь и Данилевский [Шенрок, т. 3, с. 201]⁶¹. В более позднем письме к Данилевскому (28 < сентября н. ст.> 1838, Лион) Гоголь вспоминает Женеву «с вдохновенным Мицкевичем, что мне представляло немало удовольствия» [XI, 173]. Общение русского и польского писателей укрепило их взаимную симпатию, возникшую еще во время первых встреч в Париже.

В Женеве Гоголь пробыл больше месяца. В середине октября Данилевский отправился в любезный его сердцу сверкающий и веселый Париж, а Гоголь «полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию»...

Благо, что для этого у него теперь появились средства. В начале сентября, по выезде из Франкфурта или в Женеве, Гоголь получил 1000 рублей от Плетнева и даже смог приобрести новое платье, «потому что старое разлезлось в куски – последний продукт моей отчизны» [XI, 110]. Тем временем в Рим пришли векселя на ту сумму в 500 червонцев, которую определил писателю император. Гоголь, узнавший об этом по возвращении в Рим, расценил такой шаг как новое воплощение идеи августейшего покровительства поэту; совсем недавно император открыл путь

«Ревизору», теперь он способствует созданию главной книги писателя. «Как некий Бог, он сыплет полною рукою благоденствия и не желает слышать наших благодарностей. Но, может быть, слово бедного при жизни поэта дойдет до потомства и прибавит умиленную черту к его царственным доблестям» [XI, 111].

Второе «чтение» Италии

Гоголь направился в Италию не той дорогой, что в первый раз, не морем, но через Симплонский перевал в Альпах. С какой радостью увидел он первый итальянский город Domo d'Ossola!.. Потом – Милан, в котором Гоголь еще не бывал; здесь он по обыкновению осмотрел собор («вообразите себе огромнейшую массу, всю из мрамора, всю из статуй, из резных украшений, похожую на кружево» [XI, 118]), полюбовался театром «Ла Скала», картинной галереей (возможно, он сумел ее бегло осмотреть).

Потом была уже знакомая Флоренция. Поздней осенью Гоголь прибыл в Рим⁶².

Несмотря на то что в Риме не оказалось привычной для Гоголя компании – ни Балабиных, ни Репниных, ни Андрея Карамзина, он не чувствовал себя одиноким. Собеседниками его были Колизей, собор Святого Петра, другие римские памятники и сооружения, и ему показалось, что все они «сделались на этот раз гораздо более... разговорчивы». И никогда еще он «не был так весел, так доволен жизнью».

Италия принадлежит ему, Гоголю. «Я родился здесь. – Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине...» И – проснулась творческая энергия, вновь закипела работа над поэмой. «Жизни, жизни! еще бы жизни!»

На некоторое время в Рим, по-видимому из Парижа, приехал Золотарев (после 19 апреля он отправится в Неаполь), и путешествия по городу и по окрестностям они теперь совершают с Гоголем вдвоем – в Альбано, Фраскати, Тиволи, Дженсано, Кампанию... Варьируя гоголевское выражение о чтении Рима, Золотарев пишет 19 апреля 1838 г. Данилевскому в Париж: «В Рим, как в роман или огромную повесть, все вчитываешься далее и более,



Дом на Via Sistina в Риме, где жил Н.В. Гоголь
Фотография

и более и более находишь красоты... Что за природа и что за история! Что за кипарисы и что за развалины! А виллы-то! окрестности Рима!...» [Шенрок, т. 3, с. 213].

Золотарев остановился в той же квартире на виа Сант-Издоро, 17. А у Гоголя теперь новый адрес: Strada Felice, 126. Его квартира с большой комнатой, выходящей на улицу, – на последнем третьем, по российским понятиям, четвертом этаже⁶³.

Позднее улица получила другое название – Via Sistina, но дом сохранил прежний номер 126. На доме – мемориальная доска с двуязычной надписью, на русском: «Здесь жил в 1838–1842 гг. Николай Васильевич ГОГОЛЬ, здесь писал “Мертвые души”»; и итальянском: «Il grande scrittore russo NICOLA GOGOL in questa casa dove abito dal 1838 al 1842 penso' e scrisse il suo capolavoro»⁶⁴. Установили доску в 1901 г., в преддверии гоголевского юбилея, по инициативе двух русских людей: писателя П.Д. Боборыкина и М.П. Балабиной [Авентино, с. 2]. Так Мария Петровна, носившая теперь фамилию мужа Вагнера, почтила память своего знаменитого учителя, которого она пережила почти на полвека...

Подробным описанием местожительства Гоголя мы обязаны П.В. Анненкову, побывавшему здесь позднее:

Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни изнутри. Обок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол; узкий соломенный диван, рядом с книжным шкафом, занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь... У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро – стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы и на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалося масло [Анненков, 1983, с. 47].

Некоторое время тому назад автору этой книги вместе с итальянской исследовательницей Вандой Гасперович удалось побывать в бывшей квартире Гоголя. Нынешние ее хозяйева, пожилой итальянец с супругой, оживленно рассказывали то, что узнали от пресжних владельцев, а те – от своих предшественников: комнаты, прежде изолированные, теперь соединены арками, передняя перестроена и т. д. Но выглянув из окна угловой комнаты, выходящей на виа Систина и виа Цуккелли, можно увидеть ту статую Мадонны, которую ежедневно видел и Гоголь [см. также: Гасперович, с. 95].

Как выглядела в те времена виа Систина (названная так в честь папы Сикста V, в крещении Феличе – отсюда происхождение современного названия)? «...Это был модный бульвар, с присущим ему аристократизмом и изысканностью. Помимо мастерских художников и скульпторов, здесь же и продававших свои работы, тут находилось множество антикварных магазинов, где гости города могли приобрести сувениры из кораллов, статуэтки из алебаstra, слоновой кости и серебра, брошки-мозаики, а также гравюры с видами Рима» [Там же. С. 86–87].

Что же касается непосредственного окружения Гоголя, то оно было очень пестрым. Проведенное В. Гасперович обследование церковных приходских книг позволяет достаточно полно представить себе жильцов этого дома. Так, в 1838 г. на одном с Гоголем этаже жили 43-летний табачник с женой (кстати, тоже Аннунциатой), «кто-то из Правительства», а этажом ниже – три испанца-художника и два протестанта, еще ниже, на втором этаже (первый оставался не заселенным) – некая 62-летняя вдова и 24-летний служащий и т. д. Гоголь в этот список не попал [Там же. С. 88–89].

Местом общения и встреч как с итальянцами, так и с приезжими русскими были аустерии и кофейни; из них наиболее посещаемые Гоголем – Фальконе на площади Сант-Эустаккио около Пантеона, *Von gout* на площади Испании, кафе Греко⁶⁵ на виа Кондотти и Лепре на той же улице. Один путешествующий иностранец оставил описание трактира Лепре (что означает «заяц») времен Гоголя: «Lepre – самый большой трактир в Риме; обычно многочисленные залы заполнены посетителями из самых разных стран. Старый официант, занимающийся английским залом, прозванный Орилья [т. е. Подслушивающий], совершенно особый персонаж. Он воевал с Наполеоном в Москве... К обеду Орилья приносил меню, состоящее из пятисот блюд, хотя в действительности можно заказать сотню» [цит. по: Гасперович, с. 95–96]. Что касается Гоголя, то сотня сотней, но свои несколько блюд он выбирал тщательно, испытывая терпение служащих. Об этом мы знаем со слов Анненкова, обедавшего вместе с Гоголем в Лепре, правда, тремя годами позже: «Раза два менял он блюда риса, находя его то переваренным, то недоваренным, и всякий раз прислужник переменял блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера [иностранца], которого он называл синьором Николо» [Анненков, 1983, с. 48–49].

У Лепре и в других местах Гоголь встречался с русскими художниками, и эти встречи не приносили ему удовлетворения. «Что делают русские питторы [художники], ты знаешь сам, – общал он Данилевскому 13 мая н. ст. 1838 г. – К 12 и 2 часам к Лепре, потом кафе Грек, потом на Монте Пинчио, потом к *Von gout*, потом опять к Лепре, потом на бильярд». Гоголь апеллирует к опыту собственных встреч с Данилевским в Риме и Париже, а может быть, и к более ранним встречам – в петербургском кружке «однокорытников»: «...мне было грустно это подобие вечеров, потому что оно напоминало наши вечера и других людей, и другие разговоры». И затем Гоголь произносит решительный приговор русским «питторам»: «Иногда бывает дико и странно, когда очнешься и взглядишься, кто тебя окружает. Художники наши, особливо приезжающие вновь, что-то такое...» [XI, 151].

Кого конкретно имел в виду Гоголь? Чуть ниже он называет А.Т. Дурнова («Дурнов мне надоел страшным образом тем, что ругает совершенно наповал все, что ни находится в Риме»). Несколько позднее, 25 марта н. ст. 1839 г., в письме тому же адресату, Гоголь раздраженно упомянет, наряду с Дурновым, еще архитектора Романа Ивановича Кузьмина (1811–1867), архи-

тектора Александра Никитина (род. 1810), архитектора и искусствоведа-египтолога Дмитрия Егоровича Ефимова (1811–1864): «...Дурнова твоего, если где встречу, право тошнит. Что за народ! Кузьмины, Никитины, Ефимовы – ужас какая тоска...» [XI, 211; расшифровка этих упоминаний дана в исследовании: Джулиани, 2001, II, с. 113, 122–125].

В гоголевском кругозоре находились и те лица, с которыми вместе он участвовал в заседании Германского археологического института в Риме 21 апреля 1837 г. (см. об этом выше), т. е. Ефимов-старший, Габерцеттель, Горностаев. Да и других Гоголь мог иметь в виду из более чем двух десятков находившихся в Риме русских художников...

Так или иначе, но гоголевский приговор выглядит необъяснимо суровым. Как показала Рита Джулиани, многие, если не большинство из упоминаемых (или, возможно, подразумеваемых) писателем лиц, имели свои заслуги. Например, труд Д.Е. Ефимова «Краткие сведения о Египетской архитектуре...» удостоился высокой оценки в «Бюллетене Института археологической корреспонденции» за 1838 г.; с интересом отнеслись в Риме к картине Габерцеттеля «Проповедь Иоанна Крестителя» (закончена в 1842) и т. д. Эти факты заставили исследовательницу «усомниться в объективности суждений великого писателя о тех художниках, чей профессиональный уровень заслуживает существенной переоценки» [Джулиани, 2001, II, с. 127].

И все же у «суждений» Гоголя была своя мотивировка. В. Шенрок полагал, что она заключалась в «нравственной распушенности кружка», и подкреплял этот вывод многочисленными фактами кутежей и развратных поступков, совершаемых русскими художниками [см.: Шенрок, т. 3, с. 219]. Однако на главную причину указал сам Гоголь в упоминавшемся письме Данилевскому от 13 мая н. ст. 1838 г.: «Какое несносное теперь у нас воспитание! Дерзать и судить обо всем, это сделалось девизом всех средственно воспитанных у нас людей... *А судить и рядить о литературе* считается чем-то необходимым и патентом на образованного человека. Ты можешь судить, каковы суждения *литературных людей*, окончивших свое воспитание в Академии художеств и слушавших Плаксина» [XI, 151]. Другими словами, Гоголь реагировал прежде всего на литературные, эстетические мнения, которые он слышал от знакомых ему художников, – скорее всего это были мнения о современной литературе, возможно, и о его собственных произведениях. Имя В.Т. Плаксина, препо-

дававшего в Академии художеств, фигурирует в этом контексте не случайно: как автор историко-литературных и теоретических трудов он имел репутацию человека, отставшего от современных взглядов [см., в частности: Белинский, т. 2, с. 196–197]. Достаточно привести хотя бы такое энергичное утверждение Плаксина по поводу произведений современной прозы: «...между ими первое место занимают повести Марлинского, которого мы смело можем противопоставить, без всякого патриотического предубеждения, всем гениальным в сем роде писателям Европы» [Плаксин, с. 349].

Из круга русских художников Гоголь безусловно выделял троих – Иордана, Моллера и, конечно, Александра Андреевича Иванова (1806–1858), работавшего над «Явлением Мессии». Биограф Иванова относит его знакомство с Гоголем к последним месяцам 1838 г. (впрочем, оно могло произойти и раньше). Посвященный в творческие планы Иванова, Гоголь «был в восторге от его картины, говорил о ней, кому только мог, видел в мастерскую художника своих знакомых» [Боткин М., с. IX].

По возвращении в Рим осенью 1837 г. Гоголь чаще встречается и с Зинаидой Волконской (виделись они и, может быть, познакомились еще раньше, во время первого приезда писателя в Италию).

Княгиня Зинаида Александровна Волконская (1789–1862) представляла собою характерную фигуру в русском эстетическом и – шире – культурном движении. Причем не столько в творческом аспекте (Волконская владела многосторонним дарованием, пробуя свои силы и в поэзии, и в прозаических жанрах, и в сочинении музыкальных произведений), сколько в поведенческом и бытовом. Мы коснемся этого аспекта только с одной, так сказать, итальянской стороны.

Многие русские литераторы воспевали Италию как «обетованную страну искусств» (*das gelobte Land der Kunst* – выражение Вакенродера), изливали «тоску по Италии» (*Sensucht nach Italien* – формула того же Вакенродера). Гётевская песня Миньоны (русский перевод, принадлежащий В. Жуковскому, появился в 1818 г.) стала в России своего рода архетипом устойчивой художественной ситуации, в том числе в стихотворении гоголевского однокашника В. Любича-Романовича («...Италия! поэзии земля! / Давно к тебе на крыльях мечтанья / Несытая летит душа моя!»). Да и самого Гоголя в юные годы не миновали эти настроения, если признавать его авторство (что весьма вероятно) в отношении стихотворения «Италия»⁶⁶:



З. Волконская
Портрет работы Ф. Бруни

Земля любви и море чарований!
Узрю ль тебя я, полный ожиданий?..
Меня влечет и жжет твое дыханье, –
Я в небесах, весь звук и трепетанье!

Однако для большинства стремление в Италию оставалось эстетическим жестом; иные действительно совершали паломничество в эту страну, краткое или более длительное. Волконская же превратила это стремление в жизненный выбор, в поступок. Проживая в Риме в 1820–1822 гг., она спустя семь лет, в 1829 г., решила переселиться сюда навсегда (в качестве воспитателя ее сына Александра в Италии в 1829–1832 гг. находился С.П. Шевырев).

Весна 1838 г. – время довольно тесного общения Гоголя с Зинаидой Волконской. Вместе с нею он посещает на римском кладбище могилу дочери Вяземского Прасковьи, скончавшейся в

1835 г. У Гоголя и Волконской – общие знакомые; так, господин Pave, он же Владимир Павей (ок. 1811 – после 1858), воспитывавшийся вместе с сыном Волконской, впоследствии камергер при дворе Римского Папы – его, Гоголя, «добрый приятель»; с ним Гоголь отправляет свое письмо Данилевскому в Париж. Данилевскому же Гоголь сообщает, что письмо к нему пишет, «сидя в гроте на вилле кн. Волконской», под шум проливного майского дождя, распространяющего «освежительный холод».

Эта вилла – одна из достопримечательностей и вместе с тем одно из культурных гнезд римской жизни. Ф.И. Буслаев оставил подробное описание виллы (он бывал здесь в 1840–1841 гг.). «Вилла княгини Волконской состоит из павильона или казино, окруженного садом. Таковы в стенах Рима многие дворцы, как крупные, так и мелкие, или казино. Например, вилла Медичи... Вилла княгини Волконской, хотя и внутри города, около бойкой площади Иоанна Латеранского, представляет ландшафтное сочетание казино с нисходящим от него легкой отлогостью садом. Когда смотришь на эту виллу с низменной равнины, павильон княгини Волконской представляется разноцветным букетом от поднимающихся с земли до вершины здания ползучих растений...» Все здесь обнаруживало естественное сочетание древней античной и новой эпох, которое так нравилось Гоголю. «Во вкусе этого архитектурного анахронизма княгиня Волконская приютила свое маленькое казино под сенью колоссальных арок древне-римского водопровода» [ВЕ. 1896. Т. 1. С. 24].

По замыслу хозяйки вилла должна была символизировать встречу различных миров – западноевропейского и русского. С этой целью Зинаида Волконская решила устроить две аллеи: «аллею друзей» и «аллею воспоминаний». Шевырев застал самое начало работы (княгиня «суетится», «сажает деревья, отдыхает, любит виды», «воздвигает памятники всему утраченному милому» – из письма Шевырева А.В. Веневитинову от 10 октября 1831 г. [Там же. С. 27]). Ко времени же приезда Гоголя уже стояли монументы или урны в память о тех, кого почитала княгиня, с кем ее сталкивала судьба. Тут были и император Александр I, и Пушкин, и Гёте, и Вальтер Скотт, и Байрон, и Дмитрий Веневитинов... М.П. Погодин, посетивший виллу весной 1839 г., видел здесь еще «обломок, посвященный Карамзину», «камень с именем Николая Рожалина, который прожил в Риме три года в доме княгини» [По-годин, 1842, с. 376–377].

Более поздняя посетительница виллы Н.Г. Чулкова заметила и другую коллекцию – на обломке древней стены «приклеено множество носов, вероятно, отбитых от статуй или найденных в развалинах. Их много, этих носов, самой разнообразной формы. Я вспомнила, что Гоголь бывал у Волконской здесь, и подумала, что, может быть, это и подало ему мысль написать его рассказ «Нос»» [ОР РГБ. Ф. 371. К. 6. № 1]. Действительно, коллекция должна была много говорить Гоголю ввиду его интереса к этой специфической части тела, хотя догадка мемуаристики относительно «Носа» ошибочная: повесть была опубликована еще в 1836 г.

Когда в мае 1838 г. Зинаида Волконская временно оставила Рим, Гоголь испытывал чувство грусти. По его словам, он «питал дружбу и уважение» к княгине, «которая услаждала» его «пребывание в Риме» [XI, 153].

Между тем в круг гоголевского общения вошли и итальянцы. Прежние вояжи и путешествия Гоголя по Германии, Франции, Швейцарии, кажется, не отмечены встречами со сколько-нибудь значительными представителями культуры этих стран (за исключением встреч с поляками А. Мицкевичем и Ю.Б. Залеским во Франции и затем с Мицкевичем же в Швейцарии); по крайней мере, об этом ничего не известно. В Италии же Гоголь с первых месяцев завязал такие знакомства. Одно из них – со знаменитым кардиналом Меццофанти.

Джузеппе Гаспаро Меццофанти (1774–1849), сын бедного плотника из Болоньи, достиг вершин церковной карьеры. Вначале он был каноником собора Святого Петра, потом ректором коллегии Пиетрини, причисленной к этой церкви, затем заведующим Конгрегации Пропаганды и наконец возведен в кардинальское достоинство. Последнюю перемену фиксирует письмо Гоголя Марии Петровне Балабиной от апреля 1838 г., где описываются празднества в Риме по поводу избрания кардиналов: «город был иллюминирован три дни» и «наш приятель Меццофанти сделан тоже кардиналом и ходит в красных чулочках» [XI, 142]. Выражение «наш приятель» позволяет думать, что Гоголь познакомился с ним еще в свой первый приезд в Италию. Позднее (во время пребывания в Риме весной и летом 1841 г.) П.В. Анненков слышал рассказы Гоголя о его знакомстве с Меццофанти, выливавшиеся в «целое драматическое представление»: «Он очень любил этого кардинала-полиглота, маленького, сухощавого и живого старичка, который при первой встрече с Гоголем заговорил по-русски» [Анненков, 1983, с. 89].

Действительно, главным достоинством этого человека была фантастическая способность к языкам: он говорил на 50–60 языках и еще с десяток знал пассивно. А. Пишо, встречавшийся с Меццофанти и написавший о нем очерк, опубликованный и в русском переводе, приводит ряд высказываний современников, в частности Байрона: это «чудовище филологии, идеал полиглота. Чудо, что за человек! Я испытывал его во всех языках, знакомых мне... он поставил меня в тупик, даже в родном моем языке!». Немецкий писатель Гвидо Геррес, живший в Риме: «Число языков, известных Меццофанти, невероятное, и всего удивительнее то, что огромный склад нисколько не перепутался в его голове. Это, если угодно, вавилонское столпотворение, но столпотворение сознательное: все в этой памяти размещено с необыкновенным порядком». И еще ответ некоего русского, «князя В.», на вопрос, хорошо ли Меццофанти говорит по-русски: «Я желал бы, чтобы так говорил мой сын» [БЧ. 1856. Т. 136. Отд. 3. С. 35, 45, 37]. Князь В. – это, конечно, П.А. Вяземский, познакомившийся с кардиналом во время своей поездки в Италию в 1834–1835 гг. и, вероятно, рассказавший о нем Гоголю еще в Петербурге.

Впрочем, у Гоголя было свое объяснение «необыкновенного порядка» в лингвистических запасах Меццофанти: кардиналу помогало то, что он, «обдумав фразу, держался за нее очень долго, выворачивая ее во все стороны, не делая шагу вперед, покауда не являлась новая придуманная фраза...» Подражая кардиналу, Гоголь разыгрывал маленькую комическую сценку – «начинал вертеть шляпу в руках и говорить итальянской скороговоркой: “Какая у вас прекрасная шляпа... прекрасная круглая шляпа, также и белая, и весьма удобная – это точно прекрасная, белая, круглая, удобная шляпа” и проч.» [Анненков, 1983, с. 89]. Но это не мешало Гоголю восхищаться необыкновенным талантом Меццофанти.

Другое очень важное знакомство, состоявшееся, очевидно, после вторичного приезда Гоголя в Италию, – с Белли. В апреле 1838 г. он писал Марии Петровне Балабиной: «...Вам, верно, не случалось читать сонетов нынешнего римского поэта Belli, которые, впрочем, нужно слышать, когда он сам читает» [IX, 143]. Эта фраза говорит о том, что Гоголь был хорошо знаком с поэтом и слушал его, вероятно, неоднократно. Предположительно, они встретились у Зинаиды Волконской, но не на вилле, а в палаццо Поли, что возле фонтана Треви. Здесь бывали и Мицкевич, и Жуковский, и Вяземский, кстати, также знакомый с Белли. Здесь

итальянский поэт одно время жил (у родственников своей жены) [Томашевский, с. 187].

Джузеппе Джоакино Белли (1791–1863) писал стихи на римском диалекте, языке так называемых транстеверян, т. е. тех, кто жил по ту сторону Рима. На этом диалекте (в отличие от миланского) говорил только простой народ; демократической была поэзия Белли и по содержанию: живые жанровые сценки, колкая сатира на власти. Гоголь хорошо ощутил направление сонетов Белли. «В них... – продолжает он свое письмо Балабиной, – столько соли и столько остроты, совершенно неожиданной, и так верно отражается в них жизнь нынешних транстеверян, что вы будете смеяться, и это тяжелое облако, которое налетает часто на вашу голову, слетит прочь...» [XI, 143].

Не одной только Балабиной рассказывал Гоголь о своем открытии, но, скажем, и французскому писателю Сент-Бёву, которого он случайно встретил летом 1839 г. (об этом дальше). Сент-Бёв вспоминает: «...его [Гоголя] интересуется народный гений, и куда бы ни устремлялся взор, он любит открывать присутствие этого гения и изучать его. Так Гоголь сообщил мне, что он открыл в Риме истинного поэта, по имени Белли... Г-н Гоголь говорил, обнаруживая такое *основательное знание предмета*, что убедил меня в оригинальном и крупном даровании этого Белли, которого все путешественники совершенно игнорировали»⁶⁷. Это свидетельство позволяет считать Гоголя первооткрывателем итальянского писателя для других литератур. Вместе с тем интересны и детали, характеризующие позицию Гоголя, – он *изучает* природу итальянского «народного гения», он накопил в этой области *основательные знания*. Это именно то, что отличало период вторичного посещения им Италии.

Продолжая давнюю поэтическую традицию уподобления страны или города книге, Гоголь пишет о Риме: «Я читаю этот роман каждый день с новым и новым наслаждением и, как в картине старинного автора, я в нем отыскиваю каждый день новое...» [XI, 156]. Что же дало Гоголю второе «прочтение» Италии и Рима, длившееся примерно десять месяцев?

Прежде всего, он значительно продвинулся в знании языка, настолько, что мог писать письма по-итальянски (таково его письмо М.П. Балабиной от 15 марта н. ст. 1838 г.) и понимал римский диалект. Затем углубились его представления о стране, *его образ Италии*. Усилилось переживание чарующей красоты итальянской природы. Один воздух чего стоит! «Верите, что часто

приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше – ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были бы величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны» [XI, 144]. Укрепились и гоголевские симпатии к итальянскому национальному характеру, привычкам, образу жизни, особенно потому, что воспринималось все это на фоне недавних впечатлений от Германии: «Как показались мне гадки немцы после итальянцев, немцы со всею их мелкою честностью и эгоизмом!» [XI, 142]. Тут гоголевские представления пришли в определенное соотношение с господствующими в Западной Европе и России концепциями Италии и итальянского характера.

Осю этих концепций служило *противопоставление прошлого настоящему*. Прошлое величественно, как в античную, так и в христианскую эпоху; настоящее, сегодняшнее – печально. Е.А. Баратынский: «Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель, / Ты был ли, о свободный Рим?» («Рим», 1821). А.И. Полежаев: «Он пал – сперва, как лев свободный, / Потом, как воин благородный, / Потом, как раб...» («Кориолан», 1834). По П.А. Вяземскому, в Риме прекрасен «мир древний и его младая красота / И возмужавший мир под знаменем креста», – но все это прошло: «Державства твоего свершились времена»; в современности сохраняется лишь поэтическая традиция, художественные переживания: «...Избранным душам, поэзии обильным, / И ныне ты еще зываешь гласом сильным» («Рим», 1846).

Иногда Риму как городу прошлого противопоставляется Россия – страна будущего. С.П. Шевырев, используя традиционную метонимию (река как обозначение страны и народа), изображает спор Тибра с Волгой. Тибр свободен, плещет «вольною волной»; зато Волга – «как молодой народ могуча», «как Россия широка» («Тибр», 1824).

Порою это противопоставление выглядит довольно схематичным, как сегодня принято говорить – однозначным. В опубликованной анонимно повести «Таинственная перчатка» (1832) русский путешественник попадает в Италию; вначале его было пленили произведения искусства, но затем он увидел в них лишь «памятники разрушения», а в итальянцах лишь «искаженное племя, как будто созданное только для того, чтоб быть чичероном праздного любопытства чужестранцев». «Нет! – сказал он; вон из Италии, скорее на родину: русскому одно место – Россия!

Русской – весь надежда; что у него общего с этим стареющим Западом, который, дряхлея, насильственно ищет воскресить себя?» [Т. 1832. № 5. С. 30–31].

Противопоставление современной Италии Древнему Риму обычно выливается в обличение нынешних итальянцев: они и жестоки, и бесчестны («мошенник на мошеннике», – скажет позднее скульптор Н. Рамазанов, используя известное выражение гоголевского Собакевича [РВ. 1878. № 2. С. 711]), и просто неинтересны. «Мне казалось, – говорит Ф.И. Буслаев, находившийся в Италии в те же годы (1840–1841), когда и Гоголь, – что жители этой страны и существуют теперь для того только, чтобы охранять заветные сокровища великого прошедшего в своих городах и услужливо показывать и объяснять их иностранцам» [Буслаев, с. 188].

На этом фоне выделяется, скажем, суждение С.А. Соболевского, высказанное в письме Шевыреву от 10 августа 1830 г. из Турина (Торино): «В одной Италии люди довольно дети, чтобы радоваться радости и тешиться прекрасным от сердца. Вне Италии все Чальд-Гарольды и $a + v = c$: радуются и удивляются по известной мерке» [РА. 1909. № 7. С. 485].

Но особенно интересны итальянские очерки С.П. Шевырева, написанные уже после того, как ему довелось воочию увидеть эту страну. В одном из очерков – «Римские праздники (Письмо из Рима)» (1831) – критик с воодушевлением говорит о художественной одаренности итальянцев, надо подчеркнуть – итальянцев *современных*. «Ни в одном народе европейском эстетическое воспитание не развито в такой степени, как в народе итальянском». Но это воспитание накладывает отпечаток на жизнь народа в целом. Шевырев упрекает Сисмонди в том, что тот в своей «Истории итальянских республик Средних веков» «ограничился целию политической», в то время как нужно избрать «главным центром народной жизни искусство». Шевырев отступает от традиционного мнения, поддержанного авторитетом Вольтера или мадам де Сталь, о синхронности политического и художественного расцвета [Удольф, с. 140]: именно сейчас, когда Италия, по общему убеждению, впадает в состояние политической стагнации, художественный гений народа по-прежнему на высоте. Красота – в народном быту итальянцев. «Посмотрите, как на сельском празднике необразованные мужики строят для процессий триумфальные ворота и украшают их гирляндами и фестонами из роз и мирта: какие правильные линии! какой вкус в отделке!» «Взгляните об Рождестве на овощников и колбасников... Невольно удивисься,

как умеют они из такой вонючей прозы своих товаров извлечь поэзию архитектурного украшения!» Вообще Шевырев специально останавливается на эстетической стороне христианских (не забудем, католических!) праздников; «большая часть сих праздников устроена первейшими классическими художниками Италии, каковы Микель Анжело и другие» [Т. 1831. Ч. 2. С. 406, 407, 408].

Гоголь почти буквально повторяет то, что было сказано до него Шевыревым. Он восхищается праздником цветов (*fiorata*): «...не подумайте, чтобы цветы были набросаны просто... Вы не узнаете, что это цветы; вы подумаете, что это ковры разостланы по улице и на этих коврах множество разных изображений... гербы, вазы, множество разных узоров и даже, наконец, портрет папы» [XI, 161]. Гоголь говорит о красоте религиозных праздников, разумеется, опять-таки католических: «...в религии католической очень много процессий... Народ в своих ярких пестрых костюмах под италианским пестрым небом делает удивительное зрелище» [Там же]. Гоголь, наконец, отдает итальянцам пальму первенства в непосредственности и полноте художественного переживания: «...может быть, это первый народ в мире, который одарен до такой степени эстетическим чувством, невольным чувством понимать то, что понимается только пылкою природою, на которую холодный, расчетливый, меркантильный европейский ум не набросил своей узды» [XI, 142].

А это значит, что приверженность к искусству, к прекрасному выводится Гоголем (как и Шевыревым) из круга эстетических способностей и становится характеристикой национальной природы, в том числе и со стороны ее нравственности. Гоголь еще не сделал отсюда (или, может быть, еще не сформулировал) вывод об *исторической* роли народа; это будет сделано им чуть позже; но он резко нарушил канон противопоставления Италии в прошлом Италии в современности. Это особенно ярко проявилось в восприятии Гоголем карнавальных праздников, которые он увидел в начале своего второго «чтения» Рима.

«Удивительное явление в Италии карнавал, а особенно в Риме, – все что ни есть, все на улице, все в масках». Удивительное – в красочности, яркости, красоте празднества: «Целые деревья и цветники ездят по улицам, часто протащится телега вся в листьях и гирляндах, колеса убраны листьями и ветвями и, обращаясь, производят удивительный эффект». Удивительное – и в сочетании современного и прошлого, в естественном возобновлении языке-

ских традиций: «...в повозке сидит поезд совершенно во вкусе древних Церрериных празднеств...» Удивительное – и во всеобщности, всенародности действа: «В других местах один только народ кутит и маскируется (Гоголь, по-видимому, имеет в виду карнавал, который он застал в последние дни пребывания в Париже. – Ю. М.). Здесь все мешается вместе». Удивительное – и в той легкости, с которою преодолеваются всевозможные социальные преграды и ограничения: «...ты можешь высыпать в лицо самой хорошенькой целый мешок муки, хоть будь это Боргези (представительница знатной римской фамилии. – Ю. М.), и она не рассердится, а оплатит тебе тем же». Удивительное, наконец, – в свободе нравов, во фривольности поведения: «Для интриг время удивительно счастливое. При мне завязано множество историй самых романтических с некоторыми моими знакомыми...» [XI, 122]. Гоголь, заметим мимоходом, в «интригах» не участвует, но смотрит на все спокойно, с пониманием, без ханжества...

И тут, в связи с гоголевским восприятием карнавала, вновь приходится вспомнить Шевырева, его другой очерк – «Римский карнавал в 1830». «Нет, как мне кажется, ни одного народного торжества, которое содержало бы в себе такую жизнь, такие стихии драматические, как римский карнавал». «Нигде нет такой свободы, непринужденности, такого устранения всех церемонных приличий света, как на карнавале римском. Все сословия уравниваются весельем, и все вместе». «Всюду совершенное отсутствие этой строгой чинности... Бедный веселится точно так же, как и богатый...» Карнавал – языческий праздник, «одна из блестящих развалин древней жизни, как Пантеон, Колизей, гробница Метеллы, но развалина, украшенная многими подробностями новейшими» [МВ. 1830. Ч. 2. С. 372, 375, 376]. Все это очень близко Гоголю, возможно, знакомому со статьей Шевырева (Гоголь был усердным читателем «Московского вестника», где печаталась эта статья). Поскольку же на рассуждениях Шевырева лежит печать концепции карнавала, сформулированной Гёте в его «Путешествии в Италию» [Удольф, с. 135], то очевидно, что гётевская традиция опосредованно (а может быть, и прямо) вошла в соответствующие рассуждения Гоголя⁶⁸.

Кстати, еще одно совпадение Шевырева и Гоголя: оба ощущают некую оппозиционность карнавала по отношению к власти. «Карнавал, – отмечает Шевырев, – весьма не нравится Римскому правительству» и «жрецам алтарей», которые убеждают народ, «что этот праздник не угоден Богу». Но все же терпят: «...прави-

тельство насильно уступает народу карнавал, как необходимый, полезный грех. Оно, кажется, позволяет своей буйной пастве в течение восьми дней отбеситься за целый год с тем, чтобы после беспечнее и легче управлять ею» [Там же. С. 375]. Гоголь: «Ни одного происшествия здесь не случится без того, чтоб не вышла какая-нибудь эпиграмма или острота в народе»; поэтому «в первые же дни карнавала... в народе вышел вдруг экспромт». И далее приводится итальянская фраза, которая в переводе звучит так: «Богу угоден карнавал, но не угоден кардинал» [XI, 142, 396].

Необходимо отметить еще одну особенность нового гоголевского прочтения Италии. Но вначале – вновь цитата из Буслаева:

От всех европейских городов “вечный Рим” отличается еще торжественным и роковым обаянием смертной памяти: *memento mori* – мани, факел, фарес! Вся наслоившаяся многими столетиями римская почва переполнена тлением костей человеческих и полита кровью в течение многих и многих поколений. Сначала утучняли эту почву язычники-римляне и северо-восточные варвары – гунны, авары, готфы, потом сотни и тысячи христианских мучеников... Пилигримы ходят на Восток поклоняться Гробу Господню в Иерусалим и на Запад великомученикам, погребенным в римских катакомбах» [ВЕ. 1896. Т. 1. С. 24].

Какая это многозначная фраза – «обаяние смертной памяти»: в ней напоминание о смерти в языческом смысле (*memento mori*) и святоотеческая «память смертная» (выражение, которое станет позднее излюбленным для Гоголя), и ощущение текучести времени, прорастания прошлого в настоящем, соединения двух эпох, языческой и христианской.

У Гоголя это сочетание смыслов выражено так: «Он [Рим] прекрасен уже тем, что ему 2588-й год, что на одной половине его дышит век языческий, на другой христианский, и тот и другой – огромнейшие две мысли в мире» [XI, 144]. Гоголевская религиозность – не вообще, не во все периоды его жизни, а именно в момент второго прочтения Италии – удивительно гармонична и толерантна. Тут уместно напомнить, что ведь и христианскую «мысль» Гоголь принимает в том реальном выражении, в каком он ее видел в католическом Риме.

Попадавшие в Италию русские обнаруживали различные виды и оттенки отношения к католическим храмам: решительное неприятие, сдержанность и т. д. Авраам Сергеевич Норов (1795–1869), знакомый Гоголю по Петербургу, чиновник и писа-

тель, автор книги «Путешествие по Сицилии в 1822 г.», будучи в Риме, испытывал глубокие страдания, так как был «лишен здесь утешения своей церкви». «Я для сего, – сообщает Норов в очерке “Литературный вечер в Риме...” – должен был воспользоваться предложением греко-униянского священника и слушал обедню, как в первые века христианства, в подземелье, в церкви Св. Косьмы и Дамиана, бывшем храме Рема, в Форуме» [БЧ. 1834. Т. 3. Отд. 1. С. 209]. Другой русский, Ф.И. Буслаев, активно не принимавший католические догматы (например, о папской непогрешимости), тем не менее, за отсутствием православной церкви, «усердно молился и в итальянских, ничего не находя в этом предосудительного для своей религиозной совести». Сложнее было отношение Буслаева к внешним атрибутам католицизма: как историк и теоретик искусства, он проявляет и чисто эстетический интерес к итальянским храмам, «наслаждаясь их художественным убранством»; вместе с тем в зрелищности католицизма он усматривает «потворство человеческим слабостям и прихотям», попытку одурманить «суеверную паству» «прелестями изящных искусств в украшении церкви и разными пустопорожными затеями ухищренных церемоний» [Буслаев, с. 241, 243, 244].

Считается, что интерес Гоголя к католицизму был чисто художественным. «Католические церкви и богослужение пленяли его чисто эстетически», в католических храмах он «молится, растроганный красотой» [Мочульский, с. 48]. Е.И. Анненкова, автор интересной работы «Католицизм в системе воззрений Н.В. Гоголя», также полагает, что писатель «в конце 30-х годов скорее всего переживает своеобразное эстетическое увлечение католицизмом» [Материалы, 1995, с. 31]. Все это не совсем так.

Эстетический момент этого увлечения бесспорен, причем он более полон, лишен тех оговорок, которые делает Буслаев (так, Гоголь не видит никакого злого умысла и соблазна в католических процессиях – он просто наслаждается их яркой зрелищностью). Но переживание Гоголя было *не менее религиозным, чем художественным; вернее, одно неразрывно связано с другим*. Вот замечательное место из его письма Марии Балабиной от апреля 1838 г.: «...я решил идти сегодня в одну из церквей римских, тех прекрасных церквей, которые вы знаете, где дышит священный сумрак и где солнце, с вышины овального купола, как святой дух, как вдохновение, посещает середину их, где две-три молящиеся на коленях фигуры не только не отвлекают, но, кажется, дают еще крылья молитве и размышлению. Я решил там помолиться за

вас (ибо в одном только Риме молятся, в других местах показывают только вид, что молятся)...» [XI, 140].

Нет, Гоголь пришел в католическую церковь не «за неимением» православной, а по душевной потребности. Он просто не делает никаких различий и вполне отдает должное полноте и искренности религиозного переживания окружающих в католическом храме. Католическое не отвращает его, не воздвигает никакой преграды, никакого препятствия.

Из гоголевского «Тараса Бульбы» (особенно первой редакции) обычно вычитывалось резкое неприятие католицизма и униатства. Но на самом деле позиция автора была намного шире, чем позиция его персонажей, характеризуясь замечательной веротерпимостью. Аналогичную терпимость, мы видели, Гоголь проявлял к полякам, участвовавшим или сочувствовавшим восстанию 1830–1831 гг. (Адаму Мицкевичу, Юзефу Богдану Залескому), вопреки официальной российской точке зрения на это событие. Впрочем, как уже неоднократно отмечалось, и в «Тарасе Бульбе», во второй его редакции, «католические сцены» получили более объемное, подчас даже лирическое освещение: так, переживания Андрия в костеле разительно совпадают с чувствами самого Гоголя, переданными в только что приведенном письме к Балабиной [Шенрок, т. 3, с. 170–171].

В заграничном окружении Гоголя, кстати, всегда были русские, принявшие католичество: среди них выделялись княгиня З.А. Волконская и Л.К. Виельгорская. О католицизме Волконской речь впереди; что же касается Виельгорской, то ее биограф говорит о веротерпимости последней. «Хотя Луиза Карловна и была строгою и набожною католичкой, но нисколько не чувствовала желанья вернуть своих детей в лоно своей собственной церкви». И когда «один патер в Италии» сделал ей такое предложение, «она объявила, что предпочитает быть вместе со всем своим семейством в аду, чем достигнуть рая без близких родных» [Веневитинов М.А. Семейство Виельгорских // РС. 1888. Июнь. С. 693].

Между тем на родине Гоголя возникли слухи об опасном его сближении с католиками и чуть ли не о перемене веры. Об этом писателю сообщила Мария Ивановна, которая хотя и опровергала эти слухи, но в душе, по-видимому, питала некоторое беспокойство; ее письмо, очевидно, имело характер предостережения. Так, несколькими месяцами раньше она предостерегала сына от сближения с итальянками...

Возможно, повод для всех этих подозрений дал сам Гоголь, сообщая, например, матери накануне приезда в Италию, что он горит нетерпением встретить Пасху в «церкви Святого Петра, где будет служить сам папа». А Мария Ивановна, по своему обыкновению, поделилась этими сведениями с соседями, и те не преминули сделать отсюда соответствующие выводы...

В ответном письме от 22 декабря н. ст. 1837 г. Гоголь говорит:

Насчет моих чувств и мыслей об этом, вы правы, что спорили с другими, что я не переменяю обрядов своей религии. Это совершенно справедливо. Потому что как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую. Та и другая истинна. Та и другая признают одного и того же Спасителя, одну и ту же Божественную мудрость... Итак, насчет моих религиозных чувств вы никогда не должны сомневаться [XI, 118–119].

Любопытна логика Гоголя. Он мотивирует свою верность православию не тем, что оно выше, истиннее католицизма, а тем, что они равны друг другу и переходить в другую конфессию «нет надобности». Это был необычный ход мысли! Даже Шевырев как автор упомянутых выше итальянских очерков хотя и относился к католицизму без предубеждений, но все-таки полагал, что в России религия чище. Не приходится уже говорить о будущих славянофилах – впрочем, и отношение Гоголя к католицизму десятилетием позже изменится... Пока же оно, это отношение, вновь поражает своей терпимостью. Недаром, публикуя приведенное письмо в «Сочинениях и письмах Гоголя» [СПб., 1857. Т. 5. С. 296], П.А. Кулиш счел необходимым задним числом укорить автора за то, что он «имел в ту пору еще довольно незрелые и смутные понятия о степени уклонений, отделяющих Римскую церковь от Восточной».

В целом гоголевское переживание Рима в этот период характеризуется ощущением устойчивости. Писатель видит крайности, даже полярные, но они не обострены, напротив – примирены в некоем высшем чувстве. Это относится и к переживаниям бытовым, жизненным, «уличным» – повседневным или праздничным (карнавал), и к переживаниям религиозным.словно разные миры соприкоснулись, но не столкнулись. Аполлоновское и дионисийское начала мирно уживаются, равно правя бал и не отрицая друг друга. Рим для Гоголя этой поры – само постоянство, надежный якорь в море волнений и бурь. Это не вполне соответствует худо-

жественной атмосфере гоголевских произведений, да и гоголевскому внутреннему миру тоже; но в том-то и дело, что эти миры достаточно сложно соединены друг с другом. Порою художнику, фигурально говоря, для *воплощения беспокойства* больше всего нужна *спокойная точка наблюдения* и неколеблемая почва. Такую точку и такую почву Гоголь до поры до времени находил в Италии.

Католический эпизод

Объяснение с матерью в декабре 1837 г. относительно перемены веры явилось прологом эпизода, случившегося весной следующего года. Речь идет о попытке обратить Гоголя в католичество.

Нити к этому эпизоду ведут из Парижа от близкого к Мицкевичу Богдана Яньского. Выпускник Варшавского университета, Яньский был в 1827 г. послан в Париж для приготовления к профессуре по кафедре политической экономии. После польского восстания 1830–1831 гг. стал добровольным эмигрантом. Сочувствовал фурийеризму и сен-симонизму, искал способы практического применения своих религиозно-филантропических взглядов.

В 1834 г. возникло общество «братьев» во главе с Мицкевичем и Яньским. Было решено образовать новый монастырский орден, так называемый «скит Яньского» (*domek Jan'skiego*). 17 февраля 1836 г. устроили «первый братский обед», положивший основание ордена воскресенцев. Среди его членов были два молодых человека – Петр Семененко и Иероним Кайсевич, которым вскоре предстояло встретиться с Гоголем [Кочубинский, кн. 2, с. 662].

По приезде обоих в Рим, 2 (14) октября 1837 г., Кайсевич писал Мицкевичу в Париж: «Рим – это град градусов, град Господен, град молитвы. Я не могу довольно наглядеться на него...» [Там же. С. 663]. Гоголь переживал в Риме сходное чувство, с той только разницей, что он молился общему Богу всех христиан, не делая между ними различия, а Семененко и Кайсевич – тому, кого они считали истинным Богом, т. е. католическому.

Устроиться в Риме обоим полякам, участникам восстания 1830–1831 гг., было непросто, ведь они считались эмигрантами из Российской империи, с которой Ватикан не хотел осложнять

отношения. Когда с помощью бельгийского посланника им удалось добиться аудиенции у папского статс-секретаря кардинала Ламбрускини, тот при слове «эмигрант» пришел в ужас: «А русское посольство, а протесты, а толки!» Не более смелой оказалась Конгрегация Пропаганды (та, в которой служил кардинал Мещофанти), отказавшая им в содержании: «страшно бояться, чтобы не довелись» русские, – сообщали Семененко и Кайсевич.

Руку помощи им подала княгиня Волконская: сыграла роль и ее религиозная ориентация и привезенное поляками письмо от ее давнего знакомого, некогда не безразличного к ней Адама Мицкевича. Под свежим впечатлением встречи Кайсевич писал 18 (30) октября: «Сама княгиня – хорошая московка и искренняя католичка и даже *сильно живущая внутри себя*. Что касается Польши, она верит, что со временем она может высвободиться из-под России, но что это не повредит великой будущности ее отечества» (курсив в оригинале!).

Руководствовалась княгиня Волконская и другим мотивом, впрочем, вполне совпадавшим с устремлениями ее гостей – она мечтала об обращении в католичество своего единственного сына Александра, которому в ту пору было 26 лет. Этой задаче поляки-миссионеры посвятили последние месяцы 1837 и начало следующего года. А затем, с благословения Зинаиды Волконской, переключили свое главное внимание на другую, более крупную цель – на Николая Васильевича Гоголя.

Первая встреча состоялась 5 (17) марта 1838 г. в городском доме княгини, в палаццо Поли, откуда все четверо направились на ее виллу.

В тот же день Семененко и Кайсевич докладывали Яньскому в Париж: «Возвращаемся от обеда у княгини и с прогулки на ее виллу в товариществе одного из наилучших современных писателей и поэтов русских – Гоголя... В разговоре он нам очень понравился. Он благородного сердца, притом молод и со временем, несколько глубже тронутый, быть может, и к *истине* не будет глух и всею душою к ней обратится. Надежду эту питает и княгиня...» Под обращением к истине подразумевается обращение к католичеству.

Через неделю, 13 (25) марта, в день Благовещения, Кайсевич, бывший также замечательным поэтом, прочитал сонет «Do M. Gogola», где призывал русского писателя открыть душу для «небесной росы», т. е. католической веры.

А потом последовал еще ряд встреч с Гоголем, и на его квартире на Страда Феличе, и в «каморке» поляков в сиротском доме,

и у Волконской. Все разговоры кружились вокруг одной темы: Россия и Польша и их взаимоотношения.

О высказываниях Гоголя мы знаем только со слов польских миссионеров. Те очень довольны русским писателем, полагая, что он идет им навстречу, разделяет их мнения. «Мы с Божьей помощью душевно очень сошлись с Гоголем. Удивительная вещь! Он говорит, что Россия – это лоза, которую отец наказывает дитя, а потом ломает...» И в другом месте: «И в даль и в ширь сошлись мы с ним в понимании... Он говорил нам обстоятельно о перемене, которая произошла в умах у русских за последние два года... Гоголь занимается русской историей. И здесь у него весьма светлые мысли. Он видит хорошо, что отсутствует начало, которое связало бы это бесформенное громадное здание. Сверху идет сила, но внутри нет духа. И каждый раз Гоголь выкрикивает: “У вас, у вас – что за жизнь, и это после потери стольких сил! Удар, который должен был вас уничтожить, вознес и оживил вас. Что за люди, что за литература, что за надежды! Это дело неслыханное”».

Как понимать подобные высказывания? По мнению одного исследователя, это всего лишь самообман; «представители католической церкви, беседуя с Гоголем, приписали ему некоторые мнения и взгляды, бывшие их задушевыми мечтами, но нисколько не увлекавшие Гоголя» [Лященко А. Об отношении Гоголя к католичеству // ЛВ. 1902. Кн. 1. С. 88]. По мнению другого, Гоголь просто «водил за нос охотившихся за ним польских монахов»; «единственная его цель была – угодить богатой и знатной княгине Волконской» [Вересаев, 1990, с. 220–221]. Такой же точки зрения придерживался другой исследователь [см.: Мочульский, с. 48]. Но еще Чижевский нашел это объяснение слишком наивным: «...почти невозможно сомневаться в том, что склонный к религиозным увлечениям Гоголь мог искать по крайней мере ответов на свои религиозные запросы у польских “patres”» [Чижевский, 1951, с. 142]. Действительно, общение Гоголя с поляками проходило на почве общего его умонастроения в эту пору.

Семенов писал о весьма критическом настрое Гоголя по отношению к России. Но об этом же говорят и прямые его высказывания, особенно в связи с гибелью Пушкина: «Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных?» и т. д. Впрочем, об этом мы уже подробно говорили. Не менее красноречиво и замечание Гоголя о прибывшей в Рим «вагате русских»: «...как несет от них казармами, – так просто мочи нет» [XI, 141]. Слово «казарма» здесь, как сегодня говорят, вполне

знаковое; это, употребляя выражение А. Кочубинского, «синоним известного образа мыслей».

Из сообщения того же Семененко следует, что Польша противопоставлялась России по главному признаку – наличию и, соответственно, отсутствию единого, объединяющего начала. Мысль о таком начале действительно давно занимала Гоголя. В статье «О средних веках» («Арабески», 1835) он в связи с этим не пожалел красок для возвеличения роли Папы. «Главный сюжет средней истории есть папа. Он – могущественный обладатель этих молодых веков, он движет всеми силами их и, как громовержец, одним мановением своим правит их судьбою» [VIII, 17]. Власть Папы обеспечила единство христианской Европы в критический период ее истории; это – как «подмостки и лес для постройки здания».

Идею объединяющей роли папы в период распада и разброда развивал и декабрист М.С. Лунин. «Во времена, когда не признавали чины и заслуги, кроме воинских, Европа была бы погружена в непрерывную войну, если бы папы, один за другим, не трудились постоянно то над сохранением мира, то над восстановлением его. Они обуздывали страсти и сдерживали непомерные притязания государей... Их легаты не жалели ни страстей, ни тягот ради того, чтобы примирить противоречивые интересы дворов...» [Лунин, с. 164].

Вместе с тем гоголевские рассуждения несколько напоминают и защиту «папизма» П.Я. Чаадаевым в его «Философических письмах», в которых католический Рим выступает как «видимый знак единства, а вместе с тем и символ воссоединения» христианства. Правда, Гоголь не распространяет значение этого «символа» на Новое время, у него роль Папы хронологически локализована. Однако у этой роли есть некий исторический урок, наставительный пример – для современности и особенно для русских, для России, где подобное единое, объединяющее начало отсутствует. Мысль о таком единстве образовала одну из констант гоголевской художественной философии; эта константа в форме как бы *негативной телеологии* (употребляем это понятие по аналогии с «негативной антропологией») вошла в основу «Ревизора» [см. подробнее: Манн, 1996, с. 169 и далее]; она в значительной мере определяла построение той книги, над которой писатель в настоящее время работал, – «Мертвые души». Вспомним хотя бы противопоставление нынешнего, раздробленного, раздираемого противоречиями и частными интересами состояния России эпохе «двенадцатого года». И вполне естественно в этом контексте, что

именно умонастроение поляков, единство их действий и мыслей вызывали у Гоголя сочувствие и интерес. Речь идет не о поддержке им конкретных политических, повстанческих, революционных целей, но об ощущении внутренней, духовной цельности как позитивного начала.

В сущности Гоголь продолжал ту критику своекорыстия, карьеризма, подлости российского общества, которая годом раньше поразила другого его польского знакомого – Юзефа Богдана Залеского...

По словам собеседников Гоголя, тот в своей оценке Польши больше всего опирался на литературу («... Что за люди, что за литература, что за надежды!»). Конечно, подразумевался в первую очередь Мицкевич. Семененко и Кайсевич сообщают, что Гоголь отзывался о Мицкевиче «с самым большим уважением»; и в другом месте, что «говорили долго» о «Пане Тадеуше». Достоверность этого сообщения подтверждается тем, что вскоре (23 апреля н. ст. 1838 г.) Гоголь напишет А. Данилевскому в Париж: «...пожалуйста, купи для <меня> новую поэму Мицкевича, удивительную вещь, Пан Тадеуш. Она продается в польской лавке...» [XI, 133]. Кроме того, предметом разговора с Гоголем служила «Небожественная комедия» Зыгмунта Красиньского; автора «Мертвых душ» это произведение могло заинтересовать тем, что здесь отчетливо ощущались традиции поэмы Данте.

Наконец, Гоголь сообщил своим польским знакомым, что читает Мерославского, что «он ему нравится, за исключением путаницы и шаржа». Тогда поляки, в свою очередь, посоветовали ему для совершенствования в языке познакомиться с творчеством Мохнацкого. Очевидно, смысл этого совета таков. Людовик Мерославский (1814–1878), участник восстания 1830–1831 гг., издал в Париже «Histoire de la revolution de Pologne» (1836–1838), которую скорее всего и читал Гоголь. Поляки же рекомендовали ему другую книгу, тоже посвященную восстанию и тоже написанную его участником – Маурицием Мохнацким (1804–1834), но на польском языке (издана также в Париже, в 1834 г.).

Любопытно и замечание Семененко о том, что «Гоголь занимается русской историей» [Кочубинский, кн. 2, с. 671]. При всей неожиданности этого свидетельства (ведь, кажется, Гоголь, давно оставил исторические труды и посвятил себя целиком «Мертвым душам») оно не единичное, во всяком случае – вписывается в определенный контекст. Ведь и Залеский, мы помним, говорил о собирании Гоголем обширной коллекции материалов

по славянскому фольклору. А 15 апреля ст. ст. 1838 г. писатель просит Н. Прокоповича достать ему «книг относит<ельно> ист<ории> славянской и русской, русских обрядов, праздников и раскольничьих сект...» [XI, 134]. Чуть позже, 23 октября того же года, А.И. Тургенев, встретивший Гоголя в Париже, записал в дневнике, что тот «пишет рус<скую> ист<орию> в политическом отношении, объясняя происхождение русских городов и пр.» [Гиллельсон, с. 138].

Семененко говорит об исторических штудиях Гоголя в русле его общих, очень импонирующих ему взглядов («здесь у него весьма светлые мысли»). Значит, даже если Гоголь в действительности и не писал упомянутой «истории», рассуждал он на соответствующие темы столь подробно и заинтересованно, что у собеседников могло возникнуть твердое убеждение: такая работа пишется...

Между тем реальная история, затеявшаяся интрига – с обращением Гоголя в католичество – постепенно сошла на нет. 6 (18) мая 1838 г. Волконская отправилась в длительную поездку, в Париж, позднее в Россию. Гоголь продолжает встречаться с поляками. Но вскоре, в июле того же года, и он оставляет Рим, вернувшись сюда лишь в октябре. Исследователь «католического эпизода» полагает, что «общение между обоими помощниками княгини Зинаиды и Гоголем и после продолжалось, но уже менее близкое...» [Кочубинский, кн. 2, с. 672]. Решительного шага Гоголь не сделал, католичества так и не принял. Спрашивается: почему?

Прежде всего именно в силу того убеждения, которое он высказал матери еще в декабре 1837 г., до встречи с поляками: «Потому что как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую». Кроме того, принять католичество из рук поляков, эмигрантов или, во всяком случае, под их влиянием – значит сделать не только религиозный, но и общественный, политический шаг. Такой шаг мог показаться Гоголю чрезмерным. Одно дело – без предубеждений, сочувственно относиться к борьбе поляков, глубоко ценить те объединительные духовные и религиозные начала, которые она выражает и которых, увы, недостает России; другое дело – открыто встать на сторону официального противника. Гоголь и так позволил себе многое, гораздо больше, чем чиновники Ватикана, боявшиеся действий российской власти, а ведь он был подданным этой власти!

Гоголь отлично сознавал нелегальное положение людей, с которыми вступал в отношения; те сообщали, например, что, доставая для них книги у священника русского посольства, он брал их якобы для себя: Гоголь «предупрежден о нашем положении (т. е. иллегальном – пояснение Кочубинского. – Ю. М.), а сам он, как замечено, благородной души». Добавим, что благородство свое Гоголь продемонстрировал не впервые: еще будучи учеником нежинской Гимназии высших наук, он старался, не в пример некоторым своим товарищам, дать такие показания по «делу о вольнодумстве», которые бы не повредили ни Белоусову, ни другим обвиняемым профессорам...

Об осторожности и предусмотрительности Гоголя свидетельствует и факт, отмеченный исследователем «католического эпизода»: ни в одном из писем этой поры, даже к таким близким друзьям, как Данилевский или Прокопович, он не проронил «ни ползвуха, ни малейшего намека о таких, во всяком случае близких знакомых поэта, как молодые Семененко и Кайсевич» [Там же. С. 675]. Лишь однажды, сообщая об отъезде княгини Волконской, которая «услуждала» его «время пребывания в Риме», Гоголь добавил: «У меня теперь в городе немного таких знакомых, с которыми любила беседовать моя душа» [XI, 153].

Но дальше душеспасительных бесед, повторяю, дело не пошло. Конечно, отнюдь не в силу каких-либо внешних, как сегодня говорят, конъюнктурных причин не совершил Гоголь решающего шага, но по глубокому внутреннему самоощущению, как религиозному и общественному, о чем уже говорилось, так и писательскому, «профессиональному».

Во времена Гоголя переход в католичество находящихся в Риме русских был явлением не редким. Приняли католичество секретари русского посольства князь Федор Голицын и граф Штакельберг. Сам посланник И.А. Потемкин, у которого жена была католичка, получил выговор. «Кто знает, – писал по этому поводу тот же Семененко, – не сделает ли в конце концов того же шага и сам Потемкин, раз он впал в немилость». И действительно, такой шаг Потемкин впоследствии сделал...

Но то все были чиновники, хотя и высокого ранга. А Гоголь был русским писателем. И таковым он хотел остаться до конца (см. также: *Вайскопф М.* Полонофильство и полонофобия // *Вайскопф*, 2002, с. 291–292).

Зато поддержку своей позиции Гоголь мог встретить у А.О. Смирновой-Россет, которую также склоняли к переходу в католицизм

во и также безрезультатно. Почин исходил от графа Родольфа де Местра, сына Жозефа де Местра. Де Местр-младший был губернатором в Ницце, и, по словам Ольги Смирновой, Александра Осиповна «очень сблизилась со всем его семейством» [РС, 1888, № 6, с. 599]. Об устремлениях Жозефа де Местра свидетельствовала и сама Смирнова-Россет: «Граф де Местр, тогдашний Генерал-губернатор, истинно хороший христианин, но фанатик, как и его отец Иосиф де Местр, наделавший столько шума в нашем петербургском обществе обращением или совращением...» [Смирнова, 1989, с. 239]. Попытке обращения Александры Осиповны в католичество содействовала и Зинаида Волконская, и как и в случае с Гоголем – неудачно. Смирнова-Россет «не поддавалась на это, хотя уважала все, что есть хорошего в католиках...» [РС, 1888, № 6, с. 599]. Снова напрашивается аналогия с Гоголем...

Общение с поляками и – шире – римский опыт Гоголя не прошли бесследными для его творчества, особенно при переработке «Тараса Бульбы». Подробный разбор этого произведения (равно как и других гоголевских художественных текстов) – не в русле настоящего исследования. Нас интересует лишь то, как преломился здесь «католический эпизод»⁶⁹.

Среди новых сцен, введенных во вторую редакцию повести (опубликована во втором томе «Сочинений Николая Гоголя». СПб., 1842), – сцена в монастыре в осажденном запорожцами городе Дубно. Андрий вместе с татаркой пробирается земляным коридором: блеск лампы высветляет «свежее, кипящее здоровьем и юностью, прекрасное лицо *рыцаря*». Подчеркнутое нами слово полно смысла, воскрешая в сознании рыцарство как нравственно-эстетическое явление.

Обычно если это слово и применялось к запорожцам (Тарас желает сыновьям защищать «всегда честь лыцарскую»; после измены Андрия повествователь говорит, что тот «пропал для всего козацкого рыцарства» и т. д.), то лишь в значении воинской отваги, верности козацкому долгу и в связи с этим отвращения к «нежебе». Но в настоящем случае важно именно чувство к женщине, любовь, переживаемая с той полнотой и напряженностью, которые в европейском культурном сознании связывались именно со Средними веками, «средневековым романтизмом», с рыцарством. Андрий пробирается к «даме сердца» как рыцарь, и затем семантика рыцарства будет сопровождать его свидание с полячкой. Красавица говорит, что все «шляхетство», «все что ни есть цвет нашего

рыцарства» домогалась ее любви, а она «мимо лучших витязей» причаровала сердце «к чуждому, к врагу нашему». Андрий же, в свою очередь, сожалеет, что не может говорить полячке о своей любви так, как говорят в тех краях, «где бывают короли, князья и все, что ни есть лучшего в вельможном *рыцарстве*».

Россия не имела своих Средних веков, своего рыцарства (тоже излюбленный тезис общественного сознания гоголевской эпохи, на этот раз – русского сознания), а Польша как страна западная и католическая – имела; поэтому переход Андрия на сторону противника не может быть интерпретирован в тривиальном смысле измены и предательства; это точка зрения запорожцев, но не повести в целом. Поступок Андрия сложно-трагически соотнесен с «коллективистской» идеологией «козацкого рыцарства», не признающей права сердца со всеми его тонкими движениями, таинственной жизнью духа и непререкаемостью индивидуального выбора.

Переживание любви неразрывно связано с другим – непосредственно религиозным. Все дальнейшее течение упомянутой сцены в монастыре привязано к восприятию Андрия. Это значит, что вводится точка зрения человека, для которого католик – нечто вроде супостата. И что же видит и переживает такой человек? «Он с любопытством рассматривал сии земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры». Костел вызывает ассоциации с Киево-Печерским монастырем, цитаделью православия, а затем Андрий и вовсе делает открытие, перечеркивающее всю религиозную догматику его единоверцев: «Видно, и здесь также были святые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений». Гоголевский персонаж словно приближается к мысли самого автора о том, что «как религия наша, так и католическая, совершенно одно и то же...»

Дальнейшее развитие сцены в костеле: Андрий «неволью остановился при виде католического монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в козаках, поступавших с ними бесчеловечней, чем с жидами. Монах тоже несколько отступил назад, увидев запорожского козака, но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило». Тут очень характерно сходство движений с обеих сторон, Андрия и католического монаха, а именно – взаимного отчуждения и его постепенного преодоления; характерно и наречие «бесчеловечней»: будучи формально авторским словом, оно опять-таки привязано к восприятию Андрия, оформляет его внезапно прозревшее ощущение творимых запорожцами жестокостей.

Следуют описания молящихся – паствы и священника. «Он молился о ниспослании чуда: о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, о удалении искушителя, нашептывающего ропот и малодушный, робкий плач на земные несчастья». Уже отмечалась (В. Шенроком) связь этого описания с соответствующим местом из письма к М.П. Балабиной, рисующим его, гоголевские, переживания в католическом храме (см. наст. издание, с. 178–179). Вся эта гамма религиозных ощущений передана в «Тарасе Бульбе» «врагам», раскрывая их внутренний мир с человеческой стороны, вызывающей и понимание и сочувствие.

Увенчиваются же переживания Андрия в костеле ощущением внезапного «чуда», создаваемого «розовым румянцем утра», «сиянием» вокруг алтаря и, наконец, «величественным ревом органа». «Он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые грохоты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминая тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые ропоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке».

Еще в статье «Скульптура, живопись и музыка» («Арабески», 1835) Гоголь описывал потрясающее действие органной музыки «под бесконечными, темными сводами катедраля, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремится она в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несется с ними горе, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук, трепещущий в углублении остроконечной башни». Это было написано по личным впечатлениям, испытанным Гоголем во время его первого путешествия за границу в августе–сентябре 1829 г., в Любеке или Гамбурге. Теперь у Гоголя был более богатый опыт знакомства с западноевропейскими, прежде всего католическими, храмами, – опыт, который еще более обострил ощущение объединяющей, суггестивной силы религиозного переживания. В этом переживании свободно соединяются сокровенные движения сердца и деятельная воля, индивидуально-тонкие ощущения (замечательно различие в реве органа звуков, напомиавших «тонкие девичьи голоса»!) и общенациональное чувство. Но именно такое соединение, по словам Семененко, привлекало внимание Гоголя к польской жизни, контрастирующей с положением вещей в России («с веру идет сила, но внутри нет духа»).

Г.П. Федотов отмечал: «Гоголь дал в “Тарасе Бульбе” ликующее описание еврейского погрома. Это свидетельствует, конечно, об известных провалах его нравственного чувства, но также о силе национальной или шовинистической традиции, которая за ним стояла». Это высказывание замечательного русского мыслителя требует комментария. Гоголь, конечно, не мог превращать своих героев-запорожцев в выразителей идей Просвещения или носителей гуманистического идеала; ощущение исторической дистанции достаточно отчетливо выдержано повествованием, локализирующим проявления жестокости и невежества определенными обстоятельствами и временем. Однако вывод Федотова обоснован, поскольку еврейская масса в повести, начиная с Янкеля и кончая какими-нибудь Шлемой и Шмулем, изображена главным образом, если не всецело, с точки зрения козаков; все человеческое, теплое, сердечное, могущее вызвать сочувствие исключено из этого изображения. Не то – изображение поляков; тут и «традиция», о которой упоминает Федотов, была другая и личный опыт Гоголя, прежде всего заграничный, иной.

Владимир Солоухин даже утверждал, что у Гоголя была тайная любовь к полякам⁷⁰. Во-первых, как мы видели, не такая уж тайная. А во-вторых, это чувство следует понимать гораздо шире – в русле гоголевского восприятия западного европеизма и католицизма, заключавших в себе перспективное начало и индивидуализации человеческих чувств, и их объединения в одно целое^{70а}.

Порождение «свирепого века»

Но никакие национальные предрассудки и традиции не могли заставить Гоголя отступить от исторической правды. Пусть евреи малодушны, робки, корыстолюбивы, но у них нет и не может быть и следа той жестокости, которые проявляют другие, прежде всего запорожцы, к тем же евреям.

Вот распространили слух (не без умысла), что евреи берут в аренду христианские церкви.

Зашумели запорожцы и почуяли свои силы. Тут уже не было волнений легкомысленного народа: волновались все характеры тяжелые и крепкие,

которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили в себе внутренний жар.

– Перевешать всю жидову! – раздалось из толпы <...>

Жидов расхватили по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе.

Действительно, забавно...

Кстати, как писал историк еще в начале XX в., «до сих пор не найдено ни одного документального доказательства аренды церкви евреям» [Каманин, с. 106].

Но вот другая расправа и над другими людьми – поляков над запорожцами, в частности над Остапом: «Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки и...» Тут повествователь расставляет все по местам, давая понять, как надо оценивать эту жестокость сегодня:

Но не будем смущать читателя картиной адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волосы. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Напрасно некоторые, немногие, бывшие исключением из века, являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно король и многие рыцари, просвещенные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение казацкой нации.

Так и получилось, – и вот следует еще одна, едва ли не самая душераздирающая сцена расправы; на сей раз ее учиняют борцы за веру, ревнители православия и его чистоты.

Ничего не жалейте! – повторял только Тарас. Не уважили козаки чернобровых паненок, белокурых, светлоликих девиц... Не одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвинулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя.

Эмоциональная окраска этого действия очевидна (трава, поникшая «от жалости», подвинувшаяся «сырая земля»), хотя она очень скупа и поэтому порою не мешала делать выводы (которые звучат до сих пор!) в пользу одной стороны – мстящих, разгулявшихся козаков.

Тем более что в финале второй редакции повести звучит памятное всем патетическое пророчество казнимого Тараса: «...будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чувствуют дальние и близкие народы: подымется из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!» И далее – уже от самого повествователя: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!»

Возвращаясь к еврейской теме, заметим, что у Гоголя, кажется, не было личного «негативного» опыта по этой части. Письма Гоголя не содержат каких-нибудь, как выражается исследователь, «субстанциальных» высказываний о евреях [Амберг, 1986, с. 73], хотя юдофобские традиции, щедро возросшие на польской и украинской почве, ему были, конечно, хорошо знакомы.

За границей Гоголь имел дело с евреями-банкирами, например в Ницце с Авикдором (Ю. Авигдором), который располагался на piazza Vittorio. «Впрочем, его знает вся Ниц[ц]а», – писал Гоголь 2 декабря н. ст. 1843 г. Жуковскому, по поводу присылки денег. «Притом, как бы ни написали вы адрес, – добавляет Гоголь в письме от 8 ноября н. ст. 1844 г., – письмо дошло бы непременно куда следует. К жиду деньги всегда дойдут: они еще со времен Иуды знают своего господина...» [XII, 240, 245]. Собственно, ничего особенно оскорбительного гоголевское замечание не содержит: это было общее место. Скорее даже здесь прозвучала похвала – деловой надежности Авикдора.

В характеристике отношения к евреям других народов Гоголь верен исторической правде, господствующим нравам – запорожцы здесь только отдельный случай. Что послужило последней каплей, переполнившей их терпение? Слова Янкеля: «...католиков мы и знать не хотим... Мы с запорожцами как *братья родные*...» Те, кого считают изгоями, нелюдьми, набиваются в родство к самим козакам!.. «Как? Чтобы запорожцы были с вами братья? – произнес один из толпы. – Не дождетесь, проклятые жида! В Днепр их, панове! Всех потопить, поганцев!»

И психологический облик Янкеля и его соплеменников, их манера поведения, корысть или трусость («...Бедные сыны Израиля, потерявшие все присутствие своего и без того мелкого духа») – все определялось условиями и духом времени, далеким от гуманизма. Говоря конкретно, «*жидовская трусость*», клишированная здесь [в «Тарасе Бульбе»], была производной от реальной забитости еврейской массы, подвергавшейся повседневному

духовному, административному и физическому террору; но, кроме того, она была прозрачной аллюзией и на библейское проклятье (за неисполнение законов Торы), сопряженное с изгнанием на чужбину...» [Вайскопф, 2008, с. 152].

Кстати, как подчеркивает тот же исследователь, само имя Янкель – знаковое и собирательное, – «это просто идишизированная [т. е. переданная на идише] форма имени Иаков. Тем самым гоголевский “жид” олицетворяет весь *народ Израиля*».

Гоголевский подход к данной теме несвободен от некоторой двойственности. С одной стороны, «чертов жид в сознании Тараса синонимичен *чертову Иуде и христубийце*... а также сатане. Янкель не просто негативно характеризуется с их помощью... а буквально отождествляется с этими именами, придающими ему демоничность» [Кривонос, 2003, с. 32; курсив в оригинале].

Но с другой стороны, в истории этого же народа Гоголь отдает полную меру восхищения ветхозаветной эпохе, возводя к ее традициям лирического одушевления русской поэзии. «Как же ты хочешь, – обращается он к Жуковскому, – чтобы лиризм наших поэтов, которые слышали полное определение царя в книгах Ветхого завета и которые в то же время так близко видели волю Бога на всех событиях в нашем отечестве, – как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов не был исполнен библейских отголосков?» («О лиризме наших поэтов»; статья вошла в «Выбранные места...» [VIII, 251]).

А вот еще один пассаж о библейской традиции – в картине Александра Иванова «Явление Мессии»: «Самые лица получили свое типическое, согласно Евангелию, сходство и с тем вместе сходство еврейское. Вдруг слышишь по лицам, в какой земле происходит дело. Иванов повсюду ездил нарочно изучать для этого еврейские лица» [VIII, 331]. «Происходит дело» в новозаветную эпоху, но еврейские лица, которые ездил изучать художник – современные, и Гоголь, разумеется, считает это его величайшим достоинством.

Под неаполитанским небом

Но вернемся к хронологии гоголевской биографии. Еще до первого приезда в Италию, в Париже, писатель вместе с Данилевским мечтал добраться до Неаполя.



Неаполь
Картина С. Щедрина

Вообще говоря, Неаполь служил почти обязательным пунктом программы русских путешественников. Здесь еще до Гоголя жил Шевырев; впоследствии сюда наведуются Золотарев, Погодин, тот же Шевырев, художник Айвазовский, наследник престола Александр...

От путешествия в Неаполь, на юг Италии, Гоголя прежде удерживала боязнь жары. Но к лету 1838 г. он чувствовал себя сносно и решил отправиться в путь. Выехал в начале июля; 30-го числа уже писал матери из Неаполя, что перемена места не оказала на него никакого плохого действия, что он даже не потеет и не устаёт, впрочем, может быть, оттого, что мало двигается.

Вид Неаполя поразил Гоголя – и море, «голубое как небо»; и «лиловые и розовые горы»; и дома с гладкими, «как платформа», крышами, на которых по вечерам сидят или прохаживаются люди; но особенно виднеющийся вдали Везувий, который только-только пробудился от спячки.

Спектакль удивительный! Вообразите себе огромный фейерверк, который не перестает ни на минуту... Громы, выстрелы и летящие из

глубины его раскаленные красные камни, все это – прелесть! Еще четыре дня назад можно было подыматься на самую его вершину и смотреть в его ужасное отверстие. Теперь нельзя. Доходят только до половины... [XI, 163–164].

Сам Гоголь, кажется, на Везувий не взбирался, но на месте все же не сидел. Побывал на Капри, где посетил знаменитый голубой грот. Трудно представить себе, чтобы он не посетил также и Помпею, где с 1820-х годов велись планомерные раскопки. Летом 1829 г. здесь бродил Шевырев, описавший это событие в очередном своем итальянском письме: «Прогулка русского путешественника по Помпее...» [МВ. 1830. № 1, 2].

Гоголь упомянет Помпею лишь однажды, в более позднем московском письме, от 30 марта 1849 г., сравнивая ее с «Домостроем»: «как по развалинам Помпеи древний мир» открывается, так в «Домострое» «обнаруживается с подробнейшей подробностью вся древняя жизнь России» [XIV, 110].

Некоторое время Гоголь проживал не в самом Неаполе, а в маленьком местечке недалеко от города – Кастеллеламаре. Здесь в ту пору находились Репнины, знакомые Гоголю еще по Баден-Бадену, а потом по Риму. В двух дачах разместилось многочисленное их семейство: родители – князь Николай Григорьевич и княгиня Варвара Алексеевна – и трое детей. Двое из них, Василий Николаевич и Елизавета Николаевна, также жили семейно (последняя была замужем за Павлом Ивановичем Кривцовым, секретарем русского посольства в Риме, впоследствии попечителем колонии русских художников), а незамужняя Варвара Николаевна проживала вместе со своей хорошей знакомой Глафирой Ивановной Дуниной-Барковской. После отъезда Василия Николаевича Гоголь поселился на его даче; при этом он часто заходил и к Варваре Николаевне. Обедал Гоголь также у Репниных. В их дом был еще вхож молодой архитектор и искусствовед Дмитрий Егорович Ефимов, с которым Гоголь, по воспоминаниям Варвары Николаевны, «постоянно спорил». Как мы помним, он был знаком с Ефимовым еще по Риму.

Увы, надежды Гоголя, что в Неаполе он будет себя чувствовать сносно, не оправдались. «Недуг, для которого я уехал и который было, казалось, облегчился, теперь усилился вновь. Моя геморроидальная болезнь вся обратилась в желудок», – писал он Погодину. Жаловался он и Репниным, не стесняясь присутствия дам. «...Мы постоянно слышали, как он описывает свои недуги;

мы жили в его желудке» [РА. 1890. № 10. С. 228], – вспоминает Варвара Николаевна.

Преодолевая недомогание, Гоголь продолжает работу над «Мертвыми душами» и первые главы поэмы читает Репниным (Варвара Николаевна, запомняв, писала, что это был второй том, но Гоголь к нему тогда еще не приступил). Занимают его и другие планы (из того же письма Погодину: «О, друг! какие существуют великие сюжеты») – по-видимому, обширное историко-политическое сочинение, о котором шла речь в Риме. Но, может быть, от этого замысла уже отпочковалась идея будущей драмы из украинской истории.

В Неаполе Гоголь узнал о том, что Данилевский в Париже стал жертвой жульнических махинаций и сидит совершенно без денег. Гоголь тотчас же решил прийти на помощь: просит у Погодина вексель на две тысячи рублей, договаривается о переводе через банкира Валентини большей части этой суммы в Париж, для чего выспрашивает у Варвары Николаевны Репниной поручительство ее влиятельного родственника Кривцова... Обращает на себя внимание, что ни Погодину, ни Репниной Гоголь ни слова не сказал, что помогает другу, сославшись лишь на то, что деньги ему нужны – «вследствии полученных мною разных известий». Позы благородного выручателя Гоголь избегает. Позднее такую же тактику он применит, помогая студентам.

Поездка в Париж

Гоголь предполагал после полуторамесячного пребывания в Неаполе вернуться в Рим. Но известие, что Данилевский в Париже, меняет его планы. 28 августа н. ст. он уже в Ливорно; затем морским путем добирается до Марселя. В сентябре – Гоголь в Париже, с Данилевским.

Из Парижа Гоголь отправляет взволнованное письмо княжне Репниной. Благодарит, что она помогла ему «принести облегчение в горе» другому человеку (имя Данилевского не упоминается), и сожалеет, что в Неаполе был перед нею «скучен» и произносил «косноязычные речи»: «...я глядел на вас благоговейно, как благочестивый пилигрим глядит на святыню, но я довольствовался тем,

что приносил вам жертву безмолвно в сердечной глубине моей» [XI, 172]. Гоголь заговорил чуть ли не пушкинскими словами («...перед *святыней* красоты», «я вас любил *безмолвно*...» и т. д.)...

В Париже Гоголь снова встретился с А.И. Тургеневым (предыдущая их встреча – годом раньше во Франкфурте-на-Майне). 23 октября Гоголь был у него в гостях, говорил о своей привязанности к Италии («полюбил Италию и хочет умереть там»), читал привезенные с собою стихи Зинаиды Волконской на пожар Зимнего дворца, к тому времени еще не опубликованные. Чем могло привлечь гоголевское внимание это стихотворение – «Песнь Невская. 1837»?

Выгорел Зимний дворец, детище итальянца Варфоломея Растрелли. Здание реставрируют, перестраивают. И вот возникает параллель к строительству другого «здания» – русской поэзии.

А искусство у нас ведь привозный цвет;
Хоть привозный цвет, да сроднился он
С почвой Русскою, с Русским разумом.
Грудь ее уж полна семян собственных.
Ах расти, южный цвет, ты на Севере!
Ты в теплице цвети, как на солнышке!
И туда ведь глядит оно ясное,
Ветер ласковый, сила южная,
Благодатная роса райская!

[РА.1872. [Без указания тома]. С. 1979–1982]⁷¹.

Стихотворение отвечает собственно гоголевскому состоянию, в котором совершался его труд, – атмосфере благодатного и ласкового тепла. Но близок автору «Мертвых душ» и другой оттенок смысла: хоть и сильны в его творении, как в русском искусстве в целом, заемные «южные» импульсы (один Данте чего стоит!), но они органически укоренились в русской почве, производя нечто неповторимо оригинальное и самобытное.

После Волконской Гоголь обещал на следующий день прочитать «что-то» свое. Это были «Мертвые души». 24 октября Тургенев записал в дневнике свои впечатления: «Верная, живая картина России, нашего чиновного, дворянского быта, нашей государственной и частной, помещичьей нравственности... Характеры, язык, вся жизнь помещиков, чиновников: все тут; и смешно и больно!» [цит. по: Гиллельсон, с. 138].

Тургеневу было свойственно восприятие российских событий, общественных и литературных, в критическом духе, что, надо сказать, находило отклик в душе Гоголя. Год назад под влиянием тургеневского рассказа об обстоятельствах гибели Пушкина Гоголь написал горькие слова о России [см. наст. издание, с. 160 и далее]. Теперь, в унисон с Тургеневым, писатель скажет о том, что ему для продолжения его труда необходимо «гневное расположение» «на мою любезную Россию», ибо, «только рассердившись, говорится правда» (письмо от 7 ноября н. ст. 1838 г. [XI, 182]).

Во время визита Гоголя к Тургеневу «пришел к<нязь> Голиц<ын> – очевидно, Федор Федорович Голицын (1794–1854), чиновник русского посольства в Париже, – и хозяин познакомил его с писателем» [Гиллельсон, с. 138]. Но продолжать чтение поэмы в присутствии нового человека Гоголь, по-видимому, не стал.

Неизвестно вообще, читал ли Гоголь кому-нибудь еще главы из «Мертвых душ», но весть о новом его произведении мгновенно распространилась в кругу русских. Буквально вечером того же дня, 24 октября, Тургенев посетил салон С.П. Свечиной: «... там одни русские: Голицын, два Гагарина, Полуктова, дочь ее». Говорили «много о романе Гоголя» [Там же].

Потекли от Тургенева сведения о «Мертвых душах» и в Россию, в провинцию. 25 октября он «описал роман Гоголя» своему двоюродному брату Ивану Семеновичу Аржевитинову, жившему в Симбирске. В тот же день, кстати, Тургенев нанес ответный визит Гоголю.

Это значит, что Гоголь изменил свой первоначальный план пробыть в Париже «не более недели» [XI, 172] и прожил здесь более месяца. По-видимому, встретив не только Данилевского, но и других земляков, он решил устроить себе небольшие каникулы. Среди этих земляков – Константин Андреевич Квитка, племянник известного писателя, окончивший нежинскую Гимназию высших наук в 1831 г., тремя годами позже Гоголя, и занимавший должность судьи в Лубнах [Лицей. 1881. Отд. II. С. СXXXIV]. Затем – Межаковы, вологодские помещики; старший из них был предводителем дворянства в Вологде. И еще Мантейфель и Аполлон Илларионович Козлов, брат Николая Илларионовича, впоследствии известного врача, доктора медицины и профессора [Шенрок, т. 3, с. 203; гоголевский биограф указывает, что сведения об этих лицах получены им от А.С. Данилевского].

Уже покинув Париж, 28 октября⁷², из Лиона Гоголь с удовольствием вспоминает о совместной жизни во французской сто-

лице, прибегая к знакомой нам озорной символике: рестораны – это «храмы», официанты и слуги – «жрецы», процесс поглощения пищи – «богослужение»...

Гоголь жалел, что выбрал в Италию путь через Лион, минуя Швейцарию: в Женеве он мог бы вновь, в третий раз, встретиться «с вдохновенным Мицкевичем, что мне представляло не мало удовольств<ия>» [XI, 173].

Третье «чтение» Италии

В первых числах ноября 1838 г. Гоголь опять в Риме. Ему предстояло прожить здесь зиму и весну – до начала июня следующего года.

Италия вновь ослепила его «потокм света», а собор Святого Петра показался больше обычного, его купол вырос и раздвинулся.

Гоголь – в своей обжитой квартире на Via Felice, 126. Очередная приходская книга (за 1839 г.) сообщает, кто был его соседями: на нижнем этаже среди прочих – сапожник; на первом этаже – некий испанский князь; на втором – владелец недвижимости; на третьем (напомним, это этаж Гоголя) – среди других два иностранца «с подозрением, католики ли они», «один поляк [?] Г [?]». Имя Гоголя опять не попало в приходскую книгу, но возможно, он подразумевается под литерой Г, т. е. G [Гасперович, с. 90].

Если же расширить взгляд до перспективы улицы, района, то и здесь виды привычные. «Те же самые знакомые лица вокруг меня, те же немецкие художники с узеньки<ми> рыженькими бородками и те же козлы, тоже с узенькими бородками; те же разговоры и о том <же> говорят, высунувшись из окоп, мои соседки. Так же раздаются крики и лепетания Анунциат, Роз, Дынд, Нанн и других...» [XI, 197].

Но, к удивлению своему, Гоголь вдруг почувствовал, что на этот раз ему труднее «приладить» себя к итальянской жизни. Может быть, потому, что лучшее уже позади. «Рим мне кажется теперь похожим на дом, в котором мы провели когда-то лучшее время нашей жизни и в который теперь приезжаем и находим, что дом продан; из окон выглядывают какие-то глупые лица новых хозяев... словом, грустно» [XI, 184]. А может быть, потому, что

вообще уже притупились чувства и наступает... старость! «Мы приближаемся с тобою, – пишет Гоголь Данилевскому, своему ровеснику, – (высшие силы! какая это тоска!) к тем летам, когда уходят на дно глубже наши живые впечатления и когда наши ослабевающие, деревянеющие силы, увы, часто не в силах вызвать их в наружу...» [XI, 196]. Что же это за возраст? «Роковые 30 лет»... Рубеж этот настолько сильно запечатлется в сознании Гоголя, что он вернется к нему спустя почти десять лет в одной из статей «Выбранных мест...»: «По обыкновенному, естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в тридцать лет. От тридцати до сорока еще кое-как идут вперед его силы; дальше же этого срока в нем ничто не продвигается...» [VIII, 264].

Не один Гоголь – многие его соотечественники болезненно переживали именно 30-летний рубеж. «Мне уж скоро тридцать лет, а никто меня не любит...» – жаловался Иван Ключников, поэт из кружка Николая Станкевича. Другой поэт из того же кружка Василий Красов писал Белинскому: «Не забыл ли ты, любезный Камрад [товарищ – нем.], что нам уже с тобою по 30 лет? <...> Прокипела наша горячая молодость и выкипела чуть ли не до дна. Но что ж делать. Всему есть свой черед». Может быть, они помнили фразу из «Евгения Онегина»: «Ужель мне скоро тридцать лет?»...

В свете гоголевского ощущения «рубежа» проясняется смысл одной его шуточной заметки, ставшей известной сравнительно недавно благодаря публикации Романа Якобсона и Баяры Арутюновой. Говорю о записи в альбом Марии Власовой – эта запись по ее расположению среди других датируется 1837–1839 гг. Но вначале – о самой владелице альбома.

Мария Александровна Власова (1787–1857), урожденная княжна Белосельская-Белозерская, имевшая также другое имя – Мария Магдалена или Мадлена, была старшей сестрой Зинаиды Волконской. После смерти мужа камергера А.С. Власова (1825) она жила с сестрой, сопровождала ее в поездке в Италию и осталась здесь навсегда (обе сестры найдут последнее пристанище в церкви San Vincenzo ed Anastasio возле фонтана Треви).

Мария Власова была доброй и отзывчивой женщиной, но в отличие от своей сестры не выделялась умом и сообразительностью, что побуждало Гоголя к розыгрышам и шуткам. По словам гоголевского биографа, восходящим, очевидно, к свидетельству Варвары Николаевны Репниной, писатель «добродушно подсмеивался» над Власовой и «как юморист любил копировать» ее [Шенрок, т. 3, с. 210]. Однако в записи, сделанной в упомянутом

альбоме, Гоголь подтрунивает не столько над Марией Александровной, сколько над самим собою.

Как ни глуп Индейской петух, как ни глуп Руской, выехавший за границу и жалеющий что при нем нет крепостного человека, как ни глупы Фрак и Мундир, два глупейших произведения XIX века; – но вряд ли они все вместе глупее моей головы. Ничего решительно не могу Вам из нее выкопать, Марья Александровна! Чепуха и дичь в ней такая как в Руском губернском городе; а бестолково как в комнате хозяина на другой день после заданной им вечеринки, которою он сам был недоволен, над которою потрунили вдоволь гости и после которой ему остались только: битая посуда, нечистота на полу и заспанные рожи его лакеев. –

Вот что должен сказать вам, хотевший бы сказать чтонибудь хорошее, и весьма благодарный вам за Ваше расположение

Гоголь

(Якобсон, Арутюнова; с. 236; сохраняется орфография оригинала. – Ю. М.).

Сквозная идея этого пассажа та же, что и в упомянутом выше письме Данилевскому, – о слабеющих силах души, отвердевающей коре, сквозь которую все труднее пробиться мысли и чувству. Идея глубоко личная, выстраданная, впрочем, находившая в это время и позже отражение и в художественных текстах, в «Мертвых душах» прежде всего. «Чепуха и дичь» в альбомной записи воскрешают в памяти пустынную и невыразительность российских пространств, «чушь и дичь по обшим сторонам дороги» (отмечено Р. Якобсоном и Б. Арутюновой); ощущение неловкости и недовольства собою заставляет вспомнить состояние Чичикова после происшествия на балу: «Неприятно, смутно было у него на сердце, какая-то тягостная пустота оставалась там».

А упоминание глупого русского, выехавшего за границу без крепостного человека, отражает личный опыт общения с отечественными путешественниками, с которыми Гоголь самокритично на некоторое время готов себя отождествить.

Теперь Гоголя больше, чем раньше, раздражают русские путешественники в Риме – своим невежеством и ограниченностью. Один из них, некто Б-ский (очевидно, Базилевский [см.: Шенрок, т. 3, с. 209]), оказавшись в соборе Святого Петра, спросил у чичероне: «А где же Павел? Ведь тут и Павел должен быть». Любопытного путешественника попутало название Петропавловской крепости в Петербурге...

И притом еще приезжие русские, по словам Гоголя, очень недовольны были Римом «за то, что в нем нет отелей и магазинов, таких как в Париже, и кардиналы не дают балов» [XI, 194].

С темой «русские в Италии» связан один любопытный и малоизвестный эпизод гоголевской творческой биографии. 2 декабря 1844 г. Н. Иваницкий записал: «Теперь у нас один Гоголь... Вот писатель! Вчера Краевский говорил, что Гоголь написал путевые записки Русского генерала в Италии. За одну тему уже стоит расцеловать Гоголя. Этот предмет до того исполнен комизма, что, право, кажется не может быть ничего лучшего. Что может быть глупее русского генерала? Но здесь этот народ, можно сказать, в своем стойле; а что ж он в Италии, среди памятников искусства? Умереть со смеху!» [Щукинский сборник. VIII. М., 1909. С. 324]. Трудно сказать, на самом деле Гоголь написал такое произведение или сведения о нем восходят к какому-нибудь устному рассказу, но очевидно, что этот «сюжет» действительно гоголевский, дающий простор его фантазии, комизму, сарказму. В связь с этим «сюжетом» следует поставить содержащееся в первой главе «Мертвых душ» беглое замечание о странных картинах вроде нимфы с «такими огромными грудями, какие читатель, верно, никогда не видывал». «Подобная игра природы», оказывается, случается на тех картинах, которые привезены «нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров». Путешествующий по Италии генерал, возможно, сродни этим вельможам...

В поисках рассеяния и взаимопонимания Гоголь заочно беседует со старыми друзьями – пишет Данилевскому в Париж, Марии Петровне Балабиной в Петербург, княжне Варваре Николаевне в Пизу.

Его тон беседы с Балабиной по-прежнему дружественно шуточный. Гоголь передает разные любовные истории, случившиеся в Риме; но касается и предметов вполне серьезных, например высказывает свое мнение (сугубо отрицательное) об «Истории Франции» Жюль Мишле и «Истории русского народа» Николая Полевого. Оба труда Гоголь, очевидно, вспомнил в связи с работой над собственным историческим сочинением.

В первые же недели римской жизни писатель принимается за доработку «Ревизора», обдумывает, а может быть, уже и пишет драматические сцены, основанные на материале незаконченного «Владимира 3-ей степени», т. е. «Тяжбу», «Лакейскую» и «Отрывок».



В.А. Жуковский
Акварель К. Брюллова. 30-е годы XIX в.

К концу 1838 – началу 1839 г. в Рим нахлынула ватага русских: Шевырев с женой, Жуковский, историк и археолог Александр Дмитриевич Чертков и его жена Елизавета Григорьевна, позднее Погодин с женою... Особенно обрадовал Гоголя приезд Жуковского, который прибыл в Рим 4 (16) декабря в свите великого князя наследника Александра Николаевича.

Остановились оба на Piazza S-ti Apostoli, palazzo Scacciapiatti, 42 [Боткин М., с. 149].

Жуковский известил Гоголя о своем приезде запиской, и тот еле дождался условленного часа. «Свидание наше было очень трогательно. Первое имя, произнесенное нами, было: Пушкин. Поныне чело его [Жуковского] облекается грустью при мысли об этой утрате» [XI, 195].

Через день, 6 (18) декабря великий князь устроил обед для «всех русских»; в числе приглашенных был, кажется, и Гоголь [ср.: XI, 192].

А потом последовала длинная череда визитов, встреч, осмотров, выездов за город; и почти всегда Жуковского сопровождал Гоголь. Для него началась пора интенсивного общения и с итальянцами и с соотечественниками.

В дневнике Жуковского отмечено, что 7 (19) декабря он был у итальянского скульптора Пьетро Генерани и у немецкого художника Фридриха Овербека. Потом – у русского художника Федора Антоновича Бруни, только что вернувшегося из Петербурга в Рим для завершения «Медного змия». «Все сии осмотры вместе с Гоголем» [Жуковский, 1903, с. 447].

Вечером того же дня были у Зинаиды Волконской; присутствовал и Шевырев; это дало Жуковскому повод для сравнения: «Шевырев вечно на кафедре и все готовые, округленные, школьные мысли; Гоголь весь минута. Он живет Италией и в то же время, кажется, видит, что ему не долго жить; всегда живописен и часто забавный. Живет близ Piazza Barberini (т. е. на улице Феличе. – Ю. М.), где, как говорит, прогуливаются только козлы и живописцы» [Там же]. Гоголь, как видим, любил повторять эту остроту.

Спустя два дня, 9 (21) декабря, Жуковский вновь с Гоголем. В тот же день утром у Жуковского были Александр Иванов, другой русский художник Семен Афанасьевич Живаго и декоратор Никитин, а после встречи с Гоголем состоялось посещение мастерской датского скульптора Торвальдсена [Там же. С. 446]. Возможно, Жуковского сопровождал Гоголь.

Но точно известно, что на следующий день Жуковский вместе с Гоголем были у Александра Иванова и рассматривали его картину «Явление Мессии».

На другой день Гоголь с Жуковским на обеде у княгини Волконской. Были ее муж князь Никита Григорьевич Волконский, Шевырев и Бруни. Обед происходил на вилле Волконских. «Прекрасный вид с эспланады, весь Лациум» [Там же. С. 449].

Два дня, 16 (28) и 17 (29) декабря, Жуковский и Гоголь посвятили прогулкам по городу. Были в церкви Санта Мария в Cosmedin, осмотрели кафедру и стул Августина, подземную церковь с гробницами мучеников. Потом – Сан Джованни в Fiorentini, Белая церковь...

Обедали у П.В. Кривцова, сотрудника русской миссии.

Вечером того же дня (17 (29) декабря) произошло событие, на которое Гоголь возлагал большие надежды: будучи приглашенным к наследнику, он решил прочитать еще не опубликованное произведение – «Женитьбу». Цесаревич нашел комедию «преуморительной» [Мусатова, с.172], но Жуковский отметил в дневнике, что чтение было «неудачное». Гоголю же был нужен безоговорочный успех; он помнил, какую поддержку оказал «Ревизору»



А.А. Иванов
Литография В. Тимма

Николай I, и надеялся, что и новая комедия найдет августейшее заступничество. Увы, этого не произойдет...

Утром следующего дня у Жуковского были Гоголь и Антонио Нибби, итальянский археолог, профессор, проводивший в то время раскопки в Риме.

А потом снова вместе с Гоголем осмотр достопримечательностей. Санта Мария дель Пополо, Сан Карло, Тринита дель Монти...

В перерыве между прогулками и визитами Гоголь читал Жуковскому «Мертвые души». Известно три таких чтения: 30 декабря (11 января 1839), 6 (18) января и 17 (29) января. После второго чтения Жуковский отметил в дневнике: «Забавно и больно». Каждый раз Гоголь, по-видимому, читал по одной главе и закончил третьей, посвященной Коробочке.

18 (30) января праздновали день рождения Гоголя (дата была выбрана ошибочно; на самом деле писатель родился 20 марта ст. ст.). Утро выдалось дождливое. Жуковский ездил вначале рисовать к капуцинам, потом – на виллу Волконской, где проходило



Н.В. Гоголь в Риме
Рисунок В.А. Жуковского из его альбома

чествование. С. Шевырев прочитал стихи, опубликованные затем в «Москвитянине» (1842. № 1) под названием: «К Г<оголю> при поднесении ему от друзей нарисованной сценической маски в Риме, в день его рождения»⁷³.

Что ж дремлешь ты? Смотри, перед тобой
Лежит и ждет сценическая маска.
<...> возьми
Ее – взглядишь в шутливую улыбку
И в честный вид – ее носил Гольдони.
Она идет к тебе...

Шевыреву было известно о работе над поэмой, но он знал также, что у Гоголя есть неопубликованная «Женитьба» (читанная москвичам еще в мае 1835 г.) и другая отложенная в сторону комедия, «Владимир 3-ей степени». Шевырев поощряет прежде всего комедийное творчество Гоголя, задавая вопрос, не слышит ли он «далекий, резвый, добрый хохот / С брегов Невы, с брегов Москвы родимой?» –

То хохот твой – веселья чудный пир,
Которым ты Россию угощаешь,
Добро великое посеяв в ней...

Пусть Гоголь поскорее наденет сценическую маску –

И новый пир, пир Талии, задай,
Чтобы на нем весь мир захохотал,
Чтобы порок от маски задрожал...

Гоголю напутствие Шевырева понравилось. Позднее он писал автору, впадая в комплиментарный тон, что любит перечитывать стихи – «и мне кажется, что я слышу Пушкина» [XI, 247]...

Друзья Гоголя хотели бы, чтобы не только его творения, но и сам автор поскорее вернулся на берега Москвы и Невы. 30 декабря Плетнев писал Жуковскому в Рим: «...у вас теперь под рукой Гоголек... Что он там делает? Думает ли возвращаться сюда? Уже ли он забыл, что в конце нынешнего года [1839] его сестры выйдут из института?» [Плетнев, с. 531–532]. Гоголь про это не забыл, но и покидать Италию не торопился.

Вскоре, 23 января (4 февраля), началась замечательная пора карнавала. Гоголь и Жуковский – в праздничной толпе. 26 января Жуковский записывает: «Мы в масках на омнибусе. Потом пальба с балкона Palazzo Ruspoli и церкви S. Carlo. Иллюминация Петра. Золотое кружево в ф<о>нарях». Через день, 28 января: «На Corso, по которому ходил пешком в толпе вместе с Гоголем и Бруни». В прошлом во время карнавала происходили вещи не очень веселые – издевательство над толпой евреев. Теперь процедура стала менее болезненной, хотя и по-прежнему унижительной, но праздничное настроение участников, в том числе русских, от этого не испортилось. «Церемония жидов в Капитолии. Прежняя скачка: жиды в мешках от Piazza del Popolo до Piazza di Venezia. Нынче только явление в Капитолий с платою 5000 пиастров за годовую dispensio» [Жуковский, 1903, с. 465].

В карнавале участвовал наследник, вернувшийся буквально накануне из двухнедельной поездки в Неаполь. Гоголь наблюдал за его реакцией. «Наш его высочество доволен чрезвычайно и, разъезжая в блузах вместе с свитой, бросает муку в народ корзинами и мешками и во что ни попало» [XI, 198].

До отъезда Жуковского из Рима они с Гоголем успели еще несколько раз побывать на вилле Волконской, где занимались ри-

сованием; посетили архитектора Александра Семеновича Кудина, принимавшего участие в восстановлении римских развалин; обедали вместе с Елизаветой Григорьевной Чертковой у графа М.Ю. Виельгорского...

Гоголевские визиты и встречи все-таки были немногочисленны на фоне той интенсивной светской жизни, которой – ввиду присутствия наследника со свитой – пришлось жить русским художникам. Поэтому после 1 (13) февраля – день отъезда наследника и его сопровождающих из Рима – художники вздохнули с облегчением; об этом очень выразительно писал Александр Иванов своему отцу:

Мы все представлялись наследнику без бород и усов (это отражение Петербурга) и все время его здесь пребывания жили по-петербургски. Делали визиты то тому, то другому (из) приезжих, принимали к себе в мастерские князей да графов с фамилиями; втолковывали итоги нашего здесь пребывания и наконец рады, рады были, что все это развехалось, оставя нам (углубляться) опять (в блаженном) мирной и спокойный Рим (столь способный для воспитания <...>). Вместо бритвы, фрака и щеточек я взял кисти и палитру, и, одевшись в полуразбойничье платье, я подмалевывал мою большую картину и весьма ею недоволен» [Машковцев, 1982, с. 118–119].

Речь идет, конечно, о «Явлении Мессии».

Но для Гоголя отъезд наследника был грустным событием, ибо в его свите уезжал и Жуковский. Николай Васильевич пришел проводить Жуковского, а затем написал ему вдогонку: «Вот уже неделя, как вас нет в Риме, а я все еще нахожусь в таком состоянии, как будто бы вы уехали только сегодня поутру: то есть разинув рот, глупо глядя вслед уезжающей вашей карете и не зная потом куда направить шаги свои». И еще: «Доживу ли я <до> того времени, когда вновь сядем вместе оба с кистями?» [XI, 201, 203]⁷⁴.

Но не прошло и месяца, как в Рим приехал Погодин с женою – 8 марта н. ст. Это утешило и развлекло Гоголя. «Мы теперь живем вместе. Его комната с моею; завтракаем и говорим вместе» [XI, 210]. И снова Гоголь взял на себя приятную роль чичероне, которую он выполнял с особенным удовольствием, поскольку Погодин, в отличие от прежних гостей, Жуковского или Шевырева, впервые был в Риме. Свои странствия по городу Погодин описал буквально по дням в очерке «Месяц в Риме» [М. 1842. Ч. 1. № 2.

С. 361–410] и затем в книге «Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник» [М. 1844. Ч. 1–2].

«Г<оголь> потащил меня тотчас в Храм Св. Петра. Вот мост Св. Ангела, вот Тибр (Тибр!), вот мавзолей Андрианов, вот и площадь Св. Петра с Сикстиновым обелиском. Вхожу в церковь и хожу как сумасшедший».

Тут Гоголь произвел свой любимый эксперимент, чтобы удивить новичка размерами собора. «Г<оголь> поставил меня у одного простенка и спросил – видишь ли напротив этих мраморных ангельчиков над чашею? “Вижу, ну и что же?” “Велики они?” “Что за велики – маленькие”. “Обернись-ка”. Я обернулся и увидел перед собою, под пару с тем, маленьким, двух почти колоссальных. Вот какова церковь!»

На другой день, 9 марта, после завтрака в *Cafe nuovo*, – продолжение осмотра. Корсо, Капитолий, Форум Романум... «Я совершенно обезумел. Глаза перебегали от одного предмета к другому». «Г<оголь> потащил меня дальше, мимо развалин храмов, с одной стороны, и огородов и пустырей, с другой». И вдруг открылся Колизей.

Вошли вовнутрь, прилегли у деревянного креста с распятием. «Как хорошо все это – и небо, и воздух, и этот плющ, и птички, и прохожие, и часовни, и этот смиренный крест, под которым прилегло нас двое пришельцев с холодного, дальнего Севера, в глубоком размышлении...»

Погодин размышлялся о том, чтобы «приехать сюда и пожить подолее»; пока же он обратился с пожеланием к своему спутнику. «Оставайся, брат, здесь, сказал я Г<оголю>, пока тебе сладко. Не имею духа звать тебя отсюда и понимаю, что ты мог зажитья. Твои теперешние впечатления принесут отечеству плод сторицею».

На другой день, 10 марта, Гоголь повел Погодина с женой в соборы *Santa Maria Maggiore*, *San Giovanni in Laterano*. В тот же день состоялись встречи с художниками – с господином С., «который приехал сюда на год и живет тринадцатый, не выдав, как пролетело время», – очевидно, это Петр Андреевич Ставассер (1811–1850); и с «больным Ш., который рассказал нам любопытные подробности об истории Колизея», – это, конечно, Иван Савельевич Шаповалов (1817–1890), чья фамилия, ввиду его украинского происхождения, была переименована на «Шаповаленко».

Осмотрели Ложи Рафаэля в Ватикане и виллу Боргезе, церковь *Santa Maria del Popolo* – это все в один день, 11 марта. А 25 марта Гоголь водил Погодина и Шевырева в мастерскую

Александра Иванова. «Мы увидели в комнате г. Иванова ужасный беспорядок, но такой беспорядок, который тотчас дает знать о принадлежности художнику... Сам он в простой холстиной блузе, с долгими волосами, которых он не стриг, кажется, два года, не бритый недели две, с палитрою в одной руке, с кистью в другой, стоит один одинехонек перед нею [картиною], погруженный в размышления... Час, проведенный с особенным удовольствием» [Погодин, 1844, ч. 2, с. 85–86, 87].

Позже, 6 апреля, Погодин с Гоголем и художником Рихтером ездили во Фраскати, в древний Тускул, любимое место Цицерона.

Конечно, Погодин мечтал познакомиться с «Мертвыми душами», и такая возможность чуть было не представилась. 24 марта Гоголь обещал прийти к княгине Волконской и прочесть «что-нибудь из своих сочинений». Но не пришел: «мы прождали его понапрасну».

С помощью Гоголя Погодин узнавал быт и нравы итальянцев. Он, например, сделал вывод, что «нет города в Европе столько нечистого, как Рим». «Г<оголь>, как я в первый раз пришел к нему, выплеснул воду из какой-то огромной чаши за окошко. Помилуй, что ты делаешь это? Ничего, отвечал он, на счастливого!» После этого Погодин старался всегда ходить по середине улицы, «чтобы не ороситься таким счастьем».

И еще во время осмотра Форума Погодин сделал вывод о необыкновенной лени и медлительности итальянских рабочих: «...где-то возьмут лопату, где-то подгребут мусору, где-то отмахнут или перевезут тележку. Прислать бы сюда тысячи две белорусцев из Одессы, с своим аржаным хлебом, так они, под руководством какого-нибудь Нибби, в один год очистили бы вам всю площадь». С этими словами Гоголь, вероятно, не согласился бы: он полагал, что традиционное представление об итальянском национальном характере не соответствует действительности.

Впрочем, общение Гоголя и Погодина протекало не так гладко, как это вырисовывается из дорожных дневников и записей последнего. Позднее Погодин даже скажет, что у него возникли «впечатления отрицательные» [ЛН. Т. 58. С. 793]. Но этот вывод скорее всего продиктован или, во всяком случае, форсирован последующей и довольно сложной историей взаимоотношений обоих писателей, о чем речь впереди.

9 апреля чета Погодиных отбыла в Неаполь, условившись, что на обратном пути Гоголь встретит их в Чивита-Веккиа. Так и произошло: 18 апреля Гоголь приехал в этот морской порт недале-

ко от Рима. Погодины и Шевырев отправились морским путем в Северную Италию и затем во Францию, в Париж, а Гоголь и жена Шевырева Софья Борисовна – обратно в Рим. Грусть расставания скрасил маленький сын Шевыревых. «Борис был совершенно весел, – говорит Гоголь, – произвел мою левую ногу в каретную лошадь, привязал ее к стулу, тянул очень долго за поводья и был этим очень доволен. С тех пор он получил очень нежную привязанность к моей ноге и все спрашивает: здорова ли лошадь?» [XI, 221].

В Риме в 1839 г. – более точная дата неизвестна – Гоголь встретился с еще одним соотечественником, будущим знаменитым драматургом Александром Васильевичем Сухово-Кобылиным (1817–1903). В 1838 г. Сухово-Кобылин отправлялся за границу для продолжения учения в Гейдельбергском и Берлинском университетах, а перед отъездом, как гласит его дневниковая запись, посетил Максимовича в Киеве – «он посылает со мной книги Гоголю» [Бессараб, с. 57]. В следующем году Сухово-Кобылин виделся с Гоголем в Риме и, как отмечено в дневнике, был «поражен» [Пенская, с. 214]. Более подробно его впечатления от этой встречи и, возможно, последующих переданы корреспондентом «Нового времени» Ю.У. Беляевым, спустя много лет записавшим рассказ драматурга:

В этом человеке ... была неотразимая сила юмора. Помню, мы сидели однажды на палубе. Гоголь был с нами. Вдруг около мачты, тихонько крадучись, проскользнула кошка с красной ленточкой на шее. Гоголь поднялся и, как-то уморительно вытянув шею и указывая на кошку, спросил: «Что это, никак ей Анну повесили на шею?» Особенно смешного в этих словах было мало, но сказано это было так, что вся наша компания покатила от хохота. Да, великий это был комик. Равных ему я не встречал нигде, за исключением разве одного французского актера Буффе, которого я частенько видал в своей молодости в парижских театрах... [Беляев].

На период с последних дней 1838 до середины февраля 1839 г. падает еще одна встреча Гоголя, о которой обычно не упоминают его биографы, – с Е.Ф. Розеном. Барон Розен, как и Жуковский, прибыл в Рим в свите наследника. С Гоголем они были знакомы по крайней мере со времени памятных чтений «Ревизора» на субботах у Жуковского в начале 1836 г. Тогда, по словам Розена, он был единственным, кто с неодобрением воспринял пьесу, и эта его реакция не осталась незамеченной автором. Теперь, согласно Розену, общение проходило в другом ключе; вот как он описывает свидание

с Гоголем спустя восемь лет: Гоголь «встретил меня с отменным радушием; тот час ввел между нами дружеское *ты* (чего дотоле не было), осведомлялся с большим участием о том, что я написал в его отсутствие, и так далее; еще больше оживлялся моими уклонениями от этой материи, точно будто бы он получил в наследство от Пушкина особенное благоволение ко мне как литератору – одним словом, был чрезвычайно мил и любезен и, в довершение этого обворожительного ко мне внимания, даже не заикнулся о своем “Ревизоре”, о моем бывшем мучителе. Автор “Ревизора” дал нашей беседе такую гениальную форму и такое глубокое содержание, из которых посторонний наблюдатель мог бы вывести заключение, что, после Пушкина, из писателей нового поколения, осталось в России только двое выспренних гениев, по своему объему едва ли могущих поместиться в обширной России – *Гоголь и я!*» [СО. 1847. № 6. Отд. 3. С. 30–31; курсив в оригинале].

Возможно, мемуарист преувеличил степень благорасположения к нему Гоголя; возможно, комплименты последнего не были свободны от иронического подтекста – проверить все это невозможно. Но очевиден сам факт встречи обоих писателей и по крайней мере нейтральное, лояльное отношение автора «Ревизора» к Розену: в противном случае тот не рискнул бы рассказывать об этом в статье, явно рассчитанной на восприятие Гоголя (она была опубликована в 1847 г. в качестве реплики на «Выбранные места...»).

В таком случае два фактора могли повлиять, так сказать, на смягчение гоголевской позиции в отношении Розена; во-первых, интерес к обстоятельствам гибели Пушкина, к последним дням его жизни. «Розен часто общался с Пушкиным после отъезда Гоголя, был на похоронах и читал в Петербурге свои стихи, посвященные памяти поэта. После Жуковского это был, вероятно, второй человек, который мог сообщить Гоголю о подробностях разыгравшейся трагедии» [Вацуру, с. 337]. Уточним: не второй, а по крайней мере третий – осенью 1837 г. во Франкфурте Гоголь жадно слушал рассказы А.И. Тургенева как очевидца тех же событий.

Сходной оказалась и оценка Гоголем и Розеном виновников гибели поэта. Розен «был резко настроен против антипушкинской партии, в том числе и придворной» [Там же]. В примечании к стихотворению «Эврипид» [ЛГ. 1846. 29 февраля] Розен, прозрачно намекая на судьбу Пушкина, писал, что «знаменитый трагический поэт Эврипид, находясь при дворе македонского царя Архелая, был растерзан царскими собаками...». И в самом стихотворении:

«Великий царь, изящного любитель, / Позвал поэта в царскую обитель. / Но там затмились светлые часы...» Это вполне отвечало гоголевским инвективам, вызванным гибелью Пушкина: «О, когда я вспомню наших судей, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство...» и т. д.

Другим фактором, возможно, повлиявшим на Гоголя, явилось отношение к Розену Иосифа Виельгорского. Мнения этого человека, весь его облик, характер суждений были глубоко симпатичны Гоголю, о чем мы еще будем говорить; но как раз перед приездом в Италию, летом 1838 г., Виельгорский и Розен жили вместе в Карлсбаде и Эмсе, много беседовали, принимали в качестве гостя немецкого литератора Кенига, издавшего знаменитую книгу «*Literarische Bilder aus Russland*», – речь шла при этом «о книге его и о русской литературе», как сообщил позднее Розен в своем очерке «Прогулки по Рейну» [СО. 1848. Кн. 2. Отд. 3. С. 5]. Общее свое впечатление от Розена Иосиф передал в письме Жуковскому из Карлсбада 26 июля: «Я же с своей стороны очень рад с ним путешествовать. Он добрый малый, изучал недавно римские древности, знает отлично латинский язык, любит художества, поэзию – одним словом лучше нельзя человека для Италии» [Лямина, Самовер, с. 356]⁷⁵.

«Прекрасное погибло в пышном цвете...»

Весной того же 1839 г. Гоголь испытал потрясение, равносильное утрате близкого человека. В Риме, чуть ли не на его глазах, умер Иосиф Виельгорский, о котором мы только что говорили.

В семье Михаила Юрьевича и Луизы Карловны Виельгорских было пятеро детей: три дочери – Анна, Аполлинария и Софья – и два сына – Иосиф и Михаил. Иосиф, родившийся в 1817 г., был старшим.

Питомец Пажеского корпуса, он стал соучеником наследника, будущего царя Александра II. Выбор, сделанный императорской фамилией, был продиктован педагогическими соображениями: для великого князя, по словам современницы, «это товарищество было нужно, как шпоры для ленивой лошади. Вечером первый подходил тот, у кого были лучшие баллы, обык-

новенно бедный Иосиф, который краснел и бледнел... Наследник не любил Виельгорского, хотя не чувствовал никакой зависти: его прекрасная душа и нежное сердце были далеки от недостойных чувств. Просто между ними не было симпатии. Виельгорский был слишком серьезен, вечно рылся в книгах, жаждал науки, как будто спеша жить, готовил запас навеки» [Смирнова, 1989, с. 198].

Примерно такую же характеристику Виельгорского дает и другая осведомленная современница, баронесса Мария Петровна Фредерикс (1832–1908), бывшая фрейлиной императрицы. Правда, в ее трактовке отношение будущего императора к его соученику предстает в более выгодном свете: «Граф Иосиф Михайлович был взят другом и товарищем к наследнику Александру Николаевичу, который его нежно любил, и Иосиф Михайлович имел большое и хорошее влияние на цесаревича» [ИВ. 1898. Январь. С. 81].

О замечательных качествах Виельгорского говорит и Антонина Блудова (1813–1891), фрейлина, дочь министра внутренних дел Дмитрия Николаевича Блудова: «...благородный и умный, чистый и честный друг будущего царя – Иосиф Виельгорский ... сошел в могилу не тронутый нравственной заразой светской среды. Она томила его молодой душой, и он убежал от нее в тесный круг своей или самой царской семьи и в учебную комнату, где слушал с великим князем мирные и нравственные речи и уроки, согретые любящею душою и спокойным духом Жуковского и честным прямодушием Мердера и Плетнева» [РА. 1889. № 1. С. 65]. Жуковский, Мердер и Плетнев – общие наставники Виельгорского и великого князя.

Предоставим же слово одному из них – генерал-адъютанту Карлу Карловичу Мердеру (1788–1834). 5 января 1829 г. он записывает в дневнике: «Вечером играли в оловянные солдаты. За всю неделю великий князь по поведению был первым. Виельгорский же был первым в науках» [Мердер, с. 28].

Записки и дневник Виельгорского (опубликованные недавно Е.Э. Ляминой и Н.В. Самовер) дорисовывают облик этого юноши, совестливого и требовательного к себе. В «Исповеди» он беспощадно обличает свои пороки, такие как «скрытность», «вспыльчивость», «трусость». К числу пороков причисляет он и «застенчивость»: «...при каждом случае, при каждом слове, часто от одной мысли я краснею» (свойство, отмечавшееся и его современниками, например А.О. Смирновой). Кается Виельгорский и в «мизантропии»: «Я люблю быть в своей комнате и не только убегать людей, но даже свое семейство, в котором не вижу боль-

шого ко мне расположения. Эта мысль иногда меня приводит в отчаяние» [Лямина, Самовер, с. 292]. Подтверждается записями Виельгорского и холодность отношений его с великим князем, о которой говорила та же Смирнова. «Одни формы, – сетует Виельгорский, – никакой дружбы, одно знакомство приятельское».

Молодой человек чувствует себя одиноким везде – и дома, и в «учебной комнате», и в свете. «Вообще общества дамского я не люблю; однообразность и банальность разговоров мне противна; притом же я не красив, нелюбезен, *sans le bel esprit* (неостроумен), скучен, застенчив; без меня много франтов. – Танцевать также не охотник» [Там же. С. 293].

Это не мешает Виельгорскому быть весьма восприимчивым к женской красоте, хотя застенчивость и неверие в себя его сковывают. Запись от 17 апреля 1838 г. о сестрах Сент-Альдегонд, которых он встретил на балу в Аничковом дворце: «Обе они очаровательны... Они произвели на меня сильное впечатление... Вечером, ложась спать, только о них и думал» [Там же. С. 306]. Признание это небезынтересно ввиду тех подозрений, которые вызоват Виельгорский (а также Гоголь) у более позднего, современного исследователя. Но об этом – речь впереди.

Стоит привести еще то место, где Виельгорский характеризует свои «религиозные понятия». «Я вообще не имею большой веры в обрядах церковных, хотя некоторые считаю необходимыми. Мне кажется, что наша церковь имеет много варварского. Я никак не постигаю святости мощей, которые меня [так!] опротивели в последнее путешествие по России; поклонение народа сим мощам для меня непостижимо; вообще жизнь монастырская меня опротивела; я потерял всякое уважение <к> монашеству» [Там же. С. 293]. В отвращении к обрядовой стороне христианства (в частности, православия) и особенно к поклонению мощам Виельгорский явно сближается с лютеранством.

В последних числах мая 1838 г. Виельгорский, вслед за императорской фамилией, приехал в Берлин. Здесь у Иосифа открылось кровохарканье – симптом страшной болезни. Пришлось отказаться от путешествия вместе с императорской свитой и срочно направиться для лечения в Карлсбад (где он встречался с бароном Розеном), потом на озеро Комо у подножия Альп, потом в Италию. 14 ноября Иосиф вместе с отцом прибыл в Рим и поселился на виа деи Понтефичи, 49.

А спустя несколько дней Виельгорские встретились с Гоголем. 20 (8) ноября Михаил Юрьевич сообщал Жуковскому: «Ви-

дел я Гоголя, которого можно назвать *Римским Гоголем*. Он помолодел, об тебе много спрашивал и с нетерпением ожидает...» [Там же. С. 382; курсив в оригинале]. Встреча с Гоголем произошла скорее всего на виа деи Понтефичи и в таком случае в присутствии Иосифа. Вероятно, они были знакомы еще по Петербургу – это заключение можно сделать из гоголевских слов: «Мы давно были привязаны друг к другу, давно уважали друг друга...» [XI, 234].

Через несколько дней, 30 ноября, Виельгорский-старший сообщал Жуковскому: «Гоголь бывает у меня и читал начало “Мертвых душ”» [Лямина, Самовер, с. 387]. Конечно же, слушателем гоголевской поэмы был и Иосиф.

Затем 20 декабря следует запись Иосифа Виельгорского: «*Гоголь*. Открытие нового Корреджио. Процесс. “Мертвые души”» [Шенрок, т. 3, с. 255]. Имя Гоголя выделено Виельгорским, по-видимому, в знак важности этой встречи. Возможно, состоялся разговор о «Мертвых душах» или, скорее всего, новое чтение. Что же касается упоминания «процесса» и Корреджио, то, по вполне вероятному предположению исследователей, речь шла «об обнаружении новой, ранее неизвестной работы Корреджио и связанном с этим судебным разбирательством» [Лямина, Самовер, с. 396].

Незадолго перед этим, 16 декабря, в Рим приехал наследник вместе со свитой, и надо отдать ему должное, он несколько раз наведывался на виа деи Понтефичи. «Поутру видел бедного Иосифа Виел<горского>, – записывает Александр после одного из посещений, – лицом, я нахожу, он поправился, но чрезвычайно слаб и жалуется на грудную боль, боюсь я за него очень» [Там же. С. 395]. Вместе с наследником в Рим приехал и Жуковский, который тоже неоднократно навещал больного (согласно дневнику поэта – 20, 24 и 29 декабря). Бывали у него и другие русские путешественники – А.Д. Чертков с женою, Шевырев и его жена Софья Борисовна, графиня Анна Алексеевна Толстая с сыном Алексеем, начинающим писателем...

В сочельник православного Рождества, 24 декабря (6 января), почти вся русская колония собралась в православной церкви святителя Николая Чудотворца, иначе посольской церкви, что располагалась в то время в палатце Дория Памфили на пьядца Навона [Талалай, с. 3–4]. Виельгорские по причине болезни Иосифа не присутствовали. Но Гоголь скорее всего был.

Не участвовали Виельгорские и в упоминавшемся выше праздничном обеде 18 (30) января в честь «дня рождения» Гоголя.

Оставшиеся у него скудные силы Иосиф отдавал научным занятиям, разбору материалов. Вместе с Александром Ивановичем Барятинским, также находившимся в свите наследника, он собирал коллекцию книг и документов для изучения русской истории.

Приехавший в Рим М.П. Погодин записал в дневнике 12 марта 1839 г.:

Познакомился с молодым графом Виельгорским, который занимается у нее [княгини Волконской] в гроте по предписанию врача пользоваться как можно более свежим воздухом. Рад был удостовериться, что он искренне любит русскую историю и обещает полезного деятеля. Его простота, естественность меня поразили. Не встречал я человека, до такой степени безыскусственного, и очень удивился, найдя такого в высшем кругу, между воспитанниками двора [Погодин, 1844, ч. 2, с. 29].

Спустя несколько дней, 15 марта: «Молодой граф В. [так!] показывал мне свои материалы для литературы русской истории. Прекрасный труд...» Заметим, кстати, что интерес Виельгорского к истории небезразличен был и Гоголю. «...Но, – продолжает Погодин свою запись, – приведет ли Бог кончить (этот труд. – Ю. М.). Румянец на щеках не предвещает добра» [Там же. С. 52].

В течение месяца состояние больного резко ухудшилось. 21 апреля наступил кризис, и решено было окончательно перевезти Иосифа на виллу Волконской.

В мае (письмо не датировано) Гоголь сообщает Шевыреву, что «дни и ночи» проводит «у одра больного Иосифа ... Бедненькой, он не может остаться минуты, чтобы я не был возле» [XI, 233–234]. Это подтверждается письмом Виельгорского-отца Жуковскому от 14 мая н. ст.: «Гоголь ... приходит бодрствовать ночью и целые дни проводит с нами...» [Лямина, Самовер, с. 437].

Правда, на один день, а именно 1 мая, Гоголь сумел отвлечься от горестных забот и принять участие в традиционном карнавале в Черваре в окрестностях Рима – карнавале, который устраивали немецкие художники. Гоголь был приглашен в качестве почетного гостя, как и другой участник карнавала, французский писатель Франсуа Сабатье. Этот совершенно не учтенный в гоголевской биографии факт отметила итальянская исследовательница Рита Джулиани [см.: Джулиани, 1997, с. 27].

Спустя четыре дня, 5 мая, Гоголь сообщает выехавшему из Италии Погодину, что Виельгорский умирает. «Не житее на Руси людям прекрасным. Одни только свиньи там живущи» [XI, 224].

Горестную судьбу юноши Гоголь воспринимает под знаком резкого контраста, роковой несовместимости таланта и благородства с обычаями и моралью света – так же, как он воспринял двумя годами раньше смерть Пушкина. «Бедный мой Иосиф! – пишет Гоголь Марии Балабиной, – один единственно прекрасный и возвышенно благородный из ваших петербургских молодых людей, и тот!.. Клянусь, непостижимо странна судьба всего хорошего у нас в России! Едва только оно успеет показаться – и тот же час смерть!» Гоголь думает о достойном претенденте на руку его бывшей ученицы: «Я перебирал всех молодых людей наших в Петербурге: тот просто глуп... тот ни глуп ни умен, но бездушен, как сам Петербург. Один был человек, на котором я остановил взгляд – и этот человек готовится не существовать более в мире...» [XI, 228]. В том же письме, датированном 30 мая (н. ст.), Гоголь сообщает, что проводит «бессонные ночи» у постели умирающего.

Иосиф Виельгорский умер 2 июня, около семи часов пополудни. 5 июня Гоголь писал Данилевскому: «Я похоронил на днях моего друга, которого мне дала судьба в то время, в ту эпоху жизни, когда друзья уже не даются» [XI, 234]⁷⁶.

Кончине Виельгорского предшествовал эпизод неудавшегося обращения его в католичество, что повлияло на отношения Гоголя с княгиней Зинаидой Волконской. Эпизод этот во многом не прояснен; известен он стал из следующего рассказа княжны Репниной гоголевскому биографу.

Когда умирал Иосиф Виельгорский, то у него ежедневно бывали Елизавета Григорьевна Черткова, урожденная Чернышева, графиня Марья Артемьевна Воронцова и наконец Гоголь. Зинаида Александровна была уже тогда ярая католичка, и мне рассказывали, что Гоголь пошел прогуляться и вместе поискать священника для исповеди умирающего. Гоголь же потом сам читал для него отходную. Молодой Виельгорский причащался в саду, и мой отец [князь Н.Г. Репнин] поддерживал его и читал за него: «Верую, Господи, и исповедую». Но когда он умирал, то в его комнате уже был приглашенный княгиней Волконской аббат Жерве. Зинаида Александровна нагнулась над умирающим и тихонько шепнула аббату: «вот теперь настала удобная минута обратить его в католичество». Но аббат оказался настолько благороден, что возразил ей: «Княгиня, в комнате умирающего должна быть безусловная тишина и молчание». Тем не менее моя тетка [княгиня З.А. Волконская] что-то еще пошептала над Виельгорским и потом проговорила: «Я видела, что душа вышла из него католическая» [Шенрок, т. 3, с. 190–191].

В.Н. Репнина отмечает: после того что произошло, Волконская резко изменила свое отношение к Гоголю.

Помимо приведенного свидетельства, мы располагаем еще одним документом, относящимся к этому эпизоду, – письмом княгини Волконской С.П. Шевыреву, написанным на следующий день после смерти Виельгорского. «Иосифа нет. Он вчера кончил свою жизнь, а Жерве обедал у меня... Мне что-то сердцу сказало: пора домой. Встретила гр. Риччи, он искал Гогела [так!], не нашли. Гр. М. Воронцова была при нем и прибежала во время, и мы окружили его постелю... Он ничего не отказывал, молился со мной, любил Богоматерь и правду, заслужил последнюю помощь, таинственный свет» [Линниченко, с. 69–70 второй пагинации].

В этих свидетельствах, особенно в рассказе Репниной, много противоречий и загадок. Это понятно: как отмечено еще Н.А. Белозерской, «Репнина не присутствовала при описываемой сцене и передает ее с чужих слов и, кроме того, через длинный промежуток времени» [ИВ. 1897. Апрель. С. 157]. Однако из сопоставления обоих документов вырисовывается главный смысл эпизода, а именно то, что княгиня Волконская хотела обратить умирающего в католичество. Мы уже знаем, что подобное намерение обнаруживала она не в первый раз, что и в отношении Гоголя питала она такую надежду. Весьма критическое отношение Виельгорского к православному церковному быту, о чем уже говорилось, могло только укрепить княгиню Волконскую в ее планах. Естественно, что в письме Шевыреву княгиня не могла открыто сказать о цели своих усилий, однако фразы типа «заслужил последнюю помощь, таинственный свет» свидетельствуют именно об этом. Тем не менее последний шаг сделан не был – так же как в свое время не состоялся он и в отношении Гоголя.

По смыслу рассказа Репниной виноват в этом оказался именно Гоголь (за что и «возненавидела» его княгиня). Однако степень «вины» Гоголя совершенно неясна. Гоголь, мол, отправился «поискать священника», но не уточнено, какого: ведь православного священника в Риме на каждом углу не встретишь. Напрашивается мысль, что Гоголь пошел за священником из русской посольской церкви, что была на пьядце Навона, – должность священника исполнял в то время отец Герасим [Талалай, с. 3–4]. Косвенно это подтверждается фактом, ставшим известным совсем недавно, благодаря разысканиям Е.Э. Ляминой и Н.В. Самовер.

Выяснилось, что Гоголя не было у Виельгорского в час его предсмертной агонии. Собственно об этом можно было до-

гадаться и из слов Волконской («...он искал Гогела, не нашли»), но другое лицо, а именно Софья Борисовна Шевырева, говорит о том же совершенно определенно и дважды: в дневниковой записи, сделанной в тот же день в 11 часов вечера (Гоголь пришел «только после кончины молодого графа»), и на другой день в письме мужу («Гоголь ушел за час до кончины и вернулся только, когда его уже не стало»). Объяснение этого факта может быть двояким. Гоголь ушел не в силах видеть предсмертные муки близкого человека, избегая страшного потрясения нервов, – именно так он поступит много лет позже, отказавшись прийти на похороны жены Хомякова. Но возможно, он действительно ушел, чтобы привести православного священника, что совпадает с версией, сообщаемой княжной Репниной.

Но если это и так, то выполнить свое намерение Гоголю не удалось, и решающую роль в несостоявшемся обращении сыграло тактичное поведение аббата Жерве (его присутствие подтверждается и письмом Волконской, и дневниковой записью Шевыревой).

С большей определенностью можно говорить не столько о каком-либо конкретном шаге Гоголя и его мотивах, сколько об общем недоброжелательном отношении к намерению княгини Волконской. Руководствоваться Гоголь мог теми же соображениями, что и в своем собственном случае, несколькими месяцами раньше – и прежде всего убеждением, что «как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую». Гоголь был столько же толерантен – по крайней мере до середины 1840-х годов – к католицизму как конфессии, сколько неуступчив в вопросе своего личного участия, точнее *неучастия*, в самом акте обращения даже в качестве третьего лица, посредника.

Все это, конечно, не могло понравиться Зинаиде Волконской, хотя вывод княжны Репниной, что та «возненавидела» Гоголя, преувеличен: отношения их просто стали холоднее. Гоголь продолжает видеться с Волконской: в феврале 1841 г. он читает в ее доме, в палатце Поли, «Ревизора» (об этом речь впереди), примерно в то же время посещает загородную виллу Волконской [Анненков, 1983, с. 79]; в ноябре 1842 г. Гоголь получает от нее корреспонденцию Шевырева [см.: XII, 116]. В январе следующего года писатель приводит на виллу Волконской приехавшую в Рим А.О. Смирнову, показывает ей находящуюся здесь достопримечательность – арки римского водопровода [см. IX, 490]. Правда, в феврале 1847 г., в ответ на критику Шевыревым «религиозных

экзальтации» Волконской (и заодно Гоголя), писатель замечает, что «ее давно не видел», но при этом от каких-либо собственных упреков в адрес княгини воздерживается [XIII, 214].

Свои переживания в связи со смертью Виельгорского Гоголь выразил в «Ночах на вилле», которые «стоят совершенно особо в гоголевском творчестве и не похожи ни на одно его произведение» [Мочульский, с. 51]. Этот сохранившийся в отрывках текст заключил в себе тугой узел проблем, как личного, так и творческого характера⁷⁷. Задержимся на них постольку, поскольку это позволяет ракурс настоящей книги.

Название произведения (принадлежащее автору) предельно конкретно: это реальное времяпрепровождение Гоголя на вилле княгини Волконской у одра умирающего; и вместе с тем само понятие «ночи» скрывает в себе концентрированный эстетический смысл.

Одна грань этого образа уже достаточно отчетливо была явлена в гоголевском творчестве: ночь как время решительного противостояния роковых сил, прорыва на поверхность бытия иррациональной и демонической стихии («Ночь перед Рождеством», «Портрет», «Невский проспект» и т. д.). Но теперь тот же образ раскрылся в другом, необычном для Гоголя аспекте: ночь как время откровений, предельного обнажения чувств и мыслей, интимных признаний – в русле той жанровой традиции, которая представлена «Жалобой, или Ночными размышлениями о жизни, смерти и бессмертии» Эдуарда Юнга (1742–1745), «Гимнами к ночи» Новалиса (1800), «Флорентийскими ночами» Генриха Гейне (1836), а также лирикой Тютчева; из более поздних произведений назовем еще «Русские ночи» В.Ф. Одоевского (1844).

Есть свидетельство о том, что отец Иосифа Михаил Юрьевич Виельгорский хотел, чтобы Гоголь написал об умершем «строк десяток» для римского еженедельника «Diario di Roma» [В.Е. 1889. № 10. С. 476]⁷⁸. Однако «Ночи на вилле» явно превышают жанр некролога – не только своей мощной лирико-философской стихией, но и тем, что на первый план выходит их автор. Это ближе к исповеди – жанру для Гоголя не частому, причем ближе не столько к «Авторской исповеди», с ее рассудочностью, взвешенностью, аналитичностью, сколько к раннему, экспрессивному наброску «1834». Последний, правда, был лишь записью для себя; «Ночи на вилле» рассчитаны на потенциального читателя. Известно замечание об исповеди, содержащееся в «Герое нашего вре-

мени»: «Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям». В гоголевском произведении очень чувствуется этот «недостаток»: установка на читателя организует материал, определяет стиль; исповедующийся видит себя в зеркале чужого восприятия. Ему крайне важно в чем-то убедить других, равно как и себя – в чем же?

С легкой руки Саймона Карлинского в гоголевском тексте порою видят выражение гомосексуальных наклонностей писателя, наконец-таки нашедших свое полное воплощение⁷⁹. По поводу этого утверждения можно заметить следующее.

Как известно, внутренний спектр дружеского (как и любовного) чувства сложен; в основной эмоциональный тон проникают иные, порой контрастные интонации. У Гоголя по отношению к юноше звучит нежность, ласковость, как к женщине; почти такие же чувства отражены в его письмах, рассказывающих об Иосифе Виельгорском, но при этом автор чуть ли не специально замечает, что оба они сошлись «решительно братски» [XI, 234]. По выражению Мочульского, Гоголь питал «возвышенное, полное нежной нежности чувство к чахоточному Виельгорскому» [Мочульский, с. 49]. Словом, одно дело сложность дружеского чувства, другое – то, что сегодня называют сексуальной ориентацией.

Сама открытость Гоголя как в письмах, так и в лирическом эссе, повторяем, рассчитанном на читателя, говорит сама за себя. В те времена отношение к подобного рода связям было достаточно определенным (вспомним хотя бы пример Дондукова-Корсакова и пушкинскую эпиграмму на него), понятия «сексуального меньшинства» как меньшинства законного не существовало. Следовательно, если придавать гоголевским душевным излияниям тот смысл, какой им придается американским исследователем, то придется видеть во всем этом не просто невольное саморазоблачение, но сознательную, аффектированную демонстрацию порока, что едва ли возможно. Тем более что, как верно отмечено в современном исследовании, «русская культура первой половины XIX века не знает поэтизации гомосексуальной любви... Мужеложество понималось как грязь и грех и потому могло служить темой лишь для циничных и грубо непристойных шуток» [Лямина, Самовер, с. 503].

Нужно учесть и другое обстоятельство: если гоголевское время не знало «поэтизацию гомосексуальной любви», то оно очень даже знало поэтизацию дружбы как чувства, исполненного нежности и чуткой ласковости. Еще помнилась эпоха Карамзина, «эпоха чувствительности», с ее культом дружбы, не стесняющей-

ся знаков своего выражения. «Я обнимал тебя в последний раз, неоцененный друг души моей! в последний раз видел твою чувствительность! Ты любил меня – и никогда любовь твоя не была так красноречива, как в сию минуту!» [Карамзин, с. 9]. Это строки из карамзинского эссе «Цветок на гроб моего Агатона», обращенного к умершему другу Александру Петрову. Кстати, едва ли мимо внимания Гоголя, с его интересом к Карамзину, прошло это произведение; во всяком случае, «Ночи на вилле» (что, кажется, еще не отмечалось) очень близки к жанру именно такого, непосредственного отклика на свершившуюся трагедию, своеобразной эпитафии, живого «цветка», положенного на еще свежую могилу.

И при этом в гоголевском исповедальном отрывке заключена насущная жизненная потребность, имеющая отношение к его собственной биографии, личной и писательской. Но вначале две-три параллели к «Ночам на вилле».

Первая – довольно неожиданная – из «Мертвых душ». Зачин шестой главы. Знаменитое «лирическое отступление» об ушедшей молодости.

Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту... Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприятно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! О моя свежесть!

Далее – отрывок драмы из истории Запорожья, над которой Гоголь работал в 1839 г. Монолог одного из героев, возможно, главного: «Отдайте, возвратите мне, возвратите юность мою, молодую крепость сил моих, меня, меня свежего – того, который был. О, невозвратимо все, что ни есть в свете» [V, 201].

Сходное состояние души запечатлено и в гоголевском письме Марии Балабиной, написанном 5 сентября н. ст. 1839 г. вскоре после кончины Иосифа Виельгорского: «Я вспомнил мои прежние, мои прекрасные года, мою юность, мою невозвратимую юность и, мне стыдно признаться, я чуть не заплакал. Это было время свежести [нрзб] молодых сил и порыва чистого ... Но оставим это. Я не люблю, мне тяжело будить ржавеющие струны во глубине моего сердца ... Ужасно найти в себе пепел вместо пламени...» [XI, 244–245].

Выше говорилось о гоголевском переживании рокового рубежа, 30-летия, – этот рубеж, 1839 год, буквально совпал с периодом общения с Иосифом Виельгорским и с его кончиной. И письмо к Балабиной и пассаж из «Мертвых душ» пронизаны тем же переживанием (в последнем случае оно, разумеется, поднимаясь над своей биографической основой, входит в сложную художественную систему поэмы). Оно же, это переживание, определяет эмоциональный спектр «Ночей на вилле», но – с одним существенным отличием. Отталкиваясь от того же переживания, заключительные строки сохранившегося отрывка сообщают ему нечто новое – перспективу возрождения: «...ко мне возвратился летучий свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими сверстниками и дружбы решительно юношеской, полной милых, почти младенческих мелочей... И все эти чувства сладкие, молодые, свежие – увы! жители невозвратимого мира – все эти чувства возвратились ко мне».

Болезнь друга дала Гоголю возможность ощутить свою способность к состраданию, к душевному потрясению, а это состояние еще и творческое, ибо оно питает художественную энергию, столь необходимую для продолжения его главной книги, внушает уверенность, что задуманное будет выполнено. Вспомним еще раз, что «Ночи на вилле» были рассчитаны на потенциального читателя (другое дело, что самим фактом отказа от публикации автор объективно отменил эту установку) – это значит, что хотя бы поначалу Гоголь испытывал потребность сделать пережитое им душевное потрясение событием публичным. Ведь все составляющие этой картины – и болезнь друга, и ночные бдения у его постели, и сама вилла – были легко узнаваемы, а значит, все происходящее безошибочно соотносилось бы с самим Гоголем.

Но так же как и пробудившуюся надежду, перспективу возрождения, писателю важно было запечатлеть – и сделать фактором публичным – внезапный финал этой истории, когда неумолимая развязка ввергнула его в прежнюю бесчувственность. «Затем ли пахло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старше целыми десятками, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь» [III, 326]. Слово перед нами то самое состояние угасания, что запечатлелось в зачине шестой главы «Мертвых душ»⁸⁰, – но и тут замечается одно существенное отличие. В «Мертвых душах» –

это результат естественного физического старения, постепенного угасания чувств; если и были за всем этим бедственные события и разочарования, то они остались «за кадром». В «Ночах на вилле» – это страшный удар, смерть молодого, чудесного, боготворимого и реального существа (все это также легко угадывалось в тексте). И Гоголь, очевидно, хотел, чтобы и эта составляющая его душевного потрясения стала известна публике⁸¹.

У постели Иосифа Виельгорского Гоголь встретился «впервые лицом к лицу со смертью» [Мочульский, с. 52]. Брат Иван умер, когда Никоше было десять лет; известие о смерти отца настигло его в Нежине; кончину Пушкина он переживал за границей, во Франции и Италии; умирание же Виельгорского видел изо дня в день, от часа к часу, и это зрелище потрясло его. Оказалось, никакая сила привязанности и любви к обаятельному и одаренному юноше не способна была его защитить. Гоголем овладело ощущение скоротечности, хрупкости всего на свете, в том числе и в первую очередь – прекрасного. «Я ни во что теперь не верю и если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запахом могилы» [XI, 228].

Гоголю было свойственно двойное отношение к смерти. В сентябре 1836 г. в связи с кончиной П.О. Трушковского (мужа сестры, Марии Васильевны) он писал, что смерть близкого человека следует считать «за ничто, если хотим быть христианами» [XI, 64]. Позднее Гоголь вопреки всем правилам такта будет порицать Сергея Тимофеевича и Ольгу Семеновну Аксаковых за то, что они, по его мнению, чрезмерно переживали смерть их 17-летнего сына Миши. Но встретившись со смертью дорогого человека воочию, Гоголь сам поддался потоку мучительных, изнуряющих чувств. Эти чувства запомнятся ему навсегда, так же как и состояние умирающего Виельгорского. Позднее, описывая пережитый им в конце лета 1840 г. кризис, он скажет, что на него напали «та самая тоска и то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Вельгорского в последние минуты жизни» [XI, 315].

В. Сечкарев полагает, что именно это событие подготовило последующий «религиозный поворот» Гоголя [Сечкарев, с. 48]. Во всяком случае, с этого момента религиозные устремления писателя усиливаются; есть свидетельства, что он приступает к более систематическому чтению и даже изучению Библии [Кейль, 1986, с. 198]. Кстати, книга, которой он пользовался, была снабжена дарственной надписью Иосифа Виельгорского: «другу моему Николаю. Вилла Волконская» [РА. 1890. № 10. С. 229].

Возвращаясь к «Ночам на вилле», следует подчеркнуть, что перед нами единственное известное автобиографическое художественное произведение Гоголя, причем имеют значение оба составляющих этого понятия – и автобиографизм, и художественность.

В аспекте художественности Гоголь запечатлевал переход и освоение новых эстетических возможностей – сокровенных признаний, ночных исповедей, предельных психологических откровений, вылившихся в смешанный жанр исповеди и эпитафии. В аспекте биографизма – возможность отражения и публичной демонстрации обстоятельств и проблем своей реальной жизни. Ни одно другое произведение Гоголя не открывало такого широкого доступа в художественный текст личным элементам, так как последние неизбежно подвергались «цензурному» просеиванию и отбору. И получается, вопреки складывающемуся впечатлению, что Гоголь в биографическом смысле – очень закрытый писатель.

Каков, например, автор в «Мертвых душах», самом личном после «Ночей на вилле» гоголевском произведении? Это одинокий странник, бессемейный, не связанный службой; в творческой своей ипостаси – это «историк», бытописатель; в высшие моменты своего бытия – пророк, визионер; но мы ничего не знаем о его реальных связях, знакомствах, контактах, о душевных кризисах, эволюции – все это стилизовано и обобщено, как в знаменитом пассаже о двух писателях в зачине седьмой главы.

Не то – «Ночи на вилле». К тому, что уже было сказано выше, еще один факт.

Ты, кому попадутся, если попадутся в руки эти нестройные, слабые строки... ты поймешь меня. <...> Ты поймешь, как гадка вся груда сокровищей и почестей, эта звенящая приманка деревянных кукол, называемых людьми. О, как бы тогда весело, с какою бы злостью растоптал и подавил все, что сыплется от могущего скиптра полночного царя, если б только знал, что за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение на лице его [III, 325].

С одной стороны, это типичная романтическая антитеза, заостренная социально и, так сказать, исторически («Непостижимо странна судьба всего хорошего у нас...»). С другой – реальная коллизия реального лица – Иосифа Виельгорского (о его отчуждении от придворной среды, включая и самого наследника, мы уже знаем). Но кроме того, это и собственные чрезвычайно обостренные и в немалой степени аффектированные переживания Гоголя после премьеры

«Ревизора», отъезда за границу, наконец, после получения известия о гибели Пушкина. В этом психологическом комплексе значима и такая деталь, как упоминание «полночного царя».

В самом деле: всемерно заостряя противостояние поэта и толпы, т. е. переживаемую им личную коллизию, Гоголь выстраивал такую парадигму, в которой на стороне поэта оказывался император, конкретно Николай I, протягивающий ему руку помощи через головы своего окружения, светской и придворной черни. Эта парадигма сохранит для Гоголя свое значение и в дальнейшем. И вдруг: «...с какою бы *злостью* растоптал и подавил все, что сыплется от могущего скиптра полночного царя...» (мы совершенно согласны с Е.Э. Ляминой и Н.В. Самовер, заметившими, что речь идет именно о Николае I и о той помощи, в том числе материальной, которую писатель от него получал).

Такого Гоголь себе никогда не позволял – ни в письмах, ни в разговорах с друзьями. Для этого понадобилась именно та призма исповедальной откровенности, которую предоставили в его распоряжение «Ночи на вилле» как уникальный художественный текст.

Кстати, возможно, именно откровенно личный характер этого произведения удержал Гоголя от его публикации.

Путь на родину

В июне 1839 г. Гоголь вместе с отцом покойного М.Ю. Виельгорским направляется морским путем из Рима (Чивита-Веккия) во Францию с трудной миссией – сообщить Луизе Карловне о смерти сына. Встреча произошла в Марселе, где Луиза Карловна находилась с тремя дочерьми и младшим сыном Михаилом. По-видимому, о случившемся она узнала еще раньше, от русского консула. Графиня не хотела верить, схватила его за ворот и закричала: «Вы лжете, это невозможно!» [Смирнова, 1989, с. 198].

Гоголь старался как мог утешить Виельгорских. По отъезде Гоголя Михаил Юрьевич написал ему (28 июля) теплое письмо, называя его «любезнейшим товарищем», «незабвенным моим спутником» и вновь возвращаясь к тому, что произошло: «...это горе, как червь, неизгладимо, и самый взгляд милых,

бесценных моих детей напоминает о потере невозвратимой» [Шенрок, т. 3, с. 265].

Во время плавания из Рима в Марсель Гоголь встретился с Шарлем Огюстеном Сент-Бёвом (1804–1869), расширив свой, кажется, очень узкий круг французских знакомств. При каких обстоятельствах произошла встреча и кто ее инициатор, сказать трудно. Возможно, посредником был М.Ю. Виельгорский.

О Сент-Бёве подробно и очень сочувственно писал Пушкин в «Литературной газете» (1831. 5 июня. № 32) – в ту пору, когда в ней активно сотрудничал Гоголь. Между прочим, первые же строки пушкинской рецензии могли обратить на себя внимание Гоголя: в связи с выходом книги Сент-Бёва, подписанной вымышленным именем Делорма, сообщалось, что в ней «вместо предисловия, романическим слогом описана была жизнь бедного молодого поэта, умершего, как уверяли, в нищете и неизвестности. Друзья покойника предлагали публике стихи и мысли, найденные в его бумагах, извиняя недостатки их и заблуждения самого Делорма его молодостью, болезненным состоянием души и физическими страданиями». Но ведь это отчасти напоминало ситуацию, разыгранную недавно самим Гоголем, извинявшего появление «Ганца Кюхельгартена» и молодостью его мнимого автора В. Алова, и желанием споспешествовать юному дарованию...

Но вообще-то в русской прессе того времени имя Сент-Бёва упоминалось не часто; в той же «Литературной газете» за 1830 г. (№ 47) Вяземский называл его среди тех представителей «созвездия французской поэзии», кто «едва знакомы нам и по одному слуху». Сам Вяземский неоднократно встречался с Сент-Бёвом в знаменитом парижском салоне Ж. Рекамье в 1839 г., но Гоголю об этом он едва ли смог сообщить: по отъезде последнего из Петербурга в июне 1836 г. их личное общение надолго прервалось. Скорее источником сведений для Гоголя мог быть А.И. Тургенев, хорошо знавший Сент-Бёва и встречавшийся с ним, в частности, в 1835 г. в том же салоне Рекамье.

Так или иначе, знакомство с Гоголем произвело на Сент-Бёва сильное впечатление, о чем он рассказал спустя шесть лет в связи с изданием французского перевода сочинений русского писателя.

...Разговор его полный силы (доводов), отличающийся тонкостью и богатством наблюдений над нравами и фактами действительной жизни, – дал мне возможность схватить на лету... предвкусить, так сказать, всю

оригинальность и реализм его сочинений. Г. Гоголь, как видно, прежде всего заботится о верности в изображении нравов, о правдивости в изображении жизни, о естественности – будь это в настоящем или в историческом прошедшем; его интересует народный гений...

И сославшись далее для подтверждения своей мысли на открытие Гоголем «крупного дарования» Белли (об этом см. в главе «Второе “чтение” Италии»), Сент-Бёв заключает, что его собеседник «больше всего интересуется природою и, вероятно, много читал Шекспира» [Шенрок, т. 4, с. 413]. Видимо, Сент-Бёв не раз повторял свой рассказ; так, в одном частном письме он сообщал: «Возвращаясь из Чивита-Векия в Марсель в 1839 г., я очутился на пароходе в обществе Гоголя и в эти два дня мог оценить, несмотря на то что он владел французским языком не без трудностей, его редкий такт, его оригинальность, его художественную силу» [Звезда. 1930. № 1. С. 219]⁸².

Что же касается Гоголя, то эта встреча, кажется, не оставила в его памяти сколько-нибудь заметного следа. В письме Н.М. Языкову от 8 января н. ст. 1846 г. он довольно небрежно упомянул о публикации в «Revue de Deux Mondes», т. е. о статье Сент-Бёва [см.: XIII, 30].

Из Марселя Гоголь направляется на Восток к пределам России. С дороги, якобы 22 июня из Вены, он посылает письмо Е.Г. Чертковой, вместе с которой месяцем раньше ухаживал за умирающим Иосифом Виельгорским. Письмо ничем не напоминает о недавнем событии; Гоголь весь во власти комических и гротескных ассоциаций, ведущих к его художественным текстам; разве что по шутливому тону и можно понять, что Гоголь, по своему обыкновению, заглушает, гонит тоску.

Он сравнивает себя с «почтенным гражданином и дворянином», «который всю жизнь задавал себе вопрос: почему он Хрисанфий, а не Иван и не Максим и не Онуфрий...». Это напоминает размышления Поприщина, отчего он «титулярный советник», «почему именно титулярный советник», а также предвосхищает умозрительные упражнения Кифы Мокиевича (в черновой редакции Писта Пистовича) из «Мертвых душ»: почему «зверь родится нагишом», «почему не вылупливается из яйца»? Затем Гоголь придумывает другую ситуацию: мол, дочка Чертковой Лиза, «взявши чашку с чаем и приготовляясь пить, закричала во весь голос: Ах, мама, вообрази, здесь в чашке сидит Гоголь! <...> Лиза принялась ловить ложечкой в стакане и закричала вновь: Ах, это

не Гоголь, это муха! И вы увидели, что это была, точно, муха...» Это уже сродни превращениям Ивана Федоровича Шпоньки в колокол, а его «жены» – в материю и т. д. Не обходится и без столь любезной Гоголю «носологии»: к концу письма он переходит к «собственному носу» и обрывает разговор, ибо об этом, «кажется, было уже писано» [XI, 237]. Гоголь намекает на свою шутивную запись в альбоме Чертковой, начинающуюся такими словами: «Наша дружба священна. Она началась на дне тавлинки. Там встретились наши носы и почувствовали братское расположение друг к другу, несмотря на видимое несходство их характеров. В самом деле: ваш – красивый, щегольский, с весьма приятно выгнутою линиею; а мой решительно птичий, остроконечный и длинный...» [IX, 25].

Эта запись, по свидетельству ее публикатора, была сделана перед самым отъездом Чертковой из Рима, в конце мая [РС. 1870. № 11. С. 528–529]. Следовательно, в ту же самую горькую пору болезни и смерти Виельгорского...

30 июня в Ганау Гоголь впервые встретился с Николаем Михайловичем Языковым (а также его старшим братом Петром Михайловичем), которому предстояло стать одним из самых близких ему людей. Языков познакомил Гоголя со своей «Элегией» («Толпа ли девочек...»):

Берусь ли за перо – всегда со мной тоска:
Пора же мне домой... Россия далека!¹⁸³

Это вполне отвечало настроению Гоголя, соскучившегося по родине, и он, по своему обыкновению, снял с понравившегося ему стихотворения копию.

Но вообще-то встреча обоих писателей была недолгой – Гоголь спешил в Мариенбад. На другой день после его отъезда, 1 июля, Языков сообщал П.М. Бестужевой, что «с ним [Гоголем] весело. Он мне очень понравился и знает Рим, как свои пять пальцев...» [ЛН. Т. 58. С. 560]. О Риме, по-видимому, говорили подробно, так как Языков собирался в Италию.

В Мариенбаде Гоголь, как это было условлено ранее, встретился с Погодиным, приехавшим туда 8 июля. Если судить по дорожному дневнику Погодина, отношения их были равными и дружественными. «Месяц спокойствия и праздности был для меня каким-то волшебным временем» [Погодин, 1844, ч. 4, с. 84]. Однако исподволь накапливались «впечатления отрицательные»,

зародившиеся еще в Риме; впоследствии Погодин будет выдвигать эти впечатления на первый план. Очевидно, сыграло роль и болезненное состояние Гоголя, обнаружившееся наконец после всего пережитого весной 1839 г.

К счастью, в Мариенбаде находился в это время Федор Иванович Иноземцев (1802–1869), знаменитый врач, профессор Московского университета и директор хирургической клиники. Однако, если верить Погодину, Гоголь не хотел лечиться, а Иноземцев почему-то не выражал особого желания пользоваться такого пациента. «Мне надо было их сводить и упрашивать, чтобы один решился лечиться, а другой – лечить» [РА. 1865. Стлб. 1278].

В Мариенбаде произошло и отрадное для Погодина событие – перед ним словно открылось окошко в творческую лабораторию Гоголя, который продиктовал ему первый набросок «Шинели», еще носившей другое название – «Повесть о чиновнике крадущем шинели» (см. комментарий В.Л. Комаровича [III, 676]). Прочитал Гоголь и «отрывки из “Мерт<вых> душ”», уверяя, правда, что по цензурным причинам «при жизни они не будут напечатаны» [ЛН. Т. 58. С. 794]. Гоголь лукавил: ему хотелось предотвратить просьбу Погодина о публикации фрагментов поэмы в его будущем журнале или в каком-нибудь другом издании. Это не понравилось Погодину. К тому же для него, вероятно, не осталось тайной, что незадолго до его приезда в Рим Гоголь читал свою поэму Жуковскому в то время, когда ему, Погодину, он тогда ничего не прочел. Гоголевские друзья ревниво относились к подобным фактам, и, возможно, здесь скрывался один из источников раздражения Погодина.

В Мариенбаде Гоголь встретился с богатым петербургским откупщиком Дмитрием Егоровичем Бенардаки (ум. 1870). Впоследствии, уже в России, их отношения станут теснее; но уже с первых встреч Гоголь проявил к Бенардаки большой интерес – и человеческий, и чисто профессиональный. «Я с первых разговоров с ним уже увидел человека, владеющего верным пониманием вещей, истинной мудростью...» [XII, 556], – вспоминает Гоголь. «Всякий день после ванны, – рассказывает Погодин, – ходили мы втроем, я, он и Гоголь, по горам и долам, и рассуждали о любезном отечестве. – Гоголь выспрашивал его об разных исках и верно дополнил галерею оригинальными портретами, которые когда-нибудь увидим мы на сцене» [Погодин, 1844, ч. 4, с. 74–75]. И в другом месте: «...Бенардаки, знающий Россию самым лучшим и коротким образом, бывший на всех концах ее, рассказывал нам

множество разных вещей, которые и поступили в материалы «Мертвых душ», а характер Костанжогло во 2-ой части писан в некоторых частях прямо с него» [Погодин, 1865, с. 895].

Эти впечатления накапливались впрок, для будущего; пока же в фокусе интересов Гоголя находилась не «сцена», т. е. комедия, и даже не «Мертвые души», работу над которыми он временно приостановил, а драматическое произведение из истории Запорожья. Еще в Мариенбаде погрузился он в чтение «малороссийских песен», чтобы «сколько возможно надышаться стариною», и пережил, если вспомнить Баратынского, «чарующий наход» муз или, говоря гоголевскими словами, «посещение, которое сделало мне вдохновение». Мысль о новом произведении не оставляла Гоголя и во время переезда из Мариенбада в Вену, куда он прибыл 24 августа; на следующий же день он сообщал Шевыреву: «Передо мною выясняются и проходят поэтическим строем времена казачества, и если я ничего не сделаю из этого, то я буду большой дурак» [XI, 241].

Сделал он, однако, немного; уединенная жизнь в Вене, без знакомых (Погодин оставил Гоголя еще в Мариенбаде 8 августа, условившись встретиться с ним примерно через месяц) и смены впечатлений, не способствовала работе. «Меня всегда дивил Пушкин, которому для того чтобы писать, нужно было забраться в деревню одному и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать... В Вене я скучаю...» (из письма Шевыреву от 10 сентября н. ст. 1839 г. [XI, 247–248]). Гоголем вновь овладевает «меланхолическое чувство», которым он делится в письме к Марии Балабиной, впрочем, по обыкновению растворяя это чувство то иронией, то патетикой. Он говорит, что в результате лечения и пользования разными минеральными водами «сделался очень похожим на мумию или на старого немецкого профессора с спущенным чулком на ножке, высохшей как зубочистка»; вспоминает свою «невозвратимую юность», «время свежести... молодых сил». «Скажу вам только, что тяжело очутиться стариком в лета еще принадлежащие юности» [XI, 244–245], – заключает Гоголь, которому едва исполнилось 30 лет...

19 сентября н. ст. в Вену приехал наконец Погодин, чтобы совместно с Гоголем держать путь в Россию. Выехали 22-го в двух экипажах, в одном – Гоголь и Погодин, в другом – жена Погодина Елизавета Васильевна с Софьей Борисовной, женой Шевырева.

23-го приехали в столицу Моравии Брно, помянули Сильвио Пеллико, который провел здесь в крепости Шпильберг многие

годы и опубликовал по выходе из заточения знаменитую книгу «Мои темницы» (1832). 25-го проехали Краков; потом – Варшава, Вильна, Минск, Смоленск... 26 сентября ст. ст. «поутру остановились мы на Поклонной горе, увидели Ивана Великого, златоглавые церкви и сердце отдохнуло. Вот направо от леса показался Девичий монастырь, вот и Дорогомиловская застава... приехали... Здравствуй, наша матушка Москва!» [Погодин, 1844, ч. 4, с. 228].

Еще в Вене 10 августа н. ст. Гоголь писал Шевыреву: «Неужели я еду в Россию? я этому почти не верю» [XI, 248].

А еще раньше, по выезде из Рима, из Чивита-Веккия благодарил княжну В.Н. Репнину за пожелание счастливого пути. «Он верно будет счастлив, я в этом уверен» [XI, 239].

У Гоголя была прямая цель его поездки на родину – забрать сестер Анну и Елизавету, оканчивающих в Петербурге Патриотический институт. Но была еще и другая цель, необъявленная, – опробовать во время чтения друзьям и знакомым написанные главы «Мертвых душ».

Москва – Петербург – Москва (сентябрь 1839 – май 1840)

Гоголь остановился у Погодина на Девичьем поле. И в тот же день, 26 сентября, пишет письмо матери: мол, жив-здоров, беспокоиться о нем не нужно. Обычное письмо домашним, разве что обозначение места отправления неожиданное: *Триест* – город, в котором Гоголь не был, который находился в стороне от его пути. Это не помешало Гоголю пуститься во все подробности: «Триест – кипящий торговый город, где половина италианцев, половина славян, которые говорят по-русски»; «прекрасное Адриатическое море передо мною, волны которого на меня повеяли здоровьем»; «жаль, что я начал поздно мои купанья» и т. д. [XI, 254]. Гоголь даже нарисовал почтовый штемпель на письме: Триест...

И еще не раз будет он морочить Марье Ивановне голову: 24 октября напишет якобы из Вены, что выезжает в Россию, спустя два дня повторит то же самое, но с уточнением маршрута: «через месяца полтора или два буду в Петербурге, а недели через две после этого в Москве...» [XI, 259]. Зачем он это делал? Гого-

левский биограф высказывает вполне основательное предположение: чтобы по возможности отсрочить приезд матери в Москву, не удобный ему по каким-либо практическим соображениям [Шенрок, т. 3, с. 295]. Ради душевного спокойствия Гоголь не гнушался хитрости или «маленькой лжи».

Николаю Васильевичу отвели большую комнату на антресолях с двумя окнами и балконом, выходившими на восток, так что в летнее время с трех часов утра и до полудня комната была залита солнечным светом. Относительно невысокий потолок и железная крыша тоже способствовали нагреванию комнаты, но Гоголю, привыкшему к теплу, да еще после итальянского зноя это оказалось по вкусу.

Между тем в Москве появление Гоголя произвело переполох. Аксаковы уже потеряли надежду увидеть его, как вдруг в Аксиньино, где они снимали дачу, пришла записка М.С. Щепкина (от 28 сентября) о том, что Гоголь здесь, что, встретившись с ним, он, Щепкин, от волнения всю «нынешнюю ночь почти не спал». Еще более взволновались Аксаковы: «Константин, прочитавши записку прежде всех, поднял от радости такой крик, что всех перепугал, а с Машенькой⁸⁴ сделалось даже дурно» [Воспоминания, с. 98]. В тот же день Константин отправился в Москву, а Сергей Тимофеевич поспешил сообщить «неожиданную и радостную весть» Великопольскому [Модзалевский, с. 14]. Иван Ермолаевич Великопольский (1797–1868), отставной майор, поэт и драматург, одно время приятельствовавший с Пушкиным, был горячим поклонником гоголевского таланта; он присутствовал при первом чтении «Ревизора» в доме Аксаковых весной 1836 г. Кроме того, Сергей Тимофеевич считал Великопольского «первым виновником этого события», т. е. возвращения Гоголя в Россию, так как во время подписки в пользу писателя в 1838 г. он внес главный пай – 1000 рублей ассигнациями.

По приезде в Москву Константин поспешил к Погодину на Девичье поле. Встреча была радостной: Аксаков и Гоголь несколько раз обнялись, потом вместе обсадили, затем вместе вышли из дома – Николай Васильевич отправлялся куда-то в гости. Настроение омрачил невинный вопрос, заданный Константином: «Что вы нам привезли, Николай Васильевич?» – и Гоголь вдруг очень сухо и с неудовольствием отвечал: «Ничего» [Воспоминания, с. 99].

Гоголь ждал встречи со своими будущими слушателями, но хотел, чтобы она произошла спонтанно, когда *он* того пожелает.

Чужое любопытство и навязчивость его раздражали; вопрос «Чем вы подарите нас новеньким?» казался ему сродни тому вопросу, который он беспрестанно слышал во время лечения в Мариенбаде: «А который стакан вы пьете?» [XI, 295].

1 октября Аксаковы возвратились в Москву, а на следующий день у них обедали Гоголь и Щепкин. Сергей Тимофеевич с удовлетворением отметил, что со времени последней встречи в 1835 г. расположение Гоголя к его семейству возросло; появилась душевная теплота, симпатия; казалось, он возвратился «к близким и давнишним друзьям, а не просто к знакомым, которые виделись несколько раз и то на короткое время».

Бросались в глаза изменения к лучшему во внешности Гоголя. Вместо франтика в модном фраке и с хохолком явился человек уравновешенный и уверенный в себе. «Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то высокому» [Воспоминания, с. 99]. Но шутил Гоголь все в той же своей привычной манере – сохраняя полную серьезность, без тени улыбки.

По Москве уже поползли слухи, что Гоголь читает свои новые произведения; такое чтение будто бы имело место в доме Авдотьи Петровны Елагиной в Трехсвятительском тунике, в присутствии Жуковского⁸⁵. Сергей Тимофеевич даже справлялся об этом чтении в специальной записке к Погодину; ему было обидно, что Гоголь еще не подтвердил свое доброе отношение к его семейству аналогичным поступком.

И вот наконец Аксаковы дождались... 14 октября на обед к ним по обыкновению собралось несколько гостей, в том числе петербуржец И.И. Панаев. Позже приехала жена Погодина Елизавета Васильевна (сам Погодин, возможно, уже был среди гостей); потом П.В. Нащокин и М.С. Щепкин с Гоголем. Все расположились в гостиной, и Николай Васильевич начал читать...

Трое из присутствовавших членов аксаковского семейства описали это событие по свежим впечатлениям. Сергей Тимофеевич – сыновьям Григорию и Ивану, в Петербург, 17 октября: «...Гоголь читал у нас начало комедии “Тяжба” и большую главу из романа (вероятно “Мертвые души”). И то и другое – чудные созданья! Особенно глава из романа! И к этому надо прибавить,

что он так читает или, лучше, играет, как никто! Лучшие актеры, мне известные, перед ним – ученики в театральном искусстве! Восхищение было всеобщее» [ЛН. Т. 58. С. 566]. Вера Сергеевна – тем же адресатам, ее братьям: «...Гоголь читал нам отрывок из своей комедии и еще другой из какой-то повести, кажется “Мертвых душ”; жаль, что вас не было; все что он читал, превосходно, чудно...» [Там же. С. 572]. Константин Сергеевич – тоже Ивану и Григорию, своим братьям: «Я и все перерывали его [Гоголя] часто хохотом. Все, что ни прочел он, есть истинно художественное произведение» [Там же. С. 570].

Судя по тому, что слушатели приводили название «романа» с некоторой долей неуверенности («вероятно “Мертвые души”», «кажется “Мертвых душ”»), Гоголь прочитал им только первую главу, где характер будущего «предприятия» или аферы Чичикова еще не был обозначен. Гоголь вообще имел обыкновение читать новую вещь с начала. Все присутствовавшие (за исключением Погодина, если он среди них был) слушали поэму впервые, и тем ценнее представлялась Гоголю их реакция.

В те памятные октябрьские дни многие приходили в дом Аксаковых, чтобы повидать Гоголя. Были тут Дмитрий Щепкин (сын великого артиста), писатель Н.Ф. Павлов, врач, воспитанник Дерптского и Московского университетов, профессор судебной медицины и других дисциплин в Московском университете Александр Осипович Армфельд (1806–1868), Белинский...

Белинский уже виделся с Гоголем у тех же Аксаковых в мае 1835 г.; но теперь встречи оказались более продолжительными и частыми – не менее трех раз. «Какой день был это для нас!» – воскликнул однажды Константин как бы и от имени Белинского тоже. Между ним и Белинским еще не пробежал холодок, не возникло враждебности; следовательно, и отношение Гоголя к критику еще ничем не омрачалось. Наоборот, Гоголь помнил все то хорошее, что написал о нем Белинский в статьях «телескопского» периода, и был благодарен ему за это.

Результатом же новых встреч с Гоголем и особенно чтения «Мертвых душ» явилось то, что в Москве стало утверждаться мнение о нем как о писателе всемирном. Мы помним, что еще в 1835 г. Белинский провозгласил Гоголя «главою литературы, главою поэтов», но поэтов лишь отечественных, литературы лишь русской. Теперь пошли в ход другие категории и другие имена! Константин Аксаков после первого же чтения заметил: «...те тупы, которые только видят в его сочинениях *смешное*. Гоголь –

великий, гениальный художник, имеющий полное право стоять, как и Пушкин, в кругу первых поэтов, Гёте, Шекспира, Шиллера и проч.» [ЛН. Т. 58. С. 570; курсив в оригинале]. Примерно в то же время, осенью 1839 г., Белинский обдумывает свою статью «Горе от ума», где Гоголь фигурирует в ряду самых ярких имен, определивших лицо «нашего века», – Байрон, Вальтер Скотт, Пушкин, Шиллер, Гёте и т. д. Все это в той или мере говорилось самому Гоголю; во всяком случае, он знал и чувствовал, до каких высот поднялась его репутация.

Но продолжим рассказ о московских встречах Гоголя. Среди новых его знакомых – Алексей Дмитриевич Галахов (1807–1892), разносторонне образованный человек, выпускник Московского университета (он учился вначале на этико-политическом, а потом на физико-математическом отделении), педагог, историк русской литературы, писатель. Мы можем точно установить, когда произошла эта встреча – после 26 сентября 1839 г. (приезд Гоголя из-за границы) и до 26 октября (отъезд Гоголя вместе с Аксаковыми в Петербург)^{85а}.

Армфельд, уже встречавшийся с Гоголем, пригласил его к себе на обед, а заодно (рассказывает Галахов) и несколько «близких знакомых, в том числе и меня, жаждавших лицезреть новое светило нашей литературы». Гоголь, по своему обыкновению, «сидел серьезный и сдержанный, как будто дичился, встретив две-три незнакомых личности», но заговорил, когда зашла речь о литературной новинке – повести Квитки-Основьяненко «Пан Халевский». «Соглашаясь с замечанием, что в главном лице [Халевском] есть преувеличения, доходящие до карикатуры, он старался, однако ж, умалить этот недостаток. Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что он в невыгодном отзыве о Квитке видел как бы косвенную похвалу себе, намерение возвеличить его собственный талант». Но возможно и другое: порицатели Квитки-Основьяненко косвенно метили в Гоголя, ограничивая его значение пределами малороссийской литературы. «Вообще, – заключает Галахов, – он говорил очень умно и держал себя отлично, не в пример другим случаям» [Галахов, с. 244].

Среди новых знакомых Гоголя, как уже упоминалось, был и писатель Иван Иванович Панаев (1812–1862), который вместе с женой остановился в Москве на обратном пути из Казанской губернии в Петербург. Авдотья Яковлевна Панаева (1819 или 1820–1893) подробно описала их совместный визит к Аксаковым, у которых они встретили Гоголя; возможно, это был уже другой

визит, так как мемуаристка ничего не говорит о чтении «Мертвых душ». Да и настроение Гоголя в этот раз не располагало к чтению.

За обедом Гоголю «подали особенный пирог, жаркое тоже он ел другое, нежели все. Хозяйка дома потчевала его то тем, то другим, но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном».

После обеда Вера Сергеевна спросила Панаеву, какое впечатление произвел на нее Гоголь. «Я с наивной откровенностью ответила, что он, должно быть, очень сердитый и капризный. Она стала уверять меня, что он от болезни сделался такой молчаливый и раздражительный и что сегодня он был особенно не в духе» [Панаева, с. 80]⁸⁶.

В первые же дни пребывания в Москве Гоголь свел еще одно новое знакомство – с Измаилом Ивановичем Срезневским (1812–1880), который 7 октября сообщал матери, что он «имел случай увидеться с этим русским испанцем». Кстати, с этой, «испанской», стороны одновременно аттестовал Гоголя и К. Аксаков: «Вообразите, что он был в Испании во время междоусобной войны; в Лиссабоне также» [ЛН. Т. 58. С. 564]. Очевидно, Гоголь пускался и в некоторые подробности своей испанской жизни, но после описания им Триеста в московском письме к матери мы понимаем, чего стоили эти подробности...

«Очень молодой человек, – продолжает Срезневский свой рассказ о Гоголе, – хорошенький собою, умненький, любящий все славянское, все малороссийское, но с первого вида мало обещающий». Выпускник Харьковского университета, фольклорист и этнограф, Срезневский заинтересовался больше всего славяноведческими изысканиями Гоголя, который был еще во власти своего нового замысла – драмы из жизни запорожцев. Срезневскому удалось расшевелить Гоголя; однажды они просидели втроем (еще М.С. Щепкин) «целый вечер», «говорили все о Малороссии, между прочим читали кое-что из Баллад Украинских и Думок и Песен». Срезневский сообщает, что «передал Щепкину Москаля Чаривника; он издаст его как 2-ю часть Украинского Сборника, и Гоголь будет держать корректуру» [Срезневский, с. 14, 15, 20]⁸⁷.

Перед отъездом Срезневского в западнославянские земли Гоголь снова встретился с ним и оставил в его альбоме следующую запись: «Душевно желаю вам набрать, прибрать, раздать и привезти всякого добра. Гоголь. 1839. Октября 10. Москва» [IX, 26].

Тем временем молва о пребывании Гоголя в Москве дошла до столицы. «...Вы привезли с собою в подарок нашей литературе

беглеца Пасичника! – писал 16 октября 1839 г. Погодину Николай Константинович Калайдович, сын известного археолога К.Ф. Калайдовича, в ту пору студент Училища правоведения. – Знаете ли, что известие об этом возбудило у нас энтузиазм! Теперь только и разговоров, что о Гоголе и новых его произведениях... Любители петербургской жизни и петербургского общества (которых у нас не мало) завидуют теперь москвичам, которые, по всей вероятности, прежде их будут наслаждаться новыми творениями Гоголя» [ЛН. Т. 58. С. 564–566]. В старинном соперничестве Москвы и Петербурга возникла новая, «гоголевская» нота; вскоре она проявится в отношении к писателю, с одной стороны, москвичей Аксаковых или Киреевских, а с другой, скажем, петербуржца Плетнева.

Первый месяц пребывания писателя в старой столице был омрачен событием, имевшим место на представлении «Ревизора». Гоголь еще не видел эту комедию на московской сцене; в свое время он обещал участвовать в ее подготовке, но не сдержал слова. На спектакль Гоголь попал спустя более чем три года – 17 октября 1839 г.

За три дня до этого, в субботу, появилось газетное извещение: «Во вторник, 17 октября, не в счет абонемент: Ревизор, оригинальная комедия в 5 действиях, в прозе, соч. *Н. Гоголя*; девергисмент. Начало в 7 часов» [МВед., 1839. № 82; подчеркнуто в оригинале].

Публика, заполнившая в тот день Большой театр (в то время большая и малая сцены еще не были поделены между оперной и драматической труппами), была пестрой. Присутствовало, по словам В.С. Аксаковой, «общество избранное». Пришел проживавший в старой столице генерал-майор А.Ф. Орлов, в прошлом участник Отечественной войны, член «Арзамаса» и Союза благоденствия. Много было литераторов: Погодин, Белинский, Боткин, Грановский, Катков, Огарев, Е.Ф. Корш («барон»), Кетчер – и, конечно, чуть ли не в полном составе семейство Аксаковых.

Гоголь расположился в ложе бенуара Чертковых, знакомых ему еще по пребыванию в Риме; рядом – ложа Аксаковых, за нею – Павловых. В ожидании начала Гоголь как можно глубже втянулся в кресло, чтобы его не видели из зала.

По общему мнению, спектакль удался. Щепкин, игравший городничего, «был удивительно хорош» (В.С. Аксакова), «неподражаем» (Огарев), П.В. Орлов в роли Осипа – «также неподражаем» (Огарев). И.В. Самарин как Хлестаков – «средней доброты». Общая оценка – «превосходно, кроме Синецкой (М.Д. Львова-Си-

нецкая играла Анну Андреевну. – Ю. М.), которая, мне кажется, не умеет схватить это слияние провинциализма, скверных приемов и романтичности» (Огарев [РМ. 1888. № 11. С. 1–2]).

Актеры играли с подъемом: они знали, что в театре Гоголь. Праздничное настроение царило среди зрителей; многие спрашивали, где автор, и пытались разглядеть его в глубине ложи; «он же совершенно ушел в креслы и закрылся рукой так, что и нам (т. е. Аксаковым, находившимся в соседней ложе. – Ю. М.) нельзя было его видеть» [ЛН. Т. 58. С. 572].

Но главное испытание подстерегало Гоголя впереди. Константин Аксаков с друзьями решил превратить этот вечер в своеобразное чествование, заранее договорившись аплодировать при любой возможности, а по окончании спектакля вызвать автора. События развернулись быстрее, чем ожидалось: уже после второго акта раздались голоса «автора!», к которым присоединились и другие. Это подтверждает и Н.Ф. Павлов в письме, отправленном три дня спустя (20 октября) Шевыреву: «После второго действия стали вызывать. Хотя в театре было немного, но публика приняла единодушное участие в вызове...» [Отчет, с. 119]. Возбуждение росло. «Уж если вызывать, так вызывать же!» – решил Константин. Можно себе представить, что творилось в зале, если тот же Константин, по его словам, работал «всеми силами, голосом, руками и ногами» [ЛН. Т. 58. С. 570], «барон <Корш> отхлопал себе ладоши, которые рдеют и покрываются пузырями» [РМ. 1888. № 11. С. 1], а Грановский даже поругался с Белинским и Катковым, «которые тоже требовали выхода», он же считал, что автор не «обязан отдавать себя на волю публики...» [Грановский, ч. 2, с. 374–375].

Но вот поднялся занавес, и зрители вместо Гоголя увидели исполнителя роли Хлестакова И.В. Самарина, который объявил, что автора в театре нет... Воодушевление и восторг сменились другими чувствами. «Все были чрезвычайно поражены, удивлены, огорчены этим ... стали говорить: “Что же, разве ему неприятно это?”» [ЛН. Т. 58. С. 572]. Действительно, с нормальной точки зрения, что же здесь «неприятного» – признание, почет, слава?.. Но не для Гоголя, у которого, как уже догадывался С.Т. Аксаков, «все нервы вдсятеро тоньше и устроены как-нибудь вверх ногами!» [Воспоминания, с. 96].

Сергей Тимофеевич попытался удержать Гоголя, но безуспешно. Потом вдогонку бросился Погодин, но не нашел его. По некоторым сведениям, Гоголь отправился не на Девичье поле, где он жил, а в дом Чертковых на Мясницкой, и по возвращении из

театра Елизавета Григорьевна будто бы нашла его «храпящим на диване» (воспоминание дочери Чертковых С.А. Ермоловой [РА. 1909. № 6. С. 301]).

Через день-два Гоголь написал письмо директору театра Загоскину, объясняя свой поступок тем, что незадолго до спектакля получил какое-то горестное известие из дома.

...Когда коснулся ушей моих сей единодушный гром рукоплесканий, так лестных для автора, сердце мое сжалось и силы мои меня оставили. Я смотрел с каким-то презрением на мою бесславную славу и думал: теперь я наслаждаюсь и упояюсь ею, а тех близких, мне родных существ, для которых я бы отдал лучшие минуты моей жизни, сторожит грозная, печальная будущность; сердце мое переверотилось! <...> Я исчез из театра. Вот вам причина моего невежественного поступка [XI, 256].

Хотя письмо не дошло до адресата, но его содержание стало известно многим, и объяснение Гоголя сочли неискренним и лицемерным. Что же касается С.Т. Аксакова, то его отношение к выдвинутой версии менялось. Вначале он решил, что Гоголь просто «наклепал на себя небывалые обстоятельства»: мать Николая Васильевича вскоре приехала в Москву, и незаметно было, чтобы она пережила перед этим какую-либо большую неприятность. Но позднее Аксаков отступился от этой мысли, признавая вполне возможным, что «обыкновенное письмо о затруднении в уплате процентов по имению, заложенному в Приказе общественного призрения, могло так расстроить Гоголя, что всякое торжество, приятное самолюбию человеческому, могло показаться ему грешным и противным» [Воспоминания, с. 143].

Вполне допустима и множественность причин, их наслоение. Так было летом 1829 г., когда провал «Ганца Кюхельгартена» совпал с обострением болезни и, возможно, любовной неудачей. Обращает на себя внимание фраза из письма Загоскину: «моя бесславная слава»... Гоголь был тщеславен, он жаждал славы, он видел, что его мечты сбываются, что восторг и почитание, которого он вкусил в Москве, достигли своего пика. Но в Гоголе жила и огромная неуверенность в себе, таилось тревожное сомнение в том, насколько прочна, долговременна и оправданна эта слава. Не обмануться бы, не сглазить, не поддаться бы легкому самообольщению. Тем более сейчас, когда создается главный труд его жизни, в сравнении с которым все прежде написанное им – ученические опыты. Нет, настоящая его слава еще впереди...

Возможно, что и исполнение пьесы не показалось ему столь уж совершенным. Особенно коробила его игра Самарина-Хлестакова, в которой, кстати, и другие находили недостатки. Все это косвенно подтверждается свидетельством С.Т. Аксакова: Гоголь говорил ему о «своем “Ревизоре”, очень сожалея о том, что главная роль, Хлестакова, играетя дурно в Петербурге и Москве, отчего пьеса теряла весь смысл...» [Там же. С. 101]. Этот разговор происходил во время поездки Аксаковых и Гоголя в Петербург в конце октября 1839 г., т. е. буквально через несколько дней после упомянутого спектакля и, конечно, под его впечатлением. О недовольстве Гоголя игрою Самарина можно судить и по реплике писателя, переданной третьим лицом: «Зачем он симпатичен? *Этому* Хлестакову я первый подал бы есть, если бы он был голоден: *мой* Хлестаков не должен возбуждать в зрителе чувство сострадания...» [К. А., с. 25; курсив в оригинале]. Когда была произнесена эта фраза, неизвестно; но повод ее очевиден – упомянутый спектакль (17 октября 1839 г.), ибо других возможностей видеть Самарина в роли Хлестакова Гоголю не представлялось. Примечательно и то, что реплика относится к событиям второго действия (голодный Хлестаков в гостиничном номере!), после которого, по-видимому, Гоголь и покинул театр.

Наконец, весьма болезненным был для Гоголя и вызов на сцену: обычно его стесняло присутствие одного-двух незнакомых лиц, а тут нужно было выйти на обозрение сотен – бушующего и кипящего зрительного зала... И разрешение ситуации, которое нашел Гоголь, не первое в его биографии – отступление, внезапный уход, бегство⁸⁸...

Через девять дней после случившегося, 26 октября, Аксаковы и Гоголь выехали в Петербург; Сергей Тимофеевич для того, чтобы определить в Пажеский корпус младшего сына Мишу, Гоголь – чтобы забрать сестер из Патриотического института.

Ехали в большом дилижансе, разделенном на два купе; в первом сидели Гоголь и Миша, во втором – Сергей Тимофеевич с Верой.

Настроение Гоголя вновь изменилось – к лучшему. Он беспрестанно шутил в своей неподражаемо-серьезной манере, разыгрывал комические сценки.

Вот продавец пряников подошел со своим товаром. «Гоголь, взявши один из них, начал с самым простодушным видом и серьезным голосом уверять продавца, что это не пряники; что он ошибся и захватил как-нибудь куски мыла вместо пряников, что

и по белому их цвету это видно, да и пахнут они мылом, что пусть он сам отведаст... Продавец сначала очень серьезно и убедительно доказывал, что это точно пряники, а не мыло, и, наконец, рассердился» [Воспоминания, с. 103].

Сполна продемонстрировал Гоголь и свое умение «угадать человека». В Торжке подали проезжающим знаменитые пожарские котлеты, в которых на поверку оказались волосы. «Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового: “Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда притти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух, и проч., и проч.”». Пришел половой и «отвечал точно так же, что говорил Гоголь, многое даже теми же самыми словами». «Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек посмотрели на нас, выпучив глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно» [Там же. С. 103].

Между прочим выясняется, что комические выходки против трактирщиков, продавцов – один из излюбленных «жанров» Гоголя. А.Д. Галахов вспоминает эпизод (относящийся к более позднему времени), как вчетвером – он, Краевский, Боткин и Гоголь – прекрасно провели время в гостинице Яра, близ Петровского парка. «За обедом он [Гоголь] разговорился и даже шутил. Когда на закуску была подана старая редька, он позвал слугу и спросил его: “Что это такое?” – “Редиска”, – отвечал слуга. “Нет, мой друг, это не редиска, а редище, точно так же, как ты не осленок, а ослище”» [Галахов, с. 245].

...На четвертый день приехали в Петербург. Аксаковы отправились к родственникам Карташевским, жившим на Владимирской улице, а Гоголь остановился у Плетнева в доме Строганова на Новомихайловской. Позднее он переехал к Жуковскому в Шепелевский дом, что рядом с Зимним дворцом. До своего отъезда за границу Гоголь бывал здесь не раз – на знаменитых субботах Жуковского.

Буквально на следующий день после приезда, 31 октября, Гоголь поспешил в дом на Михайловской площади, к Виельгорским, чтобы снова оказать им поддержку в трудную и скорбную пору – первые недели пребывания на родине без Иосифа (Виельгорские вернулись в Петербург 18 октября). Не застав Михаила Юрьевича дома, Гоголь – на бумаге с черной траурной каймой – написал записку: «Вы знаете сами и можете сами чувствовать, как мне будет приятно вас видеть... Много объятий посылаю вам заочно. До завтра!» [XI, 260; Материалы, т. 1, с. 95;

см. также: Лямина, Самовер, с. 466]. Из этого можно заключить, что и на другой день Гоголь побывал у Виельгорских.

Затем Гоголь весь погрузился в заботы в связи с окончанием сестрами Патриотического института. Нужны были деньги за уроки музыки, на экипировку, на обратную дорогу; Гоголь надеялся получить через Жуковского вспоможение от императрицы, но по случаю болезни ее не решались беспокоить. И тут выручил С.Т. Аксаков. Возможность помочь Гоголю Сергей Тимофеевич воспринял как великое счастье. Этот день – 10 ноября – запомнился ему на всю жизнь.

«Вчера Гоголь обедал у нас и ушел в 8 часу, – писал Сергей Тимофеевич жене. – Мы объяснились и я, все же теперь, по прошествии 13 часов, нахожусь еще в волнении, так я был глубоко проникнут этою сценою. Это письмо должны прочесть только ты, моя бесценная Оленька, да ты, дражайший Константин. Никто более. Здесь знают Вера да Маша (племянница Аксакова, дочь Карташевских. – Ю. М.)». Аксаков рассказывает о стесненных обстоятельствах Гоголя и о том, как трудно ему в этом признаться: «Да и как унизиться великому человеку до просьбы денег, в которой, наверно, еще получит отказ!.. Зато когда я уверил его (я его обманул), что у меня деньги есть, что это меня не расстраивает, даже не стесняет, когда он почувствовал, что ему не стыдно, не совестно принять помощь от человека, заслуживающего эту честь, это счастье... Боже мой, какая радость разлилась по всему существу его...» [РМ. 1913. Февраль. С. 224–225].

Но мало было заручиться согласием Гоголя взять деньги, – надо было еще решить, где их достать. Сергей Тимофеевич занял 2000 рублей у Бенардаки, а потом возместил эти деньги в счет долга, который прислал ему из Москвы Великопольский [Воспоминания, с. 108]. Последний уже не первый раз выручал Гоголя.

В знак признательности Гоголь раскрыл Сергею Тимофеевичу одну из своих творческих тайн: помимо «Мертвых душ», завершение которых «он считает задачей своей жизни», им задумана другая вещь – быть может, «лучшее его произведение». Речь шла о трагедии из истории Запорожья, начатой еще в Мариенбаде и Вене; за истекшие несколько месяцев замысел созрел настолько, что в сознании прояснилось все, вплоть «до последней нитки, даже в одежде действующих лиц»; осталось лишь перенести на бумагу [Там же].

Пока же Гоголь решил познакомить петербуржцев с «Мертвыми душами». Известно по крайней мере четыре чтения Гоголем

своей поэмы. Вначале он прочел несколько глав в квартире Жуковского, в присутствии Плетнева – было это до 4 декабря. Затем (5 декабря) состоялось чтение у П.А. Валуева, видного чиновника, камер-юнкера. В числе гостей находились Плетнев, Жуковский, А.И. Тургенев и, возможно, жена Валуева Мария Петровна – дочь П.А. Вяземского. Чуть позже, 11 декабря, Гоголь читал поэму у Карамзиных – вдове писателя Екатерине Андреевне, сыну Андрею Николаевичу и тому же А.И. Тургеневу. Некоторые, например Жуковский, А.И. Тургенев, Андрей Карамзин, уже были знакомы с главами поэмы; другим – П.А. Валуеву или Е.А. Карамзиной – Гоголь читал впервые. Общее впечатление было более чем положительным. «Говорят, превосходная вещь этот роман», – сообщал Грановскому И.С. Тургенев, сам не присутствовавший на чтениях [Тургенев И. Письма, т. 1, с. 175].

Познакомил Гоголь с поэмой и своих старых друзей – «однокорытников» – произошло это у Н.Я. Прокоповича; к сожалению, присутствовавший на этой встрече П.В. Анненков не назвал других слушателей, сообщив лишь о том впечатлении, которое произвели на всех «Мертвые души»: «Общий смех мало поразил Гоголя, но изъятие нелицемерного восторга, которое видимо было на всех лицах под конец чтения, его тронуло...» [Анненков, 1983, с. 48].

С.Т. Аксаков не присутствовал на этих чтениях и едва ли знал о них в подробностях; поэтому, в его глазах, чуть ли не все петербуржцы проявили неуважение и непонимание Гоголя. Тем самым продолжился спор о Гоголе между двумя столицами. «О, Петербург, о, пошло-деловой, всегда равно отвратительный Петербург!» Сергей Тимофеевич подтверждает это фактами. «Вот, например, Владимир Иванович Панаев... старый мой товарищ, литератор и член Российской Академии... вдруг спрашивает меня при многих свидетелях: “А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и неестественное?”» Для автора полуподражательных «Идиллий» (СПб., 1820), «идиллического коллежского асессора», как называл его Пушкин, такая реакция была вполне ожидаема. Напомним, кстати, что Панаев лично знал Гоголя, служившего под его началом в Департаменте уделов; в то время Панаев оказывал будущему писателю свое покровительство.

В родственном Аксакову семействе Карташевых, с которым Гоголь познакомился, он тоже не нашел понимания. Глава семьи Григорий Иванович Карташевский (1777–1840), зять Сергея Тимофеевича (он был женат на сестре последнего Надежде Ти-

мофеевне), крупный чиновник, сенатор, видел в гоголевских произведениях лишь внешний комизм; впрочем, это не мешало ему радушно принимать *земляка* Гоголя в своем доме: Карташевский был родом с Украины. Только дочь Карташевских Машенька отдавала должное великому писателю – и неудивительно: предмет глубокой сердечной привязанности Константина Аксакова, она находилась под сильным влиянием его эстетических взглядов, его понимания Гоголя.

Высказывались о Гоголе и гости Карташевских; Сергею Тимофеевичу запомнился день 16 ноября, когда на обед пришли сразу «два тайных советника». Один – Николай Иванович Хмельницкий (1789–1845), в недавнем прошлом смоленский губернатор, а также драматург, переводчик, между прочим, автор комедии-переделки «Воздушные замки» с главным героем Альнаскарковым, в отталкивании от которого Гоголь строил своего Хлестакова. Другой тайный советник – «малоизвестный, но не без дарования, Марков», т. е. скорее всего Михаил Александрович Марков (1810–1876), поэт, прозаик и драматург⁸⁹. Во время обеда, отмечает Аксаков, «несколько раз разговор обращался на Гоголя. Боже мой, что они говорили, как они понимали его – этому трудно поверить! <...> Это были калибаны в понимании искусства...» [Воспоминания, с. 109].

Исключение, по мнению Сергея Тимофеевича, составлял Бенардаки: «...этот грек ... очень умный, но без образования, был единственным человеком в Петербурге, который назвал Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь!» [Там же]. Со своей стороны, и Гоголь испытывал к Бенардаки глубокий интерес, зародившийся еще со времени знакомства в Мариенбаде. Этот интерес возрастет в период следующего приезда Гоголя в Россию – в 1841–1842 гг.

Однако Аксаков говорит о Бенардаки как «единственном человеке в Петербурге», столь высоко ценившем Гоголя... Не оговорка ли это? Очевидно, нет, потому что даже Жуковского Сергей Тимофеевич готов был упрекнуть в том, что он «не вполне ценил талант Гоголя». Больше того: «Я подозреваю в этом даже Пушкина, особенно потому, что Пушкин погиб, зная только наброски первых глав “Мертвых душ”». Оба они восхищались талантом Гоголя в изображении пошлости человеческой... восхищались его юмором, комизмом, – и только. Серьезного значения, мне так кажется, они не придавали ему» [Там же. С. 111–112].

Это, конечно, не совсем так: один только факт передачи Гоголю идеи («мысли») «Мертвых душ» и связанные с этим обстоя-

тельства (см. главу «На подступах к книге жизни») говорят о том, что Пушкин придавал его творчеству «серьезное» – очень «серьезное!» – значение и считал, что оно вправе занять свое место не только в истории русской, но и европейской литературы. Но дело в том, что к концу 1830-х годов уже начало складываться особое, славянофильское, мессианское понимание Гоголя, которому отдавал дань и Аксаков-старший и с позиций которого он и оценивал этого писателя. Статус Гоголя еще более повысился, до уровня не просто европейского, но исключительного явления. «Такие люди рождаются не годами, а столетиями» [ЛН. Т. 58. С. 580], – запишет в своем дневнике Ю.Ф. Самарин. Так бы, пожалуй, Пушкин о Гоголе не сказал. Хотя бы потому, что находил в своем «столетии» не одного великого всемирно-значительного художника, а многих...

В Петербурге Гоголь дважды встречался с Белинским, незадолго перед тем переселившимся в северную столицу. Один раз они вместе обедали у В.Ф. Одоевского; присутствовал еще И.И. Панаев. В письме Боткину от 22 ноября Белинский описал настроение Гоголя: «Хандрит, да есть от чего, и все с иронической улыбкою спрашивает меня, как мне понравился Петербург» [Белинский, т. 11, с. 420]⁹⁰. «Хандра» Гоголя бросалась в глаза и другим; так, И.С. Тургенев «узнал» у Плетнева, «что Гоголь живет у Жуковского, хандрит жестоко и едет обратно в Рим» [Тургенев И. Письма, т. 1, с. 175]. Да и сам Гоголь не скрывал своего желания поскорее вырваться из Петербурга: «Несмотря на многих моих истинных друзей, делающих мое пребывание здесь сносным, несмотря на это, не вижу часу ехать в Москву и весь бы летел к вам сию же минуту» (М.П. Погодину, 4 ноября 1839 [XI, 263]).

26 ноября Сергей Тимофеевич попытался вытащить Гоголя в Александринский театр, на «Ревизора», но тот решительно отказался; из его памяти еще не изгладились тяжелые впечатления от премьеры, состоявшейся тремя годами ранее. Побывавшие на спектакле Аксаковы нашли, что пьеса идет из рук вон плохо; разочаровал их Сосницкий-Городничий, о Н.И. Куликове же, сменившем Дюра в роли Хлестакова, и говорить не приходилось. По словам Веры Сергеевны, он «играет, не понимая роли всей, без толку», хотя по внешним данным более соответствует этому персонажу, чем, скажем, Самарин на московской сцене [ЛН. Т. 58. С. 576].

К пребыванию Гоголя в Петербурге относится эпизод, зафиксированный 15 ноября в дневнике А.И. Тургенева: «С Вяз^{емским}, Жук^{овским} и даже Вал^{уевым}, спор за поведение с мерзавцами: один Гоголь за меня» [Гиллельсон,

с. 139]. Под «мерзавцами» подразумевался прежде всего Дмитрий Николаевич Блудов, крупный чиновник, в 1832–1838 гг. министр внутренних дел. Будучи в 1826 г. делопроизводителем Верховной следственной комиссии по делу декабристов, Блудов участвовал в подписании приговора брату А.И. Тургенева Николаю Ивановичу. «Вопрос об его [Александра Ивановича] отношениях с Д.Н. Блудовым был причиной постоянных размолвок между ними и его петербургскими друзьями» [Там же]. Те, по-видимому, помнили «другого» Блудова, одного из членов «Арзамаса», человека, близкого Карамзину, издавшего, по завещанию историка, посмертный 12-й том «Истории государства Российского»... Гоголь же (как указал М. Гиллельсон) чуть ли не единственный поддержал А.И. Тургенева. Добавим, что поступок этот не случайный: далекий от либерализма и радикализма (в том числе и декабристского толка), Гоголь обычно уклонялся от официальной линии по отношению к инакомыслящим, не желая поддакивать властям; так было в «деле о вольнодумстве» и преследовании профессора Белоусова, так было в общении с поляками-эмигрантами...

Около 18 ноября⁹¹ Гоголь забрал сестер из института – досрочно, за три месяца до выпуска, чтобы поскорее уехать из Петербурга, – и поместил их у Балабиных. Здесь Лиза и Анна проводили день в обществе Марии Балабиной, бывшей гоголевской ученицы, а ночевали в соседнем доме у Василия Николаевича Репнина, который был женат на старшей из сестер Балабиных, Елизавете Петровне. «Брат тоже часто приезжал к Балабиным с нами обедать» [Русь. 1885. № 26], – вспоминает Лиза.

29 ноября Гоголь привез сестер к Аксаковым – знакомиться. Впечатление они произвели грустное: «...в новых длинных платьях совершенно не умели себя держать, путались в них, беспрестанно спотыкались и падали, отчего приходили в такую конфузию, что ни на один вопрос ни слова не отвечали. Жалко было смотреть на бедного Гоголя» [Воспоминания, с. 113]. Сергею Тимофеевичу вторит его дочь Вера, впрочем, с некоторой оговоркой: «Они мне очень нравятся сами по себе, но, Боже мой, что за понятия, что за мир, в котором они живут, что за дети!» [ЛН. Т. 58. С. 580].

Первые дни декабря были для Гоголя особенно тягостные: начались жестокие морозы, которые он не переносил. Гоголь кутался, но это не помогло – он отморозил ухо.

Наконец, был назначен день отъезда – воскресенье 17 декабря [Материалы, т. 1, с. 153]. Ехали в двух дилижансах: в четырехместном, в котором поместились сестры Гоголя и Сергей Ти-

мофеевич с Верой (Миша остался в Петербурге), и двухместном, где находились знакомый Аксаковых Федор Иванович Васьков и Гоголь.

Настроение было совсем не такое светлое, как двумя месяцами раньше во время поездки из Москвы в Петербург. Досаждали сестры: выросшие в тепличной институтской атмосфере, они «всего боялись, от всего кричали и плакали, особенно по ночам»; «к тому же, как совершенные дети, беспрестанно ссорились между собою». «Все это приводило Гоголя в отчаяние и за настоящее и за будущее их положение» [Воспоминания, с. 114]. Другая причина – Васьков. Каково было Гоголю, который за обедом, в присутствии незнакомого человека, не мог выдержать несколько часов! Тут же приходилось терпеть сутки за сутками... «Когда Гоголь садился вместе с Васьковым, то сейчас притворился спящим и в четверо суток не сказал ни одного слова...» [Там же. С. 115].

Обычно днем, меняясь с Сергеем Тимофеевичем, Гоголь пересаживался в четырехместный дилижанс, а ночью возвращался к себе. Это дало ему повод называть себя «днем», а «отесеньку», т. е. Сергея Тимофеевича, – «ночью».

Вере Сергеевне запомнилась еще одна смешная подробность. Один раз, наблюдая обозных лошадей, которые тянулись впереди, Гоголь сказал: «Вот эта лошадь непременно должна быть Степан Степаныч», а сестра его меньшая (т. е. Лиза), над которой он подшучивал прежде, говорит: «А мне кажется, что Николай Васильич» [ЛН. Т. 58. С. 580].

В Москву приехали спустя четверо суток – вечером 21 декабря⁹².

Гоголь поселился с сестрами на старом месте, в доме Погодина на Девичьем поле. Николай Васильевич по-прежнему жил в большой комнате на антресолях, Ане с Лизой отвели комнату напротив.

Помимо Михаила Петровича, в доме жили его престарелая мать, жена Елизавета Васильевна и двое детей, сын и дочка.

Сын Погодина Дмитрий, которому к тому времени едва исполнилось три года, вспоминал, «каким почетом, можно сказать, благоговением был окружен» Гоголь в родительском доме. «Детей он очень любил и позволял нам резвиться и шалить, сколько угодно. Бывало, мы, то есть я с сестрою, точно службу служим; каждое утро подойдем к комнате Н. В., стукнем в дверь и спросим: “Не надо ли чего?” – “Войдите”, – откликнется он нам. Несмотря на жар в комнате, мы заставляли его еще в шерстяной фуфайке, поверх

сорочки. “Ну, сидеть, да смирно”, – скажет он и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязанье на спицах шарфа или ермолки, или в писании чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно маленьких клочках бумаги» [Воспоминания, с. 407].

Гоголь вернулся к обычному распорядку. Первую половину дня работал в своей комнате; потом спускался вниз, обедал вместе со всеми, иногда, если был в настроении, тут же сам готовил макароны, не доверяя их никому; после обеда поднимался наверх и не пускал к себе никого до семи часов... По вечерам Гоголь много ходил, благо что дом был просторен, и еще, как запомнилось Дмитрию Погодину, много пил. «В крайних комнатах, маленькой и большой гостиных, ставились большие графины с холодной водой. Гоголь ходил и через каждые десять минут выпивал по стакану» [Там же. С. 408]. Елизавета Васильевна рассказывает и о другой его привычке: «Брат... был большой лакомка, и у него в бюро всегда имелся большой запас орехов и слив в сахаре (его любимое лакомство)» [Русь. 1885. № 26].

Понемногу Гоголь стал выводить своих сестер в общество. «Брат часто возил нас на литературные вечера к Хомяковым, Свербеевым, Киреевским и др., хотя мы очень мало вникали в самые чтения: я думаю, что это было для нас в то время слишком серьезно» [Там же], – вспоминает Елизавета Васильевна. Свободнее чувствовали себя сестры у Аксаковых, в доме которых бывали трижды в неделю; Аня все более сближалась с Верой Сергеевной, а Лиза – с ее сестрой Ольгой.

И тут произошло еще одно знаменательное знакомство. «К счастью моему, – сообщал Гоголь матери 25 января 1840 г. – сюда приехал архимандрит Макарий – муж известный своею святою жизнью, редкими добродетелями и пламенною ревностью в вере. Я просил его, и он так добр, что, несмотря на неименье времени и кучу дел, приезжает к нам и научает сестер моих великим истинам христианства» [XI, 276]. Елизавете Васильевне эти посещения тоже запомнились: «В то время в Москву приехал из Алеутских островов уважаемый всеми миссионер... В Москве многие его приглашали для духовных бесед. Брат также пригласил его для бесед с нами...» [Русь. 1885. № 26]. Правда, вопреки утверждению Елизаветы Васильевны, Алеутских островов Макарий никогда не видел, но личность это была действительно незаурядная.

Архимандрит Макарий (в миру Михаил Яковлевич Глухарев; 1792–1847) окончил С.-Петербургскую духовную академию, отличался замечательной образованностью, знал несколько язы-

ков: еврейский, латинский, греческий, немецкий, французский, отчасти – английский и итальянский. Широкою известность принесла ему миссионерская деятельность в Сибири, которой он посвятил 13 с половиной лет (с августа 1830 по июль 1844 г.); как основателя Алтайской миссии, его называли «апостолом Алтая» (вот откуда «алеутские» ассоциации: простодушная Елизавета Васильевна спутала Алтай с Алеутами; к тому же она невольно приписала Макарию факт из биографии Ф.И. Толстого-Американца, который, по известному выражению из «Горя от ума», «в Камчатку сослан был, вернулся алеутом...»). Московский же митрополит Филарет называл Макария еще «романтическим миссионером» [Флоровский, с. 188]. В Москву в 1839 г. Макарий приехал по благотворительным делам своей миссии – для сбора пожертвований в связи с разразившимся на Алтае голодом. Именно в это время с ним встретился Гоголь.

Из упомянутого гоголевского письма от 25 января 1840 г.: «Я сам по несколькоким часам останавливаюсь и слушаю его, и никогда не слышал я, чтобы пастырь так глубоко, с таким убеждением, с такою мудростью и простотою говорил» [XI, 276]. Это, кажется, один из первых, если не первый известный случай, когда Гоголь проявил глубокий интерес к духовному деятелю; в будущем таких примеров станет больше. Тем важнее представить себе облик этого человека.

Прежде всего Макария отличала веротерпимость, стремление сблизить различные ветви христианства; он даже «мечтал построить в Москве храм с тремя отделами – для православных, католиков и лютеран» [Флоровский, с. 188]. Гоголю, который в то время держался убеждения, что «как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же», подобное умонастроение было весьма близко. Такую же терпимость проявлял Макарий и к разным народам, утверждая, что «нет народа, в котором бы Господь не знал своих». «Кто таков я, что берусь судить о незрелости народов для всемирной веры в Иисуса Христа, который за всех человеков и во спасение всех пролил Пречистую Кровь Свою...» Одно из сочинений Макария, датируемое 1839 г., носит название «Мысли о способах к успешнейшему распространению христианской веры между евреями, магометанами и язычниками в Российской державе» [Там же. С. 189].

Наконец, выгодно отличало Макария и отношение к науке, отнюдь не враждебное, как у многих духовных деятелей того (да и более позднего) времени, а наоборот – заинтересованное и дру-

жественное. Он полагал, что вере не противопоказаны научные знания – они ее укрепляют. Показателен такой факт: в 1840 г., возвращаясь из упомянутой поездки в Москву и Петербург, Макарий остановился в Казани и испросил у попечителя тамошнего учебного округа М.Н. Мусина-Пушкина дозволения посещать занятия в университете. «После Пасхи, – сообщает он, – мы брали уроки по анатомии... Дважды мы ходили в тамошнюю обсерваторию и удивлялись огромной, великолепной, достойной звездного неба трубе, недавно полученной из Германии... Я пользовался презанимательными и продолжительными беседами профессора ботаники, г. Корнуха-Троицкого, и еще чаще таким образом роскошествовал у ректора университета г. Лобачевского, которого ум и дар слова приводили меня в удивление, и у доктора Фукса, в котором не знаешь, чему более удивляться: богатству ли познаний или доброте и веселому нраву на старости» [Макаревский, с. 32].

Тут каждое имя говорит за себя: выпускник медицинского факультета Московского университета доктор философии Петр Корнух-Троицкий; питомец Геттингенского университета профессор естественной истории и ботаники Карл Федорович Фукс и, конечно, Николай Иванович Лобачевский, который как раз в то время (с 1827 по 1846 г.) был ректором Казанского университета.

Спектр знакомств Гоголя в этот приезд его в Москву был довольно широк и не ограничивался каким-либо одним кругом.

Так, он встретился с одним из самых близких Белинскому людей Василием Петровичем Боткиным (1811–1869), начинающим очеркистом, переводчиком, критиком. «...Ты познакомился с Гоголем – вот так поздравляю и *даже завидую*...» [Белинский, т. 11, с. 519], – писал ему 24 апреля из Петербурга Виссарион Григорьевич, который, как мы знаем, и сам был знаком с Гоголем. Похоже, Белинскому хочется снова пережить радость первого знакомства с великим писателем...

Познакомился Гоголь и с Кириллом Антоновичем Горбуновым (1822–1893), впоследствии – академиком портретной живописи, а в 1830-е годы – крепостным чембарских помещиков Владыкиных, посланным для обучения ремеслам в Московский художественный класс. Здесь весной 1839 г. были показаны работы Горбунова, обратившие на себя внимание и вызвавшие сочувственный отклик в «Московском наблюдателе» [1839. Ч. 2. Отд. «смесь». С. 50–51; см. также: Эфрос, с. 358 и далее]. Через некоторое время произошла встреча молодого художника с Гоголем, снабдившим его рекомендательным письмом к К. Брюллову.

Этот факт порадовал Белинского и круг его друзей, к которому был близок Горбунов, или, как его здесь ласково называли – Кирюша. «Кирюша познакомился с ним [Гоголем], и Гоголь его оценил и полюбил», – сообщал В.П. Боткин Белинскому из Москвы в Петербург 9–12 февраля 1840 г. «Я очень рад за Кирюшу, что он так хорошо познакомился с Гоголем», – отвечал 19 февраля Белинский [Белинский, т. 11, с. 682, 453].

Познакомился Гоголь, правда мельком, и со студентом словесного отделения Московского университета, начинающим поэтом Афанасием Афанасьевичем Фетом (1820–1892). Будучи питомцем погодинского пансиона (с февраля 1838 по начало 1839 г.), Фет бывал в доме Погодина и позже.

«Все мы хорошо знали, – рассказывал Фет позднее, – что Николай Васильевич проживал на антресолях в доме Погодина, но никто из нас его не видал. Только однажды, всходя на крыльцо Погодинского дома, я встретился с Гоголем лицом к лицу. Его горбатый нос и светло-русые усы навсегда запечатлелись в моей памяти, хотя это была единственная в моей жизни с ним встреча». Позднее, однако, Фет снова пришел к Погодину с тетрадкой стихов – «за приговором моему эстетическому стремлению...

– Я вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю, – сказал Погодин, – он в этом случае лучший судья.

Через неделю я получил от Погодина тетрадку обратно со словами: “Гоголь сказал, что несомненное дарование”» [Фет, с. 130]⁹³.

Встречался Гоголь и с Тимофеем Николаевичем Грановским (1813–1855), близким в свое время к кружку Станкевича, многообещающим ученым-историком, только что вернувшимся из-за границы и назначенным преподавателем в Московском университете. Виделись они и у Киреевских, и в доме Грановского – и не один раз. «Гоголь здесь давно, – извещал он Станкевича 20 февраля, – я его вижу раза два в неделю: он был у меня...» Грановский чуть ли не единственный, в ком возвратившийся из-за границы Гоголь как человек оставил определенно неблагоприятное впечатление: «...он очень переменялся. Много претензий, манерности, что-то неестественное во всех приемах». Но, добавляет Грановский, «талант тот же» [Грановский, т. 2, с. 384].

Встречался Гоголь и с Николаем Андреевичем Маркевичем (1804–1860), поэтом, выпускником Благородного пансиона при Петербургском университете. Маркевич был знаком с Пушкиным, С.А. Соболевским, П.В. Нащокиным, М.И. Глинкой – людьми

небезразличными и Гоголю. У Гоголя и Маркевича были общие интересы – к фольклору, прежде всего украинскому; еще в 1831 г., одновременно с выходом первой части «Вечеров на хуторе...», Маркевич издал «Украинские мелодии», где в поэтической форме воспроизвел народные поверья и предания. С Гоголем Маркевич встретился накануне выхода нового своего труда – «Украинские напевы, положенные на фортепиано» (М., 1840).

Общие интересы Гоголя и Маркевича должны были получить и практическое выражение с участием третьего лица – А.Н. Верстовского. 23 января Маркевич записал в дневнике: «Знакомство с Верстовским... Разговор с Гоголем... Собирались с Верстовским писать оперу “Страшная месть”». И на другой день: «Толковали о будущей опере. Я пишу либретто, Верстовский – партитуру» [ЛН. Т. 58. С. 896]. Впрочем, наверное, пути Гоголя и Верстовского пересекались и раньше – Алексей Николаевич Верстовский (1799–1862) занимал видные должности в дирекции московских театров: с 1825 г. он инспектор музыки, а с 1830 г. – инспектор репертуара. Присутствовал он и на памятном представлении «Ревизора» 17 октября 1839 г., когда автор покинул театр. А в январе 1840 г. он обещал отдать свою ложу Нащокину, чтобы тот по приезде в Москву матери Гоголя сводил ее в театр.

Забота Павла Воиновича Нащокина (1801–1854) о членах гоголевского семейства неслучайна: у него установились довольно близкие отношения с писателем. Один из ближайших друзей Пушкина, отставной военный, хозяин открытого дома, находившегося у храма, именуемого Старым Пименом, что в Воротниках, Нащокин был глубоко симпатичен Гоголю. Точное время их знакомства неизвестно; по словам Веры Александровны, жены Павла Воиновича, «это случилось еще до поездки Николая Васильевича в Италию», т. е. до отъезда его за границу в июне 1836 г.; однако В.А. Нащокина нечетко различает первый и последующие отъезды писателя из Москвы. Тем не менее весьма вероятно, что Нащокин действительно встретился с Гоголем «у С.Т. Аксакова», летом 1832 или весной и летом 1835 г. Во всяком случае, во время следующего посещения писателем Москвы Нащокин – среди первых слушателей Гоголя, читавшего «Мертвые души» 14 октября 1839 г. в доме Аксаковых. А по возвращении Гоголя из Петербурга они определенно сблизились, о чем свидетельствует обмен краткими записками, имевший место в декабре того же года.

Гоголь обещает «непреренно» быть с сестрами на обеде у Нащокиных, но просит не «обкармливать», ограничиться одним

«равиоли» (итальянским блюдом из теста наподобие пельменей), «дабы после обеда мы были хоть сколько-нибудь похожи на двуногих» [XI, 268]. Вряд ли хлебосольный и не знающий ни в чем меры Нащокин внял этой просьбе...

Нащокин же в своей записке, которая, возможно, отправлена после упомянутого обеда, развивает «птичью» тематику, привычно подсказываемую фамилией Гоголя и охотно иницируемую им самим. «Если Вы птица, Николай Васильевич – то – точно небесная»; он же, Нащокин, – «земноводная, обжорливая Утка, чем бы мне Га! Га! <...> не хотелось – быть – относительно Вас». Далее следует просьба, ради которой собственно и отправлена записка. Дело в том, что на обеде присутствовал Погодин, которому Нащокин остался должен 25 р. серебром (возможно, карточный долг); эти деньги мог бы заплатить Гоголь, проживавший у Погодина; но Нащокин хочет сделать это сам: «Вы видели – в каких роскошных чаях я <по зачеркнутому: мы> находились – у меня это признак... избытка» [Искусство. 1923. № 1. С. 330–331]. Характерный поступок для разоряющегося, но гордого Нащокина...

К превратностям судьбы Нащокин относился легко и философски-отстраненно. «В одном водевиле, – рассказывает историк П. Б.<артенев>, – представлена была жизнь его с цыганкою Ольгою и, сидя в креслах Московского театра, Нащокин глядел на собственное изображение. Немудрено при этом, что он прожил на веку своем несколько состояний... Случалось так, что он проживал последние крохи, топил камин мебелью; вдруг поступало к нему богатое наследство и снова жизнь его текла широкими волнами» [РА. 1878. Кн. 1. С. 86].

Ввиду коротких отношений, установившихся между Гоголем и Нащокиным, имеют определенную ценность зарисовки, сделанные позднее Верой Александровной.

Гоголь скоро стал своим человеком в нашем доме. Он был небольшого роста, говорил с хохлацким акцентом, немного ударяя на о, носил довольно длинные волосы, остриженные в скобку, и часто встряхивал головой, любил всякие малороссийские кушанья, особенно галушки, что у нас часто для него готовили. Обыкновенно разговорчивый, веселый, остроумный с нами, Гоголь сразу съеживался, стушевывался, забивался в угол, как только появлялся какой-нибудь посторонний, и посматривал из своего угла серьезными, как будто недовольными глазами или совсем уходил в маленькую гостиную в нашем доме, которую он особенно любил. Когда Гоголь бывал в ударе... он нас много смешил. К каждому слову, к каждой

фразе у него находилось множество комических вариаций, от которых можно было помереть со смеха. Особенно любил он перевернуть, конечно, в шутку, газетные объявления. Шутил он всегда с серьезным лицом, отчего юмор его производил еще более неотразимое впечатление [НВ. 1898. 7 октября].

Об атмосфере, царившей в доме Нащокиных, рассказывала и Ольга, сестра Николая Васильевича: «У них постоянно собирались все талантливые, из числа тех только помню актера Щепкина, который заговорил со мною по-малороссийски... Помню, как один играл на скрипке, другой – на рояли, а некоторые рисунки свои показывали, иные читали, верно свои сочинения; до моего уха долетали слова брата, когда он говорил: нужно развивать талант, грешно не пользоваться» [Головня, с. 15].

Спустя два года, после нового приезда в Россию и встреч с Нащокиным, Гоголь вдруг загорелся идеей устроить жизнь своего хорошего знакомого, одновременно оказав услугу и другому симпатичному ему человеку – Бенардаки. Но об этом разговор впереди.

Между тем Гоголь почувствовал потребность продолжить чтения «Мертвых душ» – к великой радости своих друзей, Аксаковых прежде всего. 23 декабря, в субботу, он прочел в аксаковском доме две главы, вторую и третью (первая глава была прочитана еще в октябре). «Это просто – чудо, – писал Сергей Тимофеевич сыновьям в Петербург. – На похвалу слов нет. Смешно до того, что все валились со смеха» [ЛН. Т. 58. С. 579]. Аксакову-старшему вторит Вера Сергеевна, сообщавшая в Петербург братьям: «...все смеялись, и, точно, нельзя не смеяться; но не одно смешное имеет у него достоинство, все чудно» [Там же. С. 577]. Поделилась своими впечатлениями с братьями и десятилетняя Надя Аксакова: «Это очень смешно» [Там же. С. 579]; ей не разрешили быть со взрослыми, и она слушала Гоголя в «другой комнате»⁹⁴.

Что же касается Константина Аксакова, то его восторженное отношение к Гоголю, кажется, превзошло всякую меру. Характерная деталь: по случаю приближающегося Нового года Каролина Павлова, жена Николая Филипповича Павлова, «по всему городу искала портрет Гоголя, чтобы повесить на елку для Константина вместе с портретом Гегеля» [Там же].

В новом 1840 г. продолжилось чтение «Мертвых душ», но неспешно, с большими интервалами, вызванными, очевидно, тем, что Гоголь дорабатывал, шлифовал очередную порцию текста.

6 марта он прочел четвертую главу, в начале апреля – пятую и 13 апреля⁹⁵ – шестую. На этом чтении в доме Аксаковых закончились; Гоголь, видимо, посчитал, что все остальное еще рано предавать огласке.

Воодушевление слушателей росло от одного раза к другому и, наконец, при чтении шестой главы, посвященной Плюшкину, достигло своего апогея; вместе с тем углублялось и понимание сложности гоголевского письма и гоголевского эмоционально-философского тона, не сводимого к одной комической интонации. «Это лицо [Плюшкин] превосходит все лица творческой фантазии, какие я только знаю, – писал Сергей Тимофеевич 15 апреля сыновьям. – Это нисколько не смешно, а грустно... Это чудо да и только...» [ЛН. Т. 58. С. 588]. И спустя много лет он помнил испытанное в этот день потрясение: «...создание Плюшкина привело меня и всех нас в великий восторг» [Воспоминания, с. 119].

Среди слушателей Гоголя были новые лица. Так на чтении второй и третьей глав присутствовал Юрий Федорович Самарин (1819–1876), только что окончивший словесное отделение философского факультета Московского университета, в будущем видный деятель славянофильства. После чтения он сделал восторженную запись в своем дневнике:

Да, мы можем назвать себя счастливыми, что родились современниками Гоголя... Это одна из тех первородных художнических натур, в которых нет ничего заученного, ничего заимствованного, ничего рассчитанного на эффект. Бесконечно разнообразен мир его внутреннего созерцания. Перенестись бы на один миг в этот очарованный мир... Я не буду тратить слов с теми, кто будет порицать Гоголя или не будет благоговеть перед ним безусловно, но я отвернусь от них, и эти люди потеряют всякую нравственную власть надо мною... [ЛН. Т. 58. С. 580].

Но Самарин показал себя не только восторженным, но и тонким ценителем Гоголя. Позже, уже по выходе из печати «Мертвых душ» и первых критических статей, он обратил внимание на замечание Шевырева о том, что комическое дарование Гоголя невольно препятствует многосторонней обрисовке персонажей. «Мы догадываемся, что кроме свойств, в них теперь видимых, должны быть еще другие, добрые черты; например Коробочка непременно будет набожна и милостива к нищим». По этому поводу Самарин писал к К.С. Аксакову: «Спрашивается, от кого же, если не от самого Гоголя, Шевырев мог узнать, что Коробочка набожна?»



Н.В. Гоголь читает «Мертвые души»
Рисунок Э. Дмитриева-Мамонова. 1839

Не он ли, представив ее в одном положении, в одном случае из ее жизни, умел сделать это так, что все другие свойства старушки-помещицы, не высказанные поэтом, вам открываются...» [Шенрок, т. 4, с. 71]. Самарин пронизательно отметил особое свойство гоголевских персонажей – их амбивалентность.

Не подозревая об этом, Самарин затронул те особенности изображения Коробочки, о которых в набросках к поэме говорил сам Гоголь: «И отчего коллежская регистраторша Коробочка, не читавшая и книг никаких, кроме часослова, да и то еще с грехом пополам... умела, однако ж, наполнить рублевками сундуки и коробочки... души в ломбард не заложены и церковь <на селе > хоть и не <очень > богатая была, <однако же > поддержана, и правились и заутрени, и обедни исправно...» [VI, 690–691].

Возвращаясь к серии гоголевских чтений поэмы, добавим, что на чтении шестой главы присутствовал А.О. Армфельд. А во время чтения случился еще один «полулегальный» слушатель –

В.А. Панов (о котором мы еще будем говорить): он приехал к Аксаковым, когда чтение уже началось, и чтобы не помешать, уселся «у двери другого моего [т. е. Сергея Тимофеевича] кабинета» – и «пришел в упоение». Когда чтение закончилось – напомним, что оно происходило перед самой заутреней Светлого воскресенья, – «все отправились в Кремль, чтоб услышать на площади первый удар колокола Ивана Великого» [Воспоминания, с. 119].

Читал Гоголь «Мертвые души» и в других московских домах – «у Ив. Вас. Киреевского и еще у кого-то» [Там же. С. 122]. У Киреевских, в частности, присутствовал Грановский, который весной 1840 г. сообщал Я.М. Неверову, что «слышал чтение нескольких глав – чудо! Также при мне читал он первую главу романа, взятого из итальянской жизни – Аннунциата. Талант его еще выше стал» [Грановский, т. 2, с. 401]. Это чтение – повести «Рим» – имело место у Киреевских 19 февраля. «Чудо... – передает он на следующий день свое впечатление Н.В. Станкевичу. – Это одно из лучших произведений Гоголя...» [Там же. С. 384]. Кстати, через день, у Киреевских же, повесть Гоголя слушал приехавший из Петербурга А.И. Тургенев (первое известное чтение «Рима» состоялось еще в Петербурге у Валуевых 5 декабря 1839 г. [Гиллельсон, с. 139]).

Около 13 апреля («перед святой неделей», как говорит С.Т. Аксаков) в Москву приехала мать Гоголя, не видевшая сына почти четыре года со времени его последней поездки на родину. Москвичам Марья Ивановна понравилась. С.Т. Аксаков: «Это было доброе, нежное, любящее существо, полное эстетического чувства, с легким оттенком самого кроткого юмора. Она была так моложава, что ее решительно можно было назвать только старшею сестрою Гоголя» [Воспоминания, с. 119]. Вера Сергеевна: «Женщина умная, чрезвычайно приятная» [ЛН. Т. 58. С. 586]. В.А. Нащокина: «...кроткая, чудная и в молодости, вероятно, была красавица собой» [НВ. 1898. 7 октября].

Марья Ивановна привезла с собою 15-летнюю Олю, младшую сестру Николая Васильевича. Обоих приютил тот же погодинский дом на Девичьем поле.

Гоголь уделял сестрам много внимания; он не только брал их с собою в гости, в театр, но и старался, по его словам, «приучить к трудолюбивой и деятельной жизни» [XI, 263]. Лиза и Аня переводили или, по крайней мере, пытались переводить какие-то тексты «для будущего журнала» Погодина, т. е. для «Москвитя-

нина»; что же касается Оли, то с ней было сложнее. Глуховатая с детства вследствие перенесенной болезни, со слабой памятью, она всегда плохо училась и не обнаруживала ни малейших способностей. Правда, замечена была ее любовь к музыке, и это воодушевило Гоголя: «Брат... вообразил, что у меня есть талант, договорил мне учителя – давать мне уроки музыки, и платил за час пять рублей, а чтобы не беспокоить Погодина, он возил меня каждый день к Нащокиным, туда приходил учитель» [Головня, с. 14]. Некоторое время Оля жила у Нащокиных, и брат приходил сюда ее навещать⁹⁶.

Учителем же Оли, как выяснил Л.Р. Ланский [ЛН. Т. 58. С. 586], был Лангер; так устанавливается еще одно небезынтересное знакомство Гоголя в период его пребывания в Москве. Леопольд Федорович Лангер (1802–1885), композитор и учитель музыки, лично знакомый с Бетховеном и Шубертом, был близок к кружку Станкевича, встречался с Белинским, В.П. Боткиным и другими. К Гоголю он испытывал давнюю и, так сказать, заочную симпатию, о чем свидетельствует письмо Станкевича Л.А. Бакуниной (1 мая 1837 г., Москва). Сообщая, что его друзья и знакомые часто собираются, чтобы читать Гоголя, Станкевич причисляет Лангера к «самым интересным лицам»: «...музыкант, немец, но довольно хорошо понимает русский язык и в душе может совершенно понять и оценить Гоголя... Что за верные понятия об искусстве, жизни!» [Станкевич, 1914, с. 527]⁹⁷.

Уже говорилось, что Гоголь хлопотал о театральной ложе для матери и, очевидно, для сестер. Скорее всего он решил сводить их именно на «Ревизора». Эта пьеса шла в 1840 г. сравнительно редко, примерно раз в два месяца. Во время пребывания в Москве Марьи Ивановны «Ревизор» давался всего один раз – 23 апреля, на сцене Большого театра, вместе с другой пьесой «Вторник на Фоминой неделе, или Продажа дешевых товаров. Московская картина в 1 действии» [МВед. 1840. № 32]. Наверное, в этот день и состоялся выход гоголевского семейства в театр.

Результат воспитательных усилий Гоголя оказался налицо: по словам Веры Сергеевны, «сестры его гораздо стали развязнее, очень много выезжают, почти каждый день на вечерах, в лучшем обществе, и везде за ними чрезвычайно ухаживают и стараются занять их...» [ЛН. Т. 58. С. 588].

Любопытно, что еще в феврале, до приезда Марьи Ивановны с Олей в Москву, Гоголь задумал пристроить сестер

у А.П. Елагиной; очевидно, он решил, что пребывание в этом доме, бывшем местом встречи московской интеллигенции, будет для них полезнее. 18 февраля, будучи в гостях у Елагиной, А.И. Тургенев слышал, как «Свер<беева> просила за сестер Гоголя». На следующий день «по поручению Свербеевой» он, со своей стороны, вел разговор «о Гоголе и сестрах его» в доме Муравьевой [Гиллельсон, с. 139]. Тем временем Елагина сообщила о гоголевской просьбе Жуковскому, приходившемуся ей дядей, и получила возмущенный ответ (датирован 26 февраля): «Как можно сделать такое предложение! <...> А Гоголь часто капризный эгоист. Погодин требует, чтобы у него оставил сестер своих; Аксаков тоже ему предлагал. Нет, хочет по-своему и без всякой деликатности навязывает их на вас, обремененных семейством...» [РБ. 1912. № 7–8. С. 111].

В результате, когда приблизился день отъезда родных, Гоголь решил оставить в Москве только среднюю из сестер, Елизавету – для завершения образования и подготовки к самостоятельной жизни. Лиза отличалась более живым и веселым характером и, как подметили Аксаковы, пользовалась особенной любовью брата, хотя он в этом и не признавался. С помощью Елагиной и другой своей доброй знакомой Надежды Николаевны Шереметевой Гоголь договорился, что Лиза переедет к Прасковье Ивановне Раевской, по словам С.Т. Аксакова, «женщине благочестивой, богатой, не имеющей своих детей» [Воспоминания, с. 122]. Такого же мнения была и Е.М. Хомякова, сообщившая поэту Н.М. Языкову, своему брату, что Гоголь поместил свою сестру «у предпочтенной и богомольной дамы, старой Раевской; она соседка наша в Богучаровке, и я собираюсь познакомиться с ней» [Хомяков, т. 8, с. 105–106]. Это должно было гарантировать Лизе, так сказать, перекрестное внимание любящих Гоголя людей.

Марья Ивановна с двумя дочерьми уехала на родину 27 апреля. Оля вспоминала, что брат «нанял дилижанс и на дорогу дал нам разные съестные припасы: икры, сыру, разные копчености и калачи, замечательно вкусные московские калачи, и этой провизии нам стало до Харькова» [Головня, с. 16].

Гоголь тоже уже подумывал о дороге – ему оставалось прожить в Москве всего каких-нибудь 20 дней.

Самым заметным событием этого времени явилось традиционное празднование именин Гоголя 9 мая, в день Николы летнего. В огромном саду погодинского дома собралось много гостей; С.Т. Аксаков упоминает своего сына Константина, Ю.Ф. Сама-

рина, затем А.И. Тургенева, М.Ф. Орлова, Загоскина, писателя М.А. Дмитриева, Армфельда, гоголевского приятеля с нежинских времен, ординарного профессора Московского университета П.Г. Редкина, а также совершенно новое лицо в гоголевской биографии – М.Ю. Лермонтова.

К вечеру, когда все празднество переместилось в дом, по словам Сергея Тимофеевича, приехало еще несколько женщин: Елагина, хозяйка другого московского литературного салона Екатерина Александровна Свербеева, Екатерина Михайловна Хомякова (Языкова)...

А.И. Тургенев, чье свидетельство отличается полной надежностью, так как сделано в тот же день в дневнике, подтверждает присутствие Лермонтова, Вяземского, Самарина, Орлова и называет, кроме того, еще Баратынского, Дмитрия Николаевича Свербеева (мужа Е.А. Свербеевой), М.С. Щепкина, Александра Николаевича Попова (выпускника юридического факультета Московского университета, в будущем известного историка), Хотяеву; упомянуты также «пр.(прочие?) Глинки» – возможно, поэт и публицист Федор Николаевич Глинка и его жена поэтесса Авдотья Павловна; к концу вечера приехал еще П.Я. Чаадаев. Присутствие многих молодых людей позволило сказать Тургеневу, что «съехалась» «la jeune Russie (молодая Россия)» [ЛН. Т. 45–46. С. 419–420; публикация Э. Герштейн].

Это событие оставило след и в переписке Баратынского, который на следующий день сообщил жене, что «был на обеде Гоголя: нашел всю братию, кроме... Киреевского и Павлова. С Орловым (речь идет о М.Ф. Орлове. – Ю. М.) сошелся опять очень дружески. Вообще не получил ни одного неприятного впечатления» [Баратынский, с. 277]. Причина, по которой отсутствовал И.В. Киреевский, неизвестна; Н.Ф. Павлова же, по словам А.И. Тургенева, не пригласили «ошибкой».

После обеда, когда все разбрелись по огромному погодинскому саду «маленькими кружками», «Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы “Мцыри”, и читал, говорят, прекрасно» [Воспоминания, с. 120]. Сергей Тимофеевич не слышал чтения, так как, будучи нездоров, уехал до начала именинного обеда; не слышал и Константин, так как находился в другом конце сада. Но слышал Самарин, который, очевидно, поделился своими впечатлениями с Аксаковыми. Самарин уточняет, какой именно отрывок из «Мцыри» читал Лермонтов – «Бой мальчика с барсом», – и передает некоторые

сопутствующие детали: «Лермонтов был очень весел»; он высказал свое «суждение о Петербурге (откуда он только что приехал. – Ю. М.) и петербургских женщинах»; разговорился с Самариним «про Гагарина», т. е. Ивана Сергеевича Гагарина, в недавнем прошлом секретаря русской миссии в Париже, в будущем – члена иезуитского ордена; и в общем «сделал на всех самое приятное впечатление» [Лермонтов, с. 297].

На следующий день (как установила Э. Герштейн) Гоголь вновь встретился с Лермонтовым – в доме Свербеевых. Свидетель этого события А.И. Тургенев записал в дневнике: «10 мая... Вечер у Свербеевой» с гр. Зубовой. Павлова: подарил ей лиру. Очень довольна. Лермонтов и Гоголь. До 2 часов...» [ЛН. Т. 45–46. С. 420]. Упоминаемые участники этой встречи – Каролина Павлова и графиня Екатерина Александровна Зубова, урожденная Оболенская (1811–1843).

Весьма вероятно, что Гоголь уже встречался с Лермонтовым до 9 мая 1840 г., ибо он не имел обыкновения приглашать к себе незнакомых людей (Константину Аксакову пришлось специально упрасивать Гоголя пригласить на именины Самарина, с которым тот «был знаком еще мало» [Воспоминания, с. 120]). Это могло произойти во время последней гоголевской поездки в Петербург: оба писателя вращались в одних и тех же сферах. Как и Гоголь, Лермонтов бывал и у Карамзиных, и у Валуевых, и у Смирновых; встречался с М.Ю. Виельгорским, Вяземским, В.Ф. Одоевским, Жуковским... Легко представить себе, что пути Гоголя и Лермонтова где-нибудь пересеклись.

В Москву Лермонтов приехал 8 мая, чтобы на следующий день угодить «с корабля на бал», т. е. на именины Гоголя. А уехал он из Москвы – на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк – 25 мая, чтобы уже никогда не встретиться с Гоголем.

Но, конечно, литературное имя Лермонтова стало известно Гоголю еще до их встреч и независимо от этих встреч. Трудно представить себе, что «Смерть поэта», которая, по словам современника, «вызвала Лермонтова из неизвестности», прошла мимо внимания Гоголя, негодовавшего против виновников гибели поэта. Лермонтовские строки: «Вы, жадною толпой стоящие у трона, / Свободы, Гения и Славы палачи!» – находили соответствие в уже цитированных нами гоголевских словах из письма М.П. Погодину от 30 марта н. ст. 1837 г.: «Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных... А что эти люди готовы были сделать ему при жизни?» [XI, 91].

Ко времени пребывания Лермонтова в Москве русское общество увидело новую неожиданную грань его таланта – как создателя прозаических произведений. Белинский – Боткину, 16–21 апреля 1840 г.: «...вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант...» [Белинский, т. 11, с. 508]. Хомяков – Н.М. Языкову, 20 мая: Лермонтов «с истинным дарованием и как поэт и как прозатор»⁹⁸. Совсем иного мнения был Н.М. Языков, сурово осудивший «Героя нашего времени»: «Вяло, растянуто, неискусно и незанимательно!» (письмо А.М. Языкову, 19 (7) сентября 1840 г. [Языков, с. 366]).

Высказывался по этому поводу и Гоголь. По отъезде его из Москвы С.Т. Аксаков писал ему 10 июня, что, прочитав «Героя нашего времени», вспомнил гоголевское предсказание: «Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца» [Воспоминания, с. 125]. Возможно, эти слова были произнесены Гоголем после встреч с Лермонтовым 9 и 10 мая, авторского чтения «Мцыри» и в связи с только что вышедшим (в конце апреля) отдельным изданием романа (части его – «Бэла», «Фаталист» и «Тамань» – были опубликованы годом раньше в «Отечественных записках»). Впоследствии эта мысль получила у Гоголя характер прямого противопоставления Лермонтова-поэта и Лермонтова-прозаика: «Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлеялось чадолюбиво и заботливо... В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой» [VIII, 402].

Восприятие «Героя нашего времени» выходило за пределы чисто жанровой оппозиции: проза или стихи. Тут проступала еще другая оппозиция – историко-культурная и политическая. По Шевыреву, центральный персонаж романа, выдаваемый за «героя нашего времени», – тень, отброшенная на нас Западом, призрак его недуга. России эта болезнь чужда – отсюда все несовершенства произведения. По К. Аксакову, Печорин – воплощение бесстыдства и гнилого эгоизма, корни которого известно где – там же, на Западе. Не жалуют лермонтовского героя Самарин и Хомяков, однако они допускают важную оговорку. Да, роман свидетельствует о болезненности чувства, о переходности эпохи, но это болезненность, свойственная и России, переходная эпоха, общая для европейцев вообще. Чтобы преодолеть ее, нужно уйти от болезненной рефлексии.

Гоголевское суждение о романе слишком лаконично, чтобы можно было определенно вписать его в общую картину; во

всяком случае, ясно, что он не на точке зрения Шевырева или К. Аксакова. Его восприятие «Героя нашего времени» вообще более спокойное, «художническое», широкое. Оно, это восприятие, предваряло будущую (в «Учебной книге словесности...») оценку Лермонтова-прозаика: в нем «готовился будущий великий живописец русского быта». Под «бытом» подразумеваются здесь вовсе не только низшие сферы жизни или, как сказал бы Гоголь, ее «низменные ряды». Быт – строение, течение жизни на любых ее уровнях, в том числе и светском. В таком смысле употреблял это слово Пушкин: «...мы и в литературе, и в общественном быту слишком чопорны, слишком дамоподобны» [Пушкин, т. 7, с. 101]. В таком качестве – применительно уже к высшему свету – фигурирует это слово в повести В.А. Соллогуба «Большой свет»: «великосветский быт».

Упоминание повести Соллогуба в этом контексте отнюдь не случайно, ибо, во-первых, один из ее персонажей Леонин недвусмысленно соотнесен с Лермонтовым (автор даже говорил, что под этим именем он изобразил его «светское... значение»), а во-вторых, потому что появление повести пришлось на время пребывания Гоголя в Москве (девятый том «Отечественных записок» за 1840 г. с «Большим светом» вышел 15 марта). Наполненная, по выражению Вяземского, «намекami и актуалитетами», повесть вызвала бурные обсуждения, требовала расшифровки. Несколько из этих «актуалитетов» были лично знакомы Гоголю: помимо Леонина-Лермонтова, еще Сафьев, Щетинин и Наденька: их прототипами соответственно были С. Соболевский, сам В. Соллогуб и Софья Виельгорская, которая вскоре (в ноябре того же года) стала женой В. Соллогуба, – все хорошие знакомые Гоголя.

В какой-то мере повесть дополняла лермонтовского «Героя нашего времени», так как выворачивала «большой свет наизнанку». «Сколько происков, сколько неведомых подарков! Сколько родных и племянников! Сколько нищеты щегольской! Сколько веселой зависти... И все идет, все стремится, все бежит вперед...»

Позднее, в «Авторской исповеди», Гоголь скажет, что для продолжения работы над «Мертвыми душами» он обратился к различным произведениям, в которых отразилось «познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустычника...» [VIII, 443]. Уже отмечалось, что под «исповедью светского человека» Гоголь подразумевал автора «Героя нашего времени»⁹⁹. Дополним это предположение: он мог

подразумевать и соллогубовский «Большой свет», связанный с фигурой Лермонтова тематически и проблемно.

Впечатления от встреч с Лермонтовым отозвались и в более поздних гоголевских суждениях о его личности, отмеченной «безочарованием» (Гоголь употребил слово, услышанное им от Жуковского). Конечно, в бытность свою в Петербурге Гоголь и Лермонтов имели, так сказать, общую сферу общения, но Лермонтов, помимо того, бывал и в таких кругах, которые Гоголю были чужды и о которых он знал лишь по молве, нередко двусмысленной и скандальной. Это мир великосветских интриг, любовных похождений, мир золотой молодежи и прожигателей жизни, – словом, Лермонтов попал «с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно назвать временным и переходным...» [VIII, 401]. Как раз перед приездом Лермонтова в Москву – в феврале 1840 г. – состоялась ссора его с сыном французского посланника де Барантом, дуэль и последующие затем арест и высочайшее распоряжение о переводе на Кавказ. В старую столицу Лермонтов привез за собою шлейф слухов и пересудов, вызванных этим событием и к тому же усиленных и обостренных соллогубовским «Большим светом».

Трудно сказать, успел ли Гоголь почувствовать своеобразие лермонтовской *общественной* позиции, в частности его отношение к славянофильству. Более отчетливо это отношение проявилось позднее, в новый приезд Лермонтова в Москву, в апреле 1841 г.; но Гоголь в это время был в Риме. По возвращении в Россию в октябре того же года, вначале в Петербург, потом в Москву, он мог услышать лишь отзвуки лермонтовских высказываний, лермонтовских реплик, в частности в связи с его стихотворением «Спор» [М. 1841. № 6].

Для самого же Гоголя отношение к славянофильству стало актуально уже в 1839–1840 гг., ибо он попал в атмосферу споров и резкого размежевания. За четыре года, прошедшие со времени последнего приезда Гоголя в Москву, многое здесь изменилось: пролетела буря, вызванная публикацией «Философического письма» Чаадаева, которое ускорило формирование и западничества и славянофильства; Хомяков и Иван Киреевский успели обменяться не предназначенными для печати письмами (соответственно «О старом и новом» и «В ответ А.С. Хомякову»), прочитанными в доме Киреевского и содействовавшими прояснению славянофильского учения. Приехавший в Москву почти одновременно

с Гоголем А.И. Тургенев отметил эту перемену: «Умные люди сделали православными» – читай: славянофилами (письмо Вяземскому от 20 февраля 1840 г. [Тургенев, 1989, с. 225]).

Гоголь стал завсегдатаем тех домов, где разворачивались главные баталии – и у Елагиной в Трехсвятительском тупике рядом с Красными Воротами, и у Свербеевых на Страстном бульваре, и у Чаадаева за Красными Воротами на Новой Басманной. Тот же Тургенев, один из самых активных оппонентов славянофилов, многократно фиксирует эпизоды борьбы (16 февраля у Свербеевых, где были Н.Ф. Павлов, М.Ф. Орлов, Хомяков, Иван Киреевский, – «опять споры»; 18 февраля у Елагиной – «кончил вечер в споре с Хомяков<ым> и с Киреевским; 1 марта там же – «спор с Хомяк<овым> и Киреев<ким> о праве естественном»), причем во *всех* упомянутых случаях все это происходило в присутствии Гоголя. Но *его* мнения мы не узнаем.

Отсутствие записей о высказываниях Гоголя в спорах вокруг зарождающейся славянофильской доктрины вызвано, по-видимому, не лаконичностью А.И. Тургенева, а тем, что Гоголь действительно не высказывал по этому вопросу своей точки зрения. Такое предположение подтверждается и более поздним (15 января 1842 г.) письмом Н.М. Языкова к А.М. Языкову, в котором он сообщает, что Гоголь «ничуть не участвует в спорах диалектических, которые снова начались у Свербеевых» [Гиллельсон, 1963, с. 140].

И еще одно выразительнейшее свидетельство – письмо Е.М. Хомяковой брату Н.М. Языкову: «Все здесь нападают на Гоголя, говоря, что слушая его разговор, нельзя предполагать в нем чего-нибудь необыкновенного, Иван Васильевич Киреевский, что с ним почти говорить нельзя: до того он глуп. Я сержусь за это ужасно. У них кто не кричит, тот и глуп» [Хомяков, т. 8, с. 105–106]. Вот, оказывается, до чего доходило! Гоголю готовы были отказать в уме, потому что он не хотел определенно стать на чью-то сторону...

Все главные деятели формирующегося славянофильства: Иван Киреевский, Хомяков, Константин Аксаков – входили в тесный круг гоголевского общения. Из них наиболее активен по отношению к Гоголю был Аксаков, стремившийся образовать из него страстного приверженца своих взглядов. Взгляды эти еще не отличались цельностью: новое вероучение проросло сквозь философский опыт, приобретенный Константином в пору его участия в кружке Станкевича.

Обширная посмертно опубликованная статья К. Аксакова «О некоторых современных собственно литературных вопросах» позволяет увидеть, с какими суждениями и оценками обращался ее автор к Гоголю (статья закончена 25 августа 1839 г., т. е. буквально ко времени приезда Гоголя из-за границы в Москву). Высшая точка философского движения для Константина – это Гегель. Гегелевское влияние на русскую общественную мысль он находит полезным, вопреки мнению многих приверженцев самобытности. Что такое «Гегель здесь, в России»? – «Глубокие мысли, исходящие из одного начала, плодотворно принимаются и передаются друг другу молодыми людьми нового поколения; эти мысли просветляют их ум, образуют их взгляды, кладут на суждения их отпечаток строгой необходимости...» [Аксаков К., с. 69]. Да, Каролина Павлова не без основания повесила на новогоднюю елку для Константина портрет Гегеля...

В духе русской философской эстетики Аксаков отдает решительное предпочтение немецкому влиянию, немецкому фактору перед французским. «Мы не боимся сделаться германцами. Германия есть страна, в которой развилась внутренняя, бесконечная сторона духа; из чистых рук ее принимаем мы это общее, которого хранителем была всегда она».

В то же время Аксаков уже формулирует столь значащую для славянофильства антитезу Петербурга и Москвы, представляющих два литературных полюса: «с одной стороны, форму устаревшую, лишенную жизни, разрушающуюся собственным гниением; с другой стороны, содержание незаметное новой истинной жизни...» Истинные таланты – в Москве, а в Петербурге – «рой поэтов-одноденок», «дети гниения в бесчисленных роях», к числу которых Константин Сергеевич относит Булгарина, Греча, Л.Я. Якубовича, П.П. Ершова (автора «Конька-Горбунка») и Ивана Панаева, который, кстати, бывал в аксаковском доме, где он всего несколько месяцев тому назад, вместе с Константином, слушал Гоголя...

Антитеза двух городов выливается в инвективу против Петербурга, «столицы – с именем чужим», как скажет позднее Аксаков, и в благодарственный гимн Москве. «Москва! Вечная! О, как несносно мне слышать, когда называют тебя старушкою, седою, дряхлою, тебя, вечно юная, вечно полная жизни, могучая силою духа Москва!» [Там же. С. 73]. Среди тех, кто называл Москву «старушкою», был, между прочим, Пушкин (в очерке «Путешествие из Москвы в Петербург»)...

Все это очень похоже на то, что позднее можно было услышать от Хомякова или Ивана Киреевского, похоже, скажем, на оппозицию восточной (истинной) и западной (неполной, ущербной) образованности. «Одна образованность есть внутреннее устройство духа силою извещающейся в нем истины; другая – формальное развитие разума и внешних познаний...» [Киреевский, с. 30]. Но интересно, что приоритет России, точнее, ее право на истинную образованность К. Аксаков обосновывает с помощью гегелевских логических категорий, чью ограниченность и порочность не устал обличать, например, поздний Иван Киреевский. У Константина Сергеевича (как в построениях русской философской эстетики) Россия по-своему продолжает европейскую – и шире – мировую общественно-культурную эволюцию, усваивает ее опыт.

И еще одна немаловажная черта. Весной 1841 г. К. Аксаков вступил в спор с «юношами» Елагиным и Валуевым¹⁰⁰ по поводу Гоголя. «Признавая Гоголя художником по преимуществу», они полагали, что Г.Ф. Квитка-Основьяненко превосходит его в одном отношении: «...Основьяненко, говорят они, дает им понятие о быте малороссийском...». Константин Сергеевич на это заметил, «что сие может быть предметом искусства, но должно перейти в его область». И далее: «Произведение искусства должно рассматриваться только как произведение искусства... предметом его может быть все: и быт народа, если хотят они, – но непременно под определением изящной непосредственности» [Аксаков К., с. 32; публикация В.А. Кошелева]. Аксаков настаивает на суверенности искусства, которое способно принимать в себя сторонние влияния только при условии сохранения своей собственной природы, своей «непосредственности» – в этом также приходится видеть наследование принципов философской эстетики, в частности кантовского положения о «целесообразности без цели».

Как отнесся к сложному комплексу аксаковских идей Гоголь? Сергей Тимофеевич утверждал, что пребывание Гоголя в Москве в 1839–1840 гг. сыграло определяющую роль в дальнейшем развитии писателя. Особенно действенным было «влияние Константина, который постоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких, святых убеждений все значение, весь смысл русского народа...» «Я сам замечал много раз, – прибавляет Сергей Тимофеевич, – какое впечатление производил он на Гоголя, хотя последний старательно скрывал свое внутреннее

движение» [Воспоминания, с. 132]. Сам Гоголь как будто бы полностью подтверждает правоту этих слов: «В моем приезде к вам, которого значения я даже не понимал в начале, заключалось много, много для меня. Да, чувство любви к России, слышу, во мне сильно». И поэтому с особенной благодарностью Гоголь вспоминает о Константине, «об этом юноше, так полном сил и всякой благодати, который так привязался ко мне...» [XI, 323]. В тот же день Гоголь пишет самому Константину Сергеевичу: благодарит за письмо – «оно сильно кипит русским чувством, и пахнет от него Москвою», – но *вместе с тем* призывает послушаться и его «советов» [Там же. С. 324].

Оказывается, еще в ноябре 1839 г. во время поездки в Петербург Гоголь вел с Сергеем Тимофеевичем «воспитательные» беседы относительно его сына, «которого нетерпеливо желал перенести из отвлеченного мира мысли в мир искусства, куда, несмотря на философское направление, влекло его призвание» [Воспоминания, с. 108]. Очевидно, «немецкая философия» как синоним абстрактного мышления – это самый острый момент разговоров Гоголя с Константином, так что последний в не дошедшем до нас письме упомянул о «немецкой философии» с опаской. В ответ Гоголь вынужден был объяснить, что он лишь против одностороннего увлечения этой философией, которая должна помочь другой цели – выбраться «на русскую дорогу». «О, как много у нас того, что нужно глубоко оценить и на что взглянуть озаренными глазами! Вам не нужно теперь ехать в Италию, ни даже в Берлин; вам нужен теперь труд, вам просто нужно заставить теперь руку побегать по бумаге» [XI, 338]. Знаменательно здесь упоминание Берлина («ни даже в Берлин»), ставшего в это время для многих русских философской Меккой.

Спор Гоголя с Константином Аксаковым развивается словно по касательной к основному, существенному ядру славянофильства. Гоголь и сам готов прибегнуть к «знаковому» определению Москвы, козырнуть прямо-русской «дорогой», но при этом он упорно старается вывести своего собеседника из круга общих идеологем – вывести или в «мир искусства» (ибо Гоголь, конечно, хорошо видел аксаковскую чуткость к «изящной непосредственности», к специфике искусства), или к вполне конкретным проблемам отечественной культуры (впоследствии Константин реализует этот совет, принявшись за магистерскую диссертацию «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка»). Тактика гоголевских возражений Аксакову

соответствует и его общей позиции в спорах, происходивших в салонах Свербеевых, Елагиной или Чаадаева. Гоголь словно сторонится, о чем-то умалчивает, сохраняя за собою на будущее свободу суждений.

Гоголь устал от общения с москвичами, устал от семейных забот; он жалуется, что больше годится «для монастыря, чем для жизни светской» [XI, 278]. Плохое настроение вело к скованности, а потом к раскаянию, к упрекам самому себе: «Вы себе, верно, не можете представить, как меня мучит мысль, что я был так деревянен, так оболванен, так скучен в Москве... Если бы вы знали, как я горевал потом...» (из письма жене Погодина Елизавете Васильевне, октябрь 1840 г. [XI, 317]).

Но в первых числах мая Гоголь ощутил «какое-то тайное расположение к труду», «что-то вроде вдохновения, давно не бывалого» – верное предвестие близкой дороги. Предстояло закончить кое-какие практические дела. Еще в начале года Жуковский снабдил его займы большой суммой (четыре тысячи рублей); теперь Гоголь обращается к Жуковскому с новой просьбой – выхлопотать место секретаря при открывающейся в Риме русской Академии художеств с жалованьем 20–25 тысяч рублей в год (план этот не осуществился). Затем нужно было позаботиться о судьбе Лизы – около 15 мая, согласно прежней договоренности, она переехала к Раевской. И наконец, Гоголь решил по финансовым соображениям обзавестись попутчиком, для чего напечатал такое объявление: «Некто не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках; на Девичьем поле в доме проф. Погодина; спросить Николая Васильевича Гоголя» («Прибавления» к № 28 «Московских ведомостей» от 6 апреля 1840 г.; повторено в № 29 от 10 апреля и № 31 от 17 апреля)¹⁰¹.

Первоначально Гоголь позволил себе более свободный стиль объявления: мол, «онный некто», который «желает прокатиться до Вены», – «человек смирный и незаносчивый: не будет делать во всю дорогу никаких запросов своему попутчику и будет спать вплоть от Москвы до Вены» [IX, 489]. Но редакция сочла подобную фривольность неуместной...

К 16 апреля никакой предполагаемый попутчик не объявился. И тогда решил выручить молодой знакомый и дальний родственник аксаковского семейства Панов (его сестра была замужем за братом Сергея Тимофеевича Николаем Тимофеевичем). Тот

самый Панов, который с упоением слушал чтение Гоголем «Мертвых душ» в ночь перед Светлым воскресеньем.

Василий Алексеевич Панов (1819–1849), сын богатого симбирского помещика, окончил филологический факультет Московского университета и близко сошелся со многими деятелями славянофильского движения. Внешне неказистый (Иван Аксаков в одном письме издевательски упоминал «мучителя-красавца Панова» [Аксаков, 1988, с. 101]), он также не блистал никакими талантами, хотя был не глуп: «...человек умный, распорядительный, нисколько не даровитый... но святой человек: окруженный самолюбцами, он отличался отсутствием самолюбия, скромностью необыкновенной, но где приходилось работать, работал за всех» [Соловьев, 1983, с. 300]. Н.М. Языков аттестовал Панова: «юноша ... и дельный, и благонадежный» [Языков]. Именно такой человек и нужен был Гоголю, и неслучайно, что он стал его «попутчиком» не только до Вены...

Впрочем, это решение было принято еще в Москве, о чем свидетельствует объявление в графе «Отъезжающие»: «В Германию, Швейцарию и Италию, кандидат Императорского Московского университета Василий Алексеевич Панов; спросить в университете» [МВед. 1840. 27 апреля. № 34]. Если намерение посетить Германию было связано с личными планами Панова по продолжению образования, то в Италию он прежде всего ехал для того, чтобы сопровождать Гоголя.

15 мая Гоголь последний раз обедал у Аксаковых в кругу «коротких приятелей» [ЛН. Т. 58. С. 588].

16 мая Гоголь приезжал проститься к А.И. Тургеневу, но не застал его дома [Гиллельсон, 1963, с. 140].

На другой день Гоголь вместе с Лизой и членами аксаковского семейства был в театре; играла известная французская актриса из петербургского Михайловского театра Луиза Аллан в водевилях «Mathilde» и «Etre aime' ou mourir» («Быть любимой, или Умереть»)¹⁰².

Гоголь хотел выехать сразу же по окончании спектакля («...он думал ехать ночью», – подтверждает Елизавета Васильевна [Русь. 1885. № 26]). Но «за большим разгоном» не удалось достать лошадей, и Гоголь с сестрою и, по-видимому, Пановым заночевали у Аксаковых.

Выехали на следующий день, 18 мая, после завтрака, часов в 12. Все были взволнованы. Лиза плакала («...грустно было провозать брата»).

Разместились в трех экипажах: Гоголь сел к Панову в его собственный тарантас; Сергей Тимофеевич с Константином и Щепкин с сыном Дмитрием расположились в коляске, Погодин со своим зятем Михаилом Ивановичем Мессингом – на дрожках. В таком порядке выехали на Смоленскую дорогу, потому что путь предстоял на Варшаву.

На Поклонной горе вышли полюбоваться на Москву. Гоголь и Панов низко поклонились.

Потом поехали к Перхушково, где находилась первая станция, и дорогою Гоголь повторил свое обещание, данное несколько раньше у Аксаковых, – в следующий свой приезд в Москву привезти готовый первый том «Мертвых душ».

В Перхушкове Гоголь сварил жженку, на что был большой мастер; потом пообедали, выпили за здоровье отъезжающих и помолились.

Наступила минута прощания. «Погодин был искренне расстроен, а Щепкин заливался слезами» [Воспоминания, с. 121]. О себе Сергей Тимофеевич не говорит, но можно представить, что и у него на душе было невесело.

Далее отправился только тарантас с Гоголем и Пановым, а провожающие стояли до тех пор, пока вдали можно было что-то разглядеть.

Когда они возвращались в Москву, все вокруг переменялось: «...откуда ни взялись, потянулись с северо-востока черные, страшные тучи... Сделалось очень темно, и какое-то зловещее чувство налегло на нас...» Подумалось: не служит ли это все дурным предзнаменованием будущей судьбы Гоголя?..

Но вскоре все изменилось: «...сильный северо-западный ветер рвал на клочки и разгонял черные тучи, в четверть часа небо совершенно прояснилось, солнце явилось во всем блеске своих лучей...» Все облегченно вздохнули, ибо тотчас сопоставили эту перемену с судьбой Гоголя...

А в действительности оправдалась и та и другая примета – и хорошая, и плохая.

Часть третья

Дорога и кризис

Вначале все складывалось благополучно. Дорога оказала на Гоголя свое действие: «Свежесть, бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал» [XI, 313].

Ночью, закутавшись с головою в плащ, спокойно спал, а днем наслаждался видами. После хорошего обеда (Ольга Семеновна Аксакова снабдила путешественников таким количеством съестного, что хватило до самой Варшавы) напевал краковяк, приплясывал тут же в тарантасе, читал на память стихи или пробовал учить Панова итальянскому языку.

А Панов? Тот был вне себя от счастья от одной мысли, что он находится «так долго неразлучно с Великим человеком» (из его письма К. Аксакову [ЛН. Т. 58. С. 59]).

На шестой день, 24 мая, приехали в Брест. Через двое суток были в Варшаве (по н. ст. 7 июня), где прожили около недели (по 13 июня). Все это время Гоголь был деятелен и подвижен; вместе с Пановым вдоль и поперек обошел весь город, объехал все окрестности, посетил и королевские Лазенки, и замок Радзивиллов, и дворец графа Потоцкого Бельведер с картинной галереей. Побывали в театре («актеры плохие, даже гадкие...» – жаловался Панов). Компаньоном Гоголя был оказавшийся в Варшаве его соученик по нежинской Гимназии высших наук Иван Павлович Симоновский.

В Варшаве Панов продал за 270 злотых свой тарантас, на славу послуживший ему и Гоголю, и далее они отправились в дилижанс в Краков, куда прибыли через сутки.

Потом дорога пролегла через Моравию, Богемию... 15 июня были в Подгурце, 17 июня – в Брюнне (Брно) и затем по железной дороге (кажется, первое такое путешествие Гоголя) приехали в Вену, в город, в котором Гоголь уже прожил около месяца осенью 1839 г., направляясь из Италии в Россию. На этот раз Гоголь намеревался пробыть в Вене примерно столько же.

По отзыву П.В. Анненкова, посетившего Вену спустя несколько месяцев, здесь царствовали «тишина и немота», политические страсти не кипели, как во Франции. Но Гоголя политика не интересовала, он весь отдался художническим впечатлениям, осматривал картинные галереи в императорском Бельведере, в доме Эстергази, ходил в оперу, благо приехала итальянская труппа. «В продолжение целых двух недель первые певцы Италии мощно

возмущали, двигали и производили благодетельные потрясения в моих чувствах. Велики милости Бога! я оживу еще» (из письма С.Т. Аксакову, 7 июля н. ст. [XI, 296]).

Еще в дороге Гоголь почувствовал, что стосковался по работе. Из Варшавы он просит прислать к нему с Константином Аксаковым, намеревавшимся совершить путешествие в Италию, какие-нибудь «докладные записки и дела» [XI, 287]. Эти материалы, по справедливому предположению Аксакова-старшего, «были ему нужны для того, чтоб проверить написанные им в “Мертвых душах” разные судебные сделки Чичикова...» [Воспоминания, с. 124]. Может быть, Гоголь запасался сведениями и для второго тома поэмы, к которому он вскоре приступит. Во время краткой остановки в Кракове Гоголь уже взялся за перо; по словам Панова, он сочинил «статью по-итальянски для журнала римского о собрании эскизов кн. Долгорукова в Москве» [ЛН. Т. 58. С. 592; судьба этой работы неизвестна]. В Вене же, как подметил Панов, Гоголь «перечитывал и переписывал свое огромное собрание малороссийских песен, собирал лоскутки, на которых у него были записаны поговорки, замечания и проч.» [Письма, т. 2, с. 88]. Был в работе у Гоголя еще один труд, о котором в ту пору Панов ничего не знал и который непосредственно спровоцировал новый, тяжелейший приступ болезни Гоголя.

К этому произведению – трагедии из истории Запорожья – Гоголь обратился здесь же, в Вене, в конце лета предыдущего года; исподволь обдумывал ее на родине, в Москве и Петербурге, и вот теперь ощутил неодолимую силу вдохновения. «Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; воображение мое становится чутко. О! какая была это радость... Сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет. И я, позабывши все, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал...» [XI, 314]. И в другом месте: «Я начал такую вещь, какой, верно, у меня до сих пор не было – и теперь из-под самых облаков да в грязь» [XI, 319].

Да, это был срыв, падение – «великое нервическое расстройство» [XII, 524], как скажет Гоголь позднее. Гоголь объяснял его сверхнапряжением, а также тем, что огромные затраты умственной и нервной энергии совпали с курсом водолечения, требовавшим спокойствия и размеренного образа жизни. Ему уже случалось переживать душевное расстройство, но кризиса такой

силы, кажется, еще не было. Гоголь впервые оказался на грани жизни и смерти.

Из более поздних гоголевских признаний вырисовываются особенности его состояния, в котором угадываются все признаки маниакальной депрессии. «Нервическое расстройство и раздражение возросло ужасно, тяжесть в груди и давление, никогда дотолемно не испытанное, усилилось... К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог оставаться в покойном положении ни на постеле, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно...» [XI, 314–315]. «...Подступавшее к сердцу волнение... всякий образ, пролетающий в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки, наконец совершенно сомнамбулическое состояние» [XII, 36]. По сведениям, дошедшим позднее до С.Т. Аксакова, «Гоголь во время болезни имел какие-то видения...» [Воспоминания, с. 131]. Гоголь вспомнил состояние умирающего Иосифа Виельгорского – «это была та самая тоска и то ужасное беспокойство»... И Гоголь поспешил составить духовное завещание.

Когда позднее из гоголевского письма Погодин узнал о том, что случилось, то был потрясен до глубины души. Надо сказать к его чести, что он решительно отодвинул в сторону все обиды и недоразумения. «Как я плачу! Виноват, прости меня! <...> Успокойся, успокойся! О, если б ты мне предстал, сложа руки крестом!» Погодин советует путешествовать, обещает прислать деньги на дорогу из той прибыли, которую принесет задуманный журнал (т. е. «Москвитянин»), и уверяет, что московские друзья благополучны. «Мы все здоровы и больны только твоей болезнью... Успокойся, ради Бога успокойся. Все будет хорошо. Бог посылает испытания» [Шенрок, т. 3, с. 328].

Но когда произошел этот кризис? Около середины июля, точнее 11 или 12 числа [ЛН. Т. 58. С. 594], Вену покидает Панов; он направляется в Германию, в Мюнхен, обещая приехать к 1 сентября в Венецию, чтобы встретиться там с Гоголем. Следовательно, ничего угрожающего в его состоянии Панов не заметил. 7 августа Гоголь набрасывает два письма, матери и сестре Ане; письма обыкновенные, спокойные; Николай Васильевич, в частности, сообщает, что не позже чем через неделю отправляется в Венецию. Но отъезд

задержался до последних чисел августа. Очевидно, на это время, на вторую и третью декады августа, падает развитие кризиса.

К счастью, в Вене в это время оказался Николай Петрович Боткин (1813–1869), брат Василия Боткина, впоследствии также близкий к кружку Белинского. Николай Боткин, по словам Панова, «истинно добрый человек», ухаживал за Гоголем «как нянька» [Письма, т. 2, с. 88]. «При мне был один Боткин, – вспоминал потом Гоголь, – очень добрый малый, который меня утешал сколько-нибудь, но который сам потом мне сказал, что он никак не думал, чтобы я мог выздороветь» [XI, 315]. И еще одно свидетельство: «О первой и страшной болезни он [Гоголь] не любил говорить. Его спас приезд Боткина, который усадил его полумертвого в дилижанс... Ехали и день и ночь, и в Венеции Гоголь был почти здоров...» [Смирнова, 1989, с. 44]. К этому надо добавить, что инициатива отъезда принадлежала, конечно, самому Гоголю (позднее он так и скажет: «...я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию...»). Гоголь хорошо знал, какое исцеляющее воздействие оказывала на него дорога; она выручала его в 1829 и 1836 гг.; она должна была спасти его и на этот раз.

Тем временем 2 сентября в Венецию приехал Панов, опоздав против условленного с Гоголем крайнего срока на один день. Панов думал, что уже не застанет писателя, – «вместо этого, встречаю его на площади Св. Марка и узнаю, что мы с противоположных сторон въехали в один и тот же час» [Письма, т. 2, с. 88]. Вместе с Гоголем приехал Николай Боткин. Тут Панов и мог узнать о том, что случилось во время его отсутствия.

Но самое страшное, казалось, отошло в прошлое. «...В Венеции иногда проглядывали у него минуты спокойные, в которые дух его сколько-нибудь просветлял ужасную мрачность его состояния... Какие мысли светлые он тогда высказывал, какое сознание самого себя!» К Панову вернулось то ощущение счастья, которое он испытывал от одного присутствия великого человека. «В продолжении десяти дней, которые мы в Венеции прожили, мне казалось, что я был окружен каким-то волшебством. С утра до вечера мы катались по водяным улицам в гондоле, между мраморных палаццов, заезжали в церкви, галереи. Из гондолы выходили на площадь Марка, где проводили все остальное время. Потом опять мы в гондоле возвращались на площадь взглянуть, как она оживает при лунном свете» [Там же. С. 89].

К Гоголю возвращались силы, и он, выполняя обещание, данное перед отъездом Щепкину, подготовил для него текст одной

комедии – это был «Дядька в затруднительном положении» («*L'Azio nell'imbarazzo*») Джованни Жиро. Перевод осуществили другие: «В несколько дней русские наши художники перевели». Гоголь же взял на себя редактуру: «И как я поступил добросовестно! – писал он Щепкину. – Всю от начала до конца выправил, перемарал и переписал собственною рукою». В том же письме Гоголь дал подробную характеристику двух-трех персонажей, заметив, между прочим: «Актриса, игравшая Джильду, которую я видел, была свежая, молодая, проста и очаровательна во всех своих движениях, забывалась и одушевлялась как природа. Француженка убила бы эту роль...» [XI, 306]. Похоже, что Гоголь говорит это как очевидец. Значит, у него уже было настроение и силы побывать в театре¹⁰³.

В Венеции произошло одно важное знакомство Гоголя, кажется, не обратившее на себя особенного внимания его биографов. Осенью 1840 г. сюда приехали пансионеры петербургской императорской Академии художеств В.В. Штернберг и Айвазовский. Знакомство Гоголя с первым весьма вероятно (впоследствии, в Италии, они не раз встретятся¹⁰⁴), со вторым же – подтверждается документально.

Иван Константинович Айвазовский (1817–1900), который уже приобрел известность как замечательный художник, «был поражен оригинальною наружностью гениального писателя». «Низенький, сухощавый, с весьма длинным заостренным носом, с прядями белокурых волос, часто падавшими на маленькие прищуренные глазки, – припоминает художник, – Гоголь выкупал эту неприглядную внешность любезностью, неистощимую веселостью и проблесками своего чудного юмора, которыми искрилась его беседа в приятельском кругу. Появление нового незнакомого лица, подобно дождевой туче, мгновенно набрасывало тень на сияющее доброю улыбкою лицо Гоголя: он умолкал, хмурился, как-то сокращался, как будто уходил сам в себя. Эту странность характера замечали в нем все его близкие знакомые. Со мною, однако же, он довольно скоро сошелся, и я не раз наслаждался его милою беседою» [РС. 1878. Июль. С. 423]. Замечательно то, что Айвазовский не фиксирует никаких примет только что пережитого кризиса. Объясняется это, по-видимому, не отсутствием наблюдательности мемуариста, а свойствами гоголевской психики, склонной к резким переходам и перепадам настроения.

Однажды Гоголь, Николай Боткин и Панов, собиравшиеся в Рим, предложили Айвазовскому быть их попутчиком, на что тот с радостью согласился. «Ехали мы в наемной четвероместной ко-

ляске и – каюсь в нашем общем грехе! – дорогою мы играли в преферанс, подмостив экипажные подушки вместо стола. Впрочем, это прозаическое занятие не мешало нам восхищаться красивыми местностями, попадавшимися на дороге» [Там же. С. 424].

Во Флоренции расстались: Айвазовский отправился на берег Неаполитанского залива, а Гоголь с Боткиным и Пановым – в Ливорно, затем морским путем до Чивита-Веккия и наконец в Рим, куда прибыли 25 сентября по н. ст.^{104a}

Гоголь решил поселиться на старой своей квартире, что на Страда Феличе, несмотря на то что ему трудно было подниматься на третий (по русским понятиям даже четвертый) этаж. Панов с Боткиным остановились в другом доме.

Позднее Панов перебрался в квартиру Гоголя; кстати, на этот раз и Николай Васильевич и его спутник попали в книгу, составленную (в марте 1841 г.) приходским священником: «Panoff Basilio, russo, possidente» (т. е. помещик) и «Cocoli¹⁰⁵ Nicolo» [Гасперович, с. 93].

Нельзя сказать, чтобы Гоголь поправился; то ему казалось, что он здоров, то вновь впадал в болезненное и угнетенное состояние. Постоянно жаловался на желудок, «а между тем [замечает Панов] никто из нас не мог съесть столько макарон, сколько он их отпускал иной раз».

Но однажды утром – было это около 11 ноября – Гоголь вдруг приоткрыл перед Пановым свою тайну и «угостил началом нового произведения», трагедией из истории Запорожья. «В нескольких сценах, которые он уже написал и прочел мне, есть одно лицо комическое, которое, выражаясь не столько в действии, сколько в словах, теперь уже совершенство... Если бы этого не было, то значило бы, что все погибло. Это должно было быть» [Письма, т. 2, с. 89]. Жест Гоголя Панов оценил как добрый знак – творческого возрождения.

После кризиса

Однако все испытанное даром не прошло. «Человек, переживший такой опыт, сошедший в могилу и снова вернувшийся к свету дня – возвращается неузнаваемым. В Гоголе рождается новая личность... Другой голос, другая интонация, другой тембр» [Мочульский, с. 54]. Это в общем верно, но в какой степени верно – увидим ниже.

Всеволод Сечкарев также придает венскому кризису решающее значение. До этого гоголевское творчество имело «метафизическую основу»; после – «отчетливо ориентированную, церковную, христианскую тенденцию». Прежде главенствующим было влияние Пушкина, немецкого романтизма, принципа «искусства для искусства»; теперь – христианской, православной догматики [Сечкарев, с. 53 и далее]. В общем это тоже верно, но опять-таки все дело в степени и формах.

Сам Гоголь именно этой вехой – смертельной болезнью и выздоровлением – обозначает начало нового периода своей биографии. «Многое, что казалось мне *прежде* неприятно и невыносимо, *теперь* мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность...» [XI, 323]. Вновь появляется антитеза: «прежде» и «теперь», как это было после «Ревизора» и отъезда за границу в июне 1836 г. – однако с новым смысловым наполнением.

Гоголь давно догадался, что в его жизни ничего не происходило просто так; все случилось с разрешения или по инициативе высшей силы. Гонения в связи с «Ревизором» (которые Гоголь безмерно преувеличивал), непонимание (в действительности отнюдь не всеобщее) – все это было испытанием, воздвигнутым перед ним самим Богом. Но теперь мера испытания еще более возросла: Гоголь впервые был подведен к роковой черте, отделяющей жизнь от смерти, и высшим же участием отведен от этой черты. Больше того: Гоголь словно побывал уже *за этой чертой*, – и помощь, которая была ему оказана, вылилась в *воскрешение*. «Теперь я пишу к вам, потому что здоров, благодаря чудной силе Бога, воскресившего меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал уже встать» (С.Т. Аксакову, 28 декабря н. ст. 1840 г. [XI, 322]).

А это значит, что творческая деятельность Гоголя, его главный труд «Мертвые души» получают знак Божьего помазания. Ведь если «чудная воля Бога воскресила» его, то неспроста, но с целью. «Это чудное мое исцеление наполняет душу мою утешением несказанным: стало быть жизнь моя еще нужна и не будет бесполезна» [XI, 328].

Возникают новые характеристики главной книги Гоголя. В ответ на просьбу прислать что-нибудь для журнала Погодина писатель с укором заметил, что не может отвлекаться «от святого своего труда» – «клянусь, грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня!» «Труд мой велик, мой подвиг спасителен» [XI, 332]. Такие понятия, как «великий» (или родственные ему), фигурировали и раньше; понятия «святой», «спасительный» появляются впервые.

Еще одна характерная переакцентировка. Прежде Гоголь возводил замысел своего произведения к Пушкину, его вдохновляющему облику, ободрению, наконец, к его практическому совету – подсказке сюжета («...Труд мой есть его создание»). Теперь ранг этого события («внушенья») повышается: «Здесь явно видна мне святая воля Бога: подобное внушенье не происходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета!» [XI, 330]. Повышается и уровень ответственности, которой облечен художник, получивший «внушенье», – это ответственность перед самим Богом, грозящая суровой карой отступнику: «...всякая втуне потраченная минута *здесь* неумолимо спросится *там*, и лучше не родиться, чем *побледнеть перед этим страшным упреком*» [XI, 338]. Происходит воскрешение символики «Страшного суда», окаменения и поражения, явленной еще в гоголевской трактовке «Последнего дня Помпеи» или – в иной форме – в поэтике «немой сцены» из «Ревизора»...

Но если состоялось помазание, то оно простерлось на личность и поведение Гоголя во всем их объеме. «Мертвые души», конечно, – главный подвиг, но приобретает высшую ценность все, исходящее от него, Гоголя, – помимо поэмы и помимо художественного творчества вообще. Приобретает высшую ценность его Слово. «...Слушай, теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было не слушающему моего слова... Властью высшею облечено *отныне* мое слово. Все может разочаровать, обмануть, изменить тебе, но (не) изменит мое слово» (А.С. Данилевскому, 7 августа н. ст. 1841 г. [XI, 342–343]). «О верь словам моим!.. Ничего не в силах я тебе более сказать как только: верь словам моим. Я сам не смею не верить словам моим» (Н.М. Языкову, 27 сентября н. ст. 1841 г. [XI, 347]). Ф.А. Степун заметил, что эти слова звучат «уж очень не по-церковному» [Степун, с. 580]. Возможно. Но это потому, что у Гоголя теперь прямая связь со Всевышним.

По точному замечанию мемуариста, Гоголь «говорит с собеседником как власть имущий, как судья современников, как человек, рука которого наполнена декретами, устраивающими их судьбу по их воле и против их воли» [Анненков, 1983, с. 101].

Соответственно и к себе Гоголь требует такого отношения, которое подобает посланцу самого Бога. Пусть, например, Щепкин и Константин Аксаков приедут за ним, Гоголем, в Италию, чтобы в целостности и сохранности доставить в Россию. «Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают бесполезное дело.

Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе заключено сокровище; стало быть, ее нужно беречь» [XI, 331]. Параллель здесь возникает сама собою: «... сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы избыточная сила была приписываема Богу, а не нам» [2 Кор. 4, 6]. Сознательно или невольно Гоголь применяет к себе евангельский образ... «На языке аскетике такое состояние называется “впадением в прелесть”. Гоголь упоен своей мнимой святостью; он раздает направо и налево благословения» [Мочульский, с. 56].

Само пребывание в Москве получает теперь другой смысл. Еще совсем недавно Гоголь жаловался на тяготы повседневного общения, говорил, что более годится «для монастыря, чем для жизни светской» [XI, 278]. Теперь ему видится все в радужном свете, он примиряется и с суетой, и с неудовольствием друзей, и с их косыми взглядами и полускрытыми обидами, ибо высшее служение должно происходить не в отшельничестве, но среди людей.

В связи с этим характерен интерес Гоголя к основателю ордена францисканцев, отмеченный Ф.И. Буслаевым (последний проживал в Риме с октября 1840 по апрель 1841 г.): «Гоголь пожелал познакомиться с лирическими произведениями Франциска Ассизского, и я через Панова доставил их ему в том издании старинных итальянских поэтов, которое ... рекомендовал мне мой наставник Франческо Мази» [Воспоминания, с. 224]. Буслаев поясняет, что Франческо Мази, помощник библиотекаря в Ватикане, рекомендовал ему «изданное в двух больших томах собрание лирических произведений итальянских поэтов XII–XIII столетий» – именно один из этих томов оказался в распоряжении Гоголя. «Тут я впервые познакомился, – продолжает мемуарист, – с бесподобными гимнами и одами самого Франциска Ассизского, которого я уже прежде успел полюбить и высоко чествовать по внушениям Данте в “Божественной комедии” и по мистическим изображениям на фресках Джотто» [Буслаев, с. 249].

Надо сказать, что и Гоголь был подготовлен к встрече с Франциском Ассизским: если и не по фрескам Джотто, то по тем же «внушениям» «Божественной комедии», которую, мы знаем, он внимательно читал: здесь рассказывалось, как Фома Ассизский обручился с Нищетой, как за два года до смерти получил стигматы, как он буквально умер в объятиях Нищеты – нагим на голой земле («Рай», песнь одиннадцатая).

Проповедник «бедного житья» Франциск Ассизский (1182–1226) в противовес идее монаха-отшельника выдвинул идею миссионера, который, внутренне отрекаясь от мира, остается в миру, чтобы ежедневно исполнять свой подвижнический долг. Все это близко теперешним настроениям Гоголя, близок ему и пережитый итальянским религиозным деятелем переворот: в молодости он не был лишен разных пороков, включая тщеславие, но потом, после тяжелой болезни и вешего сна, избрал другой, праведный путь¹⁰⁶.

Так и Гоголь после болезни и кризиса сделался «другим человеком» (К. Мочульский), но это не значит, что прежний исчез бесследно. Развитие писателя протекало сложно и прихотливо, и резкие изменения, которые казались окончательными, на самом деле таковыми не были.

Четвертое «прочтение» Рима

Едва П.В. Анненков 28 апреля 1841 г. переступил порог гоголевской квартиры на Страда Феличе, как оказался участником маленького спектакля. Хозяин этажа господин Челли, выполняя наказ Гоголя, объявил, что его жилец уехал за город и когда вернется – неизвестно. Анненков принялся было настаивать, чтобы его пропустили, но в этот момент в противоположную дверь высунулась голова самого Гоголя, который «шутливо сказал старичку: “Разве вы не знаете, что это Жюль из Петербурга? Его надо пустить”»¹⁰⁷.

Эта шутка вернула Анненкова в Петербург десятилетней давности, в кружок гоголевских «однокорытников», в атмосферу веселого подтрунивания, мистификаций и розыгрышей. В то время Гоголь «дал всем своим товарищам по Нежинскому лицу и их приятелям прозвища, украсив их именами знаменитых французских писателей... Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки и даже один скромный писатель, теперь покойный, именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюль Жанена, под которым и состоял до конца» [Анненков, 1983, с. 46–47]. При встрече с Анненковым в Риме Гоголь продолжил маленький маскарад, который тотчас же навел его на мысль и о большом маскараде. «“Что же вы не приезжали к карнавалу?” – прибавил он по-русски [Там же. С. 46].

Римский карнавал закончился 23 февраля, и Гоголь действительно принимал в нем участие, как и три года назад, когда он впервые увидел в Риме это зрелище. Знакомая Гоголя Елизавета Васильевна Давыдова, дочь сосланного декабриста В.Л. Давыдова, говорит, что в этот день, 23 февраля, все отправились в театр на Veglione, т. е. на бал-маскарад, причем Гоголь «провел некоторое время» в ее ложе [ЛН. Т. 58. С. 596].

Как будто бы и не было страшной болезни, ощущения обреченности, мессианской экзальтации... «Это был тот же самый чудный, веселый, добродушный Гоголь, которого мы знали в Петербурге до 1836 года, до первого отъезда за границу» [Анненков, 1983, с. 51]. Логика превращения парадоксальная – и в дальнейшем она повторится не раз: религиозный мессианизм и дидактика принесли с собою успокоение, а успокоение пробудило черты *прежнего* Гоголя.

Анненков как автор мемуаров знает о пережитом Гоголем кризисе по материалам, опубликованным в биографических книгах П. Кулиша. И очень важно, что он учитывает эти материалы, предотвращая то одностороннее впечатление, которое они могут произвести. «Письма от этой эпохи, собранные г. Кулишом, уже вполне показывают, куда стремилась его [Гоголя] мысль, но письма эти, как магнитная стрелка, обращены к одной неизменной точке, а сам корабль прибегал ко многим уклонениям и обходам, прежде чем вышел на твердый и определенный путь» [Там же. С. 80].

Об этих «уклонениях и обходах» говорят свидетельства сохранившейся любви Гоголя к римской народной жизни, к ярким празднествам, к фривольным шуткам, к телесной красоте. В достоверности этих свидетельств не приходится сомневаться: мемуарист приводит их в большом количестве и как очевидец. «Никогда не забывал Гоголь, при разговоре о римских женщинах или даже при встрече с замечательной женской фигурой, каких много в этой стране, сказать: “А если бы посмотреть на нее в одном только одеянии целомудрия, так скажешь: женщина эта с неба сошла”» [Там же. С. 84]. В этих словах, прибавляет Анненков, выражалось «одно артистическое чувство его: жизнь вел он всегда целомудренную, близкую даже к суровости», за исключением разве что «маленьких гастрономических прихотей».

По отъезде Панова из Рима, 6 мая [ЛН. Т. 58. С. 602] Анненков поселился в занимаемой им комнате гоголевской квартиры на Страда Феличе. Унаследовал Анненков и то дело, которым был занят Панов, – переписку под диктовку автора «Мертвых душ»¹⁰⁸.

Процесс этой диктовки, как он отображен мемуаристом, – торжество художнической природы Гоголя, выражение полноты его эстетических переживаний. «Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета». Иногда Анненков, не в силах сдержаться, прерывал переписку, «опрокидывался назад и раздражался смехом» – и Гоголь «следовал моему примеру и вторил мне при случае каким-то сдержанным полусмехом...». Необычная реакция человека, который, как мы знаем, всегда при любой шутке или остроте сохранял невозмутимую серьезность... «Когда, по окончании повести [«Повести о капитане Копейкине»], я отдался неудержимому порыву веселости, Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал: “Какова повесть о капитане Копейкине?”»

И не раз «впечатления диктовки» приводили Гоголя «в веселое состояние духа». Так, после главы о Плюшкине во время прогулки по глухому римскому переулку он вдруг «принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец пустился прямо в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Так отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою...» [Анненков, 1983, с. 74, 75, 76].

Лишь по отдельным приметам можно было догадаться о пережитой Гоголем болезни. Так, Анненков заметил, что часть ночи тот проводил, дремля на диване и не ложась в постель: наверное, он боялся «обморока и замирания», боялся умереть.

Однажды же Анненкову довелось наблюдать у Гоголя приступ тяжелой тоски, словно напомнивший о недавнем кризисе. В Риме умирал молодой русский архитектор Михаил Антонович Тамаринский (Томаринский) (1812–1841). Гоголь с участием следил за ходом его болезни, «но сам не заходил к умирающему, боясь, может быть, прилипчивого недуга, а может быть, опасаясь слишком сильного удара для своих расстроенных нервов». Постарался Гоголь избежать и церемонии прощания; за день до похорон он встретился с Анненковым и сказал ему «с видом и выражением совершеннейшего отчаяния: “Спасите меня, ради Бога: я не знаю, что со мною делается... Я умираю... я едва не умер от нервического удара нынче ночью... Увезите меня куда-нибудь, да поскорее, чтоб не было поздно...”»¹⁰⁹. Похожее происходило и в Вене, когда Гоголь велел Николаю Боткину усадить себя в дилижанс и везти

подальше в Италию... Быть может, как и тогда, Гоголь вспомнил об умирающем Иосифе Виельгорском, его предсмертной тоске.

Анненков выполнил просьбу Гоголя. «Через несколько часов мы очутились в Альбано, и надо заметить, что как дорогой, так и в самом городке Гоголь казался совершенно покоен и ни разу не возвращался к пояснению отчаянных своих слов, точно никогда не были они и произнесены» [Там же. С. 84–85].

Вообще главный итог наблюдений Анненкова не в том, что Гоголь в этот период не менялся, а в том, что эти изменения еще не были окончательными. Примером может служить отношение к так называемому «французскому вопросу». Однажды разговор о Франции возник за обедом в ресторане «Фальконе» между Гоголем, Анненковым и Александром Ивановым. Анненков отстаивал то мнение, что Франция по-прежнему – источник прогресса, «очаг, подставленный под Европу, чтобы она не застывала и не плесневела». Гоголь же придерживался противоположного взгляда: «Отрицание Франции было у него так неовозвратно и решительно, что при спорах по этому предмету он терял обычную свою осторожность и осмотрительность и ясно обнаруживал не совсем точное знание фактов и идей, которые затрагивал». Иванов же склонялся к гоголевской точке зрения, проявляя при этом свойственные ему «сомнения» и деликатность. И тем не менее и Гоголь не стал возводить разногласия в ранг вопроса о жизни и смерти: «добродушно помирившись в тот же вечер со своим горячим оппонентом», т. е. с Анненковым, «он преподнес ему в залог примирения апельсин, тщательно подобранный в лавочке, встретившейся по дороге из “Фальконе”» [Там же. С. 190–191].

Подтверждением этого свидетельства мемуариста служит позиция, занятая Гоголем в связи с критикой Белинским повести «Рим». В повести «отрицание Франции» выражает римский князь, выражает, казалось бы, как и Гоголь, «невозвратно и решительно»; и тем не менее, когда Белинский осудил писателя за «косые взгляды на Париж», тот энергично отвел этот упрек: «Он [Белинский] хочет, чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет Белинский. Я был бы виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж» (письмо Шевыреву [XII, 211]). Это высказывание относится к 1843 г.; можно предположить, что двумя годами раньше, в пору, о которой мы сейчас говорим, Гоголь возразил бы своему критику не менее (если не более) решительно. Правда, ни в письме Шевыреву, ни в самой повести он не пояснил,

чем же конкретно отличается его «взгляд» на Париж и Францию от точки зрения римского князя; однако ему важно было обозначить сам *момент несовпадения, дистанцирования*. Потому что, как говорит Анненков, «твердого, невозвратного приговора как в этом случае, так и во всех других, еще не было у Гоголя: он пришел к нему позднее».

Еще один факт, так сказать, некатегоричности Гоголя проявился в совсем другой сфере интересов. «Беседа шла преимущественно об отечестве; Гоголь по временам вдыхал в себя ароматический запах итальянской ночи и при воспоминании о некоторых явлениях нашего быта приговаривал задумчиво: “А может быть, все так и нужно покамест”». Мы едва ли ошибемся в предположении, что под «явлениями нашего быта» подразумеваются крепостные отношения, бывшие тогда самой животрепещущей проблемой русской жизни. И в таком случае ключевая деталь, обращающая на себя внимание в гоголевской реплике, – слово «покамест». Гоголь никогда не выступал против крепостного права; но, по-видимому, в то время он полагал, что это необходимое временное состояние. Позднее, в пору написания «Выбранных мест из переписки с друзьями», оттенок временности из соответствующих гоголевских рассуждений исчезнет.

В первой половине 1841 г. Гоголь встретился в Риме с Н.И. Надеждиным, совершавшим поездку по славянским и другим западноевропейским странам¹¹⁰. Последний раз они виделись в Петербурге весной 1835 г. О новой, римской их встрече Н.А. Мельгунов сообщал Н.М. Языкову 12 июля 1841 г. из Вены: «С чего, как бы Вы думали, начал [Гоголь] этот разговор с экспрофессором-журналистом? “Каков урожай в России, и высоки ли цены на хлеб?” – У Надеждина так и опустились руки» [ЛН. Т. 58. С. 606]. Мельгунова и, возможно, Надеждина (с чьих слов, вероятно, рассказана эта история) удивил подобный вопрос; между тем он хорошо вписывается в контекст гоголевских интересов. «...Мысль о России была в то время, вместе с мыслью о Риме, живейшей частью его существования. Он... никогда так много не думал об отечестве, как вдали от него, и никогда так не был связан с ним, как живя на чужой почве...» [Анненков, 1983, с. 92].

В это время у Гоголя довольно широкий круг русских знакомых. Часто виделся он с проживавшими в Риме русскими художниками – с Александром Ивановым, Иорданом, Моллером, работавшим над портретом писателя [Там же. С. 94], со скульптором Александром Васильевичем Логановским.

Вхож в это общество и Анненков, который с грустью подумывал о предстоящем отъезде из Рима. «Прожил я здесь три месяца, более, чем хотел, и долго буду помнить об этом городе. Причиной этому – славный Гоголь, а потом и несколько русских художников, с которыми я познакомился, и жили мы, таким образом, весело, осматривая все, что есть лучшего, обедая вместе, – не видал, как пролетели три месяца...» (письмо братьям Ивану и Федору Анненковым, начало июля 1841 г. [ЛН. Т. 58. С. 605]).

Были у Гоголя знакомства и вне круга художников. Мы уже знаем, что вместе с сестрами Давыдовыми – Екатериной Васильевной (1822–1904) и Елизаветой Васильевной (1823–1902) – Гоголь присутствовал на римском карнавале в феврале 1841 г. Познакомился он с ними еще раньше, в конце 1840 г., в Альбано. «Это очень приятный человек, – сообщала Екатерина Васильевна отцу, – он часто нас посещает и читал нам много раз свои произведения, которые очень забавны... Когда бываешь с ним, кажется, что находишься в России, потому что он говорит только по-русски и вдобавок с малороссийским акцентом, что совсем родное сердцу» [Там же. С. 594; подлинник на французском языке, кроме последних четырех слов]. Надо думать, что и Гоголь обрадовался встрече с земляками: Давыдовы были родом с Украины.

Сестрам Давыдовым писатель прочел «Ревизора». Слушательницы «много смеялись», но оценить услышанное не смогли. «Этот род пьес мне не нравится», – заметила Екатерина Васильевна в письме к отцу.

Через месяц-полтора, в воскресенье 14 февраля 1841 г., Гоголь повторил чтение «Ревизора», на этот раз с благотворительной целью – для помощи проживавшему в Италии художнику Ивану Савельевичу Шаповалову (Шаповаленко), который внезапно лишился стипендии. Гоголь «роздал билеты всем русским, находившимся в Риме, ценой в один пиастр, а внизу на билете, в уголке, скромно надписал мелким почерком: “Кто может и более”».

Вечер приобрел черты светского раута; княгиня Волконская отвела для этого большой зал в своем палаццо Поли, что возле фонтана Треви; по словам Иордана, одного из участников встречи, «съезд был огромный». Среди гостей находились сестры Давыдовы, а также сестры Мария и Екатерина Алферьевы (по Иордану, Олферьевы), из которых младшая слыла чудом красоты; затем Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–1912), будущий замечательный военный деятель, генерал-фельдмаршал, министр, а пока молодой капитан, питомец императорской Военной академии,

совершавший образовательное путешествие по странам Западной Европы и перед самым новым 1841 г. прибывший в Рим¹¹¹.

Три ряда стульев в палатке Поли заняли «лица высшего круга». В перерыве между актами официанты разносили чай с печеньем и мороженое.

У сестер Давыдовых вечер оставил хорошее впечатление. «Русские мужчины, сидевшие позади нас, – отметила в дневнике Елизавета Васильевна, – все время не переставали хохотать, и мы испытывали немалое удовольствие, когда нам удавалось уловить хоть несколько русских слов... Домой мы вернулись около полуночи...» [ЛН. Т. 58. С. 595].

У Иордана, чье внимание разрывалось между пьесой и красавицей Алферьевой-младшей («я все время любовался ею»), впечатление сложилось не столь радужное. И Гоголь читал хуже обыкновенного – «вяло, с большими расстановками, монотонно», и «публика, по-видимому, была мало заинтересована, скорее скучала, нежели слушала внимательно». После первого действия некоторые кресла опустели; Иордан слышал, как многие, выходя, говорили: «...этой пошлостью он кормил нас в Петербурге, теперь он перенес ее в Рим».

К концу вечера, если Иордан точен (свои воспоминания он писал в глубокой старости, спустя 30 с лишним лет после свершившихся событий), зала оказалась пустой; «остались только мы [т. е. русские художники] и его [Гоголя] друзья, которые окружили его, выражая нашу признательность за его великодушное намерение устроить вечер в пользу неимущего художника...» [Воспоминания, с. 222].

Кстати, у Гоголя был и другой стимул к двукратному, по крайней мере, чтению «Ревизора»: в это время он занимался поправками ко второму изданию комедии [см.: XI, 329], и такое чтение помогало ему вновь войти в ее художественный мир.

Встречался Гоголь и с итальянцами: со своим старым знакомым кардиналом Меццофанти, художником и скульптором Пьетро Тенерани (1789–1869) и другими [Анненков, 1983, с. 84].

В кругозоре гоголевского внимания находились и назарейцы – немецкие художники, работавшие в Риме. Гоголь мог узнать о них еще до своего приезда в Италию от Жуковского, который в мае 1833 г. в Риме познакомился с несколькими представителями этого направления: Фридрихом Овербеком, Петером Корнелиусом, Францем Кателем и Эвальдом фон Штейнлем. Около того

же времени, в январе 1833 г., в Риме встречался с Овербеком А.И. Тургенев [Архив братьев Тургеневых. СПб., 1921. Вып. 6. С. 154], который также служил для Гоголя источником информации о западноевропейской культурной жизни.

Не раз жизненный путь Гоголя проходил вблизи тех мест, которые были ознаменованы творчеством назарейцев, начиная с его первого заграничного путешествия в 1829 г. и посещения Любека. Оказывается, Гоголь был здесь в той самой церкви Святой Марии, где находилась знаменитая картина Овербека «Вшествие Христа в Иерусалим»¹¹². Гоголь, внимательно осматривавший художественные сокровища Мариен-Кирхе («Живопись внутри церкви удивительная...» [X, 156]), картину Овербека не упоминает; однако если она и не привлекла его внимание, то он мог узнать о ней позднее, когда стал свидетелем работы Александра Иванова над его «Явлением Мессии». Дело в том, что в этом произведении видят определенное влияние картины Овербека, которая благодаря литографии Отто Шпектера (1833) сделалась широко известной за пределами Германии, в том числе и в Италии [Сарабьянов, с. 99].

Интересно, что по прибытии в первый раз в Италию в марте 1837 г. Гоголь поселился на Via di Isidore, 17, т. е. недалеко от того самого монастыря Святого Исидора, где в 1810 г. обосновались назарейцы во главе с Овербеком. Здесь они основали коммуну, здесь работали, выдерживая суровый, почти аскетический образ жизни.

Как показала современная итальянская исследовательница Рита Джулиани, назарейцы оставили о себе много памятных штрихов в письмах и произведениях Гоголя, начиная с его характерной формулы – «нужно испытать *художническо-монастырскую* жизнь в Италии» [XI, 96] и кончая описанием внешности немецких художников («Те же самые знакомые лица вокруг меня, те же немецкие художники с узеньки<ми> рыженькими бородками» [XI, 197]). Гоголь упоминает, так сказать, ключевую деталь их облика – длинные волосы «alla nazarena» (т. е. как у Иисуса из Назарета), которые и послужили поводом для самого наименования художников как назарейцев (в повести «Рим»: «Тут художник почувствовал красоту длинных волнующихся волос и позволил им рассыпаться с кудрями. Тут самый немец ... получил значительное выражение, разнеся по плечам золотистые свои локоны...» [III, 238; см.: Джулиани, 2001, с. 127 и далее; Джулиани, 2009, с. 94 и далее]).

Возможны и личные встречи Гоголя с назарейцами около декабря 1838 г., если не раньше. 25 декабря (6 января) вместе с приехавшим в Рим Жуковским он посещает церковь Trinita dei Monti и рассматривает «Мадонну Фейта» [Жуковский, с. 457], т. е. «Пречистую Деву» назарейца Филиппа Фейта. В тот же день Жуковский вместе с великим князем – в мастерской Овербека [Там же]. Погодин, бывший у Овербека 4 апреля 1839 г., отметил: «Овербек очень привязан к нашему Ж<уковскому>, с которым они сошлись во вкусе и понятиях о живописи и соблазнили вместе с Г<оголем> и некоторых наших художников» [Погодин, 1844, ч. 2, с. 136]. Очевидно, в это время Гоголь не раз виделся с Овербеком. Известна и более поздняя его встреча с главой назарейцев: в январе 1843 г. в программе осмотра римских достопримечательностей, составленной для А.О. Смирновой, писатель предусмотрел посещение мастерской Овербека [IX, 491].

Отношение к назарейцам и главе их Овербеку важно для характеристики эстетических позиций Гоголя. Анненков передает его довольно критическое суждение о назарейцах. «Раз после вечера, проведенного с одним знакомым живописца Овербека, рассказы-вавшего о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев дорафаэлевой эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумье: “Подобная мысль могла только явиться в голове немецкого педанта”» [Анненков, 1983, с. 80]. Как же все это сочетается с явным интересом Гоголя к Овербеку, о чем говорят приведенные выше факты?

В 1830–1840-х годах Овербек оказался в фокусе эстетических размышлений многих русских литераторов и художников. Жуковский считал, что это художник «самый интересный и близкий к идеалу живописца» [Жуковский, 1903, с. 293]. Александр Иванов, также лично знакомый с Овербеком, в 1839 г. назвал его «высочайшим и единственным моим судьей и советником», а годом позже – «моим пророком, моим единственным наставником, поэтом-художником христианским» [Иванов, 1880, с. 120, 132], хотя при этом высказал упрек в излишнем аллегоризме. С оговорками принял творчество Овербека М.П. Погодин: «Хорошо, похвально – но нет жизни в его глубоко-зудуманных, прекрасно-сочиненных картинах, – какая-то окаменелость!» [Погодин, 1844, с. 136]. Более конкретно выразили причину своей неудовлетворенности Овербеком и другими назарейцами такие русские ценители живописи, как Боткин, Станкевич и тот же Анненков.

В марте 1840 г. в Риме вспыхнул спор о назарейцах между Станкевичем и художником А.Т. Марковым, с одной стороны, и Шевыревым – с другой (Гоголь в это время находился в России). Шевырев, по словам Станкевича, принялся «защищать направление новой немецкой живописи (назарейцев. – Ю. М.), старание подражать Перуджино и проч. Степан Петрович *видят* в этом необходимую реакцию языческому направлению, начатому Микель-Анджелом, возвращение к типу, преданному церковью. Аргументы: ведь должна ж быть христианская живопись! А коли так, так надо держаться типа, преданного церковью».

Возражения другой стороны (Станкевича и Маркова) звучали так: «духовный тип христианских образов – в Евангелии, а наружный – в природе»; «характер дает Евангелие, а черты – лица, подмечаемые свободным художником». Сторонники «новой немецкой живописи» (назарейцы) держатся только предания, отвращаясь от действительности: «Мадонны с человеческими лицами, просветленными чисто материнскою любовью, обнаруживающие божественное в жизни, – не по ним!» [Станкевич, с. 694–696; курсив в оригинале].

В том же духе назарейцев критиковал В.П. Боткин: «Эти романтики ошибались: они не умели понять, что идеалы средних веков не могут уже удовлетворять современное человечество, ибо в продолжении 400 лет оно многое узнало, о многом размыслило, многое поняло из того, что для средних веков казалось вечною тайною» [Боткин, с. 60].

Ту же точку зрения, но своеобразно, способом от противоположного, выразил Анненков в своем отзыве о находившейся в Любеке картине Овербека «Вшествие Христа в Иерусалим» – той, которая послужила предвестием ивановского полотна и с которой, возможно, был знаком Гоголь.

Пятнадцать лет употребил он [Овербек] для исполнения своей картины и все-таки не отделился ни от своей личности, ни от века своего... На прекрасном лице его Спасителя так много грусти и глубокой думы, что к этому изображению его могли только привести колебание общества в последнее время и сама философия; на лице Иоанна такая небесная красота и смирение, что непременно вспоминаешь о целом ряде великих итальянских живописцев... И все это облечено в старую форму, в неопытную манеру художников 15 столетия, и потому (картина) произведение несет в себе какое-то странное противоречие с самим собой» [Анненков, 1983, с. 241].

Лейтмотив этого пассажа: художник, при всем желании, «не мог» отделиться от своей личности, своего времени; «не мог» пренебречь «философией», способом наблюдения и живописания новейших школ.

Взгляд на Овербека и назарейцев, выраженный Станкевичем, Боткиным или Анненковым, соответствует общей концепции искусства, сложившейся в лоне западноевропейской (прежде всего немецкой) и русской философской эстетики. Художественные формы развиваются диалектически: классическая форма античного времени сменяется романтической формой эпохи Средневековья; последняя же уступает место новому искусству, синтезирующему в себе сильные стороны форм предшествующих: пластицизм, объективность, внешнюю наглядность классического искусства и одухотворенность, субъективную наполненность, психологическую тонкость средневекового, т. е. истинного романтизма. Попытка Овербека вернуться к бесприемному, «чистому» искусству Средневековья анахронистична или же, в лучшем случае (так в понимании Анненкова), обречена на непоследовательность, на внутреннюю противоречивость, ибо полностью отрешиться от своего времени, будучи талантливым художником, он не мог.

Нетрудно увидеть, что именно в таком ключе осуждает Овербека Гоголь на страницах анненковских мемуаров. Насколько правильно передал мемуарист высказывание писателя? При отсутствии других, прямых высказываний Гоголя на этот счет ответить на поставленный вопрос затруднительно. Анненков, как кажется, не отразил несомненный интерес Гоголя к назарейцам и к их религиозно-художественным исканиям. Но в то же время очевидно и то, что прямое восстановление в своих правах дорафаэлевского стиля не отвечало духу гоголевского художественного миропонимания, достаточно диалектичному и близкому к системам философской эстетики. В начале 30-х годов Гоголь мечтал о привитии современному искусству брюлловской пластики, телесности, красочности при сохранении его глубокой духовной наполненности, выразившейся в музыке (типично романтический род искусства) или в готике (также типично романтический архитектурный стиль). Гоголь по-своему отразил идею синтетического искусства современности, разрабатываемую у нас, скажем, Н.И. Надеждиным или только что упоминавшимся Станкевичем.

К рубежу 40-х годов эта идея не стала Гоголю чуждой, о чем свидетельствует его сохранившийся интерес к античному (т. е.,

по принятой классификации, истинно классическому) искусству. «Всего замечательнее, что скульптурные произведения древних тогда еще производили на него сильное впечатление. Он говорил про них: “То была религия, иначе нельзя бы и проникнуться таким чувством красоты”» [Анненков, 1983, с. 83]. Характерен и гоголевский культ Рафаэля, от которого назарейцы намеревались отступить в направлении к искусству средневековому. У Гоголя же почитание Рафаэля сочеталось с интересом к античности, что также гармонировало с концепциями философской эстетики, поскольку в ее представлении новая, постромантическая форма искусства включает в себя элементы искусства классического. А.О. Смирнова-Россет, рассказывая об увлечении Гоголя Рафаэлем и Микеланджело, прибавляет, отражая взгляды того же Гоголя: «Заметьте, какая стройность всегда в античности» [Смирнова, 1989, с. 35]¹³.

В конце концов смысл пассажа о назарейцах в изложении Анненкова не в том, что Гоголь их всецело отвергал, а в том, что считал их устремления односторонними, не соответствующими духу времени. И еще в том, что он, Гоголь, в то время «еще никому собственно не принадлежал» [Анненков, 1983, с. 80], что взгляды его не приобрели печать категоризма и завершенности¹⁴.

Что же касается творческой деятельности Гоголя, то главным его делом в этот период была доработка или, как он говорил, «совершенная очистка» первого тома «Мертвых душ». Одновременно он приступил и к работе над вторым томом – такой вывод можно сделать из сопоставления ряда фактов.

Извещая С.Т. Аксакова о завершающей стадии написания первого тома («переменяю, перечищаю, многое перерабатываю»), Гоголь добавляет: «Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней» [XI, 322]. И в тот же день, 28 декабря н. ст. 1840 г., в письме М.П. Погодину Гоголь говорит уже не только об обдумывании, но определенно о *работе* над следующим томом: «...занимаюсь переправками, выправками и *даже продолжением* “Мертвых душ”, вижу, что предмет становится глубже и глубже» [XI, 325].

Слова Гоголя подтверждаются категорическим утверждением Анненкова, жившего бок о бок с писателем. Именно в это время, говорит мемуарист, Гоголем был «предпринят» второй том – «как я могу утверждать положительно» [Анненков, 1983, с. 79]. Наконец, упоминая впоследствии (в «Выбранных

местах...») о сожжении второго тома, Гоголь в письме, датированном им 1846 г., говорил: «Нелетко было сжечь *пятилетний* труд...» [VIII, 297]¹¹⁵.

«Мертвыми душами» не ограничивались творческие занятия Гоголя. Из упоминавшегося письма Погодину: «Если только мое свежее состояние продолжится до весны или лета, то может быть, мне удастся еще приготовить что-нибудь к печати, кроме первого тома Мерт<вых> д<уш>» [XI, 325]. Речь шла, как мы уже знаем, о новой редакции «Портрета» и, скорее всего, еще о трагедии из казацкого запорожского быта, отрывок из которой в минуту особенного благорасположения Гоголь прочел Панову. Другой переписчик «Мертвых душ», Анненков, такой чести не удостоился и о существовании драмы узнал случайно. «Между бумагами, которые Гоголь тщательно подкладывал под мою тетрадку, когда приготавлился диктовать, попался нечаянно оторванный лоскуток, мелко-намелко писанный его рукою. Я наклонился к бумажке и прочел вслух первую фразу какого-то старого казака... : “И зачем это Господь Бог создал баб на свете, разве только, чтоб казаков рожала баба...”» [Анненков, 1983, с. 86]. Фраза, выуженная Анненковым, много говорит о духе трагедии, сохранившей полноту и яркость гоголевского комизма. Все это вполне соответствует тем наставлениям, которые писатель дал самому себе как автору этой пьесы: «обвить разгулом, козачком и всем раздольем воли» и т. д. [V, 199].

В начале июля Анненков покидал Рим, направляясь в Альбано, а оттуда на юг – в Неаполь и Сицилию [ЛН. Т. 58. С. 605]. Гоголь сопровождал Анненкова в Альбано, потом, усаживая в дилижанс, сказал «с неподдельным участием и лаской: “Прощайте, Жюль. Помните мои слова. До Неаполя вы сыщете легко дорогу; но надо отыскать дорогу поважнее, чтоб в жизни была дорога; их множество, и стоит только выбрать...”» [Анненков, 1983, с. 95]. Насмешливость и расположение к шутке («Жюль»!..) соседствуют в Гоголе с торжественной настроенностью и склонностью к наставлениям. Пассаж о выборе дороги преисполнен важного смысла, который вскоре отразится, скажем, в совете Муразова Чичикову: «Подумайте не о мертвых душах, а о своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу» [VII, 123].

В августе (после 7-го) в дорогу отправился и Гоголь. Путь его лежал во Флоренцию, Геную, затем в Германию, в Дюссельдорф, где он намеревался встретиться с Жуковским.

На пути в Россию

В Дюссельдорфе Гоголь не застал Жуковского. Пятидесятилетний поэт, незадолго перед тем обручившийся с дочерью немецкого художника Елизаветой Рейтерн, отправился навещать своих новых родственников.

Гоголь «поймал» Жуковского во Франкфурте во второй половине августа.

Именно здесь была поставлена точка в истории гоголевской драмы на запорожскую тему. Писатель решил проверить: какое впечатление произведет его новая вещь на Жуковского – и вывод сделал самый неутешительный.

Впоследствии Ф.В. Чижов передал рассказ Жуковского.

Знаете ли, что он написал было трагедию? <...> Читал он мне ее во Франкфурте. Сначала я слушал; сильно было скучно; потом решительно не мог удержаться и задремал. Когда Гоголь кончил и спросил, как я нахожу, я говорю: «Ну, брат, Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось». – «А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее», – отвечал он и тут же бросил в камин. Я говорю: «И хорошо, брат, сделал» [Воспоминания, с. 228–229]¹¹⁶.

К концу августа Гоголь перебрался в Ганау, где около месяца провел в обществе Н.М. Языкова, с которым познакомился здесь же два года тому назад, и его брата Петра Михайловича. «Гоголь сошелся с нами, – писал Н.М. Языков сестре 19 сентября. И добавлял: – Он премилый».

Гоголь не скрыл от своих друзей, что «написал много нового и едет издавать оное», но читать написанное, т. е. главы из «Мертвых душ», кажется, не стал. Зато обещал Николаю Михайловичу по возвращении его в Москву поселиться с ним «на одной квартире». Обещал также пожить в родных местах Языкова в Симбирске, «чтобы получить истинное понятие о странах приволжских» [Шенрок, т. 3, с. 351–352]. Мысль о таком путешествии была связана с тем, что Гоголь уже приступил к работе над вторым томом поэмы и ощущал настоятельную необходимость в расширении ее художественного пространства.

Во второй половине сентября (после 24-го) Гоголь вместе с Петром Языковым отправился в Дрезден, чтобы затем через Берлин держать путь на родину.

До Дрездена доехали без особых приключений. Разве что (шутил Гоголь в письме Н.М. Языкову) после Ганау «на второй станции посадили к себе в коляску двух наших земляков, русских помещиков, Сопикова и Храповицкого, и провели с ними время до зари. Петр Михайлович даже и по заре еще перекинулся двумя-тремя фразами с Храповицким» [XI, 346]. Любопытная вариация того места из девятой главы «Мертвых душ», где развивалась сонная символика – познакомиться «с помещиками Завалишиным да Полежаевым», «заехать к Сопикову и Храповицкому»...

Случилась по дороге в Дрезден и реальная встреча. При пересадке «из коляски в паровой воз», т. е. на железнодорожный поезд, «как сон в руку встретились Бакунин и весьма жесткие деревянные лавки. То и другое было страх неловко...» [XI, 346–347]¹¹⁷.

Похоже, что Гоголь лично знал Михаила Александровича Бакунина (1814–1876), бывшего участника кружка Станкевича, выехавшего в июне 1840 г. за границу, в Германию. Гоголь мог видеться с ним во время пребывания в Москве в конце 1839 – начале 1840 г., хотя к близкому знакомству эта встреча не привела.

В Дрездене Гоголь посетил главную достопримечательность этого города – галерею Цвингер, где находилась Сикстинская мадонна Рафаэля¹¹⁸.

Приезд в Берлин Гоголь предварил письмом В.А. Панову, отправленным еще 24 сентября из Ганау; мы помним, что писатель расстался с ним в Риме весной этого года, когда тот отправлялся в прусскую столицу. «Коли вы в Берлине, не уезжайте из Берлина: через дня два или три после сего письма, я надеюсь быть сам у вас и мы проведем надеюсь еще несколько часов на чужой земле. О моем приезде пожалуйста не говорите немцам заезжающим в Русскую литературу, ниже Русским, которые там живут теперь. Вы знаете, что и всегда бывал не охочь до знакомств, а теперь и более того»¹¹⁹. Письмо свидетельствует о том, что Гоголь заранее решил не задерживаться в Берлине, и еще о том, что у него были некоторые представления о людях, с которыми пришлось бы встретиться.

Вначале – о «немцах, заезжающих в Русскую литературу». Это, конечно, Карл-Август Варнгаген фон Энзе (Varnhagen von Ense, 1785–1858), в прошлом участник антинаполеоновской кампании, воевавший под русскими знаменами, потом дипломат и общественный деятель, с 1819 г. проживавший в Берлине, где он и его жена, хозяйка знаменитого салона Антония-Фредерика Рахель (1771–1833), находились в центре интеллектуальной и

литературной жизни. Знакомыми Варнгагена фон Энзе были и Шамиссо, и Александр Гумбольдт, и Гейне и в то же время многие русские: Я.М. Неверов, Н.А. Мельгунов, А.И. Тургенев, С.П. Шевырев и другие.

«Заезды» Варнгагена фон Энзе в русскую литературу были постоянными и систематическими. Выучив с помощью Неверова русский язык, он читал в подлиннике Жуковского, Лермонтова, Лажечникова, Пушкина... Статья Варнгагена фон Энзе о Пушкине [Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. 1838. Bd. 2. № 61–64] имела большой резонанс в России, привлекла она к себе внимание и в западноевропейских странах. Поэтому неудивительно, что приезжающие в Германию русские старались познакомиться с ним, заручиться его поддержкой.

Советуя Неверову нанести визит немецкому критику, Мельгунов писал (31 августа 1837 г.): «Я надеюсь, что он для вас в Берлине, да и вообще в Германии будет тем же, чем был для меня. Его связи огромны, и он пользуется общим уважением. Несколько строк его жемчужной руки стоят длинных рекомендательных писем» [ZS. 1988. № 4. S. 485¹²⁰]. Со своей стороны, Неверов после встречи с Варнгагеном фон Энзе сообщал 12 октября 1837 г. в Петербург известному ориенталисту В.В. Григорьеву: «...это знакомство для меня крайне приятно и полезно. Варнгаген замечателен как литератор, как дипломат ... и еще более как человек, имеющий большие связи в Берлине и во всей Германии» [Ibid. S. 491]. Свидетельством признания Варнгагена фон Энзе в России служит тот факт, что уже в 1837 г. «Энциклопедический лексикон» Адольфа Плюшара поместил посвященную ему биографическую статью, где говорилось, что это «один из известнейших современных писателей Германии» (СПб. Т. 8. С. 303).

В.А. Панов, который, как показал Г. Цигенгейст, числился в качестве слушателя Берлинского университета с 26 мая 1841 г. по 9 августа 1842 г. [ZS. 1990. № 2. S. 177], тоже поспешил познакомиться с Варнгагеном фон Энзе. И удостоился со стороны последнего весьма лестной характеристики: «Г-н Панов, – записал он 30 мая в дневнике, – один из тех благородных, отличных [trefflichen] русских, которые так часто появляются ныне во славу своего народа...» [Ibid. S. 166]. Отзыв же Панова оказался гораздо более сдержанным. 6 июня (25 мая ст. ст.), после вторичного посещения немецкого критика, он сообщал К.С. Аксакову в Москву: Варнгаген фон Энзе «принял меня даже с излишними учтивствами. Он вообще относится к разряду людей, которых Николай

Васильевич называет сладкими и которых знакомство отчасти бывает тяжело» [ЛН. Т. 58. С. 603–604]. Панов смотрит на своего нового знакомого глазами Гоголя, сравнивая его с Маниловым; соответствующие строки из еще не напечатанной поэмы памятливы ему по переписке текста, имевшей место в Риме несколькими месяцами раньше.

Другое обстоятельство, охладившее отношение Панова к Варнгагену фон Энзе – расхождения в художественных вкусах. «Он мне сказывал, между прочим, что он произведения г-жи Дюдеван, или George Sand, ставит наравне с лучшим, что произвела Германия...» [Там же]. Для либерально настроенного Варнгагена фон Энзе высокая похвала Жорж Санд вполне естественна; Панов же судит о ней сурово, в духе славянофилов, в частности адресата этого письма Константина Аксакова, отказывавшегося причислять французскую писательницу к «великим поэтам». У Гоголя к 40-м годам также складывалось неприязненное отношение к Жорж Санд. Слушая чтение «Писем путешественника» (это было, очевидно, в начале 1843 г. в Риме), Гоголь сравнил ее манеру с фальшивой игрой на скрипке [Смирнова, 1989, с. 69]. Все это не благоприятствовало встрече Гоголя с Варнгагеном фон Энзе.

Между тем трудно сомневаться в том, что немецкий литератор охотно пошел бы на такое знакомство, если бы Гоголь проявил хоть малейшую инициативу. Варнгаген фон Энзе давно уже интересовался творчеством этого писателя. В мае 1838 г. в статье «Die literarische Cultur in Russland» (журнал *Der Freihafen*. № 2), написанной им совместно с Неверовым, Гоголь был назван «самым значительным писателем после смерти Пушкина» [цит. по: ZS. 1988. № 4. S. 502]. Панов при свидании с Варнгагеном фон Энзе в мае 1841 г. вручил ему рекомендательное письмо от А.И. Тургенева, где упоминалось и о Гоголе как об «оригинальнейшем поэте и драматическом писателе... во всей России» [ZS. 1990. № 2. S. 178]; это письмо было написано еще в предыдущем году, но пропутешествовало вместе с Пановым в Италию, пока тот не попал в Берлин. К информации Тургенева Панов добавил и собственные живые впечатления: ведь он только что провел бок о бок с Гоголем несколько месяцев («Г-н Панов сообщает мне сведения о Грановском, Шевыреве, Гоголе», – записывает Варнгаген фон Энзе 30 мая). Наконец, еще одно связующее звено между немецким критиком и Гоголем: 7–8 августа того же года по дороге из Эмса во Франкфурт-на-Майне Варнгаген фон Энзе знакомится с одним из самых симпатичных Гоголю людей – с Языковым, «поэтом первого ранга»

[ZS. 1984. № 6. S. 938]; напомним, что это произошло примерно за месяц до встречи Языкова с Гоголем в Ганеу.

Теперь – о проживающих в Берлине русских, которые, перефразируя гоголевские слова, «заезжали в немецкую литературу». Строго говоря, это были заезды не столько в область художественной словесности, сколько науки и особенно философии. П.В. Анненков, побывавший в Берлине за несколько месяцев до Гоголя, писал, что «университет поглощает всю жизнь и все толки лучших голов Берлина», и как забавный, насмешивший всех казус приводил жалобу одного «путешествующего» русского: «У меня пот выступил от умных вещей, которые я здесь слышал» [Анненков, 1983, с. 10]. Вот ради этой науки и этого университета, не боясь трудов и «пота», и отправлялась в Берлин русская молодежь, начиная с Н.В. Станкевича и участников его кружка. С их поездок в прусскую столицу, начавшихся в конце 30-х годов (первый приезд Станкевича – в октябре 1837 г.), берлинский «текст» приобрел в глазах русских свою специфику, отличную, скажем, от «текстов» римского или парижского.

Станкевич писал друзьям-москвичам: «Внимайте все, некогда собиравшиеся к круглому столу в доме Лаптевой (т. е. в доме в Большом Афанасьевском переулке, где жил Станкевич и где собирался его кружок. – Ю. М.)... внимайте! – я в Берлине!» [Станкевич, с. 158–159]. Звучит почти как «я в земле обетованной!». Высказывание другого паломника в Берлин поясняет, из какого источника проистекало это радостное чувство: «Думали, что вечно искомый абсолюте, наконец, найден, и его можно покупать в розницу или оптом в Берлине» [Бакунин М.А. Избр. соч.: В 5 т. М.; П., 1919. Т. 1. С. 230]. Берлин становился символом не просто философской столицы мира и не только интереса к философии и занятий философией, но – интереса всепоглощающего, занятий последовательно научных, строгих, реализуемых в той логически опосредованной форме, какую явила система Гегеля. «С Берлином кончилось для Станкевича наслаждение философией и всякая возможность обращаться с нею запросто, делать из нее подножие поэтическому вдохновению и привлекательной мечте... Он встречался с чистотою мыслию во всей ее наготе и сухости, и неизбежные последствия этой встречи мало-помалу открывались его умственному взору...» [Анненков, 1857, с. 184]. Далеко не все из приезжих русских хотели и могли следовать такому направлению, но все равно это направление определяло в их глазах репутацию и «образ» Берлина.

Правда, на кафедре Берлинского университета давно уже не было Гегеля (он умер в 1831 г.), но оставались его ученики, профессора того же университета: философ и драматург Карл Вердер, первый издатель гегелевских лекций по эстетике Генрих-Густав Гото, историк Леопольд фон Ранке. Их занятия посещали проживавшие в Берлине русские, а с Вердером многие и подружились, в том числе Станкевич и И.С. Тургенев, находившийся в Берлине с мая 1840 по май 1841 г.

Очень серьезно отнесся к университетским занятиям и Панов, сообщавший матери 24 (14) октября 1841 г., что он «на этом семестре записался уже у пяти профессоров»: Ранке, Вердера, Шеллинга, географа и статистика Карла Риттера, физика Георга Ерманна, «что довольно дорого стоит» [Встреча, с. 29].

Во времени посещения Берлина Гоголем здесь, помимо упоминавшихся Панова и Бакунина, проживали бывшие участники кружка Станкевича М.Н. Катков и А.П. Ефремов, а также А.Д. Галахов. Гоголь мог иметь их в виду, говоря о русских берлинцах, хотя о его встречах с ними сведений нет.

Вообще исходившие из Берлина философские импульсы отклика у Гоголя не вызывали. Писатель вовсе не был чужд общего философского умонастроения эпохи (следовательно, прежде всего умонастроения немецкого), что проявилось хотя бы в его концепции движения художественных форм, о которой уже говорилось; но чрезмерное увлечение немцами казалось ему нежелательным. В начале 1841 г. Гоголь отговаривал К. Аксакова от поездки в Берлин, поясняя, что опасается, как бы тот не вдался «односторонне в нее (т. е. в немецкую философию. – Ю. М.) – для нее же самой» [XI, 338]. Еще по московским встречам 1839–1840 гг. Гоголь знал о страстном увлечении Константина Аксакова Гегелем.

В 1840-х годах умственную жизнь Берлина определяло такое событие, как приглашение в Берлинский университет Шеллинга и чтение им лекций по философии откровения (на этот курс, как мы видели, записался и Панов). Первая лекция состоялась 15 ноября 1841 г., спустя полтора месяца после посещения Берлина Гоголем; однако о предстоящем приезде Шеллинга и его намерении доказать несостоятельность гегелевской системы в самой, так сказать, цитадели гегелизма стало известно значительно раньше. «Шеллинга ожидают непременно в течение этого года» [ОЗ. 1841. Т. 16. Отд. 7. С. 116], – сообщал Катков в письме из Берлина, датированном 21 мая того же года. Русские в Германии,

равно как и у себя дома, в России, тоже ждали этого события и затем прореагировали на него по-разному.

Катков с энтузиазмом воспринял, говоря его словами, «философскую реформу», осуществленную Шеллингом; у других – прежде всего бывших участников кружка Станкевича (Белинского, Боткина, Грановского), а также у Герцена – она вызвала резкое неприятие. Против «позитивистской философии», т. е. Шеллинга периода откровения, выступил и Бакунин; его статья «Реакция в Германии», опубликованная под псевдонимом «Jules Elysard» в журнале левых гегельянцев [Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst. 1842. № 247–251. 11–12 October], привлекла к себе широкое внимание.

Задним числом на выступление Бакунина откликнулся и Гоголь. В письме Н.М. Языкову (28 мая н. ст. 1843 г., Мюнхен) он пересказывает «довольно печальную историю о Бакунине».

Сей философ наделал просто глупостей, и нынешнее его положение жалко. В Берлине он не ужился и выехал, куда не помню, как мне рассказывали, по причине, что не мог иметь никакого сурьезного влияния. Вздумал он, с какою целью, Бог ведает, для того ли, чтобы услужить новым философам Берлина и Шеллингу, написать в каком-то журнале статью на гегелистов, которых уничтожил вовсе и обличил в самом революционном направлении. Статья произвела негодование. Прусский король запретил журнал и донес о сем русскому правительству. Бакунин должен был скрыться и теперь, говорят, в Цюрихе... [XII, 190].

Гоголевский отклик интересен смешением самых разных фактов и версий. Бакунин не обличал «гегелистов» в «революционном направлении»; наоборот, он ставил в заслугу плеяде немецких философов, увенчанных Гегелем, то, что они выразили «революционный принцип, а также принцип автономии духа» – и все это «находится в глубочайшем противоречии со всеми ныне существующими положительными религиями, со всеми современными церквями» [Бакунин, с. 223–224]. Шеллингу периода философии откровения такая точка зрения «услужить» не могла, несмотря на то что прежнего Шеллинга (так же как Канта и Фихте) Бакунин поместил в упомянутый ряд немецких философов, воплощающих истинно «революционный дух». Неточно изложены и обстоятельства высылки Бакунина.

Из гоголевского письма видно, что информатором его был Александр Николаевич Попов (1821–1877), выпускник юридиче-

ского факультета Московского университета, магистр, отправившийся в 1842 г. в Берлин, чтобы изучать философию. Близкий к славянофилам, он, понятно, не жаловал Бакунина и мог передать писателю свою антипатию к нему, точнее – *усилить* эту антипатию, ибо и Гоголь, как мы видели, тоже не испытывал к Бакунину теплых чувств. Однако как человек, специально занимающийся немецкой философией, Панов, конечно, различал ее главные течения и знал, против кого направлена статья Бакунина. Смешение различных явлений и фактов, очевидно, проистекало из умонастроения самого Гоголя, равно неприязненно или по крайней мере безразлично относившегося и к «гегелистам» и к новому Шеллингу.

Петербург – Москва – Петербург (октябрь 1841 – июнь 1842)

Около 19 октября по н. ст. (7-го по старому) Гоголь приехал в Петербург и стал наносить визиты, один за другим, своим старым друзьям: Плетневу, Балабиным, Смирновой-Россет, возможно и Виельгорским. Остановился он, скорее всего, у Прокоповича на 9-й линии Васильевского острова.

Плетневу Гоголь объявил, что будет печатать «Мертвые души» в Петербурге, а потом уже переедет в Москву [Плетнев, 1896, с. 408]. Если такая мысль и возникла у писателя, то очень скоро он от нее отказался. Со слов Смирновой-Россет гоголевский биограф говорит: «Он сперва намерен был печатать “Мертвые души” в Петербурге, но потом раздумал» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 302].

Пробыв в столице дней пять, Гоголь после 13 октября отправился в Москву, куда прибыл 17-го¹²¹. Поселился он на привычном месте, у Погодина на Девичьем поле. А на следующий день появился у Аксаковых.

Сергей Тимофеевич нашел в нем большую перемену – следствие перенесенной в конце лета 1839 г. тяжелой болезни: «...он стал худ, бледен и тихая покорность воле Божией слышна была в каждом его слове». Поубавился интерес Гоголя к еде, или, как говорит мемуарист, приглушилось его «гастрономическое направление», а самое главное – ослабела склонность к смеху.

«Иногда, очевидно без намерения, слышался юмор и природный его комизм; но смех слушателей, прежде не противный ему или не замечаемый им, в настоящее время сейчас заставлял его переменить тон разговора» [Воспоминания, с. 137].

Перемену в Гоголе должен был заметить и Погодин. По более позднему свидетельству писателя, едва переступил он порог погодинского дома, как объявил: «...случилось внутри меня что-то особенное, которое произвело значительный переворот в деле творчества моего». И добавил, что от сочинения его, т. е. «Мертвых душ», он, Погодин, будет «плакать и заплачет от него многие в России» [XIII, 337].

Впрочем, уже первый день пребывания Гоголя в доме Аксаковых несколько изменил их впечатление. В этот же день на обед к ним пришел Петр Иванович Пейкер, сын крупного чиновника, сенатора Ивана Устиновича Пейкера, служившего в Межевом департаменте Правительствующего сената (Сергей Тимофеевич был знаком с Пейкерами, так как одно время занимал пост директора Константиновского межевого института). И тут неожиданно новый гость узнал в Гоголе своего недавнего попутчика во время поездки из Петербурга в Москву....

Оказывается, Гоголь влел себя с Пейкером почти так же, как с неким Васильевым, двумя годами раньше, когда следовал тем же маршрутом, из новой столицы в старую. «Заметь, что товарищ (т. е. Пейкер) очень обрадовался соседству знаменитого писателя, он уверил его, что он не *Гоголь*, а *Гогель*, прикинулся смиренным простячком, круглым сиротой и рассказал о себе преплачевную историю. Притом на все вопросы отвечал: “нет, не знаю”» [Воспоминания, с. 137]. Возможно, в таком поведении Гоголя заключались скрытые мотивы: ведь фамилия Пейкера была ему небезызвестна – уже упоминавшийся Пейкер-старший до прихода в Межевой департамент занимал пост директора Департамента государственного хозяйства и публичных зданий, где в свое время служил Гоголь, и именно ему в феврале 1830 г. «студент Николай Гоголь-Яновский» подавал прошение об отставке [см.: X, 382].

Во всяком случае, столкнувшись лицом к лицу со своим недавним мистификатором, Пейкер было обиделся, но Аксаковы уверили его, что «Гоголь делает это со всеми». По возвращении же в Петербург Пейкер с новым чувством стал перечитывать гоголевские произведения, и не только художественные. «...Его метода преподавания всеобщей истории восхищает меня, – писал он С.Т. Аксакову 7 ноября по поводу статьи из “Арабесок”, – мне ка-

жется, что гениальность этого замечательного человека является здесь не в меньшем блеске, как в юмористических сочинениях...» [ЛН. Т. 58. С. 608].

Что же касается Сергея Тимофеевича, то он расценил выходку Гоголя как «последнее проявление его проказливости». Увы, сколько еще совершит Гоголь таких выходов, которые окружающим будут казаться «последними»!..

Перед отъездом за границу в мае 1840 г. Гоголь обещал москвичам вернуться с первым томом «Мертвых душ» – и сдержал слово; рукопись – преимущественно последние пять глав – нуждалась лишь в окончательной отделке. Пока правился текст и перебеливались первые шесть глав (в качестве переписчика С.Т. Аксаков рекомендовал воспитанника Межевого института Крузе, но Гоголь почему-то прибегнул к услугам другого лица), автор решил прочесть остальное. Чтение проходило в доме Погодина в присутствии хозяина и двух Аксаковых, Сергея Тимофеевича и Константина. Больше никому Гоголь на этот раз не доверял.

К 1 ноября вся поэма была прочитана. Аксаковы не скрывали своего восхищения. «Это – чудо!» – писал Константин брату Ивану, а Сергей Тимофеевич особенное внимание обратил на лирический тон 11-й главы: «Последняя глава повергла нас в изумление восторга... В ней выразилась благодатная перемена в целом нравственном бытии автора... Вместо мрачной мизантропии – любовь, мир, спокойствие... И каким глубоко и высоко поэтическим образом все это высказалось...» [ЛН. Т. 58. С. 608, 606]. Знаменательно, что эта «перемена» представляется Аксакову благодетельной: она означает возмужание характера, углубление взгляда, затем, подспудно, движение писателя в сторону славянофильских представлений. Пройдут год-два, и перемена покажется Сергею Тимофеевичу в новом свете...

После чтения лишь Погодин позволил себе критическое замечание: мол, «в первом томе содержание не двигается вперед»; «Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате уроды». Сергей Тимофеевич увидел в этом упреке излишнюю придирчивость; однако Гоголь заступился за Погодина, просил его «продолжать и очень внимательно слушал, не возражая ни одним словом» [Воспоминания, с. 139]. По-видимому, заинтересованная реакция Гоголя объясняется тем, что уже в то время он много думал над продолжением поэмы, над вторым томом, который значительно отклонялся от «линейной»

композиции первого тома. Погодинское замечание о «коридоре» отвечало собственному стремлению Гоголя более сложно, так сказать перекрестно, связать персонажей друг с другом.

Еще недели три-четыре ушло на переписку поэмы, и наконец Гоголь решил представить ее в цензуру.

Для начала он попробовал заручиться поддержкой одного из цензоров – Ивана Михайловича Снегирева (1793–1868). Гоголь рассчитывал на сочувствие этого известного этнографа, фольклориста, искусствоведа, профессора Московского университета; кстати, в пору работы над первым томом поэмы он живо интересовался снегиревским трудом «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (М., 1837–1839. Вып. 1–4).

На решение Гоголя, по-видимому, повлияло и то, что именно цензор Снегирев подписал к печати второе издание «Ревизора». Произошло это 26 июля 1841 г. в отсутствие Гоголя, находившегося в Риме и занятого перепиской «Мертвых душ». Но будучи в Москве и встретив Снегирева в доме Погодина 6 ноября, писатель, как отметил Снегирев в дневнике, подарил ему «свою комедию с надписаным» [РА. 1903. № 2. С. 228] – явно в знак благодарности за «Ревизора» и в качестве аванса за «Мертвые души».

Спустя месяц, 7 декабря, Гоголь посетил Снегирева, оставив у него рукопись для предварительного просмотра [Там же. С. 229]. Через два дня Снегирев сообщил автору, что находит рукопись «совершенно благонамеренной, и в отношении к цели, и в отношении к впечатлению, производимому на читателя...» [XII, 28]. Значит, делу можно было дать дальнейший ход, т. е. добиваться разрешения на публикацию.

Заседание Московского цензурного комитета, как установил Н.С. Тихонравов, состоялось 12 декабря под председательством помощника попечителя Московского учебного округа Д.П. Голохвастова, с участием цензоров М.Т. Каченовского, Н.И. Крылова, В.П. Флерова (инициалы Флерова – В<асилий> П<авлович> – указаны в недавней публикации А.С. Бодровой; см.: Материалы, 2009, с. 23.) и уже упоминавшегося Снегирева [Гоголь, 10-е изд., т. 3, с. 458]. О ходе же обсуждения известно только из письма Гоголя Плетневу (от 7 января 1842 г.), нарисовавшего довольно мрачную картину. Одна реплика была страшнее другой. Голохвастов якобы увидел в названии поэмы безбожие и атеизм («автор вооружается против бессмертья») и, сверх того, вместе с другими цензорами, еще и протест «против крепостного права».

Каченовский усмотрел возможность рискованной параллели к поведению сильных мира сего: «В одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве, в модном вкусе. “Да ведь и государь строит в Москве дворец!” – сказал цензор [Каченовский]». Крылов счел неудобным ту низкую цену, которую Чичиков назначает за душу: «Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не придет». В результате, как говорит Гоголь, «произошло запрещение рукописи» [XII, 28–29]. Это мнение – о запрещении «Мертвых душ» – фигурирует и в научной литературе [см., например, комментарий: VIII, 890].

На самом же деле все протекало несколько иначе. Прежде всего очевидно, что никто (кроме Снегирева) еще не был знаком с рукописью; судили лишь на основе названия («Мертвые души») и случайно выхваченных фраз. Не было в распоряжении комитета и официального отзыва цензора. Словом, имело место сугубо предварительное обсуждение, в результате которого, как установил тот же Тихонравов, решили передать рукопись Снегиреву для получения необходимого отзыва. «Если бы Комитет в самом деле принял решение запретить “Мертвые души”... рукопись, на основании цензурных правил, была бы удержана при делах Комитета» [Гоголь, 10-е изд., т. 3, с. 461].

Итак, рукопись передали Снегиреву. В конце концов все это должно было отвечать желанию Гоголя, проведшего с ним предварительную «работу». Однако в какой-то момент автор «Мертвых душ» усомнился в своем покровителе; во всяком случае, угроза запрещения показалась ему реальной, и он поспешил не доводить до этого. Предотвратить запрет было гораздо легче, чем потом добиваться его отмены. Гоголь избрал ту же самую тактику, что и с «Ревизором», когда прежде решения цензуры через своих петербургских друзей заручился поддержкой царя.

С этой целью он наверняка стучал краски, рисуя картину обсуждения рукописи в Московском цензурном комитете. Вспомним также, что сообщалось все это Плетневу, на помощь которого Гоголь рассчитывал. Ясно лишь одно – во время этого обсуждения звучали неодобрительные голоса; но трудно поверить, например, в то, что Н.И. Крылов, профессор римского права в Московском университете, ученик М.М. Сперанского, в 1831–1835 гг. усовершенствовавшийся за границей под руководством Савиньи, Ганса, Эйхгорна и других (поэтому Гоголь иронически причислил его к «цензорам-европейцам», «возвратившимся из-за границы»), –

трудно поверить, что этот человек судил о произведении Гоголя с охранительных позиций. Моральной чистотой Крылов не отличался (так, его уличили во взяточничестве), но по своим взглядам в это время он «был вместе с Грановским столпом западной партии в университете» [Соловьев, 1983, с. 296]. Возможно, он и произнес фразу о смехотворной цене, которую назначают «за душу», но лишь в порядке констатации факта и едва ли в укор автору поэмы (Гоголь стилизует высказывание Крылова в духе упрека автору со стороны «так называемых патриотов» в 11-й главе «Мертвых душ»: «Да хорошо ли выводить это на свет... А что скажут иностранцы?»).

Вообще упомянутая картина обсуждения подверглась *двойной* переакцентировке. Гоголю обо всем случившемся рассказал Снегирев, которому выгодно было оттенить всю сложность своего положения как автора будущего официального отзыва. В свою очередь, Гоголю в письмах его петербургским друзьям необходимо было усилить впечатление нависшей угрозы, которую следовало незамедлительно отвести (начало письма: «...удар для меня никак неожиданный: запрещают всю рукопись»).

Дальнейшая цензурная история «Мертвых душ» протекала уже в Петербурге, но Гоголь, находясь в Москве, был ее стимулятором и отчасти режиссером [см. также: Манн, 1987, с. 95 и далее]. Главную миссию при этом он возложил на В.Ф. Одоевского и А.О. Смирнову-Россет.

Посылая Одоевскому рукопись с отправляющимся в Петербург Белинским (о его посреднической роли см. ниже), он умолял: «Употребите все силы! Ваш подвиг будет благороден. Клянусь, ничто не может быть благороднее! Ради святой правды, ради Иисуса употребите все силы!» [XII, 27]. К этому письму было приложено другое, не сохранившееся, к Смирновой-Россет, которое, судя по воспоминаниям последней, продолжало и даже усиливало взятый тон: «письмо очень длинное, все исполненное слез, почти стону...» [Смирнова, 1989, с. 29]. При письме же к Смирновой находилось обращение Гоголя к императору, также не известное; но о его содержании можно заключить по воспоминаниям Александры Осиповны: «...эта просьба была прекрасно написана, очень коротко, исполнена достоинства и чувства, вместе доверия к разуму государя, который один велел принять “Ревизора” вопреки мнению его окружающих» [Там же]. Примерно то же самое сообщает Плетнев в письме Я.К. Гроту от 23 января: «Смирнова показала мне письмо Гоголя: одно к ней, другое к старому цензору “Ревизора”. Последнее написано с большим чувством и полным

достоинством» [Плетнев, 1896, т. 1, с. 474]. Значит, в своем письме Гоголь вновь напоминал о благодетельном вмешательстве Николая I в судьбу его комедии («старый цензор “Ревизора”» – это именно император), как он это уже делал пятью годами ранее, выхлопывая себе денежное вспомоществование (см. об этом наст. изд. с. 154–155); тот поступок, с «Ревизором», должен стать примером для нынешнего, ожидаемого – с «Мертвыми душами».

Смирнова и Плетнев решили передать гоголевское письмо великой княгине Марии Николаевне, дочери императора, «для вручения по адресу» но, по-видимому, сделано это не было, или, во всяком случае, адресата письмо не достигло, так как предназначалось на самый крайний случай («...в случае, что не пропустят первый том “Мертвых душ”» [Смирнова, 1989, с. 29]). Ближайший же план действия состоял в том, чтобы подключить Михаила Юрьевича Виельгорского, который, в свою очередь, обратился к князю М.А. Дондукову-Корсакову, попечителю Петербургского учебного округа и председателю Цензурного комитета. Дондуков-Корсаков, знавший писателя еще со времени его преподавательской деятельности в университете и относившийся к «адъютанту Николаю Гоголю» вполне благожелательно («...был когда-то благосклонен ко мне» [XII, 39]), обещал содействовать утверждению рукописи к печати.

К началу 20-х чисел это известие еще не дошло до Гоголя; зато он узнал о благожелательном отношении к «Мертвым душам» графа Сергея Григорьевича Строганова (1794–1882), попечителя Московского учебного округа: «...Гр. Строганов теперь велел сказать мне, что он рукопись пропустит, что запрещение и пакость случились без его ведома...» Гоголь сообщил этот факт В.Ф. Одоевскому, явно чтобы прищипорить петербуржцев, побудить их к более энергичным действиям: «Что же вы молчите? что нет никакого ответа? <...> Ради Бога не томите» [XII, 30]. Поэтому едва получив от Смирновой утешительные известия, Гоголь (27 января), так сказать, дезавуировал обещание Строганова: «...это, кажется, только слова, полагаться нельзя» [XII, 32].

Между тем Строганов действительно постарался помочь Гоголю, обратившись 29 января с письмом к шефу корпуса жандармов и начальнику III Отделения А.Х. Бенкендорфу, а через него фактически к императору с просьбой явить «высокую щедрость» «автору “Ревизора”» и «одному из наших самых известных современных писателей». Упомянув о том, что московская цензура не дала разрешение на публикацию «Мертвых душ» и что в цензуру

петербургскую рукопись отправлена «по моему (т. е. Строганова) совету», он завершал письмо почти трагической нотой: «В ожидании же исхода Гоголь умирает с голоду и впал в отчаяние» [Лемке, с. 135]. И адресат письма, граф Бенкендорф, воплотил это обращение в свой доклад Николаю I (датирован 2 февраля): превратив Гоголя в *Гогеля* (этой аберрации, мы помним, не избежал и император) и поставив на первое место среди его сочинений комедию «Ревизор», он конкретизировал просьбу Строганова – выдать писателю «в единовременное пособие *пятьсот рублей серебром*». Император написал на докладе «Согласен», и деньги вскоре были Гоголю высланы [Там же].

Тем временем на пути рукописи наметились сложности: из письма Прокоповича Гоголь узнал, что ее собираются отдать Уварову [XII, 32]. Этот факт подтверждается более поздним сообщением Белинского М.С. Щепкину о том, что Виельгорский «хотел отвезти ее к Уварову» [Белинский, т. 12, с. 103]. Гоголя такая перспектива сильно встревожила ввиду известного отношения к нему министра народного просвещения, и в письме Плетневу от 6 февраля он формулирует свое совершенно неожиданное намерение: публикацию поэмы «до времени» отложить, рукопись вернуть автору, но перед этим собраться вместе «впятером» (Смирнова, Виельгорский, Плетнев, Одоевский и еще, как сейчас говорят, задействованный Вяземский) – «и пусть каждый из вас тут же карандашом на маленьком лоскутке бумажки напишет свои замечания, отметит все погрешности и несообразности» – ради уже другого, будущего издания [XII, 33]. Едва ли Гоголь действительно принял такое решение; скорее всего в очередной раз он попытался побудить друзей к более энергичным действиям.

И вот к 14 февраля Гоголь получил от Плетнева известие, «что рукопись пропускается» и что цензуровать ее будет А.В. Никитенко. В общем положительном решении этого цензора Гоголь не сомневался, но его тревожили возможные придирки к отдельным фразам и словам, и поэтому перед Плетневым был поставлен очередной вопрос воспитательного и побудительного свойства: «Нельзя ли на Никитенку подействовать со стороны каких-нибудь значительных людей, приободрить и пришпорить к большей смелости?» [XII, 35].

Но несмотря на новое уверение Плетнева, что с утверждением все в порядке, рукопись в Москву не возвращалась. Гоголь решает прибегнуть к помощи сильных мира сего, направляя – «на всякий случай, если что-нибудь случится» – письма М.А. Дон-

дукову-Корсакову и С.С. Уварову. Чтобы обратиться к Уварову, необходимо было преодолеть некий психологический рубеж: Гоголь знает, что тот недолюбливал его со времен «Ревизора», и тем настоятельнее просит войти в положение «бедного, обремененного болезнями писателя, не могшего найти себе угла и приюта в мире». Грозя судом потомства в случае, если вельможа откажет, Гоголь заключает: «Нет, вы не сделаете этого (невольная параллель к известному любовному письму из «Мертвых душ»: «Нет, я должна к тебе писать!» – Ю. М.), вы будете великодушны. У русского вельможи должна быть русская душа. Вы дадите мне решительный ответ на сие письмо, излившееся прямо из глубины моего сердца» [XII, 40]. (Снова невольно вспоминаются строки из «Мертвых душ» – о том, как «сердца граждан ... струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику»...)

Письмо Дондукову-Корсакову несколько сдержаннее и вместе с тем душевнее – Гоголь сам объяснил, почему: это письмо «и просительное и благодарственное». Другими словами, Гоголь знает об оказанной Дондуковым-Корсаковым поддержке и благодарит его за это.

Однако письма Уварову и Дондукову-Корсакову, отправленные 4 марта Плетневу, не были переданы по назначению, так как в этом отпала необходимость: 9 марта А.В. Никитенко одобрил рукопись к печати. Но потом еще были волнения с непропущенной цензурой «Повестью о капитане Копейкине», написание новой редакции повести, новые обращения – к Плетневу, к Никитенко...

Оглядывая цензурную историю «Мертвых душ» в целом, невольно вспоминаешь слова Анненкова: «...никогда, может быть, не употребил он [Гоголь] в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в 1842 году...» Вспоминаешь и уточнение, которое делает мемуарист: «Тот, кто не имеет “Мертвых душ” для напечатания, может, разумеется, вести себя непогрешительнее Гоголя и быть гораздо проще в своих поступках и выражении своих чувств» [Анненков, 1983, с. 59].

Среди нужных встреч, предпринятых Гоголем в связи с устройством судьбы его книги, особое место занимает его встреча с Белинским. Именно Белинскому поручил он передать рукопись Одоевскому, а заодно и три письма: тому же Одоевскому, Смирновой-Россет и Плетневу. Кроме того, в письме к Смирновой-Россет находилось еще обращение к императору.

Свидание проходило в первых числах января в доме В.П. Боткина в Петроверигском переулке, где проездом остановился Белинский, – проходило при соблюдении строгой секретности в отношении московских друзей Гоголя. Впрочем, те вскоре разузнали, в чем дело: уже 6 февраля Вера Сергеевна Аксакова сообщала брату Ивану об этой встрече [ЛН. Т. 58. С. 612]; негодовал и Сергей Тимофеевич – «потому что в это время мы все уже терпеть не могли Белинского...» [Воспоминания, с. 139].

Если Гоголь пошел на такой шаг скрепя сердце и под давлением обстоятельств, то для Белинского это стало большим и радостным событием. После двукратной встречи с Гоголем в Петербурге у Одоевского осенью 1839 г. Белинский всячески старался укрепить наметившийся контакт. «Поклонись от меня Гоголю, – просит от К. Аксакова 10 января 1840 г., – и скажи ему, что я так люблю его и как поэта и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадой и отдыхом» [Белинский, т. 11, с. 435]. Константин Аксаков не спешил выполнить просьбу Белинского (отношения их стали заметно портиться), и критик ищет других «посредников», в частности В.П. Боткина, познакомившегося с Гоголем в Москве в начале 1840 г.

Так что выбор дома Боткина в качестве места встречи Белинского с Гоголем в январе 1842 г. был вполне закономерен. Потом уже, из Петербурга, 14 марта Белинский просил своего друга: «Уведомь меня, ради аллаха, проводивши меня, застал ли ты у себя Гоголя и Щепкина?» [Белинский, т. 12, с. 83]. Значит, встреча проходила четвером: Белинский, Гоголь, Щепкин и Боткин.

А затем, 20 апреля, Белинский обращается с письмом к Гоголю; кстати, это единственное его письмо к писателю, не считая другого более позднего, зальцбруннского.

Письмо Белинского – и отчет о том, какова судьба рукописи «Мертвых душ», и в то же время тонкая попытка пробудить к себе расположение и симпатию Гоголя. Главный козырь критика – Пушкин, преобладающий тон – чувство собственного достоинства, сдержанного, но явного. «Я не заношусь слишком высоко, но – признаюсь – и не думаю о себе слишком мало; я слышал о себе похвалы и от умных людей и – что еще лестнее – имел счастье приобрести себе ожесточенных врагов; и все-таки больше всего этого меня радует доселе и всегда будет радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастью, дошедших до меня из верных

источников» [Там же. С. 109]. За этим утверждением стоят реальные факты: Белинский мог не знать, что похвальные слова в его адрес, содержащиеся в «Письме к издателю» [С. 1836. Т. 3], принадлежат Пушкину; однако Белинскому было известно, что поэт прислал ему через П.В. Нащокина экземпляр своего журнала, при этом сочувственно отозвавшись о критике (непосредственным «источником», т. е. информатором, для Белинского мог послужить М.С. Щепкин, общавшийся с Нащокиным). Белинский не случайно ввернул пассаж о похвале ему со стороны Пушкина, прекрасно понимая, что значит для Гоголя эта похвала. От Пушкина можно было логично перейти уже к самому Гоголю: «После этого Вы поймете, почему для меня так дорог Ваш *человеческий*, приветливый отзыв...» [курсив в оригинале]. Белинский словно хочет закрепить те «приветливые отзывы», которые уже прозвучали (в частности, неизвестный нам заочный отзыв по поводу его разбора «Ревизора» в статье «Горе от ума» [Там же. Т. 11. С. 496]), и заручиться новыми – на будущее. Впрочем, заручиться не только похвалой, но и делами; в письме критика легко просматривается параллель: подобно тому как *в свое время* Пушкин «тихонько от Наблюдателей», т. е. сотрудников «Московского наблюдателя», включая Шевырева и Погодина, протягивал руку Белинскому, так и Гоголю следует *теперь*, отвернувшись от «Москвитянина», от «холопов знаменитого села Поречья», т. е. тех же Шевырева и Погодина, обратить свое внимание к «Отечественным запискам».

Письмо было искусным и в то же время резким, требовавшим от адресата самоопределения, к чему, собственно, и стремился Белинский, но чего не очень хотелось Гоголю. Отослав Боткину копию письма, критик заметил: «...ты увидишь, что я повернул круто – оно и лучше: к чорту ложные отношения – знай наших – и люби и уважай; а не любишь, не уважаешь, не знай совсем» [Там же. Т. 12. С. 105].

Прямо ответить на это письмо было затруднительно; достаточно вспомнить, что «холопами села Поречья» критик называл близких Гоголю людей. Вспомним и то, что как раз в это время в Москве бурно прореагировали на памфлет Белинского «Педант» (появившийся в мартовской книжке «Отечественных записок») с Картофелиным-Шевыревым как главным героем и «литературным циником»-Погодиным как фигурой эпизодической. У Шевырева, по словам В.П. Боткина, «вытянулось лицо», «в синклите Хомякова, Киреевских и Павлова» имя Белинского упоминали «с пеною у рта и ругательствами» [Отчет за 1889 г.,

с. 43]. В этой обстановке Гоголь сделал максимум того, что мог – поручил Прокоповичу поблагодарить Белинского, рассчитывая также, что он передаст тому следующие слова: «Я не пишу к нему, потому что, как он сам знает, обо всем этом нужно потрактовать и поговорить лично, что мы и сделаем в нынешний приезд мой чрез Петербург» [XII, 59].

Впоследствии в окружении Белинского факт обращения к нему Гоголя за помощью в связи с «Мертвыми душами» получил дополнительные смысловые обертона. Этот факт был оценен в перспективе отношений двух литераторов: обязанный в первую очередь Белинскому своим признанием, Гоголь старался об этом забыть, вспоминая критика лишь в случае практической необходимости. Отчетливее других такую точку зрения выразил П.В. Анненков в не опубликованном полностью письме А.Н. Пыпину (от 1 июня н. ст. 1874 г.) – возможно, здесь отразились и разговоры по этому поводу Анненкова с самим Белинским. Точкой отсчета является момент появления первых произведений Гоголя:

...Московские друзья <1 нрзб> относились чрезвычайно сдержанно к Гоголю в эту эпоху, опасаясь публично ошибиться в оценке его таланта и выражая ему более приватно и на ухо свои симпатии. Белинский, наоборот, проследив шаг за шагом деятельность Гоголя, открыв ему самому сильные его стороны, прямо грянул, после Ревизора, названием гениального писателя, причем указал и основную мысль его произведений. Эффект был громадный. И вышло так, что убежав из России в 1838 году [т. е. в июне 1836 г.], почти со стыдом за свою деятельность, Гоголь был уже неузнаваем в 1840 г. [т. е. в апреле 1841 г.], когда я опять с ним встретился в Риме. Он видел уже самого себя вполне, стоял твердо и гордо на ногах и все это благодаря незнакомому критику, к которому мало-помалу стали присоединяться и осторожные московские друзья Гоголя, отрицая однако ж заслугу первого оценщика и игнорируя его. К удивлению и Гоголь позабыл о нем, вспомнив только гораздо позднее, при издании 1-го тома Мертвых Душ, когда опять критик сделался нужен [ОР ИРЛИ. Ф. 250. Оп. 3. № 106. Л. 1 об, 2; подчеркнуто в оригинале].

Это, конечно, не совсем точно, если вспомнить ряд в высшей степени похвальных оценок и характеристик Гоголя со стороны «московских друзей», и не только «приватных», но и в печати (М.П. Погодин, С.П. Шевырев и другие). Но верно то, что до появления «Мертвых душ», до 1842 г., никто не давал таких подробных, аргументированных и страстных разборов гоголевских

творений, как Белинский в статьях «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) и «Горе от ума» (1840); так что в утверждении авторитета Гоголя в общественном и литературном мнении заслуга Белинского была первостепенной. Верно и то, что «московские друзья» старались вытеснить Белинского из сознания Гоголя, да и сам писатель был к этому склонен. Как вспоминает Анненков в другом месте, «в мимолетных отзывах, слышанных мною от него несколько позднее (в 1841 году, в Риме), о русских людях той эпохи Белинский не занимал никакого места. Услуги критика были забыты, порваны, и благодарные воспоминания отложены в сторону» [Анненков, 1983, с. 163].

Пока в цензуре решалась судьба «Мертвых душ», Гоголь занялся «Римом», начальную редакцию которого он читал в Петербурге и Москве во время первого приезда из-за границы. Писатель решил уступить настойчивым просьбам Погодина и передать повесть в его журнал «Москвитянин», но перед этим, по своему обыкновению, проверить ее на слушателях. Первое чтение состоялось у Аксаковых, в начале февраля [Воспоминания, с. 144]. Следующее – на одном из литературных четвергов у князя Дмитрия Владимировича Голицына (1771–1844), возможно 12 февраля¹²².

Эту встречу устроили Шевырев и Погодин, выполняя желание Голицына; Гоголь же долго не соглашался, по-видимому, просто стесняясь незнакомого ему важного человека – московского генерал-губернатора, члена Государственного совета и генерал-адъютанта. По воспоминаниям присутствовавшего на встрече М.А. Дмитриева, Гоголь побывал у Голицына дважды. В первый раз, «не сказав ни слова, сел на указанные ему кресла, сложил ладонями вместе обе протянутые руки, опустив их между колен, согнулся в три погибели и сидел в этом положении, наклонив голову и почти показывая затылок». Во второй раз состоялось само чтение, по словам того же мемуариста, не очень удачное; гости испытывали «скуку», «но вытерпели и похвалили» [ЛН. Т. 58. С. 614]. С.Т. Аксаков рисует примерно сходную картину: «...чтение почти усыпило половину зрителей; но когда к концу пьесы дело дошло до комических разговоров итальянских женщин между собою и с своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодарной памяти слушателей» [Воспоминания, с. 144]. «Благодарная память» отозвалась и в более позднем отклике Шевырева, усиленном еще жанром его сочинения (это некролог Голицыну): «Давно ли, кажется, Гоголь читал у него в кабинете свой “Рим”?»

Давно ли мы все сидели тут кругом в живом общении мысли и слова?» [М. 1844. № 5. С. 161].

Примерно в то же время Гоголь вносит последнюю правку в другую повесть, «Портрет», переработанную еще в «Риме» (17 марта рукопись отсылается в Петербург Плетневу для публикации в «Современнике»). Но главная его забота в первые весенние месяцы – «Мертвые души»: окончательная шлифовка, написание новой редакции «Повести о капитане Копейкине» взамен запрещенной цензурой, чтение корректур; исподволь обдумывалось и продолжение – о первом томе писатель сообщал Плетневу: «Это больше ничего как только крыльцо к тому дворцу, который во мне строится» [XII, 46].

Работа растянулась до мая; 1-го числа в кабинете С.Т. Аксакова Гоголь, читая корректуру, «не столько исправлял типографические ошибки, сколько занимался переменою слов, а иногда и целых фраз» [Воспоминания, с. 147]. Но все же уже виден был конец, и Гоголь мог позволить себе развлечься и рассеяться.

В тот же день к вечеру он поехал в Сокольники «на гулянье», где его уже ждали Шевырев и Свербеевы.

Через день-два – Гоголь на вечеру у Хомяковых вместе с сестрой Лизой, проживавшей в Москве у П.И. Раевской. Были Вера Сергеевна и другие члены аксаковского семейства.

На следующий день Гоголь принимал гостей в погодинском саду. Присутствовали, помимо Погодиных и сестры Лизы, Ольга Семеновна Аксакова с Верой Сергеевной, Екатерина Александровна Свербеева, Авдотья Петровна Елагина. В роли хозяина Гоголь, по мнению Веры Сергеевны, был очень любезен, но неловок; не нашел ничего лучшего, как рассказывать о методе водолечения врача из Греффенберга Винцента Присница, пациентом которого он вскоре сделался; или же делать предположения в духе Афанасия Ивановича: «Хорошо, если б вдруг из этого дерева выскочил хор песельников и вдруг бы запел» и т. д. [ЛН. Т. 58. С. 620].

Утром 9 мая к самым именинам Николая Васильевича приехали из Васильевки его мать и сестра Анна, чтобы попрощаться с ним и забрать Лизу [Шенрок, т. 4, с. 125]. На именинный обед, который по традиции был дан в доме Погодиных, съехалось много гостей, в основном из славянофильского круга или близких к нему: И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, Д.Н. Свербеев, А.П. Елагина, М.Н. Загоскин; был и Сергей Тимофеевич Аксаков с сыновьями Константином и Григорием. Присутствовали и люди западных убеждений – давний друг Гоголя по нежинской

Гимназии высших наук П.Г. Редкин и Т.Н. Грановский, оба – преподаватели Московского университета.

Среди гостей находились Н.Ф. Павлов, чье ревнивое чувство к таланту Гоголя стало притчей во языцех; московский старожил, отставной военный П.В. Нащокин, у которого сложились дружеские отношения с Гоголем еще с 1839 г., если не раньше; профессор судебной медицины А.О. Армфельд; начальник Московского корпуса жандармов генерал С.В. Перфильев, по словам С.Т. Аксакова, «особенный почитатель Гоголя». Пригласили и молодого ориенталиста Василия Васильевича Григорьева, окончившего Петербургский университет в тот год (1834), когда Гоголь поступил туда в качестве адъюнкт-профессора; с 1838 г. Григорьев работал профессором восточных языков Ришельевского лицея в Одессе и в Москве оказался проездом.

Ненадолго, верхом, как говорили, «амазонками», приехали поздравить именинника Екатерина Михайловна Хомякова и Елизавета Григорьевна Черткова.

Марья Ивановна с обеими дочерьми, Елизаветой и Анной, оставались с хозяйкой дома, а мужчины расположились на обед в саду.

Погода стояла прекрасная, было весело, Гоголь много острил, не в пример удачнее, чем несколькими днями раньше. Когда во время приготовления жженки горящее пламя рома и шампанского обхватило куски сахара, Гоголь заметил, что «это Бенкендорф, который должен привести в порядок сытые желудки». Аналогия голубого пламени и голубых жандармских мундиров, по словам С.Т. Аксакова, «возбудила громкий смех». «Не помню, – добавляет мемуарист, – тут ли был Перфильев» [Воспоминания, с. 149]. Перфильев, напомним, имел чин жандармского генерала...

Гоголь тоже остался доволен именинным праздником. «Я хорошо провел день с сй, и не может быть иначе: с каждым годом торжественней и торжественней он для меня становится» (из письма Прокоповичу, 15 мая 1842 г. [XII, 59]).

К периоду пребывания Гоголя в Москве в 1841–1842 гг. относится и встреча его с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Скорее всего – не единственная: по словам Тургенева, он «раза два встретил его у Авдотьи Петровны Елагиной».

Строго говоря, увиделись они много раньше, в 1835 г., в Петербургском университете. Но если Тургенев вместе с другими студентами с великим любопытством взирал на знаменитого писателя и не очень успешного адъюнкт-профессора, то последний

едва ли проявил к молодому человеку сколько-нибудь заметный интерес. К 1841 г. за плечами Тургенева были уже словесное отделение Петербургского университета, продолжение обучения в Берлине, несколько лет литературной работы. Но едва ли и на этот раз Тургенев обратил на себя внимание Гоголя, несмотря на то что тот публиковался в читаемом им журнале «Современник»: это были еще вполне подражательные, как сегодня говорят, проходные стихотворения. Тургенев же, понятно, во все глаза смотрел на знаменитого писателя, который виделся ему «в то время... приземистым и плотным малороссом» [Тургенев И., т. 14, с. 64].

Очевидно, к нынешнему приезду Гоголя в Москву относится и его встреча с Живокини. Этот эпизод фактически еще не нашел отражения в гоголевском жизнеописании, а между тем он важен уже потому, что Василий Игнатьевич Живокини (1807–1874) был замечательным, если не великим, комическим актером. По свидетельству современников, он мог рассмешить до слез своей неподражаемо подвижной мимикой и уморительно растянутыми носовыми интонациями. «Это было такое олицетворение смеха, что один из его поклонников рассказывал... что однажды он не мог молиться в церкви, потому что увидел около себя Живокини» [Коропчевский, с. 6].

Как вспоминал Живокини, Гоголь хотел, чтобы тот сыграл Хлестакова, и в связи с этим М.С. Щепкин однажды привез актера в погодинский дом на Девичьем поле. «...Тут же захватил он с собою братьев Горшковых, очень похожих друг на друга, которых Гоголь прочил для Бобчинского и Добчинского. Он сам читал нам “Ревизора” и читал так прекрасно, что я просто испугался трудности роли Хлестакова и отказался» [Живокини, с. 29–30]. Свидетельство актера косвенно подтверждается гоголевским письмом Щепкину, отправленным уже по отъезде из Москвы и датируемым 3 декабря 1842 г.: «Да, если бы Живокини был крошку поумней, он бы у меня выпросил на бенефис себе Ревизора и ... объявил бы только, что... роль Хлестакова будет играть сам бенефициант – да у него битком бы набилось наро<ду> в театр» [XII, 130]. Гоголь словно продолжает тему их разговора, сетуя, что Живокини не проявил необходимого благоразумия и не взял роль Хлестакова.

И позднее, 24 октября н. ст. 1846 г., в связи с намечаемым бенефисом Щепкина Гоголь писал последнему: «Хлестакова должен играть Живокини» [XIII, 117]. Эти слова должны быть оценены в контексте того значения, которое придавал Гоголь этой роли, и тех требований, которые предъявлял он к ее исполнителям. Ак-

теры, которых он видел до той поры, его глубоко разочаровали – Н.О. Дюр в Петербурге и И.В. Самарин в Москве. В сущности, это было *первое* выражение авторской воли в отношении исполнителя Хлестакова, не осуществившейся потому, что Живокини так и не смог решиться. Его робость перед этой ролью носила стойкий характер, о чем свидетельствует следующее место из воспоминаний актера: «Потом, когда в 43 г. Гоголь переставил на нашей сцене “Ревизора”, он опять хотел оставить за мной Хлестакова, но и тут отказался...» [Живокини, с. 29–30]¹²³.

...Далеко не все встречи Гоголя с теми, кто хотел его видеть или случайно сталкивался с ним, проходили гладко и непринужденно. Гоголю всегда было свойственно сторониться незнакомых, а иногда и знакомых людей. В этот же приезд в Москву таких случаев, таких «не-встреч» было особенно много.

Однажды к Аксаковым пришел старый друг семьи Дмитрий Максимович Княжевич (1788–1844), видный чиновник, попечитель Одесского учебного округа. Он хотел увидеть Гоголя, имея на то и некоторые личные мотивы: по словам Сергея Тимофеевича, Княжевич «был с ним очень дружески знаком в Риме и, как гостеприимный славянин, не один раз угощал у себя Гоголя». Это могло быть как раз перед нынешним приездом писателя на родину: в 1841 г. Княжевич, вместе с Надеждиным (см. об этом с. 290), совершил большое путешествие по западноевропейским странам, включая Италию.

Однако едва послышался в прихожей голос Княжевича, как Гоголь юркнул в кабинет Сергея Тимофеевича, а затем убежал из дома. На следующий день повторилась почти такая же история. Хозяин готов был уже вызвать Гоголя на решительное объяснение, как при новом, третьем визите Княжевича все изменилось: писатель «протянул ему обе руки, кажется даже обнял его, и началась самая дружеская беседа приятелей, не выдавших давно друг с другом...» [Воспоминания, с. 141–142]. «Покорнейше прошу объяснить такую странность!» – заключает Аксаков¹²⁴.

(Быть может, однако, эта «странность» объясняется дошедшими до Гоголя неодобрительными высказываниями Княжевича, особенно после выхода «Мертвых душ». Хорошо знавший Княжевича Николай Никифорович Мурзакевич – впоследствии он встречался и с Гоголем – вспоминал: «Странная черта замечалась в покойном [т. е. Княжевиче]: быв крайне снисходителен ко всем литераторам, он не мог спокойно слышать и говорить о Гоголе и его “Мертвых душах”» [Мурзакевич, с. 167]. Этим, очевидно,

объясняется и характерная оговорка С.Т. Аксакова: рассказывая о благожелательном отношении Княжевича к творчеству Гоголя, мемуарист уточняет: «...по крайней мере до издания *“Мертвых душ”*» [Воспоминания, с. 141]^{124а}.)

Своеобразно обошелся Гоголь и с Андреем Ивановичем Дельвигом, двоюродным братом поэта, знакомым ему еще по первым годам петербургской жизни [см.: Книга 1, с. 219 и след.]. Согласно А.И. Дельвигу, он встретился с Гоголем у московского сапожника Таке – писатель «очень хлопотал» о красиво сшитых сапогах, выказывая ту же страсть, что «приехавший из Рязани поручик» в конце седьмой главы *«Мертвых душ»*; и затем еще встретился с Гоголем в Английском клубе, где они сидели на одном диване. «Не узнал ли он меня или не хотел узнать, но мы не говорили друг с другом как в этот раз, так и во все следующие наши встречи в Москве» [Дельвиг, с. 198].

Гоголь умел не замечать людей, даже если это были «значительные лица». Как-то он зашел к коллекционеру Константину Александровичу Булгакову (1812–1862), сыну известного в Москве человека, почт-директора Александра Яковлевича Булгакова. А на диване в это время «сидел какой-то важный генерал и к тому же очень щепетильный». «Я заметил, – рассказывал Булгаков, – что Гоголь, не видя этого петуха, осенял его своим длинным носом, и стал их представлять... Тогда надо было видеть, как флегматический Гоголь опустил свой длинный нос на моего бедного генерала, побагровевшего от неслышанного *sans fagon* (бесцеремонного) обращения, и как они оба в унисон промычали что-то вместо приветствия» [Соколов, с. 134–135].

Не проявил Гоголь необходимого почтения и к П.Я. Чаадаеву, одну из сред которого он посетил по настоянию друзей – по словам Д.Н. Свербеева, это случилось еще до появления *«Мертвых душ»*: «Долго он на это не решался, сколько ни упрашивали общие приятели упрямого малоросса; наконец он приехал и, почти не обращая никакого внимания на хозяина и гостей, уселся в углу на покойное кресло, закрыл глаза, начал дремать и потом, прохрапев весь вечер, очнулся, пробормотал два-три слова в извинение и тут же уехал. Долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения...» [Свербеев, т. 2, с. 405–406].

У этого эпизода есть своя предыстория, которая сводится к непростым отношениям двух писателей. Если можно так сказать, инициатива неприязни исходила от Чаадаева, который еще

в 1837 г. в «Апологии сумасшедшего» проводил параллель между своими «Философическими письмами» и гоголевским «Ревизором»: «...капризы нашей публики удивительны. Вспомним, что вскоре после напечатания злополучной статьи ... на нашей сцене была разыграна новая пьеса. И вот, никогда ни один народ не был так бичуем, никогда ни одну страну не волочили так в грязь, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани и однако никогда не достигалось более полного успеха. Неужели же серьезный ум, глубоко размышлявший о своей стране, ее истории и характере народа, должен быть осужден на молчание, потому что он не может устами скомороха высказать патриотическое чувство, которое его гнетет?» [Чаадаев, с. 155–156; подлинник на фр. яз.].

Легко заметить, что в чаадаевских размышлениях «слышится оскорбленное чувство» [Веселовский А., с. 251], и обусловливалось оно, это «чувство», рядом совпадений. Оба произведения появились почти одновременно (у Чаадаева – мелкая неточность: «Ревизор» предшествовал первому «Философическому письму», а не наоборот); оба произвели сильнейший эффект – но какой же неодинаковый по характеру и последствиям! «Ревизор» имел шумный успех, вызвал интерес и восхищение если не большинства, то очень многих (мы уже знаем, что сам Гоголь преувеличивал негативную реакцию), а «Философическое письмо» – почти всеобщее неодобрение и даже негодование (голоса таких, как Герцен, были единичными, к тому же они не всегда доходили до Чаадаева). В результате сочинитель «Ревизора» вошел в еще большую славу, а на автора «Философического письма» обрушилась жестокая кара, причем в обоих случаях при прямом участии императора. И это при том, что одно произведение – плод долговременного и пытливого анализа, основанного на глубочайших знаниях, на огромной начитанности, а другое (с точки зрения Чаадаева) – грубое пересмеивание и фарс. Тут, конечно, сказалась и эстетическая предубежденность Чаадаева против самой гоголевской художественной манеры, природы его комизма или, во всяком случае, убеждение в том, что в иерархии духовных ценностей истинное философское сочинение выше комедии. И хотя «Апология сумасшедшего» появилась значительно позже (в 1862 г.), выраженные в ней взгляды не оставались тайной для современников, в том числе, возможно, для Гоголя.

Уже отмечалось [см.: Тарасов, с. 378], что в гоголевской «Развязке Ревизора» заключительный монолог Первого комического актера может рассматриваться как ответ Чаадаеву (и, разумеется,

не только ему): «Дайте мне почувствовать, что... не пустой я какой-нибудь *скоморох*, созданный для потехи пустых людей... и возбудил в вас смех – не тот беспутный, которым пересмыкает в свете человек человека... но *смех, родившийся от любви к человеку*» (Гоголь, ак., т. 4, с. 123).

В период пребывания Гоголя в Москве, как в первый его приезд (в 1839–1840 гг.), так и во второй (в 1841–1842 гг.), атмосфера вокруг Чаадаева была достаточно спокойной. Волна первого возбуждения, когда звучали обвинения в предательстве и иные московские студенты готовы были вызвать обидчика на дуэль, уже прошла, а до новых аналогичных обвинений, прозвучавших в памфлетах Языкова, еще не дошло (об этом речь впереди). Вскоре о былом скандале напомним маркиз де Кюстин в запрещенной в России книге «*La Russie en 1839*» (1843), но это лишь будет содействовать популярности автора «Философических писем». Чаадаев уже не находился в положении человека, подвергнутого ostrакизму, – кстати, и от домашнего ареста он официально был освобожден стараниями московского генерал-губернатора Д.В. Голицына. Словом, в старой столице Чаадаев стал модной фигурой, родом достопримечательности: «...вся интеллигентная Москва, мужчины и женщины, ездила к нему в гости...» [Смаков В.В. Петр Яковлевич Чаадаев // РС. 1908. Февраль. С. 278]. Поэтому и Гоголя к нему привели, правда, не сразу, но, по-видимому, преодолевая его сопротивление («долго он на это не решался...»). Как бы то ни было, но, очевидно, внезапно напавшая на Гоголя сонливость во время визита была «дипломатической» мерой, направленной на то, чтобы избежать разговора и углубления контактов. Следует, правда, заметить, что к ссоре, к разрыву отношений это не привело: дневник А.И. Тургенева за 1840 г. фиксирует два случая посещения Гоголем дома Чаадаева – 16 февраля и 13 мая [Гиллельсон, 1963, с. 139, 140].

Однако спустя некоторое время, по выходе «Мертвых душ», противостояние Чаадаева Гоголю обозначилось резче. В Москве уже хорошо знали, что на только что вышедшую книгу «Чаадаев жарко нападает» (слова К. Аксакова), публичное же сражение произошло 27 мая 1842 г. – это был день рождения Чаадаева и к тому же среда, когда обычно на Басманную стекались гости.

«Спор был жаркий»; за Гоголя выступили Хомяков, Свербеева и – заочно – Константин Аксаков (он не смог прийти, но попросил Свербееву передать его мнение), а против – М.А. Дмитриев и Чаадаев, причем последний заявил Свербеевой, что «это

род опьянения»: «Vous êtes ivre-morte» (Вы мертвецки пьяны) [ЛН. Т. 58. С. 624]. Как это напоминает его реакцию на «Ревизора» и сетование на то, что масса зрителей оказалась жертвой бездумного ослепления! Существовал еще один фактор, усугублявший негативное отношение Чаадаева к «Мертвым душам», – намечающееся противостояние славянофильству, влияние которого, по его мнению, захватило и Гоголя.

«Не принимая никакого участия в печатной против них <славянофилов> полемике, он долгое время сражался с ними на поле литературных салонов и за такое достойное обличение того, что почитал неправдою и ложью, подвергался от них гонению» [Свербеев, т. 2, с. 402].

Впрочем, во весь рост эта проблема – Гоголь и славянофилы – встанет перед Чаадаевым в связи с появлением «Выбранных мест из переписки с друзьями», о чем мы будем говорить в своем месте.

Итак, в спорах о Гоголе Чаадаев оказался по одну сторону с Дмитриевым – на этом обстоятельстве тоже следует остановиться.

Михаил Александрович Дмитриев (1796–1866), племянник знаменитого Ивана Дмитриева, получивший по этой причине язвительное прозвище «Лже-Дмитриев», был лично знаком с Гоголем. 9 мая 1840 г. он – среди гостей на именинном обеде в погодинском саду. В свою очередь, Гоголь бывал у Дмитриева по пятницам. Согласно С.Т. Аксакову встречи эти проходили скучно, сам же Дмитриев «никогда вполне не понимал Гоголя» [Воспоминания, с. 147]. Вполне возможно, но его антигоголевские эмоции не сводились к тривиальному отрицанию и имели, так сказать, философскую подкладку.

В свое время Дмитриев был близок к надеждинскому «Телескопу», проявлял интерес к шеллингианству. И вместе с тем он не был чужд юмору; еще в бытность студентом Московского университета, в параллель «Арзамасу» основал «Общество громкого смеха»; писал сатиры по мотивам баллад Жуковского, которые нравились самому Жуковскому; да и Гоголь впоследствии отозвался о них похвально – он отметил «талантливые пародии Михаила Дмитриева, где желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием» [VIII, 347].

В печати свое отношение к «Мертвым душам» Дмитриев прояснил несколько позже, противопоставив поэму прежним произведениям Гоголя. В «Майской ночи», «Тарасе Бульбе», «Повести о том, как поссорился...» писатель «не был копиистом». «На-

против (да простят мне и Гоголь, которого люблю, и его прежние поклонники, которых не люблю) – в повести “Мертвые души”, в которых он слишком близко захотел подойти к действительному миру (хотя и не подошел к нему) – я не вижу художника, потому что не вижу целостности идеи в жизни, им изображаемой! Если возражат мне, что его роман не кончен: я буду отвечать, что я говорю не о целостности содержания, а о целостности художнической идеи, об идее жизни, об идее тех лиц, которых он изображает» [М. 1848. № 9. Отд. критики. С. 21].

При всем различии подходов Дмитриева и Чаадаева общее у них в том, что обоим не хватает в «Мертвых душах» значительности мысли, «целости художнической идеи», философичности. Не в первый раз доводилось Гоголю слышать подобные обвинения...

Гоголь сознавал, что в это свое посещение Москвы он держится скованнее, чем обычно. «Я был болен и очень расстроен и, признаюсь, не в мочь было говорить ни о чем... Меня все тяготит: и здешние пересуды, и толки, и сплетни. Я чувствую, что разорвались последние узы, связывавшие меня со светом» [XII, 34]. Тягостное настроение писателя выразилось и в том, что он не мог осуществить давнюю мечту московских актеров – самому прочитать им «Ревизора» [см.: XIII, 162]. По-видимому, упомянутое выше чтение для Живокини было не в счет: присутствовало всего четыре человека, да и прочел Гоголь, возможно, лишь отдельные сцены.

Охотнее, чем в других домах, бывал Гоголь у Хомяковых («...Я их люблю, у них я отдыхаю душой»); и тем не менее современники свидетельствуют, что и здесь он легко раздражался и «капризничал невероятно, приказывая по нескольку раз то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, который никак не могли налить ему по вкусу... Присутствующим становилось неловко; им только оставалось дивиться терпению хозяев и крайней неделикатностью гостя» (слова П.И. Бартенева, записанные В.И. Шенроком [Шенрок, т. 4, с. 757]).

Особенное терпение в подходе к Гоголю проявляла хозяйка хомяковского дома Елизавета Михайловна, тем более что в настрое обоих наметилось нечто общее: писатель уклонялся от шумных дискуссий и споров, от которых и она уставала. «Гоголь третьего дня приходил обедать к нам, – сообщала она Н.М. Языкову 1 апреля 1842 г. – Я очень люблю его: он не так глубок, как другие, и поэтому с ним гораздо веселее... Он все не хорошо себя

чувствует: у него пухнут ноги. Крепко собирается к вам и говорит, что будет счастлив, когда сядет в карету и уедет из Москвы» [Хомяков, т. 8, с. 106–107].

«Уехать из Москвы» означало еще «уехать от Погодина» – находиться под его кровом Гоголю становилось все труднее и труднее. На былые трения, взаимное неудовольствие, проявившиеся двумя годами раньше в Мариенбаде, нахлоились новые, вызванные стремлением привлечь Гоголя к участию в «Москвитянине».

Эту мысль Погодин вынашивал еще до возвращения Гоголя в Москву; 2 февраля 1841 г., после посещения аксаковского дома, он записал в дневнике: «Толковали о журнале, о Гоголе, его характере и выходках. Решил написать письмо: “Разоряюсь, выручай”. Как бы было хорошо, если б теперь поддержать впечатление эффектных статьями» [Барсуков, кн. 6, с. 229]. Побуждаемый Погодиным Сергей Тимофеевич тоже обратился к Гоголю с соответствующей просьбой; письмо это не сохранилось, но о его действии можно судить по гоголевскому ответному письму от 1(13) марта 1841 г.: «Боже! Если бы вы знали, как тягостно, как разрушительно для меня это требование, – какую вдруг нагнало оно на меня тоску и мучительное состояние! Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда – для меня уже беда» [XI, 332].

А потом череда просьб и отказов продолжилась уже в Москве. Погодин: «Я устроиваю теперь вторую книжку. Будет ли от тебя что для нее?» Гоголь: «Ничего». Погодин: «...гордость сидит в тебе бесконечная!» Гоголь: «Бог с тобою и твоей гордостью. Не беспокой меня в теченье двух недель по крайней мере. Дай отдохновенье душе моей!» [Переписка, т. 1, с. 385–386]. Своеобразная дуэль на записках, которыми обмениваются люди, живущие бок о бок!

Гоголь передал в журнал повесть «Рим»; но Погодин претендовал на большее: он предложил «вместо объявления о выходе Мертв<ых> душ поместить одну главу или две в номере Москвитянина, который тогда выходил». Это вызвало у Гоголя чуть ли не приступ отчаяния: «...ты бессовестен, неумолим, жесток, неблагоприятен <...>. Если б у меня было какое-нибудь имущество, я бы сей час же отдал бы все свое имущество с тем только, чтобы не помещать до времени моих произведений» [XII, 598, 56–57].

Всегда ли Погодин был не прав? О.М. Бодянский записал рассказ Кулиша, которому, в свою очередь, эту историю поведал Щепкин. Мол, публикуя в «Москвитянине» «Рим», Гоголь «по

условию выговорил себе у Погодина 20-ть оттисков, но тот, по обыкновению своему, не оставил, свалив всю вину на типографию» [Воспоминания, с. 433]. Но 14 марта 1842 г. Погодин действительно получил известие из типографии, что «Рим» «еще не отпечатан, потому что нет формата, да и некому печатать» [XII, 594]. В ответ на такое известие последовала записка Гоголя Погодину: «Ради Бога, пусть отпечатают во что бы то ни было. Что за несчастье такое!» И – пояснение Погодина на той же записке: «Да ведь они пишут только, что нынче не будет готово, а завтра-то непременно». И – реакция Гоголя: «Хорошо» [XII, 44]. Речь идет, конечно, об упоминавшихся оттисках, а не о самой повести «Рим»: с чего бы Гоголю переживать по поводу напечатания последнего – эта была забота самого издателя «Москвитянина». И, как видим, задержка действительно имела место в типографии, Погодин не «сваливал» на нее свою вину.

Окружающие, в том числе С.Т. Аксаков и Щепкин, почти единодушно порицали Погодина, обвиняя его в черствости и корыстолюбии. Между тем это как раз тот случай, когда биограф не должен склоняться к безоговорочному осуждению одного и оправданию другого, видя всю сложность обстоятельств. Погодин, человек не богатый, живший литературным трудом, действительно много сделал для Гоголя, делил с ним, по его выражению, «последние свои крохи, не думая, не зная о возвращении» [Переписка, т. 1, с. 436]. И ему казалось, что тот может и должен поддержать его; в поведении писателя он «начал подозр<евать> эгоизм» [ЛН. Т. 58. С. 794]. Гоголь же считал подобные просьбы бестактными, грубыми, жестокими именно потому, что зависел от Погодина, пользовался его гостеприимством.

Наверное, С.Т. Аксаков так бы не поступил; в связи с подобными притязаниями Погодина он как-то заметил ему: «Чем более мне обязан человек, тем менее я позволю себе без его воли распоряжаться его собственностью, хотя бы это было – безвредно для него, а только выгодно для меня» [Барсуков, т. 6, с. 230]. Но то был Сергей Тимофеевич с его деликатностью и самоотверженностью. Погодин этим высшим требованиям не отвечал.

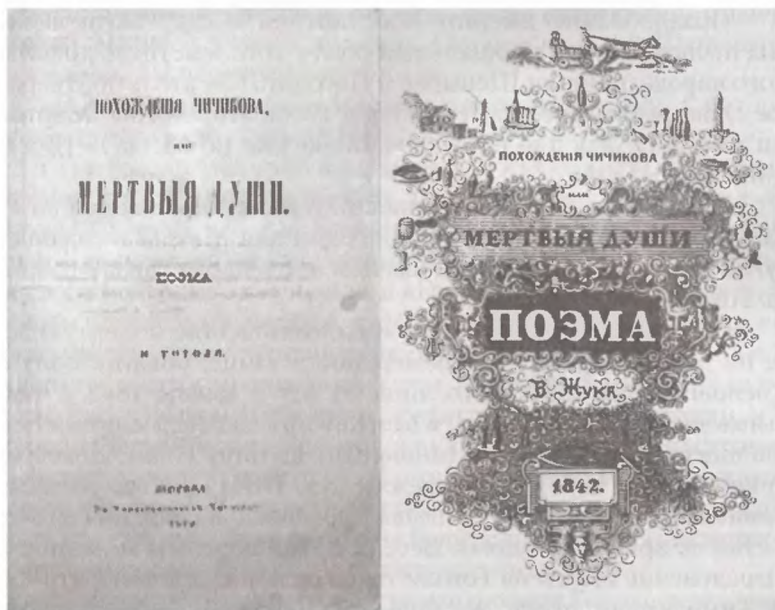
При этом вовсе не все для Погодина сводилось к поддержке чисто материальной, денежной; ссылка на его корыстолюбие слишком неточна («...Вы не знаете, что значит иметь дело с кулаком...» – фраза, будто бы сказанная Гоголем [Воспоминания, с. 433]). В участии Гоголя Погодин видел знак литературной солидарности, даже простого человеческого уважения и, наоборот,

в отсутствии этого участия – знак непризнания и неуважения как перед друзьями, так и перед недругами, которых у издателя «Москвитянина» было немало. «Все говорят: “Он живет у него, связан с ним, называет своим другом, а между тем не принимает никакого участия в его труде, значит, что не одобряет его или просто надует”» [Переписка, т. 1, с. 436]. Погодин совершенно искренне полагал, что Гоголю не стоит особого труда оказать «другу» такую поддержку: ведь «Рафаэли и Корреджии (припоминаю тогдашнее сравнение) могли отрываться от своих мадонн и оказывать в антрактах мелкие услуги своим друзьям» [Там же. С. 435]. Почему же Гоголь не может оторваться от своих «Мертвых душ»?

Для Гоголя же такое «сравнение» звучало кощунственно. Да, он, конечно, мог «оторваться» от «святого своего труда», но только по внутреннему порыву и убеждению (так он обращался к драме из украинской истории), а не по принуждению, не под давлением со стороны. Он не любил писать или даже дорабатывать свои произведения в спешке, к определенному сроку. Существовал и другой мотив: произведение, частично опубликованное, утрачивало прелесть полной новизны, и это могло отразиться на его коммерческом успехе, к чему Гоголь вовсе не был равнодушен. Наконец, существовала еще одна причина, которую писатель приоткрыл позднее.

В последний приезд в Россию, говорит он, «литературные приятели» встретили его «с распростертыми объятиями». «Всякий из них, занятый литературным делом, кто журналом, кто другим, пристрастившись к одной какой-нибудь любимой *идее* и встречая в других противников своему мнению, ждал меня как какого-то мессию, которого ждут евреи, в уверенности, что я разделю его мысли и идеи...»; между тем он, Гоголь, «не вполне разделял их», эти идеи [XII, 435; курсив в оригинале]. Следует напомнить, что, помимо «Рима», годом раньше Гоголь уже опубликовал в «Москвитянине» фрагменты из «Ревизора» (начало IV действия в новой редакции, сцену «Хлестаков и Растаковский» из черновой редакции), а также «Отрывок из письма, писанного автором...». Помещение в журнале Погодина еще одного текста произвело бы впечатление явной чрезмерности, тем более что этим текстом были бы главы из поэмы «Мертвые души», которой Гоголь придавал программный смысл. Он вовсе не хотел, чтобы его творчество воспринималось исключительно в русле «Москвитянина», как и любого другого журнала.

К концу московской жизни Гоголя его отношения с Погодиным настолько испортились, что на упомянутом именованном



«Мертвые души», т. I. Титульный лист первого издания
«Мертвый души», т. I. Титульный лист второго издания
(выполнен по рисунку Н.В. Гоголя)

обеде 9 мая (проходившем в доме Погодина!) они почти не разговаривали друг с другом. Тем не менее ни тот ни другой не хотели разрыва, и, покидая Россию, Гоголь отправляет из Петербурга письмо Елизавете Васильевне Погодиной с просьбой передать ее мужу «душевное и сердечное объятие» и сказать, «что кто один раз вошел в мою душу... тот уже останется вечно там, и нет человеческих сил, властных его оттуда исторгнуть» [XII, 66].

Последние дни пребывания Гоголя в Москве прошли, так сказать, под знаком появившихся «Мертвых душ», благо это событие совпало с чередой именин. 20 мая Гоголь дарит книгу имениннику А.С. Хомякову, 21 мая – имениннику Константину Аксакову; одновременно другой экземпляр был вручен, как гласит надпись, – «Друзьям моим, целой семье Аксаковых» [Воспоминания, с. 149]. Тремя днями раньше (18-го) Гоголь посылает «Мертвые души» Петру Михайловичу Языкову, брату поэта.

Празднование именин Константина в саду аксаковского дома превратилось в прощальный обед с Гоголем. Было довольно много народа, пришли Шевырев и Погодин. Писатель подтвердил свое слово, «что через два года будет готов второй том “Мертвых душ”, но приехать для его напечатанья уже не обещал» [Воспоминания, с. 150].

Чуть позже Гоголь передает матери, собиравшейся на Украину, еще два экземпляра поэмы, один для М.А. Максимовича, другой – для Иннокентия. С именем последнего связан важный шаг Гоголя.

Он давно уже подумывал о паломничестве в Святую землю, но решил держать это намерение в тайне, пока не получит благословение авторитетного лица. И вот в начале 1842 г. такая возможность представилась: в Москву приехал знаменитый богослов и церковный деятель Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов, 1800–1857), одно время (1830–1841) ректор Киевской духовной академии, с 1841 г. глава Харьковской епархии (в 1845 г. он стал ее архиепископом). Беседа с Иннокентием и данное им благословение имели на Гоголя такое сильное действие, что Сергей Тимофеевич тотчас же подметил перемену: «Вдруг входит Гоголь с образом Спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал».

Объявленное Гоголем решение о паломничестве Аксаков не одобрил. «Все это казалось мне напряженным, нервным состоянием и особенно опасным в Гоголе как в художнике...» [Воспоминания, с. 146]. Примерно с этого момента Сергей Тимофеевич стал осторожнее оценивать ту «благодатную перемену» [ЛН. Т. 58. С. 606], которую он приветствовал в возвратившемся из-за границы Гоголе.

Зато полное одобрение встретило гоголевское решение со стороны Н.Н. Шереметевой. Писатель, как мы помним, познакомился с нею еще двумя годами раньше, но теперь, «когда весть о благочестивом желании нового знакомого дошла до Шереметевой, набожная старушка, посвятившая всю жизнь молитве и добрым делам, сразу полюбила Гоголя, как сына...» [Шенрок, т. 4, с. 127].

Отъезд Гоголя из Москвы был назначен на 23 мая из дома Аксаковых. Утром приехала проститься Шереметева, но вскоре ушла, чтобы дать Гоголю возможность попрощаться с матерью и сестрами. Затем Гоголь, Сергей Тимофеевич с сыновьями Константином и Григорием в четырехместной коляске отправились в Химки, куда уже выехал ранее М.С. Щепкин со старшим сыном Дмитрием.

По дороге, у Тверской заставы, вновь встретились с Шереметевой, ехавшей в своих дрожжах. Остановились, и Шереметева благословила и перекрестила Гоголя.

В Химках пообедали и стали ждать дилижанса, в котором Гоголю предстояло ехать до Петербурга.

Тут Гоголь поступил в характерном для себя стиле. Чтобы не предъявлять паспорта и избежать лишних хлопот, он объявил солдату у шлагбаума, что едет всего лишь на дачу и сегодня же возвратится. Константина, не способного ни к какой лжи и притворству, эти слова повергли в смущение, а «Гоголь пустился объяснять, что в жизни необходима *змеиная мудрость*, то есть что не надобно сказывать иногда никому не нужную правду и приводить тем людей в хлопоты и затруднения...». А затем Гоголь вновь, как когда-то с неким Васьковым и Пейкером, прибегнул к мистификации. «Товарищем Гоголя в купе опять случился военный, с иностранной фамилией, кажется, немецкой... Гоголь и тут, для предупреждения разных объяснений и любопытства, назвал себя *Гонолем* и даже записался так, предполагая, что не будут справляться с паспортом» [Воспоминания, с. 151, 152; курсив в оригинале].

Провожавшие заметили, что настроение Гоголя резко улучшилось. Сергей Тимофеевич: «Гоголь внутренне был чрезвычайно рад, что уезжает из Москвы, но глубоко скрывал свою радость» [Там же. С. 151]. Константин: «Поехал он необыкновенно ясен, почти с торжественным видом» [ЛН. Т. 58. С. 622]. Но Аксаковы не разделяли этой радости, они испытывали разочарование, ощущая себя несколько обманутыми.

В самом деле: по возвращении из-за границы Гоголь показался повзрослевшим. Одно из проявлений нового состояния – обещание никогда уже не покидать Россию и поселиться не где-нибудь, не в Петербурге, «столице, с именем чужим», а в средоточии русской народности, Москве. Заверения его на этот счет были совершенно определенные. «Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди» [XI, 331]. Перед приездом, в Ганау, он уже обсуждал с Н.М. Языковым перспективу совместного проживания в старой столице, и об этих планах знали москвичи. И Языков, благословляя из Ганау гоголевский «возврат из этой нехристи немецкой на Русь, к святыне московрецейкой», прибавлял:

Ты, слава Богу, счастлив, брат:
Ты дома, ты уже устроил
Себе привольное житье...

Увы, и на этот раз московское пристанище Гоголя оказалось временным.

* * *

Около 26 мая Гоголь приехал в Петербург и остановился у Прокоповича, в доме на 9-й линии Васильевского острова, между Большим и Средним проспектами [ЛН. Т. 58. С. 622]¹²⁵.

В эти две недели петербургской жизни Гоголь нанес массу визитов и имел множество встреч. 27-го был у Ф.А. Моллера, так же как и Гоголь, собиравшегося в Италию [Там же. С. 622]. Потом посетил Карташевских [Там же. С. 626]; по всей вероятности, виделся с Иваном Аксаковым, передав ему экземпляр «Мертвых душ»; был у Балабиных, заметив, между прочим, что его давняя ученица и приятельница Мария Петровна «сильней развилась и глубже чувствует, чем когда-либо прежде» [XII, 114]. Возможно, встречался и с Никитенко, о чем свидетельствует помета в гоголевской записной книжке [см.: IX, 570], – это было особенно важно в связи с предстоящим прохождением Собрания сочинений через цензуру.

Был Гоголь и у Вяземского, где читал «отрывки из напечатанных “Мертвых душ” и особенно хорош выходил в его чтении разговор двух дам» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 303]. Встреча Гоголя с Вяземским подтверждается письмом последнего к Наталье Николаевне Пушкиной (8 июня 1842 г.): «Здесь был Гоголь, привез нам свои “Мертвые души”, первый том... Он в нынешний приезд был очень мил и весел» [ЛН. Т. 58. С. 622].

Несколько раз бывал и у Смирновой, сблизился с ее братом Аркадием Осиповичем Россетом (1812–1881), воспитанником Пажеского корпуса, штабс-капитаном (с 1838 г.).

Однажды Гоголь вызвался прочитать у Смирновой «Женитьбу» – переработанный текст комедии он готовил для своих Сочинений и решил проверить ее действие. Круг слушателей был строго отобран «по назначению» самого Гоголя: Вяземский, Плетнев, сыновья Н.М. Карамзина, Андрей и Владимир, Аркадий Россет. Но неожиданно пришел еще кн. Михаил Александрович Голицын (1804–1860), многие годы проживший за границей. Его появление смутило хозяйку: известно, что Гоголь чуждался малознакомых людей. «К счастью, Гоголь не обратил на помеху никакого внимания и продолжал чтение. После чтения все его благодарили и в особенности кн. Г<олицы>н, который сознавался, что никогда не испытывал такого удовольствия» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 303]¹²⁶.

Плетнев слушал в чтении Гоголя не только «Женитьбу», но и «Мертвые души» и сообщил о своих впечатлениях Жуковскому в Дюссельдорф (5 июня): «Это без сомнения лучшее из всего, что только есть в нашей литературе. Сколько комизму, разнообразно, схваченного живьем в натуре и переданного со всею яркостью красок! Особенно это поражает всякого, когда он сам читает» [Плетнев, с. 539].

Встречаясь с Гоголем, Плетнев начинал разговор и о сотрудничестве его в «Современнике», однако тот уходил от этой темы. По позднейшему замечанию Гоголя, он «избегал всякого литературного разговора с ним в бытность мою в Петербурге» [XII, 438], ибо не хотел полностью солидаризироваться с линией журнала. В письме же к Плетневу, известном под названием «О Современнике» (1846), Гоголь дал понять, что считает неуместным даже объяснения по этому поводу: «Каждому определяет Бог дорогу... А потому, уважай и самый отказ другого даже и тогда, если бы он не захотел объявить причины, почему не может дать статьи в Современник» [VIII, 428].

Похожим образом, мы знаем, повел себя Гоголь в отношении Погодина и его «Москвитянина»; не ответил он и на призывы Белинского подружиться с «Отечественными записками». Другое дело, воспользоваться интересом всех этих журналов к «Мертвым душам» – сделать это он был вовсе не прочь, прося о рецензии или отклике на поэму и Плетнева, и Шевырева как сотрудника «Москвитянина», и Белинского. Гоголь сознательно стремился к тому, чтобы о его произведении высказались журналы различной ориентации.

В планах Гоголя была еще обещанная встреча с Белинским, и она состоялась, так сказать, по месту жительства, у Прокоповича, – это было нетрудно ввиду некоторой близости последнего к критику. Таких мер предосторожности, как при московском свидании, не потребовалось; и все-таки Гоголь сохранил «характер секрета» [Анненков, 1983, с. 107]: ему не хотелось, чтобы этот факт получил широкую огласку. Подробности беседы Гоголя с Белинским неизвестны; известно только, что у Гоголя осталось благоприятное впечатление; по отъезде за границу он дважды просит Прокоповича передать привет Белинскому.

Кстати, это была последняя встреча Гоголя и Белинского; пути их более не пересекались: когда Гоголь в апреле 1848 г. вернется на родину (Одесса, Васильевка, Киев и т. д.), Белинский будет находиться в Петербурге, где ему предстояло прожить лишь месяц с небольшим.

Помимо Белинского, Гоголь виделся в Петербурге и с людьми, близкими к его кругу: с издателем «Отечественных записок» А.А. Краевским, с которым познакомился еще до отъезда за границу (см. Книгу I, гл. «Среди однокорытников»); с преподавателем русской литературы во 2-м кадетском корпусе Александром Александровичем Комаровым (ум. 1874). С Комаровым (и с Краевским) Гоголь встречался также у Прокоповича, но, возможно, и навещал его дома; это подтверждает И.И. Панаев: «А.А. Комаров был очень хорош с покойным Прокоповичем и через него сошелся очень близко с Гоголем. Первое время своей литературной известности Гоголь обыкновенно, приезжая в Петербург, останавливался у Прокоповича и часто бывал у Комарова. Здесь встречался с ним Белинский» [Панаев, с. 344]¹²⁷.

Среди беглых встреч Гоголя в Петербурге следует упомянуть и его встречу с М.Н. Лонгиновым, у которого в давнее время (в 1831 г.) он был домашним учителем. Недавно окончивший юридический факультет Петербургского университета, Лонгинов случайно столкнулся с Гоголем у ресторатора Сен-Жоржа; писатель был в окружении нескольких лиц, из которых мемуаристу запомнился Вяземский. «Нельзя было не заметить перемены в его [Гоголя] характере: беззаботная веселость юноши в десять лет нашей разлуки частью заменилась в нем большею зрелостью мысли и расположение духа сделалось серьезнее» [Воспоминания, с. 74]. Лонгинов уже успел прочитать «Мертвые души» и выраженные им по этому поводу восторги «по-видимому доставили ему удовольствие»¹²⁸.

Виделся Гоголь и с французским литератором, переводчиком Ксавье Мармье (1809–1892). В предисловии к осуществленному им переводу «Шинели» (*Au bord de la Níva. Contes russes, traduit par X. Marmier. Paris, 1856. P. 214*) Мармье вспоминал: «В 1842 году, после блестящего успеха его последних повестей и “Мертвых душ”, мы видели Гоголя в Петербурге, появлявшегося, подобно одной из своих мертвых душ в кружке преданных друзей, безучастно слушающих все то, что говорилось вокруг него, и отвечающего лишь холодной улыбкой на те искренние похвалы, которые расточались его произведениям; с интересного вечера он возвращался столь же пасмурным и угрюмым, каким входил туда» (приведено М.П. Алексеевым [Материалы, т. 1, с. 272]). Речь шла, по-видимому, не о Прокоповиче и других давних друзьях Гоголя, к которым К. Мармье не имел отношения, но об окружении В.Ф. Одоевского. 29 мая Плетнев сообщал Гроту: «Обедали

у Одоевского с Гоголем, разговаривавшим с Мармье наискосок, то есть Мармье по-французски, а Гоголь по-итальянски» [Плетнев, 1896, т. 1, с. 547]^{128а}.

Завязались было отношения Гоголя и с другим известным французским литератором – проживавшим в России в эмиграции графом Ксавье де Местром (1763–1852), младшим братом знаменитого философа и публициста Жозефа де Местра (1753–1821). Посредницей была Варвара Осиповна Балабина; в письме к ней (написанном около 31 мая) Гоголь просит поблагодарить супругов «графа и графиню Местр за их участие»; но отказывается прийти в гости к Балабиным, очевидно, ввиду занятости: оставались считанные дни до его отъезда из России. Между прочим, графиня Местр, о которой идет речь, – это Софья Ивановна, урожденная Загряжская, т. е. тетка Натальи Николаевны, жены А.С. Пушкина¹²⁹.

Чем же был так занят Гоголь? Прежде всего первым своим Собранием сочинений, подготовку которого он поручил Прокоповичу, создав тем самым еще один повод для ревности и неудовольствия своих московских друзей: те считали, что, скажем, Шевырев – более достойный и подготовленный человек для этой роли.

Затем надо было позаботиться о распределении экземпляров «Мертвых душ», подумать о печатных откликах на поэму. Три книги Гоголь оставил у М.Ю. Виельгорского для передачи августейшей фамилии – императору, императрице и наследнику, которого писатель знал еще по Риму, куда тот приезжал вместе с Жуковским. Наследнику (а также великой княгине Марии Николаевне) Гоголь еще раньше, из Москвы, послал и оттиски своего «Рима»; повесть также должна была напомнить ему о римской страде, «когда он так весело предавался общей веселости в карнавале» [XII, 47]. Выразительно и пояснение Гоголя Плетневу, почему он дарит свою повесть великой княгине: «...я почитаю ныне священным долгом представить ее» [Там же]. Очевидно, Гоголь знал об участии Марии Николаевны в истории разрешения к печати «Мертвых душ».

Успел Гоголь встретиться в Петербурге и со своим старым знакомым откупщиком Бенардаки. Писатель решил связать его с другим своим московским знакомым – Нащокиным, оказав дружескую услугу тому и другому. Когда Гоголь поведал Бенардаки о бедствиях разорившегося москвича, тот сделал неожиданное предложение: пусть Нащокин поступит к нему на службу в качестве воспитателя его сына.

Если даже этот план, согласно Гоголю, исходил от Бенардаки, то его разработка и интерпретация принадлежали писателю. Мол, Нащокин должен преподавать своему питомцу не конкретные науки («для этого у него будут профессора и, без сомнения, лучшие, какие найдутся»), но одну, главную науку – науку жизни («жизнь, живая жизнь должна составить ваше учение, а не мертвая наука» [XII, 74]). Словом, от Нащокина требовалось именно то, в чем преуспевал замечательный наставник Тентетникова Александр Петрович: «Из наук была избрана только та, что способна образовать из человека гражданина земли своей» [VII, 13]. К чести Нащокина надо сказать, что он понял всю утопичность гоголевского предложения и ответил отказом¹³⁰. Но едва ли и Гоголь до конца верил в свой план; он просто разыграл некую жизненную вариацию на одну из тем своей поэмы. Факт, который, между прочим, показывает, что он уже принадлежал чувствами и мыслями второму тому «Мертвых душ».

5 июня Гоголь отправился за границу, чтобы завершить второй том своей поэмы.

«Последнее удаление из отечества»

Начался самый продолжительный заграничный вояж Гоголя, растянувшийся на шесть лет, с июня 1842 по апрель 1848 г. Для сравнения напомним, что первая его поездка (не считая краткого путешествия в 1829 г.) продлилась три года.

Все это писатель определил для себя еще перед отъездом, в Москве. «Это будет мое последнее и, может быть, самое продолжительное удаление из отечества, – сообщал он 9 мая 1842 г. А.С. Данилевскому, – возврат мой возможен только через Иерусалим. Вот все, что я могу сказать тебе» [XII, 57]. Гоголь не намерен сразу раскрывать свои планы; он готовит восприятие своих поступков и решений так же, как появление и прием очередного произведения...

Путь Гоголя лежал в Рим, но вначале он направился в Гаштейн к Н.М. Языкову, как обещал раньше, в Москве.

26 июня н. ст. он в Берлине, 14 июля – прибыл в Гаштейн. Гоголь привез с собой, говоря его словами, «и свежесть, и силу, и

веселье, и кое-что подмышкой» [XII, 64], т. е. недавно вышедшие «Мертвые души».

Давно уже не видели Гоголя таким бодрым и здоровым; он даже отказался от различных медицинских процедур – «не лечится», как сообщал Н.М. Языков. И это было не только физическое, но и душевное состояние; на Гоголя нашло редкое спокойствие, удовлетворенность, о чем он возвещал уверенно и почти с пафосом: «Скажу только, что с каждым днем и часом становится светлей и торжественней в душе моей, что не без цели и значенья были мои поездки, удаления и отлученья от мира, что совершалось незримо в них воспитанье души моей...» (из письма Жуковскому, 26 июня н. ст. 1842). Появляется и образ лестницы, столь значимый для Гоголя вплоть до последних мгновений его жизни, когда уже чуть ли не в состоянии агонии он воскликнет: «Лестницу мне, лестницу!». «...Небесная сила, – говорится в том же письме Жуковскому, – поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях... Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существованья» [XII, 69].

Однако путь к «подвигам» – через кропотливый, повседневный труд, строгий распорядок, давно заведенный и не допускающий отклонений. «Гоголь везде, как дома, – сообщает Языков 28 августа (9 сентября) родным, – везде водворяется по-своему и пишет; в Гаштейне сидел он так же, как и в Москве или в Риме: все утро один с пером в руке – и никому ни на какой стук не отпирая двери! После обеда прохладается, лежа на диване и подремывая, гуляет и ложится спать часов в 9 – все это делается у него чрезвычайно аккуратно и вольготно, идет все это, как заведенные часы» [ЛН. Т. 58. С. 636]. Невольно вспоминается фраза из «Мертвых душ»: мол, «автор», «несмотря на то что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец»...

Гоголь прожил в Гаштейне более двух месяцев, в одном доме с Языковым, ободряя, и поддерживая, и ухаживая за ним, как он это умел делать по отношению к друзьям. «Мы живем, как братья» (Языков – брату Александру Михайловичу, 21 (9) июля 1842 г.).

В конце июля или в начале августа Гоголь совершил поездку в Мюнхен – непродолжительную, чтобы надолго не оставлять Языкова одного (к 15 августа он уже возвратился). Что привлека-

ло Гоголя? Конечно, репутация этого города, в котором писатель еще не бывал. Правивший здесь (с 1825 г.) Людвиг I Баварский слыл венценосным меценатом. По словам И.С. Гагарина, он «превратил свою столицу, если не в новые Афины, то во всяком случае в замечательное средоточие искусств. Среди профессоров Мюнхенского университета были и, помимо Шеллинга, люди весьма достойные» [ЛН. Т. 97. Кн. 2. С. 43].

Профессора университета во главе с Шеллингом мало интересовали Гоголя, а вот искусства – очень. В Мюнхене находилась знаменитая Глиптотека, собрание скульптур от античности до современности. Посетивший ее в 1834 г. А.И. Тургенев отметил в дневнике: «...нельзя не подивиться средствам короля для сооружения такого храма одному из изящных художеств» [Там же. С. 75]. И еще поражало собрание живописи, мюнхенская Пинакотекa, также построенная при Людвиге I.

Все это вызывало восхищение Гоголя. «В Мюнхене много замечательного, – писал он Языкову 5 августа в Гаштейн. – Замечательно уже то, <что> в нем живет король, один из всех европейских королей, окруживший себя Художествами и Искусством, а не псарней, б<.....>м, шагистикой, кроением мундиров и прочим». Гоголь не упоминает о посещении музеев, хотя едва ли он упустил такую возможность. Подробно говорит лишь о внешнем виде города: «В архитектуре много замечательного, хотя много также и обезьянства, и вообще отсутствие оригинальности. Но расписывающиеся среди города фрески, на стенах, среди немецкого города, среди трактиров и пивных бочек – это точно что-то замечательное» [ОР ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 1. № 56. Л. 10–11; ср.: XII, 87–88]. Современников особенно впечатляло в Мюнхене обилие произведений искусства, их внедренность в городскую жизнь и быт, что должно было оказать благотворное воздействие на окружающих. «...Весь Мюнхен полон артистами и их произведениями, и жизни мало для их осмотра... к тому же баварцы и способны к изящным искусствам. Просвещение также распространяется, скоро последний из крестьян будет уметь читать, писать, считать. Религия не возмущает спокойствия граждан, и взаимных обращений кат<оликов> и прот<естантов> мало» – эти слова, записанные А.И. Тургеневым в 1832 г., принадлежит не кому другому, как Шеллингу [см.: Азадковский, Осповат, с. 159].

После посещения Мюнхена Гоголь почувствовал потребность написать Шевыреву – и вот почему. В конце лета – осенью 1839 г., проживая в Мюнхене и соседнем городке Дахау, Шевырев

работал над переводом «Божественной комедии». Гоголь тогда восторженно приветствовал это начинание: «Ай да Мюнхен! Ты должен имя его выгравировать золотыми буквами на пороге дому твоего» [XI, 247]. Он замечательно отчетливо помнит детали мюнхенской жизни Шевырева трехлетней давности – и то, что последний занимался разбором библиотеки барона Моля, приобретенной для Московского университета, и то, как необыкновенные облатки на гоголевских письмах смутили «спокойствие невозмущаемого городка Дахау» [XII, 89]¹³¹.

Но сам Гоголь в Мюнхене, кажется, не работал, решив устроить себе вакации во всех отношениях. Свое времяпрепровождение он описывает Языкову в тонах уже знакомой нам «сонной» символики. «Общество здесь почти то же, что и в Гастейне, но как-то не так обходительно: *Полежаев, Храповицкий, Сопиков* хотя и принимают, но не с таким радушием...» Сонная символика сменяется «прогулочной», разработанной до изощренности, до артистизма: «*Ходаковский* тоже, хотя и наведывается чаще, но есть в нем что-то чертовое, городское, слишком щеголеват... и еще беда: завел он дружбу страшную с помещиком, которого мы в Гастейне никогда не видали, и сам даже не помню хорошо его фамилии, *Пыляков*, кажется, или *Пылинский*. Подлец, какого только ты можешь себе представить. Подобного нахальства в поступках и наглости я не видал давно: лезет в самый рот. *Тепляков* здесь тоже несносен, его бы следовало скорее назвать *Допекаевым*». И наконец, завершается все символикой «пищеварительной», весьма актуальной для Гоголя ввиду мучивших его запоров: «Здесь я не в силах даже письма написать, а не то, чтобы предаться как следует размышлению об руку с *заседателем* и потом отправиться в *нижний земский суд*, разумею к генералу *Говену*» [XII, 88]¹³². Как видим, и после всех потрясений, после кризиса Гоголь отнюдь не всегда говорил тоном визионера и пророка...

Прожив в Гаштейне еще месяц с небольшим, Гоголь и Языков 17 сентября н. ст. направились в Италию и 22-го были в Венеции. Вначале остановились в гостинице «Европа», но «вскоре перешли на частную квартиру, – ради уменьшения издержек и ради большего простора» (Н.М. Языков – А.М. Языкову, 26 (14) сентября [ЛН. Т. 58. С. 638]). Но не повезло с погодой: непрерывно лили дожди, мешавшие прогулкам по городу, а «ущерб луны» «препятствует слышать баркаллолы, плывя в таинственной гондоле»: ведь для этого, как говорит Языков, «водоплавательного удовольствия» необходимо лунное сияние.

Наконец 4 октября н. ст. путники достигли «града Рима». «Несколько дней просидели мы в “Hotel de Russie”, потом перешли в частный дом на житье-бытье шестимесячное» [Там же. С. 640]. Этот «частный дом» – не что иное, как тот же дом на Strada Felice, 126; Гоголь поселился в своей прежней квартире на третьем этаже, а Языков этажом ниже.

Впервые фамилию писателя в приходской книге за 1842 г. воспроизвели правильно – «Gogol Nicolo – russo» (годом позже еще добавили – «possidente», помещик). А соседями Гоголя по третьему и четвертому этажам на этот раз были чуть ли не сплошь художники: «американец, художник 29 лет», «немец, гравер 29 лет», «испанец, художник 26 лет», «швейцарец-художник, 36 лет», «хорват, художник», «швед-скульптор, 40 лет» [Гасперович, с. 97]. На этом фоне единственным не-художником оказался Гоголь...

И потекла жизнь своим обычным, заведенным порядком, как в Гаштейне. До четырех часов Языков коротает день один, так как Гоголь, никого к себе не пуская, «сильно занят и сильно работает»; потом встреча за обедом. «После обеда вместе дремлем, вечером обыкновенно приходят к нам трое русских (в числе их известный живописец Иванов); часа с два болтаем, а в 9 часов расходится компания, всякий к своему шлафену (ко сну)» (Н.М. Языков – А.М. Языкову, 16 (4) февраля 1843 г. [ЛН. Т. 58. С. 651]). Время для прогулок, для осмотра достопримечательностей выбиралось с трудом: «Нынешняя зима в Риме пренегодная – такой, дескать, и старожилы здешние не запомнят; холодно, сыро, мрачно, дожди проливные, ветры бурные...» [Там же]. Оставалось надеяться на весну; в наступающем марте и Языков собирался чаще выходить из дому – «горько было мне уехать из Рима, не выдавши хоть со-той доли его славностей и чудес искусства!» (ОР ИРЛИ. Ф. 348. Языковы, 24. С. 10 об.).

Само собой разумеется, что из-за незнания Языковым итальянского и его тяжелой болезни все хозяйственные заботы легли на плечи Гоголя. И тут Языкову открылось одно из противоречий гоголевского характера: точный и педантичный в своих литературных занятиях, он оказался крайне безалаберным и бестолковым в повседневной жизни. «Его непрестанно обманывают и обирают итальянцы, которым он верит, как честным, и которых чрезвычайно уважает; деньги бросает, как сор, – и хлопочет и суетится, будучи вполне уверен, что он всех перехитривает и все покупает дешевле других, и болезненно обижается, когда противоречат в

чем бы то ни было» [ЛН. Т. 58. С. 644]. Вообще-то непрактичным Гоголя не назовешь, но его знание людей, «способность угадывать человека» сполна проявлялись (не говоря уже о творчестве) лишь в устройстве судьбы своих произведений.

Надо сказать, что в этот приезд Гоголя в Рим круг его общения заметно сузился, зато встречи приобрели чуть ли не ежедневный, точнее, *ежевечерний* характер, потому что день неукословно посвящался работе. Сложился небольшой римский кружок Гоголя, некое подобие его петербургского кружка; отличие лишь в том, что здесь не было «однокорытников» по нежинской Гимназии высших наук; да и людей этих уже никак не отнесешь к начинающим и безвестным. Наоборот: знаменитый поэт Языков, знаменитый художник Александр Иванов, выдающийся гравер Иордан – вот кто составлял окружение Гоголя. К ним нужно прибавить еще двух лиц: менее известного Федора Васильевича Чижова (1811–1877), бывшего адъюнкт-профессора Санкт-Петербургского университета, и совсем еще неизвестного 23-летнего Григория Павловича Галагана (1819–1888), питомца юридического факультета того же университета и воспитанника Чижова; последний, очевидно, и познакомил его с Гоголем.

Встречались обычно не у Гоголя, а этажом ниже у прикованного к своей квартире Языкова. При этом Чижову тоже не надо было выходить из дому; он жил на четвертом этаже, над Гоголем (это подтверждается записью в приходской книге за 1843 г.: «...4-й этаж: Чижов Теодоро, русский, 32 г., помещик» [Гасперович, с. 97]).

Поведение Гоголя во время этих встреч отличалось двойственностью, свойственной ему издавна, но углубившейся после венского кризиса 1840 г. Среди проживавших в Риме русских, «когда клонился разговор о том, каков Гоголь теперь, то они всегда говорили с некоторой досадой: “Уж теперь Гоголь не тот, Бог знает, что с ним сделалось”» [Галаган, с. 67]. Присмотревшись к писателю поближе, Галаган убедился, что он и тот и «не тот». Например, «Гоголь был очень неровен в степени разговорчивости: иногда он просиживал почти совершенно молча целый вечер, потупя голову... иногда, напротив, он был очень разговорчив, то рассуждал о предметах весьма глубоких, то смешил нас своими юмористическими выходками» [Там же. С. 66]. О молчаливости, царившей во время этих встреч, говорит и Иордан, а Чижов упоминает следующий эпизод, передающий «характер наших бесед с Гоголем»:

Однажды мы собрались, по обыкновению, у Языкова. Языков, больной, молча, повесив голову и опустив ее почти на грудь, сидел в своих креслах; Иванов дремал, подперши голову руками; Гоголь лежал на одном диване, я полулежал на другом. Молчание продолжалось едва ли не с час времени. Гоголь первый прервал его: «Вот, – говорит, – с вас можно сделать этюд воинов, спящих при гробе Господнем». – И после, когда уже нам казалось, что время расходится, он всегда говаривал: «Что, господа? не пора ли нам окончить нашу шумную беседу?» [Воспоминания, с. 228].

Это как раз тот случай, о котором упоминал и Галаган в письме к матери от 13 января 1843 г.: «Все сидит и молчит и как будто дуется», но «когда скажет что-нибудь, то умеет придать такой комизм своим словам, что нельзя не смеяться» [Галаган, с. 65].

Обращали на себя внимание и странности во внешнем облике Гоголя. Иордану он запомнился «в белых перчатках, шегольском пиджаке и синего бархата жилете» [Воспоминания, с. 220]. Об экстравагантности Гоголя шла молва и за пределами его круга; в проживавшем в Риме семействе Марии Алексеевны Обуховой¹³³, по свидетельству Галагана, «всегда говорили, что он ужасный чудак... и даже в одеянии любит фантазировать: то обстрижется совсем коротко, то опять запустит волосы, зачесывая их на лоб, на глаза, то зачесывая их назад». Впрочем, короткая стрижка – или плод вымысла, слухов, или она имела место в более ранние времена; самому Галагану писатель запомнился другим – «волосы довольно длинные и усы довольно стриженные, как он изображен на портрете» [Галаган, с. 67]. Речь идет о выполненном в 1841 г. портрете работы Ф.А. Моллера, на котором писатель смотрится вполне благообразно и чинно; однако именно по поводу этого портрета Гоголь сказал в свое время П.В. Анненкову: «Писать с меня весьма трудно: у меня по дням бывают различные лица, да иногда и на одном дне несколько совершенно различных выражений». Эти слова, добавляет мемуарист, «подтвердил и Ф.А. Моллер» [Анненков, 1983, с. 94]. Что же касается странностей в одежде, то если бы Галаган или Обухова знали Гоголя издавна, то заметили бы, что склонность «фантазировать» была присуща ему с молодых ногтей.

В ежевечерних собраниях у Языкова все внимание было сосредоточено, конечно, на Гоголе – в этом тоже состояло своеобразие кружка. В кружках Станкевича, затем славянофилов или западников, несмотря на авторитет одного лица (в первом случае Станкевича, а в последнем – Белинского), существовали более или менее равноправные отношения. Здесь же даже при наличии

столь значительной фигуры, какой был Александр Иванов, безраздельно царил Гоголь. Остальные, по словам Иордана, «были обречены... сидеть и смотреть на него, как на оракула, и ожидать, когда отверзнутся его уста» [Воспоминания, с. 220].

Но Гоголь царил не только словом «оракула», но и молчанием, невольно принуждая других высказываться тогда, когда он этого хотел. Это не нравилось тому же Иордану. «Однажды, – вспоминает Чижов, – я тащил его почти насильно к Языкову. “Нет, душа моя, – говорил мне Иордан, – не пойду, там Николай Васильевич. Он сильно скуп, а мы все народ бедный, день-деньской трудимся, работаем, – давать нам не из чего. Нам хорошо бы так вечерок провести, чтоб дать и взять, а он все только брать хочет”» [Там же. С. 227]. Подтверждение этих слов мы находим и у самого Иордана:

Бывало, он [Гоголь] в целый вечер не промолвит ни единого слова... Не раз я ему говаривал: «Николай Васильевич, что это вы так экономны с нами на свою собственную особу? Поговорите же хоть что-нибудь». Молчит. Я продолжаю: «Николай Васильевич, мы вот все, труженики, работаем целый день; идем к вам вечером, надеемся отдохнуть, рассеяться – а вот вы ни слова не хотите промолвить. Неужели мы все должны покупать вас в печати?» Молчит и ухмыляется [Иордан, с. 209].

При этом Иордана привязывало к Гоголю чувство благодарности, а Гоголя к Иордану – восхищение многолетней сосредоточенностью на одном труде, напоминающей ему и работу Иванова над «Явлением Мессии», и написание его собственной поэмы. Один из последних представителей художников в жанре классической гравюры, Федор Иванович Иордан (1800–1883) приехал в Италию двумя годами раньше Гоголя и с тех пор неустанно трудился над гравюрой с «Преображения» Рафаэля – закончит он ее лишь спустя 15 лет. По словам Иордана, «доброта Гоголя» к нему «была беспримерна... Он рекомендовал меня, где мог. Благодаря его огромному знакомству это служило мне поощрением и придавало новую силу моему желанию окончить гравюру» [Воспоминания, с. 220]. Не ограничиваясь рекомендациями, Гоголь старался ободрять Иордана, поддерживать его силы. Перед последним приездом в Италию еще из Москвы (20 октября 1841 г.) он просил А.А. Иванова: «Поклонитесь от меня Иордану и скажите ему также, чтобы он никак не унывал духом, а работал бы бодро свое дело. Его будущее положение может быть так хорошо, как он и не

воображает и не думает» [XI, 349–350]. В шутку Гоголь говорил Иордану: «Вы – Рафаэль первого манера» [Воспоминания, с. 220].

Из окружения Гоголя наиболее критично относился к нему Чижев – такое отношение проистекало из давних времен, когда и тот и другой были адъюнкт-профессорами С.-Петербургского университета. С точки зрения Чижева, имевшего высокие представления о научной деятельности, Гоголь как преподаватель был недостаточно серьезен и недостаточно подготовлен; к тому же не прибавляло ему симпатии и то обстоятельство, что свое место в университете писатель получил по протекции [см. подробнее: Книга 1]. Критическое отношение к Гоголю Чижев также проявил буквально накануне римских встреч, когда в августе 1842 г., заехав к Жуковскому в Дюссельдорф, взял у него присланную автором книжку «Мертвых душ». В целом произведение ему очень понравилось, но и от упреков он не удержался: «есть места вялые»; «вообще он не так знает Россию, как Малороссию, это раз»; «другое – ему не нужно говорить о гостиных и о женщинах – и те и другие дурны, сильно дурны» [ЛН. Т. 58. С. 778].

Приехав в Рим, Чижев очень скоро сблизился с Языковым, человеком с открытой душой, а вот с Гоголем никак не сходился. Задевал «диктаторский тон», в котором тот нередко высказывал свое мнение, будь то о книге А.Н. Муравьева «Путешествие ко Святым местам» (1830) или об акварелях Александра Иванова. «Разумеется, по непривычке, это немного оскорбляет, – записывает Чижев в дневнике 8 декабря 1842 г. – особенно тогда, когда только вчера он [Гоголь] сказал, что рыцарство – в русской вежливости нашей перед ними, – а это невнимание к противоположному мнению, чем оно пахнет?» [ЛН. Т. 58. С. 780]. Со своей стороны, Гоголя могли покоробить близорукие, с его точки зрения, устаревшие представления Чижева о комическом, высказанные в связи с обсуждением картин Иванова.

Конкретно спор состоял в следующем. Для поднесения прибывшей в Рим великой княгине Марии Николаевне художник представил на суд две акварели. На первой схвачен один момент римского танца, когда девушка в ответ на вопрос, кто украл ее сердце, показывает на длинноногого англичанина и тот, вопреки своему желанию и при общем смехе, должен пуститься в пляс. На другой картине – пиршество римлян: одни еще едят за столом, другие уже встали и беседуют; за всем этим наблюдает группа художников, в том числе и вполне узнаваемые и действительно проживавшие в это время в Риме лица – датский

скульптор Бертель Торвальдсен, с которым Гоголь был знаком лично [Джулиани, с. 131 и далее], и ученик Торвальдсена Теодор Вагнер. Известно также, что над фигурами двух художников сам Иванов написал имена назарейцев Корнелиуса и Овербека [Машковцев, 1982, с. 124]¹³⁴.

Именно эта картина – ее название «Октябрьский праздник в Риме. У Ponte Molle» – показалась Чижову более значительной; Гоголь же выбрал первую, с ее жанрово-комическим тоном. Но такая сцена, как считал Чижев, «не может быть изящною в полном значении слова», в ней «все подчинено естественности выражений, которые здесь более устремляются в комизм, а комизм, по моему мнению, может дойти до ступени прекрасного или общности всей картины, или высоким комическим значением главного ее лица» [ЛН. Т. 58. С. 780]. Таким «значением» не обладала ни простая римская девушка, отвечавшая на вопрос, кто предмет ее любви, ни длинноногий англичанин, не желавший пуститься в пляс. Возможно, свои возражения, зафиксированные по горячим следам в дневнике (8 декабря 1842 г.), Чижев лично высказал Гоголю, чем и спровоцировал его «диктаторский тон». Во всяком случае, явно или неявно, Чижев продолжал свою полемику с гоголевским художественным стилем, которую начал несколькими месяцами раньше, читая «Мертвые души».

Иванов же в выборе акварелей готов был более прислушаться к Гоголю, и это поколебало уверенность Чижова в своей правоте («...Не смею произнести приговора»). Ему вообще несвойственно было упорствовать в своих суждениях: спустя три года он отметит в дневнике: «Минутами я беру в руки “Мертвые души” Гоголя и беспрестанно прошу внутренне извинения у нашего истинного таланта» [Там же. С. 782].

Но вернемся к римскому окружению Гоголя. Самым скромным в этом окружении был Галаган; по его словам, он выступал более в роли «слушателя». Это объяснялось и его молодостью – будучи на 10 лет моложе Гоголя, Григорий Павлович принадлежал к другому поколению – и тем обстоятельством, что встретились они впервые. Но было у них и нечто общее – оба происходили из Украины, имение Галаганов Сикеренцы находилось недалеко от Васильевки, – это невольно устремляло мысли в одном направлении. «О нашей с ним родной Малороссии Гоголь как бы избегал говорить. Сколько я помню, он относился только с особенною любовью о наших песнях [так!] и один раз, говоря о Малороссии вообще, сказал: “Я бы, кажется, не мог там жить, мне бы было жал-

ко, и я бы слишком страдал”. Мы тогда говорили о современном состоянии нашего народа и нашего общества» [Галаган, с. 66].

Еще общая их черта – интерес к крестьянской жизни, помещичьему хозяйству. Когда Галаган уезжал из Рима, Гоголь одобрил его решение стать помещиком и дал на прощание ряд советов, вроде тех, которые он потом сформулирует в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (в статье «Русской помещик»): «не спешите их [людей] осуждать», «старайтесь вникнуть в его жизнь» [Там же. С. 67], – говорил Гоголь Галагану. Кстати, в то же самое время – в марте или апреле 1843 г. – писатель сходным образом учил мать, как ей следует заботиться о своих крестьянах: «Если подвластный создан для того, чтобы трудиться для нас и исполнять наши повеления, (то) разве мы не созданы для того, чтобы обращать во благо труд его...» и т. д. [XII, 169].

Что же касается Галагана, то он на всю жизнь остался верен выбранному направлению деятельности – служил в Черниговской палате государственных имуществ; изучал положение крестьян, пострадавших от неурожая, и участвовал в раздаче пособий; позднее играл активную роль в подготовке крестьянской реформы. Посетивший Галагана летом 1854 г. в его имении И.С. Аксаков писал родным: «Галаган внушает мне характером своим, направлением и поступками искреннее, глубокое уважение... Среди этой роскоши он постоянно занят одной мыслью – извлечь всю возможную пользу из своего положения для других, сделать как можно более добра, оправдать свое богатство пред своею совестью» [Аксаков, 1994, с. 285]¹³⁵.

Те четыре месяца, с января по апрель 1843 г., которые Галаган провел в Риме в гоголевском окружении, отчетливо врезались в его память. «Желал бы я очень иметь о Вас побольше подробностей, – писал он Александру Иванову 23 ноября 1844 г., – знать не то что Вы работаете, – я это знаю, но как проводите время вне работы, где проводите вечера после тех, которые мы просиживали вместе с Языковым, Гоголем и Федором Васильевичем [Чижовым]» [ЛН. Т. 58. С. 641]. «Вместе» обычно собирались на квартире Языкова; обедали же чаще всего отдельно: Гоголь с Языковым дома, а остальные «ходили в тот трактир, куда прежде ходил часто и Гоголь, именно, как мы говорили, к Фалькону (al Falcone)» [Воспоминания, с. 227].

Внутренняя же жизнь Гоголя протекала во многом скрытно даже от тех, у кого он постоянно был на виду. Замечалось лишь усиление его религиозности; так, Галагану он «показался... уже

тогда очень набожным. Один раз собирались в русскую церковь все русские на всенощную. Я видел, что и Гоголь вошел, но потом потерял его из виду и думал, что он удалился. Немного прежде конца службы я вышел в переднюю... и там в полумраке заметил Гоголя, стоящего в углу за стулом на коленях и с поникнутой головой. При известных молитвах он бил поклоны» [Галаган, с. 67]. Сходную зарисовку находим и у другого очевидца: «На Стр<астной> нед<еле> Го<голь> говел, и тут я уже зам<етила> его религ<иозное> располож<ение>. Он стоял обыкнов<енно> поодаль от других и до т<акой> ст<епени> б<ыл> погр<ужен> в себя, к<ак> бы никого не вид<ел> и ник<ого> не б<ыло> вокр<уг> него» [Смирнова, 1989, с. 38]. Из окружения Гоголя наиболее чутким к его внутренним переменам оказался, пожалуй, Иванов, который «о настоящей жизни его говорил с особенным уважением и таинственностью, ему свойственную» [Галаган, с. 67]. Впрочем, подробный разговор об отношениях Гоголя и Иванова впереди.

И все же при понимании чуткого Иванова, при безграничном уважении таких, как Языков или Галаган, Гоголь в это свое пребывание в Риме испытывал то, что сейчас бы назвали «дефицитом общения». Вот почему, узнав в ноябре 1842 г., что во Флоренции находится Смирнова-Россет с дочерьми, он посылает ей одно письмо за другим. «Видеть вас – у меня душевная потребность» (XII, 123). «Ради Бога, скажите, зачем вы не в Риме, а во Флоренции?» [XII, 132]. И Смирнова поехала в Рим, предварительно отправив туда брата Аркадия Осиповича для подыскания подходящего жилья.

Помог ему в этом сам Гоголь, выбрав квартиру в уютном палаццо Валентини, находившемся в нескольких метрах от колонны Траяна. Здание было пристроено к одноименному палаццо, принадлежащему обслуживавшему Гоголя банкиру Валентини; в этом палаццо, между прочим, жил и гоголевский знакомый-полиглот, кардинал Меццофанти [Джулиани, 1997, с. 16].

Едва Смирнова переступила порог палаццо Валентини – было это в конце декабря 1842 г. – как «на лестницу выбежал Н<иколай> В<асильевич> с протянутыми руками и лицом, исполненным радости. «Все готово, – сказал он, – обед вас ожидает, и мы с Аркадием Осиповичем уже распорядились. Квартиру эту я нашел, воздух будет хорош, Corso под рукой, а что лучше всего, вы близко от Колизея и Foro Boario» [Смирнова, 1989, с. 31]. Позаботился Гоголь и о том, чтобы комнаты были солнечные и

уединенные, а это, сообщает Смирнова в письме П.А. Вяземскому в Петербург, «статья важная для дряхлой старушки, у которой голова болит ежедневно...» [ЛН. Т. 58. С. 648]. А было в то время «дряхлой старушке» тридцать четыре года – ровно столько, сколько и Гоголю...

С появлением Смирновой Гоголь заметно отдалился от своего круга, меньше стал уделять внимания Языкову. «Я редко вижу Гоголя с тех пор, как она здесь, – жалуется Языков родным в письме от 15(27) февраля 1843 г. – Он у ней всякий день до позднего вечера: кажется югозит вокруг нее...» [ЛН. Т. 58. С. 649]. Чижев же отметил, что о Смирновой писатель говаривал «всегда с своим гоголевским восхищением: “Я вам советую пойти к ней: она очень милая женщина”» [Воспоминания, с. 226]. Чижев, кажется, не внял этому совету и не пошел к Смирновой, так же как, со своей стороны, и Смирнова не показывалась на встречах у Языкова. А вот Галаган, когда распространился слух об увлечении Гоголя Смирновой, решил-таки проверить, есть ли для этого основания. «Мне любопытно было ее видеть и, увидевши ее, понял, что действительно можно было ею увлечься» [Галаган, с. 67]. Это несмотря на то что Смирнова считала себя «дряхлой старушкой»... Однако Гоголь был движим несколько иным, более сложным чувством.

С тех пор как Гоголь познакомился с Александрой Осиповой – в конце 1830 или в начале 1831 г. [см.: Гоголь: Книга 1], они встречались не раз: в Париже (конец 1836 – начало 1837 г.), в Баден-Бадене и Страсбурге (лето 1837 г.), в Петербурге (конец июня – начало мая 1842 г.)... И каждый раз их отношения становились теплее, сердечнее. О степени доверия Гоголя к Смирновой свидетельствует то, что он читал ей еще не опубликованные произведения – главы из первого тома «Мертвых душ», «Женитьбу».

Что побуждало к этому Гоголя? Конечно, не в последнюю очередь эстетический вкус, которым Смирнова славилась: «...несмотря на свое общественное положение, на светскость свою, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чувством. Она угадывала (более того, она верно понимала) и все высокое и все смешное» [Вяземский, 2000, с. 122–123]. Но не только в этом причина: впоследствии (12(24) октября 1844 г.) Гоголь напишет Смирновой: «...мы сошлись с вами вследствие взаимной душевной нужды и помощи...» [XII, 359]. Это сказано после совместного пребывания в Ницце (ноябрь 1843 – март 1844 г.), ставшего, по выражению современной исследовательницы, «куль-

минационным моментом в их отношениях» (*Житомирская С.В. А.О. Смирнова-Россет и ее мемуарное наследие* [Смирнова, 1989, с. 604]). Но о «душевной потребности» Гоголь говорил и раньше, в связи с римскими встречами начала 1843 г., продолжавшимися вплоть до отъезда Смирновой в Неаполь в начале мая.

Дело в том, что Гоголь частично знал и еще больше догадывался о тех душевных перипетиях, которая испытала к этому времени Александра Осиповна. Зимой 1834/35 г., еще в Петербурге, она пережила приступ нервной депрессии, настолько тяжелый, что перед нею маячил призрак сумасшествия. Летом 1836 г. – как раз накануне встречи с Гоголем в Париже – происходит ее встреча с дипломатом Николаем Дмитриевичем Киселевым (братом министра Павла Киселева), развивается «баденский роман», который годом позже достигнет развязки. В том же 1837 г. Смирнова переживает смерть одной из дочерей, трехлетней Александры.

У Гоголя было тяготение к людям, испытавшим, как и он, душевные кризисы, впадавшим в тоску, в отчаяние: помогая им и наставляя их, Гоголь и сам чувствовал себя сильнее, возвышался духом. Время, в которое протекало нынешнее общение со Смирновой, – для Гоголя относительно спокойное и устойчивое, что и было ею замечено («...в мою бытность я постоянно видела его бодрым и оживленным»); но все-таки венский кризис еще отдаленно напоминал о себе («изредка тревожили его старые знакомые: нервы...» [Смирнова, 1989, с. 50]). В обществе Александры Осиповны, да еще на римском фоне, находил он подкрепления своим силам. «Он сам мне говорил, что в Риме, в одном Риме он <мог> глядеть прямо в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления» [Там же].

Был ли Гоголь увлечен Смирновой? Как человек, восприимчивый к женской красоте, он едва ли оставался равнодушным к ее очарованию, но это чувство сублимировалось в другое, более сложное переживание, быть может, даже не без сознательного усилия. По крайней мере, в гоголевских обращениях к Смирновой вроде «Любящий без памяти вашу *душу*» ощущается некоторый нажим.

Иметь духовную власть над такой очаровательной и в то же время умной женщиной, вызывавшей поклонение многих, вдохновившей не одного поэта, включая Пушкина, влачащей за собою шлейф слухов и версий, порою довольно щекотливого свойства, – все это приносило Гоголю глубокое удовлетворение, усиливаемое еще осознанием того факта, что он должен и может ей помочь.

Весьма пронизательно соображение С.Т. Аксакова: «Смирнову он [Гоголь] любил с увлечением, может быть потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души». И еще Аксаков прибавлял: «...по моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны» [Воспоминания, с. 207].

Гоголь взял на себя роль чичероне, проводника по Риму и его окрестностям. Эту роль он очень любил и охотно выполнял прежде при Погодине и других приезжающих русских; теперь же его усердие превзошло все ожидания. Ради экскурсий он даже сократил часы своего рабочего времени. «...Всякий день в час является к нам Гоголь, и мы странствуем, располагаясь таким образом, чтобы видеть всякий день церковь, галерею и кончить прогулкой, то есть древностию или виллой и видом» (Смирнова – Жуковскому, 30 (18) января 1843 г. [ЛН. Т. 58. С. 648]).

Гоголь составил подробный отчет об экскурсиях, занявших восемь-девять дней. Фиксировалось и произведенное впечатление; например: «Колизей. Найден прелесть»; «Заключено Петром (т. е. собором Святого Петра. – Ю. М.), оказался еще лучше» [IX, 490].

Во время этих прогулок Гоголь не морализировал, не давал советов – подобный стиль его взаимоотношений со Смирновой определится несколько позже; даже не обременял сведениями по поводу увиденного и не давил эрудицией («...ничего лишнего не говорит и не показывает, оставляя впечатления совершенно свободными» [ЛН. Т. 58. С. 648]). Ему достаточно было находиться рядом со Смирновой, достаточно было нескольких реплик – и та отчетливо сознавала основательность и глубину гоголевской эрудиции. «Никто не знал Рим так хорошо, как Гоголь. Не было итальянского историка или хромики, которую он не прочел. Все, что относится до исторического развития, искусства, даже современности итальянской, все было ему известно...» [Смирнова, 1989, с. 50].

Приемы, с помощью которых Гоголь-чичероне воздействовал на воображение своей спутницы, были элементарно-просты. «Однажды Гоголь повел меня и моего брата [А.О. Росцета] в San Pietro in Vinculi, где стоит статуя Моисея работы Микельанджело. Он просил своих спутников идти за собою и не смотреть в правую

сторону; потом привел их к одной колонне и вдруг велел обернуться. Они ахнули от удивления и восторга, увидев перед собой сидящего Моисея, с длинной бородой. “Вот вам и Микельанджело! – сказал Гоголь. – Каков?” Сам он так радовался нашему восторгу, как будто он сделал эту статую. Вообще, он хвастал перед нами Римом так, как будто это его открытие» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 2].

Смирнова отмечает, что ценил Гоголь больше всего: «В особенности он заглядывался на древние статуи и на Рафаэля. Однажды, когда я не столько восхищалась, сколько бы он желал, Рафаэлевою Психеей в Фарнезине, он очень серьезно на меня рассердился. Для него Рафаэль-архитектор был столь же велик, как и Рафаэль-живописец, и, чтоб доказать это, он возил нас на виллу Мадата, построенную по рисункам Рафаэля» [Там же].

О том, какой след оставили в сознании Александры Осиповны не только прогулки с Гоголем, но и сами его художественные пристрастия, говорит такой факт. Спустя три года, уже будучи «калужской губернаторшей», Смирнова пишет находящейся в Риме известной писательнице Е.П. Ростопчиной – и словно заново переживает увиденное: «Только в Риме ты увидишь Рафаэля во всем его действительно чудесном превосходстве»; затем она спрашивает, почему Ростопчина ничего не говорит «о дивных картинах Леонардо да Винчи», высказывает опасение, не начинает ли та «поддаваться обаянию красок»; убеждает: «сделай милость, не возлюби Болонской школы», – и непосредственно апеллирует к Гоголю: «Я надеюсь, что Гоголь будет ангелом-хранителем твоих художественных впечатлений; он поразительно чувствует искусство». Следует вдохновенный гимн Италии:

Люблю ее, древнюю, языческую, свидетелями которой являются исполинские памятники; люблю ее в ее темных молчаливых катакомбах, в ее церквах, соединявших верных одному и единственному христианскому исповеданию; люблю ее в свободном, самопроизвольном и блестящем развитии искусств; люблю ее даже в ее жалком настоящем существовании, в ее моральном оскудении, которое не возмущает, а интересует, трогает и внушает какую-то нежную симпатию и сочувствие... [РА. 1905. № 10. С. 228–229, 227; письмо от 4 января 1846].

Тут почти каждое слово могло быть сказано Гоголем, начиная с фразы о двух огромных мыслях, соединившихся в Италии, – античной и христианской – и кончая интересом и сочувствием к современному, отнюдь не блестящему положению этой страны.

Возвращаясь к совместным прогулкам Смирновой с Гоголем по Риму, надо сказать еще, что отдельные реплики, которые он бросал, были, что называется, с подтекстом. «В Сикстинской капелле мы с ним любовались картиной Страшного Суда. Одного грешника тянуло то к небу, то в ад. Видны были усилия испытания. Вверху улыбались ему ангелы, а внизу встречали его чертенята со скрежетанием зубов. “Тут история тайн души, – говорил Гоголь. – Всякий из нас раз сто по дню то подлец, то ангел”» [Смирнова, 1989, с. 52]. Кто-кто, а Смирнова тоже хорошо знала эти «тайны»...

Общение со Смирновой расширило круг связей Гоголя, оживило его «светскую» жизнь. Гоголь ближе познакомился с уже упоминавшимся ее братом Аркадием Осиповичем Россетом (1811–1881), выпускником Пажеского корпуса, прапорщиком лейб-гвардии конной артиллерии, впоследствии генерал-майором, товарищем министра государственных имуществ и сенатором (встретились они впервые еще в Петербурге, по-видимому, в 1830 г. [см.: Книга 1]; потом общались во время посещения Гоголем Петербурга в мае – июне 1842 г.). Иногда в прогулках по Риму участвовал Яков Владимирович Ханьков (1818–1862), географ и картограф, оренбургский губернатор. В обществе Смирновой Гоголь встречал и графа Василия Алексеевича Перовского (1794–1857), генерала от кавалерии и генерал-адъютанта, с 1833 г. оренбургского военного губернатора. Гоголю он мог быть памятен по рассказу Пушкина: именно в доме Перовского поэт получил известие, что во время пребывания в Нижнем Новгороде его приняли за ревизора. Казус этот, как мы уже говорили, возможно, послужил одним из источников гоголевской комедии...

В плане совместных посещений, составленном Гоголем для Смирновой, с десятком имен художников, проживавших в то время в Риме, – немецких, английских, итальянских и других; среди них – несколько знаменитостей, например Овербек и Тенерани [обстоятельный и аргументированный анализ этого «списка» см. в исследовании: Джулиани, 1997, с. 23 и далее].

Вместе со Смирновой Гоголь посетил и Александра Иванова. Биографы Иванова, кажется, не обратили внимания, что Смирнову с ним познакомил именно Гоголь во время нынешнего ее приезда в Рим. Об этом свидетельствует более позднее письмо художника к Александре Осиповне, упоминающее Гоголя, «посредством которого и самое знакомство с вами я имел честь приобрести...» [РА. 1896. № 4. С. 603].

Был Гоголь совместно с Ивановым и на обеде у княгини Зинаиды Волконской [см.: IX, 490], отношения с которой у него стали более прохладными после смерти Иосифа Виельгорского и неудачной попытки обратить умирающего в католичество. Впрочем, и отношения Смирновой с Зинаидой Волконской не сложились...

В декабре 1842 г. в Рим приехала великая княгиня Мария Николаевна (1819–1876), дочь царствующего императора; вместе со своим мужем герцогом Максимилианом Лейхтенбергским она остановилась в доме посланника И.А. Потемкина. Естественно, что находившиеся в Риме русские проявили большой интерес к этому событию. Встречался ли с великой княгиней Гоголь? Смирнова отвечает на этот вопрос определенно: «Представлялся в<ел.> к<нягине> Марье Никол<аевне> утром. Она оч<ень> милост<иво> приняла (и раз приказа<ла> приглас<ить> на музык<альный> вечер к гр. Вьель<горской>, где она была)» [Смирнова, 1989, с. 38]. А вот Н.М. Языков столь же определенно отводил версию о том, что он и Гоголь представлялись Марии Николаевне и что последний при этом читал ей второй том «Мертвых душ»: «Слух, будто бы Гоголь читал в Риме великой княгине вторую часть “Мертвых душ”, несправедлив – тем паче, что эта вторая часть еще не написана. И он не представлялся великой княгине, так же, как и я, – вероятно потому, что у него нет фрака, так же, как у меня!» [ЛН. Т. 58. С. 664].

Оба источника в данном случае заслуживают доверия: Языков – потому что жил в соседстве с Гоголем и сообщал по свежим воспоминаниям (его письмо датировано 7 июня н. ст. 1843 г.); Смирнова – потому что была в курсе передвижений и визитов писателя в то время и, очевидно, знала о таком важном событии, как его встреча с дочерью императора. Кстати, характер неточностей в мемуарах Смирновой обычно состоит в путанице имен и хронологических смещениях, которое в данном случае маловероятно, так как в другое время возможности указанной встречи, кажется, не было.

Между тем известно, что Гоголь проявлял определенный интерес к великой княгине. Несколькоими месяцами ранее, по выходе «Мертвых душ», он дал распоряжение Плетневу передать ей книгу, специально переплетенную «в хорошенькую папку»: «...я почитаю ныне священным долгом представить ее» [XII, 47]. Объясняется это тем, что Гоголь, видимо, знал об участии великой княгини в судьбе рукописи «Мертвых душ» (см.: с. 312), а также тем, что августейшая чета вообще славилась своим вниманием к

искусству, особенно Максимилиан Лейхтенбергский, который в 1843 г. станет президентом императорской Академии художеств.

По приезде в Рим великая княгиня повела себя подобающим образом. Так, был устроен прием, описание которого оставил один из приглашенных – Ф.И. Иордан: «Великокняжеская молодая чета сделала вечер для ученых и художников. Немецкий художник Флор составил любопытную живую картину, изображавшую знаменитый фреск Рафаэля “Афинская школа”. Все русские художники, имевшие фраки (их было очень мало), воспользовались приглашением явиться на этот вечер. Здесь мы имели случай видеть принца Гессен-Кассельского... Бал был великолепный красотой, доступностью и простотой царственной четы...» [Иордан, с. 211]. Очевидно, именно это событие послужило толчком для слухов о Гоголе, отказавшемся от посещения по причине отсутствия фрака; но очевидно и то, что он не воспользовался бы приглашением, даже если бы его и получил: великосветский раут с участием «царственных» особ был не по нему...

(Спустя несколько месяцев ситуация повторится почти буквально: в Баден-Баден, где останутся Гоголь и Смирнова, приедет другая представительница императорского дома, великая княгиня Елена Павловна, урожденная Фредерика Шарлотта Мария, принцесса Вюртембергская, жена великого князя Михаила Павловича. «Все представлялись ей, – говорит Смирнова. – Я спросила Николая Васильевича: “Когда же вы подколете ваш сюртук и пойдете к ней?” (Александра Осиповна подразумевала то, что с помощью подобной операции сюртук можно было выдать за фрак.) “Нет (отвечал Гоголь), пусть прежде представится Балинский, а потом уже я, и какая у него аристократическая физиономия”. Балинский был мой курьер, родом из Курляндии» [Смирнова, 1989, с. 53–54].)

Но помимо упомянутого бала, у проживавших в Риме русских существовали другие возможности встречи с Марией Николаевной. Так, в декабре 1842 г. она посетила мастерскую Александра Иванова, работавшего над «Явлением Мессии». «Необыкновенная благосклонность меня ввела в смятение...» [Шенрок, т. 4, с. 220], – сообщал художник отцу. Может быть, благодаря августейшей «благосклонности» и Гоголю довелось повидаться с великой княгиней в менее официальной обстановке, чем бал, который требовал от него еще наличия фрака¹³⁶. Языкову этот эпизод мог остаться неизвестным, хотя часть его сообщения, а именно то, что чтения второго тома «Мертвых душ» не было, по-

видимому, соответствовала действительности и подтверждается категорическими словами Гоголя.

А.С. Хомяков – Н.М. Языкову, 21 мая, Москва: «Говорят, он [Гоголь] много подвинулся в М. Душах [так!] и читал великой княгине. Правда ли? Если правда, то радостная» [Хомяков, т. 8, с. 114]. Гоголь – С.Т. Аксакову, 24 июля н. ст., Баден: «Никому не читал я ничего из них [“Мертвых душ”] в Риме <...>. Прежде всего я бы прочел Жуковскому, если бы что-нибудь было готового. Но, увы, ничего почти не сделано мною во всю зиму, выключая немногих умственных материалов, забранных в голову» [XII, 207].

Чем же в таком случае был занят Гоголь, если вспомнить, что он посвящал работе большую часть дня? Правда, для прогулок со Смирновой это время сократилось, но после того как они «осмотрели Рим en gros», то есть в общем и целом, писатель стал заходить к ней реже, вернувшись к своему обычному распорядку.

Львиная доля времени ушла, очевидно, на подготовку Собрания сочинений – завершение «Игроков», «Театрального разбеда...», определение композиции четвертого тома, латание «цензурных помех» и т. д. Но при этом ни на день не забывались и «Мертвые души»; все другие труды мысленно соотносились с продолжением поэмы; переделывая «прежние пьесы», Гоголь, по его словам, старался «навыкнуть производить плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа» [XII, 143]. С появлением четырехтомника Сочинений, а также первой части «Мертвых душ» подводился некий итог творческой деятельности, начинался, по авторскому самоощущению, более зрелый ее этап. Отсюда особое гоголевское отношение к критике.

За шесть-семь лет это отношение заметно изменилось. Знаменательное совпадение: в декабре 1842 г. Гоголь вновь оказался в ситуации, пережитой им в апреле 1836 г., в связи с премьерой «Ревизора», – правда, на этот раз заочно, поскольку писатель находился вне России.

9 декабря 1842 г. на сцене того же Александринского театра, с участием ряда артистов из того же состава, в частности супругов Сосницких, Григорьева 1-го и Григорьева 2-го, почти при таком же большом стечении зрителей состоялась давно ожидаемая премьера следующей гоголевской комедии – «Женитьба».

И вновь на премьеру пожаловал император с частью своего семейства – это устанавливается из следующей неопубликован-

ной записи в Журнале камер-фурьерской должности от 9 декабря 1842 г.: «В 8-м часов вечера Его Величество с Государем Наследником Цесаревичем и Великою Княжною Ольгою Николаевною имели выезд в Александровский [так!] театр, а по окончании спектакля 30-ть мин. 11-го часа возвратились во дворец, проходили во внутренние апартаменты Ее величества и кушали за вечерним столом в розовой комнате» [РГИА. Ф. 516. Оп. 120/2322. Ед. хр. 201. Л. 28 об.]¹³⁷.

Но в отличие от премьеры «Ревизора», которая при всех противоречивых откликах все-таки явилась несомненным успехом, что подчеркивалось вторичным посещением императора, – «Женитьба» никакого успеха не имела. Белинский 9 декабря, буквально под свежим впечатлением от спектакля, писал В.П. Боткину: «Я сейчас из театра. “Женитьба” пала и ошкана.... Теперь враги Гоголя пируют» [Белинский, т. 12, с. 125]. Даже если и не «пала» совершенно, то прошла неудачно, и у противников Гоголя были основания радоваться. Писатель Иван Щеглов передает рассказ своего деда барона В.К. Клодта (брата знаменитого скульптора), находившегося во время премьеры «Женитьбы» в ложе Н.И. Греча: «По его словам, после первого действия комедии, в ложу вошел Булгарин в крайне возбужденном состоянии, демонстративно громко воскликнул: “Это из рук вон... представлять такую мерзость! Тьфу!” И он несколько раз энергически плюнул. Дед подтверждает, что кроме Булгарина, и многие другие из публики плевались при некоторых “реальных” словечках пьесы» [Щеглов, с. 147]. О «шиканье» в конце пьесы упоминает и анонимный рецензент «Литературной газеты» (1842. 20 декабря). Суммируя впечатления зрителей, историк петербургских театров говорит, что «Женитьба» была принята как «песка, не стоящая никакого внимания» [Вольф, с. 100].

«Совершенный неуспех» пьесы, как выразилась племянница С.Т. Аксакова Мария Григорьевна Карташевская, невольно связывался с реакцией августейшего зрителя, т. е. Николая I. Сама не присутствовавшая на премьеры, Карташевская сообщала из Петербурга в Москву дочери Сергея Тимофеевича Вере: «Рассказывают, что государь, который любит все произведения Гоголя, приехал на первое представление и взял с собою Ольгу Николаевну, но что тотчас же ее увез и что вся публика приняла пиесу с шумным выражением негодования» [ЛН. Т. 58. С. 646]. Мнение это безоговорочно принято исследователем гоголевской драматургии [см.: Дурылин, 1953, с. 213], однако оно содержит

явное преувеличение: император не мог «тотчас» покинуть театр – опубликованная выше запись в Журнале камер-фурьерской должности показывает, что он находился в театре примерно два часа. Скорее всего, он прибыл к началу «Женитьбы» (до нее шла французская двухактная драма «Помешанный») и уехал до завершающего весь спектакль одноактного водевиля (это была «Гусарская стоянка»). Верно лишь то, что гоголевская пьеса не вполне удовлетворила царя, вызвала нарекания или, как минимум, сдержанную молчаливую реакцию, – но для недоброжелателей Гоголя этого было достаточно.

Есть свидетельство, подтверждающее такое предположение: не обратившая на себя внимания – в этом контексте – запись А.О. Смирновой. 11 марта 1845 г. в связи с хлопотами о денежном пособии Гоголю она зафиксировала свой разговор с императором: «Я ему напомнила о Гоголе, он был благосклонен. “У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие”» [Смирнова, 1989, с. 11]. К «Ревизору», как известно, Николай I относился более чем благосклонно, а «Мертвые души» к тому времени еще не читал; скорее всего, в его упреке отозвались впечатления, почерпнутые на премьере «Женитьбы».

Общая картина восприятия комедии изменилась в лучшую сторону после третьего представления¹³⁸ и особенно после московской премьеры, состоявшейся 5 февраля 1843 г. в Большом театре и прошедшей с явным успехом. Но все равно критики комедии заявляли о себе довольно громко, причем среди них был и такой почитатель гоголевского таланта, как А.И. Тургенев. На третий день после московской премьеры «Женитьбы» и «Игроков» (обе пьесы шли в составе одного спектакля) он записал в дневнике: «“Женитьба” неблагопристойна, площадные, гадкие выражения. Государь прав. Что за люди! и что за язык! В начале “Игроков” уехал» [Гиллельсон, с. 141]. Эта запись, между прочим, показывает, что версия об осуждении «Женитьбы» Николаем I получила широкое распространение.

Версию эту Тургенев повторил и в написанном на следующий день, 9 февраля, письме брату Николаю Ивановичу: «...“Женитьба” вызвала много нареканий в петербургских газетах, говорят, что сам император не пожелал смотреть ее вторично вместе с семейством из-за дурного тона и царящих там непристойностей. <...> Я тоже слушал с отвращением низкие речи и пошлые, чересчур вульгарные выражения, коими она изобилует. Пьеса застав-

ляет чернь смеяться, но не только не возвышает, а пожалуй что и заставляет пасть еще ниже». Заодно Тургенев уточнил свое отношение к другой гоголевской комедии, к «Игрокам», которую он слышал еще раньше «в чтении» у Свербеевых: «...она изображает провинциальные и столичные нравы с самой дурной стороны; это Гоголь “Мертвых душ” – весь серый и грязный» [Мильчина, Осповат, с. 62]. Отчетливо проступают те мотивы, по которым Тургенев противопоставляет «Женитьбу» другим, высоко ценимым им гоголевским произведениям: «Ревизору», «Мертвым душам», «Игрокам» (а также «Шинели», с которой он познакомился в феврале 1843 г.): во всех этих вещах – значительность проблематики, обличение российской отсталости, произвола властей, сочувствие бесправным; в «Женитьбе» – лишь мелочность, пустое комикование, неприличие выражений.

Нередко вместе с осуждением гоголевской пьесы критики высказывали похвалу публике, которая не дала себя обмануть, отличила истинное от неистинного. Тон снова задал Ф. Булгарин в анонимной рецензии, появившейся на третий день после премьеры. «Заметьте, публика была справедлива!.. По окончании этой комедии несколько человек захотели было захлопать, но вдруг во всех ложах и креслах раздался условный знак, принуждающий к молчанию... и комедия сошла тихомолком со сцены! Le public an a fait justice! Даже не вызвали ни одного из актеров, а для Александринского Театра это очень много значит!» [СП. 1842. 12 декабря. № 279; курсив в оригинале]. Тему продолжил Р. З., то есть Рафаил Зотов, отметивший, что, как ни разнообразна была публика на премьеры, она «одним неприготовленным, никем не ожидаемым решением покрыла пиесу *единодушным, единогласным шиканьем*». Фраза о «неприготовленности», очевидно, должна была скорректировать рецензию Булгарина и предотвратить подозрение, что демонстрация против гоголевской комедии была инспирирована свыше (ведь на премьеры присутствовал сам император!).

Отзыв Зотова содержал в себе еще один важный момент: критик (в отличие от Булгарина) отдавал должное «Ревизору» как «настоящей русской комедии», отмечал ее многолетний сценический успех – и тем выразительнее звучала похвала теперешнему решению публики: «Всякий русский, с полною, справедливою гордостью скажет теперь, что *русская публика* стоит на гораздо высшей степени образованности, нежели других европейских наций... Это приятная, святая истина, доказанная удивительным единодушием в приговоре над новою комедиею г. Гоголя» [СП. 1842. 16 декабря.

№ 282; курсив в оригинале]. Значит, и противопоставление «Женитьбы» «Ревизору» тоже стало почти общим местом.

Для Гоголя главным источником сведений о судьбе его произведений служил С.Т. Аксаков, который уже на следующий день после московской премьеры принялся за подробный отчет. Написал о тревожном известии, будто Николай I «недоволен был “Женитьбой”», но прибавил, что, к счастью, слухи оказались неверными или преувеличенными (конкретно имелось в виду, очевидно, сообщение Марии Карташевской, будто императорская фамилия ушла с премьеры до ее окончания). Затем перешел к реакции москвичей, отметив перемену в настроении зрителей, обозначившуюся уже на следующий день: «Странное дело: “Женитьбу” слушали с большим участием; удерживаемый смех, одобрительный гул, как в улье пчел, ходил по театру, а теперь эту пьесу почти все осуждают. “Игроков” слушали гораздо холоднее, а пьесу все почти хвалят; все это я говорю о публике рядовой». Впрочем, приводимые Аксаковым далее негативные отзывы о «Женитьбе» принадлежат вовсе не рядовым зрителям: Н.Ф. Павлову, который говорил, что «Женитьба» – «шалость большого таланта», Загоскину, который «неистовствует против “Женитьбы”», а заодно «взбесился за эпиграф к “Ревизору”», «с пеной у рта кричит: “да где же у меня рожа крива?”» [Воспоминания, с. 178, 181; курсив в оригинале]. Имя А.И. Тургенева здесь не упоминается, но его мнение относительно «Женитьбы» было, конечно, известно Сергею Тимофеевичу.

В ряду подобных суждений следует привести и отклик Н.Л. Боратынской, жены поэта, писавшей 13 апреля С.Л. и Н.В. Путятям: «“Женитьба”, которую здесь давали, была очень плохо принята, а грубость ее оскорбляет самых неприхотливых людей» [Материалы, т. 1, с. 156; пер. с фр.]. Категоричные слова Боратынской («очень плохо принята!») подтверждают аксаковское наблюдение о сдвиге общественного мнения в сторону «осуждения».

Как же отреагировал на все это Гоголь? В ответном письме Аксакову (от 18 марта н. ст.) он говорит: «Толки о “Женитьбе” и “Игроках” совершенно верны, и публика показала здесь чутье» [XII, 151]. Можно ли было представить такую реплику в устах автора «Ревизора» шестью-семью годами раньше? Тогда, мы помним, он говорил тому же С.Т. Аксакову о «многолюдной, неблаговолящей толпе», а в письме другому москвичу, М.П. Погдину, признавался: «Прискорбна мне эта невежественная

раздражительность, признак глубокого, упорного невежества...» и т. д. [XII, 43, 45]. Ничуть не обиделся Гоголь и на Павлова и на Загоскина с его «кривой рожой» – напротив: «Я бы попросил вас передать мой искренний поклон Заг<оскину> и П<авлову>, но чувствую, что они не поверят: подумают, что я поднялся на шутики, или пожалуй примут за насмешку, вроде *кривой рожки*, и потому пусть этот поклон останется между нами» [Там же. С. 152; курсив в оригинале].

И не только в отношении «Женитьбы» или «Игроков» обнаруживает Гоголь подобную терпимость к критике – она становится его позицией, стилем поведения.

От письма к письму к разным лицам постоянно звучит одно его требование – нелицеприятной критики. А.С. Данилевскому: «Еще прежде позволительно было щадить меня, но теперь это грешно: мне нужно скорей указать мои слабые стороны; это<го> я требую больше всего от друзей моих» [XII, 110]. А.В. Никитенко, подписавшему цензурное разрешение на печатание «Мертвых душ»: «...скажите мне все относительно недостатков их. Клянусь, для меня это важно, очень важно, и вам будет грех, если вы что-нибудь умолчите передо мною» [XII, 112]. Гоголь корит Жуковского за то, что тот не сообщил свои впечатления о поэме, – а ведь знает, что «я горю и страдаю жаждой знать свои недостатки»: «Или вы разлюбили меня?» [XII, 113]. А потом, предвкушая встречу с Жуковским в Германии, потирает руки от удовольствия: «...дело кажется не обойдется без ругани. Это я люблю...» [XII, 180].

Марии Балабиной в Петербург Гоголь шлет поручение: «Записывайте все, что когда-либо вам случится услышать обо мне, все мнения и толки обо мне и об моих сочинениях, и особенно когда бранят и осуждают меня» [XII, 114]. Вообще друзья Гоголя становятся уполномоченными по сбору разного рода информации, преимущественно негативной.

Но вот что особенно интересно: Гоголь требует не только откровенной и резкой критики, но критики *публичной*, что, как известно, не одно и то же. Слово, сказанное доверительно и с глаза на глаз, воспринимается не так, как осуждение перед лицом многих. Из этого отличия Гоголь делает выводы, но свои.

П.А. Плетнева как будущего рецензента «Мертвых душ» в «Современнике» писатель просит: «Ради нашей дружбы, будьте взыскательны, как только можно, и постарайтесь отыскать во мне побольше недостатков...» [XII, 115]. И другого рецензента,

С.П. Шевырева, написавшего о «Мертвых душах» в «Москвитянин», Гоголь благодарит за критические замечания, ибо, «не изведав себя со всех сторон, во всех своих недостатках, нельзя избавиться от своих недостатков. Мне даже критики Булгарина приносят пользу, потому что я, как немец, снимаю плеву, со всякой дряни» [XII, 117]. Особенно ему понравился вывод Шевырева «о неполноте комического взгляда, берущего только в пол-обхвата предмет», – а ведь это, собственно, напоминало тот дежурный упрек, который сопровождал Гоголя с первых его шагов: мол, смех односторонен, не дает полной картины жизни, искажает ее, обедняет и т. д. Упрек, заставлявший его прежде вступаться за достоинства комического писателя, напоминать, что «равно чудны стекла, озирающие солнца и передающие движенья незамеченных насекомых...» [«Мертвые души», 1-й том].

Гоголь говорит, что терпимость к критике ему была присуща всегда, – это не совсем верно. «Пользу» от «критик Булгарина» он в конечном счете извлекал, но общая его реакция, скажем, на упреки того же Булгарина по поводу «Ревизора» (вместе с другими выступлениями) была далека от спокойствия. Вспомним: «Все против меня... Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем...» и т. д. [XI, 38]. Погодин недаром укорял Гоголя в том, что, сердясь «на толки», он сам делается «комическим лицом».

Теперь не так. Гоголь сам просит, почти молит: критикуйте, браните, ругайте. И чем больше, тем лучше! Правда, и раньше в связи с замыслом «Мертвых душ» он говорил: «Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками» и т. д. [XI, 75]. Но эта «вражда» – как неизбежное зло. Теперь – как зло *желаемое* и, следовательно, как добро.

Новое отношение к критике – элемент общего мироощущения Гоголя, создающего свое эпохальное творение. «Мертвые души» скрывают в себе тайну; они не могут раскрыться сразу: «Нет человека, который бы понял с первого раза “Мертвые души”» [XII, 93]. Больше того, они вообще не могут быть до конца поняты, пока не будут завершены, не предстанут всему миру «разом и вдруг». А до тех пор недоуменные вопросы, неудовольствие, фиксирование внимания на противоречиях, раздражение, злость не только неизбежны, но и предопределены общей стратегией замысла.

Так, например, бросается в глаза несоответствие общей лирической стихии, восторженного тона, который порою овладевает автором, и приземленного, низкого, «пошлого» материала. Затем:

с одной стороны, намеки на великое предназначение России, на скрытые народные силы, обещание «богатрства»; с другой – нарочитое умолчание, неконкретность ответов, уклонение от объяснений, демонстративное незнание. Читательские претензии на этот счет сообщи́л автору Константин Аксаков: «*Посмотрите*, – говорил мне один, – *какая тяжелая, страшная насмешка в окончании этой книги*. – Какая? – спросил я выпучив глаза. – *В словах, которыми оканчивается книга*. – Как в этих словах? – *Да разве вы не заметили? Русь, куда несешься ты, сама не знаешь, не даешь ответа*. – И это говорят серьезно, с искреннею, глубокою грустью. Мне удалось, однако, поколебать это печальное мнение» [Воспоминания, с. 175; курсив в оригинале]. С точки зрения Гоголя, однако, окончательно «поколебать» это мнение было невозможно, да и не нужно: все станет на свои места с течением времени.

Гоголь – Шевыреву, 28 февраля н. ст. 1843 г.: «...нельзя упреждать время, нужно, чтоб все излилось прежде само собою, и ненависть против меня (слишком тяжелая для того, кто бы хотел заплатить за нее, может быть, всюю силою любви), ненависть против меня должна существовать и быть в продолжение некоторого времени, может быть, даже долгого» [XII, 144].

Вот как! Не просто недоумение, вопросы, упреки, но – *ненависть*, причем на долгое время и не случайно, но в качестве обязательного условия («должна существовать»).

Все это, повторяем, входит в стратегию гоголевского писательского и житейского поведения. «Чему посмеешься, тому послужишь» – эту поговорку И.С. Тургенев применял к Дон Кихоту, интерпретируя «смех» в широком смысле этого слова. Люди отвергают тех, кто отмечен высокими моральными качествами, своих благодетелей, прорицателей, просветителей, духовных вождей. Их высмеивают, третируют, побивают камнями. Это не только неизбежная плата за смелость, за дерзкую попытку говорить правду, но и залог искупления. Благодарность приходит вместе с пробуждением чувства вины перед тем, кого отвергали; вместе с раскаянием, нередко запоздалым.

В глубине гоголевского мироощущения – архетип провидца, визионера, пророка. Еще в 1836 г., объясняя свой отъезд за границу, Гоголь перефразировал известное евангельское выражение: «Пророку нет славы в отчизне» [XI, 41; ср.: «...никакой пророк не принимается в своем отечестве». Лк. 4: 24]. С тех пор он жадно ловил примеры, подтверждающие эту истину; один из них – судьба Баркляя-де-Толли, о которой Гоголю напомнило пушкинское

стихотворение «Полководец», опубликованное в «Современнике» (1836. Т. 3):

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиление!

В соответствии с такой моделью Гоголь не только не избегает «ругани» и «ненависти», но старается их вызвать, спровоцировать. Не страшит и риск показаться при этом смешным и нелепым: архетип пророка естественно сближается с архетипом юродивого – юродивого Христа ради.

В этом свете оформляется гоголевская идея паломничества в Иерусалим. С течением времени, буквально до самого отъезда, ее мотивы будут меняться – нас пока интересует их начальная стадия.

Впервые, мы помним, о намерении отправиться к Гробу Господню Гоголь объявил в начале 1842 г. в Москве Иннокентию, испросив у него благословение. Тайны из своих планов Гоголь делать не стал: в те же дни он расскажет обо всем Сергею Тимофеевичу и Ольге Семеновне, несколько позже сообщит в письмах Данилевскому и Н.Н. Шереметевой, которая уже получила известие от Аксаковых. Но сроки начала путешествия называл различные – от двух и более лет. По-разному отвечал и на вопрос, как он должен подготовиться к паломничеству. Ольге Семеновне, попросившей его составить «описание Палестины», Гоголь сказал: «Да, я опишу вам ее, но для того мне надо очиститься и быть достойну» [Воспоминания, с. 147]. Шереметевой же, которая, по видимому, со слов Аксаковых, повторила эту версию, Гоголь стал решительно возражать: «А что я не отправляюсь теперь в путь, то это не потому, чтобы считал себя до того недостойным. Такая мысль была бы вполне безумна, ибо человеку не только невозможно быть достойным вполне, но даже невозможно знать меру и степень своего достоинства. Но я потому не отправляюсь теперь в путь, что не приспело еще для этого время, мною же самим в глубине души моей определенное» [XII, 133]. «Не приспело время!» – это становится решающим аргументом назначения срока путешествия, который если и обуславливается еще чем-то другим,

то лишь фактором завершения «Мертвых душ». И в письме Иннокентию (22 мая 1842 г., Москва) вскоре после полученного от него благословения на поездку: «В Риме я пробуду никак не менее двух лет, то есть пока не кончу труд, а там в желанную дорогу!» [XII, 63]. Так устанавливается прямая связь между гоголевской поэмой и паломничеством к Гробу Господню.

Внешне эта связь интерпретируется Гоголем преимущественно в том смысле, что завершение «Мертвых душ» – прямое *условие* паломничества, подготовка к нему, выполнение наложенного на себя обета: «Окончание труда моего пред путешествием моим так необходимо мне, как необходима душевная исповедь пред святым причащением» [XII, 133]. Но существовал и иной, более глубокий уровень этой связи, заключающийся в особом рода *соотношении*, с одной стороны, «Мертвых душ», с другой – путешествия в Святую землю. Между поэмой как явлением художественным и посещением Иерусалима как фактом поведения возникало особое рода внутреннее *подобие*, которое должно было быть уловлено читателями, произвести на них впечатление, – все это входило в гоголевскую стратегию. Сам же автор пока не столько формулировал и определял это подобие, сколько намекал на него, выставлял его признаки, – и, быть может, полнее всего он это сделал в письме С.Т. Аксакову, отправленном вскоре после отъезда из Москвы, 6 (18) августа 1842 г. из Гаштейна.

Дело в том, что Сергей Тимофеевич заподозрил в гоголевской идее путешествия признаки чрезмерной экзальтации, «нервного состояния» [Воспоминания, с. 146], – тем самым была поставлена под сомнение сама моральная мотивация поступка. Чутко уловив эти подозрения, Гоголь заострил их, перевел их в своего рода диагноз («...не ханжа ли он, не безумный ли он?»), но для того чтобы тотчас же его опровергнуть, т. е. констатировать внешне непримиримое, а на самом деле *кажущееся* противоречие:

Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении? Моему характеру, наружности, образу мыслей, складу ума и речей, и жизни, одним словом всему тому, что составляет мою природу, кажется неприличным такое дело. Человеку, не носящему ни клобука, ни митры, смешившему¹³⁹ и смешашему людей, считающему и доньне важным делом выставлять неважные дела и пустоту жизни, такому человеку, не правда ли, странно предпринять такое путешествие? Но разве не бывает в природе странностей? Разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном Мертвым душам, лирическую

восторженность? Не смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали значение? Так может быть, вы примиритесь потом с сим лирическим движением самого автора <...>. Как можно знать, что нет, может быть, тайной связи между сим моим сочинением, которое с такими погремушками вышло на свет из темной низенькой калитки, а не из победоносных триумфальных ворот в сопровождении трубного грома и торжественных звуков, и сим отдаленным путешествием? И почему знать, что нет глубокой и чудной связи между всем этим и всей моей жизнью, и будущим, которое незримо грядет к нам и которого никто не слышит? [XII, 96].

Итак, мысль о паломничестве так же должна была поразить (и поразила, по мнению Гоголя) читателей, как лирическая восторженность в первом томе поэмы. Ибо эта восторженность, казалось бы, ничем не подддержана, не обеспечена материалом, возникает из ничего. И автор тоже, казалось бы, только привержен комической стихии, не ставит перед собой никаких высоких целей; он подобен шутовской повозке – снова недвусмысленное сближение с шутом или юродивым Христа ради, – откуда же взяться высоким намерениям, напоминающим обет средневековых рыцарей, которые направлялись к Гробу Господню?

Следовательно, элемент неожиданности так же неотъемлем от гоголевского поведения, как и от течения событий в его поэме. И еще элемент чуда... «Помните, что в то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается все, и никто не верит чудесам, – в то время именно может совершиться чудо, чудеснее всех чудес» [Там же]. Это о чем идет речь? О «чуде», которое явят миру «Мертвые души»? Или о чудесном поступке их автора? О том и о другом одновременно.

Еще одна многозначительная деталь в объяснениях Гоголя по поводу его поездки. «...Если б даже и не могло заключаться в ней никакой обширной цели, никакого *подвига* во имя любви к братьям...» и т. д. Обратим внимание на уступительный оборот в этой фразе: Гоголь снисходительно допускает, что «подвиг» все-таки налицо, приоткрывая еще один архетип своего сознания, в котором дальше путешествие выступает в ореоле большого риска и самопожертвования. «...Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что, именно для службы моей отчизне, я должен буду воспитаться где-то вдали от нее» [VIII, 450]. Это сказано еще в связи с внезапной поездкой Гоголя в Германию в 1829 г. И теперь вновь оживилось

ощущение трудного испытания, сопряженного с дальней дорогой, тем более что она ведет к Гробу Господню.

Во времена Гоголя это путешествие вовсе не сулило тех невзгод и неожиданностей, что в эпоху крестовых походов. Тем не менее, учитывая физическое и душевное состояние писателя, Аксаковы не скрывали беспокойства, что, кажется, было ему по сердцу, так как укрепляло ощущение подвига. Это был опять-таки двойной подвиг, литературно-творческий и поведенческий, завершения «Мертвых душ» и осуществления чисто житейского, жизненного события.

Но действительно ли – *завершения* поэмы? Да, Гоголь определенно говорил, что путешествие будет предпринято только «по *совершенном* окончании труда», т. е. после написания не только второго, но и третьего тома. Но вместе с тем он понимал, как много времени это потребует, если только на первый том ушло пять лет; отсюда колебания в ответе со сроками – то два, то десять, то пять лет. Десять лет, исходя из гоголевского опыта, было бы наиболее реалистичным сроком (ср. и в упомянутом письме Данилевскому фразу о «самом продолжительном удалении из отечества», т. е. более долгом, чем предыдущее, продолжавшееся пять лет), однако писатель, по-видимому, надеялся, что творческое расположение к труду, прилив вдохновения позволят сократить время.

Но не зная окончательных сроков, Гоголь твердо уверен, каков заключительный аккорд путешествия: «...возврат мой возможен только через Иерусалим». Как Божии помазанники, апостолы потекли из Иерусалима по всему свету нести благовест, так и Гоголь должен явиться в Россию прямо из святого града. И это снова будет двойное освящение – главной гоголевской книги и его самого, его облика, душевных качеств, человеческой сущности, наконец, совершенного им поступка, одновременно писательского и житейского.

Гоголевское письмо С.Т. Аксакову с изложением мотивов путешествия имело последствия. Ольга Семеновна в своем ответе (он не сохранился, но содержание его косвенно отражено в следующем письме Гоголя), высказав восхищение намерениями писателя и его душевными качествами, сообщила о том, что разрешила снимать копию с письма, и передавала реакцию других лиц, по-видимому, столь же позитивную. Все это не понравилось Гоголю. Вообще-то он и сам иногда побуждал своих корреспондентов читать и перечитывать свои письма и снимать с них копии (так, в письме к матери от второй половины марта – апреля 1843 г. [см.:

XII, 177)), но это в том случае, когда дело ограничивалось наставлениями и советами. В отношении же упомянутого письма Гоголь действительно просил Аксаковых сохранить тайну, так как делал такие признания, приоткрывал такую перспективу своего жизненного пути, которая должна была поразить неожиданностью и в то же время непреложностью.

Но что же делать, если птица уже вылетела? «Позабудьте вовсе письмо мое оное! Не читайте его, спрячьте на целые четыре года. Никто из вас пусть прежде не говорит о нем и не упоминает о нем во все это время. Я так хочу и больше ничего!» Аксаковы словно и сами должны вернуться в прежнее состояние – полного неведения, и это на «четыре года» – новый срок, который устанавливает Гоголь для исполнения своего плана.

Гоголь строго дозирует допускаемые в отношении его похвалы, отфильтровывает их: «...не хвалите меня перед другими... Из письма вашего со страхом я увидел, что вы меня считаете чем-то в роде святости и совершенства. Ради Бога не думайте так, это грех... Вот все, что вы можете говорить другим: у него добрая душа и есть истинное желание быть лучше, чем он есть» [XII, 124]. Конечно, Гоголь желал бы услышать о себе похвалы более высокие, чем «добрая душа», но они должны возникнуть исподволь, естественно, когда обществу вдруг и сполна откроется, что же такое «Мертвые души» и их автор.

И наконец, еще один поворот гоголевского объяснения. Настаивая на выполнении своей просьбы, Гоголь добавляет: «Просьба отсутствующего должна быть священна». И почти одновременно в другом письме к неустановленному лицу: «Мои слова должны теперь иметь силу, ибо я <от> вас отдален. Они подобны голосу из-за гроба, завещанью из гроба и должны быть священны» [XII, 128]. Гоголь начинает проигрывать, примеривать к себе ту архетипическую ситуацию, когда путешествие в дальние страны, в чужое пространство приравнивается к смерти, а возвращение – к воскрешению. Гоголь старается извлечь из этой ситуации все преимущества – психологические, мотивационные, риторические.

Смерть подводит черту деятельности человека, выставляя ее целиком, в полном объеме и значении, отделяя главное от второстепенного. Смерть обуславливает чувство непоправимой вины перед ушедшим, ощущение несправедливости былых приговоров и оценок. Поэтому Гоголь апеллирует к фактору удаления (=смерти) как последнему, решающему аргументу, неопровержи-

мому оправданию. Сложность, однако, в том, что Гоголю хотелось бы и самому «подсмотреть» в щелочку, как все это произойдет после его «смерти»... Через несколько лет он вновь обратится к этой ситуации и проиграет ее в «Выбранных местах из переписки с друзьями»...

В таком умонастроении писатель знакомится с присланной ему в Рим брошюрой К.С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души» (подпись под текстом: Москва, июня 16, 1842).

Суть аксаковского мнения в том, что «Мертвые души» являют собою воскрешение древнего «эпического созерцания», а это значит – широты, всесторонности, многогранности изображения. Тайна искусства есть в то же время тайна жизни; Гоголь ничего не искажает, не привносит своих субъективных мерок, он всецело верен предметам и явлениям, от великого до малого: «...и муха, надоедающая Чичикову, и собаки, и дождь, и лошади от Заседателя до Чубарого, и даже брличка – все это, со всею своею тайною жизни, им постигнуто и перенесено в мир искусства». А значит, можно ожидать от поэмы радикального открытия, причем не только художественного, но исторического, как сейчас говорят, судьбоносного: «...уж не тайна ли русской жизни лежит, заключенная в ней, не выговорится ли она здесь художественно?» [Аксаков К., с. 78, 79].

Похвала Константина Аксакова прозвучала в ряду других похвальных отзывов (Шевырева, Плетнева), которые Гоголь в общем принял, несмотря на декларируемое им желание услышать главным образом упрёки – как можно больше упрёков. Больше того – это была, пожалуй, самая сильная, самая радикальная похвала. И высказана она была в контексте полемики со столь ненавистным славянофилам Белинским, – а это все факторы, которые, по мнению и Константина и, скажем, Сергея Тимофеевича, должны были расположить Гоголя к упомянутой брошюре и последовавшему затем «Объяснению» того же автора [М. 1842. № 9]. Но ожидания эти не оправдались. В чем же причина?

Первым о статье Константина сообщил Гоголю Сергей Тимофеевич (в письме от 5 июля), добавив, что ее публикацию в «Москвитянине» приостановил Погодин (позже выяснилось, не Погодин, а Шевырев) и поэтому она выйдет отдельно. Погодин же удостоился таких слов: «...будучи сам слеп, боится, что осмеют человека зрячего...» [Воспоминания, с. 159]. Однако Гоголь, еще не прочитавший брошюру, заочно взял сторону Погодина.

Отпустив Константину Аксакову комплимент (мол, он «уверен, что критика его точно определит значение поэмы»), Гоголь тем не менее заметил, «что Погодин был отчасти прав, не поместив ее», и посоветовал напечатать ее позже, а еще лучше, «переписавши ее на тоненькой бумашке для удобного вложения в письмо» [XII, 93], переслать ее прямо в Рим, т. е., другими словами, оставить не напечатанной. Гоголь явно опасался невыгодного впечатления от брошюры, причем не только, как он уверял, для ее автора, но и для себя. Правда, Сергей Тимофеевич в том же письме (от 5 июля) давал, что ли, гарантии Гоголю: «Вы знаете, милый друг, что я не допустил бы Константина печатать восторженный вздор; напротив, эта статья указывает истинную точку, с которой надобно смотреть на ваше творение...» [Воспоминания, с. 159]. Однако Гоголь по собственному опыту хорошо знал, что Константин способен впадать в излишества; кроме того, он доверял эстетическому вкусу и Погодина (имевшие место в это время житейские размолвки с ним – другое дело) и тем более Шевырева.

Затем Гоголь пишет уже непосредственно Константину Аксакову (около 29 ноября н. ст.), отвечая на его письмо. О самой брошюре не упоминает ни словом («потому что не получил ее»), зато сполна развивает мотив излишеств Константина – и так резко и откровенно, как это нечасто случалось. Гоголь затрагивает саму суть его славянофильских убеждений, выразившихся в символическом, «знаковом» понятии «Москва»:

Я не прошу вам того, что вы охладили во мне любовь к Москве. До нынешнего моего приезда в Москву я более любил ее, но вы умели сделать смешным самый святой предмет. Толкуя беспрестанно одно и то же, пристегивая сбоку припеку при всяком случае Москву, вы не чувствовали, как охлаждали самое святое чувство вместо того, чтобы живить его. Мне было горько, когда лилось через край ваше излишество и когда смеялись этому излишеству <...>. Чувствуете ли вы страшную истину сих слов: Не приемли имени Господа Бога твоего всеу? [XII, 125].

Гоголь словно загодя хочет развеять и ту атмосферу «излишеств», которую Константин Сергеевич создал вокруг «Мертвых душ». Тут особенно выразительно упоминание о том, что в бытность Гоголя в Москве он наблюдал, как иные «смеялись этому излишеству»: автора «Мертвых душ» вовсе не привлекает перспектива стать вместе с Константином Аксаковым предметом насмешки¹⁴⁰.

Затем Гоголь прочитал брошюру, и она, к сожалению, оправдала его ожидания. Этим, очевидно, вызван перерыв в переписке, встревоживший Аксаковых. Наконец, Сергей Тимофеевич не выдержал; в письме от 6–8 февраля 1843 г. он вызывает Гоголя на откровенность: «...я боюсь, что вы недовольны или досадуете за брошюрку Константина и что чувство досады мешает вам писать». Сергей Тимофеевич готов признать, «что это ошибка, и не маловажная: с его стороны написать, а с моей – позволить печатать»; называет себя «седым дураком», который не смог разобраться в ситуации [Воспоминания, с. 182–183]. Эти признания сыграли роль бумеранга; в письме от 18 марта н. ст. Гоголь просит Сергея Тимофеевича сказать Константину, что он «и не думал сердиться на него за брошюру; напротив, в основании своем она замечательная вещь. Но разница страшная между диалектикою и письменным созданием, и горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль еще ребенок, не вызрела и не получила образа, видного всем, где бы всякое слово можно почти щупать пальцем. И вообще, чем глубже мысль, тем она может быть детственной самой мелкой мысли» [XII, 151]. И чуть позже, 24 мая н. ст., самому Константину Сергеевичу: в его брошюре и последовавшем за ним «Объяснении» – «не прогневайтесь – видно много непростительной юности» [XII, 186]. В мягкой форме Гоголь высказал критику очень обидные вещи, приоткрыв саму суть своего несогласия и раздражения.

На первый взгляд кажется, что все сводится лишь к недостаточной зрелости и непродуманности, т. е. манере изложения. Но это тот случай, когда тон делает музыку. В самом деле, авторы и других статей о «Мертвых душах», Шевырев, Плетнев или Белинский, полемизировавший с Константином Аксаковым, рассматривали гоголевскую поэму на широком фоне, проводили параллели к великим представителям мировой литературы. Но Константин Сергеевич не ограничился параллелями и сопоставлениями: «...*только* у Гомера и Шекспира можем мы встретить такую полноту созданий, как у Гоголя; *только* Гомер, Шекспир и Гоголь обладают великою, одною и тою же тайною искусства» [Аксаков К., с. 83; курсив в оригинале]. Гоголю и самому не было чуждо ощущение своей исключительности и избранности; но объявить об этом так безапелляционно, прямо, громко, неуклюже... И это в то время, когда он призывал отыскивать в нем «побольше недостатков», критиковать его беспощадно и публично, на виду у всех!

Какие бы затем оговорки и уточнения ни вносил Константин Аксаков, получалось так, что вся история мировой литературы выстраивалась им в перспективе, ведущей к гоголевской поэме как к ее высшей единственной точке, завершению. И это завершение не только художественное, но и понятийное, мыслительное, философское, коли критик говорит о скрывающейся в глубине произведения «тайне русской жизни». Эти-то слова и должны были больше всего насторожить Гоголя именно потому, что они тесно соприкасались с его собственным мироощущением. Да, он хотел высказать нечто существенно важное для судьбы русского народа, а в его лице и всего современного человечества, но это открытие должно быть результатом долгого и напряженного процесса. И именно он, автор, сделает и сформулирует это открытие. Никто не понял «Мертвые души»! – звучало в статье Константина Аксакова. Гоголь и сам говорил нечто похожее («...Нет человека, который бы понял с первого раза...»), но он не хотел, чтобы и Константин Сергеевич заявлял или делал вид, что понял. Только он, Гоголь, способен раскрыть тайну, – но не раскрывает, потому что не пришло еще время. А когда придет, то все услышат ее не от посредника, а от самого автора, «потому что многое может быть понятно одному только мне» [XII, 93].

Соображения Константина Аксакова казались Гоголю рискованными еще и потому, что высказывались в контексте формирующегося славянофильства и его противоборства с западничеством. Славянофилы в большей степени, чем западники, претендовали на обладание ответами. Вспомним слова Белинского, сказанные о «Мертвых душах» как раз в связи с полемикой с аксаковской брошюрой: мол, «пафос поэмы» «состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциональным началом, *доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения*» [Белинский, т. 6, с. 431; курсив в оригинале]. А славянофилы уже в значительной мере знали, в чем это «определение». Значит, получалось, что они знали, какое «определение» даст Гоголь; знали и то, что оно совпадет с их собственным. Но этого-то автор «Мертвых душ» и не хотел, стремясь сохранить самостоятельность и «надпартийность» своего ответа.

И поэтому он долго будет таить раздражение против выступлений Константина Аксакова и даже скажет в письме Сергею Тимофеевичу (22 декабря н. ст. 1844 г.), что тот «опозорился в глазах света на мне (написавши статью о “Мертвых душах”)...» [XII, 407].

«Разъездная жизнь»

Весною 1843 г. Гоголь покинул Рим. Уехала и Смирнова-Россет – она направлялась в Неаполь. Еще раньше уехал Галаган. Из гоголевского окружения остались только Иванов, Иордан и Чижов.

Языков отправился вместе с Гоголем, часть пути они должны были проделать вместе, затем Языков – вернуться в Россию, а Гоголь – продолжить путешествие по Западной Европе. «...У меня начинается в продолжение лета разъездная жизнь...» [XII, 184], – писал он Н.Н. Шереметевой.

Мотивы, по которым Гоголь оставлял Италию, обычные: спасался от приближающейся южной жары, с помощью дороги хотел подготовить себя к интенсивной работе над поэмой (в Риме, считал он, второй том почти не продвинулся вперед). Мечтал и о встрече с Жуковским, с которым не удалось увидеться по выезде из России; а ведь тот еще не изложил свои впечатления от прочитанного первого тома «Мертвых душ».

Гоголь и Языков выехали из Рима 2 мая¹⁴¹, в холодную, дождливую, ветреную погоду. «Два дня отдыхали во Флоренции, потом на Болонью, Модену, Верону, Боцен, Инспрук, Зальцбург – кое-как, с переночевками, отдыхами...» (Н.М. Языков – А.М. Языкову, <6>(18) мая 1843 г. [ЛН. Т. 58. С. 658–660]). Менее чем через две недели, 14 мая, были уже в хорошо знакомом и обжитом обоими Гаштейне.

По словам Языкова, Гоголь «торопится крайне», а «куда – сам не знает; просидит здесь [в Гаштейне] неделю, потом в Дюссельдорф. Мне кажется, что ему просто некуда деваться, и потому-то естественно он ко мне вяжется» [Там же. С. 660]. В действительности Гоголь знал, куда ему держать путь: еще в Риме, за день-два до отъезда, он получил ободряющее письмо от Жуковского, начинающееся не холодным обращением «Николай Васильевич!», но привычным и ласковым, как в петербургскую пору, – «любезный Гоголек». Из этого письма Гоголь вывел, как он говорит, «возможность будущего нашего прожития вместе в Дюссельдорфе»; потому-то и наметил себе этот город. Он рассчитывал пробыть здесь долго, «часть зимы» [XII, 186], проводя с Жуковским время в ежедневном труде: один над «Мертвыми душами», другой – над переводом «Одиссеи».

Оставив Языкова в Гаштейне, Гоголь около 23 мая н. ст. приехал в Мюнхен, где провел несколько дней. Здесь он встретился с

молодым историком, славянофилом А.Н. Поповым, сообщившим новейшие сведения о судьбе Михаила Бакунина (см.: с. 306), и с Ф.А. Моллером, который привез из Петербурга давно ожидаемую Гоголем посылку: три тома его Сочинений и выдержки из журналов с откликами о «Мертвых душах», в том числе и статью Белинского [Шенрок, т. 4, с. 54]. Моллер провел вместе с Гоголем три дня – обсуждали вопрос о том, как помочь Александру Иванову: академическое начальство настаивало на его приезде в Петербург для участия в росписи Исаакиевского собора, в то время как состояние здоровья (болезнь глаз) требовало продолжения лечения в Риме. Гоголь советовал держаться тактики проволочек – никуда не ехать, «чтоб дать время всему успокоиться» [ЛН. Т. 58. С. 662].

Гоголь несколько изменил свой маршрут – из Мюнхена через Штутгарт направился во Франкфурт, узнав, что здесь Жуковский. Гоголь нашел его «в здоровье самом надлежащем», посвежевшим и деятельным – поэт закончил две песни из «Одиссеи» и еще две повести в стихах и без рифм: «Маттео Фальконе» и «Капитан Бопп»; первую повесть, между прочим, Гоголь для отправки в Петербург, в «Современник», переписал собственноручно. И еще Жуковский поразил «милого Гоголька» видами на какое-то другое «большое сочинение». «Словом, Жуковский так себя ведет, как дай Бог и нам всем, которые его гораздо помоложе» [XII, 191], – сообщает Гоголь Языкову не без укора ему и самому себе.

Между тем для Гоголя продолжалась «разъездная жизнь». Побывал в Висбадене (10 июня н. ст.); ездил в Дюссельдорф (15 и 20 июня н. ст.), чтобы забрать на почте письма; но большую часть времени провел на курорте в Эмсе – «для компании Жуковскому, который здесь по причине лечения жены» [XII, 195].

Запись в курортной книге позволяет точно установить, что приехал Гоголь в Эмс к 11 июня, а уехал до 5 июля; зарегистрировался как «Particulier [частное лицо] aus Moskau» и жил на Mainzer Strasse в маленьком скромном домике под названием Grüne Laube, вмещавшем дишь небольшое количество гостей [Хюбнер, с. 12].

В Эмсе Гоголь оказался свидетелем объяснения Н.И. Греча с Жуковским. Тот прибыл в Эмс 20 июня [ЛН. Т. 58. С. 690] и затеял разговор по поводу юбилея И.А. Крылова.

Дело было давнее: торжественный обед в честь 50-летия литературной деятельности Крылова проходил 2 февраля 1838 г. в зале Благородного собрания в Петербурге. Гоголь, проживавший в это время в Риме, был подробно осведомлен обо всем проис-

ходившем из письма Н.М. Смирнова. В частности, знал он и о вспыхнувшем скандале – «Греч и Булгарин отказались быть на этом обеде» [XI, 149]. А отказались они, согласно Гречу, потому, что министр народного просвещения Уваров исключил из числа устроителей праздника нескольких лиц, в частности Греча, «и назначил на место их Жуковского, князя Одоевского и еще кого-то из своих клеветов» [Жуковский, 1999, с. 233]. Таким образом, в имевшей место несправедливости Греч прежде всего обвинял Уварова и косвенно Жуковского, оказавшегося в числе «клеветов». Очевидно, все это и составило содержание разговора Греча с Жуковским.

Заметив в своих воспоминаниях, что «это объяснение происходило в присутствии Гоголя», Греч продолжает: «...Жуковский, по случаю того же юбилея, чуть не рассорился с Уваровым. В речи своей на юбилее Жуковский упомянул с теплым участием о Пушкине, которого Уваров ненавидел за стихи его на выздоровление Шереметева («На выздоровление Лукулла»). Уваров приказал подать к себе из цензуры, в рукописи, все статьи о юбилее и исключил из них слова Жуковского о Пушкине. Жуковский жестоко вознегодовал на это и настоял на том, чтоб речь его (не помню, где именно) была напечатана вполне» [Там же. С. 234]¹⁴².

Что в этом эпизоде могло прежде всего обратить на себя внимание Гоголя? Конечно, напоминание о неприязни Уварова к Пушкину, которая невольно распространилась и на него. Гоголь считал, что он пользуется нерасположением могущественного вельможи по крайней мере с появления «Ревизора»...

В Эмс же из Бадена должна была приехать и Смирнова-Россет, чтобы увидеться с Жуковским и Гоголем, но с последним она разминулась: тот как раз в это время отправился в Баден для встречи с Александрой Осиповной, и таким образом вместо самого Николая Васильевича она вскоре получила его «комическое» письмо.

Каша без масла, – говорилось в том письме, датируемом 4 июля н. ст., – гораздо вкуснее, нежели Баден без вас. Кашу без масла все-таки можно как-нибудь есть, хоть на голодные зубы, но Баден без вас просто нейдет в горло. <...> Чтобы отвести душу, я захожу иногда к Надежде Николаевне. Здесь только в разговоре с нею о старине находим мы некоторое наслаждение. Я нахожу, что она нимало не изменилась в чувствах своих ко мне. Встреча наша была радостна необыкновенно. Крик был с обеих сторон; поцеловались мы весьма крепко [XII, 203–204].

Гоголь обыгрывает фразу из «Мертвых душ» о встрече Чичикова и Манилова: «Поцелуи с обеих сторон были так сильны, что у обоих весь день почти болели зубы»... Но кто же эта Надежда Николаевна, утешавшая Гоголя воспоминаниями «о старине», т. е. о жизни в Риме в первые месяцы того же 1843 г.? Трехлетняя дочь Смирновой Наденька, которую вместе с прислугой она оставила в Бадене дожидаться своего возвращения.

В таком же «комическом» ключе Гоголь упоминает и о другом родственнике Александры Осиповны – Аркадии Россете, который в то время лечился в Гrefенберге, в Силезии, у знаменитого доктора, одного из основателей гидротерапии Винсента Призница (Призница). Речь собственно идет о процедуре лечения, которая под пером Гоголя приобретает такой вид:

Призниц сажает его на целые четверть часа бригадиршею в воду, холодную, какую только когда-либо выносил человек, до того, что он уже не чувствует, есть ли у него бригадира или нет. После чего приказывает взять лентух, то есть привязать мокрую тряпку к животу. И Аркадий Осипович с лентухом и отмороженною бригадиршею бежит во весь дух в горы. Там набегавшись вдоволь, возвращается с нестерпимым аппетитом и поедает множество булок [XII, 204].

Письмо дает представление о стиле гоголевских бесед со Смирновой в то время – как видим, писатель не всегда придерживался медитативного и наставительного тона...

Гоголь хотел остановиться в Бадене «только на одну неделю» [XII, 207], а прожил больше, почти весь июль и часть августа, благо вскоре Александра Осиповна вернулась из Эмса.

В Бадене в это время собралось много именитых русских; Смирнова называет великого князя Михаила Павловича и его жену великую княгиню Елену Павловну, товарища министра юстиции графа Василия Александровича Шереметева, графа Александра Петровича Толстого (вскоре он станет одним из ближайших друзей Гоголя) с женою Анною Егоровной Толстой (урожденной княжной Грузинской), дочь вице-президента Валахии княгиню Клеопатру Константиновну Трубецкую и других [Смирнова, 1989, с. 53]¹⁴³.

Гоголь, правда, по своему обыкновению, старался с приезжими русскими не сближаться (о несостоявшемся представлении его великой княгине Елене Павловне уже упоминалось) и «почти всякий день» проводил у Смирновой. Но, добавляет мемуаристка,

«не бывши почти ни с кем знаком, Гоголь знал почти все отношения между людьми и угадывал многое очень верно» [Там же. С. 38]. И в другом месте: «Гоголь меня все расспрашивал о русских и знакомых мне французах. Иногда ходил в Hotel d'Angleterre обедать и потом таскался на террасе и на рулетке <...>. С террасы он принес целый короб новостей: кто прячется за кустами, кто амуруется без зазрения совести, кто проиграл, кто выиграл и гаже всех ведут себя наши соотечественники и соотечественницы...» [Там же. С. 54–55].

Не обошлось и без прозвищ. Так, подметив у одной из знакомых Смирновой, княгини Леони де Бетюн, волчий аппетит, Гоголь сказал, что «это просто Бетюнице».

В бытность свою в Баден-Бадене Гоголь совершил поездку в Карлсруэ, чтобы повидаться с Мицкевичем; это была их третья встреча – вслед за парижской (конец 1836 – начало 1837 г.) и женевской (осень 1837 г.). После женевской встречи имела место предпринятая польскими ксендзами неудачная попытка обращения Гоголя в католичество, о чем Мицкевич, конечно, знал. Но показательно, что все произошедшее не омрачило его отношения с Гоголем.

Встреча обоих писателей интересна и в свете того литературного начинания, которое в это время предпринял Мицкевич. Занимая с 1840 г. кафедру славянских литератур в парижском Коллеж де Франс, он год за годом читал курсы лекций по этой специальности (предпоследний, третий курс состоялся в конце 1842 – начале 1843 г.). Лекции отличались глубоко уважительным отношением к русским писателям, прежде всего к Пушкину, пронизаны были мыслью о общей судьбе славянских народов. Особенно выделялась в этом отношении лекция, прочитанная 27 июня 1843 г., незадолго до встречи с Гоголем: Мицкевич говорил, что нарождается «новый дух» и «в этом духе чех, поляк и русский должны увидеть, что они братья» [Валицкий, с. 133].

Все это производило сильное впечатление на слушателей и читателей (записи лекции имели широкое хождение), как французских, так и иностранных. Сент-Бёв писал 18 января 1841 г. Р.С. Стурдзе-Эдлинг, что Мицкевич «щегольнул таким беспристрастием, что и русские могут слушать его...» [ЛН. Т. 33–34. С. 431; публикация А. Марковича]. И русские слушали и восхищались; Ф.И. Тютчев обратился к Мицкевичу со стихотворным посланием, в котором называл его «мужем примиряющей любви» [ЛН. Т. 97. Кн. 1. С. 173; публикация К. Костенич]. Восхищенные

отзывы исходили и от людей, с которыми встречался Гоголь, от А.И. Тургенева или Ф.В. Чижова. В частности, Тургенев, чуткий к проявлениям разного рода ксенофобии и национализма, писал 9(21) апреля 1842 г. К.С. Сербиновичу, что «Мицкевич переродился или возродился: беспристрастие к Польше и к России неизмеримое» [РС. 1882. Т. 34. № 4. С. 193].

Очевидно, и беседы Мицкевича с Гоголем в Карлсруэ протекали в духе «примиряющей любви» его парижских лекций. «Вернувшись, он [Гоголь] мне сказал, что Мицкевич постарел, вспоминает свое пребывание в Пет<ербурге> с чувством благодарности к Пушкину, Вяземскому и всей литературной братии» [Смирнова, 1989, с. 54].

Пребывание Гоголя в Баден-Бадене запомнилось Смирновой и тем, что чуть ли не каждый день после обеда он читал ей «Илиаду». Гоголю это было необходимо для художнического настроения в предчувствии интенсивной работы, а вот Александре Осиповне такие чтения изрядно надоели. Гоголь «сердился, оскорблялся и рассказывал Жуковскому, что я на “Илиаду” топаю ногами» [Там же. С. 39].

Отъезд писателя из Баден-Бадена был отмечен эпизодом вполне в гоголевском духе. Один из приезжих русских, князь Петр Владимирович Долгоруков (1816–1868), публицист и историк, чиновник Министерства народного просвещения, попросил Смирнову познакомить его со знаменитым автором «Мертвых душ». «Гоголь уже простился тогда с нею, – рассказывает со слов Александры Осиповны биограф писателя, – и должен был через минуту проехать мимо в дилижансе. Но сколько она ни звала его, чтобы обернулся к ней, Гоголь, заметивши, видно, с нею князя, сделал вид, что ничего не слышит и таким образом уехал...» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 4–5]. Но, возможно, такое манкирование объяснялось не только свойственным Гоголю стремлением сторониться малознакомых людей, но и репутацией Долгорукова. В то время он подозревался в сочинении анонимного пасквиля против Пушкина, причем активной сторонницей этой версии была Смирнова-Россет, а как относился Гоголь к виновникам гибели поэта, – мы знаем¹⁴⁴.

Упомянутый эпизод мог иметь место до 29 (17) августа – в этот день Тургенев сообщил Вяземскому, что накануне его приезда в Баден-Баден Гоголь отправился вместе с Жуковским в Дюссельдорф [ОА. Т. 4. С. 258]. Здесь он проживет более двух месяцев. Сбылась его мечта – остановиться у Жуковского на

более или менее длительное время, чтобы спокойно заниматься литературным трудом.

Дом, где обитал Жуковский с женою и ее родными, располагал к труду и размышлению. «Прекрасный вид расстилался с верхнего балкона на Рейн. К обеду и вечером сходились они все вместе; днем Жуковский проводил в своем кабинете, общем с женою, для поэтических работ своих. Маленький садик ... за ним огород, снабжавший стол друзей необходимыми овощами; с другой стороны простирался парк. Двенадцать комнат, из которых три довольно большие, составляли общую их квартиру. Домик был убран изящно: картины, скульптурные произведения украшали его комнаты...» [Загарин, с. 572–573].

Жуковский продолжал успешно работать над переводом «Одиссеи», а вот гоголевская поэма продвигалась медленно; если она и писалась, то урывками, от случая к случаю. Длилась непредвиденная пауза, «антракт», который писатель старался заполнить чтением. «Это всегда случается со мною во время антрактов (когда я пишу, тогда уже ничего не читаю и не могу читать), и потому этим временем я стараюсь воспользоваться и захватить побольше всего, что нужно» [XII, 226]. А «нужны» были комплект журнала «Христианское чтение» («...там не только прекрасные переводы всех почти отцов церкви, не только много драгоценных отрывков из рассеянных летописей первоначальных христиан, но есть много оригинальных статей...» [XII, 220]), сборники проповедей религиозного деятеля XVII в. Лазаря Барановича, сочинения церковного и политического деятеля Петровской эпохи Стефана Яворского, затем «Розыск о раскольнической брынской вере, учении их и о делах их» церковного писателя XVII–XVIII вв. Димитрия Ростовского, а также издававшееся с начала 1840-х годов «Полное собрание русских летописей...». Из литературных журналов Гоголь особенно интересуется «Москвитянином», а в нем – статьями Шевырева.

К современным же философским течениям Гоголь равнодушен, полагая, что они проистекают из моды и ограничены злобой дня. «Оглянешься: уж на место одного – другое: сегодня гегелисты, завтра шел<л>ингисты, потом опять какие-нибудь *исты*... Не опровержением минутного, а утверждением вечного должны заниматься многие, которым Бог дал не общие всем дары» (из письма Шевыреву, 20 сентября н. ст. 1843. – [XII, 214]). Гоголь соотносит все со своим главным трудом, ведь и «Мертвые души» посвящены «утверждению вечного».

Но для этого труда ему нужен и конкретный материал современной российской жизни, разные типические случаи и характерные детали; с этой целью он вновь обращается к своим корреспондентам за помощью. Прежде его интересовали «какие-нибудь казусы», случающиеся «при покупке мертвых душ», т. е. случаи злоупотребления и аферы. Теперь его занимает весь объем деятельности должностного лица или помещика, включая в первую очередь позитивные результаты этой деятельности. Своему старому знакомому черниговскому помещику Николаю Даниловичу Белозерскому, занимавшему одно время место уездного судьи, Гоголь задает такие вопросы: «отправляете ли вы донныне судейскую вашу должность и что удалось вам в ней сделать *хорошего* и *полезного*?»; «какие главные и доходливые статьи вашего хозяйства?»; «что вам удалось, или вашему брату, сделать *хорошего* по этой части в продолжение вашей жизни в деревне?»; «каковы ваши соседи и кто *замечательнее* вообще из борзенского дворянства?» [XII, 208–209].

В Дюссельдорфе Гоголь отреагировал на выступление Белинского в связи с брошюрой Константина Аксакова. Позиция Аксакова, мы помним, писателя не удовлетворила, но и возражения Белинского он не принял. Прочитав его «Объяснение на объяснение...» (ОЗ. 1842. № 11), Гоголь писал Шевыреву 1 сентября н. ст. 1843 г.: «Белинский смешон». Гоголь не стал объяснять, чем конкретно «смешон» критик в этом споре, остановившись исключительно на содержащейся в той же статье оценке «Рима». Мол, Белинский «хочет, чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет Белинский. Я был бы виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж... Я принадлежу к живущей и современной нации, а он к отжившей... Хотя по началу, конечно, ничего нельзя заключить, но все можно видеть, что дело в том, какого рода впечатление производит строящийся вихорь нового общества на того, для которого уже почти не существует современность» [XII, 211]. И эти слова косвенно соотнесены с главным гоголевским произведением: Россия – «живущая и современная нация»; поэма должна указать на ее скрытые возможности, но не прямо, не декларативно, даже не эмблематически – не с помощью положительных персонажей только. Ни с кем из них Гоголь идентифицировать себя не будет, возвысившись над всеми ими и над «вихрем нового общества» в целом. Только так осуществится цель поэмы – раскрытие тайны русской жизни.

Между тем приближался срок, когда был обещан реальный результат, когда надо было предъявить нечто осязаемое – рукопись и книгу. Гоголь видел зыбкость этого срока; ничего так не травмировало его, как вопрос, когда будет закончен второй том, или напоминание, что надо поторопиться, или подозрение, что этот том вовсе и не написан. «Точно М<ертвые> д<уши> блин, который можно вдруг испечь. Загляни в жизнеописание сколько-нибудь знаменитого автора или даже хоть замечательного. Что ему стоила большая обдуманная вещь, которой он отдал всего себя, и сколько времени заняла? Всю жизнь, ни больше, ни меньше» (Н.Я. Прокоповичу, 28 мая н. ст. 1843 г. [XII, 187]). Уже здесь невольно предполагается такая «пролонгация» срока, когда создание книги жизни хронологически совпадает с самой жизнью – увы, все это в биографии Гоголя осуществилось с лихвой: ему даже не хватило жизни....

Но как найти вдохновение, если оно не приходит? Нужно приневоливать себя, заставляя: «чего не поищешь, того не найдешь, говорит пословица». Стремление же есть молитва – молитва «от всех сил души и всеми силами души; без того она не взлетит». И Гоголь делится «душевым открытием», которое он сделал, – «это то, что в душе у поэта сил бездна. Ежели простой человек борется с неслыханными несчастиями и побеждает их, то поэт непременно должен побеждать большие и сильнейшие» [XII, 233, 235]. Это все адресовано Н.М. Языкову, вернувшемуся в Москву и пассивно ожидающему, когда подойдет «время писанья и работы»; но все гоголевские наставления другим невольно рассчитаны на роль бумеранга, возвращающегося к нему самому. Гоголь приводит себя в порядок, мобилизует душевные силы, готовясь к решающему этапу работы.

После отъезда из Дюссельдорфа Жуковский сообщил Н.Н. Шереметевой 6 (18) ноября 1843 г.: «Он отправился от меня с большим рвением снова приняться за свою работу и думаю, что много напишет в Ницце» [Жуковский, 1878, т. 6, с. 504].

Направляясь в Ниццу, Гоголь, можно сказать, возвращался к своей «душечке»-Италии: этот город на Лазурном берегу принадлежал тогда Сардинскому королевству; с Францией он воссоединится спустя 17 лет.

Ницца

Однако по дороге в Ниццу Гоголь испытал очередной неожиданный приступ болезни, какой именно – осталось неизвестным. «...Гоголь заболел в Марселе так ужасно, – рассказывала Смирнова, – что не надеялся дожить до утра и с покорностью ожидал смерти. Он чувствовал, как смерть к нему приближалась, и встречал ее молитвами. Утром он чувствовал большую слабость, однако ж сел в дилижанс и приехал в Ниццу» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 6]. Очевидно, к этому событию относится глухое упоминание в гоголевском письме, отправленном уже из Ниццы 2 декабря н. ст.: «...случившиеся на дороге задержки и кое-какие неприятности были необходимы душе моей, как все, что ни случается со мною, необходимо всегда моей душе» [XII, 238].

Вообще-то о приезде Гоголя в Ниццу шла речь еще в Баден-Бадене: его приглашала Смирнова, собиравшаяся провести здесь зиму. Писатель отвечал, что «слишк<ом> привязыв<ается> к семейству Соллог<уб> и ко мне, а ему не следует этого, чтобы не связыв<ать> себя никакими [привязанностями]» [Смирнова, 1989, с. 38–39]. Но потом все же передумал.

«Однажды в Ницце... Смирнова, возвращаясь, нашла в своей квартире Гоголя. – “Вот видите, – сказал он, – вот я и теперь с вами. Я распоряжусь так, что буду делить свое время между вами и Виельгорскими”» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 7]. Виельгорские – это графиня Луиза Карловна с двумя дочерьми, Анной и Софьей, и сыном Михаилом. Старшая дочь Софья Михайловна Соллогуб была вместе со своим мужем, к тому времени уже известным писателем Владимиром Соллогубом.

Да, Виельгорские были любезны сердцу Гоголя, но на его решение поселиться в Ницце особенно повлияло присутствие Смирновой, отношения с которой после Рима и Баден-Бадена сделались более сердечными и дружескими. Повлияли и денежные обстоятельства: до Рима, своего привычного местопребывания в зимнее время, Гоголь не смог бы доехать, как он выразился, «по бедности финансов» [XII, 265]. В Ницце же у него было даровое жилье: вначале он снял собственную квартиру, но вскоре переехал к Виельгорским, в дом, который благодаря фамилии хозяйки госпожи Паради служил предметом веселых каламбуров (*Paradis* – рай). Обедал Гоголь почти ежедневно у Смирновой – она жила неподалеку, около *Croix de Marbe* (Мра-

морного креста), – а это, говорил он откровенно, тоже немалая экономия.

Смирнова рассказывает, что однажды она пожелала «хоть шуткой выпытать, что у него [Гоголя] есть».

...Она начала его экзаменовать, сколько у него белья и платья, и старалась отгадать, чего у него больше. – «Я вижу, что вы просто совсем не умеете отгадывать, – отвечал он. – Я большой франт на галстуки и жилеты. У меня три галстука: один парадный, другой повседневный, а третий дорожный, потеплее». Из расспросов оказалось, что у него было только необходимое для того, чтобы быть чистым. – «Это мне так следует, – говорил он. – Всем так следует, а вы будете жить, как я, и, может быть, я увижу то время, когда у вас будет только две пары платья: одно для праздников, другое для будней. А лишняя мебель и всякие комфорты в комнате вам так надоедят, что вы сами понемногу станете избавляться от них. Я вижу, что это время придет для вас» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 6].

Диалог по поводу гоголевского гардероба возник не случайно: Смирнова явно «провоцировала» собеседника, ее вопросы заключали в себе долю иронии. Дело в том, что она вовсе не склонна была к строгому самоограничению и аскетизму, полагая, что пока мы «еще не совсем расстались с миром, то должны о мирском помышлять» [Переписка, т. 2, с. 130]. Эти слова Смирнова написала Гоголю спустя несколько месяцев, уже из Петербурга, когда ее спор с писателем относительно «мирского» обострился; однако разногласия наметились еще в Ницце. Например, она с самого начала советовала Гоголю поселиться у Виельгорских, а тот все держался за свою «неудачную» квартиру – очевидно, не хотел быть в тягость другим. Смирнова называла это упрямство отсутствием «простоты». «Проявлялся позже этот недостаток в более мелочных вещах; наконец, и тогда, когда я вас спрашивала о денежных ваших обстоятельствах. Вы отвечали мне, что деньги всегда будут, а как – и не намекнули даже. Бог знает, какие у вас на этот счет понятия!» [Там же].

И все же несмотря на этот «недостаток», обоих сближало глубокое внутреннее беспокойство и недовольство собою. Об этом качестве Смирновой замечательно писала хорошо знавшая ее Е.П. Ростопчина:

Но вам являлась ли она,
Раздумья томного полна,

В тоске тревожной и смятенной,
Когда, в разуверенья час,
Она клянёт тщету земную,
Обманы сердца, жизнь пустую,
И женщин долю роковую,
И все и всех – себя и вас.

<...>

Нет! Не на сборищах людских
И не в нарядах дорогих
Она сама собой бывает:
Кто хочет знать всю цену ей,
Тот изучай страданье в ней,
Когда душа ее страдает.

Гоголь и был тем, кто «изучал» ее страданье и пытался помочь ей. С этой целью он «списал собственноручно четырнадцать псалмов и заставлял ее учить их наизусть. После обеда он спрашивал у нее урок, как спрашивают у детей, и лишь только она хоть немножко запиналась в слове, он говорил “нетвердо!” – и отсрочивал урок до другого дня» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 6].

Продолжал Гоголь и свои чтения вслух, но на этот раз уже не из «Илиады», как в Баден-Бадене. Обыкновенно «после обеда вытаскивал из кармана выписки из св. отцов. Иногда читал и из “Размышлений” Марка Аврелия. С умилением говори<л>: “Божусь Богом, что ему недостает только б<ыть> христианином!”» [Смирнова, 1989, с. 39]. Интерес Гоголя к Марку Аврелию подтверждается его письмом из Ниццы М.П. Погодину: приведя из античного мыслителя обширную цитату о бескорыстии добродетельного человека, Гоголь добавляет: «Это говорит император язычник, а мы христиане, нам на каждом шагу делается об этом напоминание» [XII, 258]¹⁴⁵. Еще Смирновой запомнилось чтение Григория Нисского [Смирнова, 1989, с. 56].

Из своих произведений Гоголь читал в это время «Тараса Бульбу» – у старой графини Софьи Ивановны Соллогуб, матери писателя Владимира Соллогуба (Соллогубы жили отдельно, в доме Мазари [XIII, 120]); на чтении этом также присутствовала Александра Осиповна.

Гоголь довольно свободно входил в духовный мир Смирновой, затрагивая такие струны, к которым дозволено прикасаться только очень близкому человеку. Об этом свидетельствует эпизод, имевший место позднее, в 1845 г., в пору пребывания Алек-

сандры Осиповны в Петербурге – тогда она не на шутку увлеклась одним человеком, заключавшим в себе самые разные достоинства, и внешние и внутренние, и к тому же к ней тоже не равнодушным (по-видимому, это был Юрий Самарин). Смирнова пережила «сильную бурю», испытала знакомые ей «страстные порывы», но – удержалась, и «убеждение, что жертвою искупится жизнь прошлая и грешная, опять вошло в душу, и рассталась я с грустью и благодарностью» [РС. 1890. № 6. С. 652]. Признание это адресовано не кому другому, как Гоголю, при этом Смирнова апеллирует к его воспитательным урокам, к его внушениям: мол, пережитое ею искушение не только не потрясло «возбужденное во мне чувство, на даже его и подкрепило» [Там же]. По удачному выражению современной исследовательницы, Гоголь явился для Александры Осиповны «усмирителем сердечных бурь» [Колосова, с. 220].

Но не только Гоголь был нужен Смирновой – не меньше, если не больше, Смирнова нужна была Гоголю. «Друг мой, добрейший и ближайший моему сердцу...» [XII, 443] – так обращался он к ней после Ниццы. И еще такое его признание, сделанное по отъезде из Ниццы 28 декабря н. ст. 1844 г.: «Вы были знакомы со мною и прежде, и виделись со мною и в Петербурге, и в других местах. Но какая разница между тем нашим знакомством и вторичным нашим знакомством в Ниц^ц! Не кажется ли нам самим, как будто мы друг друга только теперь узнали...» [XII, 435]. Гоголь противопоставляет Смирнову прежним своим друзьям, например москвичам; с теми у него не произошло новой встречи, нового истинного узнавания.

Пояснить все это можно с помощью такой параллели. С наступлением нового 1844 г. Гоголь обратился из Ниццы с письмом, адресованным одновременно С.Т. Аксакову, М.П. Погодину и С.П. Шевыреву. «Мне чувствуется, что вы часто бываете беспокойны духом», – начинает Гоголь письмо; мы знаем, что также «чувствовалось» ему и в отношении Смирновой и других лиц. «Есть какая-то повсюдная нервически душевная тоска: она долженствует быть потом сильнее», – твердо обещает Николай Васильевич своим адресатам-москвичам. Где же средство исцеления? Оно есть! – Книга Фомы Кемпийского «Подражание Христу». «Я посылаю вам Подражание Христу, не потому, чтоб не было ничего выше и лучше ее, но потому, что на то употребление, на которое я вам назначу ее, не знаю другой книги, которая была бы лучше ее». Собственно, саму книгу Гоголь не посылал: это слишком накладно для него; каждый из адресатов должен сам приобрести

по экземпляру; послал же он лишь рецепт «употребления» книги: «Читайте всякий день по одной главе... Изберите для этого душевного занятия час свободный и неутруженный, который бы служил началом вашего дня. Всего лучше немедленно после чаю или кофию, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас. Не переменяйте и не отдавайте этого часа ни на что другое... Бог вам в помощь!» [XII, 249–251]. Рекомендованное москвичам средство аналогично тому, которое Гоголь предлагал и Смирновой, читая ей из отцов церкви или из Марка Аврелия. Но на этот раз он встретил другую реакцию, особенно со стороны С.Т. Аксакова.

Долго не решался Сергей Тимофеевич отвечать на это письмо; наконец, напомнил, что ему уже 53 года, что он тогда уже читал Фому Кемпийского, когда Гоголя еще не было на свете. «И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, сильно, не зная моих убеждений, да как еще? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение на главы, как на уроки... и смешно и досадно... <...> Я боюсь, как огня, мистицизма; а мне кажется, он как-то проглядывает у вас... Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы... Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник! Чтобы творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения отшельника» [Переписка, т. 2, с. 53].

Правда, С.Т. Аксаков тут же давал понять, что его мнение не окончательное, что в глубине души он признает высокоость и законность гоголевских стремлений, перед которыми ощущает свое собственное несовершенство. Эта оговорка понравилась Гоголю и дала ему возможность позднее, уже из Франкфурта, отправить Сергею Тимофеевичу воспитательно-утешительное письмо (об этом далее). Но все же горькие предостережения Гоголю, вроде «вы ходите по лезвию ножа», – прозвучали!

Тут можно вспомнить, что и Смирновой Гоголь давал домашнее задание, заставляя наизусть учить псалмы, и даже устраивал экзамены, но та не протестовала и тем более не делала отсюда никаких выводов о том, что гибнет «художник». Она принимала Гоголя, каким он был или, точнее, становился. А изменяющийся, становящийся Гоголь отнюдь не отказывался от художнической деятельности; напротив, он намеревался придать ей еще большую широту и интенсивность; но он полагал, что мысль художественная должна всецело проникнуться устремлениями высшего, религиозного порядка, а это означало одновременно усиление процесса самовоспитания и самосовершенствования. Всей напря-

женности этого процесса, как и его драматических последствий, Смирнова, скорее всего, себе не представляла, однако она знала от самого писателя, в каком направлении он развивается. «С тех пор, как я оставил Россию, – писал он Смирновой после Ниццы, 28 декабря н. ст. 1844 г., – произошла во мне великая перемена. *Душа* заняла меня всего, и я увидел слишком ясно, что без устремления моей души к ее лучшему совершенству не в силах я был двинуться ни одной моей способностью, ни одной стороной моего ума...» [XII, 434; курсив в оригинале]. А воспитывать себя, по Гоголю, означало воспитывать других и в то же время воспринимать исходящие от них импульсы; поэтому те, кто внимал его «урокам», помогал и ему самому, внося свою лепту в становление человека и художника. Эта роль отводилась Смирновой, в определенной мере – и Луизе Карловне Виельгорской.

Пережившая страшную трагедию потери сына, Виельгорская была подвержена приступам гнетущей тоски и нуждалась в утешении. И Гоголь обращался к ней со словом утешения, не только устным, но и письменным; Луизе Карловне был предназначен его трактат «Правило жития в мире», где есть такие строки: «Во всех наших начинаниях и поступках больше всего мы должны остерегаться наисильнейшего врага нашего. Враг этот – уныние. Уныние есть истое искушение духа тьмы, которым нападает он на нас, зная, как трудно с ним бороться человеку. Уныние противно Богу. Оно есть следствие недостатка любви нашей к нему» [цит. по: Хетсо, с. 59]. Говорил Гоголь и о любви к Богу сравнительно с любовью к родным: «Любить Бога значит любить Его в несколько раз более, чем отца, мать, детей, жену, мужа, брата и друга...» [Там же. С. 58]. Эти слова служили невольным укором матери, предававшей горькой печали о смерти сына. Сергея Тимофеевича, тоже потерявшего сына, подобные гоголевские слова не утешали, а вот Виельгорской приносили облегчение, – по крайней мере, так считал Гоголь. Говоря о пребывании у Виельгорских перед своим отъездом из Ниццы, он вспоминал: «Накануне мы читали то, что угодно было Богу внушить мне прочесть, оно, как мне показалось, на них подействовало. По крайней мере и графиня и обе дочери дали слово быть веселы и тверды и перечитывать почаще то, что я им оставил» [XII, 275].

Именно об этих «правилах» (как указал Гейр Хетсо) Гоголь напомнил Луизе Карловне после отъезда из Ниццы: «Вы дали мне слово во всякую горькую и трудную минуту, помолившись внутри себя, сильно и искренно приняться за чтение тех правил, которые

я вам оставил, вникая внимательно в смысл всякого слова, потому что всякое слово многозначительно и многого нельзя понимать вдруг. Исполнили ли вы это обещание? Не пренебрегайте никак этими правилами, они все истекли из душевного опыта, подтверждены святыми примерами, и потому примите их как повеление самого Бога». Еще одно выражение принципиальной гоголевской позиции: не только через главный труд Гоголя, через его поэму проистечет теперь высшее благоволение, но и через его слово вообще и через его поступки, поведение, мельчайшие детали которого проникаются смыслом «Божиего провидения». «Таким образом и меня, который в существе своем есть не более как совершенная дрянь, поместило оно в доме Paradis ... Поместило оно именно для того, чтобы правила эти из моих рук перешли в ваши» [XII, 276].

Гоголь полагал, что его «правила» подойдут и Смирновой-Россет; ведь и она знала, что такое потеря ребенка, и была знакома с унынием: «...у Софьи Михайловны есть записочки, выбранные мною из разных мест против уныния. Может быть вы отыщете в них что-нибудь и для себя...» [XII, 356].

Предназначались гоголевские «правила», как видно из его только что приведенных писем, и обеим дочерям Луизы Карловны, Софье и Анне. Софья Михайловна переживала в Ницце свою драму: обострились отношения со свекровью и с мужем Владимиром Соллогубом – тот, по словам мемуаристки, «то и дело, что таскался в Меран волочиться за Duchesse d'Istrie, которая была еще очень хороша и весьма свободного обращения. Бедная Софья Михайлона все терпела молча, читала Библию и занималась детьми». Эта драма не прошла мимо Гоголя, который «не раз вздыхал о бедной Софье Михайловне и говорил: “Ничто не может быть ужаснее, как когда чувство встречается с черствым бесчувствием”» [Смирнова, 1989, с. 56].

А вот с младшей сестрой Анной Михайловной у Гоголя стали намечаться особенно доверительные отношения; позднее она писала Николаю Васильевичу: «Мне показалось, что я с вами где-нибудь сижу, как случалось в Остенде или в Ницце, и что вам говорю все, что в голову приходит, и что вам рассказываю всякую всячину. Вы меня тогда слушали, тихонько улыбаясь и закручивая усы...» [Переписка, т. 2, с. 218]. Наверное, уже здесь завязка тех отношений, которые трагически разрешились спустя несколько лет....

Гоголь собирался в Ницце плотно засесть за работу и сделать очень много. Получилось так и не совсем так: писалось с трудом,

приходилось заставлять себя. «Гребу решительно против волн, иду против себя самого, то есть противу находящего бездействия и томительного беспокойства ... Хочу насильно заставить себя что-нибудь сделать...» (Н.М. Языкову, 2 января н. ст. 1844 г. [XII, 243–244]). «Всякий час и минуту нужно себя приневоливать и не насильно почти ничего нельзя сделать» (В.А. Жуковскому, 8 января н. ст. 1844 г. [XII, 246]).

Характерны советы, которые в это время Гоголь давал В.А. Соллогубу. «Пишите, поставьте себе за правило хоть два часа в день сидеть за письменным столом, и принуждайте себя писать”. – “Да что ж делать, – возражал я, – если не пишется!” – “Ничего... Возьмите перо и пишите: сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется и так далее; наконец, надоест и напишется» [Соллогуб, с. 378]. Соллогуб не очень-то внимал этим рекомендациям, оставаясь «охотником» «больше ездить по вечеринкам, чем писать» [XII, 244].

Сам же Гоголь сидел за письменным столом, вернее стоял у конторки, ежедневно – и не «два часа», а всю первую половину дня. «...Только в три часа выходил гулять, или один, или с графом М.М. В***» (очевидно, речь идет о Михаиле Михайловиче, сыне Луизы Карловны. – Ю. М.). Тут на берегу моря его обыкновенно встречала Смирнова, и они шли вместе. «Если его внезапно поражало какое-нибудь освещение на утесах или зелени, он не говорил ни слова, а только останавливался и улыбался» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 6].

Много ли Гоголь сумел сделать? 2 декабря н. ст. 1843 г. он писал Жуковскому, что продолжает «работать, то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание Мертвых душ» [XII, 239]. На основе этих слов был сделан вывод, что «к ... последней половине 1843 года относится первое уничтожение рукописи “Мертвых душ” из трех, какому она подверглась» [Анненков, 1983, с. 112]. Но это не так; никаких подтверждений, что в это время в Ницце Гоголь уничтожил рукопись второго тома, не имеется. *Хаос* в понимании писателя имеет другой смысл – первоначального, еще не оформившегося, хаотического состояния замысла, а *выход из хаоса* – его прояснение и созревание [см. подробнее: Манн, 1987, с. 179]. Тем не менее работа уже настолько продвинулась, что Гоголь счел возможным начать чтение.

Раз как-то в Ницце, кажется, он читал мне отрывки из второй и третьей части «Мертвых душ», а это было нелегко упросить его сделать. Он упи-

рался, как хохол, и чем больше просишь, тем сильнее он упирается. Но тут как-то он растаял, сидел у меня и вдруг вынул из-за пазухи толстую тетрадь и, ничего не говоря, откашлялся и начал читать. Я вся обратилась в слух. Дело шло об Уленьке, бывшей уже замужем за Тентетниковым. Удивительно было описано их счастье, взаимное отношение и воздействие одного на другого... [Смирнова, 1902, с. 490–491].

О третьей части поэмы говорить, конечно, не приходится; кроме того, Гоголь вряд ли уже дошел до женитьбы Тентетникова; на упомянутый эпизод, по-видимому, наслоились впечатления Смирновой от последующих чтений. Но если мемуаристка не ошибается в самом приурочивании эпизода к пребыванию ее в Ницце, то это первое известное нам чтение второго тома, и показательно, что в качестве слушательницы Гоголь выбрал именно Смирнову.

Однако чтение это внезапно прервалось. «Тогда был жаркий день, становилось душно. Гоголь делался беспокоеен и вдруг захлопнул тетрадь. Почти одновременно с этим послышался первый удар грома, и разразилась страшная гроза. Нельзя себе представить, что стало с Гоголем: он трясся всем телом и весь потупился. После грозы он боялся один идти домой. Виельгорский (очевидно, Михаил Михайлович. – Ю. М.) взял его под руку и отвел» [Там же]. Подобное уже случалось с Гоголем, подверженным нервическим припадкам, – летом 1837 г. в Баден-Бадене, также во время чтения поэмы, ее первого тома; писатель был тогда до того напуган грозой, что попросил А.Н. Карамзина проводить его до дома (см. об этом с. 158–159). На этот раз Гоголь сделал вывод о несовершенстве написанного, о преждевременности чтения: «Сам Бог не хотел, чтоб я читал, что еще не окончено и не получило внутреннего моего одобрения...»

Происшествие это не изменило общего настроения Гоголя. «В Ницце, – говорит Смирнова, – он был по большей части очень весел, представлял своих гимназических учителей, рассказывал анекдоты...» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 6]. Свидетельством веселого расположения Гоголя является его записка Смирновой, отправленная, по всей видимости, в дни масленицы, в феврале 1844 г. [см.: Материалы, т. 1, с. 107]: «Александра Осиповна! не позовете ли вы завтра, т. е. в пятницу, на блины весь благовоспитанный дом Paradis, то есть графиню с обеими чадами (Луизу Карловну, Софью и Анну Виельгорских. – Ю. М.), что составляет, включительно со мною грешным, ровно четыре персоны. Полагая на каждую физиогномию по три блина, а на тех, которые позастенчивее,

как-то на Анну Михайловну и графиню, даже по два, я полагаю, что с помощью двух десятков можно уконтентовать (т. е. удовлетворить, от фр. *content* – довольный. – Ю. М.) всю компанию» [XII, 259–260]. Тут же упоминается ответственная за обед некая Мария Оливковое масло, очевидно, прислуга – еще одна носительница избретенных Гоголем комических прозвищ.

А рядом с этим – другое гоголевское письмо, отправленное из Ниццы Шевыреву 12 марта н. ст. 1844 г., письмо, исполненное такого же комизма, но, увы, это тот случай, когда комизм возникает помимо воли автора. Гоголь просит своего корреспондента завести специальную тетрадку, куда бы вписывались разные невыгодные для него, Николая Васильевича, замечания.

При всяком случае, когда случится вспомнить обо мне, отметьте тут же, в коротких словах, всякую пробежавшую мысль. Почти таким образом в виде дневника: день, месяц, число. Сегодня ты мне представлялся вот в таком виде... День, месяц, число. Сегодня я на тебя сердился вот за что. День, месяц, число. В твоём характере или в поступках вот что казалось мне неизъяснимо. День, месяц, число. О тебе пронесли здесь вот какие слухи, я им не поверил, но некоторое сомнение закралось мне в душу. День, месяц, число. У меня еще до сих пор таится противу тебя в душе неудовольствие на то и на то, и проч.

А когда наберется такого текста с «поллиста почтовой бумаги», то все это следует положить в конверт и отправить герою этих замечаний, т. е. самому Гоголю. Раньше он требовал от Шевырева (как и от других) откровенных замечаний о его произведениях, теперь о нем самом, – замечаний, зафиксированных в хронологической последовательности и с педантической скрупулезностью. Своеобразное – на огромном расстоянии! – чтение его души, которое, оказывается, важнее чтения художественных текстов. «Если вы мне это сделаете, то вы мне окажете услугу, большую всех прежних услуг ваших». Почему же? Потому что это поможет Гоголю работать над собою: «Помогите мне теперь, а я, как состроюсь и сделаюсь умней, помогу вам» [XII, 267].

Но, конечно, и отзывы о сочинениях продолжают интересоваться Гоголя, и, чтобы расширить свои сведения на этот счет, он обращается с просьбой к Анненкову, с которым не встречался с лета 1841 г., после совместного проживания в Риме: «Уведомьте, в каком положении и какой приняли характер ныне толки как о М<ертвых> д<ушах>, так и о Сочинениях моих. Это вам сделать,

я знаю, будет отчасти трудно, потому что круг, в котором вы обращаетесь, большею частию обо мне хорошего мнения, стало быть, от них что от козла молока». Следовательно, Гоголь твердо знает, что Белинский и близкие к нему – именно в этом круге большей частью «обращался» Анненков – настроены к нему более благожелательно, и поэтому последнему предлагается обратить свой взор к тем, «которые совсем не любят моих сочинений». Анненкову рекомендуется чуть ли не роль лазутчика, которому нужно выведать, что происходит «в салонах Булгарина, Греча, Сенковского и Полевого», а именно «в какой силе и степени их ненависть или уже превратилась в совершенное равнодушие?». Очевидно, что наличие «ненависти» Гоголя по-прежнему устраивает.

Письмо Анненкову свидетельствует, что Гоголь хочет сохранить хорошие отношения с западническим кругом – и это в тот момент, когда борьба славянофилов с западниками достигла апогея. Но он упрекает западников в крайностях, как упрекал и славянофилов: «Все ваши приятели тоже с увлечением ... Помните также, что человек никогда не бывает ни совершенно прав, ни совершенно виноват» [XII, 255].

... Пребывание Гоголя на Лазурном берегу подходило к концу. «В Ницц^е не пожилось мне так, как предполагал. Но спасибо и за то, все пошло в пользу, и даже то, что казалось мне вовсе бесполезно» (Н.М. Языкову, 15 февраля н. ст. 1844 г. [XII, 264]).

19 (7) марта Гоголь выехал из Ниццы. Почти одновременно В.А. Соллогуб отправился в Рим. Смирнова уехала еще раньше в Париж. В Ницце осталась Луиза Карловна Виельгорская с детьми.

«Я иду вперед – идет и сочинение»

В весенние и летние месяцы 1844 г. Гоголь рассчитывал решительно продвинуть вперед свое «сочинение», т. е. второй том поэмы. Он полагал, что этому будет способствовать и своеобразное соревнование с Жуковским, работавшим над переводом «Одиссеи».

Поездка началась с неприятности: миновав Экс-ан-Прованс, Гоголь сел в Страсбурге на пароход, чтобы отправиться по Рейну в Дармштадт, но случилась авария – пароход ударился об арку и сломал колесо. Впрочем, Гоголь увидел в этом указание

свыше: мол, он должен воспользоваться задержкой и отправить своим друзьям по Ницце Смирновой и Л.К. Виельгорской письма-напоминания о борьбе с унынием и выполнении «правил» жизни. Позднее Шевырев упрекнет писателя в том, что «во всяком постороннем обстоятельстве» тот готов признать «личное отношение» к нему Бога [Переписка, т. 2, с. 339]. Эта черта проявилась у Гоголя давно.

Другая неприятность связана с тем, что пришлось изменить маршрут и вместо Штутгарта направиться в Дармштадт. Гоголь рассчитывал, что в тихом Штутгарте, в спокойствии и уединении, он будет говеть и встретит Светлое воскресенье; тамошний протоиерей Иоанн Певницкий известил его 11(23) февраля, что «церковь в Стутгардте уже устроена и служение на страстной седмице и в день Пасхи будет совершаться в ней...» [Шенрок, т. 4, с. 281–282]. Но спустя несколько дней, 23 февраля (6 марта), Певницкий сообщает Гоголю, что срочно едет в Дармштадт [Там же. С. 282], куда к пасхальным дням по случаю приезда наследника переводят русскую церковь. «Хоть это будет несколько шумно, но что ж делать, говеть мне нужно, – решил Гоголь. – Попробую, нельзя ли среди шуму быть уединенну» [XII, 275].

В конце марта Гоголь приезжает в Дармштадт; сюда же из Франкфурта едет Жуковский – помета в его записной книжке 30 (18) марта: «С Гоголем в Дармштадт. Hotel de Russie». Впрочем, эту фразу можно истолковать и таким образом: оба съехались во Франкфурте (Hotel de Russie – известная тамошняя гостиница) и уже отсюда вместе отправились в Дармштадт. Затем следуют записи от 1 и 3 апреля одинакового содержания: «Вечеру чтение с Гоголем» [ЛН. Т. 58. С. 690]. Остается неясным, что именно читалось – из второго тома «Мертвых душ», из перевода «Одиссеи», или и то и другое. Если из второй части «Мертвых душ», то это второе после Ниццы известное нам чтение поэмы.

В Дармштадте 7 апреля Гоголь встречает Светлое воскресенье и через день-два переезжает во Франкфурт, откуда рассылает веер поздравлений: Смирновой-Россет – в Париж, Луизе Карловне Виельгорской и ее дочерям Анне и Софье, а также графине Соллогуб – в Ниццу, семейству Балабиных, в том числе и своей давней ученице Марье Петровне – в Петербург¹⁴⁶. Вот типичный пример гоголевских поздравлений (это – Смирновой): «Будьте светлы и старайтесь насильно быть светлу и веселу душой. Недавно прочел я, что стараясь засмеяться смехом души, мы уже призываем ангела на уста наши, который помогает нам потом

действительно засмеяться таким смехом» [XII, 282]. Александру Осиповну для полной ясности их отношений Гоголь называет своим «небесным братом»: «Душа моя хочет передать вам такой поцелуй, каким только небесный брат целует своего брата».

Мы уже знаем, что увещевания Гоголя другим рассчитаны на то, чтобы рикошетом вернуться к нему самому; так добывались им спокойствие духа, «веселость»: «Мы так устроены, что все должны приобретать насильно и ничего не дается нам даром. Даже истинной веселости духа не приобретешь до тех пор, пока не заставишь себя насильно быть веселым» [XII, 289–290]. Поэтому обнаруженная С.Т. Аксаковым слабинка (мол, перед высокими гоголевскими стремлениями он пасует, сознает свое несовершенство) Николая Васильевича обрадовала – теперь можно точно поставить диагноз: «...Ваше волнение есть, просто, дело чорта <...> Пугать, надувать, приводить в уныние – это его дело». И намечается перспектива беспощадного сражения с нечистой силой, одоления черта, на поверку вовсе не страшного, но такого, что низведен на уровень мелкого, пакостного зверюшки: «Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем ... Как только наступишь на него, он и хвост подожмет» [XII, 300–301].

Наряду с преодолением «уныния», постоянная гоголевская тема в эту пору – борьба с односторонностью; впрочем, по мнению писателя, одно связано с другим: жертвой уныния становится тот, кто не видит целостности жизни. Исток этой темы – еще в мироощущении молодого Гоголя периода «Арабесок» и ранее. В то время как мир искромсан и разделен на части, истинно поэтическая, высокая душа должна удержать ощущение единства. Гоголь со своих позиций мог бы, вероятно, повторить излюбленный гегелевский тезис: «Das Wahre ist das Ganze» (истинное – это целое). «В письме вашем отражен человек, просто унывший духом и не взглянувший на самого себя». Гоголь советует своему корреспонденту, т. е. П.В. Анненкову, взглянуть на себя, «как должно»: «Кроме того, что мы узнали бы лучше, что в нас самих заключено и есть, мы бы приобрели взгляд яснее и многосторонней на все вещи вообще...» [XII, 298]. Для тех, кто впадает в уныние и вместе в односторонность, Гоголь находит определение – «огорченные»; это значит, что односторонностью провоцируется еще раздражение (люди, «которые чем-нибудь раздражены или огорчены»).

Здесь просматривается нить, ведущая к тому месту гоголевской поэмы, где описывается пагубное влияние на Тентетникова его двух приятелей, называемых «огорченными людьми».

«Это были те беспокойно-странные характеры, которые не могут переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется в их глазах несправедливостью» [VII, 137]. Можно оспорить поэтому категоричность выдвинутого еще В. Каллашом утверждения (затем поддержанного другими исследователями), будто эпизод с «огорченными людьми» непременно подразумевает петрашевцев и появился в тексте поэмы после их ареста в 1849 г. [см., в частности: Гиппиус, 1924, с. 235]. В действительности непосредственной связи этих строк с делом петрашевцев нет, и они могли быть написаны и раньше, в период времени с конца 1843 г. [см. подробнее: Манн, 1987, с. 182].

Критерий многосторонности Гоголь считает обязательным и для себя. «Я только и могу поступить умно, когда ум мой обнимет со всех сторон решительно предмет. Потому-то теперь я более, чем когда-либо, боюсь вмешиваться в какое-нибудь дело, до тех пор, пока не узнаю всех самонаименьших подробностей» [XII, 303]. Конкретно речь идет о «деле» Перовского.

Знакомый Гоголю еще по Риму генерал В.А. Перовский находился в то время в тревожном и угнетенном состоянии: его внебрачный сын, восьмилетний Алеша, был тяжело болен. Смирнова из Парижа попросила Гоголя помочь, и тот послал в Петербург письмо Перовскому (от 20 апреля), посоветовав ему «позаботиться о душевном, а не телесном здоровье Алеши», поговорить «с каким-нибудь умным и опытным священником», – и для вящей убедительности подкрепил свой совет сообщением о чудесных знаках, якобы связывающих его, Гоголя, с адресатом письма, например: «Вот уже два раза вы входите ко мне во время моего говения» и т. д. Гоголь явно готовил почву для более конкретных рекомендаций, для более эффективного воздействия на Перовского, а для этого ему необходимо заполучить как можно больше сведений: «В душе моей загорелось сильное желанье знать о вас, это не бывает даром. Я послал запрос о вас к Александре Осиповне в Париж. Ради Бога, напишите мне хотя в немногих словах о душевном состоянии как Алеши, так и о вашем собственном. Это мне очень нужно» [XII, 292]. Однако Перовский на запрос Гоголя ответил весьма сдержанно, не потому, что ему не верил, а потому, что, как он выразился, тот фактически вызывал его на исповедь, а «исповедь заочная, письменная, не только затруднительна, но и невозможна» [Шенрок, т. 4, с. 277].

Куда проще было Гоголю давать советы А.С. Данилевскому: тут он, как теперь говорят, вполне владел информацией. В прош-

лом воспитанник Школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, потом служащий канцелярии Министерства внутренних дел, Данилевский в конце 1843 г. получил место инспектора Второго благородного пансиона при Киевской первой гимназии. Кажется, Данилевский известил об этом Гоголя без особого энтузиазма; возможно, выразил опасение, не будет ли его новая должность скучна. «Она может быть скучна, как может быть скучна всякая должность, если за нее мы возьмемся не так, как следует» [XII, 289], – отвечает Гоголь, напоминая, что «дети – будущие люди», что душа их перед наставником, как «воск перед мрамором», и т. д. Письмо Данилевского дало Гоголю возможность вспомнить и о другом земляке, А.В. Капнисте, – «которого я и прежде уважал искренно, а теперь еще более за его дружбу к тебе».

Сын знаменитого писателя, Алексей Васильевич Капнист (ок. 1796–1867), был членом Союза благоденствия, однако от вступления в Южное общество в 1821 г. отказался, поскольку «совершенно переменил свой образ мыслей». По этой причине он понес весьма легкое наказание – был освобожден через три с половиной месяца после ареста [Декабристы, с. 77, 261]. Гоголь, бывая в Обуховке, имени Капнистов, знал Алексея Васильевича с детских лет; через него он однажды (в 1832 г.) передал письмо матери из Петербурга [X, 231]¹⁴⁷.

В том же письме Данилевскому (от 13 апреля н. ст. 1844 г.) Гоголь просит сообщить, в «чем состоит» теперь «должность» Капниста. Последний был и на выборной должности – как миргородский уездный предводитель дворянства (в 1829–1835 и 1841–1844 гг.), служил и на ниве народного просвещения (в 1833 г. – смотритель миргородского уездного училища, в 1836 г. открыл у себя в Обуховке школу для крестьянских детей). Словом, Капнист мог быть интересен Гоголю двояко – и в связи с общим вниманием писателя к «поприщу», ко всякой «должности», и особенно в связи с мыслью о назначении учителя и наставника; тут снова просматривается нить, ведущая к первой главе второго тома поэмы, к эпизодам обучения и воспитания Тентетникова.

Гоголь рассчитывал пожить во Франкфурте «все лето и осень вместе с Жуковским в его загородном доме» [XII, 291]; однако обстоятельства не давали возможности Жуковскому осесть на одном месте: то он едет в Дюссельдорф, принимая там наследника, то в Берлин для встречи с императрицей; во Франкфурте он «утвердился» лишь около 20 мая. Гоголь тоже решил воспользоваться этим временем, чтобы совершить ряд поездок.

Прежде всего он направляется в Баден; ведь там должны быть Виельгорские, должна быть Анна Михайловна, о новом «приятном свидании» с которой он мечтал давно. Общение в Ницце внушило Гоголю большие надежды относительно будущего Анны, которые он теперь решился, так сказать, суммировать (в письме к ней от 12 апреля н. ст. 1844 г., Франкфурт): «Ваше поприще будет даже гораздо больше, чем всех ваших сестриц. Потому что, если вы обсмотрите только хорошенько вокруг себя, то увидите, что и теперь может начаться поле подвигов ваших. Вам дано не даром имя *благодать* (Анна – по древнееврейски милостивая). Вы будете точно Божья благодать для всего вашего семейства и всех вас окружающих» [XII, 285; курсив в оригинале]. Гоголь дает и конкретные советы, как подготовиться к этой миссии: «Вам недостает только хорошенько всмотреться и узнать свойства и природу всех тех, которые вас окружают»; затем надо приучить себя к «спокойному размышлению» и воздержаться «от ранней готовности действовать» и т. д.

Слова Гоголя произвели сильное впечатление на Анну Михайловну. «Нози [ее домашнее прозвище] тронута была до глубины сердца вашим письмом: лицо ее как бы просветлелось при чтении ваших пророческих наставлений» [ВЕ. 1889. № 10. С. 482], – сообщала Луиза Карловна. Из письма самой Анны Михайловны видно, что «пророческие наставления» Гоголя пробудили в ней сложные чувства: «Ваше совсем неожиданное письмо меня очень обрадовало, но еще более удивило. Я прочла его раз шесть и каждый раз с новым удивлением. До сих пор я не понимаю хорошо, что вы мне пишете, по крайней мере не понимаю настоящего значения ваших слов». Но не мог же Гоголь «совершенно ошибиться на мой счет», – размышляет заинтригованная девушка. И заключает: «Мы об этом поговорим еще в Бадене» [ВЕ. 1889. № 10. С. 482].

Так была задана тема бесед Гоголя с Анной Михайловной во время их краткого совместного пребывания в Бадене в конце мая 1844 г.

Кроме Виельгорских, общество Гоголя в Бадене, проживавшего в Hotel de Holland, составлял еще граф А.П. Толстой, который впоследствии станет одним из самых близких ему людей, а также некий Викулин [XII, 309]. Возможно, это Сергей Алексеевич Викулин (1800–1848), отставной полковник, знакомый Жуковского и А.И. Тургенева; в свое время (18 июня 1832 г.) он участвовал вместе с Пушкиным в прощальном завтраке, устроен-

ном на корабле по случаю отъезда Тургенева за границу. Викулин страдал душевной болезнью, которая обострилась летом 1844 г.¹⁴⁸

Гоголь мечтает поскорее осесть во Франкфурте вместе с Жуковским. «Главное то, что мы вновь восчитаем, возбеседуем и воспишем вместе» [XII, 310]. Эта перспектива радует и Жуковского: «Впереди Франкфурт и работа наша совокупная» [Жуковский, с. 464].

Но едва обосновавшись во Франкфурте, Гоголь во второй декаде июня снова едет в Баден, а также в Мангейм; на этот раз для устройства дел своей бывшей ученицы Марьи Балабиной. Это был еще один предмет постоянного интереса Гоголя, постоянного приложения его воспитательных усилий, которые, кажется, стали приносить свои плоды.

В последний раз Гоголь виделся с Машей в Петербурге в конце мая – начале июня 1842 г. перед отъездом за границу. А до этого они обменялись письмами; Гоголь, в своей привычной манере, вызывал ее на откровенность, а Балабина отмалчивалась: «говорить о том, что делается в душе моей – с вами не могу»; отшучивалась: «вы не бросите меня за это за окошко» (любимая фраза, с которой обычно маленькая Маша, рассердившись, обращалась к своему учителю: я вас выброшу за окошко)... Сообщила лишь, что у нее теперь «сплин», что небо в Петербурге «точно старая подкладка серой военной шинели» (сравнение вполне в гоголевском духе!), и еще то, что выучилась по-немецки и предпочитает немецких писателей всем другим: «В других литературах мы знаем только те мысли и те движения души, которые имеют причины в наружных действиях, а в немецкой мы видим те мысли, которые рождаются и умирают, не узнанные никем» [Шенрок, т. 4, с. 926–927]. Гоголь в ответном письме (из Москвы, от 17 февраля 1842 г.) посоветовал не увлекаться «немцами»: «...я хочу вас заставить не за Жан-Поль Рихтером, а за Шекспиром и Пушкиным, которые читаются только в здоровом расположении духа...»; задал вопрос со значением: «Приходило ли вам когда желание, непреодолимое сильное читать евангелие?» В целом же поддержал шутливый тон своей корреспондентки: «Впрочем, мы с вами, кажется, очень коротки, то есть я разумею: оба невысокого роста» [XII, 37–38].

Но после посещения Гоголем Балабиных в мае–июне 1842 г. произошло нечто такое, что глубоко потрясло Марью Петровну. Обо всем этом она рассказала в письме (от 12 февраля 1844 г.), которое носит характер давно чаемой Гоголем исповеди,

конкретно даже – исповеди первой любви... В местечке Лопухинка, что в 40 верстах от Петербурга, она встретила некоего молодого человека по фамилии Вагнер, полкового доктора, и тотчас же поняла, что это ее судьба. Никакие препятствия: ни различия в социальном положении (Вагнер – «бедный лекарь», а Марья Петровна – дочь отставного генерал-лейтенанта), ни религиозные соображения (Вагнер оказался плохим христианином; во всяком случае, по словам девушки, «сосем не веровал и был деист») – не могли ее остановить, и Балабины-старшие вынуждены были согласиться на брак. Решено было, что Вагнер переменит службу, поступит в Департамент железной дороги и отправится на год в заграничную командировку, в Германию и Бельгию, чтобы познакомиться с работой железнодорожной полиции. Там же, в Германии, должна состояться свадьба, для чего невеста с матерью Варварой Осиповной Балабиной и братом Виктором отправятся за границу (Вагнер уедет раньше). «Я еще не могу верить в моем неслыханном счастье» (так! – [Шенрок, т. 4, с. 924]), – сообщает Марья Петровна Гоголю.

Николай Васильевич тотчас же откликнулся; письмо это не сохранилось, но о его содержании можно судить по ответу Балабиной от 14 апреля. Гоголь напутствует девушку на новую жизнь, говорит о святости брака, о «втором рождении», советует «все устроить в первые дни» и, в частности, открыть дом духовно близким людям («...Я отопру дверь нашу *в первые дни* тем людям, между которыми я хочу умереть...», – вторит Марья Петровна), выписывает «прекрасные строки о браке», составившие «третью отдельную страницу» послания (впоследствии все эти рассуждения легли в основу гоголевской статьи «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России», вошедшей в «Выбранные места...»).

С письмами Гоголя Балабина неизменно знакомила своего жениха, отчасти с воспитательной целью. Совокупные усилия Николая Васильевича и Марьи Петровны принесли свои результаты: Вагнер «начинает жить религиозною жизнью»; «его душа все более и более открывается влиянию Бога» [Там же. С. 924, 925].

Гоголь решил оказать молодым и практическую помощь – подыскать подходящее место для жилья; с этой целью он и заехал в Мангейм, найдя его удобным во всех отношениях: и «дома здесь устроены очень хорошо, с комфортами, с печами и в английском вкусе»; и «дешевле жить»; и есть «пункт железных дорог, которыми он в связи с Гейдельбергом, Баденом, Карлсру-*<*» и Страс-

бургом, что весьма важно для Вагнера, который именно и послан для наблюдения за железными дорогами» [XII, 328]. А кроме того, Гоголь решил помочь молодым в организации венчания – эпизод, ускользнувший от внимания биографов.

По-видимому, положение осложнялось не столько недостатком веры со стороны жениха, сколько различием вероисповеданий. Вагнер, скорее всего, принадлежал к одной из протестантских конфессий. Для брака на православной необходимо было уладить некоторые формальности, и об этом, очевидно, шла речь во время встречи Гоголя с Марьей Петровной, состоявшейся в конце июня или в первых числах июля, скорее всего, в курортном местечке Шлангенбад (близ Висбадена), где остановились Балабины. В результате Гоголь взял на себя поручение отыскать по возвращении во Франкфурт некоего «англицкого пастора» и передать ему письмо Марьи Петровны. Гоголь выполнил эту просьбу, но с задержкой (поскольку пастор был в отъезде и пришлось обратиться к его секретарю или поручителю), что заставило Балабиных самих приехать во Франкфурт. С Гоголем они на этот раз не встретились.

«Изясните мне также, – спрашивает Гоголь Марью Петровну в письме от 12 июля н. ст., – что значит мистическая поездка ваша во Франкфурт и ваш обед в Hotel de Russie перед самым моим носом, о чем я узнал только на другой день, живя тут же и в том же самом доме?» [XII, 329]. Балабина объяснила этот «мистический» эпизод тем, что они просто разминулись: «Когда мы пришли недавно в Hotel de Russie, нам сказали, что вы сию же минуту изволили улизнуть, и так как и мы сейчас после обеда улизнули прямо в Майнц, мы не смогли с вами увидеться». Но очевидно еще и то, что Марья Петровна, по ее словам, узнала «все, что хотела знать», и нужно было торопиться действовать дальше.

В том же самом письме от 15 июня Балабина сообщает Гоголю: «Мы писали штутгартскому священнику так, как вы советовали, и получили ответ: он, кажется, так хорошо знает, что ему нельзя нас венчать здесь, что даже и не понял совершенно нашу просьбу; он говорит, что готов приехать к нам в Шлангенбад, чтобы с нами *поговорить* и посмотреть, тут ли все бумаги, но что, может быть, его приезд не нужен, потому что нам все-таки надо приехать в Штудгарт [так!]; потом мы где-нибудь там поместимся» [Шенрок, т. 4, с. 926; курсив в оригинале].

Вспомним, что в Штутгарте находилась русская церковь, что ее протоиерей Иоанн Певницкий был знаком Гоголю, переписы-

вался с ним по поводу проведения пасхальной службы и что они наверняка виделись в те дни. Поэтому Гоголь и посоветовал Балабиной обратиться к «штутгартскому священнику», рассчитывая даже, что тот сам придет и обвенчает молодых в Шлангенбаде. Это оказалось нереальным, но подсказка все же имела свои последствия. В том же письме Марья Петровна сообщает, что «брат Иван приехал поутру», «Вагнер придет к нам сегодня» и «мы едем все вместе в Штудгарт». Это заставляет предполагать, что именно там (а не в Берлине, как было задумано) состоялось венчание.

Неизвестно, довелось ли впоследствии еще встретиться Гоголю со своей бывшей ученицей. Но он неизменно интересовался ее судьбой, причем особенно в роли примерной и удачливой жены и хозяйки дома. Вот, например, строки из письма Плетневу от 10 июня 1847 г. в Петербург: «Передай от меня поклон Балабиным. Особенно Марье Петровне. Напиши мне хоть несколько строчек о том, как она живет своим домом. Я слышал, что она просто чудо в домашнем быту, и хотел бы знать, в какой мере и как она все делает» [XIII, 321]. И еще помета в гоголевской записной книжке 1846–1851 гг.: «М.П. Вагнер о том, как ей было вдруг перейти от идеального мира к существенному. Не затрудняет ли ее хозяйственный хлам <1 нрзб. > и как он ведется?» [VII, 386]. В размышлениях писателя семья вырисовывалась как ячейка общества, а тут перед глазами – наглядный пример, своего рода эксперимент, совершившийся не без его участия. Марья Петровна и ее муж, со своей стороны, сумели отблагодарить Гоголя после его смерти: как мы уже говорили, именно при их содействии была установлена мемориальная доска на доме № 126 на Strada Felice в Риме, где жил писатель.

Не упускал Гоголь из виду и судьбу другой женщины – своего «прекрасного брата» Александры Осиповны Смирновой. Из Парижа Смирнова с детьми должна была выехать в Россию, но когда точно и через какие города и вези – неизвестно. Будучи в Бадене, 20 июня н. ст., Гоголь в письме Жуковскому интересуется ее маршрутом и выражает готовность выехать ей навстречу. Но делать этого не пришлось: Смирнова сама приехала во Франкфурт, где находился Гоголь.

Об их новой встрече мы находим у Смирновой всего несколько скупых строк. «Мы съехались во Франкфурте. Он [Гоголь] жил в Саксенгаузене у Жуковского, а я в Hotel de Russie, на Цейле. Несчастный сумасшедший Викулин в Hotel de Rome.

Жуковский посещал Викулина всякий день, платил в гостинице и приставил к нему человека. Викулин пил, чтобы заглушить приступы своей болезни, и тем еще более раздражил свои нервы» [Смирнова, 1989, с. 56]. Воспоминания Смирновой, записанные А.Н. Пыпиным, добавляют к этой картине несколько деталей: Александра Осиповна, Гоголь и Жуковский «провели 2 нед<ели> втроем оч<ень> приятно, виделись кажд<ый> д<ень>»; Николай Васильевич в это время «был как-то беззаб<отно> весел» «и не жалов<ался> на здоровье» [Там же. С. 39].

Смирновой показалось еще, что Гоголь был тогда не в ладах «с madame Жуковскою», т. е. с женой Елизаветой Евграфовной. Конечно, та опасалась, что склонный к ипохондрии Гоголь окажет неблагоприятное воздействие на впечатлительного Жуковского. «Она сама гов<орила>, ч<то> он [Гоголь] ей в тягость, что он навод<ит> хандру на Жук<овского>» [Смирнова, 1989, с. 40]. Елизавета Евграфовна, будучи человеком нервным, тоже страдала от присутствия Гоголя; невольно создавался эффект взаимного отталкивания – как у одинаково заряженных частиц. Видимо, поэтому, предупреждая опасения Смирновой, Гоголь позднее (24 декабря н. ст.) поспешит ее уверить: «С Елис<аветой> Евграфовной тоже ладим хорошо и... лучше всего, ни ей нет во мне большой потребности, ни мне в ней» [XII, 420].

К этому периоду относится и письмо Жуковского А.И. Тургеневу от 5 (17) июля: «Смирнова была здесь несколько дней и теперь в Бадене на свидании с Вьельгорскими; нынче должна быть назад; ее дожидаются дети, оставленные ею в Hotel de Russie. Бедный Викулин весьма в плохом положении; можно бояться, чтобы не лишился ума... Разъезжает один, без камердинера. Теперь отправляется в Дрезден, где встретится с родными. Я предупредил об этом доктора Каруса. Жаль его душевно» [Жуковский, 1895, с. 302]. Письмо позволяет уточнить время пребывания Александры Осиповны во Франкфурте, растянувшегося больше чем на «два месяца», может быть, до конца июля, правда, с перерывом на ее поездку в Баден.

Контекст переписки Гоголя этой поры дает возможность более полно представить характер его франкфуртского общения со Смирновой. Александра Осиповна тяготилась парижской жизнью, находя часы отдохновения лишь в посещении церкви (в частности, слушании модного католического проповедника Гюстава Франсуа де Равиньяна), чтении трактатов Жака Бениня Боссюэ «Elevation a Dieu...» («Возвышение к Божеству...»)

и «Traité de la concupiscence...» («Трактат о воздержании...») (оба произведения были рекомендованы Смирновой Гоголем), затем в лекциях Мицкевича (между прочим, Александра Осиповна привезла с собой для Гоголя его поэму «Dziady») и концертах Листа. Но общего впечатления от французской столицы все это не изменило, и наверняка сетования на парижскую суету составляли общую тему ее беседы с Гоголем. В конце того же года (спустя несколько месяцев после встречи со Смирновой) писатель весьма экспрессивно будет отвергать приглашение Л.К. Виельгорской: «Что вы меня заманиваете Парижем, Рашелью, магазинами и прочей дрянью? Разве вы не знаете, что если бы вы жили на Чукотском носу или в городе Чухломе и пригласили бы меня оттуда к себе, описав мне всю тоску тамошнего пребывания, то я бы скорее к вам приехал туда, чем в Париж?» [XII, 426].

Париж усиливал смутное, неопределенное чувство Смирновой. «У меня на душе и не тяжело, и не легко, – писала она Гоголю 12 августа из Берлина. – Я как стоялая вода: ее можно выпить, но какая разница с ключевой, снежной! Так и моя душа застоилась от Парижа». Значит, со стороны Гоголя требовалось еще больше участия: «Пожелайте мне, пожалуйста, *любви и любви*. Я очень люблю эти слова: “избави ны от всякия скорби, гнева и нужды”, а меж тем душа моя гневалась и скорбела» [РС. 1888. № 6. С. 609; курсив в оригинале]. Очевидно, «эти слова» Гоголь говаривал Смирновой во Франкфурте, увы, не всегда достигая требуемого эффекта.

Гоголевские увещевания Смирновой, которые, как всегда, имели двойственный характер – и «упрека» и «ободрения», – приобретали во Франкфурте особый смысл, поскольку она стояла перед решающей переменой. Александре Осиповне предстояло не только возвратиться в сферу высшего света и императорского окружения, но и освоить положение жены могущественного чиновника. «...И дорога, предстоящая вам, и даль, и север, и губернаторство, и тоска, будут очень, очень, очень нужны вашей душе; а как и что и почему, и каким именно образом, обо всем этом поговорим» [XII, 311]. Об этом Гоголь и «говорил» со Смирновой во Франкфурте, напутствуя ее «в дорогу жизни».

И тут Гоголь переходит к теме, которая его в последнее время занимала все больше и больше, – о влиянии женщины. «Случалось ли вам хотя <раз задум>аться сурьезно над следующим вопросом, – спрашивает он Смирнову, – все эти разнообразные качества, которые даются женщине и которые дают ей такую власть над мужчинами, остроумье разговора, любезность

и ловкость его, неужели все это дается даром?» К этим «качествам» Гоголь мог бы прибавить и женскую красоту, воздействие которой, бывало, он и сам ощущал довольно остро.

Заданные Гоголем вопросы – риторические, ибо, как он заключает, «у Бога вряд ли дается что даром» [XII, 305]. А это значит, что все неотразимые женские чары, которые в иных случаях являются орудием пагубного соблазна, можно и нужно обратить в средство благодетельного воздействия на мужчин и общество в целом. Гоголь уже предсказывал подобную роль Анне Виельгоровской, благословляя ее на «подвиги»; развивал он такую программу и перед Марией Балабиной, имея в данном случае счастливую возможность наблюдать и результаты воздействия; теперь настал черед Александры Осиповны, что приобретало особую актуальность в свете того общественного положения, которое ей предстояло занять. Гоголь словно озабочен тем, чтобы внедрить в общество побольше «агентов», способствующих его внутреннему облагораживанию и перерождению.

Гоголь предвидит обвинение в несерьезности, утопичности своего проекта, но, – говорит он Смирновой, – «много есть вещей, на которые следует взглянуть гораздо пристальнее, чем мы глядим». И приводит подмеченные им житейские случаи, когда «женщина, даже нельзя сказать слишком умная», овладевала разговором и давала ему нужное направление. «И после разговора как будто невольно почувствовалось какое-то благоухание... Положим, что мгновенное благоухание незначущая вещь. Но хорошо, если оно остается. Один раз, другой, третий, такое благоухание для души не безделица. По крайней мере, уже носу становится не так ловко после этого в той комнате, где курят другим запахом и подпускают собственных шпионов» [XII, 305]. Значит, гоголевские «агенты» должны пересилить силу этих «шпионов».

Гоголь, мы знаем, с молодых лет ощущал мощное суггестивное воздействие женского начала, ту пучину противоречивых и порою опасных движений, которые таит в себе любовное чувство; сказался тут и роковой личный опыт – история с «незнакомкой» [см.: Книга 1]. Писатель с первых шагов своей литературной карьеры, по крайней мере с очерка «Женщина», подумывал и о том, как гуманизировать это воздействие, смягчить его разрушающие последствия и усилить созидательные и благотворные. Теперешние гоголевские советы Смирновой или Балабиной-младшей продолжают прежнее направление его мыслей, придавая ему будничность, повседневную, почти утилитарную уклон.

Между тем со стороны отношение Гоголя к Смирновой виделось порою как любовное увлечение, даже не очень, может быть, серьезное, чему способствовала устоявшаяся репутация этой женщины. В январе 1844 г. простодушная Н.Н. Шереметева таинственно сообщила Гоголю: «Я не о многом, а одно слышала, что меня за вас глубоко трогает и страшит» [Шереметева, с. 78]. И спустя два месяца «более откровенно»: «...приезжавшие все одно говорят и оттуда пишут то же, что вы предались одной особе, которая всю жизнь провела в свете и теперь от него не удалась... Мне страшно, в таком обществе как бы не отвлечлись от пути, который вы по благодати Божией избрали» [Там же. С. 90; ср.: Шенрок, т. 4, с. 198].

Гоголь прореагировал в общем спокойно: мол, так и надо, слухи посылаются человеку для удержания его от гордости и самообольщений [см.: XII, 242]. Молва достигла и Киева, о чем Гоголь узнал уже во Франкфурте; 13 апреля н. ст. он писал А.С. Данилевскому: «Ты спрашиваешь: зачем я в Ницце и выводишь догадки насчет сердечных моих слабостей. Это, верно, сказано тобою в шутку, потому что ты знаешь меня довольно с этой стороны. А если бы даже и не знал, то, сложивши все данные, ты вывел бы сам итог. Да и трудно впрочем тому, который нашел уже то, что получше, погнаться за тем, что похуже» [XII, 290]. У Данилевского были свои основания для догадок: не ему ли Гоголь признавался в свое время, что дважды преодолевал сильное любовное чувство, которое чуть не увлекло его в пропасть. Опыт последующего совместного времяпрепровождения (например, в Париже в 1836–1837 гг.) если и не предоставил в распоряжение Данилевского соответствующих подтверждений, то, во всяком случае, не исключил возможность новых догадок. Но теперь Гоголь недвусмысленно дает понять, что эта сторона жизни для него уже не существует, ибо он нашел «то, что получше».

Предвидит он опасность подобных слухов и для Смирновой по ее возвращении в Петербург. «Слухи эти изрядно черны и, может быть, даже гораздо хуже тех, которые бы вы могли себе вообразить и представить; но тем не менее, как бы они несправедливы и бесстыдны ни были, примите их как должное». Слухи и оскорбления следует обратить в свою пользу: «...не преодолевая этих оскорблений, вы будете далеки от *любви*. Она загорается тогда только, когда дружишься с оскорблением<ми>, то есть не только умеешь переносить их, но даже ищешь их» [XII, 337, 338; курсив в оригинале]. Снова это и косвенное наставление самому

себе, род самовнушения. И одновременно элемент режиссуры собственного поведения и его восприятия на общественной и литературной сценах. Контраст между видимостью и реальностью, сама степень наговоров, искажений, порой прямой клеветы потом, когда выяснится правда, породит в обществе эффект раскаяния по отношению к автору, словом, предоставит фору создаваемой им книге жизни.

Между тем работа над второй частью шла трудно, с беспрестанными остановками – не так, как рассчитывал писатель, отправляясь в Германию. Гоголь – Языкову, 14 июля н. ст. 1844 г. из Франкфурта: «Ты спрашиваешь, пишутся ли М<ертвые> д<уши>? И пишутся и не пишутся. Пишутся слишком медленно и совсем не так, как бы хотел, и препятствия этому часто происходят и от болезни, а еще чаще от меня самого. На каждом шагу и на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть... Я иду вперед – идет и сочинение, я остановился – нейдет и сочи<нение>. Поэтому мне и необходимы бывают часто перемены всех обстоятельств, переезды, обращение к другим занятиям, не похожим на вседневные, и чтение таких книг, над которыми воспитывается человек» [XII, 331–332].

В июне–июле во Франкфурте побывало много приезжих из России: московский вице-губернатор Петр Петрович Новосильцев, отличавшийся общительностью и, по словам Гоголя, «знакомый всем нашим литераторам» (в свое время он был «знаком» и Пушкину); приезжал и Александр Павлович Галахов, брат известного участника герценовского кружка И.П. Галахова, с женою Софьей Петровной (урожденной Мятлевой), а также Н.А. Мельгунов.

Николай Александрович Мельгунов (1804–1867), прозаик, критик и композитор, был известен, в частности, тем, что участвовал в создании книги немецкого писателя и критика Г. Кенига (H. König) «Literarische Bilder aus Russland» («Литературные картины России») (Stuttgart; Tübingen, 1837), где находилась обстоятельная и очень сочувственная характеристика гоголевского творчества. Встречи Мельгунова и Гоголя во Франкфурте, а может быть, и в иных городах Германии, продолжились; 22(10) октября 1844 г., накануне своей женитьбы, Мельгунов писал из Мангейма Шевыреву: «Под моим обыском свадебным подписались Жуковский и Гоголь, заходящее и восходящее солнце русской словесности» [Кирпичников, 1903, с. 199].

Гоголь ждал каждого нового приезжего с надеждой, что ему привезут книги, которые он заказывал московским и петербургским знакомым, но книги приходили с опозданием и не все. Сетование на то, что люди приезжают к нему «с пустыми руками», просьбы относительно «хотя каких-нибудь русских книг, даже скучных, лишь бы нечитанных» [XII, 335], означали, что в написании поэмы вновь наступила заминка.

В конце июня Гоголь едет в Остенде, курорт на побережье Северного моря; к перемене места и «всех обстоятельств» его толкает обострение болезни («такие несносные и такие тягостные припадки, каких я давно не испытывал» [XII, 332]), а также желание еще раз встретиться с Виельгорскими и со Смирновой, которая тоже собиралась здесь быть. «Гоголь был здесь и уехал в Остенду, – пишет Жуковский А.И. Тургеневу 25 (13) июля из Франкфурта, – бедный часто страдает нервами, и страшно за него» [Жуковский, 1895, с. 304].

По приезде Гоголь принимает морские ванны и с нетерпением ждет своих друзей. 1 августа (20 июля) Жуковский сообщает ему, что Виельгорские пробудут в Остенде всего день или два, а потом отправятся в Англию, в Дувр, куда хорошо бы поехать и Гоголю: «... море полечит тело, а их [т. е. Виельгорских] добрые души сохраняют здоровье души» [Переписка, т. 1, с. 181]. Это расстроило Гоголя, боявшегося морского путешествия и вынужденного остаться в Остенде. Правда, сюда заехал А.П. Толстой, но все же планы писателя относительно «прожития» и основательного общения «с близкими душе людьми» не осуществились. Оставалось терпеливо принимать морские процедуры, запастись силами.

Гоголь – Жуковскому, 6 августа н. ст.: «Я уже начал купаться и понемногу как будто бы стал поправляться» [XII, 334]. Тому же адресату 1 сентября н. ст.: «Я, слава Богу, кажется начинаю чувствовать пользу от купанья» [XII, 340]. И позднее, 12 ноября н. ст., уже по возвращении из Остенде, Языкову: «... море северное... произвело на меня то, чего я никогда не чувствовал, купаясь в южном... Чем хуже погода, чем холоднее, чем сильнее ветры и буря, тем лучше, и выходишь из воды чорту не брат» [XII, 372].

По словам гоголевского биографа, писателя «видали каждый день, в известные часы, в черном пальто и в серой шляпе, бродящим взад и вперед по морской плотине, с наружным выражением глубокой грусти. Но только для людей, знавших его издали, он казался в Остенде несчастным ипохондриком, вечно одиноким и задумчивым. Один из его друзей (это скорее всего А.П. Тол-

стой. – Ю. М.) 6 ноября 1844 г. писал ему из Парижа: «В Остенде вы и *нас* и *всех* оживляли своею бодростью» [Кулиш, 1856, ч. 2, с. 17; курсив в оригинале].

Гоголь мечтает о возвращении во Франкфурт, где можно будет наконец вместе с Жуковским «засесть... солидным образом за работу».

Но перед этим Гоголь побывал еще в Брюсселе, где встретился с Виельгорскими, Луизой Карловной и дочерьми. Сюда же в это время возвратился из Англии граф Михаил Юрьевич Виельгорский, у которого Гоголь выспрашивает об английской жизни разные сведения – для собиравшегося в эту страну А.П. Толстого. Гоголя и самого очень интересовало общественное устройство, быт и нравы англичан («рассказы об аглицком китайстве преувеличены», – замечает он, в частности) – интересовали в контексте его главной мысли о необходимости многостороннего взгляда на Европу и Россию. Но отправиться в Англию он не решался. «Поездка в Англию будет слишком необходима мне, хотя внутренно я не лежу к тому и хотя не знаю, будут ли на это какие средства» [XII, 146], – писал он 28 февраля н. ст. 1843 г. Шевыреву.

Наконец, 16(4) сентября Гоголь выезжает из Брюсселя во Франкфурт.

Три с лишним месяца – с конца сентября 1844 г. по начало января следующего года – выдались для Гоголя довольно спокойными и в творческом отношении плодотворными. Писатель жил теперь не в гостинице (обычно это был Hotel de Russie), а в доме Жуковского, в районе Заксенхаузен (Sachsenhausen), точнее – возле Salzwedelsgarten vor dem Schaumeintor. По описанию современника, это был «двухэтажный небольшой домик», «на набережной, на другой стороне моста», «окнами на Майн» [Жуковский, 1999, с. 344]. Все здесь дышало уютом, располагало к работе. «Ты знаешь, какой мастер Жуковский устраиваться, – сообщал А.И. Тургенев П.А. Вяземскому, – но он превзошел здесь себя во вкусе уборки дома, мебели, гравюр, статуэток, бюстиков, и всей роскоши изящных художеств. Все на своем месте, во всем гармония, как в его поэзии и в его жизни!» [Соловьев, 1912, с. 82].

Гоголю была выделена комната на втором этаже. В октябре Жуковский сообщал А.И. Тургеневу: «На верху у меня гнездится Гоголь: он обрабатывает свои Мертвые души» [Жуковский, 1895, с. 305].

Около того же времени в этом доме побывал литератор и издатель И.Е. Бецкий, который рассказал о своих впечатлениях

тому же Тургеневу, а последний – читателям «Москвитянина» в одном из фрагментов своей «Хроники русского»: «При сем случае он [Бецкий] может известить читателей ваших и о Гоголе, который гнездится над переводчиком “Одиссеи” и читает перевод ее вслух переводчику; думает, что Гоголь *ничего не пишет*; так ему показалось, но Жуковский извещал меня, что он все утро над чем-то работает, не показывая ему труда своего» [Тургенев, с. 243; курсив в оригинале].

Неудивительно, что Гоголь не стал посвящать гостя в свои труды: он всегда сторонился малознакомых людей, а на Бецкого у него была еще и обида (об этом далее). Однако Тургенев знал со слов Жуковского, над чем работает Гоголь (интересно, между прочим, что автор «Хроники» буквально повторил выражение своего корреспондента – «*гнездится* Гоголь»), но, уважая тайну писателя, не раскрыл ее читателям «Москвитянина».

По настроению Гоголя видно, что труд его, хотя и медленно, продвигается, вдохновение возвращается к нему. А.М. Вильгорской, 23 ноября н. ст.: «Слава Богу, нахожусь в положении обыкновенном, т.е. не сию совершенно за делом, но не бегаю от дела, и прошу Бога о ниспослании нужного одушевления для труда своего, свежести сил и бойкости пишущей руки» [XII, 375]. А.О. Смирновой, 24 декабря н. ст.: «Скажу вам только то, что я не замечаю, что я живу во Франкфурте, живу я там, где живут близкие мне люди, а наиболее живу в работе... С Жуковским мы ладим хорошо и никак не мешаем друг другу, каждый занят своим» [XII, 420]. Н.Н. Шереметеву Гоголь просит помолиться, чтобы были у него силы «для нынешнего труда» и «чтобы совершить его таким образом, чтобы он доставил не минутное удовольствие некоторым, но духовное удовольствие многим, и чтобы всех равно более приблизил к... небесному творцу нашему» [XII, 365].

В ноябре 1844 г. Гоголь задним числом признавался, что лето у него пропало: «Нервы до такой степени были расстроены, что не в силах был не только что-нибудь делать, но даже ничего не делать...» [XII, 372]. Осень и зима в восприятии Гоголя освещались другим, более радужным светом.

Из Остенде и Брюсселя, как заметил Мельгунов, Гоголь «возвратился бодрым, оживленным: таким, по крайней мере, он мне показался. Первого тома “Душ” препечатывать не хочет, пока не издаст по крайней мере второй части» [Кирпичников, 1903, с. 199].

Сведения о благотворной перемене с Гоголем исподволь расходились среди знакомых и друзей. Вяземский писал Жуков-

скому из Петербурга 4 ноября 1844 г., обыгрывая название поэмы: «Мой сердечный поклон живой душе Мертвых душ» [Памятники, с. 50]. Луиза Карловна Виельгорская, приглашая Гоголя в Майнц, просила его 23 октября: «Привезите, во-первых, самого себя, да кстати и “Мертвые души”» [Шенрок, т. 4, с. 928; поездка эта, кажется, не состоялась].

А из Москвы в сентябре того же года Гоголю писал Н.М. Языков: «Про тебя ходят здесь слухи распрекрасные, именно говорят, что у тебя уже готовы еще *две части* “Мертвых душ” и сверх того ты написал “Записки русского генерала в Риме”» [Переписка, т. 2, с. 385–386; курсив в оригинале]. Гоголь в ответ заметил, что это уж слишком, что «прекрасные слухи» проистекают из определенного источника: «Я подозреваю, что в Москве есть один какой-нибудь этакой портной, который шьет сам на всю Москву. Благо есть дураки, которые ему заказывают» [XII, 364]. Предприимчивый «портной» – это, конечно, давний «приятель наш» – черт; он навевает тоску и уныние, он же плетет паутину слухов.

Для авторского самоощущения Гоголя в этот период показательна его бурная реакция на стихотворение Языкова «Землетрясение», появившееся в «Москвитянине» за 1844 г. (№ 10) и вошедшее в его сборник «N. S. [56] стихотворений» (М., 1844). «Какое величие, простота и какая прелесть внушенной самим Богом мысли! Оно верно произвело у нас впечатление на всех... Жуковский подобно мне был поражен им и признал его лучшим русским стихотворением ...» [XII, 377]. Сам Гоголь читает его «почти всякий день» – как молитву.

Гоголевское мирозерцание с самой ранней поры развивалось под знаком стихийного бедствия, катастрофы, вызываемых участием высших сил, которые поражают и карают, сеют ужас и отчаяние [Манн, 1996, с. 53]. События эти приобретали вид природного катаклизма – извержения вулкана (статья «Последний день Помпеи») или землетрясения («Страшная месть»); они запечатлелись и в легендарном прошлом, «в старину случившемся деле», и в тревоблениях современной жизни, сложно преломляясь в организации всех уровней художественного текста («Ревизор», особенно его «немая сцена» [Там же. С. 207–214; 329–339]). В стихотворении Языкова Гоголь нашел предельно концентрированное выражение этого комплекса и высшую степень его актуализации; чуть позже, в «Выбранных местах...», в статье «Предметы для лирического поэта...», он распространит найденный образ на всю

современную эпоху – на «тяжелую годину всемирного землетрясения, когда все помутилось от страха за будущее» [VIII, 278].

Но Гоголь нашел в стихотворении и нечто новое – четкое запечатление выхода из «тяжелой години». «Страшная месь», «Ревизор» или, скажем, статья о картине Брюллова лишь фиксировали дух всеобщего потрясения и катастрофы; «спасительная» перспектива не исключалась, но выводилась опосредованно, сложно, как это бывает обычно при моральных интерпретациях текста. Теперь Гоголю этого мало: стихотворение дает ему прямое изображение человека «избранного», отмеченного перстом высшей «невидимой силы», что служит своего рода эмблемой посреднической роли поэта – между Богом и страждущим, погрязшим в грехах человечеством:

Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха,
И ликам ангельским внемли,
И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины, –
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены.

Гоголь настоятельно рекомендует стихотворение Языкова своим друзьям, прежде всего тем, кого он уже определил на роль избранных. «Прочтите его ... несколько раз. Оно так возвышенно, просто и прекрасно и так кстати в нынешнее время, что его многим нужно читать, особенно тем, которые рождены ободрять других, стало быть и вам» [XII, 421], – писал он Смирновой. Удостоилась этой чести и Анна Виельгорская: «Землетрясение» Гоголь послал ей «в подарок на новый [1845] год». «Стихотворение это она должна прочесть несколько раз и то, что в нем говорится о поэте, должна применить к себе. Не худо, если и Луиза Карловна сделает то же» [XII, 410].

На впечатление от стихов Языкова наложилось другое событие: в октябре и ноябре сразу от двух своих корреспондентов, Смирновой и Анны Виельгорской, Гоголь узнал о случившемся в Иерусалиме. Вот версия, переданная Анной Михайловной в письме из Парижа от 12 ноября (в свою очередь, Виельгорская основывалась на сообщении из Петербурга «от паленьки»): «В Иерусалиме во время обедни раздался небесный голос. Патри-

арх Иерусалима говорил, что это предвещает большие бедствия всему миру. Он велел всем говорить раз ежедневно следующую молитву, которую уже многие знают в Петербурге [далее следовал текст молитвы]. Каждый говорящий сию молитву должен стараться сообщить ее девяти другим особам». Этот «удивительный случай», по словам Анны Михайловны, «смутил» и ее, и «маменьку» Луизу Карловну. «Пожалуйста, любезный Николай Васильевич, говорите ее [молитву] каждый день и старайтесь сообщить ее дальше. Что вы об этом думаете? Напишите мне скоро» [ВЕ. 1889. № 10. С. 490].

Гоголь отвечал: «Если молитва пришла в наши руки, то по ней следует молиться». И поинтересовался, «между каким классом наиболее разошлась в Петербурге эта молитва и кто ее доставил. И молится ли Петербург, помышляя в то же время о себе и рассматривая жизнь свою, или просто повторяет одни только слова молитвы, не входя в них душою и сердцем» [XII, 374–375]. Ведь «небесный глас», сообщает Гоголь матери 12 декабря, «был истолкован патриархом, как пророчащий бедствия миру, если он не покается». Поэтому, молясь, «нужно слишком строго взглянуть на самого себя, рассмотреть протекшую жизнь свою и исправить значительно настоящую» [XII, 379].

В соответствии с наставлением патриарха Гоголь решил принять участие и в распространении молитвы: послал текст матери, веля читать «всякий день со вниманием». «То же должны сделать и сестры. Не мешает также прочесть ее и многим домашним, а особливо тем из живущих в нашей деревне, которые ленивы, нерадивы и дурно ведут себя» [XII, 380]¹⁴⁹.

Молитвенное расположение для Гоголя – это и проблема самооценки, бесконечно усложнявшейся и вызывавшей постоянную рефлексю. В этом свете следует рассматривать и бурную, как сейчас сказали бы, неадекватную реакцию писателя на появление в печати двух его портретов – в 11-м номере «Москвитянина» за 1843 г. и в книге «Молодик на 1844 год, украинский литературный сборник» (СПб., 1844). В «Москвитянине» была опубликована литография П. Зенкова с портрета, принадлежащего кисти А. Иванова; в «Молодике» – литография с рисунка Карла Мазера. На обоих издателей – Погодина и Бецкого – обрушился весь гнев оригинала портретов.

Иван Егорович Бецкий (1817–1891), писатель и издатель, выпускник историко-филологического факультета Харьковского

университета, питал глубокое уважение к гоголевскому творчеству, о чем свидетельствует его письмо от 11 марта 1840 г. Погодину из Харькова [см.: ЛН. Т. 58. С. 584–586]. Публикация портрета – «великолепного», по слову Бецкого [Там же. С. 666], – являлась выражением этого чувства. Неудивительно и то, что, совершая в 1844 г. путешествие по германским землям, Бецкий решил захватить во Франкфурт.

Согласно его собственному рассказу, он явился в дом Жуковского в Заксенхаузене по своему почину вместе с кн. В.П. Голицыным, который и представил его поэту [Жуковский, 1999, с. 344]. А по гоголевской версии, Бецкий пришел, откликаясь именно на его приглашение, «для принятия от меня [т. е. Гоголя] личного распеkania» [XII, 363]. Сохранилась гоголевская записка, подтверждающая сам факт приглашения [см.: XII, 361]. Между тем в своих опубликованных воспоминаниях Бецкий даже не назвал имя Гоголя, хотя в устном рассказе А.И. Тургеневу дал понять, что с писателем они виделись; очевидно, говорил он об этом и своему приятелю Н.Ф. Щербине (Бецкий «был у Гоголя, у Жуковского...», – сообщал Щербина 30 мая 1845 г. В.М. Лазаревскому [ЛН. Т. 58. С. 668]). Видимо, Гоголь выразил Бецкому столь резкое неудовольствие, устроил такое «распеkanie», что тот просто не рискнул публично упоминать о встрече, тем более что воспоминания предназначались для «Москвитянина» (появились в третьей части за 1845 г.), т. е. журнала, также провинившегося перед Гоголем публикацией его портрета.

Отклик Гоголя на поступок издателя «Москвитянина» оказался еще более эмоциональным. «Если бы Булгарин, Сенко<вский>, Полевой, – писал он Языкову 26 октября н. ст., – совокупившись вместе написали на меня самую злейшую критику, если бы сам Погодин соединился с ними и написал бы вместе все, что способствует моему унижению, это было бы совершенно ничто в сравнении с сим» [XII, 363–364]. Вот как! Не более, не менее как «унижение», превосходящее самую злую критику...

Даже такому близкому к Гоголю человеку, как Шевырев, трудно было уразуметь причину столь бурного гнева. «Я решительно не понимаю, за что ты тут рассердился», – пишет он Гоголю из Москвы 15 (27) ноября, последовательно опровергая один возможный довод за другим. Портрет недостаточно хорош? «...Но если государь Николай Павлович не сердится на свои дурные портреты, то зачем же оскорбляться твоему литературному величеству?» Опубликован без спроса? «Конечно, лучше б было спроситься. Но чем

же обидел он твое смирение или твое самолюбие? Смирение твое не может страдать от этого, потому что славу твою ты не утаишь же от России...» Нарушение прав собственности? Но даже смешно предположить, что Гоголь исповедует их в такой утрированной форме. – «...Конечно, ты за тем и не подумал гнаться».

Шевырев упоминает случаи, известные ему как профессору Московского университета: мол, один студент попросил подарить ему гоголевский портрет, потому что «желал украсить им свою комнату»; другие студенты сами вырвали портрет из журнала. «...Из этого ты видишь только, что портрету твоему, даже и не так удачному, радо молодое поколение, тебе вполне сочувствующее» [Переписка, т. 2, с. 304]. Шевырев и не догадывался, что этими фактами он еще больше разбередит рану.

«...Друг мой, – отвечает ему Гоголь 14 (2) декабря, – ведь я знал, что меня будут выдирать из журналов. Поверь мне, молодежь глупа». Глупа, потому что склонна создавать себе «идолов». И тут достается уже портрету, поскольку тот оказался не на своем месте, т. е. сыграл роль идола. «Рассуди сам, полезно ли выставлять меня в свет неряхой, в халате, с длинными взъерошенными волосами и усами? Разве ты сам не знаешь, какое всемо этому дают значение? Но не для себя мне прискорбно, что выставили меня забулдыгой» [XII, 393]. Если «не для себя», то для кого же? – Для публики, для всего читающего русского мира.

Возникает вопрос: а если бы Гоголь был «выставлен» не в домашней одежде, а, так сказать, почти официально, – устроила бы его публикация такого портрета? Собственно на это ответил сам писатель, который еще до истории с «Москвитянином» наложил строжайший запрет на вполне чинный портрет кисти Ф.А. Моллера. «Спрячьте его в отдаленную комнату, – пишет он матери 12 июня н. ст., – зашейте в холст и не показывайте никому. <...> Копии снимать с него никому не позволяйте. Это мое желание» [XII, 322].

Отношение Гоголя к собственному портрету – психологическая модель его писательского поведения как автора «Мертвых душ»: бесконечного совершенствования текста, неудовлетворенности, откладывания решающего момента встречи с читателем.

Но вот что интересно: несколькими годами позже, в «Завещании», включенном в «Выбранные места...», Гоголь, возвращаясь к истории с портретом, заговорил о ней торжественно-оскорбленным, почти трагическим тоном: «Завещаю... но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом

похищено у меня право собственности...» Значит, это право – все-таки не безделица для Гоголя?

И затем: о каком конкретно портрете идет речь, портрете, который Гоголь хотел бы передать для гравирования Ф.И. Иордану и который мог бы разойтись во множестве экземпляров? Контекст гоголевского «Завещания», а также более поздние письма А.А. Иванова по поводу этого документа [процитированы по подлинникам в кн.: Машковцев, 1982, с. 97–98] не оставляют сомнения в том, что подразумевается именно злополучный портрет, появившийся в «Москвитянине». Значит, ситуация предстает совсем в другом свете...

Автор исследования «Работа Иванова над портретом Гоголя» считает, что погодинская публикация сорвала замысел, лелеемый художником и его прототипом: по мысли обоих, на картине «Явление Мессии» Гоголь должен был предстать в образе «кающегося грешника», со «скорбным лицом», для чего Иванов и делал свои этюды, один из которых литографировал П. Зенков. Таким образом, «полной профанацией этого замысла была публикация погодинского портрета, интимного, домашнего, где изображен Гоголь-весельчак, Гоголь приятельского круга... Он ясно представлял себе, как будет реагировать читатель, неожиданно встретив почти улыбающуюся физиономию того, от кого можно было ожидать серьезного и глубокого поучения» [Машковцев, 1982, с. 106; точку зрения Машковцева целиком разделяет современная немецкая исследовательница – см.: Друбек-Мейер, с. 334–337].

Хорошо, но ведь Гоголя как автора «Выбранных мест...», книги, более чем любая другая претендующей на «серьезное и глубокое поучение», – такого Гоголя встреча читателей с подобным его портретом ничуть не шокирует. Он лишь сожалеет, что не может распорядиться портретом ввиду совершившегося «похищения»...

Все дело, очевидно, в том, что были задеты очень глубокие слои гоголевской психики, а значит, и авторского самочувствия, и связано это было не столько с конкретным характером портрета, сколько с самим фактом его появления. В недошедшем до нас письме от 12 ноября н. ст. Шевыреву Гоголь заметил, что история с портретом осложняет работу над «Мертвыми душами», – и эти слова вызвали полное недоумение у его адресата: «Каким же образом могло это обстоятельство произвести значительное изменение в твоих работах и во времени выхода в свет труда твоего, – этого я уж никак и понять не могу» [Переписка, т. 2, с. 305].

Гоголь отвечает, что портрет – только «последний хвостик» его психологического состояния, «и для того чтобы объяснить что-нибудь, нужно... подымать из глубины души такую историю, что не впишешь ее на многих страницах» [XII, 393]. Гоголь пояснил это состояние лишь в «Завещании», пояснил способом от противного, т. е. с помощью, так сказать, идеальной перспективы: что было бы, если бы сполна была достигнута его жизненная цель, завершено писательское поприще, а это значит – создана во всем объеме поэма? «...Только в таком случае, предполагал себе это позволить (т. е. разрешить публикацию портрета. – Ю. М.), если бы помог мне Бог совершить тот труд, которым мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притом совершить его так, чтобы все мои соотечественники сказали в один голос, что я честно исполнил свое дело, и даже пожелали бы узнать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не хотел пользоваться незаслуженной известностью» [VIII, 223]. «Все мои соотечественники сказали в один голос...» Да мыслимо ли такое? Значит, выдача авторской лицензии на портрет откладывалась на неопределенное, бесконечное время.

Между тем важна была провозглашенная Гоголем последовательность: *вначале* «Мертвые души», *потом* портрет. Современники, конечно, знали или предполагали, как внешне выглядит автор, многие даже встречались с ним воочию. Но они должны были при этом помнить, что автор работает «в тишине», чуждается публичности, известности, славы, смиренно обрекая себя на одиночество и ежедневный труд. Появление портрета грубо нарушило авторское амплуа, вторглось резким диссонансом в авторское поведение.

Такое поведение Гоголя наметилось давно: вспомним, как несколькими годами раньше, когда в Москве давался «Ревизор» и возникла необходимость выйти на сцену, он чуть ли не стремглав бежал из театра... Поступок этот того же плана, что и «уклонение от портрета». Автор не должен восприниматься рядом с текстом, вне текста, в придачу к тексту. Чтение Гоголем своих произведений в узком кругу – другое дело: не говоря уже о камерности аудитории, тут сама манера его чтения, наивно-лукавая, простодушная, неаффилированная, когда исполнитель, по словам И.С. Тургенева, погружается «в самое дело», всецело растворяется в тексте, – сама манера этого чтения способствовала такой установке. Внетекстовые ассоциации к авторскому амплуа и его облику не исключались, но они должны были возникнуть легко, с известной долей

свободы и даже тайны, без той жесткой предопределенности, которую создает видимый и повторенный во множестве копий портрет. Причем, надо подчеркнуть, *любой* портрет: даже если бы автор предстал в виде кающегося, или аскета, или святого – это не изменило бы дела.

К периоду работы над поэмой, ее вторым томом, эта внутренняя гоголевская установка еще более усилилась, ведь в читательском воображении должен был предстать автор *особого* произведения, разрешающего тайну русской жизни. И в силу этого, повторяем, лицензия на такой портрет отодвигалась в конце концов на неопределенное будущее – не только потому, что ставилась в зависимость от недостижимого идеала, ибо полное единодушие потенциальных читателей поэмы заведомо исключалось, но и потому, что объявленная смерть автора, к счастью, не произошла и, следовательно, его распоряжение о портрете вместе со всем «Завещанием» дезавуировалось.

Пока создавалось произведение, призванное коренным образом повлиять на судьбы соотечественников, Гоголь занимался жизнестроительством в ближайшем своем кругу, среди друзей и знакомых, особенно женщин. С помощью Смирновой он пытается наладить не очень-то счастливую семейную жизнь Соллогубов, Софьи Михайловны и Владимира Александровича.

Теперь супруги возвращаются в Петербург, и Смирнова уполномочивается создать для этого благоприятную атмосферу. «Употребите все старание, чтобы свет и общество сколько-нибудь узнали, какой прекрасный цветок поселился среди их. От этого будет зависеть и самое уважение к нему мужа...» Следует наставить Софью Михайловну, как строить семейный бюджет, как загодя выговорить себе деньги «на всякие непредвиденные случаи», а то «муж, разумеется, все остальное приберет к себе». Далее следует объяснить, сколь важны во взаимоотношениях мужа и жены система и порядок, «чтобы виделись они друг с другом не иначе, как по окончании дела и занятия, чтобы у каждого были отдельно свои комнаты и кабинет для занятия, так чтобы панталоны Владимира Александровича не заходили бы в кабинет жены – отдыхать на столе или диване» [XII, 345, 346]. Гоголь говорит как человек, имеющий за плечами долгий опыт семейной жизни...

Не ограничиваясь Смирновой, Гоголь, как сегодня сказали бы, *напрямую* обращается к Софье Михайловне: «Вы едете теперь на новоселье, на новую жизнь, на новое хозяйство. Прежде всего за-

ведите в доме с самого начала порядок во всем, особенно порядок во времени... И еще: положите между собою так, чтобы каждый из вас, откуда бы ни пришел и ни возвращался домой, не шел бы прямо друг другу на встречу, а зашел бы прежде в свою уборную и заглянул бы в зеркало, чтобы поправить на себе все во внешнем и во внутреннем или душевном смысле...» Тут же прилагается и перечень «предметов», на которых следует срывать зло, чтобы восстановить спокойствие: «можно швырнуть стул, высечь подушку, можно даже разбить флакон или чернильницу...» [XII, 347, 348].

Случалось Гоголю в то время давать советы и наставления по более серьезным, грустным поводам. 24 марта 1844 г. внезапно умерла его старшая сестра.

Жизнь Марии Васильевны сложилась не очень счастливо: двадцати пяти лет с маленьким ребенком на руках, кстати, крестником Николая Васильевича, получившим в честь него свое имя, она овдовела. Гоголь узнал о случившемся за границей, в Швейцарии, и вот каким образом утешал он потрясенное горем семейство: «...мы должны быть тверды и считать наши несчастья за ничто, если хотим быть христианами... Такие ли бывают несчастья! Сколько есть на земле людей, которые, может быть, несчастья наши почли бы только за слабые огорчения в сравнении с другими жесточайшими!» [XI, 64]. Гоголь, конечно, прав, но рискованно ободрять ввиду смерти близкого человека перспективой еще большего несчастья.

Затем, спустя примерно год, перед Марией Васильевной замаячила надежда на новое замужество. Кто был реальный претендент на ее руку, неизвестно. Младшая сестра Ольга Васильевна (в замужестве Головня) упоминает А.С. Данилевского, однако дает понять, что никакой взаимности с его стороны не наблюдалось. «Ей хотелось выйти замуж за Данилевского, а он и не думал о ней, хотя и приезжал к нам, как к матери его друга... а она вообразила, что к ней...» [Головня, с. 17]. Из письма же Гоголя к матери видно, что потенциальный жених происходил «из чужой губернии» и в их доме бывал всего несколько раз, – и поэтому Николай Васильевич советует осмотреться, собрать как можно больше сведений, посоветоваться с каким-нибудь «рассудительным человеком», хотя бы, например, с приехавшим на Полтавщину неким Владимиром Юрьевичем Леонтьевым (по словам Данилевского, это сводный брат А.А. Трощинского, генерал [Письма, т. 1, с. 239]).

Советы Гоголя дышат практичностью и благоразумием: «Вы сказали только, – обращается он к матери 5 февраля н. ст.

1838 г., – что жених с состоянием, но ни слова не сказали, как велико это состояние. Если это состояние немногим больше ее собственного, то это еще небольшая вещь. Она должна помнить, что от ней пойдут дети, а с ними тысячи забот и нужд, и чтобы она не вспоминала потом с завистью о своем прежнем бытѣ» [XI, 126]. С таким же предостережением обращается Гоголь к самой Марии Васильевне: «Величайшее благоразумие ты теперь должна призвать в помощь и помнить, что ты теперь не девушка и что нужно, чтобы партия была слишком, слишком выгодная, чтобы решиться переменить свое состояние и продать свою свободу» [XI, 120]. О любви, сердечной склонности, простой человеческой симпатии Николай Васильевич ничего не говорит и сестру об этом не спрашивает...

И вот теперь пришло известие о смерти Марии Васильевны.

Гоголь отправился из Франкфурта в Штутгарт, где была русская церковь, отслужил панихиду – в тот же день, когда состоялась панихида по Екатерине Павловне, дочери императора Павла, королеве вюртембергской, скончавшейся четверть века назад. Потом обратился с утешением к матери, к сестрам: «...отгоните от сердца всякое сокрушение. Иначе это будет грех. Молитесь о ней, но не грустите... Несчастья не посылаются нам даром...» [XII, 316].

Но тут последовали сообщения о новых несчастьях – умерла жена Погодина Елизавета Васильевна, умер друг аксаковского семейства литератор и ученый Дмитрий Максимович Княжевич, также знакомый Гоголю; они встречались, мы помним, и в Риме и в Москве.

Николай Васильевич отозвался на эти события в своем духе: «...поблагодарим покойников за жизнь и за добрый пример, нам данный, помолимся о них и скажем Богу за все спасибо, а сами за дело!» При этом Гоголь сделал любопытное признание: «Прежде утраты меня поражали больше...» [XII, 404]. Действительно – вспомним только его бурную реакцию на кончину Иосифа Виельгорского, случившуюся пять лет назад. Теперь такое поведение показалось бы ему недостаточно христианским: «...во-первых, потому что я вижу со дня на день яснее, что смерть не может от нас оторвать человека, которого мы любили, а во-вторых потому, что некогда и грустить: жизнь так коротка, работы вокруг так много...» [Там же].

Самое любопытное, что кончину Елизаветы Васильевны Гоголь счел подходящим поводом, чтобы без промедления, «по горячим следам», заняться воспитанием овдовевшего мужа. «Я знаю, – говорит он ему, – что покойницу при жизни печалили

два находящиеся в тебе недостатки. Один ... состоит в *отсутствии такта* во всех возможных родах приличий.... Другой недостаток твой, который также нередко смущал покойницу, искренно желавшую, чтобы его в тебе не было – это гнев». Гоголь словно говорит от имени умершей: «Почему знать, может быть и это письмо, которое пишу тебе, внушилось мне вследствие ее же небесных молений о тебе...» [XII, 401, 402–403; курсив в оригинале].

Еще одно печальное известие, правда, не столь трагическое, Гоголь получил несколькими месяцами позже, по возвращении во Франкфурт из Парижа. С.Т. Аксаков сообщил ему, что слепнет, что не может читать и работать. В ответ Николай Васильевич посоветовал видеть в этом благорасположение Бога: «Отнимая мудрость *земную*, дает он мудрость *небесную*; отнимая зренье *чувственное*, дает зренье *духовное*, с которым видим те вещи, перед которыми пыль все вещи земные» [XII, 482–483; курсив в оригинале]. Но Сергея Тимофеевича такие слова не утешили: «Я хотел от вас живого участия, боялся даже, что слишком вас огорчил... Я человек, и потому хотел человеческого огорчения, ропота... Я слепну, рвусь от тоски и гнева, прихожу в отчаяние иногда, и вы думали меня утешить, сказав, что слепота ничего не значит?..» [Аксаков С., с. 159]. Тут Сергей Тимофеевич мог бы переадресовать Гоголю его же упрек Погодину в недостатке такта.

А между тем Гоголь хотел лишь быть последовательным до конца, не делая никаких исключений ни для себя, ни для других. В горячо рекомендуемой друзьям книге Фомы Кемпийского он опирался на положения о преодолении страданий и приверженности высшим ценностям. Из Златоуста он выписывает наставление о должном отношении к утратам: «Когда ты видишь, как выливают статую, то не говоришь, что вещество, которое для него расплавляется, пропадет, но что оно принимает лучший образ. Так рассуждай и о теле и не плачь» [Письма, т. 2, с. 446]. Сам Гоголь в трактате «Правило жития в мире» так сформулировал главное «правило»: «Любить Бога значит любить Его в несколько раз более, чем отца, мать, жену, мужа, брата и друга...» [Хетсо, с. 58]. Собственно к своим родным или к Погодину он обращал именно это требование. Но острота проблемы заключалась в том, чтобы, будучи христианином, все же платить «полную дань своей человеческой природе» – как сказал Сергей Тимофеевич еще в связи с потерей младшего сына Миши.

Впрочем, встречая сильное возражение или ответный упрек, Гоголь обычно готов был признать, что «попал в фальши-

вую ноту», «написал глупое письмо»; но все равно требовал, чтобы таковые письма прочитывались «в другой и третий раз» [XII, 403] – и тогда откроется их благая цель. Гоголю были свойственны гибкость и антидогматизм особого рода, когда он отступался не только от «буквы», но, можно сказать, от текста ради сохранения еще не проясненного и не найденного до конца смысла. И тут он проводил прямую аналогию между своим бытовым, повседневным поведением и творчеством, – и на этот раз тот или иной его поступок являлся моделью художественных произведений или даже их совокупности. «...Сколько я натворил глупостей в моих сочинениях, именно стремясь к той полноте, которой во мне самом еще не было...» [XII, 405–406]. Отсюда «целые облака недоразумений», которые произошли как в литературной деятельности, так и «в делах моих прозаических, в отношениях дружественных» [XII, 384]. Значит, надо неустанно искать форму – в общении это вело к постоянным разъяснениям, уточнениям, оговоркам, оправданиям; в художественном творчестве – к нескончаемому совершенствованию текста. И главным заложником этого процесса становились «Мертвые души».

То, как Гоголь стремился построить свое поведение в согласии с христианскими нормами, видно из следующего эпизода. Из своих средств, получаемых за продажу Сочинений, писатель распорядился выплачивать пособия студентам, причем так, чтобы никто не знал происхождения этой помощи: «...не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» [Мф. 6: 1]. Смирнова-Россет, узнавшая о гоголевском решении, укорила его в неразумной жертвенности: как можно помогать чужим, когда близкие, мать и сестры, да и сам Николай Васильевич испытывают постоянную нужду: «...Вы мне напомнили одного фурьериста, который свой капитал растратил для общественного блага, а потом сам с женой и детьми умирал с голоду...» И почему надо скрывать свои добрые дела?

Смирнова увидела в этом отсутствие простоты, род гордыни, в чем она и раньше обвиняла Гоголя, и напомнила слова Святого Франциска Сальского: «Мы наслаждаемся мыслью о том, как нам быть добрыми ангелами, и забываем, что прежде всего наш долг – быть добрыми людьми» [Переписка, т. 2, с. 131; цитата из Франциска Сальского приведена по-французски].

И еще Александра Осиповна увидела в этом чрезмерное, прямолинейное следование христианским канонам. «Конечно, –

писала она С.М. Соллогуб, – с христианской точки зрения самоотречение должно быть абсолютным, но так как нам приходится жить в свете, в обществе избалованном, лживом, мы должны уметь соединять наши абсолютные обязанности с обстоятельствами, которые изменяют, варьируют и усложняют не чувство нашего долга, но форму наших поступков» [цит. по: Колосова, с. 212]. Словом, речь шла о разумности компромисса. Кто-кто, а уж Александра Осиповна с ее опытом придворной и светской жизни знала, что такое компромиссы, и умела корректировать моральные заповеди условиями реальности. С нарочитой демонстративностью сообщает Смирнова Гоголю о последовательности своих утренних чтений (письмо это относится к более позднему времени): «...одну главу Евангелия, а потом письма Плиния младшего; древность классическая проста, правильна и не переносит за границы невозможностей в добродетели» [Переписка, т. 2, с. 188; см. об этом также: Колосова, с. 211–212].

Гоголь выслушивал все это, но в главном своем решении оставался непреклонен: «...обет, который дается Богу, соединяется всегда с пожертвованьем и всегда в ущерб или себе или родным...» [XII, 430–431].

В Париже как в «монастыре»

В самом начале нового 1845 г. Гоголь неожиданно для себя очутился в Париже. Еще 28 декабря н. ст. он почти клятвенно заверял, что скорее отправится в Чухлому или на Чукотский нос, чем в Париж, но внезапное ухудшение здоровья – «нервическое тревожное беспокойство и разные признаки совершенного расклеяния во всем теле» – изменило его решение. Пользовавшийся Гоголя известный немецкий врач Иоганн Генрих Копп, да и Жуковский настаивали на отъезде из Франкфурта, на смене впечатлений. Гоголь на этот раз не очень надеялся на дорогу, но его привлекала мысль снова увидеться с Виельгорскими – Луизой Карловной и Анной – и с А.П. Толстым.

Гоголь намеревался пробыть во французской столице «месяц, а, может быть, и более» [XII, 454]. Так оно в общем и получилось – с 14 января [см.: XII, 667] по 1 марта н. ст.

Это было его третье посещение Парижа. Первый раз – с ноября 1836 по февраль 1837 г.; потом – с августа по сентябрь 1838 г. Те дни выдались для Гоголя сравнительно легкими и безмятежными; политической атмосферы французской столицы он по обыкновению чуждался, знакомства с деятелями культуры не заводил, но охотно посещал театры, музеи, бывал в зоологическом и ботаническом саду, ездил в Версаль, любил рестораны, – и в состоянии удовлетворенности говаривал: «Славная собака Париж»... Теперь – другой настрой, другое времяпрепровождение.

Гоголь – Н. Языкову, 12 февраля н. ст.: «О Париже скажу тебе только то, что я вовсе не видел Парижа... Никого, кроме самых близких моей душе, то есть графинь Вьельгорских и гр<афа> Ал<ександра> П<етровича> Толстого, не видал» [XII, 456–457].

Толстой жил на Rue de la Paix в Hotel Westminster (гостиница эта существует и по сей день). Здесь же остановился и Гоголь. А Вьельгорские, Луиза Карловна и Анна, проживали всего в нескольких шагах отсюда, на Вандомской площади. Очевидно, это и был один из маршрутов Гоголя.

Недалеко, по левую руку от гостиницы, находилась Опера, а по другую сторону, чуть дальше – Лувр, «Комеди Франсез», Пале-Рояль... Но неизвестно даже, бывал ли здесь Гоголь в этот раз. По его словам, он провел в Париже время «совершенным монастырем» [XII, 458].

Московские друзья Гоголя, зная об усилении его «религиозного направления», выражали беспокойство по поводу конкретного содержания последнего. «Откуда оно развилось, куда идет и до куда дошло, – спрашивал 28 января И.В. Киреевский Жуковского. – Страшно, чтобы в Париже не подольстились к нему иезуиты. Изучал ли он особенно нашу церковь?..» [Киреевский, с. 402]. Опасения возникли под влиянием известного «католического эпизода», имевшего место весной 1838 г. в Риме. Но на этот раз никаких попыток искушения, кажется, ни от кого не исходило, да и круг общения Гоголя был строго определенный: чуть ли не ежедневно посещал он православную церковь, «не пропустил почти ни одной обедни», с особенной похвалой отзываясь о тамошнем священнике – это «хороший и умный человек и, благодаря ему, я не оставался без русских книг, которые были мне потребны и пришлось по состоянию моей души» [XII, 457].

Протоиерей Дмитрий Степанович Вершинский (1798–1858) был действительно весьма образованным человеком, окончившим курс в Санкт-Петербургской духовной академии.

До получения места настоятеля русской посольской церкви в Париже он исполнял должность ординарного профессора той же академии, опубликовал ряд трудов по богословию и философии. По словам проживавшего в то время в Париже Ф.Н. Беляева, Вершинский представлял собою «тип доброумно-русского человека» [Шенрок, т. 4, с. 348].

Иван Киреевский своим вопросом, изучает ли Гоголь «нашу церковь», попал в самую точку. Да, изучает, делая многочисленные выписки из творений отцов и учителей православной церкви [см.: Петров, с. 270–317], чтобы прежде всего уяснить и представить во всех деталях чин православной литургии. В Париже эта работа отодвинула на задний план все другие его занятия, в том числе и над вторым томом поэмы. Гоголь задумал труд, позднее оформившийся как «Размышления о Божественной литургии»; с этой целью он интересуется «литургией Василия Великого», в книге о богослужении изучает разделы о фимиаме и кадиле [см.: XII, 461]. Помогал ему в занятиях упоминавшийся выше Федор Николаевич Беляев, филолог-эллинист, переведивший греческие и латинские тексты.

В свою очередь, и Гоголь, давая Беляеву различные «задания», стимулировал его интерес к богословской литературе. Известна дарственная надпись на греческом «Евхологионе»: «Сия книга дарится Федору Николаевичу Беляеву, в знак дружбы и в наказание за неприятие Василия Великого от Гоголя. Париж. Февраль 26, год 1845» [XII, 669]. В чем состояло это «неприятие», видно из следующего письма Беляева Гоголю, посланного уже по отъезде последнего из Парижа: «...благодарю вас тысячекратно за то, что вы натолкнули на мысль обратить внимание на наши православные священнодействия, которые возвышают мысль, услаждают сердце, умиляют душу и проч. и проч. Без вас я бы не был деятельным в подобном чтении, а имея его только в виду, все бы откладывал, по моему обыкновению, в долгий ящик» [Шенрок, т. 4, с. 349].

У протоиерея Вершинского Гоголь искал поддержки не только в конкретных занятиях – по изучению православного чина литургии. Любопытный факт: по отъезде из Парижа Гоголь через того же Беляева просит, чтобы Вершинский переписал для него «собственноручно стихи Филарета в ответ Пушкину» [XII, 461] – очевидно, все это было предметом их парижских бесед.

И ясно почему: в стихотворении Пушкина, затем в послании Филарета к поэту и, наконец, в ответном пушкинском произведе-

нии с огромной силой прозвучала тема, близкая самому Гоголю. Тема уныния и борьбы с унынием:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
<...>
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

На эти пушкинские слова отвечал митрополит московский Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов):

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена...

Сравним гоголевские рассуждения из трактата «Правило жития в мире»: «Уныние рождает отчаяние, которое есть душевное убийство, страшнейшее из всех злодеяний, совершаемых человеком, ибо отрезывает все пути к спасению, и потому пуще всех грехов оно ненавидимо Богом» [Хетсо, с. 59].

Если стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» (а также его ответ Филарету «В часы забав иль праздной скуки...») Гоголь мог прочитать в печати – они появились соответственно в «Северных цветах» на 1830 г. и в «Литературной газете» от 25 февраля 1830 г., – то произведение митрополита до публикации в 1848 г. в «Звездочке» (№ 10) распространялось в списках (три четверостишия из этого стихотворения процитировал С. Бурачек в статье «Видение в царстве духов» [Маяк. 1840. Ч. X. С. 59]). Таким списком и располагал протоиерей Вершинский.

В парижский круг общения Гоголя входил и А.И. Тургенев, с которым они последний раз виделись в мае 1840 г. в Москве. Но все последующие годы Тургенев с неослабевающим интересом следил за творчеством Гоголя; одни произведения – «Мертвые души», «Игроки», «Театральный разъезд...», «Шинель» – встречал с одобрением, другие – «Женитьбу», «Рим» – сдержанно или скорее даже осуждающе. Мотивацией позитивной оценки служил

момент социальной критики, а негативной – отход от такой критики или же, с точки зрения Тургенева, мелочность проблематики, а то и прямая идеализация российской жизни. Все это сполна проявилось в его суровых инвективах против «Женитьбы» (см. об этом наст. издание, с. 359, 361) или, скажем, в следующем отзыве о гоголевской поэме, в целом почти восторженном отзыве, но с примечательной оговоркой. «Это живая картина: не в бровь, а прямо в глаз ... – писал он 17 октября 1842 г. в Симбирск своему двоюродному брату И.С. Аржевитинову. – Только последняя страница о тройке, которая опережает всю Европу, – гнусная лесть: но ее, вероятно, написал Гоголь для цензуры; как же ты не узнал в этой книге и Симбирска, и Москвы, и всего русского мира ... Не в слог дело, а в сущности, в действительности этой поэмы. С души тянет, и, следов<ательно>, вырвет, и мы на блевотину не возвратимся» [Гиллельсон, с. 141]. Очевидно, в таком же духе обсуждал Тургенев гоголевскую поэму и со своим родным братом Николаем Тургеневым, политическим эмигрантом, проживавшим в то время в Париже. Кстати, беседа эта, судя по дневниковой записи Александра Ивановича, состоялась буквально в день приезда Гоголя в Париж и, скорее всего, в связи с этим событием.

В этот же день, а именно 14 января, после обеда Гоголь нанес визит А.И. Тургеневу, а вечером они еще встретились у Толстого в отеле «Вестминстер», где была и Луиза Карловна Виельгорская. Гоголь рассказывал о болезни Жуковского, о его новых произведениях, прежде всего переводе «Одиссеи» («...перевод лучше всех прежних стихов – стих полный, как пушк<инский>» [Там же. С. 142]).

Затем последовало еще несколько встреч: 18 января – у Гоголя, 2 февраля – у Виельгорских на Вандомской площади, 13 и 21 февраля – у Толстого. Трижды Гоголь заходил и к Тургеневу – 30 января, 24 и 26 февраля.

В общем, встреч было немало для такого срока (полтора месяца), хотя Тургеневу так не показалось. Накануне возвращения писателя во Франкфурт Тургенев пожаловался Жуковскому: «Гоголя я редко видал. Попеняй ему» [ЛН. Т. 58. С. 670]. Очевидно, неудовлетворенность Тургенева была вызвана не частотой встреч, а характером общения. Гоголь уклонялся от бесед, отмалчивался, избегал откровенности.

Запись Тургенева, относящаяся к 30 января, когда его навестил Гоголь: «...О Бак<унине> молчит, о Толст<ом> – молчит. Il n'a pas le courage des ses opinions, но – может быть, на чем возу

сидит, ту и песенку поет» [Гиллельсон, с. 142]. Характерно «молчание» Гоголя по поводу как Бакунина, так и А.П. Толстого, т. е. представителей разных, противоположных направлений.

Михаил Бакунин проживал в то время в Париже, но с Гоголем они едва ли встречались; имя его в разговоре скорее всего возникло в связи с другим, необычным событием. А именно: «за три дня до записи А.И. Тургенева в органе французской радикальной партии “La Réforme” была напечатана известная статья М.А. Бакунина, где он открыто выступал против крепостного права, против самодержавия, против деспотического режима Николая I» [Там же]. Объяснения комментатора следует уточнить и дополнить: «статья», а вернее, письмо Бакунина явилось завершением цепи событий.

Отказавшийся вернуться в Россию, Бакунин в 1843 г. был заочно предан суду Сената, который постановил «лишить его чина и дворянского достоинства и сослать в случае явки в Россию, в Сибирь в каторжную работу, а принадлежащее ему имение, буде таково окажется, взять в секвестр». После того как соответствующий указ русского правительства появился в «La Gasette des Tribunaux», Бакунин в газете «La Réforme» от 27 января 1845 г. напечатал свое открытое письмо, где, в частности, говорилось: «...с моей стороны было бы неучтиво, милостивый государь, жаловаться теперь на указ, который, говорят, освобождает меня от дворянского звания и присуждает к ссылке в Сибирь; тем более, что из этих двух наказаний на первое я смотрю, как на настоящее благодеяние, а на второе, как на лишний повод поздравить себя с тем, что я нахожусь во Франции» [Корнилов, 1925, с. 296; оригинал по-французски; в переводе наст. цитата на с. 300]. Это письмо произвело сильное впечатление, о чем можно судить по отклику Герцена, написавшего 2 марта 1845 г. в дневнике: «Вот язык свободного человека, он дик нам, мы не привыкли к нему. Мы привыкли к аллегории, к смелому слову *intra muros* <между стен>, и нас удивляет свободная речь русского» [Герцен, т. 2, с. 409].

Что же касается Гоголя, то можно не сомневаться, что ему были не по душе ни поступок Бакунина, ни его «речь», тем более что и раньше, как мы знаем, писатель относился к этому человеку сдержанно, если не негативно. Но в ответ на вопрос или сообщение Тургенева – именно он, скорее всего, затронул эту злободневную тему – Гоголь не высказал никакого осуждения политического эмигранта. Тут причина не столько в правиле «на чьем возу сидит, ту и песенку поет» (эта «песенка» как раз требовала от Гоголя

осуждения, «отмежевания»), сколько в свойственной ему манере поведения – не бросать камня в официально преследуемого и осуждаемого. Так было и в поведении Гоголя в связи с «делом о вольнодумстве», и в корректном отношении его к польским политическим эмигрантам...

Несколько иначе, но тоже характерно повел себя Гоголь и во время одной из следующих встреч с Тургеневым, 5 февраля у Виельгорских. Тургенев по этому поводу пишет: «...прочел стихи Язык<ова> “К ненашим”» и «едва удержал бешенства. Гоголь не заступался, но находил, что обе партии неправы: напр. Белинский и три журнала в П<етер>бурге! Да там простор, хотя не евр<опейский>, уму, а в Москве душно сердцу и уму русскому. Не дал стихов, взял слово не писать к Я<зыкову>...» [Гиллельсон, с. 142]. В этой скупой записи – отражение сложной цепи поступков и переживаний.

Гвоздем встречи, как видно, явилось стихотворение Языкова, рукопись которого только что появилась в Париже в распоряжении Гоголя и живо обсуждалась им с Л.К. Виельгорской и Толстым. Тургеневу эта рукопись не предназначалась, но, будучи у Виельгорских, он прочитал стихотворение и не скрыл своего возмущения. Тут надо напомнить, что представляло собою языковское послание (датировано 6 декабря 1844 г.).

«Ненаши», т. е. представители оппозиционных, преимущественно западнических и либеральных воззрений, обвинялись в прямой политической неблагонадежности и измене – «русская земля» им «ничто»:

Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны.

Больше того – эти обвинения были конкретизированы до определенных личностей, более или менее узнаваемых, во всяком случае, предполагаемых: «жалкий... старик», «торжественный изменник», «надменный клеветник» – это Чаадаев; «сладкоречивый книжник», «оракул юношей-невежд» – Грановский; «поклонник темных книг и слов» – Герцен. Благодаря этому, как заметил современник, борьба противоборствующих сторон достигла не только небывалого накала, но и нового качества: «До этого времени, несмотря на горячие споры, происходившие между обеими партиями, противники встречались с соблюдением всех приличий, с полным взаимным

уважением; борьба велась в чисто умственной сфере, никогда не затрагивая личностей» [Чичерин, 1997, с. 32]. А тут вдруг – памфлет или, как выразился тот же мемуарист, «пасквиль».

Итак, на встрече у Виельгорских резко отрицательную позицию по отношению к стихотворению занял Тургенев – это подтверждается и его письмом Жуковскому от 7 февраля: «Третьего дня прочел я там послание Языкова “К ненашим” и так выбранился на фанатизм наших патриотов, что вечеру сильнее болел» [ЛН. Т. 58. С. 670]. А Гоголь не заступался, хотя и не осуждал стихи («не совсем одобряет их», как сказано в том же письме Жуковскому). При этом он отказался дать Тургеневу текст («Пришли мне эти стихи, если имеешь. Гоголь не дает...») и попросил его не писать Языкову – видимо, чтобы не раздуть скандала.

В духе неприятия крайностей упомянул Гоголь Белинского и его противников («обе партии неправы»), а также петербургские журналы. Можно с уверенностью сказать, что прежде всего это были «Отечественные записки» и «Маяк», т. е., с одной стороны, журнал Белинского и близких ему людей, с другой – крайне правое и одиозное издание С.О. Бурачка. Как олицетворение двух противоположных и радикальных позиций рассматривал эти журналы и Иван Киреевский в печатавшейся в начале того же 1845 г. в «Москвитянине» статье «Обозрение современного состояния литературы»: «Оттого, не читая одного журнала, можно знать его мнения из другого, понимая только все слова его в обратном смысле» [Киреевский, с. 209].

Но вот что интересно: в своем кругу Гоголь высказывал другое, вполне определенное и в высшей степени похвальное мнение о стихах Языкова. Мы помним, какое впечатление произвело на него «Землетрясение». Так вот оказывается, что «К ненашим» «еще лучше самого “Землетрясения”» и даже «сильней всего, что у нас было писано доселе на Руси» [XII, 455]! «Стихи твои “К ненашим”, – сообщает Гоголь Языкову, – произвели такое же впечатление как на меня самого, на моих знак<омых>, то есть на гр<афинь> Виельгорских и на гр<афа> Толстого, которые от них без ума, но Тургенев, кажется, закрутит нос, а может быть, даже и чихнет» [XII, с. 457]. Это написано 12 февраля, через неделю после памятного разговора у Толстого, когда Тургенев точно уж «чихнул», т. е. резко осудил памфлет Языкова, а Гоголь, напротив, был сдержан.

Значит ли это, что он кривил душою? Скорее, не хотел противоречить человеку других убеждений. Но в сдержанности Гого-

ля была, очевидно, и доля неуверенности, сомнения, – это видно из того, что история со стихами Языкова имела продолжение.

По отъезде из Парижа, уже во Франкфурте, Гоголь получил два новых стихотворения Языкова, развивавших тему «ненаших». В одном из них, «Константину Аксакову» (в гоголевском экземпляре оно называлось «К молодому человеку»), автор выступал против примирения с ненавистниками Руси; в другом – «К Чаадаеву» (в гоголевском списке оно именовалось «К старому плешаку») вносил некоторые новые штрихи в портрет басманного философа, например подчеркивалось, что тот симпатизирует католичеству («лобызаешь туфлю пап»).

Вопреки ожиданиям Языкова Гоголь отозвался об этих стихотворениях безоговорочно отрицательно: «В них есть что-то полемическое, скорлупа дела, а не ядро дела... Друг мой, не увлекайся ничем писанным, а особенно если в нем хоть что-нибудь противуположное той любви, которая вечно должна пребывать в нас. Слово наше должно быть благостно, если оно обращено лично к кому-нибудь из наших братьев» и т. д. [XII, 475]. И Гоголь противопоставил по «духу» эти стихотворения прежнему – «К ненашим».

Но строго говоря, они не так уж разнились, и гоголевское порицание поэту за то, что он отдался «военнолюбивому расположению», применимо в том и другом случае. Похоже, что Гоголь «отыгрался» на новых произведениях Языкова, дав волю тому чувству, которое возникло в нем еще во время встречи с Тургеневым.

В противоположность Языкову Гоголь упорно вырабатывал в себе не «военнолюбивое», а миролюбивое расположение, о чем свидетельствуют советы, данные им перед отъездом из Парижа А.П. Толстому по случаю приближающегося поста (эти советы он повторил потом в письме).

Наложите... на себя обет добровольного воздержания в *слове* во все продолжение этого времени, а именно: 1) говорить более с *дамами*, нежели с *мужчинами*, 2) в разговоре с мужчинами, о *чем бы* то ни было, старайтесь заставлять их говорить, а не себя, 3) не спорить ни о чем сильно и не обращать никого в православие, ибо для того, чтобы обратить кого, нужно прежде самому обратиться, а для того, чтобы спорить с чем сильно, нужно быть слишком самонадеянну в уме своем, умеющем видеть одну только правую сторону вещи... Не пренебрегайте же и этими мелочами и выполните послушно, как ребенок, как ученик, как в монастыре умный монах нарочно подчиняется глупейшему, дабы на время уметь покориться [XII, 462–463; курсив в оригинале].

Все эти «мелочи» преследуют одну цель, бьют в одну точку. Говорить больше с дамами – значит, быть дальше от политики, от злободневных, острых проблем. Больше слушать, чем высказываться самому – значит, постигать другие точки зрения, обнимая явления во всей их полноте, избегая категоричности. Актуально звучал и совет не обращать никого в православие – среди русских в Париже были принявшие католичество – Софья Петровна Свечина, Иван Сергеевич Гагарин или упоминаемая в том же гоголевском письме Мария-Анастасия (Анастасия Семеновна) Сиркур, жена французского литератора графа Адольфа Сиркура, урожденная Хлюстина. С этим следовало смириться и не смотреть на них как на заблудших.

Гоголевскую веротерпимость можно проиллюстрировать его отношением к Ивану Гагарину. Писатель встречался с ним в Париже в 1845 г., а может быть, еще раньше, зимой 1843–1844 гг. в Ницце у А.О. Смирновой, во всяком случае после обращения Гагарина в католичество. И эти встречи оставили у обоих очень теплое чувство. Позднее, в марте 1849 г., Гагарин писал Н.Н. Шереметевой: «Чрезвычайно меня утешило то, что Вы мне сообщаете о Николае Васильевиче; потрудитесь поблагодарить его за воспоминание и скажите ему, что я давно уже поминую его в своих грешных молитвах, а теперь и за святым алтарем. Ему господь даровал редкий талант...» [ЛН. Т. 58. С. 716].

Красноречиво и гоголевское замечание (в приведенном выше письме к А.П. Толстому) о тех, кто видит только одну «сторону» – очевидно, уже в Париже он энергично излагал Толстому взгляды, подытоженные позднее в статье «О театре, об *одностороннем* взгляде на театр и вообще об *односторонности*» (датирована 1845 г.; вошла в «Выбранные места...»). «Друг мой, храни вас Бог от односторонности: с нею всюду человек произведет зло: в литературе, на службе, в семье, в свете, словом – везде» [VIII, 277].

С кем еще виделся Гоголь в Париже? С родственниками Виельгорских – Лазаревыми и принцессой Фанни Бирон (Юлией-Терезой), с Адольфом Сиркуром... Но представившейся возможностью очередной встречи с Мицкевичем Гоголь не воспользовался. Почему? На этот вопрос отвечает дневниковая запись А.И. Тургенева от 26 февраля: «Он [Сиркур] объяснил нам мессианизм так, что Гог<оль> и Тол<стой> не поехали к Мицкев<ичу> расспрашивать его о нем...» [Гиллельсон, с. 142]. Так Гоголь прореагировал на мессианизм Мицкевича и его увлечение А. Товьянским, и в этой своей реакции он совпал не только с А.П. Толстым,

но, скажем, с Герценом, который, дочитав лекции Мицкевича, написал 17 марта 1844 г. в дневнике, что «Польша будет спасена помимо мессианизма и папизма» [Герцен, т. 2, с. 343]. При этом Гоголь навсегда сохранил благодарное чувство к Мицкевичу за в высшей степени уважительное отношение к русской литературе.

Интригующий характер носит запись Тургенева еще об одном эпизоде, случившемся в отеле «Вестминстер»: «13 февраля... Вечер у Толстого: там опять пенье цыганских песен – и вниз по мат<ушке> по Волге! Брат закрывал глаза... Я мигнул, чтобы перестали петь. Панаев с женою, рож<денной> Брянскою: дочь актера...» [Гиллельсон, с. 142]. Итак, в этот день у Александра Петровича были приехавшая в Париж чета Панаевых, а также Николай Тургенев, но Гоголь среди гостей не упомянут. Публикатор документа полагает, что это произошло случайно и выстраивает такую цепь рассуждений:

...Гоголь, живший в то время на квартире А.П. Толстого, не мог не присутствовать на вечере своих соотечественников. Братья Тургеневы, И.И. Панаев с женой, цыганский хор, пение русских песен – все это должно было привлечь Гоголя, тем более, что вечер был в доме, где он жил. Трудно предположить, чтобы именно в этот вечер Гоголь ушел из дома. Отсутствие упоминания его имени в этой записи объясняется, по-видимому, тем, что А.И. Тургенев, отвлеченный душевными переживаниями брата, а также заинтересованный четой Панаевых, не разговаривал в этот вечер с Гоголем и по этой причине не записал его имя в свой дневник [Там же. С. 143].

Однако показательно, что и Панаева, рассказывая о пребывании в Париже, не упоминает имени Гоголя. Да и настроению Гоголя в тот период не очень соответствовали шумные компании и увеселения. По условиям же своего местопребывания Гоголь вовсе не был привязан к А.П. Толстому; комната его, по описанию Л.К. Вильгорской, была с «особенным выходом в коридор, одним словом, весьма удобная для автора и даже для отшельника» [Шенрок, т. 4, с. 929]. Так что он вполне мог не присутствовать при общем действе.

Что же касается Панаевых, то по приезде в Париж они сразу же вошли в широкий круг общения: тут были и Боткин, и Бакунин, и близкий к Белинскому П.Ф. Заикин, и университетский товарищ Герцена Н.И. Сазонов; пересеклась их дорога даже с Гарибальди... В свою очередь, Боткин и Бакунин именно в это время

общались в Париже с немецкими и французскими левыми интеллектуалами, включая Карла Маркса... [Егоров, с. 51]. Но все это было очень далеко от устремлений, интересов и внимания Гоголя.

1 марта Гоголь выехал дилижансом из Парижа во Франкфурт, и в тот же день Анна Виельгорская писала ему вдогонку: «Я все о вас думаю и провожаю вас мысленно по вашей дороге, стараясь вообразить себе, какая у вас теперь физиономия, куда вы смотрите, что думаете и играете ли усами или просто сидите с сложенными руками, с полужакрытыми глазами, не смотря ни на что и не думая ни о чем?» [Переписка, т. 2, с. 211–212].

«Пожалуйста, не беспокойтесь
насчет способов существования»

Длительное пребывание за границей, частые переезды требовали расходов, которые, конечно, не могли быть покрыты из гоголевских гонораров. Не хватало и единовременных пособий, которые следовали ему от друзей (С.Т. Аксаков) и от власти: так, полученная осенью 1837 г. от царя довольно внушительная сумма в пять тысяч рублей позволяла, по расчетам Гоголя, прожить ему безбедно в Италии примерно полтора года [XI, 114]. Теперь же ему предстояло еще дальнейшее путешествие в Святую землю...

Словом, с каждым годом писатель все больше нуждался в том, чтобы иметь более или менее постоянный источник вспомоществования, вроде того, какое имели, например, русские художники в Риме, получавшие стипендию. И друзья Гоголя решили помочь ему; инициатива и, так сказать, общий план действия принадлежали Жуковскому.

Еще в начале 1840 г., когда Гоголь был в Москве, Жуковский передал ему «взаймы» 4000 рублей, скрыв, что, в свою очередь, занял деньги у наследника (этот факт подтверждается письменными обращениями поэта к великому князю), с которым как воспитатель он был в доверительных отношениях. Однако, кажется, Гоголь догадывался о происхождении этих денег; во всяком случае, при встрече с Жуковским, во Франкфурте или в Дюссельдорфе, он просил – как бы на будущее – «наследнику не заикаться насчет меня в денежном отношении» [XII, 310].

Поэтому в следующий раз, спустя четыре года, Жуковский решил действовать открыто: он сообщил Гоголю (почтовый штемпель на письме: Франкфурт-на-Майне, 25 мая 1844), что, будучи должен великому князю 4000 рублей, предложил платить эти деньги не своему кредитору, т. е. великому князю, а Гоголю – в год по тысяче, начиная с января 1845 г. «И Его Высочество на сей вопрос мой изрек и словесное и письменное *быть по сему*» [Сборник, 1891, с. 16; курсив в оригинале]. Таким образом, Гоголю как бы от имени наследника назначалось ежегодное, на четыре года, пособие.

Поблагодарив Жуковского, Гоголь (в письме от 29 мая н. ст. 1844 г. из Бадена) упрекнул его, что тот «не сдержал условия» не просить денег у наследника: «...но так как вы это уже сделали, то, в наказание, должны сими деньгами выплатить мой долг, то есть четыре тысячи, которые я года четыре тому назад занял у вас...» [XII, 310]. Возможно, Гоголь тем самым давал понять, что на этот раз деньги идут не от наследника, а от самого Жуковского, который должен их оставить у себя. Но в конце концов Гоголь принял и эти деньги, о чем свидетельствует записка Жуковского к нему от 9 (21) февраля 1846 г.: «При сем прилагаю вексель на тысячу рублей. Теперь две тысячи вам заплачены. Еще остается на мне две тысячи, которые в свое время вы получите» [Сборник, 1891, с. 19].

Параллельно Жуковский решил искать помощи и у других членов августейшей фамилии, действуя через возвратившуюся в Петербург, в придворную сферу, Смирнову. «Вам бы надо о Гоголе позаботиться у царя и царицы, – пишет он 4 января 1845 г. – Ему необходимо надобно иметь что-нибудь верное в год. Сочинения ему мало дают, и он в беспрестанной зависимости от завтрашнего дня... Вы лучше других можете характеризовать Гоголя с его настоящей, лучшей стороны. По его комическим творениям могут в нем видеть совсем не то, что он есть. У нас смех принимают за грех, следовательно, всякий насмешник должен быть великий грешник» [РА. 1871. С. 1858]. В этом письме было четко прописано, как следует представлять дело и с какой «стороны» рекомендовать Гоголя.

Вскоре Смирнова получила возможность поговорить с императором, о чем сообщила в своем дневнике 11 марта: «Я ему напомнила о Гоголе, он был благосклонен. “У него много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие”. – Читали вы “Мертвые души”? – спросила я. – “Да разве они его? Я думал, что это Соллогуба” <...> Я советовала их прочесть и заметить те страницы, где выражается глубокое

чувство народности и патриотизма» [Смирнова, 1989, с. 11]. Высказывание Николая I свидетельствует, что он воспринимал Гоголя еще только как драматического писателя – по впечатлениям от «Ревизора», который понравился ему, и от «Женитьбы», которая шокировала его неприличными выражениями и оборотами (этой стороны высказывания мы уже касались).

В то же время чрезвычайно выразительна реакция императора на «Мертвые души». Допустим, он мог забыть тот факт, что свою резолюцию о пособии Гоголю в начале 1842 г. поставил на донесении Бенкендорфа, упоминающем именно «Мертвые души» (мол, Гоголь «основал всю надежду свою на сочинении своем под названием “Мертвые души”...»). Но уже прошло почти три года со времени выхода поэмы, в журналах и газетах появилось множество откликов, в обществе прозвучали разные голоса, а император имел о ней довольно смутное представление, приписывая авторство Владимиру Соллогубу. О смешении царем Гоголя с Соллогубом говорится и в более поздних воспоминаниях Смирновой, – возможно, имеется в виду та же встреча 11 марта: когда Александра Осиповна упомянула о пенсии Гоголю, император «отвечал: “Вы знаете, что пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, достаивается ли повесть “Тарантас”. Я заметила, что “Тарантас” – сочинение Соллогуба, а “Мертвые души” – большой роман. “Ну, так я его прочту, потому что позабыл “Ревизора” и “Разъезд”» [Там же. С. 61]¹⁵⁰. Заметим, что Смирнова твердо придерживается совета, данного Жуковским, – представляет автора «Мертвых душ» не как комического писателя, но как выразителя «чувства народности и патриотизма».

Эту же «лучшую сторону» Гоголя Смирнова всемерно подчеркивала в специальной записке, поданной ею великой княгине Марии Николаевне. Расчет был на то, что Мария Николаевна уже принимала участие в судьбе «Мертвых душ» (см. наст. издание, с. 356), что она лично познакомилась с писателем (в 1843 г. в Риме), наконец, и на то, что вместе со своим мужем герцогом Максимилианом Лейхтенбергским, недавно (в 1843 г.) назначенным президентом Академии художеств, великая княгиня покровительствовала искусствам. «Сочинения его [Гоголя] известны вашему императорскому высочеству, – говорилось в записке. – Публика особенно заметила в них оригинальные комические стороны; но от вашего взгляда, без сомнения, не ускользнули красоты высшие, чувство всего прекрасного, чисто русского народного, которые его поставили наряду с первыми нашими литераторами». Упомянув

далее о «сильной болезни» Гоголя, заставившей его «оставить самую выгодную службу... в здешнем университете адъюнкт-профессором и отправиться за границу»; о необходимости его усилий, направленных «на поправление расстроенного состояния матери и сестер, которые до сих пор не совершенно обеспечены», Смирнова заключает: «Конечно, он еще не успел сделать для пользы русской словесности столько, как Пушкин и Карамзин, но милости государя не исключают никого, кто из любви к пользе отечества принесет хотя слабую дань своего усердия» [Дризен, 1907, с. 167–168].

Согласно Смирновой, великая княгиня должна была передать ее просьбу лично Николаю I, но не передала, и Александре Осиповне пришлось сделать это самой, впрочем, при содействии императрицы, которая подала ей сигнал, что у императора хорошее настроение – и можно действовать... Делу был дан ход, и 15 марта «по высочайшему повелению» министр двора кн. П.М. Волконский препроводил просьбу министру народного просвещения С.С. Уварову «для рассмотрения и доклада государю императору» [Там же. С. 168; Литературный музей, с. 71].

У Смирновой были основания опасаться Уварова, который, как мы знаем, со времен премьеры «Ревизора» слыл недоброжелателем Гоголя, однако на этот раз неудовольствие обнаружил гр. А.Ф. Орлов, недавно назначенный начальником III отделения и шефом жандармов. «Ведь он еще молод и ничего такого не сделал», – сказал он о Гоголе [Смирнова, 1989, с. 13]. Дело дошло до резкостей – если верить Смирновой: «В воскресенье на обычном вечере Орлов напустился на меня и грубым, громким голосом сказал мне: “Как вы смели беспокоить государя, и с каких пор вы – русский меценат?” Я отвечала: “С тех пор, как императрица мне мигнет, чтобы я адресовалась к императору, и с тех пор, как я читала произведения Гоголя, которых вы не знаете, потому что вы грубый неуч и книг не читаете, кроме гнусных сплетен ваших голубых штанов”. За словами я не ходила в карман. Государь обхватил меня рукой и сказал Орлову: “Я один виноват, потому что не сказал тебе, Алеша, что Гоголю следует пенсия”». Это означало, что высочайшее решение уже принято и Орлову оставалось покориться и молча искать примирения. «За ужином Орлов заговаривал со мной, но тщетно. Мы остались с ним навсегда в разладе» [Там же. С. 61].

Что же касается Уварова, то он, говоря словами Смирновой, «тут поступил благородно». 17 марта он написал представ-

ление царю с таким заключением: «...от щедроты Царской зависит определение меры пособия для поддержания его [Гоголя] существования» [Литературный музей, с. 72]. 21 марта Александра Осиповна отметила в дневнике: «Мое дело пошло на лад: государь приказал Уварову узнать, что нужно Гоголю. Уваров... сказал, что Гоголь заслуживает всяческую помощь» [Смирнова, 1989, с. 16].

Конкретная сумма «помощи» была указана в письме Плетнева от 23 марта на имя Уварова, письме, которому предшествовало обсуждение этого вопроса со Смирновой и с Вяземским, – пять тысяч рублей серебром на пять лет, т. е. по тысяче в год [Литературный музей, с. 73, 358]. Просители исходили из того, что «всегда дают половину, у нас уж такой обычай» [Смирнова, 1989, с. 61]. Так оно примерно и получилось: на докладной записке от 17 марта, поданной Уваровым императору, тот написал резолюцию: «Пусть сам М<инистр> определит меру пособия, которого заслуживает», и Уваров определил – три тысячи рублей серебром, в год по тысяче [Литературный музей, с. 71, 74].

Спустя несколько дней, 27 марта, министр народного просвещения уведомил об этом Гоголя официальным письмом, в котором, в частности, говорилось:

Государь Император по всеподданнейшему ходатайству моему, обращая благосклонное внимание на литературные труды ваши, и принимая в уважение болезненное ваше состояние, требующее пользование заграничными минеральными водами, всемилостивейше повелеть соизволил выдавать вам в течение трех лет по тысяче руб. сер. ежегодно... Мне приятно надеяться, что милость царская оживит талант ваш на новую деятельность для пользы отечественной словесности [Шенрок, т. 4, с. 324].

Подводя итоги этому эпизоду с пособием, следует сказать о безусловном благорасположении к Гоголю со стороны царя, что в конце концов определило и отношение других, заставило замолчать недоброжелателя Орлова (он даже послал Жуковскому «очень любезное» письмо, в котором уведомлял «о сделанном для Гоголя» и обещал «сделать для него вперед, что может полезного» [РА. 1871. С. 1860]). Николай I не очень-то интересовался гоголевскими произведениями, не заметил даже «Мертвых душ», но он помнил свое впечатление от «Ревизора» и готов был слушать таких ходатаев, как Смирнова, когда она убеждала в патриотическом и нравственном направлении творчества Гоголя.

Что же касается Гоголя, то он увидел в этом эпизоде еще одно подтверждение вынашиваемой им идеи о покровительстве августейшей власти поэту, художнику – вопреки любым проишкам и наветам. Впрочем, и письмо Уварова должно было Гоголя порадовать, сняв или по крайней мере приглушив то убеждение, которое сложилось раньше – о нелюбви и преследовании его со стороны всесильного министра: ведь Уваров подчеркивал свое участие в состоявшемся решении («по всеподданнейшему ходатайству моему»). Смирнова требовала от Гоголя, чтобы «он послал Уварову благодарственную писулю, когда получит пенсию» [Смирнова, 1989, с. 61], но, вероятно, писатель сделал бы это и без внешнего принуждения.

Однако гоголевское письмо Уварову, помимо благодарности за пенсию, содержало и благодарность иного рода. «Я хотел вас благодарить за все, сделанное для наук, для отечественной старины (от этих дел перепала и мне польза наряду с другими), и что еще более – за пробуждение в духе нашего просвещения твердого русского начала» [XII, 484]. Гоголь заключал оборотом, построенным по известным риторическим правилам: мол, раньше он мог сказать все это министру «как сын той же земли, как брат того же чувства, в котором мы все должны быть братья и как не обязанный вам лично», а теперь, связанный благодарностью, не может. Не может, однако же сказал... Все это прозвучало несколько рискованно.

Получалось так, что Гоголь, который до сих пор избегал отождествления своей позиции с каким-либо общественным движением, например славянофильского толка, не говоря уже о западничестве, теперь благодарил человека, олицетворявшего государственную политику официальной народности. Конечно, писатель не кривил душою в том смысле, что пробуждение «русского начала» отвечало и его устремлениям. Но важно было и то, как выглядело гоголевское признание ввиду положения и репутации его адресата.

Неслучайно, что сам адресат, т. е. Уваров, постарался как можно шире распространить известие о гоголевском ответе. Дошло оно, в частности, до А.В. Никитенко, который пометил в дневнике 8 мая 1845 г.: «Печальное самоуничтожение со стороны Гоголя! Жаль, жаль! Это с руки и Уварову и кое-кому другому» [Никитенко, т. 1, с. 292]. Вспомнит о письме и Белинский как о некоем предвестии «Выбранных мест...», книги, где, по его мнению, прозвучали «гимны властям предрежащим» [Белинский, т. 10,

с. 217]. Все это усугубило и усложнило положение писателя по возвращении его на родину, в последние годы жизни...

Но друзья Гоголя таких последствий, разумеется, не предвидели, решая насущную задачу материального обеспечения писателя и, надо сказать, проявив при этом немало терпения и настойчивости. Еще до обращения к царю, 1 марта 1845 г., Смирнова убедительно просила Гоголя: «Пожалуйста, не беспокойтесь насчет способов существования и не спрашивайте, каким образом я все это устраиваю. Это дело мое, а ваше – молиться за того, кто их дает... Вы не должны сметь беспокоиться: нас Бог рассчитает» [Шенрок, т. 4, с. 321].

«Небольшое произведение
и не шумное по названию...»

1 марта 1845 г. Гоголь покинул Париж. Проведя в дороге четыре ночи и три дня, 4 марта он прибыл во Франкфурт и поселился в знакомом ему доме Жуковского у Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor. «До Франкfurта, – сообщал он Виельгорским, – добрался один только нос мой да несколько костей, связанных на живую нитку жиденькими мускулами, но дух мой бодр...» [XII, 462].

Обычная картина: в пути Гоголь почувствовал облегчение, а по приезде вновь обострились недуги. Здоровье «так плохо, как я давно не помню» [XII, 454]. «Странно, что я зябну и не могу согреться в самой теплой комнате» [XII, 465]. «Дело доходило до того, что лицо сделалось зеленой меди, руки почернели, превратившись в лед, так что прикосновение их ко мне самому было страшно...» [XII, 473–474].

Гоголь рассчитывал, что его подхлестнет своеобразный дух соревновательности – вместе с Жуковским они будут плодотворно трудиться, каждый над своим, но не вышло: Жуковский выздоровел, был бодр (когда Гоголь уезжал в Париж, ему тоже нездоровилось), а Николай Васильевич никак не мог прийти в себя. «Я мучил себя, насиловал писать, страдал тяжким страданием, видя бессилие и несколько раз уже причинял себе болезнь таким принуждением и ничего не мог сделать, и все выходило

принужденно и дурно» [XII, 471]. Принуждение ли к труду и недостижение результата рождали болезнь или, наоборот, болезненное расположение приводило к творческой неудовлетворенности и неудачам – сказать трудно. Но очевидно, что в сознании Гоголя, да и в его физическом состоянии все было теснейшим образом связано.

Но спустя недели две наметилось изменение. «Здоровье мое, кажется, лучше...» [28 марта; XII, 469]. «Здоровье мое как бы немного лучше...» [2 апреля; XII, 471]. Настолько лучше, что Гоголь подумывает о продолжении труда, вернее – о труде новом. «Это будет небольшое произведение и не шумное по названию в отношении к нынешнему свету, но нужное для многих...» [XII, 472–473].

Форма «Выбранных мест из переписки с друзьями» – именно об этом сочинении впервые заговорил Гоголь – выстраивается во многом по контрасту с главной его книгой. Не поэма и не роман или повесть, а нечто совершенно обычное, непритязательное («не шумное»), даже отрывочное, однако имеющее практический смысл, оказывающее непосредственное воздействие и притом не в длительной, удаляющейся перспективе, как произведение высокого искусства, но зримо и эффективно. Гоголевский практицизм всегда имел двойной адрес, будучи направленным столько же на других, сколько – в конце концов – и на самого автора. И на этот раз самому Гоголю настоятельно нужны были те «советы», то «ободрение», которыми он собирался одарить «многих».

Однако новое предприятие Гоголя заключало в себе и момент самооправдания. Написание второго тома поэмы затягивалось; пребывание во Франкфурте, потом в Париже и вот теперь снова во Франкфурте оказалось почти бесплодным; все обещанные сроки – вначале 1844, потом 1845 г. – срывались, а заодно стало невозможным и возвращение в Россию: «...один упрек только себе видел бы я на всем, как человек, посланный за делом и возвратившийся с пустыми руками, которому стыдно даже заговорить, стыдно и лицо показать». «А потому, – просит Гоголь свою корреспондентку А.О. Смирнову (2 апреля), – молитесь обо мне... чтобы Бог... укрепил и послал мне возможность изготовить, что должен я изготовить ... и послать вам, вместо меня, в Петербург» [XII, 472]. Так «Выбранные места...» должны были отправиться в Россию не только «вместо меня», т. е. Гоголя, но и «вместо» второго тома поэмы. Это был, что ли, род компенсации, пусть, как надеялся Гоголь, временной.

Вместе с тем эта компенсация носила упреждающий, провокативный характер: писатель, переходя на язык публицистики, по словам Н.С. Тихонравова, приподнимал «для публики завесу с того нового направления... которое должно было выразиться полно и рельефно» во втором томе поэмы [Гоголь, 10-е изд., т. 3, с. 545–546]. Это был пробный шар и для автора, и для публики. Публика должна была почувствовать, какое слово к ней будет обращено; автор – должен увидеть, готова ли публика к этому и насколько действительно его слово [см. подробнее: Манн, 1987, с. 200].

Теперь идея паломничества в Иерусалим связывается с завершением не поэмы, а «Выбранных мест...». Последовательность событий в представлении Гоголя такова: летом пишется упомянутая книга и отсылается в Петербург; осень и зима – Рим и продолжение работы над вторым томом; тем временем приходят средства, вырученные за новую книгу, которые будут прибавлены к пенсии, и с началом следующего 1846 г., к посту и Пасхе, писатель отправляется на Святую землю, чтобы потом уже окончательно вернуться в Россию. Однако обстоятельства внесли в этот план существенные коррективы.

Относительно спокойные дни прерываются приступами болезни. 15 и 23 апреля н. ст. Жуковский помечает в дневнике, что имело место «чтение с Гоголем» (что именно читалось, неизвестно [ЛН. Т. 58. С. 690]). Но около того же времени Гоголь отправляет Базарову записку, состоящую из одной фразы: «Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю» [XII, 489]. По поводу этой записки гоголевский биограф воскликнул: «...какие страшные минуты приходилось преодолевать Гоголю!» [Мочульский, с. 81]. Но вначале несколько слов об адресате записки.

Иоанн Иоаннович Базаров (1819–1895) был в то время священником православной церкви в Висбадене. Образование он получил в своем родном городе Туле, в семинарии, и в Санкт-Петербургской духовной академии, в которой состоял затем профессором словесности. Был духовником великой княгини Елисаветы Михайловны, а в 1845 г. Синод возвел его в магистры богословия.

У Базарова были тесные связи с Жуковским, у которого он принимал первую свою исповедь. И первые крестины Базаров провел у поэта, когда под новый 1845 г. родился его сын Павел. В семействе Жуковского Базаров познакомился и с Гоголем.

Вот как описывает отец Базаров события, последовавшие за получением им гоголевской записки.

Приехав на этот зов в Sachsentrausen (заречная сторона Франкфурта, где жил Жуковский), я нахожу мнимо умирающего на ногах, и на мой вопрос, почему он считает себя таким опасным, он протянул мне руки со словами:

– Посмотрите! совсем холодные!

Однако мне удалось убедить его, что он совсем не в таком болезненном состоянии, чтобы причащаться на дому, и уговорил его приехать в Висбаден... [Базаров, с. 294].

Православная Пасха в этом городе всегда была заметным событием. «Висбаден, как место вод и рулетки, сам по себе привлекал к себе много русских, но, кроме того, он находился почти в центре особенно посещаемых вод, как Швальбах, Шлангенбад, Эмс, Крейцнах, Соден. Для всех этих местностей висбаденская церковь служила прибежищем молитв и треб церковных» [Там же. С. 292].

Гоголь последовал совету Базарова и приехал на Пасху в Висбаден вместе с Жуковским. «При этом случае, – продолжает мемуарист, – бывши у меня в кабинете и рассматривая мою библиотеку, он заметил и свои сочинения.

– Как! – воскликнул он чуть не с испугом, – и эти несчастные попали в вашу библиотеку!

Это было именно то время, когда он раскаивался во всем, что им было написано» [Там же. С. 294].

Православная Пасха в этот год падала на 27 апреля н. ст. – дата, позволяющая локализовать описываемые события.

Будучи в Висбадене, Гоголь попал в поле зрения еще одного соотечественника – выпускника Главного педагогического института Александра Степановича Жиряева (1815–1856), командированного в 1842 г. за границу для продолжения образования, впоследствии известного дерптского криминалиста. 8(20) мая 1845 г. Жиряев писал из Берлина в Прагу Вацлаву Ганке:

...русскую пасху я встретил в русской церкви в Висбадене, где познакомился с двумя русскими знаменитостями – Жуковским и Гоголем. Оба приехали из Франкфурта говеть и разговляться... Гоголь по природе своей – противоположность тому, каким он является в своих уморительных повестях: ипохондрик в высшей степени. Впрочем, он действительно не совсем здоров, хотя болезнь свою он уже слишком преувеличивает в своем воображении [Кочубинский, кн. 3, с. 13].

Это свидетельство подтверждает то, что Гоголь приехал в Висбаден вместе с Жуковским, который, по-видимому, не рискнул от-

пускать его одного. Подтверждает и факт болезненного состояния писателя, хотя Жиряев считает (так же как и Базаров), что тот его преувеличивал.

Для гоголевского настроения этой поры характерно и глубокое недовольство прежними сочинениями, граничащее с отречением. Он готов рассматривать их все вместе, словно подводя черту под написанным прежде и видя в новой своей работе – «Выбранных местах...», – род искупления.

В связи с этим следует рассматривать и упоминавшееся письмо Уварову по поводу пенсии – ведь известие от министра пришло 25 апреля, накануне отъезда Гоголя в Висбаден [см.: ЛН. Т. 58. С. 690], и ответ был послан незамедлительно¹⁵¹. Гоголь утверждал, во-первых, что «все доселе» им «писанное, не стоит большого внимания: хотя в основание его легла и добрая мысль, но выражено все это так незрело, дурно, ничтожно»; и, во-вторых, противопоставлял всему этому другой свой труд, «который, точно, был бы полезнее моим соотечественникам моих прежних мараши, за который бы вы сказали бы, может быть, спасибо...» [XII, 483–484]. Гоголевское письмо и в этой своей части не свободно от аффектации, но его самокритика не была тактическим приемом или уловкой и полностью соответствовала переживаемому.

Между тем состояние Гоголя все ухудшалось и требовало, как писал Жуковский Смирновой в конце апреля, «решительных мер». Необходимо было оставить всякую литературную работу (бросить «на время перо»), – значит, забыть не только про «Мертвые души», писание которых и без того было прервано, но и «Выбранные места...». Необходимо было отправиться на курорт, в Гастейн, благо средства для этого после получения пенсионера имеются – «он теперь на три года обеспечен» [РА. 1871. С. 1859–1860].

Гоголь уже бывал в Гастейне летом 1842 г. и в мае 1843 г. вместе с Языковым и верил в целительную силу этого места (один только «гастейнский воздух имеет в себе что-то бальзамическое и лучше всех воздух, какие я обонял где-либо в летнее время во всех прочих концах Европы...»), но он боялся одиночества и со дня на день откладывал отъезд. Отваживался лишь на не столь дальние маршруты, например в Гейдельберг (запись Жуковского в дневнике 24 апреля (6 мая): «Отъезд Гоголя в Гейде<ль>берг» [ЛН. Т. 58. С. 690]) или в Гомбург. В этом небольшом курортном городе близ Франкфурта Гоголь прожил более трех недель, с 20-х чисел мая по середину июня, томясь от одиночества, принимая воды против «геморроидальных, печеночных и всяких

засорений» и время от времени возвращаясь к Жуковскому во Франкфурт. Здесь с Гоголем встретился приехавший из Франции А.И. Тургенев – 15, 17 и 26 мая [Гиллельсон, с. 143]. Это были последние их встречи; вернувшись в Москву, Тургенев вскоре (3 декабря 1845 г.) умер.

Жалобы Гоголя на нездоровье звучат все чаще и сильнее. «Борюсь и с болезнью, и с хандрой и, наконец, выбился совершенно из сил в бесплодном борении» (Н.М. Языкову, 1 мая н. ст. [XII, 480–481]). «Здоровье мое плохо...» (Л.К. Виельгорской, 17 мая н. ст. [XII, 487]). «Уведомляю тебя только о том, что я сильно болен, и только одному Богу возможно излечить меня» (П.А. Плетневу, 24 мая н. ст. [XII, 489]). «Здоровье мое плохо совершенно, силы мои гаснут; от врачей и от искусства я не жду уже никакой помощи...» (Н.Н. Шереметевой, 5 июня н. ст. 1845. [XII, 492]). «Повторяю тебе еще раз, что болезнь моя сурьезна, только одно чудо Божие может спасти... Я худею теперь и истаиваю не по дням, а по часам; руки мои уже не согреваются вовсе и находятся в водянисто-опухлом состоянии» (Н.М. Языкову, 5 июня н. ст. [XII, 492–493]). В гоголевской речи начинают звучать мотивы чудесного воскрешения, ибо реальных надежд уже нет, но Богу все возможно, и «если самое дыхание станет улетать в последний раз из уст моих и будет разлагаться в тленье самое тело мое, одно его мановенье – и мертвец восстанет вдруг» [Там же]. Так восстал из мертвых Лазарь, брат Марфы и Марии...

В этот период – с мая по середину июня – имели место новые встречи Гоголя со священником Иоанном Базаровым. Вначале Гоголь заехал в Висбаден, – по словам Базарова, из Эмса, – рассказав, что «он встретил там так много русских дам», и прибавив, «что верно у русских женщин такая уж дрянная натура, что им чаще других приходится отпраиваться в Эмс на лечение». «И все это наш славный Петербург тому виною! – заметил он». Затем Базаров встречал Гоголя во Франкфурте у Жуковского, отметив ухудшение его состояния: Николай Васильевич «был мрачен, почти ничего не говорил и больше ходил по комнате, слушая наши разговоры» [Базаров, с. 294].

Гоголь ничего не пишет, но не заглядывать в книги, не читать он не мог; наоборот, в трудную пору он по обыкновению запасается сведениями, следит за новыми произведениями и именами. В «Москвитянине» читает стихи Языкова, лекцию по древнерусской литературе Шевырева, статьи Хомякова и Ивана Киреевского. Статья Киреевского «Обозрение современного состояния литературы»,

открывая краткий период его сотрудничества в «Москвитяине», особенно понравилась Гоголю, но к манере письма критика он придрался: «Многие вещи следовало бы сказать еще очевидней, осязательней, проще и короче, облечь в видимую плоть...» [XII, 481]. Тут видна оглядка на собственный замысел Гоголя, задумавшего новое произведение, «нужное для многих», т. е. «Выбранные места...».

Интересуется Гоголь и религиозными сочинениями: «О небесной иерархии» и «О церковном священноначалии» Дионисия Ареопагика, «Беседы на Божественную литургию» протоиерея Василия Нордова (2-е изд. М., 1844). А рядом – «книга совершенно мирская, на днях вышедшая, что-то вроде “Петербургских сцен”, Некрасова, которую очень хвалят...» [XII, 491]. Это программное для складывающейся «натуральной школы» издание – двухчастная «Физиология Петербурга» (СПб., 1845) со столь же программным очерком Некрасова «Петербургские углы». Гоголь добавляет, что ему бы «хотелось прочесть» эту книгу. И это в том же письме (от 4 июня н. ст.), где писатель жалуется на «изнуренье сил совершенное», на то, что «всякое занятие умственное невозможно и усиливает хандру...».

Гоголь вспоминает о «добром священнике в Париже», Дмитрии Степановиче Вершинском, и через А.П. Толстого просит его «отправить молебен» о своем «выздоровлении». Одновременно (28 мая н. ст.) сообщает, что отъезд его в Гастейн откладывается «на одну неделю» [Фридкин, с. 53], т. е. должен состояться около 5 июня. Но тут Гоголь узнал, что в Берлин едет Толстой, и, решив воспользоваться его «сотовариществом», резко изменил маршрут.

Болезнь Гоголя вступила в решающую, кризисную фазу, о чем свидетельствовали беспрестанные переезды из одного города в другой, консультации с разными медицинскими знаменитостями, приступы непереносимой тоски и невероятной слабости...

На грани жизни и смерти

Около последней декады июня Гоголь с Толстым по пути в Берлин прибыли в Веймар. Тут Гоголь во второй раз (после Висбадена) гонел и причащался святых тайн, общаясь с «тамошним очень добрым священником» [XII, 506], т. е. с Сабининым. У Гоголя находится

лишь скупое упоминание об этом визите: «Для душевного моего спокойствия оказалось мне нужным отговорить в Веймаре. Гр<аф> Толстой также говел вместе со мною» [XII, 498]. Самое же главное мы узнаем от дочери Сабинина. Но вначале – о хозяине дома.

Стефан Карпович Сабинин (1789–1863) – богослов и археолог, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью магистра и затем служил священником в зарубежных православных храмах, вначале (с 1823 г.) в посольской церкви в Копенгагене, а позднее (с 1837 г.) в церкви Святой Марии Магдалины в Веймаре. Одновременно Сабинин печатал статьи в «Христианском чтении» – журнале, которым интересовался Гоголь, выполнял поручения научного характера, которые давала ему проживавшая в Веймаре великая княгиня Мария Павловна, интересовался проблемами славянских культур, находясь в переписке со знаменитыми учеными Коларом, Шафариком, Ганкой. Вацлав Ганка знал о Сабинине, в частности, от Жиряева, который сообщал ему 8 (20) мая 1845 г. после посещения Веймара, что Сабинин «занимается теперь сравнением русского языка с исландским и находит, что ударения русских слов совершенно те же, что и в исландском языке» [Письма к Ганке, с. 359].

Человек с такими интересами, учитывая еще разницу в возрасте – Сабинин был старше Гоголя ровно на 20 лет, – заведомо мог приобрести у него большой авторитет.

Тем более что и все семейство Сабинина было незаурядным: здесь царил интерес к наукам и искусству. Особенными дарованиями отличалась дочь Сабининых Марфа, бравшая уроки у самого Ференца Листа. М.П. Погодин, посетивший Сабининых в Веймаре спустя несколько лет, заметил: «Мудрено самому богатому человеку... дать такое превосходное воспитание своим детям, какое дает, при ничтожных своих средствах, наш почтенный священник; а детей у него двенадцать человек: старшая дочь до такой степени удивила знаменитого Франца Листа своим успехом на фортепиано, что он вызвался сам давать ей уроки... Каково! Франц Лист дает уроки дочери нашего священника. Верно, многие принцессы ей позавидуют!..» [Барсуков, кн. 12, с. 484]. Впоследствии, в 1860-х годах, Сабинина написала музыку на стихи Ф.И. Тютчева «Весенние воды» и «Слезы людские, о слезы людские...» [Грамолина, с. 488], помогала дочери поэта Анне Федоровне в воспитании княжны Марии Александровны [ЛН. Т. 97. Кн. 2. С. 332].

Из дневниковой записи Марфы Стефановны от 17(29) июня 1845 г. мы узнаем подробности визита Гоголя к Сабининым.

Рассказ этот фиксирует один из кульминационных моментов гоголевского душевного состояния, вылившегося в неожиданный и решительный поступок... Но приведем полностью соответствующую запись.

...Узнали, что приехали и были у отца Николай Васильевич Гоголь и граф Александр Петрович Толстой.

На другой день они пришли к отцу, и я в первый и последний раз видела знаменитого писателя. Он был небольшого роста и очень худощав; его узкая голова имела своеобразную форму – френолог бы сказал, что выдаются религиозность и упрямство. Светлые волосы висели прямыми прядями вокруг головы. Лоб его, как будто бы подавшийся назад, всего больше выступал над глазами, которые были длинноватые и зорко смотрели; нос сторбленный, очень длинный и худой, а тонкие губы имели сатирическую улыбку. Гоголь был очень нервный, движения его были живые и угловатые, и он не сидел долго на одном месте: встанет, скажет что-нибудь, пройдет несколько раз по комнате и опять сядет. Он приехал в Веймар, чтобы поговорить с моим отцом о своем желании поступить в монастырь. Видя его болезненное состояние, следствием которого было ипохондрическое настроение духа, отец отговорил его и убедил не принимать окончательного решения. Вообще Гоголь мало говорил, оживлялся только, когда говорил, а то все сидел в раздумьи. Он попросил меня сыграть ему Шопена. Моей матери он подарил хромолитографию – вид Брюлевской террасы; она наклеила этот вид в свой альбом и попросила Гоголя подписаться под ним. Он долго ходил по комнате, наконец сел к столу и написал: «Совсем забыл свою фамилию; кажется, был когда-то Гоголем». Он исповедовался вечером накануне своего отъезда, и исповедь его длилась очень долго. После Св. Причастия он и его спутник сейчас же отправились в дальнейший путь в Россию, пробыв в Веймаре пять дней [РА. 1900. № 4. С. 534–535; относительно возвращения в Россию Сабинина ошиблась – Гоголь и Толстой направились не в Россию, а в Берлин].

Из приведенного рассказа следует, что Гоголь подумывал об уходе в монастырь, решив посоветоваться предварительно с Сабининым; с этой целью он и приехал в Веймар...

Неожиданный поступок? И да и нет.

Ожидаемый, вполне логичный – потому что Гоголь имел высокое представление о роли монастырей, о положении и призвании монаха. «Я не рожден для треволнений, – писал он Языкову 10 февраля 1842 г., – и чувствую с каждым днем и часом, что нет

выше удела на свете, как звание монаха» [XII, 34]. Это сказано с оттенком иносказательности: писатель мечтает об отшельничестве, «решительном уединении», в котором бы мог вполне отдаться своему труду (второму тому «Мертвых душ»). Но вот другое высказывание – из статьи «Нужно проездиться по России» (вошла в «Выбранные места...»), датированной автором 1845 г.: «Нет выше звания, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, как желанную душе моей, о которой уже и помышленье мне в радость» [VIII, 301]. Подразумевается монашество вполне реальное, неметафорическое, в подлинном его одеянии («ризе») и за монастырскими стенами.

Однако поступок Гоголя выглядел и неожиданным, потому что до сих пор речь шла о высоком и в этом смысле монастырском служении *в миру*, среди препятствий, бед и тревожных повседневной жизни. Мы знаем, писатель укреплялся в этом стремлении примером Франциска Ассизского с его идеалом честной бедности и архимандрита Макария с его филантропической деятельностью. «Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители, – говорит Гоголь в упомянутой статье, обращаясь к А.П. Толстому. – Монастырь ваш – Россия! Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней» [VIII, 301]. Потом, во второй части «Мертвых душ», эту мысль будет развивать Муразов: когда Хлобуев выскажет желание «пойти в монастырь», чтоб исполнять самые тяжкие «труды и подвиги», Муразов возразит: «Ведь вам же в монастырь нельзя идти: вы прикреплены к миру, у вас семейство» [VII, 242]. Так и Гоголь был «прикреплен к миру» – литературной работой, «Мертвыми душами». И вот, оказывается, он готов оставить все это...

Как много должно было перегореть в душе, насколько усилились сомнения в могуществе и спасительной пользе творимого им литературного дела, чтобы возникла эта мысль! Помимо творческой неудовлетворенности, Гоголь страдал и от разногласия и взаимонепонимания в чисто житейских отношениях, страдал от кривых взглядов, упреков в себялюбии, от подозрений (не всегда беспочвенных) в неискренности. Перемена положения разом бы со всем покончила. Хорошо знавший гоголевский характер Жуковский писал значительно позднее, в марте 1852 г., откликаясь на смерть писателя: «Его болезненная жизнь была и нравственно мучима. Настоящее призвание его было монашество: я уверен, что если бы он не начал свои “Мертвые души”, которых окон-

чание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы был монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой бы душа его дышала бы легко и свободно» [Жуковский, с. 550].

В связи с вынашиваемым Гоголем решением находится и его эпатажирующая фраза «Совсем забыл свою фамилию...». На первый взгляд, она кажется выражением высшей степени угнетенности, депрессии, но дело, очевидно, не в этом. Постригающийся в монахи в знак полного отрешения от прежней жизни получает другое имя (так художник в первоначальной редакции «Портрета» нарекается Григорием), и Гоголь мысленно, не без горькой иронии «проигрывает» применительно к себе эту ситуацию.

И все же нет оснований считать, что Гоголь уже *принял решение*; если бы это было так, ни Сабинин, никто другой его бы не отговорил; собственно, об этом говорит и дочь священника (убеждал его «не принимать окончательного решения»). Умонастроение Гоголя еще не оформилось, еще не вылилось в окончательный шаг; беседа со Стефаном Карповичем, он находился в смятенном, «ипохондрическом» состоянии духа.

Но какова же при этом была роль гоголевского спутника – А.П. Толстого? Судя по всему, он сочувствовал настроению писателя, оно отвечало его собственному убеждению. Характерно, что в упоминавшейся статье «Нужно проездиться по России» Гоголь говорит об уходе в монастырь как общем, своем и Толстого, искушении: «Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители...» [VIII, 301]. Более того, есть основания полагать, что Толстой в это время был настроен более радикально, доходя до прямолинейности. Об этом свидетельствует другая гоголевская статья «О театре, об одностороннем взгляде на театр...», начинающаяся обращением к Толстому: «Вы очень односторонни, и стали недавно так односторонни; и оттого стали односторонни, что, находясь на той точке состоянья душевного, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться односторонним всякому человеку» [VIII, 267]. «Теперь» – это именно в 1845 г. – году, которым неслучайно (и возможно, ретроспективно) датировал Гоголь свою статью. В связи с этим уместно упомянуть и восходящее к Гоголю сообщение, записанное его биографом со слов Анны Васильевны, сестры писателя, о том, что «А.П. Толстой носил тайно вериги» [Шенрок, т. 4, с. 409].

Итак, оставив после бесед с Сабининым мысль о монастыре, Гоголь вместе с Толстым в конце июня продолжил путь в Берлин.

Сабинин посоветовал по дороге заехать в Галле, чтобы показаться тамошнему доктору Петру Крукенбергу, об искусстве которого рассказывали чудеса. «К сему склонял меня и граф Толстой, видевший усиливши<еся> мои припадки, исхуданье и странный, болезнен<ный> цвет кожи» [XII, 498–499]. Так начался новый тур хождения Гоголя по медицинским знаменитостям.

Крукенберг обратил особое внимание на спину пациента: «Он меня раздел и щупал всего, перебрал и перещупал всякий позвонок в спине, испробовал грудь, стуча по всякой кости, и, нашед то и другое в добром здравьи, вывел заключение, подобно Коппу, что все дело в нервах...» [XII, 499]. Гастейн был тут же отменен и вместо него назначено трехмесячное пребывание на острове Гельголанд близ Гамбурга с ежедневным купанием в Северном море.

Гоголь заколебался и все-таки приехал (около 5 июня) в Берлин, чтобы посоветоваться с профессором Иоганном-Лукой Шенлейном: как тот решит, так пусть и будет. Но Шенлейна не оказалось на месте, и Гоголю рекомендовали другого врача, проживавшего в Дрездене Карла-Густава Каруса. И Гоголь отправился в Дрезден.

Карус приступил к делу основательно. «Раздевши меня всего, он перещупал меня также. Стучал по всем местам и костям в груди, нашел грудь здоровою, щупал живот и потом начал вновь стучать по ребрам в правом боку. Здесь он остановился и нашел, что звук гораздо повыше места печени уже становится глухим, что, по его мнению, есть явный признак, что печень выросла... что лечить нужно прежде всего печень и что, не теряя времени, следует мне прежде всего ехать в Карлсбад» [XII, 499–500].

В Карлсбад Гоголь приехал 20 июля, о чем свидетельствует запись в курортной книге («Carlsbaden Badeliste»): «Г-н Николай фон Гоголь из Москвы, штатский прибыл без сопровождающих лиц и остановился в доме “Russia” на Егерштрассе». А уехал 15 августа в Елизанские лазни [Фридкин, с. 58–59], пробыв таким образом в Карлсбаде 25 дней.

Увы, ни попечение доктора Флеклеса, которого Карус снабдил подробным описанием гоголевского недуга, ни знаменитая карлсбадская вода не помогли. День ото дня Гоголю становилось все хуже и хуже. «И руки, и ноги, и голова устали, и уже не помню, что пишу» (А.О. Смирновой, 25 июля н. ст. [XII, 505]). «...Слабость увеличилась и в силах могу передвигать ноги. Руки как лед...» (Н.М. Языкову, 25 июля н. ст. [XII, 507]). «Карлсбад пока расслабил и расстроил меня слишком сильно... В силу движу слабой рукой моей» (А.Н. Смирновой, 28 июля н. ст. [XII, 509, 513]).

В тот же день Гоголь просит мать отправить молебен о его выздоровлении – и «не только в нашей церкви, но даже, если можно, и в Диканьке, в церкви святого Николая, которого вы всегда так умоляли о предстательстве за меня» [XII, 509]. В этой церкви в свое время Марья Ивановна молилась о сохранении жизни будущего Никоши, дав обет назвать его в честь находившегося здесь чудотворного образа Николая Диканьского.

Но и молебен, если он состоялся, не помог. Приближалось самое страшное. После 28 июля наступает перерыв в письмах Гоголя; сохранилось лишь его краткое письмо родственнице Языкова Александре Петровне Ермоловой со словами: «Карлсбад мне не только не помог, но даже повредил и сильно расстроил и расслабил» [XII, 514]. А 12(24) августа Жуковский, основываясь на чьем-то сообщении, записывает в дневнике: «Худые известия о Гоголе» [ЛН. Т. 58. С. 690]. Очевидно, это были те дни, когда Гоголь, по его выражению, заглянул в лицо смерти.

Спасла его – и не в первый раз – дорога: Гоголь «убежал из Карлсбада».

«Зачем сожжен второй том “Мертвых душ”?»

Этот вопрос связан с другим: когда это произошло? Имеющиеся на сегодняшний день сведения не позволяют дать, как говорят, однозначный ответ.

Логично связать уничтожение рукописи поэмы с той мыслью, которую вынашивал Гоголь перед приездом в Веймар, – об уходе в монастырь. Гоголь перечеркивает свое прошлое, отказывается от художнического поприща – решительно и навсегда. Если это так, то упомянутое событие имело место до того дня, когда Гоголь покинул Веймар, до 25 июня. Возможно, в первой половине июня, в последние дни пребывания в Гомбурге или Франкфурте.

Однако сам писатель иначе объясняет мотивы сожжения.

Затем сожжен второй том М<ертвых> д<уш>, что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась

потрясенем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным [VIII, 297–298].

Кроме этого подробного объяснения (в «Четырех письмах разным лицам...»), у Гоголя находятся и другие, более краткие и беглые, но смысл их тот же. Так, в «Авторской исповеди», касаясь «Выбранных мест...», он говорит: «Как сравню эту книгу с уничтоженными мною Мертвыми душами, не могу <не> возблагодарить за насладное мне внушение <их> уничтожить. В книге моих писем я все-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных Мертвых душах ... В уничтоженных Мертвых душах гораздо больше выразилось моего переходного состояния...» [VIII, 458].

Это уже совсем другая причина: глубокое недовольство собой и своим трудом, острое разочарование в том, что сделано, но *не расчет с художественной деятельностью вообще*. И это разочарование, этот кризис обострены болезнью, достигшей высшей степени («...видя перед собою смерть»). Если это так, то упомянутое событие имело место в конце июля – в первой половине августа, т. е. в последние две-три недели пребывания Гоголя в Карлсбаде¹⁵².

В этот период мы не встречаем в письмах Гоголя упоминания о работе над «Мертвыми душами», за исключением одного, но чрезвычайно характерного. В письме от 25 июля н. ст. Смирновой Гоголь нехотя, чуть ли не под давлением своей корреспондентки, возвращается к больной теме:

Вы коснулись «Мертвых душ»... Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особливо Мерт<вых> душ. Но вы будете несправедливы, когда будете осуждать за них автора, принимая за карикатуру насмешку над губерниями... Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах, если бы Богу угодно было продлить жизнь мою и благословить будущий труд. Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покамест в душе у одного только автора... Была у меня, точно,

гордость, но не моим *настоящим*, не теми свойствами, которыми владел я; гордость *будущим* шевелилась в груди, – тем, что представлялось мне впереди, счастливым открытием, которым угодно было, вследствие Божией милости, озарить мою душу... Но не кстати я заговорил о том, чего еще нет [XII, 504–505; курсив в оригинале].

В этих рассуждениях неисполненность замысла ставится в зависимость не от отказа от писательского поприща, но от наличия или отсутствия божественного напутствия, вдохновения свыше, а также от длительности отпущенного ему срока жизни, о чем Гоголь говорит так, будто она уже прервалась («...если бы Богу угодно было продлить жизнь мою»). Далее: уже обращалось внимание, что в этом рассуждении речь о «Мертвых душах» ведется «в прошедшем времени, как о чем-то решительно не удавшемся и оставленном» [VII, 400]. Но точнее было бы говорить о *чередованиях времен* – прошедшего и настоящего; это чередование как раз и отражает кризисное, пограничное состояние Гоголя.

Тайна «должна *была*» раскрыться, если бы Богу «угодно было» помочь автору; открытиям «угодно было» озарить его душу... Это значит, что тайна *не* открылась, высшее благословение *не* снизошло на творца поэмы, словом, ожидаемого действия *не* произошло, и об этом приходится говорить уже как о факте прошедшего времени. Но тайна продолжает существовать, ключ от нее по-прежнему пребывает в душе автора. Словом, незавершенное задание поэмы длится в *настоящем времени* [см. подробнее: Манн, 1987, с. 186–187].

Гоголевская запись фиксирует сам процесс перехода, его тончайшую грань, когда еще ощутима вся боль пережитого, но уже затеплилась надежда.

Возможно, правда, другое: то, что было испытано в первой половине июня, перед Веймаром, Гоголь теперь переосмысливает; состоянию отчаяния, своеобразного прощания с литературной и всякой мирской деятельностью, подведению черты придает вид надежды, выхода из кризиса, наметившейся перспективы. Ведь «Четыре письма...» датированы автором 1846 г. (а опубликованы и того позже, в 1847 г., в «Выбранных местах...»), т. е. уже после кризиса.

Но скорее всего гоголевское объяснение мотивов сожжения соответствует действительности, а вместе с тем и приурочивание этого события к концу июля – первой половине августа представляется более вероятным.

Прежде всего потому, что, как мы уже говорили, нет оснований считать, будто бы Гоголь уже принял решение об уходе в монастырь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Затем трудно представить себе, что такое драматическое событие, как уничтожение второго тома поэмы, совершенно прошло бы без внимания близких к Гоголю в тот период людей – Жуковского, потом Толстого. Скорее всего он решился на этот шаг именно тогда, когда был один, в самые кризисные дни своей болезни, в Карлсбаде или же по выезде из Карлсбада¹⁵³.

Наконец, ряд сходных поступков Гоголя в прошлом также свидетельствуют об истинности сообщенной им мотивировки. Гоголь обычно уничтожал написанное в состоянии глубокого творческого недовольства, острого переживания неуспеха. Так было еще в гимназическую пору, когда его «славянская повесть» «Братья Твердославичи» (или «Братья Тведиславичи») была в пух и прах раскритикована товарищами и произнесен решительный приговор – мол, автору следует оставить прозу и писать только стихи, – и тогда Гоголь «совершенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки и бросил в топившуюся печь» [ИВ. 1892. № 12. С. 696; см. также: Книга 1]. Другое аналогичное событие – известная расправа над уже вышедшим «Ганцем Кухельгартенем» в 1829 г., что означало выбор противоположного направления, от стихов к прозе, или – в более широком смысле – от литературной деятельности к совершенно другой: преподавательской, чиновничьей и т. д. Видимо, не одно сожжение имело место и в 1833 г. – сожжение произведений, о которых мы даже ничего не знаем, – однако мы знаем, что толкало Гоголя на этот шаг: «Какой ужасный для меня этот 1833-й год! <...> Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собою. О не знай его!» [X, 277]. И наконец, ближайшее по времени к уничтожению второго тома поэмы сожжение – во Франкфурте, по-видимому, в конце лета 1841 г., когда Жуковский задремал во время чтения Гоголем своей трагедии из запорожской истории, и автор, сделав вывод, что произведение не получилось, бросил рукопись в камин.

Нам уже хорошо известна гоголевская «охота к перемене мест», к дороге, проявлявшаяся часто спонтанно и внезапно. Что это – жажда новых впечатлений? Обновления сил? Прибавления энергии? Не только. Это был род невропатологического состояния, требующего немедленного разрешения в разрыве с прошлым, с окружением, с самим собой. От себя не убежишь, но можно

высвободиться из привычной колеи, устоявшихся связей, опробованных приемов и сложившихся навыков. Сожжение рукописи, уничтожение сделанного – такой же разрыв, но еще более острый и мучительный.

Это был и род жертвоприношения, добровольного отвержения насущного и дорогого, – ведь у Гоголя не было ничего более насущного и дорогого, чем его поэма. Однако жертвоприношения ради воскрешения – того же замысла, того же труда, но в преображенном, просветленном виде. Тут гоголевский поступок находил себе опору и в христианском и в более древних, языческих пластах сознания, и библейский стих «...То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет» [1 Кор. 15, 36] соседствовал в его объяснении причин сожжения рукописи с упоминанием мифической птицы феникс, о котором в одном стихотворении Языкова (также хорошо известном Гоголю) сказано:

Это жертвенник спасенья,
Это пламень очищенья,
Это Фениксов костер!

Заключался в уничтожении рукописи и вполне прагматический мотив – чтобы у автора не возникало никакого соблазна подсмотреть, как там, в прежней редакции написано, как сформулировано. Все должно быть сказано заново – точнее, лучше и убедительнее.

Наконец, был в этом поступке и своего рода акт испытания – себя и своего предназначения. Если Бог своею волей воскресил и воззвал его, полумертвого, к жизни, то и труд его восстанет заново – «в очищенном и светлом виде». Если только с этим трудом действительно связана гоголевская высокая миссия.

«...Кажется, мне лучше»

Из Карлсбада Гоголь направился в курортный город Грэффенберг, но по дороге заехал в Прагу, где жил Вацлав Ганка (1791–1861), поэт и филолог, деятель чешского национального возрождения, известный своей замечательно искусной подделкой под старочешскую поэзию – так называемой «Краледворской рукописью».

По словам П.В. Анненкова, побывавшего в Праге в начале 1841 г., Ганка «всех русских принимает... как родственников, дает им Краледворскую рукопись и берет с них обещание выучиться по-чешски» [Анненков, 1983, II, с. 15]. В разное время здесь побывали Языков, Тютчев, Надеждин, Грановский, Срезневский...

Надеждин приезжал сюда во время своего большого путешествия по славянским землям вместе с Д. Княжевичем и оставил запись в альбоме Ганки, датированную 22 августа (3 сентября) 1841 г., а спустя два года, 27 апреля (9 мая) 1843 г., написал ему из Петербурга письмо-отчет о своей научной и редакторской деятельности [Письма к Ганке, с. 808–809]. В.А. Панов, после того как он оставил Гоголя в Риме весной 1841 г., а затем проучился некоторое время в Берлинском университете, приехал 18 марта следующего года в Прагу к Ганке: «Он принял меня также чрезвычайно хорошо, дал мне в подарок несколько небольших книжечек, им изданных: Чешскую грамматику, большой Лексикон...» [Встреча, с. 35]. Словом, «быть в Праге... и не посетить Ганку для русского было невозможностью»; «этот обыкновенный долг исполнил и Гоголь» [Кочубинский, кн. 3, с. 16], наведавшись в Чешский музей, где Ганка заведовал библиотекой и архивом.

Спустя многие годы, уже в начале следующего века, тот же автор описывал это место:

На Коловратской улице [теперь Прикоп] стоял тогда, как стоит и теперь, большой отель «У черного коня». Через дом от этого отеля, вправо, виднелось скромненькое старое здание Чешского музея. Теперь от него ни следа. В партере музея, налево от ворот, но с входом из-под ворот, ютилась убогая казенная квартира библиотекаря Ганки: две комнаты с кухней, с одним окном на улицу. В этой-то квартире 5 (17) августа Гоголь и принес обычную дань уважения всех русских – лично посетил Ганку, а остановился поэт, вероятнее всего, «У черного коня» [Там же. С. 17].

Другой автор, первый гоголевский биограф, рисует эту встречу во всех подробностях. По его версии русский писатель «несколько раз» приходил в музей «и рассматривал хранящиеся в нем сокровища славянской старины. Ганка никак не хотел верить, что перед ним тот самый Гоголь, которого сочинения он изучал с такою любовью (так наружность Гоголя, его приемы и разговор мало выказывали того, что было заключено в душе его); наконец спросил у самого поэта, не он ли автор таких-то сочинений.

– И, оставьте это! – сказал ему в ответ Гоголь.

– Ваши сочинения, – продолжал Ганка, – составляют украшение славянских литератур (или что-нибудь в этом роде).

– Оставьте, оставьте! – повторял Гоголь, махая рукою, и ушел из музея» [Кулиш, 1854, с. 150].

Нежелание Гоголя говорить о своих сочинениях – не единственный случай такого рода (вспомним его реплику священнику Базарову, произнесенную несколькими месяцами раньше ввиду своих книг: «Как! ...и эти несчастные попали в вашу библиотеку»), хотя трудно сказать, насколько верно воспроизвел Кулиш, опиравшийся и на какие-то устные сведения, всю сцену. Но точно известна запись, сделанная Гоголем в альбоме чешского ученого: «Гоголь желает здесь Вячеславу Вячеславичу еще сорок шесть лет ровно, для пополнения 100 лет, здравствовать, работать, печатать и издавать во славу славянской земли и с таким же радушием приветствовать всех русских, к нему заезжающих, как ныне. 1845. 5 (17) августа» [IX, 26]. И эта запись наглядно свидетельствует, что в настроении Гоголя наметилась перемена: только что он «готовился и совсем умереть» – и вдруг «перед нами нормальный человек, умный русский путешественник, который не прочь и чуточку пошутить своим писательским пером» [Кочубинский, кн. 3, с. 14].

Еще отчетливее перемена к лучшему выявилась по приезде Гоголя в Греффенберг, где он провел более месяца, по конец сентября. «Бог милостив: мне, кажется, как будто немного лучше» (11 сентября н. ст., Жуковскому [XII, 514]). «...Мне как-то свежее, и я чувствую теперь дух пуститься в дальнюю дорогу, на которую больше всего надеюсь...» (11 сентября н. ст., С.М. Соллогуб [XII, 516]). «...Слышу, однако же, какое-то живительное освежение и что-то похожее на крепость...» (12 сентября н. ст., Жуковскому [XII, 517]). «Здоровье мое, кажется, как будто немного лучше...» (конец сентября н. ст., С.Т. Аксакову [XII, 522]).

Помогло лечение холодной водой по методу Винсента Присница, одного из основателей гидротерапии, у которого двумя годами раньше успешно лечился А.О. Россет. Холодные купания вопреки ожиданию благотворно подействовали на Гоголя и летом 1844 г., когда он проживал у Северного моря в Остенде. А теперь он полностью отдался во власть водной стихии и манипулирующего с его телом персонала: «Я как во сне, среди завертываний в мокрые простыни, сажаний в холодные ванны, обтираний, обливаний и беганий каких-то судорожных, дабы согреться. Я слышу одно только прикосновение к себе холодной <воды> и ничего другого, кажется, и не слышу и не знаю. Это покамест все, что мне

теперь нужно, а мне нужно теперь *позабыться*» [XII, 517; курсив в оригинале].

Кроме того, Присниц предложил Гоголю изменить режим питания: поменьше калорийной пищи, изнуряющей организм обилием соков; мясо только вываренное, зато больше молока и мучного, причем хлеб грубого помола – желудок должен работать, а не лениться... Сладкоежке Гоголю такое давалось с трудом, но он уже почувствовал «желудок свой лучше, чем тогда, когда по предписанию докторов ел сочное недожаренное мясо и легкие блюда из зелени», – и решил всю жизнь выполнять эти рекомендации.

В Греффенберге Гоголь не чувствовал себя таким одиноким, как в Карлсбаде: сюда приехал А.П. Толстой, также лечившийся по методу Присница и также получавший от этого «значительное облегчение». Улучшающееся состояние Толстого усиливало благотворное действие лечебных процедур на Гоголя.

К концу пребывания в Греффенберге Гоголь чувствует себя в силах вновь заняться судьбой ближних. Анну Виельгорскую, которой еще годом раньше, во Франкфурте, он поручил страждущего «пациента» [XII, 374] – очевидно В.А. Соллогуба, – теперь он буквально умоляет удвоить свои усилия: «Не смущайтесь ни недоступностью его, ни сумрачностью вида, ни сухостью приема и подходите к нему как нежнейшая сестра подходит к брату, снедаемая только одним желанием внести утешение в страждущую душу, о том одном только помышляющая, о том одном только молящая и прощающая у Бога ежеминутно только того, чтобы внушил для этого средства, просветил и обучил ее разум». А о собственном «нашем здоровье, нашей хандре» следует позабыть¹⁵⁴.

И все же для вящего спокойствия Гоголь решил съездить в последних числах сентября в Берлин, чтобы проконсультироваться с профессором Шенлейном, которого не удалось увидеть здесь тремя месяцами раньше. И вновь все перевернулось: Шенлейн рекомендовал «есть побольше мясного и зелени и поменьше мучнистого и молочного». Немножечко сбитый с толку, Гоголь решил следовать пословице «Людей расспрашивай, а держись своего разума».

Зато в установленный Шенлейном общий диагноз Гоголь, кажется, поверил – «расстройство в нервической системе, так называемое *nervoso fascoloso* (в брюшной полости)». Принял Гоголь и рекомендации дальнейших действий, ибо они в общем отвечали его стремлению в Италию: «...приехавши в Рим, поутру вытираться мокрой простыней, потом принять две капли прописанных капель, а ввечеру – две пилюли. В апреле же месяце ехать

в Неаполь и начать морское купанье в Каstellамаре и пить в то же время там обретающуюся воду Aqua Media» [XII, 523].

А.П. Толстой не поехал с Гоголем в Берлин – он возвратился в Париж, в отель «Вестминстер» на Rue de la Paix, где в начале года останавливался и Николай Васильевич. Но и в Берлине нашелся соотечественник, скрашивавший одиночество писателя, – младший сын Виельгорских Михаил, служивший здесь при русском посольстве. Приезжала сюда и родная сестра графа Толстого Софья Петровна Апраксина (1800–1886), вдова флигель-адъютанта Владимира Степановича Апраксина, скончавшегося в 1833 г. «Виельгорскому Апраксина очень понравились, и он, кажется, с ними хорошо познакомился», – сообщал Гоголь графу Толстому в Париж. Но с самим Гоголем Апраксина разминулась – уехала в Рим за несколько дней до его приезда в Берлин.

Еще одна новость, занимавшая в Берлине всех русских, – прибытие императрицы Александры Федоровны. «Государыню все в Берлине нашли в хорошем состоянии; она избежала весьма скоро на лестницу, так что видевшие ее незадолго до того в Петербурге почти не узнали» [XII, 524], – информировал Гоголь А.П. Толстого.

Это письмо он отправил с дороги, из Дрездена, 1 октября. Через семь дней Гоголь уже в Вероне и уполномочивает А.А. Иванова в Риме подыскать для него квартиру или на старом месте на Via Sistina (т. е. Strada Felice), или на Грегориана, но чтобы были «две комнатки на солнце». Можно заглянуть и к прежнему хозяину г-ну Celli на той же Via Sistina: «Я привык к этим местам, и мне жалко будет им изменить» [XII, 526].

И в ожидании встречи просит поклониться Иордану и – особенно сердечно – Моллеру.

Рим: осень и зима 1845 года

Гоголь приехал в Рим к 24 октября и остановился в гостинице Cesari, на виа ди Пьетри, 89, где, между прочим, не раз останавливался и Стендаль [Гасперович, с. 98–99]. О своем приезде Гоголь тотчас же уведомил Александра Иванова, приглашая его к себе, – «сам же к вам нейду по причине болящей ноги» [ЛА. С. 9; публикация А.Н. Степанова].



Н.В. Гоголь
С дагерротипа. 1845

Вскоре писатель нашел себе новую квартиру, впрочем, недалеко от квартиры прежней: он поселился на Via de la Croce, в доме № 81, на третьем этаже. Дом известен как палаццо Понятовского, потому что был построен для племянника польского короля князя Станислава Понятовского, но после переезда его во Флоренцию сдавался квартирантам. Спустя многие десятилетия этот дом внимательно будет разглядывать историк-следопыт: «Его грязный непривлекательный вид указывает на то, что он давно не видал ремонта и, по всему вероятно, таким же он был и в гоголевское время» [Авентино, с. 10].

Кстати, и палаццо Понятовского заключало в себе память о важном для Гоголя событии: в начале века здесь при князе работал секретарем римский поэт Белли (а в 1846 г. в палаццо остановится автор «Моих темниц» Сильвио Пеллико [Гасперович, с. 100–101]).

Чувствует себя Гоголь по прибытии в Рим значительно лучше. «...Переезд в Италию и теперь, как всегда, подействовал хорошо» (Л.К. и А.М. Виельгорским [XII, 526]). «Длинный



Н.В. Гоголь

Рисунок К. Рабуца. 40-е годы XIX в.

переезд и дорога подействовали на меня и на сей раз, как всегда, благотельно» (М.И. Гоголь [XII, 527]). «...Не беспокойтесь обо мне. Мне гораздо лучше. <...> Длинная дорога мне вновь помогла. Вечный Петр вновь перед мною; Колизей, Монте-Пинчио и все наши старые друзья со мною. Бог милостив, и дух мой оживет, и сила воздвигнется!» (А.О. Смирновой [XII, 527–528]; все три письма от 24 октября н. ст.).

«Старые друзья» – это и римские достопримечательности, и знакомые соотечественники, «прежние приятели», художники Иванов, Моллер, Иордан и другие.

Окружающие Гоголя тоже заметили перемену. «Гоголь здоров и бодр...» [ЛН. Т. 58. С. 673], – сообщает Александр Иванов Чижову 27 октября (8 ноября). Хорошие новости дошли и до Смирновой в Петербурге, и до Аксаковых в Москве. «...Все известия об Гоголе самые приятные: он освежился, укрепился и готов приняться опять за дело, – дай Бог!» [ЛН. Т. 58. С. 679], – писала В.С. Аксакова М.Г. Карташевской 27 декабря.

Гоголь охотно общается, но с узким кругом людей. «Мы собираемся часто вместе к обеду в Фиано, т. е. Гоголь, Моллер, Сверчков и я, – сообщает Иванов Ф.В. Чижову 27 октября (8 ноября). – К нам хочет присоединиться Галахов – он здесь с сестрой. Но уже мне не до приятностей теперь...» [ЛН. Т. 58. С. 673].

Ровесник Гоголя Иван Павлович Галахов (1809–1849), принадлежавший к герценовскому кружку (его яркая характеристика содержится в главе ХХIX «Былого и дум»), путешествовал в это время по западноевропейским странам. Но, по-видимому, его попытка «присоединиться» к Гоголю не увенчалась успехом; чуть позже, 19 (31) декабря, он пожалуется Чижову: «...Гоголь здесь, но от сближения с ним, видно, нашему брату, неизвестному человеку, надо отказать; впрочем нелюдимость его имеет причины основательные – болезнь, занятия и самую известность» [ЛН. Т. 58. С. 678].

С кем Гоголь охотно общался, так это с сестрой А.П. Толстого Софьей Петровной Апраксиной, с которой он разминулся в Берлине. По сведениям, дошедшим до Смирновой, Гоголь бывал теперь у нее «всякий день», чему она, Смирнова, очень рада: «Ему всегда надобно пригреться где-нибудь, тогда он и здоровее, и крепче духом. Совершенное одиночество для него пагубно» [Плетнев, 1896, т. 2, с. 931].

И еще Гоголь познакомился с Аполлинарием Петровичем Бутеневым (1787–1866), опытным дипломатом, двумя годами раньше назначенным русским посланником в Риме (он сменил в этой должности И.А. Потемкина). После первой же встречи Гоголь писал Жуковскому: «Кажется, мы с ним сойдемся близко» [II, 529]. Пользуясь благосклонностью Бутенева, Гоголь разрешил своим корреспондентам адресоваться прямо в посольство. Чуть позже посланник будет снабжать Гоголя сведениями, относящимися к приезду в Рим императора Николая.

Из событий, происходящих на родине, внимание Гоголя по-прежнему привлекало формирование славянофильства. Отношение его к этому течению было в общем заинтересованно сочувственное, но не безоговорочно одобрительное. Гоголь старается выработать взвешенную, осторожную позицию, и в этом смысле показательна его оценка курса древней русской литературы Шевырева, чьи взгляды хотя и не тождественны славянофильству, но имеют с ним точки соприкосновения.

Против нового труда Шевырева резко высказывался А.И. Тургенев еще в конце 1844 г., при этом он доводил свое мне-

ние (через посредство Жуковского) до Гоголя: «*Божок* Шевырев все умничает, особливо во *введении* к истории русской словесности, часто смешон философским важничаньем и бессмысленною, но есть и дельное в фактах» [ЛН. Т. 58. С. 670; курсив в оригинале]. Затем при личных встречах Тургенева с Гоголем в Париже в начале 1845 г. спор обострился, но его главным предметом стало уже стихотворение Языкова «К ненашим». С трудом Шевырева Гоголь, по-видимому, сумел познакомиться позже, весной 1845 г., по фрагменту, помещенному в первом номере «Москвитянина» за тот же год, а сообщил он свое мнение автору уже из Рима (письмо от 20 ноября н. ст.). Фрагмент нашел у Гоголя полное одобрение: «Прочитавши его, я благодарил Бога, благословившего тебя. В этом отрывке ты вовсе другой, чем был доселе; в нем все полно и каждое слово полновесно. Слышен человек, созревший и разумом и душой, и сам дух божественный, изгоняющий все лишнее, неуместное и пристрастное, в нем слышится» [XII, 539].

Действительно, отвечая на вопрос о соотношении народного и общечеловеческого, Шевырев стремится держаться середины. «Народ, не зная себя, не может совершенно знать и другие народы: обрато, не зная других народов, он не может знать и себя». «Одни думают, что самосознание народное должно внушить нам гордость и привести к народной исключительности; другие напротив того воображают, что оно должно уничтожить нас перед другими народами <...> Нет! Оно, как мне кажется, должно произвести в нас ясное, разумное сознание своей народной силы – и с тем вместе вызвать открытую исповедь наших народных недостатков, без которых ни в человеке отдельно, ни в народе целом невозможно христианское совершенствование» [Там же. С. 8]. Словом, по отношению к своему, родному, национальному Шевырев настроен достаточно критично и трезво – выражение «исповедь наших народных недостатков» говорит само за себя. И при этом в коренном, как сказали бы тогда, субстанциальном, религиозно-сущностном Шевырев готов поставить отечественное выше чужого, инородного: «Наше русское народное тем отличается от других, что оно с самого начала бытия своего окрестилось, облеклось во Христа» [М. 1845. № 1. Отд. «Московская летопись». С. 9]. К этому убеждению, одному из центральных в славянофильской доктрине, в середине 1840-х годов приближался и Гоголь.

Вместе с тем крайности славянофильства, особенно в его бытовом, поведенческом аспекте, Гоголь недвусмысленно осудил. Эти крайности были продемонстрированы Константином Акса-

ковым, чья прямолинейность и категоризм и прежде раздражали Николая Васильевича, а тут еще стали приходить известия об опытах Аксакова по возрождению исконно русского одеяния и внешнего облика. Первой сообщила об этом Смирнова из Павлино (что под Петербургом), не называя Аксакова по имени: «До меня дошло слухами, что там [в Москве] делают глупости. Один из них, например, напомнил мне замечание городничего учителю: “Александр Македонский, конечно, был великий человек, но зачем опять стулья ломать?” Не назову его; но знаю, что он не только стулья ломает, но еще и платье свое изорвал на себе. Его почитают помещанным в Москве, и это дошло ко мне от очевидца и очень хорошо расположенного человека» [РС. 1890. С. 647; письмо от 11 августа 1845 г.; упомянутый «очевидец» – по-видимому, Ю.Ф. Самарин]. Затем поступили и другие сведения о Константине Сергеевиче. «Ты знаешь, – писал Гоголю Шевырев 4 октября, – что он решительно бородой и зипуном отгородил себя от общества и решился всем пожертвовать наряду» [Переписка, т. 2, с. 317].

Реакция Гоголя была резкой: он не удержался от обвинений Константина Аксакова в «дурачестве» и «фанатизме», не постеснялся затронуть такую деликатную тему, как его девственность (кстати, еще одно свидетельство, что сам Гоголь относился к этой проблеме достаточно трезво, без тени идеальничанья и экзальтации): «Для него [Константина] даже лучше <бы> было, если бы он в молодости своей, по примеру молодежи, ходил раз, другой в месяц к девкам. Но воздержанье во всех рассеяниях жизни и плоти устремило все силы у него к духу. Он должен был неминуемо сделаться фанатиком, так я думал с самого начала. <...> Я напишу к нему...» [XII, 537].

Тон своего письма Аксакову Гоголь выбрал более сдержанный и дипломатичный, начиная с обращения «мой добрый и мною любимый Конст<антин> Сергеевич!». Упомянул о благих намерениях своего адресата – «дай Бог побольше государю таких истинно русских душ и таких верных подданных, каковы вы», и о том, что и сам чувствует «отвращение к нашему обезьянскому европейскому наряду и глупому фраку». Но решиться на такое нововведение, на которое отважился Аксаков, продолжает Гоголь, можно только по мановению царя: «У нас, в русском царстве, или, лучше, в сердце тех людей, которые составляют *истинно-русское царство*, водится так, что царь глава, и только то, что передастся через него и из его уст, то облекается в законность» [XII, 540; курсив в оригинале]. Конкретно это означало, что первым должен

облачиться в зипун и мурмолку император, а за ним уже последует общество... В очередной раз призвал Гоголь своего адресата к «смирению», т. е. к самовоспитанию.

В связи с постоянной гоголевской темой – воспитания – его внимание привлекла фигура Марии Александровны, жены наследника, будущей императрицы (бракосочетание Александра Николаевича и Марии Александровны состоялось еще в апреле 1841 г.). Сведения о цесаревне Гоголь получил от А.О. Смирновой, имевшей с ней долгую беседу при дворе. «Она настоящее сокровище и душой и умом. Долго расспрашивала меня о воспитании в казенных заведениях и делала такие верные, исполненные здравомыслия замечания, что я удивлялась, как в эти лета, при этой жизни и стольких заботах, она могла так хорошо обдумать этот предмет» [Переписка, т. 2, с. 164]. Гоголя это сообщение воодушевило: «Из Петербурга, – писал он Жуковскому 28 октября н. ст., – я имею утешительные вести о цесаревне. Она, чем далее, обвораживает более и более всех. Понемногу открывается, что это сокровище, которым подарил Бог Россию» [XII, 530].

Внимание Гоголя к облику цесаревны обуславливалось его общим интересом к роли женщины в современной жизни, «при нынешнем порядке вещей в России». Писатель уже намечал такую роль и перед Марией Балабиной, и перед Анной Виельгорской; обдумывал он и предназначение Александры Осиповны в связи с ее будущим как губернаторши. Теперь в кругозоре Гоголя обозначилась женщина, чье влияние могло распространяться неизмеримо шире – на всю Россию. И Гоголь обратился к Анне Виельгорской в Петербург с рекомендацией: «Вам нужно будет сойтись и непременно поближе с Марией Александровной: все, что ни слышу я о ней, говорит о многих сокровищах, в ней заключенных... И вы ей, и она вам может быть очень полезна» [XII, 532]. Намечался своего рода союз «полезных» женщин...

Тем временем в Риме готовились к приезду царствующего российского императора. 13 ноября он прибыл в Сицилию, в Палермо, где проводила зиму и лечилась императрица Александра Федоровна; вместе с Николаем I приехал канцлер Нессельроде; по этому поводу направлялся из Рима в Палермо и посланник Бутенев. Гоголь внимательно следит за событиями. 28 ноября н. ст. он сообщает Жуковскому, что государь «весел, весьма доволен Палермой и приемом короля; погода там стоит удивительная, не бывает меньше 20 градусов тепла. Спят с открытыми окнами;

постоянно продолжающийся широко начинает государыне однако же надоедать, она чувствует тяжесть ... Государя ожидают в Рим на днях; Бутенев для этого уже съехал с своей квартиры и переехал в гостиницу» [XII, 543].

Император прибыл в Рим из порта Чивита-Веккия 1 (13) декабря пополудни, а уехал 5 (17) того же месяца, пробыв в городе четыре дня [Попов, с. 65–66].

Накануне визита Бутенев объявил кардиналу Луиджи Ламбрускини, занимавшему должность статс-секретаря Папы Григория XVI: «Государь император путешествует incognito, под именем генерала Романова, и повсюду уклоняется от церемониальных встреч, приемов и почестей; он остановится в доме посольства...» [Там же. С. 62]. Но несмотря на приватный характер поездки, у нее была вполне конкретная цель: сгладить напряженность в отношениях с Ватиканом, вызванную польскими событиями и политикой русского правительства в связи с католицизмом.

Эту напряженность отметил и Гоголь в том же письме Жуковскому: «В Риме все католичество... вооружено против государя». Гоголь упоминает о шуме, который произвела в Риме «бежавшая из России полячка-униатка», рассказывавшая «о мучительствах, ею претерпленных, и пытках за неприятие православия». Униатке, говорит Гоголь, вначале поверили, но поскольку она оказалась «довольно здоровая и бойкая женщина и притом уже чересчур стала изображать картинно и прибавлять, то начинают уже сомневаться и в том, что вначале казалось похожим на правду». Завершает Гоголь свое сообщение словами императора, «что у него и в мыслях не было притеснять каким бы то ни было образом католическую веру» [XII, 544]. Судя по тону письма, Гоголь также не считает «такие слухи» достоверными.

Если верить посланнику Бутеневу, то Николай I успешно решил поставленную перед собой задачу, и визит его имел успех. 9 (21) декабря, по отъезде императора, он писал графу Воронцову-Дашкову, что «римское народонаселение повсюду встречало высокого путешественника с таким энтузиазмом, который невозможно описать. Улицы, примыкающие к дому русского посольства (palazzo Giustiniani), в котором он останавливался, по целым дням были наполнены тысячами лиц различных классов...» Отзвук воодушевления, пробужденного этими встречами, дошел до Ф.И. Тютчева, писавшего спустя четыре года в статье «Папство и римский вопрос. С русской точки зрения»: «...еще памятно то всеобщее душевное волнение, с каким было встречено его [Нико-

лая I] появление во храме св. Петра – появление православного императора ... памятен электрический трепет, пробежавший по толпе, когда он подошел помолиться у гроба апостола» [Тютчев, с. 500–501; пер. с фр.; оригинал см.: Там же. С. 582].

В самый день приезда император нанес визит Папе, который «вышел к нему навстречу, окруженный всем своим духовным и светским двором в парадных платьях, и ввел его в свой кабинет». «Декабря 5 (17), в день своего отъезда император снова посетил папу... Во время этих двух посещений Ватикана государя сопровождали: князь Волконский, граф Орлов и другие лица его свиты. Граф Нессельрод [так!] приехал в Рим два дня спустя после императора и был принят папой один и весьма благосклонно». Во время встреч Николай I стремился рассеять мнение, будто он хочет «окончательно разрушить латинскую церковь в пределах империи и Царства Польского», и уверял, что «русское правительство карало мятежников, а не исповедников латинского учения...» [Попов, с. 66–67].

Гоголь о характере бесед и встреч, естественно, не осведомлен, но он передает внешнее впечатление о настрое императора: «Я был рад душевно, что он здоров и весел, и молился за него искренно» [XII, 547].

У Николая I в Риме была и своего рода культурная программа. «Все свободное время государь посвящал осмотру римских достопримечательностей. Художники нашли в нем покровителя, бедные – щедрого благотворителя» [Попов, с. 66].

Русские художники собрались в соборе Святого Петра, где их представил императору Федор Петрович Толстой (1783–1873), медальер, скульптор, живописец, график. «Что – не ленятся?» – спросил Николай I Толстого и, получив отрицательный ответ, заметил: «Мы это увидим и определим» (из письма Ф.П. Толстого к конференц-секретарю Академии художеств В.И. Григоровичу [РС. 1878. Февраль. С. 348]). Затем Николай I посетил мастерские скульпторов Константина Михайловича Клименко, Петра Андреевича Ставассера, Николая Александровича Рамазанова.

У Рамазанова император залюбовался фигурой нимфы, сказав при этом одному своему адъютанту: «Смотри... не заглядывайся, а то скажу жене – приревнует!» [Рамазанов, с. 130]. По поводу эскиза группы «Нимфа с Сатиром» (Сатир поймал Нимфу, обхватив ее нижними конечностями, и пытается своими вытянутыми губами добиться у стыдливой красавицы ответного поцелуя) государь заметил: «Но это чрез чур выразительно».



Н.В. Гоголь среди русских художников в Риме
Дагерротип. 1845

Ф.П. Толстой заверил: «Он [т. е. Рамазанов] эту группу обработает, ускромнит». Николай I: «Но это дело другое; а то в таком виде ее нельзя поставить в моих комнатах. Заказать из мрамора!» [Там же. С. 132].

Посетил император и мастерскую Иванова, где шла работа над «Явлением Мессии». Художник вышел навстречу «с бумагою в руках, в которой готовился прочесть подробное содержание своей картины, и стал уже в позу; но царь сказал ему: ты читай про себя, а мне покажи твою картину! мне некогда!» [Там же. С. 136]. Согласно Ф.П. Толстому, царь остался доволен – «очень расхвалил картину и велел Иванову оканчивать ее с Богом» [РС. 1878. Февраль. С. 352]. О реакции Николая I знал, разумеется, и Гоголь: «Весьма похвалил Иванова, которого картина ему очень понравилась» (Жуковскому, 6 февраля н. ст. 1846 [XIII, 37]). На самого художника визит императора имел действие ободряющее: «Эта минута моя была самая высокая в моей земной жизни, – писал он

одному из корреспондентов, – я внутренне укреплялся молитвою, и вот – Царь. Он раскрыл во мне чувство, которое до его приезда я совсем не знал – чувство моей собственной значимости, которое так сильно меня занимает» [Иванов, 1880, с. 201].

Во время визита в мастерскую Иванова возникла тема, косвенно имеющая отношение к Гоголю. Дело в том, что согласно более поздним воспоминаниям художника Николай I заинтересовался «фигурой раба» и спрашивал о ее «значении» [Боткин М., с. 331]. А этот персонаж, как известно, вызывал большой интерес Гоголя и, возможно, даже был помещен на полотно по его совету [Машковцев, 1982, с. 112–114].

Что же касается общения Гоголя с императором, то, по словам писателя, он видел его лишь «мельком», «раза три» [XII, 547]. И в другом письме: «...я полюбовался им только издали...» [XIII, 30]. Во всяком случае, инициативы встречи тот не проявил, и Гоголь, конечно, на глаза лезть не стал. «...Ему дел и занятий была здесь куча и вовсе не для того, чтобы принимать всякую мелюзгу, подобную мне» [XII, 547], – объясняет Николай Васильевич своей матери.

Возможно, поведение Гоголя обусловливалось и состоянием работы над «Мертвыми душами». С приездом в Рим у писателя пробудилась надежда. «...Милосердный Бог, может быть, вновь воздвигнет меня на труд...» (А.М. Виельгорской, 29 октября н. ст. [XII, 533]). «Я острою перо...» (В.А. Жуковскому, 28 ноября н. ст. [XII, 545]). «...Чувствую в себе и голову и мысли более свежими и, кажется, мог бы теперь засесть за труд...» (П.А. Плетневу, 28 ноября н. ст. [XII, 546]).

Но труд существенно так и не продвинулся, и Гоголь все еще ощущал себя на пороге большого дела. А ведь это дело было освящено высоким обязательством, даже «клятвой», данной им «венценосному покровителю всего прекрасного». Сам император, может быть, всего этого и не удержал в памяти, судя по его отношению к первому тому поэмы, но Гоголь-то помнил свои слова очень хорошо, поскольку они должны были запечатлеть и укрепить его внутреннее самоощущение.

Кстати, говоря об Александре Иванове и, возможно, даже в связи с проявленным к нему августейшим вниманием, Гоголь вновь обратился к тому эпизоду своей римской жизни, когда его поддержал сам царь.

Один раз... я очутился в городе, где не было почти ни души мне близкой, без всяких средств, рискуя умереть, не только от болезней и страданий

душевных, но даже от голода... Спасен я был государем. Нежданно пришла мне от него помощь. Услышал ли он сердцем, что бедный подданный его на своем неслужащем и незаметном поприще помышлял сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другие на своих служащих и заметных поприщах, или это было просто обычное движенье милости его. Но эта помощь меня подняла вдруг... К причинам, побудившим взяться с новою силою за труд, присоединилась еще мысль, – если удостоит меня Бог сделаться точно человеком близким для многих людей и достойным точно любви всех тех, которых люблю, – сказать им: «Не забывают же, меня бы не было, может быть, на свете, если б не государь». Вот каковы бывают положения [VIII, 333–334].

Хотя до читателей в свое время это признание не дошло (из статьи «Исторический живописец Иванов», включенной в «Выбранные места...», оно почти целиком было изъято цензурой), существен уже тот факт, что эпизод помощи ему со стороны императора Гоголь решил сделать событием публичным. А поскольку он ничего не сказал о своем предшествующем обращении к царю, то поступок последнего приобрел вид самостийного августейшего решения. Между императором и писателем образовалась связь почти мистическая. Но испытывать судьбу опасно; во всяком случае, нелегко предстать пред светлые очи того, пред кем имеешь такие обязательства.

В самые последние дни 1845 г. Гоголю стал известен факт, свидетельствующий не только о его растущей известности в западноевропейских странах, но и прямом, авторитетном признании.

В Париже вышел том гоголевских сочинений: *Nicolas Gogol. Nouvelles Russes. Traduction française, publice par Louis Viardot. Paris, 1845.*

До сих пор, начиная с 1839 г., на Западе выходили лишь отдельные повести Гоголя – «Записки сумасшедшего» и «Старосветские помещики» на немецком, «Тарас Бульба» на чешском и т. д. А тут – целый том, избранное, пять произведений: «Тарас Бульба», «Вий», «Записки сумасшедшего», «Старосветские помещики» и «Коляска». Луи Виардо объяснил в предисловии, что он основывался на переводах, подготовленных Ж. Т., т. е. Иваном Тургеневым, и С. Г., т. е. Степаном Геденовым, историком и литератором, сыном директора императорских театров А. М. Геденова. Решающую роль в подготовке переводов сыграл Тургенев.

Общественное мнение Франции уже было настроено на появление книги: в октябре в парижском журнале «*Illustration*»

были опубликованы две повести – «Старосветские помещики» и «Записки сумасшедшего», а еще раньше, в июле, – большая статья «О русской литературе: Пушкин, Лермонтов, Гоголь». Анонимный автор статьи (по мнению Л.Р. Ланского, И.С. Тургенев) приходил к выводу: «Все более возрастающее значение, которое приобрел Гоголь с самого начала своей деятельности, вместе с его неоспоримыми достоинствами, заставляет желать, чтобы его произведения распространились в Европе, где мы считаем возможным обещать им отличный прием. Известие о том, что перевод его лучших повестей должен скоро появиться на самом распространенном в мире языке, принимается нами с удовлетворением и доверием» [ЛН. Т. 58. С. 672–673].

Затем уже на появление книги специальной статьей в «Revue des Deux Mondes» за 1 декабря 1845 г. отозвался Сент-Бёв (русский перевод этой статьи незамедлительно поместил Белинский в составе своих «Литературных и журнальных заметок», опубликованных в первом номере «Отечественных записок» за 1846 г.).

Напомнив о своей встрече с Гоголем, случившейся шесть лет тому назад во время совместного плавания из Италии в Марсель, Сент-Бёв заметил, что уже тогда мог догадаться, как много «оригинального и действительного должны заключать в себе его произведения». Появление французского издания не обмануло ожиданий критика: «...Франция узнает в Гоголе человека с истинным талантом, тонкого и неумолимого наблюдателя человеческой природы» [цит. по переводу, опубликованному в кн.: Белинский, т. 9, с. 428]. Еще решительнее высказался «Journal des Débats» по поводу сборника, «который уже доставил своему автору народную известность в его отечестве и который должен во всякой стране дать ему место между лучшими нувеллистами нашего времени» [Там же. С. 429].

Вообще французское издание определенно содействовало продвижению Гоголя к западноевропейскому читателю. Вскоре книга была повторена в немецком переводе: «Russische Novellen von Nicolas Gogol. Nach L. Viardot übertragen von Bode» (Leipzig, 1846). Затем сборник стал предметом внимания чешского критика, который писал о Гоголе в 1847 г.: «...творения его, вышедшие в прошлом году во французском переводе, стали достоянием всего просвещенного мира и отныне будут украшением и в сокровищнице нашей переводной литературы» [Францев, с. 18]. Попала книга и в поле зрения Чарлза Диккенса, в письме Эдуарду Булвер-Литтону от 25 октября 1867 г. он советовал сообщить пьесе

«Пленники» не древнегреческий, а какой-либо европейский колорит, ссылаясь при этом на русского писателя: «Видели ли вы когда-нибудь “Русские повести Николая Гоголя”, переведенные на французский язык Луи Виардо? Среди них есть одна повесть под заглавием “Тарас Бульба”, в которой, как мне кажется, можно найти все необходимые условия для подобного перемещения действия. Изменив пьесу таким образом, вы прежде всего привлечете всеобщее сочувствие к рабам или военнопленным» [Алексеев М., с. 136].

В России подобные свидетельства европейской известности Гоголя принимали с живым интересом. «Слышала ли ты, милая Машенька, о статье St. Beuve о Гоголе в “Revue des Deux Mondes”? – писала В.С. Аксакова Марии Карташевской 27 декабря 1845 г. в Петербург. – Мы ее не читали, но Иван [Аксаков] читал ее. Он [т. е. Сент-Бёв] почти сравнивает Гоголя с Гомером и Шекспиром. <...> Повести Гоголя произвели необыкновенный эффект во Франции» [ЛН. Т. 58. С. 679]. По прочтении же статьи В.С. Аксакова выразила в письме к той же Марии Карташевской свое восхищение, особенно отметил при этом проведенную рецензентом параллель между Гоголем и Шекспиром [Там же. С. 680].

Белинский на страницах «Отечественных записок» специально обратил внимание на то, что к французскому изданию Гоголя причастны весьма авторитетные лица: Луи Виардо – литератор, приобретший «во Франции громкую известность превосходным переводом “Дон Кихота” на французский язык и своими глубокомысленными книгами о разных картинных галереях в Европе»; Сент-Бёв – «один из наиболее уважаемых во Франции критиков, который своей громкой известности в качестве критика обязан академическими креслами» [Белинский, т. 9, с. 421, 422]. Факт «необыкновенного успеха во Франции» переводов Гоголя критик обратил в назидательный урок для соотечественников: «Что скажут на это некоторые из наших quasi критиков, которые в сочинениях Гоголя не хотели видеть ничего, кроме грязи...» [Там же. С. 429].

На статью Сент-Бёва обратили внимание и другие: Шевырев, который в письме Погодину от 17 декабря 1845 г. предлагал как можно быстрее напечатать ее перевод в «Москвитянине» [ЛН. Т. 58. С. 679]; Аркадий Россет и Ю.Ф. Самарин, которые в письмах к А.О. Смирновой отозвались о статье как «очень замечательной» [Переписка, т. 2, с. 171]. Александра Осиповна была такого же высокого мнения о статье, оценив ее вместе с изданием сборника

гоголевских повестей как факт европейского признания. «Теперь замолчит вся болгаринщина, краевщина и проч., которая так сильно восстала против Аксакова и так смеялась над ним, – писала она Гоголю 14 января 1846 г. – Ведь для этих ослов мнения Запада авторитет, и в глазах Петербурга вы уже замечательное лицо, потому что: vous avez regu le bapême de l'Occident [вы получили крещение на Западе]» [Там же]. Упоминание «краевщины» (т. е. партии «Отечественных записок») говорит о том, что Смирнова и Белинского отнесла к числу людей, отрицавших или превратно понимавших Гоголя, – подразумевала она недавний спор критика с Константином Аксаковым по поводу гомеровских традиций и гомеровских сравнений в «Мертвых душах». В связи с этим нужно напомнить, что сам Гоголь к историко-литературным построениям и параллелям Константина Аксакова отнесся холодно.

Фактически не отозвался Гоголь и на информацию Смирновой – в ответном письме от 4 марта (20 февраля) 1846 г. он лишь сдержанно поблагодарил ее «за известия» [XIII, 41]. С самими же французскими статьями Гоголь познакомился раньше, в декабре 1845 г. или в первых числах января 1846 г., и прореагировал на них с полным равнодушием. «Я уже читал кое-что на французском о повестях в “Revue de Deux Mondes” и в “Des Débats”. Это еще ничего. Оно канет в Лету вместе с объявлениями газетными о пилюлях и о новоизобретенной помаде красить волоса, и больше не будет о том и речи» [Там же. С. 30]. Эта реплика находится в явной связи с гоголевским мнением о легковесности «французского элемента»: «...вся нация – блестящая виньетка, а не картина великого мастера» («Рим» [III, 229]).

Чуть больше интереса проявил Гоголь к тому, что пишется о нем в Германии, поскольку тамошние «литературные толки долговечнее» французских, но все же известие о немецком издании «Мертвых душ» (они вышли в Лейпциге в январе 1846 г. в переводе Ф. Лебенштейна) встретил с неудовольствием. «Кроме того, что мне вообще не хотелось бы, чтобы обо мне что-нибудь знали до времени европейцы, этому сочинению неприлично являться в переводе ни в каком случае до времени его окончания, и я бы не хотел, чтобы иностранцы впали в такую глупую ошибку, в какую впала большая часть моих соотечественников, принявших “Мертвые души» за портрет России» [XIII, 30].

«До времени», преждевременно, не к месту... Это, пожалуй, лейтмотив объяснений Гоголя, почему иностранцам не следует знакомиться с его творчеством (лишь за несколько месяцев до

смерти, по свидетельству, восходящему к М.С. Щепкину, Гоголь с удовлетворением прореагировал на слова И.С. Тургенева об успехе во Франции переведенных им повестей [Воспоминания, с. 529]).

Как ни парадоксально, сходные импульсы просматриваются и в других случаях, когда Гоголь стоял перед важной встречей, перед историческим randevu: с императором ли, в виде портрета – со своей читательской аудиторией или в своем собственном обличье – с переполненным зрительным залом театра. Во всех случаях первым его движением было: ретироваться, скрыться, убежать, затаиться... Не то чтобы Гоголь не хотел такой встречи, – но не пришло еще время, не сделано самое главное, еще не решена загадка его творчества, и, значит, не открыта тайна его существования...

Под знаком открытия этой тайны пройдет последнее семилетие его жизни.

Примечания

¹ *Кристи́н* (или *Криспе́н*) – устойчивое амплуа плута и хвастуна во французской комедии. Соотнося это имя с журналистом и писателем П.П. Свиньиным, Пушкин имел в виду и его приверженность ко лжи (пушкинская сатирическая миниатюра против Свиньи́на так и называлась – «Маленький лжец») и в то же время вполне корыстный, целенаправленный характер этой страсти. Характерно, что Пушкину очень понравилась эпиграмма Вяземского на Свиньи́на, обличавшая искательство и подхалимство последнего перед графом Аракчеевым («расчетливый Свиньи́н», по словам Вяземского, мечтает «выкляняться в чин»). О переосмыслении Гоголем амплуа сознательного обманщика см. подробнее: Манн, 1996, с. 203 и далее.

² В корреспонденции В. Филиппова [Известия. 1996. 25 декабря. № 242] сообщается, что «вологодский историк и литератор Владимир Аринин составил жизнеописание» Волкова, которое осталось нам недоступным.

³ Что же касается П.М. Волконского, то пока трудно сказать, читал ли Гоголь «Ревизора» в его доме. Р.Е. Терехина утверждает в примечаниях к одной своей публикации: «По свидетельству М.Ю. Виельгорского, 3 мая 1836 г. Гоголь читал “Ревизора” у П.М. Волконского, но в семейной переписке Волконских упоминаний об этом мы не нашли» [Пушкин. Исследования, т. 8, с. 266].

⁴ Намечалось еще одно чтение «Ревизора» тоже с участием Жуковского, на этот раз не в его доме, а у Смирновой-Россет, но неизвестно, состоялось ли оно. В недатированном письме Смирновой-Россет Жуковский сообщал: «В воскресенье буду к вам обедать. Но вот предложение: вам хотелось слышать Гоголеву комедию. Хотите, чтоб я к вам привез Гоголя? Он бы прочитал после обеда; а я бы так устроился, чтобы не заснуть под чтение. Отвечайте на это» [РА. 1883. № 2. С. 336].

⁵ О своей позиции в журнале Гоголь говорит и в письме А.О. Смирновой от 28 декабря н. ст. 1844 г.: к «Современнику» Пушкин «не питал большой привязанности, хотя издавал его собственными руками, и хотя я тоже с своей стороны подзадоривал его на это дело» [XII, 438].

⁶ Это установлено В.Г. Березиной, изучившей уникальный экземпляр журнала, хранившийся в ГПБ (СПб.). Настоящий экземпляр был начальным вариантом первого тома «Современника», который уже после утверждения его в цензуре (31 марта) был заменен вторым вариантом, с которого печатался весь тираж. При этом дата цензурного разрешения была сохранена. Билет на выпуск выдан 9 апреля. Тираж – 2400 экз. (см.:

Березина В.Г. Новые данные о статье Гоголя «О движении журнальной литературы...» [Материалы, 1954, с. 70–85; см. также другую работу Березиной в кн.: Пушкин. Исследования, т. 1, с. 278, 301–302].

⁷ Кстати, в порядке уточнения к моей собственной работе [Манн, 1994, с. 432] отмечу, что об авторстве Петра Ильича Юркевича следует говорить с полной определенностью (см.: Железняк С. (Пономарев С.И.). Материалы для словаря псевдонимов [Календарь Суворина на 1881, СПб., 1880, с. 290; здесь среди других псевдонимов Юркевича назван и псевдоним: П. М-ский; см. также: Масанов, т. 2, с. 183; т. 4, с. 544]).

⁸ Высказывалось мнение, что автор этой рецензии – В.М. Строев (см.: Кузовкина Т. «Лишь Сенковского толкнешь иль в Булгарина наступишь...» [Русская филология. 8. Сб. науч. работ молодых филологов. Тарту, 1997. С. 87–97]. Точка зрения эта недостаточно аргументирована, в частности неубедительна интерпретация рецензии как антибулгаринской («...Выпады против некоего критика гоголевских произведений, который при первом рассмотрении очень похож на самого Булгарина»). Но в любом случае решающее значение имеет тот факт, что эту якобы антибулгаринскую рецензию опубликовала газета Булгарина.

В недавно вышедшей книге «Феномен Булгарина: проблемы литературной тактики» (Тарту, 2007) Т. Кузовкина в том стиле полемизирует со мной: «Не согласившись с нашей точкой зрения (о том, что автор – В. Строев. – Ю. М.), Ю.В. Манн *приписывает* авторство рецензии Булгарину, *аргументируя* свою версию следующим образом: “Но в любом случае решающее значение имеет тот факт, что эту якобы антибулгаринскую рецензию опубликовала газета Булгарина”» (с. 67; курсив мой. – Ю. М.). Но приведенная цитата говорит не об авторстве Булгарина, но о том, что имеет значение публикация рецензии в его газете («Северная пчела»). Относительно же авторства Сомова сказано, что оно требует более основательной аргументации. Приходится объяснять очевидное...

⁹ Д.Д. Благой сообщил, что в имеющемся у него «уникальном экземпляре первой книжки “Современника” с цензурным “билетом” на выпуск и надписью цензора А.Л. Крылова статья тоже имеет подпись Гоголя». Поскольку Пушкин в связи со смертью матери уехал 8 апреля в Михайловское, а экземпляр на выпуск подписан цензором 9 апреля, то «есть все основания предполагать, что подпись была снята ... скорее всего без участия Пушкина» [Благой, т. 2, с. 391]. При этом, однако, решение о снятии подписи могло быть принято еще до отъезда Пушкина.

¹⁰ Упомянутая Данилевским дача в Лесном – это Спазская мыза. Плетнев проводил здесь чуть ли не каждое лето, начиная с 1826 г. [см.: Плетнев, с. 557].

¹¹ В мае 1835 г. Глинка уехал из Петербурга в Новоспасское [Глинка, 1930, с. 159].

¹² Специальный вопрос – о встрече Гоголя с А.В. Кольцовым. На известной картине А. Мокрицкого и его учеников «Субботние собрания у В.А. Жуковского» (1836–1837) изображены, в частности, Гоголь и Кольцов. Однако сам Кольцов 15 августа 1840 г. писал Белинскому, что с Гоголем он «не знаком» [Кольцов, 1909, с. 22]. Позднее, 29 апреля 1877 г., А. Краевский сообщил биографу Кольцова М.Ф. де Пуле: «С Гоголем, сколько мне известно, он также знаком не был; по крайней мере я ничего не слышал о нем от Гоголя» [ЛН. Т. 58. С. 126]. Добавим, что оба писателя так и не встретились: в сентябре 1840 г. Кольцов приехал в Москву с сильным желанием увидеть Гоголя, но тот незадолго перед тем, в мае, уже отбыл за границу.

¹³ Изложение этой заметки вскоре появилось в «Московских ведомостях» (1861. № 3, 4 января. С. 23), а затем она была перепечатана в «Литературном вестнике» (1902. № 1. С. 127–128).

¹⁴ Еще одно возможное знакомство Гоголя в тот период – существует свидетельство о посещении им поэта И.И. Козлова. «В 1836 г. у Козлова на литературном вечере сидели Жуковский, Пушкин, Гоголь и другие литераторы. Зашли толки о русской опере и русских композиторах. Пушкин сказал, что он желал бы видеть оперу лирическую, в которой бы соединились все чудеса хореографического, балетного и декоративного искусства». В качестве «сюжета» для подобной оперы Пушкин предложил свои произведения «Русалку» и «Торжество Вакха». Присутствовавший на вечере композитор А.С. Даргомыжский, «еще молодой и робкий человек», впоследствии воспользовался этим советом для своих одноименных опер [см.: СПб. ведомости. 1852. 25 сентября. № 214; сообщение перепечатано в журнале: Пантеон. 1852. Т. 5. № 10. Разд. 7. С. 56]. Встреча у Козлова в качестве установленного факта упоминается в научной литературе [см.: Черейский, с. 132, 198; Орлова А. М.И. Глинка. Летопись жизни и творчества. М., 1952. С. 125]. Однако музыковед М. Пекелис сомневается в реальности этой истории, полагая, что она была сочинена «дружественно настроенными к Даргомыжскому людьми, пожелавшими помочь ему в решении вопроса о постановке оперы»: «...нигде: ни в автобиографии, ни в письмах, ни в воспоминаниях близких композитору людей нет ни слова о знакомстве Даргомыжского с Пушкиным...» [Пекелис М. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение: В 3 т. 1813–1845. М., 1966. Т. 1. С. 227]. Со своей стороны, заметим, что нет и других сведений о знакомстве Гоголя с Козловым и Даргомыжским.

¹⁵ Любопытно, что спустя пять лет, в 1841 г., Ольдекоп совсем по-другому высказывался о «Ревизоре», который представляется ему

вредным произведением. «В этой комедии нет нравственного урока; напротив можно смело сказать, что окончательным размышлением многих из зрителей, насчет всех этих безнаказанных плутов и взяточников, будет восклицание: “молодцы! Славно обдeldывают свои дела”. Русская комедия ввела в употребление поговорку: “умный человек не может не быть плутом”» [Дризен, с. 123]. Изменилась ли точка зрения цензора на комедию? Или он так же думал и прежде, но не решился высказывать свое мнение? Во всяком случае, его отзыв 1836 г. «явно ориентирован на уже имевшееся решение вопроса» [Зайцева, с. 127]; ср. также мнение В.В. Гиппиуса об отзыве Ольдекопа в 1836 г.: «...его изложение «Ревизора» слишком явно стилизует комедию» [Материалы, т. 1, с. 312].

¹⁶ Авторство Мордвинова установлено И.А. Зайцевой [см.: Зайцева, с. 120]. Ранее ошибочно считалось, что резолюция принадлежит Л.В. Дубельту. Однако это не относилось к его компетенции (он был в то время начальником штаба корпуса жандармов).

¹⁷ Характерно изменение Гоголем одного места в сцене хвостовства: в черновой редакции Хлестакова принимают за известного военачальника Дибича-Забалканского, в первом издании – за турецкого посланника, впоследствии – за главнокомандующего.

¹⁸ Вяземский «из малого числа ратоборцев за пиесу» называет еще князя П.Б. Козловского, недавно возвратившегося из-за границы, литератора, близкого к Пушкину, сотрудника «Современника» [ОА. Т. 3. С. 317].

¹⁹ «...Виельгорский был один из первых и самых любимых русских меценатов; все этому способствовало: большое состояние, огромные связи, высокое, так сказать, совершенно выходящее из ряда общего положение, которое он занимал при дворе...» [Соллогуб, с. 293].

²⁰ Трудно, однако, точно определить, что было изменено и добавлено Гоголем под влиянием репетиций. Актер А.А. Алексеев рассказывает, что эпизод с Прохоровым, который «к делу не может быть употреблен», так как «привезли его поутру мертвецки», вписан Гоголем «на одной из репетиций», когда Прохоров, игравший квартального, не явился и на вопрос Сосницкого «А Прохоров где?» прозвучал ответ: «Опять запьянствовал» [Алексеев А., с. 50]. Но С. Данилов указал, что Прохоров готовился к роли не квартального, а Бобчинского и, кроме того, диалог о запившем квартальном, по фамилии Кнут, находился уже во второй черновой редакции, написанной до передачи пьесы в театр. В дальнейшем, однако, Гоголь действительно заменил Кнута Прохоровым – быть может, по влиянию какого-то случившегося с последним реального события [Данилов, с. 132–133].

²¹ Впрочем, конкретные замечания и исправления Гоголя определить опять-таки трудно. Александр Иванов (т. е. А.И. Урусов) со слов

свидетеля постановки К. (очевидно, А. Краевского [см. об этом: Книга 1]) говорит, что на первом представлении или на генеральной репетиции Гоголь «сам распорядился вынести роскошную мебель, поставленную было в комнаты городничего, и заменить ее простою мебелью, прибавив клетки с канарейками и бутылъ на окне». Одновременно Гоголь передел Осипа, заменив «ливрею с галунами» «замасленным кафтаном», который он снял с ламповщика [Порядок. 1881. № 35]. Данилов оспорил это утверждение, так как согласно монтировке спектакля Осипу был выдан «сюртук поношенный серого сукна, брюки, черный платок на шею» и т. д. [Данилов, 1934, с. 137]. Но, возможно, монтировка «фиксирует – без особых о том оговорок – и учтенные в постановке указания Гоголя» [Войтоловская, с. 242].

²² О структуре и функциях «немой сцены» см. подробнее: Манн, 1996, с. 207–214, 329–339.

²³ Это уточнение сделано Анненковым в письме М.М. Стасюлевичу [Стасюлевич, с. 326, 328; см. также: Анненков, 1983, с. 561].

²⁴ Кстати, обращает на себя внимание упоминание Каратыгиным двойной фамилии Гоголя (Гоголь-*Яновский*), что уже нехарактерно для середины 1830-х годов. Не повлиял ли на это факт семилетней давности – устроенный Гоголю актерский экзамен? Тогда будущий писатель фигурировал под двойной фамилией. Это косвенно подтверждает участие В.А. Каратыгина как одного из экзаменаторов [Книга 1].

²⁵ Происходило это все, согласно Анненкову (как мы уже сказали), в день премьеры, 19 апреля. Однако, как установила И.А. Зайцева (в комментариях к четвертому тому нового Академического полного собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя [см.: Гоголь, ак., с. 597]), в этот день отпечатанная книга лишь поступила в цензурный комитет, а разрешительный билет был выдан П.А. Корсаковым (цензуравшим книгу) 20-го [ссылка на: РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Ед. хр. 268. «Реестр печатных книг по С.-Петербургскому ценсурному комитету в 1836 году». Л. 18]. Таким образом, возможно, Гоголь получил авторский экземпляр до выдачи разрешительного билета. Но не исключено и то, что Анненков неточен: упомянутый эпизод имел место в один из следующих дней после премьеры.

²⁶ В письме от 5 июня 1836 г. к матери Гоголь говорил, что «если бы сам государь не оказал своего высокого покровительства и заступничества», комедия «вероятно... не была бы никогда играна или напечатана» [XI, 47].

²⁷ Исследователь идет еще дальше, предполагая, что существует связь «Настоящего ревизора» с «великосветскими литературными салонами, с именем Смирновой, в частности» [Данилов, с. 155]. Предпо-

жение сделано на том основании, что Смирнова-Россет происходила из рода Цициановых.

²⁸ Анализ «Ревизора» был опубликован в составе общего библиографического обзора вслед за разбором комедии М. Загоскина «Недовольные», написанным Н. Полевым. Поскольку обзор печатался анонимно, Полевой посчитал, что Сенковский намеренно обманывает публику: к его, Полевого, отклику «редактор прибавил брань на “Ревизора” [Полевой П. Очерки русской литературы: В 2 т. СПб., 1839. Т. 1. С. XVIII]. Это разоблачение вызвало реплику Белинского: «Тяжело и грустно говорить о делах будто бы литературных, а между тем принадлежащих вовсе не к литературному, а к другому ведомству!..» [Белинский, т. 3, с. 501].

²⁹ Известна также картина В.Е. Маковского «К.П. Брюллов читает “Ревизора” Гоголя в доме Е.И. Маковского». Среди присутствующих – А. Пушкин, И. Витали, А. Добровольский, В. Тропинин, Е. Маковский, Л. Маковская и другие [Ацаркина Э. Карл Павлович Брюллов: Жизнь и творчество. М., 1963. С. 321]. Брюллов действительно «две недели» прожил у Маковского, чья квартира находилась в Кремле [Рамазанов, с. 186]. В то же время известно, что Пушкин 4 мая посетил Брюллова, но не у Маковского, а у Витали [Абрамович, с. 165]. Возможно, чтение «Ревизора» у Е.И. Маковского в присутствии Пушкина и других – это лишь вольная фантазия автора картины.

³⁰ Биографические сведения о П.Н. Демидове см. в кн.: Головицков К.Д. Род дворян Демидовых. Ярославль, 1881. С. 231.

³¹ Время и место написания этого письма недостаточно прояснены. Поскольку Гоголь просит Демидова назначить ему «час» для встречи, то очевидно, что они оба проживают в одном городе. Комментаторы первого Академического издания датируют письмо так: январь – май 1839, Рим.

³² Обращает на себя внимание такой факт. Отвечая на просьбу И. Вагилевича сообщить литературные новости, Погодин пишет ему во Львов 27 мая (8 июня) 1836 г.: «Гоголь прославился малороссийскими повестями, а теперь пишет комедии – он в нынешнем году приедет во Львов» [Свенцицкий И.С. Материалы по истории возрождения Карпатской Руси. Львов, 1906. Т. 1. С. 154]. Погодин даже к моменту отъезда Гоголя из России ничего не знает о «Мертвых душах». Кстати, любопытно и упоминание Львова как возможного местопребывания Гоголя (на самом деле писатель сюда не заедет). Возможно, Гоголь говорил об этом Погодину во время встречи в 1835 г. или в письме, и это подтверждает высказанное выше предположение о том, что идея заграничного путешествия возникла и обдумывалась Гоголем еще до премьеры «Ревизора».

³³ См. подробнее об этом: Манн, 1987, с. 23 и далее.

³⁴ Так считали, например, чиновник департамента юстиции К.Н. Лебедев, Г.С. Аксаков и другие [сводку данных см.: Абрамович, с. 139 и далее].

³⁵ В черновой редакции статьи Гоголь давал во многом аналогичную характеристику Белинского [см.: VIII, 533]. Трудно сказать, по какой причине Гоголь снял эти строки и знал ли об этом Пушкин.

³⁶ Г.П. Макогоненко убедительно провел параллель между приведенным суждением Гоголя и характеристикой Мольера в его статье «Петербургская сцена в 1835–1836 гг.» [VIII, 554; (см.: Макогоненко, с. 41)]. Это место было коренным образом изменено в окончательном тексте статьи (завершенной позднее). Следовательно, Пушкин или читал какую-то предшествующую редакцию, или же, скорее всего, слышал аналогичное устное высказывание Гоголя (ср. в изложении Анненкова: «Я сказал, что интрига...» и т. д.).

³⁷ Существует мнение, что перед самым отъездом, в конце мая – первых числах июня, «Гоголь, увидевшись с Пушкиным после возвращения поэта из Москвы, передает для “Современника” свою повесть “Нос”...» [Абрамович, с. 222]. Однако едва ли это так. Гоголь попросил М. Погодина вернуть ему рукопись повести еще 18 января 1836 г. [XI, 31], и не позже, чем к началу апреля, он ее получил, так как 4 апреля состоялось чтение повести у Жуковского (см. об этом в наст. издании, с. 41). Нет никаких оснований считать, что Гоголь откладывал передачу рукописи Пушкину на самые последние дни своего пребывания в Петербурге.

³⁸ В статье Гоголя упоминается премьера оперы Глинки «Жизнь за царя», состоявшаяся 27 ноября 1836 г. Следовательно, статья была завершена в период с декабря 1836 по апрель 1837 г. (ценз. разр. журнала 2 мая 1837 г.) в Париже или в Риме.

³⁹ Согласно информации «Художественной газеты» (1836. Август. № 1. С. 16), Брюллов «прибыл в С.-Петербург в исходе мая; 25-го июня отправился в город Псков... и 6-го истекшего июля возвратился в С.-Петербург».

⁴⁰ В «Прибавлениях к С.-Петербургским ведомостям» (1836. № 117. 28 мая) в разделе об отъезжающих помещено следующее сообщение: «Княгиня Вера Федоровна Вяземская с детьми: князем Павлом и княгиней Надеждою; при них московская мещанка Прасковья Наумовна и великобританский подданный Игнатий Портелли; спрос. 3-й Адм. части 1 кварт. в доме под № 4».

⁴¹ Сообщение о его отбытии было опубликовано там же, где и сообщение об А.С. Данилевском: «Двора Его императорского Величества гофмейстер тайный советник граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин;

при нем дворовый его человек...» [Прибавления к С.-Петербургским ведомостям. С. 1038].

⁴² Эти сведения опубликованы М.Г. Соколянским с ссылкой на архивный документ: «Archiv der Hansestadt Lübeck. Amt Travemünde. VIII. b. Liste der mit dem Damfschiffe «Nicolay» von St. Petersburg am 26 Juni 1836 in Travemünde angekommenen Passagiere. Unzahl I.» [*Соколянский М.Г. Гоголь в Любеке // Литературные мелочи прошлого тысячелетия. К 80-летию Г.В. Краснова. Коломна, 2001. С. 91*]. Эта публикация позволяет к спутникам Гоголя добавить еще два лица – «коллежского ассессора Галахова» и «графа Кутузова».

⁴³ В письме Данилевскому от 8 мая н. ст. 1839 г., вспоминая о жизни в Аахене, Гоголь говорит о «красном Энгельгардте» [XI, 225]. В комментариях к этому месту не отмечено, что это именно А.Е. Энгельгардт.

⁴⁴ Эта еще не зафиксированная в биографической канве Гоголя встреча устанавливается на основе сообщения Гоголя после *вторичного* его приезда в Баден, летом 1837 г.: «В Бадене я встретился еще раз с Смирновой; она живет даже в том самом доме, где жила прежде...» [XI, 106].

⁴⁵ В «Прибавлениях к С.-Петербургским ведомостям» от 21 мая 1836 г. среди отъезжающих значится: «Генерал-лейтенанта Варвара Осиповна Балабина с дочерью Марьей Петровною, при них крепостная горничная девушка Наталья Никишина Чижова; спрос. 1-й Адм. части 4-го кварт. в собственном доме № 18» (с. 1000).

⁴⁶ К пребыванию Гоголя в Бадене приурочивается и его знакомство с уже упоминавшимся Николаем Дмитриевичем Киселевым (1802–1869), дипломатом, выпускником Дерптского университета, бывшим в дружеских отношениях с Н.М. Языковым, Пушкиным и его кругом. Смирнова, которую связывали с Киселевым интимные отношения, рассказывает, как она познакомила его с Гоголем. «Киселев, вы должны быть очень горды, Гоголь пожал вам руку, это доказывает, что вы заслуживаете его уважения. – Но откуда он это знает? У меня на лице не написано, что я честный человек. – Он большой физиономист и очень наблюдателен...» [Смирнова, 1989, с. 487]. Рассказ Смирновой изобилует явными хронологическими смещениями: в частности, Гоголь не мог обсуждать с Киселевым стихотворение Языкова «Землетрясение», написанное в 1844 г.; однако сам факт знакомства Гоголя с Киселевым не вызывает сомнения. И произошло это скорее всего в первый приезд Гоголя в Баден [см. комментарий С.В. Житомирской в кн.: Смирнова, 1989, с. 600, 702].

⁴⁷ См. об этом: *Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая половина XIX века) // ЛН. Т. 91. С. 254, 255, 374.*

⁴⁸ «Поездка в Ферней» – популярная тема у русских путешественников той поры; ее контекст воссоздан в кн.: *Заборов П.Р. Русская*

литература и Вольтер. XVIII – первая треть XIX века. Л., 1978. С. 225 и далее.

⁴⁹ Ср.: *Данилевский Р.Ю.* Россия и Швейцария: Литературные связи XVIII–XIX вв. Л., 1984. С. 145.

⁵⁰ О швейцарских впечатлениях и занятиях Гоголя Краевский извещал Погодина: «Гоголь живет теперь в двух верстах от Женевы, в деревне. Говорит, что бросил страннический посох и принялся за большое дело, за какое – не говорит; читает прилежно Мольера, Вальтер Скотта» [Барсуков, т. 4, с. 340–341]. Эти сведения Краевский получил, возможно, от Жуковского. В этом случае интересно то, что Жуковский, согласно гоголевской просьбе, не раскрыл своему собеседнику, что писатель работает над «Мертвыми душами». Показательна и такая подробность: в вышедшей в 1837 г. в Германии (Штутгарт – Тюбинген) книге «Literarische Bilder aus Russland», в частности, сообщалось: «...мы слышали, что [Гоголь] последнюю зиму провел в Женеве и что по возвращении он, очевидно, вернется к поэтическому изображению «своей любимой Малороссии» (с. 222). О работе Гоголя над «Мертвыми душами» Н.А. Мельгунов (именно он продиктовал книгу издателю Г. Кенигу (H. König) ничего не знает, как не знал к этому времени и М. Погодин (Мельгунов был связан с московским кругом и черпал отсюда свою информацию).

⁵¹ В «Прибавлениях № 111 к С.-Петербургским ведомостям» от 21 мая 1836 г. среди отъезжающих за границу упомянут Андрей Николаевич Карамзин, «лейб-гвардии конной артиллерии прапорщик» (с. 1000).

⁵² Отмечено В.И. Шенроком [см.: Шенрок, т. 3, с. 158].

⁵³ Этим уточняется мнение исследователя: «Нет никаких следов встречи Соболевского с Гоголем за границей до 1847 г. (Неаполь)» [*Виноградов А.К.* Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928. С. 156].

⁵⁴ Характерна та правка, которой подверглось соответствующее место из письма Гоголя в издании Кулиша: например, «храмы» заменены «caffes» [*Гоголь Н.В.* Соч. и письма. СПб., 1857. Т. 5. С. 293].

^{54a} См. об этом подробнее: *Мани Ю.В.* Гоголь как интерпретатор Пушкина // Филологические науки. 2004. № 1. С. 78–87.

⁵⁵ Автор этого мемуара, как указывает П. Бартенев в примечаниях к публикации, – «девица Екатерина Александровна» Хитрово.

^{55a} Ср. толкование этого документа в новейшей работе: *Мельниченко В.* Гоголівська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп. М., 2011. С. 65–69 [на укр. яз.]. В. Мельниченко, в частности, утверждает, «что и сейчас в России иногда нежелательно употреблять в отношении Украины даже слово “независимость”, даже в контексте исторических документов» (с. 67). Как убедится читатель настоящей работы, это не

совсем так. Кроме того, надо ли пояснять, что речь идет не о современном (тем более не о субъективном, авторском) отношении к данной проблеме, но о ее понимании историческими персонажами этой книги?

⁵⁶ Не лишний штрих к этой теме добавляет более позднее (от 30 октября 1845 г.) письмо Смирновой Гоголю. Упомянув высказывание сибирского губернатора Булгакова, назвавшего Гоголя хохлом, Смирнова спрашивает: «...так что ж? и я хохличка, мы с вами росли на галушках и варениках и не хуже Булгакова. Да что такое хохол? <...> Его менее *дубасили*, и это значит что-нибудь» [РС. 1890. № 6. С. 653; курсив в оригинале]. Хохла менее дубасили – это было убеждение и Гоголя.

⁵⁷ Эта встреча Гоголя с Юзефом Богданом Залеским могла иметь место весной 1847 г., когда польский писатель посетил Рим [см.: *Mazanowski M. Jozef Bohdan Zaleski. Zycie i dziela...* Petersburg, 1900. S. 124; этот источник указал мне Василий Щукин].

^{57а} Подробные сведения о дипломатической службе Ф.Ф. Энгельбаха, основанные на его послужном списке, хранящемся в Архиве внешней политики Российской империи (МИД России), приведены в работе: *Мусатова Т. Гоголь в Риме: «По поводу разных духовно-дипломатических дел...» // Nel mondo Gogol'. В мире Гоголя. Рим, 2012. С. 363–364.*

⁵⁸ Об этом пишет гоголевский биограф: «Гоголь приехал в Рим со своим знакомым Золотаревым 14 марта 1837» [Шенрок, т. 3, с. 178], но не сообщает источника этих сведений. Возможно, он опирался на свидетельства Данилевского.

⁵⁹ Этим сведениям я обязан профессору Тартуского университета Сергею Геннадиевичу Исакову, который указал мне также на издание, содержащее краткую биографическую справку о Золотареве: *Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpart. Bearbeitet von A. Haselblatt und Dr. G. Otto. Dorpart, 1889. S. 211.*

⁶⁰ В июле 1837 г. Смирновы (а также Платонов) приезжали в Рим. Но с Гоголем они, видно, разминулись: Гоголь выехал в Северную Италию, Швейцарию и затем в Баден, а Смирновы – в Дюссельдорф [СН. Кн. 17. С. 319, 321].

⁶¹ В письме из Женевы от 19 сентября н. ст. 1837 г. Гоголь сообщает, что живет на «квартире» по адресу Rue Stoix d'or, 25 [XI, 111].

⁶² Хронологическое приурочивание гоголевского маршрута по Италии таит в себе немалые трудности, поскольку после писем из Рима Жуковскому и Плетневу, помеченных им соответственно 30 октября и 2 ноября, следует письмо из Милана к матери, датированное более поздним числом – 24 ноября. В Шенрок даже высказал предположение, что Гоголь приезжал в Рим на некоторое время из Швейцарии и потом обратно уехал в Швейцарию [Шенрок, т. 3, с. 197]; письмо из Милана,

следовательно, отправлено во время вторичной поездки из Швейцарии в Рим. Однако нет никаких данных, свидетельствующих о таком «вираже», т. е. о новом отъезде-приезде Гоголя. В то же время датировка миланского письма не вызывает сомнений: на первой странице автографа рукою Гоголя написано «Милан 24. ноября»; на четвертой пустой странице другой рукой (но, возможно, по просьбе Гоголя) сделана надпись: «a Pultava en Russie 25 ноября 1837»; наконец, на той же четвертой странице имеется штамп: «MILANO NOVEMBRE 24» [ОР ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 1. № 23]. Остается предположить, что неверными являются две другие авторские датировки писем из Рима, т. е. они написаны не 30 октября и 2 ноября, а в конце ноября – начале декабря. В обоих письмах, между прочим, Гоголь с благодарностью говорит о полученном векселе императорского «вспоможения», и возможно, ему не хотелось создавать впечатление, что он так долго медлил с ответом.

⁶³ Вопрос о местоположении квартиры Гоголя требует пояснений. С одной стороны, Гоголь неоднократно отмечал, что он живет на третьем этаже (*terzo piano* [XI, 200], *3 piano* [XII, 109]) и что этот этаж последний (*ultimo piano* [XI, 123], верхний этаж [XI, 130]). Между тем сейчас дом предстает как пятиэтажный (по российским понятиям – шестиэтажный). Высказывалось мнение, что уже после Гоголя дом был надстроен двумя этажами (это мнение – ошибочное мнение – повторено и автором этих строк [см.: Манн, 1987, с. 33]). Картину осложняет еще одно обстоятельство: в 1843 г. в Риме в одном доме с Гоголем жил Ф.В. Чижов, располагаясь на *четвертом* этаже, над квартирой Гоголя ([Воспоминания, с. 225]; это замечание подтверждает и проживавший в то же время в Риме Г.П. Галаган). Эти противоречия позволяет объяснить указание современной владелицы дома графини Датти: по семейным воспоминаниям ей известно, что на пятом и шестом этажах находились кладовые и подсобные помещения; значит, Чижова поселили здесь в порядке исключения (рассказ графини Датти передан мне современной итальянской исследовательницей Ритой Джулиани).

Установлена и история этого домовладения. Графиня Датти (урожд. Кампелло) получила дом в наследство от бабки книгяни Марии Бонапарте. Во времена Гоголя дом принадлежал Паоло Кочча, который перепродал его в 1841 г. Инноченцо Лиуцци. Третий этаж занимал сеньор Челли, у которого снимал свою квартиру Гоголь. Любопытная деталь: при доме существовал небольшой хлев для ослов... (*Талалай М. Gogol a Roma* Дарии Олсуфьевой-Боргезе: история одного исследования // *Nel mondo di Gogol'*... С. 420). Может быть, поэтому описываемый Анненковым процесс диктовки «Мертвых душ» часто прерывался такими сценами: «...рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем

слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины ... Гоголь останавливался, проговаривал, улыбаясь: “Как разнежился, негодяй” – и снова начинал вторую половину фразы...» [Анненков, 1983, с. 74].

⁶⁴ Надпись содержит неточность: Гоголь поселился здесь осенью 1837 г., сразу же по возвращении в Рим.

⁶⁵ Кафе Греко, основанное в 1760 г., существует и поныне, причем на стене, среди других портретов, находится и портрет Гоголя. Этот портрет до недавнего времени считался принадлежащим кисти художника Сведомского. На самом деле портрет, выполненный Сведомским, в 20-х годах XX в. пропал, и на его месте находится портрет кисти Федерико Губинелли [см. об этом: Гасперович, с. 101].

⁶⁶ См. об этом подробнее в комментариях к стихотворению «Италия» в изд.: Гоголь, ак., т. 1, с. 866 и далее (автор И.Ю. Виноцкий).

⁶⁷ Цит. по: Шенрок, т. 4, с. 413 (оригинал: *Premiers Lundis*, III, 24, P., 1878).

⁶⁸ О месте гоголевской концепции карнавала в его творчестве, в его поэтике см.: Манн, 1996, с. 9 и далее.

⁶⁹ См. также: *Манн Ю.В.* Мотив и жанр (К своеобразию повести Гоголя «Тарас Бульба») // *Русская повесть как форма времени*. Томск, 2002.

⁷⁰ «...Его всю жизнь мучила одна глубокая тайная любовь, его тайна тайн и святая святых – любовь к католической Польше» [*Солоухин В.* Камешки на ладони // *Новый мир*. 1986. № 8. С. 172].

^{70а} Имея в виду описанный выше «католический эпизод», П.В. Михед в своей недавней статье «Гоголь и Великая польская эмиграция (проблемы изучения)» заключает: «...легенда о двух фанатичных и недалеких иезуитах [Семененко и Кайсевиче], которые пытались склонить к католицизму нашего Гоголя и потерпели жесткое поражение от верного трону и монарху писателя, должна пополнить комод интеллектуальных недоразумений в истории русской литературы, как и идея о некоем тотальном негативизме писателя по отношению к полякам» [Н.В. Гоголь и славянский мир. *Русская и славянская рецепция*. Вып. 1. Томск, 2007. С. 145]. Поскольку П.В. Михед полемизирует со мной, я бы попросил читателя посмотреть страницы 181–191 настоящей книги, чтобы убедиться, насколько исследователь корректен и добросовестен в изложении чужой точки зрения.

⁷¹ Список стихотворения, сделанный Гоголем и имеющий некоторые незначительные разночтения, опубликован в кн.: *Неизданный Гоголь*, с. 358–360.

⁷² В первом академическом Полн. собр. соч. указана ошибочная дата письма – 28 сентября, когда Гоголь еще был в Париже. Исправлено М. Гиллельсоном [см.: Гиллельсон, с. 138].

⁷³ Под публикацией стихов дата: 30 (18) января 1839. Это не «дата переписки стихотворения», как полагает комментатор [см.: Поэты 1820–1830-х годов: В 2 т. Л., 1972. Т. 2. С. 704], а дата празднуемого дня рождения, совпадающая с датой, указанной Жуковским. Отметим также, что М. Погодиным, не участвовавшим в этом торжестве, названа неверная дата – 27 декабря 1838 г. [*Погодин М.П.* Воспоминание о С.П. Шевыреве. СПб., 1869. С. 22].

⁷⁴ Уточним, кстати, дату письма, указанную в первом академическом издании: это не конец февраля н. ст. [см.: XI, 201], а примерно 8 (20) февраля.

⁷⁵ Замечательную образованность Розена отмечает и другой современник: «Он имел глубоко-основательные познания в истории, в этно-графии и в науке о древностях и был знаком с философскими учениями, не только древнего мира, но и более новых и новейших эпох от Декарта и Спинозы до Канта и Фихте включительно» [*Арнольд Ю.* Воспоминания. М., 1892. Вып. 2. С. 182. Об отношении Розена к Пушкину см.: Исаков, с. 26 и далее].

⁷⁶ Как указали Е.Э. Лямина и Н.В. Самовер, в первом академическом Полн. собр. соч. Гоголя неточно указана дата смерти И. Виельгорского – 21 мая н. ст. [XI, 19]. Соответственно неверно датированы некоторые письма Гоголя [Лямина, Самовер, с. 453].

⁷⁷ Автор настоящей книги склоняется сейчас к мысли, что «Ночи на вилле» были закончены. Первые строки («Они были сладки...») явно обличают начало произведения, а в последней, 8-й ночи заявленная тема, кажется, находит свое завершение, хотя недостает еще каких-то фраз или фрагмента. При этом возможно, что произведение не должно было включать в себя все «ночи», то есть существовали пропуски. Но больше всего в пользу того факта, что произведение было закончено, говорит беловой характер сохранившихся фрагментов автографа [ОР ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 1. № 4]: Гоголь имел обыкновение перебеливать рукопись после ее завершения, а не в середине работы (что, разумеется, не исключало возможности последующей правки).

⁷⁸ Письмо датировано неточно: 28 июля 1838 (нужно: 1839). Неверная датировка повторена Шенроком [Шенрок, т. 3, с. 266, а также в кн.: Письма к Н.В. Гоголю (библиография). Л., 1965. С. 9]. Кстати, о намерении Гоголя написать воспоминания об умершем говорит и Аполлинурия Михайловна Виельгорская в письме к дяде Матвею Юрьевичу: «Гоголь обещался нам дать воспоминания и последние слова ангела нашего, выражения которого он никогда не забудет. Папа говорит, что у него такая светлая улыбка была...» [*Розанов А.С. Ф.* Лист в Риме в 1839 г. (по материалам семейного архива графов Виельгор-

ских) // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1983. Л., 1985. С. 301].

⁷⁹ *Karlinsky S. The Sexual Labyrinth of Nicolai Gogol. Cambridge; Massachusetts; L., 1976.*

⁸⁰ Это не единственная переключка «Ночей на вилле» с «Мертвыми душами». Ср. сходство оборотов: «...Вдруг и разом я погрузился в еще большую мертвящую остылость чувств...» и «Разом и вдруг окунемся в жизнь, со всей ее беззвучной трескотней...» (из седьмой главы поэмы).

⁸¹ В упомянутом письме к М. Балабиной, осведомленной обо всем произошедшем, есть намек на реальную причину гоголевского состояния: «Кто испытал глубокие душевные утраты, тот поймет меня» [XI, 246].

⁸² Публикатор этого письма Н. Лернер сообщает, что находившийся в его распоряжении французский оригинал был снабжен карандашной припиской неустановленного лица о том, что письмо адресовано, «вероятно, князю Августину Голицыну» [Звезда. 1830. № 1. С. 219]. Августин Петрович Голицын (1824–1875) – католик, автор ряда трудов по истории; проживал в Париже. См. также: *Лаффитт С. Гоголь и Сент-Бёв // Московский журнал. 2009. № 11(227). С. 10–15* (пер. с фр. Н. Унянця).

⁸³ На копии стихотворения рукой М.П. Погодина сделана помета: «Стихотворение Языкова, переписанное Гоголем» – «наклеенный листок» в альбоме А.Е. Шиповой [Современники Пушкина, с. 89]. Очевидно, именно это произведение подразумевал Гоголь в своей «Учебной книге словесности...», приводя в качестве примера элегии «Тоску в немец<ком> городе» Языкова [VIII, 486].

⁸⁴ Машенька – дочь Сергея Тимофеевича, Мария Сергеевна Аксакова, в замужестве Томашевская (1831–1906), а не М.Г. Карташевская, как сказано в комментариях [Воспоминания, с. 607].

⁸⁵ В.А. Жуковский приехал в Москву в августе 1839 г. для участия в открытии монумента на Бородинском поле. В «Московских ведомостях» (от 26 августа 1839 г. № 68) отмечено, что Жуковский остановился в «городской части». Историк Москвы полагает, что поэт проживал в Кремле, где у него бывал Гоголь [Земенков, с. 47]. Других сведений, помимо сообщения К.С. Аксакова [ЛН. Т. 58. С. 570] о чтении Гоголем Жуковскому «Мертвых душ», а также об их встрече в Кремле, у нас нет.

^{85a} Время встречи определяется следующими фактами. Номера VI и VII «Отечественных записок», где был опубликован «Пан Халявский», послуживший предметом обсуждения, вышли в свет соответственно 15 июня и 15 июля 1839 г. [*Боград В.Э. Журнал «Отечественные записки».* Указатель содержания. М., 1985. С. 52, 53]. Гоголь же, как уже отмечено, был в Москве с 26 сентября по 26 октября.

⁸⁶ А.Я. Панаева приурочивает это событие к посещению Москвы на пути в Казанскую губернию с апреля по июль 1839 г., но в то время Гоголь еще находился за границей. Встреча могла состояться лишь в октябре того же года, во время вторичного приезда Панаевых в Москву (до конца октября, когда Панаевы с Белинским уехали в Петербург; около того же времени, 26 октября, в Петербург отправился и Гоголь с С.Т. Аксаковым – об этом см. далее). О гоголевском чтении в доме Аксаковых «Тяжбы» и «Мертвых душ» упоминает и И.И. Панаев [Панаев, с. 204 и далее].

⁸⁷ Действительно, пьеса И.П. Котляревского «Москаль-чаривник» вошла во 2-й «Украинский Сборник» (М., 1841). Вопрос об участии Гоголя в ее редактировании требует специального изучения.

⁸⁸ К спектаклю, имевшему место 17 октября 1839 г., относится еще одно, забытое свидетельство, принадлежащее жене Павла Воиновича Нащокина Вере Александровне: «Не могу сказать, наверное, в первое или в одно из первых представлений “Ревизора” на сцене, Гоголь сидел в нашей ложе, в глубине ее, и прятался за моим плечом, иногда пригибался чуть не до самого пола. Публика неистовствовала и вызывала автора. Верстовский несколько раз входил к нам и упрашивал Гоголя выйти к публике, но тот отказывался, говоря: “Скажите, что меня нет, что я уехал из театра”, а между тем несколько раз во время хода пьесы ходил за кулисы и показывал актерам, как какую роль надо было играть» [НВ. 1898. 7 октября]. Нащокина, писавшая свои мемуары спустя почти 60 лет, неточна в том отношении, что Гоголь находился не в ее ложе, а у Чертковых. Но из воспоминаний очевидно то, что среди зрителей были Нащокины. Вероятно и присутствие композитора А.Н. Верстовского, который с 1825 г. исполнял в Москве обязанности «инспектора репертуара и трупп». Интересно и упоминание о том, что Гоголь давал советы актерам. Едва ли он «несколько раз во время хода пьесы ходил за кулисы» – этот факт был бы отмечен другими очевидцами. Но, возможно, он все-таки общался с актерами – скорее всего до начала спектакля. Косвенно это подтверждается сохранившимся в театре «преданием» о Ф.С. Потанчикове, исполнителе роли почтмейстера: «При первом представлении у Федора Семеновича вышло пререкание с автором: Гоголь перед началом осматривал актеров, кто как одет и загримирован; подходит к Потанчикову и говорит: “Вы стары, надо бы быть помоложе” – “Почему же?” – спросил Федор Семенович. – “А потому что в пьесе почтмейстер должен представлять лицо нового направления; да кроме того и городничиха говорит дочери, что та с ним кокетничает”. – “Я это знаю, – отвечал Федор Семенович, – но в жизни бывает, что девицы за неимением подходящих кавалеров кокетничают с немолодыми людьми; кроме того, пожилым я его изображаю потому, что в пьесе он значится надворным советником, а это такой чин,

до которого с его умом и среди окружающего невежества дослужиться в молодых годах невозможно". – Гоголь помолчал несколько времени и сказал: "Да, вы правы, – это я ошибся. Играйте так, как думали"» (*Садовский М.[П.] Федор Семенович Потанчиков. [Воспоминания об актере прежнего времени // Артист. 1889. Кн. 3. С. 39]*).

⁸⁹ Служебную карьеру Марков сделал уже после упомянутой встречи в доме Карташевых в 1839 г.; в это время он был лишь отставным штабс-капитаном.

⁹⁰ Об одной из этих встреч И. Панаев сообщал К. Аксакову 8 декабря 1839 г.: «Гоголя хотя и редко, но я видал. Один раз мы втроем (я, Белинский и он) обедали у князя» [Белинский, т. 11, с. 423].

⁹¹ Дата устанавливается по письму Елизаветы Васильевны, дающему около 25 декабря 1839 г.: «...вот уже месяц и неделя, как мы вышли из института» [Материалы, т. 1, с. 153].

⁹² Очевидно, к пребыванию Гоголя в столице в октябре–декабре 1839 г. относится следующая запись Смирновой-Россет: «Зимой 40-го года Гоголь провел месяц или два в Петербурге». Жил у Плетнева в университете... Жуковский его посещал с разными сладкими утешениями. Гоголь обедал у меня с Крыловым, Вяземским, Плетневым и Тютчевым» [Смирнова, 1989, с. 59]. Однако это не мог быть Федор Иванович Тютчев [ср. именной указатель в кн.: Смирнова, 1989, с. 774], поскольку он находился в то время за границей.

⁹³ Описанная встреча могла иметь место до выхода из печати первого стихотворного сборника Фета (ноябрь 1840 г.), т. е. реально до отъезда Гоголя из Москвы за границу в мае 1840 г.

⁹⁴ Возможно, Гоголь не уложился с чтением двух глав в один день и оно было продолжено на следующий день, в воскресенье, когда он приезжал к Аксаковым вместе с сестрами [ЛН. Т. 58. С. 579]. Это подтверждается письмом К. Аксакова от 2 января 1840 г. с сообщением, что Гоголь «читал уже два раза после приезда» [Там же. С. 572].

⁹⁵ Эта дата устанавливается следующим образом. С.Т. Аксаков сообщает 15 апреля 1840 г., что чтение состоялось «в субботу на страстной неделе» [ЛН. Т. 58. С. 588]. Пасха в тот год приходилась на 14 апреля, следовательно, чтение имело место 13-го. Заметим кстати, что в «Истории моего знакомства...» С.Т. Аксаков ошибочно указал 17 апреля [Воспоминания, с. 119].

⁹⁶ По словам В.А. Нащокиной, в ее доме около года прожили «мать и две его [Гоголя] сестры» [НВ. 1898. 7 октября]. Но это скорее всего ошибка памяти.

⁹⁷ В.А. Нащокина вспоминала, что Лангер уклонился от занятий и пригласили «знаменитого тогда Гурилева» [НВ. 1898. 7 октября]. Одна-

ко факт преподавания Лангера подтверждается письмом К.С. Аксакова брату Ивану (3 августа 1840 г.): «Я отвез Лангеру его ноты и деньги ему от Гоголя» [ЛН. Т. 58. С. 586]. Возможно, однако, что шли переговоры и с Александром Львовичем Гурилевым (1802–1856), композитором, автором популярных романсов.

⁹⁸ Дата письма уточнена В.А. Мануйловым. См.: *Мануйлов В.А.* Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. М.; Л., 1964. С. 131.

⁹⁹ *Смирнова Е.А.* Гоголь Николай Васильевич // *Лермонтовская энциклопедия.* М., 1981. С. 115.

¹⁰⁰ Подразумеваются: Дмитрий Александрович Валуев (1820–1845), воспитанник Московского университета, многообещающий и рано умерший ученый, и, скорее всего, Василий Алексеевич Елагин (1818–1879), старший сын А.П. Елагиной от второго брака (с А.А. Елагиным), также окончивший Московский университет и занимавшийся историей Чехии. Его младший брат – Николай Алексеевич Елагин (1822–1876).

¹⁰¹ Одновременно в отделе «Отъезжающие за границу» появилась другая редакция: «В Германию и Италию, 8-го класса Николай Васильевич Гоголь; жительство имеет на Девичьем поле в доме Профессора Погодина» [МВед. 1840. № 28. 6 апреля; повторено в № 29, 30].

¹⁰² Это устанавливается на основе следующего объявления: «Vendredi, 17 Mai Mathilde, vaud. En 3 actes. Etre aime' ou mourir, vaud. En 1 acte. Au benefice de M-me Allan, artiste du Theatre Imperial de St.-Petersbourg» [МВед. Прибавления. 1840. № 39. 15 мая. С. 588].

¹⁰³ В первом Академическом издании сочинений Гоголя указано, что перевод комедии Жиро выполнен не в Венеции, а в Вене и в более раннее время – в июле–августе 1840 г. [XI, 25]. Впрочем, этот вопрос связан с комплексом других непроясненных фактов, на чем следует остановиться специально. Текст комедии был выслан Гоголем по частям в трех письмах (очевидно, чтобы не увеличивать стоимость посылки) – О.С. Аксаковой, самому Щепкину и Погодину. При этом письма Аксаковой и Погодину были помечены Гоголем: «Венеция. Август 10». Точно так же помечено письмо к Е.В. Гоголь, вложенное в конверт письма О.С. Аксаковой для пересылки адресату. (Письмо Щепкину не имеет датировки и обозначения места.) Однако 10 августа Гоголь не мог быть в Венеции, так как, во-первых, 7 августа он еще находился в Вене (о чем говорят его письма) и за три дня не смог бы добраться до Венеции; а во-вторых, существует определенное свидетельство Панова о приезде Гоголя в Венецию 2 сентября. Исходя из этого, А.И. Кирпичников высказал предположение, что Гоголь ошибся в дате – следует читать не 10 августа, а 10 сентября [Кирпичников, 1900, вып. 4, с. 1218]. Комментатор первого Академического издания оспорил это мнение: «Гоголь мог ошибиться в

датировке одного письма, но трудно предположить, что он ошибся три раза. Таким образом, дата письма правильна. Значит, неверно проставлен город...» [XI, 437]. Мол, нужно: Вена, а не Венеция. По нашему же мнению, помета *Венеция* правильна, неверно же указаны даты письма – они отнесены на более ранний срок, когда Гоголь действительно был еще в Вене. Доводы в пользу этой версии таковы: 1. В упомянутом письме Погодину сказано: «Здоровье мое теперь несколько лучше, а то было я прихворнул не на шутку» [XI, 307]. Это скупое, но совершенно определенное указание на пережитый кризис, сделанное уже по выходе из такого состояния, наступившего с приездом в Венецию. 2. Если бы Гоголь отправлял письма из Вены, он должен был бы считаться с тем, что его адресаты обратят внимание на расхождение со штемпелем. Обмануть Аксаковых и Погодина было труднее, чем в свое время простодушную Марию Ивановну, да и в последнем случае Гоголь вынужден был (как мы знаем) подрисовать штемпель («Триест»). 3. О русских художниках в Вене (переводивших итальянскую пьесу) ничего не известно. В Венеции же ко времени пребывания там Гоголя относится приезд Айвазовского и Штернберга (об этом речь впереди) и, по-видимому, не только этих художников, о чем писал их современник: «Осенью 1840 года Айвазовский поехал в Италию, почти в одно время с другими русскими художниками, также пансионерами Императорской петербургской академии – даровитым Штернбергом... Воробьевым, Фрике и архитекторами Бенуа и Щуруповым. Вместе с ними отправились на свой счет два брата Эльсоны, архитектор и пейзажист, и только что возвратившиеся из путешествия по Востоку братья Чернецовы» [В. Т. И.К. Айвазовский // БЧ. 1856. Т. 135. Отд. 3. С. 64]. Что же касается мотивов отнесения писем к более раннему сроку, то, возможно, Гоголю важно было избежать впечатления большого перерыва в переписке, вызванного именно его болезнью. Правда, впоследствии (17 октября из Рима) в письме Погодину Гоголь упоминал о «письме моем к тебе из Вены» [XI, 313], но, возможно, он к этому времени действительно запомнил, откуда отправлено предыдущее письмо.

¹⁰⁴ Около 1842–1843 гг. Штернберг, по подсказке А.А. Иванова, нарисовал жанровую сценку: во Флоренции через площадь идут П.А. Ставассер и Н.А. Рамазанов в обществе Гоголя. «Возможно, что этот вариант был согласован с Ивановым и, вероятно, с Гоголем» [Машковцев, 1982, с. 127]. Штернберга мы не раз встречаем среди людей, общавшихся с Гоголем. В октябре 1843 г. он сообщал Айвазовскому из Рима: «Я написал маленькую картинку для Галагана... На днях приехали Эпингер и Чижов, которые, как тебе известно, были в Черногории, Далмации, Кroatии и проч.» [ОР РНБ. Ф. 9. Ед. хр. 11. Л. 1 об., 2].

^{104a} Соображения о дате прибытия Айвазовского в Рим см.: *Падерина Е.Г.* Затруднительное положение... // Н.В. Гоголь. Материалы и исследования. Вып. 2. М., 2009. С. 210–211.

¹⁰⁵ Написание фамилии Гоголя – Коколи (Cocoli), очевидно, подсказано забавной ассоциацией – с продаваемыми на улицах Рима солеными лепешками – *соссолі* [Гасперович, с. 93–94].

¹⁰⁶ Близость Гоголя к Франциску Ассизскому отмечена А.И. Кирпичниковым: «...нетрудно найти в произведениях, которые тогда приписывались знаменитому поэту-визионеру, места сходные по тону с теми, что, например, Гоголь писал Погодину 15 мая или Данилевскому 7 августа (1841 г.)» [Кирпичников, 1902, вып. 1, с. 157].

¹⁰⁷ В списках жителей дома «господин Челли» не фигурирует, но упоминается «Анна Мария Ринальди, вдова Челли...». В связи с этим Ванда Гасперович считает, что Анненков допустил ошибку: «Это не мог быть не только Челли, но и брат хозяйки Санто Ринальди, который, вероятно, умер до марта 1839 года, так как уже тогда его не было в списке жителей» [Гасперович, с. 94]. Однако едва ли можно сомневаться, что Анненков имел дело с кем-то из мужчин хозяйского семейства Челли (может быть, тот жил в другом месте?). Ведь предположить здесь ошибку мемуариста трудно: на протяжении двух с лишним месяцев Анненкову приходилось не раз встречаться со своим хозяином («...г. Челли, с которым так дружно жил впоследствии» [Анненков, 1983, с. 46]). Наконец, самое главное: Celli как своего «старого хозяина» упоминает в 1845 г. Гоголь [XII, 525].

¹⁰⁸ Всего Панов переписал пять глав, что составляет 152 страницы рукописи [Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки Украины в Киеве. Шифр: Неж. 59, с. 152]. Гоголь был удовлетворен его работой: «Панов молодец во всех отношениях» (С.Т. Аксакову, 28 декабря н. ст. 1840 г. [XI, 324]). Анненков переписал 184 страницы текста, на тридцать больше, чем Панов. Отметим, кстати, полную произвольность утверждения комментаторов первого Академического издания, будто бы Анненков переписал «первые шесть глав» [XI, 26]: уже факт переписки им «Повести о капитане Копейкине» (из X главы) противоречит этому сообщению. Несколько страниц были переписаны неизвестным лицом, а окончание – 24 страницы – самим Гоголем [см. подробнее об этом: Манн, 1987, с. 81–83].

¹⁰⁹ Иначе излагает этот эпизод Ф.И. Иордан: «Я душевно оплакивал его [Томаринского] кончину, и гости, бывшие у меня вечером, в день его похорон, П.В. Анненков, Н.В. Гоголь, А.А. Иванов, заметив это, предложили мне поехать с ними за город, чтобы развлечься. Н.В. Гоголь, любуясь на чудный закат солнца, описание которого, вероятно, понадобилось ему для какого-нибудь из его произведений, не имея перед

собой ни пера, ни бумаги, видимо старался запечатлеть в своей памяти представившуюся нам чудную картину» [Иордан, с. 161]. Возможно, это происходило после смерти Томаринского, но в другой день.

¹¹⁰Надеждин путешествовал совместно со своим близким другом Д. Княжевичем, который, скорее всего, присутствовал при римской встрече с Гоголем. Отношения их затем продолжились. В. Шенрок даже полагал, что Гоголь летом 1841 г. ездил вместе с Княжевичем в Далмацию [ВЕ. 1897. Февраль. С. 650]. Эту точку зрения убедительно опроверг А. Кочубинский [ВЕ. 1902. Т. 2. № 3. С. 11].

¹¹¹Присутствие Милютин на чтении комедии зафиксировано в его воспоминаниях: «...один вечер случилось мне присутствовать на публичном чтении Гоголя, *который тогда только начинал приобретать известность*; он читал своего “Ревизора” в зале князя Волконского с благотворительной целью – в пользу одного бедного русского художника» [Милютин, с. 357]. Выделенная мною фраза – или результат хронологического смещения, или свидетельство недостаточного знакомства к тому времени с творчеством Гоголя самого мемуариста. О своих впечатлениях от римского чтения «Ревизора» Милютин ничего не говорит.

¹¹²Факт посещения Гоголем церкви Святой Марии устанавливается на основе его письма от 25 августа 1829 г., где рассказывается об астрономических часах с «12 апостолами» [X, 156]. Эти часы находились не в соборной (кафедральной) церкви, как можно понять из упомянутого письма, а именно в Мариен-Кирхе. Кстати, Гоголь воспроизводит бытовавшее в народе ошибочное наименование «курфюрстов» (в действительности их семь) как «апостолов» [об этом: Lübeck. Ein Führer..., 1910. S. 23–24]. Между прочим, русские путешественники не раз описывали эту достопримечательность [Греч Н. Поездка во Францию, Германию и Швейцарию в 1817 году // Греч Н. Соч: В 5 ч. СПб., 1838. Ч. 4. С. 243–244; Анненков, 1983, II, с. 6–7; и т. д.].

¹¹³Впоследствии мемуаристка сделала к этому месту добавление: «Но все это не может сравниться с нашими византийцами, у которых краски ничего, а все в выражении чувств» [Смирнова, 1989, с. 43]. Предпочтение «византийцев» характеризует более позднюю фазу эстетических воззрений Гоголя.

¹¹⁴Эта позиция отразилась во второй редакции «Портрета», завершенной Гоголем именно в данный период римской жизни. Смысл этой переработки в том, что перед художником снимаются все запреты на материал, тематику, выбор предметов; в качестве императива остается лишь глубоко личное, одухотворенное и одушевленное высшими целями их освещение [см. подробнее: Манн, 1996; раздел «Художник и “ужасная действительность”». О двух редакциях повести “Портрет”]. Очевидно,

высшим ориентиром этой идеальной устремленности может служить религиозный живописец из второй части, явивший высочайшую преданность искусству и непосредственно отразивший решающее, поворотное событие истории человечества – рождение Христа. Но это не значит, что фигура религиозного живописца, с одной стороны, полностью ориентирована на эстетический идеал назарейцев, а с другой – тождественна художническому мироощущению самого Гоголя. Этому мироощущению соответствует скорее *система персонажей* повести, их сложное соотношение – как упомянутого религиозного живописца, так и безымянного русского художника, приехавшего из Италии, и, наконец, самого Чарткова. Каждый из этих художников сохраняет (или должен сохранить) императивное требование высокого просветления образа при различии материала и тематики. Предмет изображения религиозного художника, как уже сказано, – кульминационный этап человеческой истории в ее христианской версии. Предмет изображения русского художника, вернувшегося из Италии, никак не обозначен и не оговорен, хотя можно предположить, что это также религиозный и мифологический сюжет («Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы» [III, 112]). Зато преимущественный жанр Чарткова – портреты современников, людей света и толпы. Прегрешение художника не в том, что он остается в пределах этого жанра, а в том, что он впадает в конформизм, фальш и идеализацию. Искусство требовало от него фиксирования самой прозы, дрязга и мелочности жизни, но диктат моды и светского вкуса парализует это стремление: «Он ловил всякой оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери: “Ах, зачем это?”...» [III, 103]. Показательно, что во всех трех случаях существует единый критерий художнической выучки и школы. Для религиозного живописца это Рафаэль, Леонардо да Винчи, Тициан, Корреджио [III, 126]. Художник, приехавший из Италии, «оставил себе в учителя одного божественного Рафаэля» [III, 111]. Наконец, Чартков до своего «падения»: «Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался пред портретами Тициана, восхищался фламандцами» [III, 85]. Рафаэль – высший критерий художественности. Наконец, характерно и замечание о художнике, приехавшем из Италии, – «он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов» [III, 111; движение «пуристов» выступило преемником эстетических принципов назарейцев]. Это перекликается с позицией самого Гоголя, который, по выражению Анненкова, «еще никому, собственно, не принадлежал».

В связи с этим следует остановиться еще на том пассаже из второй редакции «Портрета», где ставший модным живописцем Чартков говорит, что художники «до Рафаэля писали не фигуры, а селедки». По справедливому замечанию современного исследователя, подразумеваются «те старые итальянские мастера, перед которыми преклонялись и которым стремились следовать Овербек и другие назарейцы» [Барабаш, 2003, с. 193]. Однако значит ли это, что Гоголь тем самым «отмежевывается <...> от прежней своей оценки»? Суждение Чарткова фигурирует в ряду его других, таких же бесшабашных суждений, вроде того, что «сам Рафаэль даже писал не все хорошо». Словом, со стороны автора повести это не специфическая защита назарейцев, а отстаивание многостороннего, вдумчивого и компетентного подхода к искусству.

¹¹⁵ Подробнее см.: Манн, 1987, с. 79 и далее.

¹¹⁶ О сожжении рукописи рассказывает также А.В. Никитенко в дневниковой записи от 11 мая 1866 г. [см.: Никитенко, т. 3, с. 33]. Никитенко приурочивает это событие к Дюссельдорфу и замечает, что поведал ему о нем Чижов «со слов самого Гоголя». Однако, как указал еще Ю.Г. Оксман, версия Никитенко менее достоверна: она зафиксирована спустя много лет после случившегося, и кроме того, маловероятно, чтобы Гоголь сам рассказывал о своей неудаче [Оксман Ю. Сожженная трагедия Гоголя // Атеней. Ист.-лит. временник. Л., 1926. Кн. 3. С. 57; см. также: *Karpuk P.A. Reconstructing Gogol's destroyed tragedy on a theme from the history of zaporozhe // Slavic East European Journal. 1997. Vol. 41. № 4. P. 589 и далее*].

¹¹⁷ Об этой встрече Гоголь рассказывал по приезду в Москву. 16 ноября 1841 г. Е.М. Хомякова сообщала брату Н.М. Языкову: «Гоголь представлял в лицах Вас с Бакуниным» [ЛН. Т. 58. С. 609].

¹¹⁸ Об этой картине Гоголю напоминал Н.М. Языков. 26 сентября, уже после отъезда Гоголя из Ганау, он писал родным: «Гоголь в первый раз в Дрездене; стыдно ему будет не видеть Мадонны» [ЛН. Т. 58. С. 606]. Из более позднего свидетельства М.А. Дмитриева явствует, что Гоголь все-таки видел Сикстинскую мадонну [Там же. С. 615].

¹¹⁹ *Черныш Г.Г.* Неизвестное письмо Гоголя // *Finitis duodecim lustris*. Сб. ст. к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана. Таллин, 1982. С. 109–116; настоящее имя автора этой публикации – Г.Г. Суперфин [см.: ЛН. Т. 97. Кн. 2. С. 462].

¹²⁰ Публикация этого документа, так же как и других цитируемых мною по ZS., осуществлена Герхардом Цигенгейстом (G. Ziegengeist).

¹²¹ День отъезда устанавливается на основе писем Плетнева Гроту. 12 октября Плетнев пишет, что у него обедал Гоголь, «сегодня уехавший в Москву и далее»; однако 13 октября помечено другое сообщение:

«Обедал и вечер провел у Балабиных, где был и Гоголь» [Плетнев, 1896, т. 1, с. 411, 412]. О дне приезда Гоголя в Москву (17 октября) сообщает В.С. Аксакова в письме М.Г. Карташевской [ЛН. Т. 58. С. 608].

¹²² Согласно письму Шевырева от 4 февраля, чтение намечалось на ближайший четверг, т. е. 5 февраля; однако Гоголь сказался «больным» [ЛН. Т. 58. С. 613, 612].

¹²³ Живокини сообщает и другие интересные сведения, относящиеся к пребыванию Гоголя в Москве в 1841–1842 гг.: «В первый раз он увидел меня в “Комедии с дядюшкой” в 42-м году. У Гоголя в ложе был Кетчер и еще кто-то из его знакомых, которым он, как мне потом передавали, сказал обо мне: “Вот прекрасный талант...”» [Живокини, с. 29]. Факт посещения Гоголем спектакля «Комедия с дядюшкой» (пьеса П.И. Григорьева, поставленная впервые в Петербурге в 1841 г.), не отмеченный гоголевскими биографами, требует подтверждения другими источниками.

¹²⁴ Откликом на встречи с Гоголем в Москве и перед этим в Риме являются следующие строки из письма Княжевича С.Т. Аксакову (27 февраля 1843): «Где теперь Гоголь? у вас ли еще? или опять улетел в Рим? Ох, этот Рим! Многих он с ума сводит!» [Шенрок, т. 4, с. 699].

^{124a} О взаимоотношениях Гоголя с семейством Княжевичей см. новейшую работу: *Орехова Л.А.* Гоголь и Княжевичи // *Феномен Гоголя.* СПб., 2011. С. 411–428.

¹²⁵ П.А. Кулиш, со слов Смирновой-Россет, пишет, что Гоголь «останавливался у Плетнева» [Кулиш, 1856, т. 1, с. 303]. Но представляется более надежным хронологически более раннее свидетельство С.Т. Аксакова.

¹²⁶ А.О. Смирнова-Россет в числе слушателей упоминает еще Тютчева [Смирнова, 1989, с. 45]. Но это не Федор Иванович Тютчев, как указано в том же издании (с. 774): последний находился в это время за границей [Чулков Г. *Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева.* М.; Л., 1933. С. 58–59; *Динесман Т.Г., Долгополова С.А., Королева И.А., Щедринский Б.Н.* *Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева,* кн. 1, 1803–1844, Музей-усадьба «Мураново», 1999. С. 245 и далее]. Возможно, подразумевается его брат Николай Иванович Тютчев (1800–1870).

¹²⁷ Петербургские встречи Гоголя не остались тайной для его московских друзей. С.Т. Аксаков с раздражением упоминает о «свидании» «Гоголя в Петербурге с людьми нам противными, о которых он думал одинаково с нами (как то с Белинским, Полевым и Краевским)» [Воспоминания, с. 197–198; впрочем, других сведений о встрече Гоголя с Н.А. Полевым у нас нет]. Не менее резкой была и реакция петербуржца Плетнева, о чем вспоминал П.А. Кулиш (в письме В.И. Шенроку от 5 ян-

варя 1890 г.): «С крайним негодованием рассказывал он мне, как Гоголь, по возвращении из заграницы, поддакивал ему в его искреннем суде о журналистах, а тайком от него делал визиты Белинскому, Краевскому, Некрасову, Панаеву и другим. Вообще представлял он Гоголя человеком двуличным...» [Крутикова, с. 290]. Очевидно, в сознании Плетнева встречи 1842 г. соединились с более поздними, осенью 1848 г., когда Гоголь виделся в Петербурге с Некрасовым и Панаевым.

¹²⁸ Интересный, но недостаточно проясненный эпизод пребывания Гоголя в Петербурге. Его встреча с К. Брюлловым – вторая, если учесть, что они, по всей вероятности, уже виделись перед отъездом писателя за границу в июне 1836 г. (см. наст. издание, с. 106). А.П. Милюков – единственный источник, сообщающий об этом факте, – встретил Гоголя и Брюллова в «вагоне второго класса» поезда, следовавшего из Царского Села в Петербург. Выглядел Гоголь так: «...худощавый, с длинными волосами и большим тонким носом, в каком-то не совсем модном плаще с капишоном». Он «молча оглядывал сидевших в вагоне», изредка обмениваясь со своим спутником, т. е. с Брюлловым, «короткими фразами». Внезапно «на полдороге к Петербургу» Гоголь и Брюллов стали участниками небольшого спектакля, когда к ним подошел некий итальянец-«силуэтист»: он мог «в три минуты» вырезать очень похожий силуэт человека, продавая изделие своего труда «по рублю за экземпляр». Брюллов вскоре получил свой экземпляр; Гоголь же, «когда итальянец обратился к нему с предложением снять с него силуэт... решительно отказался» [Милюков А. Встреча с Н.В. Гоголем (отрывок из воспоминаний) // ИВ. 1881. Т. 4. Январь. С. 135–138; перепечатано в кн.: Милюков А. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890. С. 53–61]. Автор этого мемуара заслуживает доверия. Александр Петрович Милюков (1817 или 1816–1897) – известный в свое время литератор, автор книги «Очерк русской поэзии» (1847), был в дружеских отношениях с Я.П. Бутковым, И.И. Введенским (переводчиком Диккенса), Ф.М. Достоевским и другими. Однако хронологическое приурочивание эпизода недостаточно ясно. В.В. Вересаев, судя по расположению этого материала среди других в его книге, относит описываемый факт к пребыванию Гоголя в Петербурге с 25–26 мая по 5 июня 1842 г. [Вересаев, 1990, с. 338]. Но до этого Гоголь еще наезжал в Петербург дважды – с 30 октября по 17 декабря 1839 г. и в начале октября 1841 г. Правда, Милюков говорит, что встреча имела место «летом», что более подходит к третьему приезду Гоголя в столицу; но в то же время мемуарист отмечает, что произошло все это вскоре после премьеры «Ревизора», «который возбуждал тогда самые оживленные толки в обществе и в большинстве университетской молодежи» (Милюков поступил в С.-Петербургский университет в 1839 г.), что ближе

к 1839, а не к 1842 г. Кстати, в связи с упомянутым эпизодом уместно сказать об интересе Гоголя к первой в России железной дороге от Петербурга до Царского Села, открытой вскоре после отъезда писателя за границу. М. Балабиной, поделившейся с Гоголем своими впечатлениями от поездки, он писал 7 ноября н. ст. 1838 г.: «...Хотелось бы мне сильно прокатиться по железной дороге...» [XI, 181].

^{128a} См. также новейшее исследование: *Унанияц Н.* Гоголь и Ксавье де Мармье // *Московский журнал*. 2011. № 1 (241). Янв. С. 20–27.

¹²⁹ Письмо Гоголя к В.О. Балабиной опубликовано первоначально Е.И. Прохоровым по каталогу аукциона в Марбурге [Вопросы литературы. 1963. № 4. С. 116] и затем автором настоящей книги по автографу – с мелкими исправлениями и другой датировкой [Наше наследие. 1988. № 1]. См. также мое уточнение к публикации [Там же. № 5. С. 52].

¹³⁰ Письмо Нащокина к Гоголю опубликовано Л. Ланским [Вопросы литературы. 1969. № 2. С. 251–255].

¹³¹ Смысл этой реплики проясняется из письма Шевырева Гоголю, отправленного из Дахау в сентябре 1839 г.: мол, Гоголь запечатал свои письма Шевыреву вначале серебряной, а затем золотой облаткой. Это поразило и почтальона и местного судью (Landrichter): «Я боюсь, что ты того и гляди брякнешь мне бриллиантовую: ну тогда уж я не ручаюсь и за моего ландрихтера. От такой облатки и он может помешаться. Беда, да и только» [Гоголь. Переписка, т. 2, с. 289]. В комментариях первого Академического издания сочинений Гоголя эта деталь гоголевского письма не объяснена [XII, 608].

¹³² Курьезный комментарий к этому месту дан в первом Академическом издании: «...шутливые прозвища *знакомых* Гоголя и Языкова, образованные из соответствующих действий...» [XII, 608].

¹³³ Семейство Обуховых было довольно многочисленным: помимо самой Марии Алексеевны, ее сын Василий Васильевич, отставной ротмистр уланского полка; жена его Екатерина Васильевна Обухова (урожденная Обрескова); две племянницы и дети его сестры – Мария Павловна и Екатерина Павловна Алферьевы – именно последней увлекался Иордан [Иордан, с. 209].

¹³⁴ Как заметил Н.Г. Машковцев, еще один персонаж этой картины, изображенный в группе молодых людей, разительно напоминает реальное лицо, а именно самого Гоголя. Странно, однако, что Чижов не обратил на это никакого внимания. «Но возможно, что Иванов демонстрировал тогда другой вариант акварели, в котором фигура Гоголя отсутствовала» [Машковцев, 1982, с. 125].

¹³⁵ После смерти в 1869 г. единственного сына Павла Григорий Павлович в память о нем открыл в Киеве Коллегию Павла Галагана.

В ней учился, в частности, известный исследователь гоголевского творчества Нестор Котляревский – так ретроспективно протянулась еще одна нить от П.Г. Галагана к его товарищу по римской жизни.

¹³⁶ Этот фрак стал своего рода сверхгероем рассказов о приглашении Гоголя к великой княгине. Один из таких рассказов был записан гоголевским биографом со слов дочери Смирновой Ольги Николаевны: «Гоголя пригласили на чтение к великой княгине. Тут был очень забавный случай: у Гоголя не оказалось фрака; у него был только старый мундир. В.А. Перовский сказал ему, что мундир не годится – слишком стар. Ханыков и мой дядя (т. е. Аркадий Осипович Россет. – Ю. М.) отправились к русским художникам. (Иванов был приглашен на чтение сам.) Фрака не нашли... Наконец, в Villa Medici у французов нашелся фрак по росту Гоголя, хотя и немного мешковатый, и его нарядили» [Шенрок, т. 4, с. 220]. Но Ольга Смирнова – очень ненадежный источник; скорее всего, она воспроизводит ходячий анекдот: «Этот анекдот долго веселил римские мастерские и обедавших артистов (которые все знали Гоголя), у Лерге (ресторан бедных артистов)...» [Там же].

¹³⁷ Аналогичное сообщение содержится в Журнале камер-фурьерской должности по Половине Государя Императора Николая Павловича [РГИА. Ф. 516. Оп. 28/1618. Ед. хр. 151. Л. 617].

¹³⁸ Об этом представлении писал анонимный рецензент «Литературной газеты». Первое представление, как он отмечает в согласии с другими очевидцами, окончилось «шиканьем». Иное дело третье представление: «...рукоплекскания почти не умолкали, нередко невольный хохот вырывался из уст зрителей и ясно давал знать о впечатлении, производимом пиесой...» [ЛГ. 1842. 20 декабря. № 50].

¹³⁹ В первом Академическом издании – опечатка, искажающая смысл: «сменившему» вместо «смешившему» [XII, 96].

¹⁴⁰ Комментатор первого Академического издания (Г.М. Фридендер) выразил мнение, что брошюру Константина и его «Объяснение» Гоголь на самом деле «получил и писал о том, что они не были им получены, лишь для того, чтобы уклониться от необходимости высказать о них свое мнение, которое было *отрицательным*» [XII, 617; курсив в оригинале]. Однако скорее всего Константин Сергеевич послал свои сочинения не в письме, а отдельно, и до Гоголя они действительно еще не дошли. Если бы эти материалы находились в том же письме, то Гоголю пришлось бы ссылаться не на неполучение, а на другую причину (мол, не успел еще прочесть, должен перечитать и т. д.).

¹⁴¹ В составленном С. Шевыревым Itinerarium'e Гоголя («на основе отметок в паспортах») время отъезда из Рима – 1 мая [РМ. 1896. Кн. 5. С. 179–180]. Эта же дата принята в хронологической канве в первом

Академическом издании [XII, 17]. Однако и Языков в письме, написанном вскоре после отъезда, и А. Иванов в письме к Моллеру совершенно определенно называют 2 мая (в частности, у Иванова: «Н.В. Гоголь едет отсюда послезавтра, 2-го мая» [ЛН. Т. 52. С. 658]).

¹⁴² Современная исследовательница отмечает в сообщении Н.И. Греча неточности: Жуковский изначально состоял в юбилейном комитете; цензурные изъятия при публикации речи Жуковского (в составе корреспонденции Б.Ф. (Б.М. Федорова) «Обед, данный Ивану Андреевичу Крылову...» [ЖМНП. 1838. № 1]) неизвестны [Жуковский, 1999, с. 607–608; комментарий О.Б. Лебедевой].

¹⁴³ Смирнова упоминает еще Николая Дмитриевича Киселева, который «жил рядом с нами в rez-de chaussée (нижнем этаже)» [Смирнова, 1989, с. 53]. Если это так, то Гоголю довелось снова встретиться с героем ее «баденского романа». Но, возможно, имела место аберрация памяти, ведь события этого романа разворачивались именно здесь, в Бадене, семью годами раньше. Киселев же вскоре встречи в Бадене в 1836 г. уехал в Лондон, и «они не встречались потом до 1844 г.» [замечание С.В. Житомирской в кн.: Смирнова, 1989, с. 600].

¹⁴⁴ Ту же историю Смирнова рассказывает в воспоминаниях, записанных А.Н. Пыпиным. Здесь, между прочим, есть такая формулировка: «Известный русской публике князь Долгоруков...» [Смирнова, 1989, с. 38] – она намекает на его роль в дуэли и гибели Пушкина.

¹⁴⁵ Гоголь приводит цитату из Марка Аврелия в собственном переводе, сделанном с французского. См. соответствующее место: *Марк Аврелий Антоний*. Размышления. Девятая книга. (Параграф) 42. СПб., 1993. С. 54. (Указано в сопроводительной статье к упомянутому изд.: *Гаврилов А.К.* Марк Аврелий в России. С. 143.) В связи с этим уместно напомнить, что интерес к Марку Аврелию в аспекте нравственного воспитания проявлял и Жуковский [см. об этом: Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Томск, 1978. Ч. 1. С. 485; 1988. Ч. 3. С. 190; разделы написаны соответственно А.С. Янушкевичем и Н.Е. Разумовой].

¹⁴⁶ Письмо Гоголя к В.О. Балабиной опубликовано в «Русском литературном архиве» (Нью-Йорк, 1956. С. 56–58; публикация Дм. Чижевского).

¹⁴⁷ О посещении Гоголем А.В. Капниста в Обуховке во время большого съезда «родных и соседей» упоминает Т.Г. Пашенко, хронологически не уточняя время этого эпизода [Б. 1880. № 268].

¹⁴⁸ Существует разнобой в передаче отчества Викулина (ср.: Сергей *Александрович* [Черейский, с. 70]). Мы приводим сведения по кн.: *Дирин П.* История лейб-гвардии Семеновского полка: В 2 т. СПб., 1883. Т. 2. С. 54, 2-я пагинация.

¹⁴⁹ В публикации настоящего письма Гоголя в первом Академическом издании текст молитвы опущен. Опубликована П.А. Кулишом в изд.: *Гоголь Н.В. Сочинения и письма: В 6 т. СПб., 1857. Т. 6. С. 115.*

¹⁵⁰ Упоминание «Театрального разъезда после представления новой комедии» не совсем ясно. Трудно предположить, что император прочитал это произведение, опубликованное в четвертом томе Сочинений Гоголя (1842). Возможно, упоминание пьесы возникло в разговоре Смирновой в связи с тем, что эта пьеса связана с «Ревизором».

¹⁵¹ Дата письма устанавливается на основании пометы, сделанной получателем, т. е. Уваровым: 2 мая 1845 г. [XII, 675].

¹⁵² Примерно к тому же сроку относит сожжение рукописи Н.С. Тихонравов, а вслед за ним комментаторы первого Академического издания: Тихонравов – к началу июля 1845 г. [см.: Гоголь, 10-е изд., т. 3, с. 524], комментаторы Академического издания – к июлю того же года [см.: VII, 400].

¹⁵³ Высказывалось мнение, будто сожжения рукописи в более или менее полном виде вообще не было, так как ее еще не существовало. В качестве доказательства приводится следующее место из дневника Е.А. Хитрово «Гоголь в Одессе. 1850–1851»: когда одна дама (в январе 1851 г.) спросила Гоголя, скоро ли выйдет окончание «Мертвых душ», тот ответил: «Я думаю – через год». «Так они не сожжены?» – «Ведь это только начало было» [РА. 1902. № 3. С. 551]. Однако почему мы должны отдавать предпочтение этому косвенному свидетельству перед признанием самого Гоголя («...все было сожжено»)? Далее: сохранившаяся в черновом виде пятая глава признается последней главой из редакции, сожженной в 1845 г. (см., в частности, комментарий В.А. Жданова, Э.Е. Зайденшура и В.Л. Комаровича [VII, 402–403]). Возможно, реплика Гоголя (если она передана верно) имела тот смысл, что в 1845 г. писатель находился лишь в начале работы; к 1851 г., после осуществленного объема работы, он мог именно так воспринимать прежний свой труд.

¹⁵⁴ Привожу цитату из неизвестного до сих пор письма Гоголя А.М. Виельгорской, написанного в Греффенберге/Фрейвальдау и датированного серединой сентября 1845 г. Автограф письма был выставлен на аукционе в Марбурге (Германия) в 1988 г. и приобретен неизвестным мне лицом. Цитирую по фотокопии фрагмента автографа, приведенной в каталоге упомянутого аукциона (полностью письмо приведено не было). За предоставление этого материала выражаю искреннюю признательность профессору университета в Бамберге Петеру Тиргену (Peter Thiergen).

Библиография

Произведения и письма Гоголя, кроме специально оговоренных случаев, цитируются по изданию: *Гоголь Н.В.* Полное собрание сочинений: В 14 т. М., 1937–1952. В тексте в скобках указаны том (римской цифрой) и страницы (арабской цифрой).

Ниже приводится перечень сокращений других источников. Курсив в цитатах во всех случаях, кроме специально оговоренных, принадлежит автору настоящей книги.

- Абрамович – *Абрамович С.* Пушкин. Последний год. Хроника. Январь 1836 – январь 1837. М., 1991.
- Авентино – *Aventino*. По следам Гоголя в Риме. М., 1902.
- Аверинцев – *Аверинцев С.С.* Плутарх и античная биография: К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973.
- Азадовский, Осповат – А.И. Тургенев и Шеллинг (По неизданным материалам) / Публ., предисл. и примеч. К.М. Азадовского и А.Л. Осповата // *Вопр. философии*. 1988. № 7.
- Айзеншток – *Айзеншток И.Я.* Н.В. Гоголь и Петербургский университет // *Вестн. ЛГУ*. 1952. № 3.
- Аксаков, 1988 – *Аксаков И.С.* Письма к родным. 1844–1849 / Изд. подгот. Т.Ф. Пирожкова. М., 1988.
- Аксаков, 1994 – *Аксаков И.С.* Письма к родным. 1849–1856 / Изд. подгот. Т.Ф. Пирожкова. М., 1994.
- Аксаков К. – *Аксаков К.С.* Эстетика и литературная критика. М., 1995.
- Аксаков С. – *Аксаков С.Т.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1986. Т. 3.
- Александрова – *Александрова Л.Б.* Проекты архитектора Л. Руска для провинциальных городов // *Проблемы синтеза искусств и архитектуры*. Л., 1979. Вып. 9.
- Алексеев А. – *Алексеев А.А.* Воспоминания актера. М., 1894.
- Алексеев – *Алексеев М.П.* Русско-английские литературные связи: XVIII век – первая половина XIX века // *ЛН*. М., 1982. Т. 91.
- Алексеев М. – *Алексеев М.П.* Мировое значение Гоголя // *Гоголь в школе*. М., 1954.
- Алексеева – *Алексеева Т.В.* Боровиковский на Украине // *Ежегодник Ин-та истории искусств*. 1960. М., 1961.
- Амберг – *Amberg L.* Um mich herum die Fremde, aber im Herzen Russland. (Zu N.V. Gogol's erster Schweizer Reise 1836) // *Fakten und Fabeln*. Basel; Frankfurt / М., 1991.

- Анненков, 1855 – *Анненков П.В.* Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина // Пушкин А.С. Соч. СПб., 1855. Т. 1.
- Анненков, 1857 – *Анненков П.В.* Н.В. Станкевич. Переписка его и биография. М., 1857.
- Анненков, 1881 – *Анненков П.В.* Литературные проекты А.С. Пушкина. Планы социального романа и фантастической драмы // ВЕ. 1881. № 7.
- Анненков, 1983 – *Анненков П.В.* Литературные воспоминания. М., 1983.
- Анненков, 1983, II – *Анненков П.В.* Парижские письма. М., 1983.
- Анненский – *Анненский И.Ф.* Книги отражений. М., 1979.
- Б – «Берег».
- Багалей, 1904 – *Багалей Д.И.* Опыт истории Харьковского университета. Харьков, 1904. Т. 2.
- Багалей, 1912 – *Багалей Д.И., Миллер Д.П.* История города Харькова за 250 лет его существования: В 2 т. Харьков, 1912. Т. 2.
- Базаров – *Базаров Иоанн Иоаннович (отец Иоанн).* Воспоминания про тоиерея // РС. 1901. № 2.
- Бакунин – *Бакунин М.А.* Избранные философские сочинения и письма. М., 1987.
- Барабаш, 1995 – *Барабаш Ю.* Почва и судьба: Гоголь и украинская литература: у истоков. М., 1995.
- Барабаш, 2003 – *Барабаш Ю.Я.* «Портрет» в европейском интерьере (Гоголь и художники-назарейцы) // Н.В. Гоголь и мировая культура. Вторые гоголев. чтения: Сб. докл. М., 2003.
- Баратынский – *Баратынский Е.А.* Стихотворения. Письма. Воспоминания современников / Сост. С.Г. Бочарова; вступ. ст. Л.В. Дерюгиной. М., 1987.
- Барсуков – *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1888–1910. Кн. 1–22.
- Белинский – *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959.
- Беляев – *Беляев Ю. А.В.* Сухово-Кобылин // НВ. 1899. № 8355.
- Бессараб – *Бессараб М.* Сухово-Кобылин. М., 1981.
- Благой, т. 2 – *Благой Д.* От Кантемира до наших дней: В 2 т. М., 1973. Т. 2.
- Ботникова – *Ботникова А.Б. Э.Т.А.* Гофман и русская литература (первая половина XIX века). Воронеж, 1977.
- Боткин – *Боткин В.П.* Литературная критика. Публицистика. Критика. М., 1984.
- Боткин М. – *Боткин М.П.* Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858. СПб., 1880.
- Буданов – *Владимирский-Буданов М.Ф.* История императорского университета Св. Владимира. Киев, 1884. Т. 1.

- Бурнашев – *В. Б<урнашев>*. Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания // РВ. 1871. Т. 96.
- Буслаев – *Буслаев Ф.* Мои воспоминания. М., 1897.
- БЧ – «Библиотека для чтения».
- Быкова – Отрывок из записок Елисаветы Васильевны Быковой, родной сестры Гоголя // Русь. 1885. № 26.
- Вайскопф – *Вайскопф М.* Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993.
- Вайскопф, 2002 – *Вайскопф М.* Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 2002.
- Валицкий – *Валицкий А.* Парижские лекции Адама Мицкевича: Россия и русские мыслители // Вопр. философии. 2001. № 3.
- Вацуро – *Вацуро В.Э.* Записки комментатора. СПб., 1994.
- ВЕ – «Вестник Европы».
- Вересаев – *Вересаев В.* К биографии Гоголя: Заметки // Звенья. М.; Л., 1933. Вып. 2.
- Вересаев, 1990 – *Вересаев В.* Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М., 1990.
- Веселовский А. – *Веселовский А.Н.* Этюды и характеристики: В 2 т. 4-е изд., значит. доп. М., 1912. Т. 2.
- Виноградов – *Виноградов В.В.* Избр. труды: Поэтика русской литературы. М., 1976.
- Витберг, 1892 – *Витберг Ф.А.* Н.В. Гоголь и его новый биограф (по поводу книги г. Шенрока «Материалы для биографии Гоголя...»). СПб., 1892.
- Витберг, 1897 – *Витберг Ф.А.* К вопросу о времени знакомства Гоголя с Пушкиным и А.О. Россет // РС. 1897. № 6.
- Владимиров – *Владимиров П.В.* Из ученических лет Гоголя. Киев, 1890.
- Войтоловская – *Войтоловская Э.* Комедия Гоголя «Ревизор». Комментарий. Л., 1971.
- Вольф – *Вольф А.И.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года: В 3 ч. СПб., 1877–1884.
- Воспоминания – Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952.
- Встреча – Встреча с Европой. Письма В.А. Панова к матери М.А. Пановой из центральной и юго-восточной Европы (1841–1843) / Сост. Т. Ивантышьева и М.Ю. Досталь. Bratislava, 1996.
- Вяземский – *Вяземский П.А.* Эстетика и литературная критика. М., 1984.
- Вяземский, 2000 – *Вяземский П.А.* Старая записная книжка. М., 2000.
- Галаган – *Гусева Е.Н.* Воспоминания Г.П. Галагана о Н.В. Гоголе // Памятники культуры. Новые открытия, 1984. Л., 1986.
- Галахов – *Галахов А.Д.* Записки человека. М., 1999.

- Гасперович – *Гасперович В. Н.В.* Гоголь в Риме: Новые материалы // *L'immagine di Roma nella letteratura russa.* Roma; Samara, 2001.
- Герцен – *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1966. Т. 1.
- Гиллельсон – *Гиллельсон М. Н.В.* Гоголь в дневниках А.И. Тургенева // РЛ. 1963. № 2.
- Гиллельсон, 1961 – *Гиллельсон М.И., Мануйлов В.А., Степанов А.Н.* Гоголь в Петербурге. Л., 1961.
- ГИМ – Государственный исторический музей (Москва). Отдел письменных источников.
- Гиппиус, 1931 – *Гиппиус В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным // Учен. зап. Перм. гос. ун-та. Отд. обществ. наук. Пермь, 1931. Вып. 2.
- Гиппиус, 1924 – *Гиппиус В.* Гоголь. Л., 1924.
- Гиппиус, 1941 – *Гиппиус В.В.* Заметки о Гоголе // Учен. зап. ЛГУ. 1941. Вып. 11.
- Глаголев – *Глаголев А.* Записки русского путешественника: В 4 ч. СПб., 1837. Ч. 3.
- Глинка, 1930 – *Глинка М.И.* Записки. М.; Л., 1930.
- Глинка – Глинка в воспоминаниях современников. М., 1955.
- Гоголь, ак. – *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М., 2001. Т. 1; 2003. Т. 4 (новое академическое издание).
- Гоголь, 10-е изд. – *Гоголь Н.В.* Соч. 10-е изд. М., 1889. Т. 1–5; М.; СПб., 1896. Т. 6; СПб., 1896. Т. 7. (Т. 1–5 – под ред. Н.С. Тихонравова, т. 6–7 – под ред. В.И. Шенрока.)
- Гоголь, 1913 – *Гоголь М.И.* Из воспоминаний матери Гоголя (письмо М.И. Гоголь С.Т. Аксакову) // Современник. 1913. Кн. 4.
- Головня – *Гоголь-Головня О.В.* Из семейной хроники Гоголей / Ред. и примеч. В.А. Чаговца. Киев, 1909.
- Горленко – *Горленко В.* Художник В.Л. Боровиковский // КС. 1884. Т. 7. № 4.
- Грамолина – *Грамолина Н.Н.* Библиография музыкальных произведений на слова Тютчева // Тютчев Ф.И. Лирика: В 2 т. М., 1965. Т. 2.
- Грановский – Т.Н. Грановский и его переписка: В 2 т. М., 1897. Т. 2.
- Гребёнка – *Гребінка Є.П.* Твори у трьох томах. Київ, 1981. Т. 3.
- Григорьев – *Григорьев В.В.* Императорский С.-Петербургский университет в течение первого пятидесятилетия его существования. Приложения. СПб., 1870.
- Гриц – *Гриц Т.С.* М.С. Щепкин: Летопись жизни и творчества. М., 1966.
- Гуковский – *Гуковский Г.А.* Реализм Гоголя. М.; Л., 1959.
- Давыдов, 1917 – Письма поэта-партизана Д.В. Давыдова к князю П.А. Вяземскому. Пг., 1917.

- Данилевский, 1866 – *Данилевский Г.П.* Украинская старина. Материалы для истории украинской литературы и народного образования. Харьков, 1866.
- Данилов – *Данилов В.В.* Следы творчества Н.В. Гоголя в очерке П.П. Свинына «Полтава» // Сб. ст. к 40-летию учен. деятельности акад. А.С. Орлова. Л., 1934.
- Данилов, 1934 – *Данилов С.С.* Ревизор на сцене. 2-е изд., испр. с приложением монтировки первого спектакля. Л., 1934.
- Данилов С. – *Данилов С.С.* Гоголь и театр. Л., 1936.
- Даргомыжский – *Даргомыжский А.С.* Автобиография. Письма. Воспоминания современников. Пб., 1921.
- Декабристы – Декабристы. Биографический справочник / Изд. подгот. С.В. Мироненко. М., 1988.
- Дельвиг – *Дельвиг А.И.* Полвека русской жизни: Воспоминания, 1820–1870. М.; Л., 1830. Т. 1.
- Денисов – *Денисов В.* Изображение казачества в раннем творчестве Н.В. Гоголя и его «Взгляд на составление Малороссии» (о замысле поэтической истории народа) // Гоголевзначі студ2п, 5. Ніжин, 2000.
- Джулиани – *Giuliani R.* Thorvaldsen e la colonia romana degli artisti russi // Thorvaldsen. L'ambiente, l'influsso, il mito / A cura di P. Kragelund e M. Nykjoer. Roma, 1991.
- Джулиани, 1997 – *Джулиани Р.* Гоголь в Риме // Вестн. МГУ. Сер. 9. Филология. 1997. № 5.
- Джулиани, 2001 – *Джулиани Р.* Гоголь, назарейцы и вторая редакция «Портрета» // Поэтика рус. лит. М., 2001.
- Джулиани, 2001, II – *Джулиани Р.* Новые материалы о Н.В. Гоголе: галерея русских художников, первых римских знакомых писателя // L'immagine di Roma nella letteratura russa. Roma; Samara, 2001.
- Дмитриева – *Дмитриева Е.* Тайное и явное паломничество в Иерусалим Николая Гоголя, «Путь из Парижа в Иерусалим» Рене Франсуа Шатобриана и проблема идеального города // Страницы истории русской литературы: Сб. ст. к 70-летию проф. В.И. Коровина. М., 2002.
- Дризен – *Дризен Н.В., барон.* Драматическая цензура двух эпох. 1825–1881. [Б.м.], [б.г.]. Книгоизд-во «Прометей» Н.Н. Михайлова.
- Дризен, 1907 – *Дризен Н.В., барон.* Заметки о Гоголе // ИВ. 1907. Октябрь.
- Друбек-Мейер – *Drubek-Meyer N.* Gogol's eloquentia corporis. Einverleibung, Identität und die Grenzen der Figuration. München, 1988.

- Дрыжакова – *Дрыжакова Е.* Рискованная шутка Гоголя на чтениях «Ревизора» // РЛ. 2001. № 1.
- Дурылин – *Дурылин С.Н.* Из семейной хроники Гоголя. Переписка В.А. и М.И. Гоголь-Яновских. Письма М.И. Гоголь к Аксаковым. М., 1928.
- Дурылин, 1953 – *Дурылин С.Н.* От «Владимира третьей степени» к «Ревизору» (Из истории драматургии Н.В. Гоголя) // Ежегодник Ин-та истории искусств. Театр. М., 1953.
- Егоров – *Егоров Б.Ф.* В.П. Боткин – литератор и критик. Ст. 1 // Учен. зап. Тарт. ун-та. Тр. по рус. и славян. филологии, VI. 1963.
- Ежегодник, 1899 – Ежегодник императорских театров. Сезон 1897–1898 гг. СПб., 1899.
- Жерве – *Жерве В.В.* Партизан-поэт Д.В. Давыдов. Очерки его жизни и деятельности (1784–1839). По материалам семейного архива и другим источникам. Пб., 1913.
- Жданов – *Жданов И.Н.* История русской литературы. Н.В. Гоголь. СПб., 1904.
- Живокини – *Живокини В.* Из моих воспоминаний // Библиотека театра и искусства. 1914. Февраль. Кн. 2.
- ЖМНП – «Журнал Министерства народного просвещения».
- Жуковский – *Жуковский В.А.* Соч.: В 3 т. М., 1980. Т. 3.
- Жуковский, 1878 – *Жуковский В.А.* Соч. 7-е изд. / Под ред. П.А. Ефремова. СПб., 1878.
- Жуковский, 1895 – Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.
- Жуковский, 1903 – *Жуковский В.А.* Дневники. СПб., 1903.
- Жуковский, 1999 – В.А. Жуковский в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, вступ. ст. О.Б. Лебедевой, А.С. Янушкевича. М., 1999.
- Заблоцкий – *Заблоцкий-Десятовский А.П.* Граф П.Д. Киселев и его время: В 4 т. СПб., 1882. Т. 2.
- Заболотский – *Заболотский П.А.* К биографии Гоголя в полтавский период // Изв. Отд. рус. яз. и словесн. Имп. АН. 1912. Кн. 2.
- Загарин – *Загарин П. (Поливанов Л.И.)* В.А. Жуковский и его произведения. 2-е изд. М., 1883.
- Зайцев – *Зайцев А.Д.* Петр Иванович Бартенов. М., 1989.
- Зайцев Б. – *Зайцев Б.* Жуковский. Литературная биография. М., 2001.
- Зайцева – *Зайцева И.А.* К цензурной и сценической истории первых постановок «Ревизора» Н.В. Гоголя в Москве и Петербурге (по архивным источникам) // Н.В. Гоголь: Материалы и исслед. М., 1995.
- Земенков – *Земенков Б.С.* Гоголь в Москве. М., 1954.

- Зеньковский – *Зеньковский В., проф., протоиерей*. Н.В. Гоголь. Париж, [б. г.].
- Зиномря – *Зиномря М.И.* На відстані часу // Микола Гоголь і світова культура. Київ; Ніжин, 1994.
- Зотов, 1860 – *Зотов Р.* Театральные воспоминания. Автобиографические записки. СПб., 1860.
- Зотов, 1874 – Записки Р.М. Зотова // Иллюстрир. вестн. 1874. 30 июня. № 18.
- Золотусский – *Золотусский И.П.* Гоголь. 2-е изд., испр. и доп. М., 1984.
- ИВ – «Исторический вестник».
- Иванов, 1880 – Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858 / Изд. М. Боткин. СПб., 1880.
- Иконников – *Иконников В.С.* Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета Св. Владимира (1834–1884). Киев, 1884.
- Ильин – *Ильин И.А.* Гоголь – великий русский сатирик, романтик, философ жизни // Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1997. Т. 6. Кн. 3.
- Инсарский – *Инсарский В.А.* Записки. СПб., 1894. Ч. 1.
- Иордан – *Иордан Ф.И.* Записки. М., 1918.
- Иофанов – *Иофанов Д.М.* Н.В. Гоголь: Детские и юношеские годы. Киев, 1951.
- ИРЛИ – Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.
- Исаков – *Исаков С.Г.* Журналы «Esthona» (1828–1830) и «Der Refraktor» (1836–1837) как пропагандисты русской литературы // Учен. зап. Тарт. ун-та. Тр. по рус. и славян. филологии. XVIII, литературоведение. Tartu, 1971.
- К.А. – *К.А. Надежда Алексеевна Никулина* // Сезон: иллюстрир. артист. сб. / Под ред. Н.П. Кичеева. М., 1887. Вып. 1. Отд. Биографии и характеристики.
- Каманин – *Каманин И.М.* Научные и литературные произведения Гоголя по истории Малороссии // Памяти Гоголя: Сб. Отд. 2. Киев, 1902.
- Каменская – *Каменская М.* Воспоминания. М., 1991.
- Капнист – *Капнист В.В.* Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1960. Т. 2.
- Карамзин – *Карамзин Н.М.* Сочинения: В 9 т. СПб., 1834. Т. 7.
- Карамзин, 1914 – *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914.
- Карамзины – Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.; Л., 1960.
- Каратыгин, 1883 – *Каратыгин П.П.* Портрет Гоголя, рисованный П.А. Каратыгиным // ИВ. 1883. Сентябрь.
- Каратыгин П. – *Каратыгин П.А.* Записки: В 2 т. Л., 1929. Т. 1; 1930. Т. 2.

- Кейль – *Keil R.-D.* Gogol's Deutsche. Folklore-Erfahrung-Fiktion // Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. R. B. Bd. 3. München, 1998.
- Кейль, 1986 – *Keil R.-D.* Gogol im Spiegel seiner Bibelzitate // Festschrift für Herbert Brauer zum 65. Geburtstag... Köln; Wien, 1986.
- Кизеветтер – *Кизеветтер А.А.* Исторические очерки. М., 1912.
- Киреевский – *Киреевский И.В.* Критика и эстетика. 2-е изд., испр. и доп. М., 1998.
- Кирпичников – *Кирпичников А.И.* Сомнения и противоречия в биографии Гоголя // Изв. Отд. рус. яз. и словесн. Имп. АН. 1900, 1902.
- Кирпичников, 1903 – *Кирпичников А.И.* Очерки по истории новой русской литературы (Пушкинский период): В 2 т. 2-е изд., доп. М., 1903. Т. 2.
- Княжнин – *Княжнин Я.В.* Сочинения: В 2 ч. СПб., 1848. Ч. 2.
- Козмин – *Козмин Н.К.* Николай Иванович Надеждин: Жизнь и научно-литературная деятельность. СПб., 1912.
- Колосова – *Колосова Н.* Смирнова и Гоголь // Кавказион. Тбилиси. 1985. Вып. 3.
- Кольцов, 1909 – *Кольцов А.В.* Полн. собр. соч. / Под ред. и с примеч. А.И. Лященко. СПб., 1909.
- Кондаков – Юбилейный справочник императорской Академии художеств, 1764–1914 / Сост. С.Н. Кондаков. Пг., 1914.
- Корнилов – *Корнилов А.А.* Курс истории России XIX века. М., 1993.
- Корнилов, 1925 – *Корнилов А.А.* Годы странствий Михаила Бакунина. Л.; М., 1925.
- Корнилова – *Корнилова А.В.* Карл Брюллов в Петербурге. Л., 1976.
- Коробка – *Коробка Н.И.* <Примечания редактора> // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 5 т. СПб., <1912>. Т. 1.
- Коропчевский – *Коропчевский Д.А.* Сергей Васильевич Васильев... // Ежегодник императорских театров. Сезон 1895–1896 гг. Приложения. СПб., 1896. Кн. 3.
- Корф – *Корф М.А.* Материалы и черты к биографии императора Николая I и к истории его царствования. Рождение и первые двадцать лет жизни (1796–1817) // Сб. император. Рус. ист. об-ва. СПб., 1896. Т. 98.
- Кочубинский – *Кочубинский А.* Будущим биографам Н.В. Гоголя // ВЕ. 1902. Кн. 2, 3.
- Коялович – *Коялович А.* Детство и юность Гоголя: Биограф. очерк // Моск. сб. М., 1887.
- Красильников – *Красильников С.А.* Источники собрания украинских песен Н.В. Гоголя // Н.В. Гоголь. Материалы и исслед. М.; Л., 1936. Т. 2.

- Кривонос – *Кривонос В.Ш.* Мотивы художественной прозы Гоголя. СПб., 1999.
- Кривонос, 2003 – *Кривонос В.Ш.* Еврейская тема в повести Гоголя «Тарас Бульба» // Корни. 2003. № 19. Янв.–июнь.
- Крижанівський – *Крижанівський С.А.* (Предисловие) // Боровиковский Л. Твори. Київ, 1957.
- Крутикова – *Крутикова Н.Е.* Н.В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992.
- Крутикова, 2003 – *Крутикова Н.Е.* Дослідження і статті різних років. Київ, 2003.
- КС – «Киевская старина».
- Кукольник – Из воспоминаний Н.В. Кукольника // ИВ. 1891. Т. 45.
- Кулиш, 1852 – *Кулиш П.А.* Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя // ОЗ. 1852. № 4, отд. 8.
- Кулиш, 1853 – *Кулиш П.А.* Выправка некоторых биографических известий о Гоголе // ОЗ. 1853. № 2, отд. 8.
- Кулиш, 1854 – *Кулиш П.А.* Опыт биографии Н.В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854.
- Кулиш, 1856 – *Кулиш П.А.* Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: В 2 ч. СПб., 1856.
- Кулиш, 1862 – *Кулиш П.А.* Несколько предварительных слов [предисловие к комедии В.А. Гоголя «Простак»] // Основа. 1862. № 2, отд. 6.
- Кулябко – *Кулябко Е.С.* Из архива Академии наук СССР // РЛ. 1967. № 4.
- Купреянова – *Купреянова Е.Н.* Н.В. Гоголь // История рус. лит.: В 4 т. Л., 1981. Т. 2.
- Лавровский – *Лавровский Н.А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820–1832. Киев, 1879.
- Лазаревский – *Лазаревский А.М.* Сведения о предках Гоголя // Памяти Гоголя: Науч.-лит. сб. / Ист. об-во Нестора-летописца. Киев, 1902.
- ЛА – Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. 6. М.; Л., 1961.
- ЛВ – «Литературный вестник».
- ЛГ – «Литературная газета».
- Лемке – *Лемке М.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1908.
- Леонтович – *Leontovitsch V.* Geschichte des Liberalismus in Russland. Frankfurt a/M., 1957.
- Лермонтов – М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972.

- Летопись – Летопись жизни и творчества Николая Васильевича Гоголя. Нежинский период (1820–1828) / Сост. Н.М. Жаркевич, З.В. Кирилук, Ю.В. Якубина; вступ. ст. П.В. Михеда. Нежин, 2002.
- Линниченко – *Линниченко И.А.* Душевная драма Гоголя // Зап. император. Новоросс. ун-та. Одесса, 1902. Т. 88. Ч. 3.
- Литературный музей – Литературный музей (Цензурные материалы I-го отд. IV Секции Государственного Архивного Фонда). I / Под ред. А.С. Николаева и Ю.Г. Оксмана. Пб., <1921>.
- Лицей, 1859 – Лицей князя Безбородко. СПб., 1859.
- Лицей, 1881 – Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1881.
- ЛН – «Литературное наследство».
- Лотман, 1970 – *Лотман Ю.М.* Из наблюдений над структурными принципами раннего творчества Гоголя // Учен. зап. Тарт. ун-та. 1970. Вып. 251.
- Лотман, 1988 – *Лотман Ю.М.* В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
- ЛПРИ – «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”».
- Лунин – *Лунин М.С.* Письма из Сибири. М., 1987.
- ЛШ – «Литература в школе».
- Лямина, Самовер – *Лямина Е.Э., Самовер Н.В.* «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. Опыт биографии человека 1830-х годов. М., 1999.
- М – «Москвитянин».
- Макаревский – *Макаревский М.* Жизнеописание архимандрита Макария (Михаила Глухарева)... СПб., 1892.
- Макогоненко – *Макогоненко Г.П.* Гоголь и Пушкин. Л., 1985.
- Максимович, 1854 – *Максимович М.* Родина Гоголя // Москвитянин. 1854. Т. 1. № 2, отд. 8.
- Максимович, 1871 – *Максимович М.А.* Письмо о Киеве и воспоминание о Тавриде. СПб., 1871.
- Манн, 1987 – *Манн Ю.* В поисках живой души. «Мертвые души»: писатель – критика – читатель. 2-е изд., испр. и доп. М., 1987.
- Манн, 1994 – *Манн Ю.* «Сквозь видный миру смех». Жизнь Н.В. Гоголя. 1909–1935. М., 1994.
- Манн, 1996 – *Манн Ю.* Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.
- Маркович – *Маркович Н.А.* Обычай, поверья, кухня и напитки малороссиян: Извлеч. из нынешнего нар. быта. Киев, 1860.
- Масанов – *Масанов И.Ф.* Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1956–1960.
- Материалы – Н.В. Гоголь: Материалы и исследования: В 2 т. М.; Л., 1936.

- Материалы, 1954 – Гоголь: Статьи и материалы. Л., 1954.
Материалы, 1995 – Гоголь: Материалы и исследования. М., 1995.
Машинский, 1951 – *Машинский С.И.* Гоголь, 1852–1952. М., 1951.
Машинский, 1959 – *Машинский С.И.* Гоголь и «дело о вольнодумстве». М., 1959.
Машинский, 1961 – *Машинский С.И.* С.Т. Аксаков: Жизнь и творчество. М., 1961.
Машковцев – *Машковцев Н.Г.* Гоголь в кругу художников. М., 1955.
Машковцев, 1982 – *Машковцев Н.Г.* Из истории русской художественной культуры. М., 1982.
МВ – «Московский вестник».
МВед – «Московские ведомости».
Мердер – *Мердер К.К.* Записки. [Б. м.], 1885.
Мильчина, Осповат – *Мильчина В.А., Осповат А.Л.* Гоголь по материалам архива братьев Тургеневых // Шестые тынянов. чтения. Рига; М., 1992.
Милютин – Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1816–1843. М., 1997.
Михальский, Самойленко – *Михальский Е.Н., Самойленко Г.В.* Основание Гимназии высших наук князя Безбородко в Нежине // Литература та культура Полісся. Вип. 1. Ніжин, 1990.
Михед – *Михед П.В.* Про ніжинську літературну школу (до постановки питання) // Слово і час. 1990. № 5.
Михневич – *Михневич И.Г.* Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 по 1857 год. Одесса, 1857.
МН – «Московский наблюдатель».
Модзалевский – *Модзалевский Б.Л.* Гоголь и И.Е. Великопольский (по поводу двух неизданных писем С.Т. Аксакова) // ЛВ. 1902. Т. 3. Кн. 1.
Мокрицкий – *Мокрицкий А.Н.* Дневник художника. М., 1975.
Молева – *Молева Н.* Загадка «Невского проспекта» // Знание – сила. 1976. № 4.
Мочульский – *Мочульский К.В.* Духовный путь Гоголя. Р., 1934.
МТ – «Московский телеграф».
Мурзакевич – *Мурзакевич Н.Н.* Автобиография. СПб., 1886.
Надеждин – *Надеждин Н.И.* Литературная критика. Эстетика. М., 1972.
Назаревский – *Назаревский А.А.* Из архива Головни // Н.В. Гоголь. Материалы и исслед. М.; Л., 1936. Т. 1.
НВ – «Новое время».
Неизданный Гоголь – Неизданный Гоголь / Изд. подгот. И.А. Виноградов. М., 2001.

- Немзер – *Немзер А.* Становление Гоголя // Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. М., 1985. Т. 2.
- Никитенко – *Никитенко А.В.* Дневник: В 3 т. М., 1955–1956.
- Нильский – *Нильский А.А.* Воспоминания артиста // ИВ. 1894. Апрель. Т. 56. НП – «Новый путь».
- ОА – Остафьевский архив князей Вяземских: В 5 т. СПб., Пб., 1899–1913.
- Овсянко-Куликовский – *Овсянко-Куликовский Д.Н.* Собрание сочинений: В 9 т. СПб., 1909. Т. 1.
- ОЗ – «Отечественные записки».
- Онаш – *Onasch K.* Dostojewski als Verführer... Zürich, 1961.
- ОР ИРЛИ – Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
- ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).
- ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).
- Отчет – Отчет Императорской публичной библиотеки за 1892 год. СПб., 1895. Приложение.
- Отчет за 1889 г. – Отчет Императорской публичной библиотеки за 1889 год. СПб., 1893.
- Павловский, 1910 – *Павловский И.Ф.* Полтава. Исторический очерк... Полтава, 1910.
- Павловский, 1912 – *Павловский И.Ф.* Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912.
- Памятники – Памятники культуры. Новые открытия. 1979. Л., 1980.
- Панаев – *Панаев И.И.* Литературные воспоминания. М., 1988.
- Панаева – *Панаева А.Я. (Головачева).* Воспоминания. [Б. м.], 1948.
- Панов – *Панов В.* Еще о прототипе Хлестакова // Север. 1970. № 11.
- Пенская – *Пенская Е.* Проблемы альтернативных путей в русской литературе. Поэтика абсурда в творчестве А.К. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.В. Сухова-Кобылина. М., 2000. С. 214.
- Переписка – Переписка Н.В. Гоголя: В 2 т. М., 1988.
- Переписка наследника – Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 год / Публ. Л.Г. Захаровой и Л.И. Гютюник. М., 1999.
- Песни – Песни, собранные Н.В. Гоголем // Сб. памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя / Изд. Г.П. Георгиевским. СПб., 1908. Вып. 2.
- Петров – *Петров Н.И.* Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Н.В. Гоголя // Тр. Киев. духов. Академии. 1902. Июнь.

- Петровский – *Петровский Ал., свящ.* К вопросу о предках Н.В. Гоголя. Письма из Гоголевщины // Полтав. губ. ведомости. 1902. № 36.
- Письма – Письма Н.В. Гоголя: В 4 т. / Ред. В.И. Шенрока. СПб., <1901>.
- Письма к Ганке – Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель / Изд. В.А. Францев. Варшава, 1905.
- Плаксин – *Плаксин В.* Руководство к познанию истории литературы. СПб., 1833.
- Плетнев – *Плетнев П.А.* Сочинения и переписка: В 3 т. СПб., 1885. Т. 3.
- Плетнев, 1853 – *Плетнев П.А.* О жизни и сочинениях В.А. Жуковского. СПб., 1853.
- Плетнев, 1896 – Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым: В 3 т. СПб., 1896.
- Погодин, 1842 – *Погодин М.* Месяц в Риме // М. 1842. Ч. 1. № 2.
- Погодин, 1844 – *Погодин М.* Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник: В 2 ч. М., 1844.
- Погодин, 1865 – *Погодин М.* Отрывок из записок. О жизни в Риме с Гоголем и Шевыревым в 1839 году // РА. 1865. № 7.
- Поздеев – *Поздеев А.А.* Несколько документальных данных к истории сюжета «Ревизора» // Лит. архив. Материалы по истории лит. и обществ. движения. М.; Л., 1953. Вып. 4.
- Пономарев – *Пономарев С.* Нежинский журнал Н.В. Гоголя // Киев. старина. 1884. № 5.
- Попов – *Попов А.Н.* Сношения России с Римом с 1845 по 1850 год // ЖМНП. 1870. № 1.
- Пушкин – *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949.
- Пушкин в восп. – А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд. М., 1985.
- Пушкин и современники – Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Л., 1927. Вып. 31–32.
- Пушкин и современники, 1928 – Пушкин и его современники: Материалы и исслед. Л., 1928. Вып. 37.
- Пушкин. Временник – Временник Пушкинской комиссии.
- Пушкин. Исследования – Пушкин. Исслед. и материалы. Л., 1965. Т. 1; 1969. Т. 6; 1978. Т. 8.
- Пушкин. Переписка – *Пушкин А.С.* Переписка: В 2 т. М., 1982. Т. 2.
- Пушкин. Хроника – Хроника жизни и творчества А.С. Пушкина: В 3 т. 1826–1837 / Сост. Г.И. Долдобанов; науч. ред. А.А. Макаров; рук. изд. В.С. Непомнящий. М., 2000–2001.
- Пыпин – *Пыпин А.Н.* История русской этнографии: В 4 т. СПб., 1891. Т. 3.
- Р– «Русь».

- РА – «Русский архив».
- Рамазанов – *Рамазанов Н.* Материалы для истории художеств в России. М., 1863. Кн 1.
- Рассказы о Пушкине – Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И. Бартеневым в 1851–1860 гг. М., 1925.
- РБ – «Русский библиофил».
- РБс – «Русская беседа».
- РВ – «Русский вестник».
- РВД – «Русские ведомости».
- РГИА – Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург).
- Редкин – *Редкин П.Г.* Какое общее образование требуется современностью от русского правоведа? М., 1846.
- Рендер – *Render H.* Die Philosophie der unendlichen Landschaft. Halle; Saale, 1932.
- РЛ – «Русская литература».
- РМ – «Русская мысль».
- Рождественский – *Рождественский С.В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902.
- РС – «Русская старина».
- РФВ – «Русский филологический вестник».
- С – «Современник».
- Савинов – *Савинов А.Н.* Алексей Гаврилович Венецианов: Жизнь и творчество. М., 1955.
- Садовников – *Садовников Д.Н.* Отзывы современников о Пушкине // ИВ. 1883. Декабрь.
- Сарабьянов – *Сарабьянов Д.В.* Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980.
- Сборник – Гоголевский сборник, изданный состоящей при Историко-филологическом институте кн. Безбородко Гоголевской комиссией / Под ред. проф. М. Сперанского. Киев, 1902.
- Сборник, 1857 – Сборник, изданный студентами Императорского Петербургского университета. СПб., 1857. Вып. 1.
- Сборник, 1891 – Сборник общества любителей российской словесности на 1891 год. М., 1891.
- Свербеев – Записки Дмитрия Николаевича Свербеева: В 2 т. М., 1899. Т. 1.
- Свербеев, т. 2 – Записки Дмитрия Николаевича Свербеева. М., 1899. Т. 2.
- Сент-Бёв – *Сент-Бёв Ш.* Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970.

- Сечкарев – *Setschkareff V. N. V. Gogol. Leben und Schaffen.* Berlin, 1953.
- Синявский – *Абрам Терц (Андрей Синявский).* В тени Гоголя. Л., [б. г.].
- СН – «Старина и новизна».
- Смирнова, 1902 – *Висковатов-Висковатый П.* Из рассказов А.О. Смирновой о Гоголе // РС. 1902. Сентябрь.
- Смирнова, 1989 – *Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания / Изд. подгот. С.В. Житомирская. М., 1989.
- СО – «Сын отечества».
- Современники Пушкина – Пушкин и его современники. СПб., 1909. Вып. 11.
- Соколов – *Соколов П.П.* Воспоминания. Л., 1930.
- Соллогуб – *Соллогуб В.А.* Воспоминания. М.; Л., 1931.
- Соловьев, 1912 – *Соловьев Н.В.* Поэт-художник Василий Андреевич Жуковский // РБ. 1912. № 7/8.
- Соловьев, 1983 – *Соловьев С.М.* Избранные труды. Записки / Изд. подгот. А.А. Левандовский, Н.И. Цимбаев. М., 1983.
- Соханская – *Соханская (Кохановская) Н.С.* Автобиография. М., 1896.
- СП – «Северная пчела».
- Сперанский – *Сперанский М.Н.* К истории собрания песен Н.В. Гоголя. Нежин, 1912.
- Срезневский – Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель. 1839–1842. СПб., 1895.
- Станкевич, 1914 – Станкевич Николай Владимирович. Переписка. 1830–1840. М., 1914.
- Стасов, 1954 – *Стасов В.В.* Статьи и заметки, не вошедшие в Собрание сочинений: В 3 т. М., 1954. Т. 2.
- Стасюлевич – М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке: В 5 т. СПб., 1912. Т. 3.
- Степанов – *Степанов Н.Л.* Гоголь. М., 1961.
- Степун – *Степун Ф.А.* Сочинения. М., 2000.
- Стогнут – *Стогнут А.С., Кононенко И.К.* Новые страницы к «делу о вольнодумстве» в нежинской Гимназии высших наук // Учен. зап. Нежин. пед. ин-та. 1954. Т. 4–5.
- Супронюк – *Супронюк О.К.* Из комментариев к письмам Н.В. Гоголя // РЛ. 1989. № 1.
- Супронюк, 1995 – *Супронюк О.К.* Из разысканий о Н.Ю. Артинове, авторе воспоминаний о Н.В. Гоголе и Н.В. Кукольнике в Нежинской гимназии // Литература та культура Полісся, 6. Ніжин, 1995.
- Сушков – *Сушков Н.В.* Московский университетский Благородный пансион... М., 1858. Приложения.
- Т – «Телескоп».

- Талалай – *Талалай М.Г.* Православная русская церковь Святого Николая Чудотворца в Риме. Рим, 2000.
- Тарасенков, 1902 – *Тарасенков А.Т.* Последние дни жизни Н.В. Гоголя. М., 1902.
- Тихонравов, 1886 – Ревизор. Комедия в пяти действиях. Соч. Н.В. Гоголя. Первоначальный сценический текст, извлеченный из рукописей Николаем Тихонравовым. М., 1886.
- Томашевский – *Томашевский Н.* Об италянизме Гоголя. Заметки к теме // *Itinerari di idee, uomini e cose fra est ed ovest europeo.* Udine, 1990. С. 187.
- Трахимовский – *Трахимовский Н.А.* Мария Ивановна Гоголь. По поводу статьи Н.А. Белозерской // РС. 1888. № 7.
- Труды – Труды Полтавской ученой архивной комиссии. 1907. Вып. 3.
- Труды, вып. 5 – Труды Полтавской ученой архивной комиссии, 1908. Вып. 5.
- Тургенев – *Тургенев А.И.* Хроника русского: Дневники (1825–1826) / Изд. подгот. М.И. Гиллельсон. М.; Л., 1964.
- Тургенев, 1989 – *Тургенев А.* Политическая проза. М., 1989.
- Тургенев И. – *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960–1968.
- Тютчев – *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. / Под ред. П.В. Быкова. Пг., <1913>.
- Уделы – Столетие уделов, 1797–1897. СПб., 1897.
- Удольф – *Udolph L. Stepan Petrovič Ševyrev.* 1820–1836. Köln; Wien, 1986.
- Федотов – *Федотов В.В.* Новые материалы о пребывании Н.В. Гоголя в Полтавском училище // Вестн. МГУ. Сер. 9. Филология. 1988. № 3.
- Фет – *Фет А.* Воспоминания. М., 1983.
- Флоровский – *Флоровский Георгий, прот.* Пути русского богословия. 3-е изд. Р., 1983.
- Фомичев – *Фомичев С.А.* Пушкин и Гоголь: К вопросу о соотношении их творческих методов // *Zeitschrift für Slawistik.* 1987. Bd. 32. H. 1.
- Францев – *Францев В.А.* Гоголь в чешской литературе. СПб., 1902.
- Фридкин – *Фридкин В.М.* Пропавший дневник Пушкина. Рассказы о поисках в зарубежных архивах. М., 1987.
- Фридлендер – *Фридлендер Г.М.* Из истории раннего творчества Гоголя // Гоголь: Ст. и материалы. Л., 1954.
- Фуссо – *Fusso S.* The Landscape of Arabesques // *Essays on Gogol. Logos and the Russian World.* Evanston, Illinois, 1992.
- Хайнацкий – *Хайнацкий А.Ф.* К истории философской науки в России в начале XIX века // Древняя и новая Россия. 1879. Т. 2.

- ХГВ – «Харьковские губернские ведомости».
- Хетсо – *Хетсо Г.* Гоголь как учитель жизни: Новые материалы // Scando-Slavica. 1988. Т. 34.
- Хомяков – *Хомяков А.С.* Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1900–1907.
- Хюбнер – *Hubner R.* Johann Kaspar Lavater, Nicolai W. Gogol, Kaiserin Eugenie und Alfred Krupp zur Kur in Bad Eims. Bad Eims. 1989. Н. 79.
- Цых – *Цых В.Ф.* Решение вопроса: по причине беспрестанного умножения массы исторических сведений и распространения объема истории, не оказывается ли нужным изменить обыкновенный способ преподавания сей науки... Харьков, 1833.
- Чаадаев – *Чаадаев П.Я.* Избр. соч. и письма. М., 1991.
- Черейский – *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1989.
- Чижевский, 1951 – *Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь // Новый журнал. 1951. Т. 27.
- Чижевский, 1978 – *Tschizewskij D.J.* Gogol's Ja und Nein // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 1978. Bd. 215.
- Чичерин, 1997 – *Чичерин Б.Н.* Москва сороковых годов. М., 1997.
- Чичерин А. – *Чичерин А.В.* Возникновение романа-эпопеи. 2-е изд. М., 1975.
- Шаляпин – *Шаляпин Ф.И.* Маска и душа. Мои сорок лет на театрах. М., 1989.
- Шверубович – *Шверубович А.И.* Братья Кукольники: Очерк их жизни... Вильна, 1885.
- Шевырев – *Шевырев С.П.* История поэзии. М., 1835. Т. 1.
- Шенрок – *Шенрок В.И.* Материалы для биографии Гоголя: В 4 т. М., 1892–1897.
- Шереметева – Переписка Н.В. Гоголя с Н.Н. Шереметевой / Изд. подгот. И.А. Виноградов и В.А. Воропаев. М., 2001.
- Шильдер – *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый. Его жизнь и царствование: В 2 т. СПб., 1903. Т. 1.
- Шимановский – *Шимановский М.В.* Петр Григорьевич Редкин: (Биогр. очерк). Одесса, 1891.
- Шлегель – *Шлегель Ф.* Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983. Т. 1.
- Шмальц – *Шмальц Т.* Право естественное. СПб., 1820.
- Штрих – *Strich Fr.* Deutsche Klassik und Romantik. München, 1928.
- Шубин – *Шубин В.* «Квартира моя... в доме Брунста» // Нева. 1982. № 12.
- Щеглов – *Щеглов И.* Подвижник слова. СПб., 1909.
- Щеголев – *Щеголев П.Е.* Из школьных лет Н.В. Гоголя. Отец Гоголя // ИВ. 1902. № 2.

Эфрос – *Эфрос Н. К.А.* Горбунов – портретист Белинского // ЛН. 1951.
Т. 57.

Языков – *Языков Н.М.* Сочинения. Л., 1982.

Якобсон, Арутюнова – *Jakobson R., Aroutunova B.* An Unknown Album
Page by Nikolaj Gogol' // Harvard library bulletin. 1972. Vol. XX.
№ 3.

Якубина – *Якубина Ю.* К истокам страха у Гоголя (нежинский период) //
Гоголевзнавчі студ2п. 7. Ніжин, 2001.

ZS – «Zeitschrift für Slawistik».

Именной указатель

- Абрамович С.Л. 90, 482, 483, 505
Авентино 163, 462, 505
Аверинцев С.С. 505
Авигдор Ю. 193
Адлерберг В.Ф. 67
Азадовский К.М. 340, 505
Айвазовский И.К. 195, 281, 282, 494
Айзеншток И.Я. 505
Акацатова 152
Аксаков Г.С. 236, 237, 319, 332, 483
Аксаков И.С. 236, 237, 273, 474, 308, 315, 334, 348, 505
Аксаков К.С. 79, 235, 237, 239, 241, 245, 247, 257, 258, 262, 264–266, 268–
271, 274, 277, 278, 284, 301, 302, 304, 308, 315, 319, 325, 331–333,
365, 371–374, 382, 465, 466, 475, 490, 492, 502, 505
Аксаков М.С. 422
Аксаков Н.Т. 272
Аксаков С.Т. 79, 107, 108, 226, 235, 236, 241–243, 245–250, 255, 257, 258,
260, 262, 263, 265, 270–272, 274, 278, 279, 283, 297, 306–308, 315,
318–320, 322, 323, 326, 328, 329, 332, 333, 352, 357, 358, 362, 366,
367, 369–374, 387–389, 396, 422, 435, 459, 491, 492, 495, 499, 505,
508, 515
Аксакова В.С. 237, 239, 240, 243–245, 248–251, 257, 260, 261, 315, 319, 358,
463, 474, 499
Аксакова М.С. 226, 235, 243, 250, 490
Аксакова Н.С. 257
Аксакова О.С. 226, 245, 251, 277, 319, 366, 369, 370, 493
Аксаковы 16, 91, 107, 235–238, 240, 241, 243, 244, 248–251, 255, 257, 258,
260, 262, 273, 274, 306, 307, 318, 322, 331–333, 369, 373, 463, 492, 494
Александр I 26, 121, 169
Александр II 23, 55, 68, 195, 204, 214, 215, 337, 358, 467, 516
Александра Федоровна, имп. 461, 467
Александрова Л.Б. 505
Алексеев А.А. 62–64, 480, 505
Алексеев М.П. 336, 474, 484, 505
Алексеева Т.В. 505
Алексей Михайлович, царь 26
Аллан Л. 273
Алферьева Е.П. 291, 501

Алферьева М.П. 291, 501
Амберг Л. 124, 193, 505
Ампер Ж.-Ж.-А. 129
Андреев А.Н. 62, 63
Андреевский К.Э. 149
Андреевский Э.С. 149
Андросов В.П. 14, 79, 93
Анна Павловна, вел. кн. 62
Анна Федоровна, вел. кн. 124
Анненков И.В. 291
Анненков П.В. 10, 22, 35, 37, 53, 57, 58, 60, 78, 94, 96, 97, 163–165, 170, 171,
221, 246, 277, 284, 286–292, 294–298, 303, 314, 317, 318, 335, 344,
391, 393, 394, 396, 458, 481, 483, 487, 488, 495, 497, 506
Анненков Ф.В. 291
Анненкова Е.И. 178
Анненский И.Ф. 506
Аннунциата 148
Апраксин В.С. 461
Апраксина С.П. 461, 464
Аракчеев А.А. 477
Аржевитинов И.С. 199, 428
Аринин В. 477
Ариосто Л. 11
Армфельд А.О. 237, 238, 259, 263, 320
Арнольд Ю. 489
Артынов (Артинов) Н.Ю. 519
Арутюнова Б. (Aroutunova B.) 201, 202, 522
Афанасьев А.И. 60
Ахалин Г.С. 52
Ацаркина Э. 482

Багaley Д.И. 506
Базаров И.И. 443–446, 459, 506
Базилевский 202
Базили К.М. 37
Байрон Дж. Н.Г. 88, 124, 169, 171, 238
Бакунин М.А. 300, 303–306, 376, 428, 429, 434, 498, 506, 512
Бакунина Л.А. 261
Балабин В.П. 118, 123, 401
Балабин Е.П. 118
Балабин И.П. 118, 403

Балабин П.И. 117
Балабина В.О. (урожд. Paris) 118, 119, 121, 151, 157, 337, 401, 484, 501, 503
Балабина Е.П. 118, 151, 153, 249
Балабина М.П. 118–121, 123, 151–153, 163, 170–172, 178, 179, 190, 203, 219, 224, 225, 233, 249, 334, 363, 395, 400–403, 406, 467, 484, 490, 501
Балабины 103, 117, 119, 121, 151, 153, 162, 306, 334, 337, 395, 400, 402, 499
Балинский 356
Балланш (Баланш) П.С. 129
Бальзак О. де 37, 133, 286
Барабаш Ю.Я. 498, 506
Баранович Л. 381
Барант А-Г.-П. де 113
Барант М.Ж. 113
Барант Э. де 267
Баратынская (Боратынская) Н.Л. 362
Баратынский Е.А. 13, 22, 80, 117, 173, 233, 263, 506
Барклай-де-Толли М.Б. 365
Барсуков Н.П. 86, 328, 329, 448, 485, 506
Бартнев П.И. 10, 17, 139, 256, 327, 485, 510
Барятинский А.И. 218
Батюшков Ф.Д. 17
Безбородко А.А. 513–515, 518
Белинский В.Г. 32, 37, 71, 88, 92, 93, 95, 96, 122, 137, 167, 201, 237, 238, 240, 241, 248, 253, 254, 261, 265, 280, 289, 305, 311, 313–318, 335, 336, 344, 358, 371, 373, 374, 376, 382, 394, 430, 431, 434, 440, 473–475, 479, 483, 491, 492, 499, 500, 522
Белли Дж.Дж. 107, 171, 172, 230, 462
Белозерская Н.А. 220, 520
Белозерский Н.Д. 52, 382
Белоусов Н.Г. 77, 187, 249
Беляев Ф.Н. 426
Беляев Ю.У. 212, 506
Бенардаки Д.Е. 232, 245, 247, 257, 337, 338
Бенедиктов В.Г. 20, 22, 41
Бенкендорф А.Х. 312, 313, 437
Бенуа Н.Л. 494
Березина В.Г. 477, 478
Бессараб М. 212, 506
Бестужев-Марлинский А.А. 167
Бестужева П.М. 231

Бетховен Л. ван 261
Бегюн Л. де 379
Бецкий И.Е. 410, 411, 414, 415
Бирон Ф. 433
Благой Д.Д. 478, 506
Блудов Д.Н. 215, 249
Блудова А.Д. 76, 215
Бобинский 82
Боборыкин П.Д. 163
Боград В.Э. 490
Бодрова А.С. 309
Бодянский О.М. 16, 19, 328
Бонапарте М. 487
Боровиковский В.Л. 505, 508
Боровиковский Л.И. 513
Борх А.М. 159
Борх С.И. 159
Босоюз Ж.Б. 404
Боткин В.П. 240, 253, 254, 261, 265, 280, 294–296, 305, 315, 358, 434, 506,
510
Боткин М.П. 167, 204, 244, 471, 506, 511
Боткин Н.П. 280–282, 288
Ботникова А.Б. 506
Бочаров С.Г. 506
Бруни Ф.А. 168, 205
Брюллов К.П. 39, 40, 79, 80, 106, 107, 109, 204, 253, 482, 483, 500, 512
Брянский Я.Г. 51
Буданов М.Ф. 506
Булвер-Литтон Э. 473
Булгаков 486
Булгаков А.Я. 323
Булгаков К.А. 323
Булгарин Ф.В. 23, 32, 33, 38, 43, 59, 73–75, 78, 92, 93, 98, 101, 269, 358, 361,
364, 377, 394, 415, 478
Бурачек С.О. 431
Бурдин Ф.А. 49, 61
Бурнашев В.Б. 507
Буслаев Ф.И. 128, 169, 174, 177, 178, 285, 507
Бугенев А.П. 464, 467, 468
Бутков Я.П. 500
Бутурлин М.П. 17

Буффе 212
Быков П.В. 520
Быкова Е.В. – см. Гоголь Е.В.

Вагилевич И. 482
Вагнер 163, 401–403
Вагнер М.П. – см. Балабина М.П.
Вагнер Т. 347
Вайскопф М. 143, 187, 194, 507
Вакенродер В.Г. 167
Валентини 197
Валицкий А. 379, 507
Валуев Д.А. 270, 493
Валуев П.А. 246, 248
Валуева М.П. 246
Валуевы 260, 264
Варнгаген фон Энзе К.-А. 300
Васильев С.В. 512
Васильчиков А.В. 23
Васильчиков П.А. 23
Васьков Ф.И. 250, 307, 333
Вацуро В.Э. 83, 213, 507
Введенский И.И. 500
Великопольский И.Е. 235, 245, 515
Величко А.П. 20
Веневитинов А.В. 169
Веневитинов Д.В. 169
Веневитинов М.А. 179
Венецианов А.Г. 518
Вердер К. 120, 304
Вересаев В.В. 183, 500, 507
Верстовский А.Н. 255, 491
Вершинский Д.С. 425–427, 447
Веселовский А.Н. 324, 507
Виардо Л. 472–474
Вигель Ф.Ф. 41, 76
Виельгорская Анна М. 214, 384, 390, 392, 393, 395, 399, 406, 410, 411, 413, 414, 424, 425, 435, 460, 462, 467, 471, 504
Виельгорская Аполлинария М. 214, 489
Виельгорская Л.К. 179, 214, 228, 384, 389–392, 394, 395, 399, 405, 410, 412–414, 424, 425, 428, 430, 434, 446, 462

Виельгорская С.М. 214, 266, 384, 390, 392, 395, 419, 424, 459
Виельгорские 179, 216, 217, 228, 244, 245, 306, 385, 389, 399, 404, 409, 428,
430, 431, 433, 441, 489
Виельгорский И.М. 214–228, 230, 231, 244, 279, 289, 355, 421, 489, 514
Виельгорский М.М. 214, 228, 391, 392, 461
Виельгорский Матвей Ю. 489
Виельгорский Михаил Ю. 20, 21, 23, 24, 41, 42, 47–50, 62, 209, 214, 216–
218, 222, 228, 229, 244, 264, 312, 313, 337, 410, 477, 480
Викулин С.А. 399, 403, 404, 503
Виницкий И.Ю. 488
Виноградов А.К. 485
Виноградов В.В. 507
Виноградов И.А. 154, 515, 521
Висковатов-Висковатый П. 519
Витали И.П. 79, 482
Витберг Ф.А. 507
Владимиров П.В. 507
Владыкины 253
Власов А.С. 201
Власова М.А. 201, 202
Воейков А.Ф. 507
Воейкова А.А. 146
Войтоловская Э.Л. 57, 61, 72, 481, 507
Волков П.Г. 18, 19, 477
Волконская А.П. 116
Волконская З.А. 106, 107, 147, 152, 154, 167–171, 179, 182, 183, 186–188,
198, 201, 205, 206, 208, 211, 218–222, 291, 355
Волконский А. 168, 182
Волконский Н.Г. 205
Волконский П.М. 24, 70, 116, 438, 469, 477
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) 122, 123, 174, 485
Вольф А.И. 49, 55, 61, 70, 71, 73, 358, 507
Воробьев М.Н. 494
Воронцов-Дашков 468
Воронцова М.А. 219, 220
Воропаев В.А. 521
Вяземская В.Ф. 110, 115, 483
Вяземская Н.П. 110, 483
Вяземская П.П. 107, 168
Вяземские 104, 108, 109, 516

Вяземский П.А. 17, 18, 21–24, 28, 30, 41–43, 47, 49, 55–57, 69, 75–77,
96, 100, 101, 103, 105–107, 110, 121, 139, 171, 173, 229, 246, 248,
263, 264, 266, 268, 313, 334, 336, 350, 380, 410, 439, 477, 480, 492,
507, 508

Вяземский П.П. 104, 110, 113, 483

Габерцетгель И.И. 152, 166

Гаврилов А.К. 503

Гаврилова Е.И. 109

Гагарин И.С. 264, 340, 433

Гагарин С.С. 131

Гагарины 199

Галаган Г.П. 343, 344, 347–350, 375, 487, 501, 507

Галаган П.Г. 501, 502

Галахов 484

Галахов А.Д. 238, 244, 304, 507

Галахов А.П. 408

Галахов И.П. 408, 464

Галахова С.П. 408

Ган Е.А. 39, 40

Ганка В. 27, 444, 448, 457–459, 517

Ганс Э. 310

Гарибальди Д. 434

Гасперович В. 148, 164, 165, 200, 342, 461, 462, 488, 495, 508

Ге С. 37, 133, 286

Гегель Г.В.Ф. 120, 269, 303, 304

Гедеонов А.М. 49–51, 64, 70, 86, 87, 472

Гедеонов М.А. 46

Гедеонов С.А. 472

Гейне Г. 222, 301

Георгиевский Г.П. 516

Герасим, о. 220

Гербель Н.В. 133

Герен (Гереен) А.Г.Л. 25

Геррес Г. 171

Герцен А.И. 324, 429, 430, 434, 508

Герштейн Э.Г. 263, 264

Гессен-Кассельский, принц 356

Гёте И.В. 88, 94, 95, 102, 120, 169, 176, 238

Гиероглифов А.С. 44

Гизо Ф. 126

Гиллельсон М.И. 160, 186, 198, 199, 248, 249, 260, 262, 268, 273, 325, 359,
428–430, 433, 434, 446, 488, 508, 520

Гиппиус В.В. 9, 61, 397, 480, 508

Глаголев А.В. 123, 508

Глинка А.П. 263

Глинка М.И. 39–42, 254, 479, 483, 508

Глинка Ф.Н. 263

Гогель Г.Ф. 69

Гогель И.П. 69

Гоголь А.В. 109, 113, 234, 249, 250, 260, 279, 319, 320, 451

Гоголь В.А. 226, 510

Гоголь Е.В. 109, 113, 118, 234, 249–252, 260, 262, 272, 273, 319, 320, 492,
493, 507

Гоголь И.В. 226

Гоголь М.В. 109, 226, 420, 421

Гоголь М.И. (урожд. Косяровская) 20, 146, 180, 234, 242, 255, 260–262,
279, 319, 320, 453, 463, 471, 486, 494, 508, 510, 520

Гоголь О.В. 257, 260–262, 420, 508

Голицын А.П. 490

Голицын В.П. 415

Голицын Д.В. 318, 325

Голицын Ф.Ф. 187, 199

Головня-Гоголь О.В. – см. Гоголь О.В.

Головщиков К.Д. 482

Голохвастов Д.П. 309

Гольдони К. 207

Гомер 373, 474

Горбунов К.А. 253, 254, 522

Горленко В. 508

Горностаев А.М. 152, 166

Горчаков А.М. 67

Горчаков М.Д. 67

Горшенков П.И. 52

Горшковы 321

Гото Г.-Г. 304

Гофман Э.Т.А. 119, 506

Грамолина Н.Н. 448, 508

Грановский Т.Н. 240, 241, 246, 254, 260, 302, 305, 311, 320, 430, 458, 508

Гребёнка Е.П. (Гребінка Є.П.) 508

Греч Н.И. 43, 269, 358, 376, 377, 394, 496, 503

Григорий XVI 468, 469

Григорович В.И. 43, 469
Григорьев В.В. 301, 320, 508
Григорьев П.Г. 357
Григорьев П.И. 62, 73, 357, 499
Гризи 130
Гриц Т.С. 508
Грот Я.К. 311, 336, 498, 517
Губинелли Ф. 488
Гуковский Г.А. 508
Гульянов И.А. 27
Гумбольдт А. 301
Гурилев А.Л. 492, 493
Гусева Е.Н. 507
Гюго В. 37, 286
Гюльман К.Д. 26

Давыдов В.Л. 287, 291
Давыдов Д.В. 22, 23, 89, 508, 510
Давыдова Екатерина В. 291, 292
Давыдова Елизавета В. 287, 291, 292
Данилевский А.С. 19, 36, 37, 52, 109, 110, 113, 116, 117, 123, 125, 127,
131–135, 146, 148, 149, 153, 154, 161, 162, 165, 169, 185, 187, 194,
197, 199, 201–203, 219, 284, 338, 363, 366, 369, 397, 398, 407, 420,
478, 483, 484, 486, 495
Данилевский Г.П. 17, 88, 509
Данилевский Р.Ю. 485
Данилов В.В. 70, 481, 509
Данилов С.С. 480, 481, 509
Данте (Дант) А. 148, 153, 185, 198, 285
Данченко Н.Ф. 37
Даргомыжский А.С. 479, 509
Датти 487
Декарт Ф. 489
Делавинь К.Ж.Ф. 130
Дельвиг А.И. 323, 509
Демидов П.Н. 80–83, 482
Демидов П.П. 80
Денисов В. 509
Денфер А.У. 18
Дерюгина Л.В. 506
Джиотто (Джотто) Ди Бондоне 285

Джулиани Р. (Giuliani R.) 152, 166, 218, 293, 347, 349, 354, 487, 509
Дибич-Забалканский И.И. 480
Дивьер 152
Дидро Д. 122
Диккенс Ч. 473, 500
Димитрий Ростовский 381
Динесман Т.Г. 499
Дионисий Ареопагик 447
Дирин П. 503
Дмитриев И.И. 326
Дмитриев М.А. 263, 318, 325–327, 498
Дмитриев-Мамонов Э. 259
Дмитриева Е.Е. 509
Добровольский А. 482
Долгополова С.А. 499
Долгоруков П.В. 380, 503
Доленга-Ходаковский Э. 142
Долинин А.С. 88
Дондуков-Корсаков М.А. 223, 312–314
Досталь М.Ю. 507
Достоевский Ф.М. 500
Дризен Н.В. 45, 46, 438, 480, 509
Друбек-Мейер Н. (Drubek-Meyer N.) 417, 509
Дрыжакова Е.Н. 99–101, 510
Дубельт Л.В. 46, 480
Дунина-Барковская Г.И. 196
Дурнов А.Т. 152, 165, 166
Дурново А.П. 86
Дурново П.Д. 116, 117
Дурылин С.Н. 358, 510
Духинский Ф. 141
Дюма А. 37, 286
Дюр Н.О. 60, 73, 248, 322

Егоров Б.Ф. 435, 510
Екатерина II 122
Екатерина Павловна, вел. кнж. 421
Елагин А.А. 493
Елагин В.А. 270, 493
Елагин Н.А. 493
Елагина А.П. 236, 262, 263, 268, 272, 319, 320, 493

Елена Павловна, вел. кн. 356, 378
Елисавета Михайловна, вел. кн. 443
Ерманн Г. 304
Ермолова А.П. 453
Ермолова С.А. 242
Ершов П.П. 269
Ефимов Д.Е. 166, 196
Ефимов Е.Д. 166
Ефимов Н.Е. 152
Ефремов А.П. 304
Ефремов П.А. 510

Жадовская 68

Жан Поль (Рихтер И.П.Ф.) 400
Жанен Ж. 37, 133, 286
Жаркевич Н.М. 514
Жданов В.А. 504
Жданов И.Н. 510
Железняк С. (Пономарев С.И.) 478
Жерве, аббат 219–221
Жерве В.В. 22, 510
Живаго С.А. 205
Живокини В.И. 321, 322, 327, 499, 510
Жиро Дж. 281, 493
Жириев А.С. 444, 445, 448
Житомирская С.В. 131, 351, 484, 503
Жорж Санд (Дюпен А.) 302
Жуковская Е.Е. 404
Жуковский В.А. 20–24, 28, 36, 41–43, 46–48, 55, 68, 88, 90, 98–100, 104–106, 114, 117, 124, 125, 127–129, 135, 146, 154, 155, 158, 160, 167, 171, 193, 194, 204–209, 212–215, 217, 218, 232, 236, 244–248, 262, 264, 267, 272, 292, 294, 298, 299, 301, 326, 335, 337, 339, 346, 352, 357, 375–377, 380, 381, 383, 391, 394, 395, 398–400, 403, 404, 408–412, 415, 424, 425, 428, 431, 435–437, 439, 441, 443–446, 450, 451, 453, 456, 464, 465, 467, 468, 470, 471, 477, 479, 483, 485, 486, 489, 490, 492, 503, 510, 516, 517, 519
Жуковский П.В. 443

Заблоцкий А.П. 67, 510
Заболотский П.А. 510
Заборов П.Р. 484

-
- Загарин П. (Поливанов Л.И.) 98, 381, 510
Загоскин М.Н. 19, 77, 86, 102, 242, 263, 319, 363, 482
Загряжская С.И. 337
Заикин П.Ф. 434
Зайденшнур Э.Е. 504
Зайцев А.Д. 139, 510
Зайцев Б.К. 510
Зайцева И.А. 46, 50, 51, 60, 480, 481, 510
Залеский Ю.Б. 134, 135, 141–143, 145, 147, 170, 179, 185, 486
Захарова Л.Г. 516
Земенков Б.С. 490, 510
Зенков П. 414, 417
Зеньковский В.В. 83–85, 511
Зиномря М.И. 511
Золотарев И.Ф. 137, 148–150, 162, 163, 195, 486
Золотусский И.П. 104, 511
Зотов Р.М. 47, 50, 61, 63, 64, 66, 77, 361, 511
Зубов П.А. 136
Зубова Е.А. 264
- Иваницкий Н.И.** 203
Иванов А. – см. Урусов А.И.
Иванов А.А. 106, 167, 194, 205, 206, 209, 211, 289, 290, 293, 294, 342–346,
348, 349, 354–356, 375, 376, 414, 417, 461, 463, 464, 470–472, 494,
495, 501–503, 506, 511
Ивантышышова Т. 507
Измайлов Н.В. 104
Иконников В.С. 511
Ильин И.А. 88, 511
Иннокентий (Борисов И.А.) 332, 366, 367
Иноземцев Ф.И. 232
Инсарский В.А. 40, 511
Иордан Ф.И. 167, 290–292, 343–346, 356, 375, 417, 461, 463, 495, 496, 501, 511
Иофанов Д.М. 511
Иохим, каретник 88
Исаков С.Г. 57, 486, 511
- Кавелин А.А.** 68
Кайсевич И. 181, 182, 185, 187, 488
Калайдович К.Ф. 240
Калайдович Н.К. 240

Каллаш В.В. 397
Каманин И.М. 192, 511
Каменская М.Ф. 511
Канкрин Е.Ф. 55, 67, 155
Кант И. 305, 489
Кантемир А.Д. 506
Капнист А.В. 398, 503
Капнист В.В. 511
Карамзин Александр Н. 54, 130
Карамзин Андрей Н. 54, 80, 104, 108, 128, 129, 131, 136, 138–140, 146,
151–154, 157–160, 162, 246, 334, 392, 485
Карамзин В.Н. 334
Карамзин Н.М. 36, 124, 169, 223, 224, 249, 334, 438, 511
Карамзина Е.А. 54, 140, 246
Карамзина С.Н. 54, 104, 108
Карамзины 54, 104, 128, 130, 140, 264, 511
Каратыгин В.А. 57, 58, 61, 73, 481
Каратыгин П.А. 47, 48, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 64, 73, 511
Каратыгин П.П. 47, 48, 52, 54, 511
Карл Великий 116
Карлинский С. (Karlinsky S.) 223, 490
Карпук (Karpuk P.A.) 498
Карташевская М.Г. 79, 245, 247, 358, 362, 463, 474, 490, 499
Карташевская Н.Т. 246
Карташевские 244, 246, 247, 334, 492
Карташевский Г.И. 246, 247
Карус К.-Г. 404, 452
Катель Ф. 292
Катенин П.А. 59
Катков М.Н. 240, 241, 304
Каченовский М.Т. 309, 310
Квитка К.А. 199
Квитка-Основьяненко Г.Ф. 238, 270
Кейль Р.-Д. (Keil R.-D.) 226, 512
Кениг Г. 214, 408, 485
Кетчер Н.Х. 240, 499
Кизеветтер А.А. 65, 512
Кипренский О.А. 148
Киреев А.Д. 45
Киреевские 240, 251, 254, 260, 316
Киреевский-И.В. 260, 263, 267, 268, 270, 319, 425, 426, 431, 446, 512

Кирилюк З.В. 514
Кирпичников А.И. 408, 411, 493, 495, 512
Киселев Н.Д. 67, 351, 484, 503
Киселев П.Д. 55, 66, 67, 351, 510
Кичеев Н.П. 511
Клименко К.М. 469
Клодт В.К. 358
Клюшников И.П. 201
Княжевич Д.М. 322, 323, 421, 458, 496, 499
Княжнин Я.В. 512
Козлов А.И. 199
Козлов И.И. 479
Козлов Н.И. 199
Козловский П.Б. 480
Козмин Н.К. 512
Колар (Коллар) Я. 27, 448
Колосова Г.И. 43
Колосова Н. 387, 424, 512
Кольцов А.В. 96, 479, 512
Комаров А.А. 336
Комарович В.Л. 232, 504
Комовский А.Д. 42
Кондаков С.Н. 512
Кони Ф.А. 57, 73
Конобеевская И.Н. 78
Кононенко И.К. 519
Константин, цесаревич 65
Копп И.Г. 117, 424, 452
Корнелиус П. 292, 347
Корнилов А.А. 429, 512
Корнилова А.В. 109, 512
Корнух-Троицкий П. 253
Коровин В.И. 509
Королева И.А. 499
Коропчевский Д.А. 321, 512
Корреджо А. 217, 330, 497
Корсаков П.А. 481
Корф М.А. 62, 512
Корш Е.Ф. 240, 241
Костенич К. 379
Котляревский И.П. 491

Котляревский Н. 502
Кочубинский А. 181, 184–187, 444, 458, 459, 496, 512
Кочча П. 487
Кошелев В.А. 270
Коялович А.И. 512
Краевский А.А. 41–43, 55, 60, 79, 93, 203, 244, 336, 479, 481, 485, 499, 500
Крамолей В.В. 52, 73
Красильников С.А. 142, 512
Красиньский З. 185
Красов В.И. 201
Кривонос В.Ш. 194, 513
Кривцов П.В. 205
Кривцов П.И. 151, 152, 196, 197
Крижанівський С.А. 513
Крузе 308
Крузенштерн И.Ф. 82
Крукенберг П. 452
Крутикова Н.Е. 142, 500, 513
Крылов А.Л. 478
Крылов И.А. 20, 22, 36, 41, 43, 55, 376, 492, 503
Крылов Н.И. 309–311
Кудинов А.С. 209
Кузовкина Т. 478
Кузьмин Р.И. 165
Кукольник Н.В. 37–41, 43, 513
Куликов Н.И. 48, 248
Кулиш П.А. 88, 97, 157, 180, 287, 306, 328, 334, 353, 380, 384–386, 391, 392,
410, 459, 485, 499, 504, 513
Кулябко Е.С. 81, 82, 513
Купреянова Е.Н. 103, 513
Кутузов 484
Кюстин А. де 325
Кюхельбекер В.К. 140

Лаблаш 130
Лавровский Н.А. 513
Лажечников И.И. 301
Лазаревский А.М. 513
Лазаревский В.М. 415
Ламартин А. 129
Ламбускини Л. 182, 468

Лангер Л.Ф. 261, 492, 493
Ланский Л.Р. 261, 473, 501
Лаптева 303
Лаффитт С. 490
Лебедев К.Н. 483
Лебедева О.Б. 503, 510
Лебенштейн Ф. 475
Левандовский А.А. 519
Лемке М.К. 313, 513
Леонардо да Винчи 353, 497
Леонидов Л.Л. 46, 52, 61
Леонтович В. (Leontovitsch V.) 513
Леонтьев В.Ю. 420
Лепень (Лепен) 88, 109
Лермонтов М.Ю. 263–267, 301, 473, 493, 513, 514
Лернер Н.О. 490
Лижье П. 130
Линниченко И.А. 220, 514
Липгарт 109
Липранди И.П. 10
Лист Ф. 405, 448
Лиуцци И. 487
Лобанов М.Е. 94
Лобачевский Н.И. 253
Логановский А.В. 290
Ломоносов М.В. 271
Лонгинов М.Н. 79, 336
Лотман Ю.М. 9, 498, 514
Луи Филипп Орлеанский 130
Лукашевич П.А. 142
Лукьяновский Б.Е. 88
Лунин М.С. 184, 514
Львов А.Ф. 50
Львова-Синецкая М.Д. 241
Любич-Романович В.И. 133, 167
Людвиг I Баварский 340
Лямина Е.Э. 214–218, 220, 223, 228, 244, 489, 514
Лященко А.И. 142, 183, 512

Маврин С.Ф. 17, 18
Мазари 386

Мазепа И.С. 144, 145
Мазер К.П. 414
Мази Ф. 285
Макаревский М. 253, 514
Макарий (Глухарев М.Я.) 251, 252, 450, 514
Макаров А.А. 517
Маковская Л. 482
Маковский В.Е. 482
Маковский Е.И. 482
Макогоненко Г.П. 99–103, 483, 514
Максимилиан Лейхтенбергский 355, 356, 437
Максимов А.М. 73
Максимович М.А. 142, 212, 332, 514
Манн Ю.В. 184, 311, 391, 397, 412, 443, 455, 477, 478, 481, 482, 485, 487,
488, 495, 496, 498, 514
Мантейфель 199
Мануйлов В.А. 493, 508
Мария Александровна, цесаревна 448, 467
Мария Николаевна, вел. кн. 312, 337, 346, 355, 437
Мария Павловна, вел. кн. 448
Маржолен 132
Марк Аврелий 386, 388, 503
Маркевич Н.А. 254, 255
Марков А.Т. 295
Марков М.А. 247
Марковецкий С.Я. 52
Маркович А. 379
Маркс К. 435
Мармье К. де 336, 337, 501
Мартынов А.Е. 73
Масанов И.Ф. 478, 514
Массуччи Джованни 148
Массуччи Джузеппе 148
Массуччи Н. 148
Машинский С.И. 142, 515
Машковцев Н.Г. 209, 347, 417, 471, 494, 501, 515
Межаковы 199
Мезьер 48
Мейер (Майер) 153
Мельгунов Н.А. 97, 290, 301, 408, 411, 485
Мельниченко В. 485

Мердер К.К. 215, 515
Мериме П. 485
Мерославский Л. 185
Мессинг М.И. 274
Местр Ж.М. де 188, 337
Местр И. де 188
Местр К. де 337
Местр Р. де 188
Меццофанти Дж.Г. 107, 170, 171, 182, 292, 349
Микеланджело Буонаротти 175, 295, 297, 353
Миллер Д.П. 506
Мильчина В.А. 361, 515
Милюков А.П. 500
Милютин Д.А. 291, 496, 515
Мироненко С.В. 509
Михаил Павлович, вел. кн. 64, 356, 378
Михайлов Н.Н. 509
Михальский Е.Н. 515
Михед П.В. 488, 514, 515
Михневич И.Г. 515
Мицкевич А. 133–135, 141, 145, 147, 161, 170, 171, 179, 181, 182, 185, 200,
379, 380, 405, 433, 434, 507
Мишле Ж. 203
Модзалевский Б.Л. 235, 515
Мокрицкий А.Н. 37, 42, 43, 105, 479, 515
Молева Н. 515
Моллер Ф.А. 167, 290, 334, 344, 376, 416, 461, 463, 464, 503
Моль 341
Мольер (Поклен Ж.Б.) 74, 94, 125, 130, 483, 485
Мордвинов А.Н. 45, 70, 480
Мордовченко Н.И. 35
Мохнацкий М. 185
Мочульский К.В. 83, 89, 178, 183, 222, 223, 226, 282, 285, 286, 443, 515
Мундт Н.Н. 48
Муравьев А.Н. 346
Муравьева 262
Мурзакевич Н.Н. 322, 515
Мусатова Т. 205, 486
Мусин-Пушкин И.А. 113, 483
Мусин-Пушкин М.Н. 253
Мятлев И.П. 115

-
- Надеждин Н.И. 27, 157, 290, 296, 322, 458, 496, 512, 515
Назаревский А.А. 515
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) 26
Нащокин П.В. 90, 91, 103, 236, 254–256, 316, 320, 337, 338, 491, 501
Нащокина В.А. 255, 256, 260, 491, 492
Нащокины 257, 261
Неверов Я.М. 59, 64, 75, 260, 301, 302
Некрасов Н.А. 447, 500
Немзер А.С. 516
Непомнящий В.С. 517
Нессельроде К.В. 67, 467, 469
Нибби А. 206, 211
Никитенко А.В. 43, 58, 60, 66, 70, 86, 313, 314, 334, 363, 440, 498, 516
Никитин 205
Никитин А. 166
Николаев А.С. 514
Николай I 49, 55, 61–70, 72, 77, 78, 99, 154, 155, 206, 228, 312, 313, 358, 359,
362, 415, 429, 437–439, 464, 467–472, 502, 512, 516, 521
Никулина Н.А. 511
Нильский А.А. 53, 516
Нимченко Я. (А.) 88, 109
Нисский Г. 386
Новалис (Харденберг Ф. фон) 222
Новосильцев П.П. 408
Нордов В. 447
Норов А.С. 20, 177, 178
Ноэль 135
- Обухов В.В. 501
Обухова Е.В. 501
Обухова М.А. 344, 501
Овербек Ф. 205, 292–296, 347, 354
Овсяннико-Куликовский Д.Н. 516
Огарев Н.П. 240, 241
Одоевский В.Ф. 20, 21, 28, 30, 36, 41, 42, 96, 101, 222, 248, 264, 311–315,
336, 337, 377
Оксман Ю.Г. 498, 514
Олсуфьева-Боргезе Д. 487
Ольга Николаевна, вел. кн. 358
Ольдекоп Ё.И. 45, 479, 480
Онаш К. (Onasch K.) 516

Орехова Л.А. 499
Орлов А.С. 509
Орлов А.Ф. 240, 438, 439, 469
Орлов М.Ф. 263, 268
Орлов П.В. 240
Орлова А. 479
Осповат А.Л. 340, 361, 505, 515

Павей В. 169

Павлов Н.Ф. 237, 241, 257, 263, 268, 316, 320, 362, 363
Павлова К.К. 257, 264, 269
Павловский И.Ф. 516
Павловы 240
Падерина Е.Г. 495
Палацкий Ф. 27
Панаев В.И. 76, 246
Панаев И.И. 21, 23, 38, 39, 95, 98, 236, 238, 248, 269, 336, 434, 491, 492, 500, 516
Панаева А.Я. (урожд. Брянская) 51, 76, 238, 434, 491, 516
Панов В.А. 18, 260, 272–274, 277–282, 285, 287, 298, 300–302, 304, 306, 458, 493, 495, 507, 516
Панова М.А. 507
Пащенко И.Г. 19, 132
Пащенко Т.Г. 503
Певницкий И. 395, 402
Пейкер И.У. 307
Пейкер П.И. 307, 333
Пекелис М. 479
Пеллико С. 233, 462
Пенская Е. 212, 516
Перовский В.А. 17, 354, 397, 502
Пертинакс 57
Перуджино П. 295
Перфильев С.В. 320
Петр I 26, 144, 145
Петров А. 52, 64, 68, 73
Петров А.А. 224
Петров Ал. 70
Петров Н.И. 426, 516
Петровский А. 517
Петрунина Н.Н. 90

Пирожкова Т.Ф. 505
Пишо А. 171
Плаксин В.Т. 166, 167, 517
Платонов В.П. 136, 158–160, 486
Плетнев П.А. 11, 20, 22, 29, 36, 41, 43, 60, 90, 100, 103, 104, 118, 128, 137,
208, 215, 240, 244, 246, 306, 311–314, 319, 334–337, 355, 363, 371,
373, 403, 439, 446, 464, 471, 478, 486, 492, 498–500, 517
Плиний мл. 424
Плутарх 505
Плюшар А.А. 301
Погодин Д.М. 250, 251
Погодин М.П. 14, 19, 21, 25, 26, 28, 32, 35, 37, 77, 85, 86, 91, 92, 107, 108,
114, 137, 139, 144, 169, 195–197, 204, 209–211, 218, 231–234, 236,
237, 240, 241, 248, 250, 254, 256, 260–262, 264, 274, 279, 283, 294,
297, 298, 306, 307, 309, 316–318, 328–332, 335, 352, 362, 371, 372,
386, 387, 414, 415, 422, 448, 474, 482, 483, 485, 489, 490, 493–495,
506, 517
Погодина Е.В. 204, 210, 233, 236, 250, 272, 331, 421
Погодины 211, 212, 319
Поздеев А.А. 18, 518
Полевой Н.А. 138, 203, 394, 415, 482, 499
Полежаев А.И. 173
Полукетова 199
Пономарев С. 517
Понятовский С. 462
Попов А.Н. 263, 305, 376, 468, 469, 517
Портелли И. 483
Потанчиков Ф.С. 491, 492
Потемкин И.А. 187, 355, 464
Потоцкий 277
Прасковья Наумовна 483
Присниц (Призниц) В. 319, 378, 459, 460
Прокопович Н.Н. 36
Прокопович Н.Я. 36, 37, 40, 43, 60, 82, 132, 137, 146, 153, 186, 187, 246, 306,
313, 317, 320, 334–337, 383
Прохоров Е.И. 501
Прохоров О.О. 73, 480
Пугачев Е.И. 17
Пуле М.Ф. де 479
Пуляга Н.В. 86, 117, 362
Пуляга С.Л. 362

Пушкин А.С. 9–13, 16–22, 24, 28–30, 32–36, 41–43, 64, 78, 88–105,
107, 108, 113, 121, 128, 129, 135–138, 140, 141, 144, 149, 154, 155,
158–161, 169, 183, 199, 208, 213, 214, 219, 226, 228, 229, 233, 235,
238, 246–248, 254, 266, 269, 284, 301, 315, 316, 337, 351, 354, 377,
379, 380, 399, 400, 408, 426, 427, 438, 473, 477–480, 482–485, 489,
505–508, 514, 517, 518, 520

Пушкина Н.Н. 89, 96, 98, 103, 108, 334, 337

Пыпин А.Н. 78, 134, 317, 404, 503, 517

Рабус К. 463

Равиньян Г.Ф. де 404

Радзивиллы 277

Раевская 152, 272

Раевская П.И. 262, 319

Разумова Н.Е. 503

Рамазанов Н.А. 80, 469, 470, 482, 494, 518

Ранке Л. фон 304

Растрелли В. 198

Рафаэль Санти 148, 297, 300, 330, 345, 346, 353, 356, 497, 498

Рахель А.-Ф. 300

Редкин П.Г. 263, 320, 518, 521

Рейтерн Е.Е. 299

Рекамье 129, 229

Рендер Х. (Render H.) 125, 518

Репнин В.Н. 118, 151, 196, 249

Репнин Н.Г. 196, 219

Репнин-Волконский Н.Г. 118, 151

Репнина В.А. 196

Репнина В.Н. 118, 151, 153, 196, 197, 201, 203, 219–221, 234

Репнина Е.Н. 151, 152, 196

Репнина Е.П. 118

Репнины 118, 151–153, 162, 196, 197

Ринальди А.М. 495

Ринальди С. 495

Ритгер К. 27, 304

Ритгер М.А. 27

Рихтер 211

Рихтер Ж.-П. – см. Жан Поль

Риччи 220

Рожалин Н.М. 169

Рождественский С.В. 518

Розанов А.С. 489
Розен Е.Ф. 21–23, 99, 100, 212–214, 216, 489
Россет А.О. 157, 334, 349, 352, 354, 378, 459, 474, 502
Ростопчина Е.П. 353, 385
Рубина 130
Руск Л. 505
Руссо Ж.Ж. 123–125, 223

Сабатье Ф. 218
Сабинин С.К. 447–449, 451, 452
Сабинина М.С. 448
Савинов А.Н. 518
Савиньи Ф.К. фон 310
Садовников Д.Н. 518
Садовский М.П. 492
Сазонов Н.И. 434
Салтыков-Щедрин М.Е. 516
Сальпини Т. 148
Самарин И.В. 240, 241, 243, 248, 322
Самарин Ю.Ф. 248, 258, 259, 262–265, 319, 387, 466, 474
Самовер Н.В. 214–218, 220, 223, 228, 244, 489, 514
Самойленко Г.В. 515
Сарабьянов Д.В. 293, 518
Сведомский 488
Свенцицкий И.С. 482
Свербеев Д.Н. 263, 319, 323, 326, 518
Свербеева Е.А. 262, 263, 319, 325
Свербеевы 251, 264, 268, 272, 319, 361
Сверчков Н.Е. 464
Свечина С.П. 129, 147, 199, 433
Свиньин П.П. 477, 509
Северин Д.П. 121, 122
Семенов П. 181, 182, 184–187, 190, 488
Семенов В. 82
Семенов В.Н. 43–45
Сен-Жорж 336
Сенковский О.И. 31, 33, 38, 43, 73–75, 78, 394, 415, 478, 482
Сент-Альдегонд 216
Сент-Бёв Ш.О. 125, 129, 172, 229, 230, 379, 473, 474, 490, 518
Сербинович К.С. 380
Сервантес Сааведра М. 9, 11

Сечкарев В. (Setschkareff V.) 226, 283, 519
Симановский (Симоновский) И.П. 132, 277
Синявский А.Д. (Абрам Терц) 519
Сиркур А. 433
Сиркур М.-А. 433
Сисмонди Ж.Ш.Л.С. де 174
Скино А. 106
Скотт В. 88, 102, 121, 125, 169, 238, 485
Смирдин А.Ф. 43
Смирнов Н.М. 128, 129, 139, 158, 377
Смирнова (Смирнова-Россет) А.О. 49, 66–69, 78, 103, 117, 128, 129, 131, 136, 138, 139, 157–160, 187, 188, 215, 216, 221, 228, 280, 294, 297, 302, 306, 311–314, 334, 349–357, 359, 375, 377, 378, 380, 384–387, 389, 390, 392, 394–397, 403–407, 409, 411, 413, 419, 423, 424, 433, 436–442, 445, 452, 454, 463, 464, 466, 467, 474, 475, 477, 481, 482, 484, 486, 492, 496, 499, 503, 504, 507, 512, 519
Смирнова Е.А. 493
Смирнова О.Н. 188, 502
Смирновы 129, 131, 136, 159, 160, 264, 486
Снегирев И.М. 48, 309–311
Соболевский С.А. 20, 36, 41, 54, 131, 136, 174, 254, 266, 485
Соколов П.П. 323, 519
Соколянский М.Г. 484
Соленик К.Т. 52
Соллогуб В.А. 17, 41, 69, 80, 149, 266, 384, 386, 390, 391, 394, 419, 436, 437, 460, 480, 519
Соллогуб Л.А. 129, 158, 159
Соллогуб С.И. 386
Соллогуб С.М. – см. Виельгорская С.М.
Соловьев Н.В. 410, 519
Соловьев С.М. 273, 311, 519
Солоухин В.А. 191, 488
Сомов О.М. 478
Сосницкие 357
Сосницкий И.И. 51–54, 56, 57, 60, 73, 107, 109, 248, 480
Соханская (Кохановская) Н.С. 519
Сперанский М.М. 310
Сперанский М.Н. 142, 518, 519
Спиноза Б. 489
Срезневский И.И. 239, 458, 519
Ставассер П.А. 210, 469, 494

Сталь А.Л.Ж. де 174
Станкевич Н.В. 59, 75, 201, 254, 260, 261, 268, 294–296, 300, 303–305, 344,
506, 519
Стасов В.В. 38, 43, 79, 325, 519
Стасюлевич М.М. 481, 519
Стендаль (Анри Мари Бейль) 106, 107, 461
Степанов А.Н. 461, 508
Степанов Н.Л. 519
Степанова А.М. 51
Степун Ф.А. 284, 519
Стогнут А.С. 519
Строганов С.Г. 244, 312, 313
Строев В.М. 478
Струговщиков А.Н. 39, 41, 43
Стурдза А.С. 122
Стурдза-Эдлинг Р.С. 379
Суворин А.С. 478
Суперфин Г.Г. 498
Супронюк О.К. 519
Сухово-Кобылин А.В. 212, 506, 516
Сушков Н.В. 76, 519

Таке 323
Талалай М.Г. 217, 220, 487, 520
Тамаринский (Томаринский) М.А. 288, 495
Тамбурины 130
Тарасенков А.Т. 520
Тарасов 324
Тассо Т. 148, 153
Тенерани П. 205, 292, 354
Тентетников 392, 396, 398
Тепляков В.Г. 20–22, 41, 43
Теребина Р.Е. 86, 477
Терпигорев Н.Н. 44
Терпигорев С.Н. 44
Тимм В. 206
Тирген П. (Thiergen P.) 504
Тихонравов Н.С. 50, 78, 92, 309, 310, 443, 504, 508, 520
Тициан (Тициано Вечеллио) 497
Товяньский А. 433
Толстая А.А. 217

Толстая А.Е. (урожд. кн. Грузинская) 378
Толстой А. 217
Толстой А.К. 516
Толстой А.П. 378, 399, 409, 410, 424, 425, 428–434, 447–452, 456, 460, 461, 464
Толстой Ф.П. 469, 470
Толстой-Американец Ф.И. 252
Томашевский Н.Б. 172, 520
Торвальдсен Б. 205, 347
Трахимовский Н.А. 520
Тропинин В.А. 482
Трохнева М.Н. 36
Трощинский А.А. 420
Трощинский Д.П. 120
Трубецкая К.К. 129, 378
Трушковский П.О. 109, 226
Тургенев А.И. 21, 41, 49, 56, 77, 95, 126, 136, 149, 160, 186, 198, 199, 213,
229, 246, 249, 260, 262–264, 268, 273, 293, 301, 302, 325, 340, 359,
361, 362, 380, 399, 400, 404, 409–411, 415, 427–434, 446, 464, 465,
505, 508, 510, 520
Тургенев И.С. 55, 59, 246, 248, 304, 320, 321, 365, 418, 472, 473, 476, 520
Тургенев Н.И. 249, 359, 428, 434
Тургеневы 515
Тьер Л.А. 126
Тютчев Н.И. 499
Тютчев Ф.И. 222, 379, 448, 458, 468, 469, 492, 499, 508, 520
Тютчева А.Ф. 448
Тютюник Л.И. 516

Убри П.Я. 160
Уваров С.С. 77–79, 82, 313, 314, 377, 438–440, 504
Удольф Л. (Udolph L.) 174, 176, 520
Унанянц Н. 490, 501
Урусов А.И. 480

Федоров Б.М. 62, 503
Федотов В.В. 520
Федотов Г.П. 191
Фейт Ф. 294
Фет А.А. 254, 492, 520
Филарет (Дроздов В.М.) 252, 426, 427
Филдинг Г. 11

Филиппов В. 477
Фихте И.Г. 305, 489
Флеклес 452
Флеров В.П. 309
Флор 356
Флоровский Г.В. 252, 520
Фома Кемпийский 387, 388, 422
Фомичев С.А. 520
Фонвизин Д.И. 50, 51
Францев В.А. 473, 517, 520
Франциск Ассизский 285, 286, 450, 495
Франциск Сальский 423
Фредерикс М.П. 50, 215
Фрейдель Е.В. 20
Фридкин В.М. 447, 452, 520
Фридлендер Г.М. 90, 502, 520
Фридрих II 122
Фрике 494
Фуке Ф. (Фуке де ла Мотт) 158
Фукс К.Ф. 253
Фус П.Н. 80
Фуссо С. (Fusso S.) 520

Хайнацкий А.Ф. 520
Ханыков Я.В. 354
Хармс Д. 119
Хетсо Г. 389, 422, 427, 521
Хитрово Е.А. 485, 504
Хмельницкий Б. (З.) М. 26
Хмельницкий Н.И. 247
Хомяков А.С. 265, 267, 268, 270, 316, 319, 325, 328, 331, 357, 446, 521
Хомякова Е.М. 221, 262, 263, 268, 320, 327, 498
Хомяковы 251, 319, 327
Хотяева 263
Храповицкий А.И. 46, 48, 53–55, 57, 58, 72
Хубнер Р. (Hubner R.) 521

Цигенгейст Г. 301, 498
Цимбаев Н.И. 519
Цицерон 211
Цицианов 70, 71

- Цициановы 482
Цых В.Ф. 77, 521
Цявловский М.А. 90
- Чаадаев П.Я. 143, 184, 263, 267, 268, 272, 323–327, 430, 521
Чаговец В.А. 508
Челаковский Ф.Л. 27
Челли 286, 461, 487, 495
Черейский Л.А. 121, 479, 503, 521
Чернецов Г.Г. 22
Чернецовы 494
Черныш Г.Г. 498
Чернышев А.И. 55, 67
Чертков А.Д. 204, 217
Черткова Е.Г. 204, 209, 217, 219, 230, 231, 242, 320
Чертковы 240–242, 491
Чижевский Д. (Tschizewskij D.J.) 183, 503, 521
Чижов Ф.В. 127, 299, 343, 345–348, 375, 380, 463, 464, 487, 494, 498, 501
Чижова Н.Н. 484
Чичерин А.В. 10, 431, 521
Чичерин Б.Н. 521
Чулков Г.И. 499
Чулкова Н.Г. 170
- Шаляпин Ф.И. 62, 63, 521
Шамиссо А. фон 301
Шампольон 27
Шаповалов И.С. 210, 291
Шаржинский С.Д. 43
Шатобриан Ф.Р. де 129, 509
Шафарик П.Й. 27, 448
Шверубович А.И. 521
Шевырев Б.С. 212
Шевырев С.П. 13, 14, 30, 32, 35, 82, 97, 108, 168, 169, 173–176, 180, 195,
196, 204, 207–210, 212, 217, 218, 220, 221, 233, 234, 241, 258, 265,
266, 289, 295, 301, 302, 316–319, 332, 335, 337, 340, 341, 364, 365,
371–373, 381, 382, 387, 393, 395, 408, 410, 415–417, 446, 464–466,
474, 489, 499, 501, 502, 517, 520, 521
Шевырева С.Б. 212, 217, 221, 233
Шекспир В. 11, 102, 125, 230, 238, 373, 400, 474
Шеллинг Ф.В.Й. 120, 304–306, 340, 505

-
- Шенлейн И.-Л. 452, 460
Шенрок В.И. 19, 36, 47, 76, 88, 116, 118, 127, 132, 134–136, 151, 154, 161,
163, 166, 179, 190, 199, 201, 202, 217, 219, 229, 230, 235, 259, 279, 299,
319, 327, 332, 356, 376, 395, 397, 400–402, 407, 412, 426, 434, 439,
441, 451, 485, 486, 489, 496, 499, 502, 507, 508, 517, 521
Шереметев В.А. 378
Шереметев Д.Н. 377
Шереметева Н.Н. 262, 332, 333, 366, 375, 383, 407, 411, 433, 446, 521
Шернваль А.К. 80
Шиллер Ф. 88, 238
Шильдер Н.К. 62, 521
Шимановский М.В. 521
Шипова А.Е. 490
Шлегель Ф. 521
Шмальц Т. 521
Шопен Ф. 449
Шпектер О. 293
Штакельберг 187
Штейнл Э. фон 292
Штернберг В.В. 281, 494
Штрих Ф. (Strich Fr.) 521
Шуберт Ф. 261
Шубин В. 521
- Щеглов И. 358, 521
Щеголев П.Е. 521
Щедрин С. 147, 195
Щедринский Б.Н. 499
Щепкин Д.М. 237, 274, 332
Щепкин М.С. 19, 46, 57, 61, 72, 79, 91, 106, 107, 109, 235, 236, 239, 240,
257, 274, 280, 281, 284, 313, 315, 316, 321, 328, 329, 332, 476, 493, 508
Щербина Н.Ф. 415
Щукин В.Г. 486
Щурупов М.А. 494
- Эйхгорн К.Ф. 310
Эльсоны 494
Энгельбах Ф.Ф. 146, 486
Энгельгардт А.Е. 117
Энгельгардт Е.А. 117
Эпингер 494

Эристов 82
Эфрос Н.Д. 253, 522

Ювенал 326
Юнг Э. 222
Юнгман Й. 27
Юркевич П.И. 33, 478

Яворский С. 381

Языков А.М. 265, 268, 339, 341, 342, 375

Языков Н.М. 89, 230, 231, 262, 265, 268, 273, 284, 290, 299, 300, 302, 303,
305, 325, 327, 333, 338–346, 348–350, 355–357, 375, 376, 383, 391,
394, 408, 409, 412, 413, 415, 425, 430–432, 445, 446, 449, 452, 457,
458, 465, 484, 490, 498, 501, 503, 522

Языков П.М. 231, 299, 300, 331

Яким (Аким) – см. Нимченко Я. (А.)

Якобсон Р.О. (Jakobson R.) 201, 202, 522

Якубина Ю.В. 514, 522

Якубович Л.Я. 269

Яненко Я.Ф. 40

Янушкевич А.С. 503, 510

Яньский Б. 181, 182

Ярцова Л.А. 82

Mazanowski M. 486

Contents

Part One

Approaching the book of his life	9
“Let’s laugh, laugh all the more now”	15
The first attempt	20
“...Until a new awakening...”	25
In the fighting arena of a magazine	27
The horizon of socialising	35
The way to the stage	45
Before the premiere	51
The premiere	55
“Everyone got their own here, and I more than anyone...”	61
The genuine Government Inspector and “The Genuine Government Inspector”	70
After the premiere	72
Why Gogol wasn’t given any bonus	80
The Government Inspector syndrome	83
“I did not manage to or was able to say goodbye to even to Pushkin...”	88
Before a long way	105

Part Two

“Do you know what a steam boat is?”	113
“In Germany”	115
Switzerland	121
“Paris, one hell of a city...”	125
“...I couldn’t get any worse news from Russia”	136
The first “reading” of Italy	146
A trip to the north: Baden-Baden, Frankfurt am Main, Geneva	156
The second “reading” of Italy	162
A Catholic episode	181
The spawn of “the savage age”	191
Under Naples’ sky	194
A trip to Paris	197

The third “reading” of Italy	200
“The fair died in splendid bloom...”	214
The way back to the motherland	228
Moscow – St. Petersburg – Moscow (September 1839 – May 1840)	234

Part Three

The road and the crisis	277
After the crisis	282
The fourth “reading” of Rome	286
On the way to Russia	299
Moscow – St. Petersburg – Moscow (October 1841 – June 1842)	306
“The last expulsion from the motherland”	338
“Life on the road”	375
Nice	384
“I’m going on – so is the writing”	394
In Paris as if in “a monastery”	424
“Please, don’t worry about the modes of existence”	435
“A small work and not too loud in its title...”	441
On the brink between life and death	447
“Why was the second volume of the Dead Souls burnt?”	453
“...I seem to be feeling better”	457
Rome: autumn and winter of 1845	461

<i>Notes</i>	477
--------------	-----

<i>The list of accepted abbreviations</i>	505
---	-----

<i>Name index</i>	523
-------------------------	-----

Mann Yu.V.

Gogol: the pinnacle: 1835–1845. Book 2.

This book continues to study N.V. Gogol's life and creative works. Many important events happened in this period – from autumn 1835 to December 1845 – the start and continuation of work on the *Dead Souls*, the premiere of the *Government Inspector*, long wanderings in Western European countries (Switzerland, France, Italy etc). The reader faces exciting questions: why did Nicholas I back up the staging of the *Government Inspector*? why did Gogol not say goodbye to Pushkin before going abroad? why did Gogol not convert to Catholicism? what made him burn the first copy of the second volume of the *Dead Souls* in 1845? etc. Like the first book, the book makes use of immense quantities of material and is a fortunate combination of a high historic and literary authenticity and the artistry and lightness of writing.

The book is intended for specialists and all the readers interested in Russian literature and N.V. Gogol's life.

М23 Манн Ю.В.
Гоголь. Книга вторая. На вершине: 1835–1845. [2-е изд., перераб. и доп.] М.: РГГУ, 2012. 552 с.
ISBN 978-5-7281-1292-1

Настоящая книга продолжает анализ жизненного и творческого пути Н.В. Гоголя. Множество важных событий произошло в этот период – с осени 1835 г. по декабрь 1845 г.: начало и продолжение работы над «Мертвыми душами», премьера «Ревизора», долгие скитания по западноевропейским странам (Швейцария, Франция, Италия и др.). Перед читателем встают волнующие вопросы: почему Николай I поддержал постановку «Ревизора»? почему Гоголь перед отъездом за границу не простился с Пушкиным? почему Гоголь не принял католичество? чем было вызвано первое (в 1845 г.) сожжение рукописи второго тома «Мертвых душ»? и т. д. Как и первая книга, настоящее исследование опирается на огромный материал и сочетает высокую историко-литературную достоверность с художественностью и увлекательностью изложения.

Для специалистов и всех интересующихся историей русской литературы и творчеством Н.В. Гоголя.

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

Научное издание

Мани Юрий Владимирович

ГОГОЛЬ. КНИГА ВТОРАЯ.
НА ВЕРШИНЕ: 1835–1845

Редактор *Т.Ю. Журавлева*
Художественный редактор *М.К. Гуров*
Технический редактор *Г.П. Каренина*
Корректор *О.К. Юрьев*
Компьютерная верстка *Н.В. Москвина*

Подписано в печать 30.10.2012.
Усл. печ. л. 35,0. Уч.-изд. л. 35,5.
Тираж 1000 экз. Заказ № 1801

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993, Москва, Миусская пл., 6
Тел.: 8-499-973-42-06

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121090, Москва, Шубинский пер., 6

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РГГУ
Вышло в свет

Ю.В. Манн

ГОГОЛЬ. КНИГА ПЕРВАЯ.
НАЧАЛО: 1809–1835

Первая книга трилогии, посвященной жизни Гоголя, охватывает период с 1809 по 1835 гг. и включает описание детства и юности будущего писателя, обучение его в нежинской Гимназии высших наук, переезд в Петербург, начало литературной деятельности, знакомство с Пушкиным и другие события.

Настоящая книга впервые была опубликована в 1994 г. и так же, как и последующие две книги, получила высокую оценку в отечественной и зарубежной печати. Для данного издания книга доработана и дополнена.

Для специалистов и всех интересующихся историей русской литературы и творчеством Н.В. Гоголя.

